

DCV

143

Введеніе въ Исторію революціи 1789 года.

320

П 37

ИДЕЯ

НАРОДОВЛАСТІЯ

И

Французская революція

1789 года.

On oublie que ce sont les idées qui
gouvernent le monde.

Laurent.

В. Терье.

МОСКВА.

Т—во „Печатня С. П. Яковлева“. Москва. Петровка, Салтык. п., д. Т—ва, № 9.

1904.

~~127~~

„Пров 38“

17 00



2267
26

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Вступленіе.....	V
I. Историческая роль монархіи во Франціи и созданіе націи....	1
II. Зачатки революціоннаго духа въ XVIII вѣкѣ и идея націи....	77
III. Народность и прогрессъ.....	141
IV. Понятіе о народѣ и о народовластіи у Руссо.....	187
V. Народъ и правительство Франціи на исходѣ стараго порядка.	287
VI. Понятіе о власти и о народѣ въ наказахъ 1789 года.....	364
VII. Торжество идеи народовластія.....	498

ВСТУПЛЕНИЕ.

Одинъ изъ наиболѣе важныхъ для исторіи вопросовъ—это роль религіозныхъ, политическихъ и другихъ идей. Особенно сильно повліяли идеи на исторію французской революціи, то распространяясь на почвѣ отвлеченныхъ политическихъ теорій, то служа выраженіемъ реальныхъ интересовъ и притязаній. Въ числѣ этихъ идей слѣдуетъ отнести надлежащее мѣсто *идеѣ народовластія*. Эта идея болѣе всего содѣйствовала тому, что переворотъ 1789 г. принялъ *революціонный* характеръ. Во имя этой идеи совершился первый революціонный актъ—превращеніе депутатовъ третьяго штата на Генеральныхъ Штатахъ 1789 г. въ *Національное Собраніе*; подъ знаменемъ идеи народовластія происходили дальнѣйшія событія революціи; съ ослабленіемъ вѣры въ эту идею измѣнился характеръ революціи, и она завершилась съ полнымъ отрицаніемъ идеи народовластія.

Указать, чѣмъ обусловливается въ историческомъ прошломъ Франціи возникновеніе идеи народовластія, почему и въ чемъ она нашла тамъ благопріятную почву для своего развитія, какъ и кѣмъ она была облечена въ ту формулу, которая обезпечивала ей популярность, какъ само правительство содѣйствовало ея успѣху, какъ она получила всенародное признаніе и при какихъ условіяхъ она восторжествовала—составляетъ предметъ настоящей книги.

Заинтересовавшись вліяніемъ идеи народовластія на исторію революціи, я написалъ въ восьмидесятихъ годахъ по

этому вопросу нѣсколько статей, изъ которыхъ однѣ были тогда напечатаны, другія остались въ рукописи. Я имѣлъ въ виду при случаѣ переработать и слить ихъ въ цѣльное сочиненіе. Но мнѣ не пришлось осуществить это желаніе и, опасаясь, что, можетъ быть, это и впредь не удастся, я рѣшился напечатать ихъ въ видѣ Сборника статей. Но и въ этомъ видѣ онѣ представляютъ внутреннюю, такъ сказать органическую связь. Въ первой изъ нихъ объясняется историческое происхожденіе французскаго народа и объединеніе составныхъ частей его въ новомъ понятіи о французской *нации*. Вторая статья показываетъ, какъ это новое понятіе послужило средствомъ для борьбы парламентовъ противъ монархіи *старога порядка*. Статья о Руссо изображаетъ вліяніе этого писателя на представленіе о народѣ, и его роль въ популяризаціи идеи народовластія въ противоположность господствовавшей до него—со времени Бодена—теоріи о верховной власти (*souveraineté*). Дальнѣйшая судьба этой идеи находилась въ зависимости отъ внутренней политики правительства Людовика XVI и отъ его отношеній къ вопросу о неотложныхъ реформахъ. Это и составляетъ предметъ статьи „Народъ и правительство Франціи на исходѣ старога порядка“.

Неудача этихъ реформъ побудила правительство обратиться къ французскому народу за содѣйствіемъ и дать ему возможность въ инструкціяхъ своимъ депутатамъ (въ наказахъ) высказаться о желательныхъ ему реформахъ и преобразованіяхъ. Этотъ всенародный опросъ сталъ поводомъ къ переходу идеи народовластія изъ теоретической области на реальную почву политическихъ программъ и требованій, какъ это показываетъ изслѣдованіе о наказахъ.

Съ перваго же дня открытыхъ 5-го мая Генеральныхъ Штатовъ началась среди нихъ борьба изъ-за пониманія и примѣненія къ дѣлу идеи народовластія. Обстоятельства и причины, приведшія къ ея торжеству, изложены въ послѣдней статьѣ. Идея народовластія восторжествовала 17 іюня, и это торжество было началомъ революціи.

VII

Третья статья „Народность и прогрессъ“ должна была служить вступленіемъ къ книгѣ о народѣ и народовластіи и потому также помѣщена здѣсь, хотя и не имѣетъ ближайшаго отношенія къ исторіи Франціи. Напечатаніе статей въ ихъ прежнемъ видѣ съ нѣкоторыми редакціонными измѣненіями представляло то неудобство, что не исключало повтореній; такъ, напр., о теоріяхъ Руссо упоминается и въ пятой и въ шестой статьяхъ. Устранять такія повторенія нельзя было безъ нарушенія цѣльности и внутренней связи отдѣльныхъ статей. Передѣлка же ихъ и переработка въ главы систематической книги потребовали бы не мало времени и отсрочили бы надолго ея появленіе.

Историческая Роль Монархіи во Франціи ¹⁾.

Исторія Франціи почти тождественна съ исторіей ея королевской власти; французское государство обязано существованіемъ своимъ королямъ; Франція, можно сказать, возникаетъ вмѣстѣ съ своей королевской династіей. Въ Россіи исторія государства почти совпадаетъ съ исторіей страны; почти первый фактъ ея исторіи есть зарожденіе государства. Во Франціи, исторіи государства предшествуетъ продолжительная исторія страны. Страна эта становится извѣстною въ исторіи подъ именемъ Галліи. Со словъ: „Галлія распадается на три части“ начинается первое историческое сочиненіе объ этой странѣ. Дѣйствительно Галлія не представляла въ то время ни этнографическаго, ни политическаго единства. Это единство навязывается ей извнѣ—римскимъ завоеваніемъ. Подъ римскимъ владычествомъ Галлія получаетъ общую культуру, общій языкъ, наконецъ общую религію. Но въ ней нѣтъ центра, который могъ бы превратить страну въ политическій организмъ. Галлія составляетъ лишь часть великаго политическаго тѣла, изъ чужаго центра получаетъ жизнь и руководящія начала. Это политическое тѣло разбивается, но Галліи не удается обезпечить себѣ независимую жизнь, политическую особность. Для нея начинается новый періодъ иностраннаго владычества,

1) Статья эта была написана въ 1873 г. для курса по исторіи XVIII-го вѣка и революціи, читаннаго въ 1873—4 г. Она была напечатана въ 1877 г. въ III томѣ издававшегося В. П. Безобразовымъ „Сборника Государственныхъ Знаній“ подъ заглавіемъ „Республика или монархія установится во Франціи?“ Поводъ къ такому заголовку будетъ объясненъ въ концѣ статьи.

періодъ германскій. Снова Галлія разбивается, раздробляется на три части—царства франковъ, бургундовъ и вестготовъ. Одни изъ побѣдителей—франки одолѣваютъ другихъ, и подъ властью Меровинговъ собираются различныя части Галліи. Старинное названіе Галліи замѣняется новымъ—Франціи. Но эта Франція не есть государство, ей по'прежнему недостаетъ политическаго центра. Это только вотчина рода Меровинговъ, вотчина, въ которой живутъ безъ всякаго сліянія различныя племена, въ которой дѣйствуютъ различныя права, въ которую вводятся враждебныя другъ другу элементы культуры. Въ эту вотчину входятъ кромѣ различныхъ частей Галліи такія области, которыя были присоединены къ ней посредствомъ завоеванія: Рейнскій бассейнъ, верховья Дуная, Альпы. Политическая связь съ этими областями содѣйствуетъ постоянному вторженію германскаго элемента, который задерживаетъ смѣшеніе племенъ и объединеніе частей. Наконецъ этотъ сосѣдній, но чуждый элементъ, получаетъ верхъ и старая Галлія снова становится провинціей космополитической имперіи, имперіи не Римско-греческой, а Римско-германской. Эта новая имперія по'прежнему считаетъ Римъ своимъ центромъ, но дѣйствительный центръ ея лежитъ на сѣверо-востокѣ, близъ Рейна,—въ Ахенѣ; ея силу составляютъ не римскіе легіоны, а германскія ополченія, свѣтскіе и духовные вассалы Карла Великаго.

Эта новая имперія представляетъ еще менѣе прочности, чѣмъ прежняя. Ей грозятъ не только внѣшніе враги,—норманны, славяне, авары и проч.; для нея еще болѣе страшна внутренняя опасность—стремленіе къ племенному и къ мѣстному обособленію, національная рознь и феодализмъ. Подъ давленіемъ этихъ враждебныхъ силъ разлагается имперія, отъ нея отторгается западная Франція, которая въ свою очередь скоро дробится на множество мелкихъ частей.

Но это разложеніе имперіи Карловинговъ создаетъ условія, необходимыя для возникновенія государственнаго организма. Среди политическаго хаоса X-го вѣка, зарождается политическій центръ національнаго французскаго государства. Этотъ

центръ едва замѣтенъ, это—маленькое парижское графство, которое служитъ основаніемъ могущества предприимчивой династїи Капетинговъ. Никакая иная династїя въ исторїи не можетъ помѣриться съ Капетингами въ продолжительности существованїя, и никакой иной династїи не выпала на долю такая трудная и многовѣковая роль. Въ теченіе почти тысячелѣтїя, графы парижскїе трудились надъ великой задачей созиданїя Франціи; оттого исторїя ихъ рода отождествилась съ исторїей ихъ дѣла. Къ концу XVIII-го вѣка ихъ дѣло окончилось; изъ графства парижскаго сложился могущественный организмъ нынѣшней Франціи.

Этотъ могущественный организмъ складывался въ теченіе вѣковъ посредствомъ двойной работы: Стороннему наблюдателю прежде всего бросается въ глаза болѣе внѣшняя механическая работа — территориальное объединеніе Франціи, собираніе ея провинцій и ея расширеніе до естественныхъ границъ. Маленькое графство парижское было въ этомъ отношенїи чрезвычайно удобно расположено. Оно собственно состояло изъ двухъ вотчинъ, но эти вотчины — Парижъ и Орлеанъ — лежали на двухъ главныхъ рѣкахъ сѣверной Франціи и давали своему владѣльцу возможность подчинить своей власти весь бассейнъ этихъ рѣкъ. Парижъ былъ кромѣ того естественною столицей герцогства Иль-де-Франсъ, центральной области, достаточно отдаленной отъ моря, чтобъ избѣгнуть завоеванїя норманами, достаточно отдаленной отъ воинственной Германїи и въ то же время составлявшей оплотъ Франціи, куда было легко вверхъ и внизъ по рѣкамъ собрать силы страны противъ внѣшняго врага. Уже въ началѣ XII вѣка, при Филиппѣ Августѣ, кончилась въ пользу герцоговъ Франціи ихъ борьба съ опасными соперниками — герцогами норманскими и графами анжуйскими, которые вздумали, опираясь на могущество Англіи, создать независимыя государства на нижней Сенѣ и на нижней Луарѣ; такимъ образомъ Капетинги расширили свою власть до береговъ Ламанскаго канала и Атлантическаго океана. Но уже сынъ счастливаго Филиппа Августа подчинилъ власти своего рода много-

численныя области на лѣвомъ берегу Луары и дошелъ до предѣловъ гаронскаго бассейна. Въ то же время, воспользовавшись альбигойскими смутами, онъ сталъ твердой ногой въ верховьяхъ Гаронны и на Средиземномъ морѣ, захвативши области Бокеръ и Каркасонъ. Къ концу XIII вѣка Капетингамъ удалось утвердить вѣтвь своего рода на устьяхъ Роны и на границахъ Италіи. Въ концѣ этого же вѣка Франція распространила свою власть вверхъ по Марнѣ и дошла до тогдашнихъ границъ Германіи. Въ половинѣ XIV вѣка Франція утвердилась на верховьяхъ притоковъ, которые питають Рону съ лѣвой стороны, и дошла до Альпъ. Въ это же время происходила тяжелая и продолжительная борьба съ Англіей за владычество въ бассейнѣ Гаронны, т. е. старой Аквитаніи, борьба, кончившаяся въ XV вѣкѣ въ пользу Франціи. Только что вышедши побѣдительницей изъ борьбы, Франція поспѣшила поставить преграды развитію опаснаго государства на своей восточной границѣ. Счастье благопріятствовало ей, и изъ наслѣдства Карла Смѣлаго ей удалось присвоить себѣ Бургундію, т. е. область Соны и верхней Марны, а на сѣверо-востокѣ обезпечить за собою владычество надъ бассейномъ Соммы. Въ то-же время, вслѣдствіе прекращенія младшей вѣтви своего королевскаго рода, Франція прибрѣла окончательно богатый Провансъ. Скоро затѣмъ была приобрѣтена та область, которая наиболѣе сохраняла свою провинціальную особенность, и съ прибрѣтеніемъ Бретани Капетинги завладѣли всей береговой линіей, которая приходится на долю Франціи. Въ XVI вѣкѣ началась продолжительная борьба между французскою династіей и династіей Габсбурговъ; побѣды надъ Габсбургами дали Франціи возможность довести свои границы до Пиренеевъ и округлить свои предѣлы на сѣверо-востокѣ. Во время этой борьбы Франція завладѣла областью Ду (Doubs), верховьями Мозеля и Мааса и старалась завладѣть всѣмъ теченіемъ Мааса и Шельды. Эта борьба довела Францію до Рейнскаго бассейна и дала ей возможность на время завладѣть частью этого бассейна въ томъ мѣстѣ, гдѣ Рейнь подходит всего ближе къ французскимъ горамъ

и образуетъ узкую полосу земли, подъ склономъ горнаго хребта Вогезовъ.

Но эти территоріальныя успѣхи Франціи, этотъ ростъ ея, не имѣли бы прочности, если бы рядомъ съ наружнымъ объединеніемъ не происходило другое, менѣе замѣтное, которое замѣнило механическую связь областей болѣе крѣпкою духовною связью, и которое изъ захваченныхъ разнымъ способомъ провинцій создало цѣльный государственный организмъ.

Характеръ этой внутренней работы политическаго объединенія обусловливался общественной средой, въ которой пришлось дѣйствовать французскимъ королямъ. Феодалный бытъ создалъ три рода политическихъ организмовъ: *сеньёріи* (помѣстья), въ которыхъ землевладѣніе сдѣлалось основаніемъ государственной власти, *духовныя сеньёріи*, въ которыхъ къ феодалному началу присоединилась церковная власть, и наконецъ *коммуны*, т. е. общины, которымъ удалось отстоять свою политическую независимость или исторгнуть ее вновь изъ рукъ сеньёровъ. Развитие государственной власти должно было клониться къ тому, чтобъ постепенно отнять у этихъ различныхъ политическихъ организмовъ государственныя функціи, ими присвоенныя, или по крайней мѣрѣ ограничить ихъ въ пользованіи этими функціями. Такимъ образомъ французскіе короли должны были все болѣе и болѣе подчинять себѣ своихъ свѣтскихъ и духовныхъ вассаловъ и коммуны въ военномъ, юридическомъ и финансовомъ отношеніяхъ. Въ первомъ отношеніи надо было лишить вассаловъ права германской фейды, т. е. права рѣшать свои споры междуусобною войной и обязать ихъ вынимать свой мечъ только въ интересахъ французскаго короля. Во второмъ отношеніи, надо было подчинить суды сеньёровъ верховному королевскому суду и увеличить число случаевъ, которые должны были рѣшаться не феодалными или церковными судами, а королевскими чиновниками. Надо было дать перевѣсъ надъ германскимъ правомъ, роскошно развившимся въ мѣстныхъ обычаяхъ (кутюмахъ) и благопріятствовавшимъ феодалной самостоятельности—римскому праву, проводнику государственнаго начала.

Въ третьихъ, надо было распутать то, что было запутано феодализмомъ, отдѣлить частное право отъ государственнаго, — поземельный оброкъ отъ государственной подати, предоставляя первый землевладѣльцамъ и присвоивая вторую исключительно государственной власти; а пока надо было по крайней мѣрѣ заставить сеньёровъ подѣлиться съ королемъ правомъ облагать своихъ подданныхъ таліей (оброкомъ). То же самое приходилось привести въ исполненіе съ нѣкоторымъ измѣненіемъ и относительно коммунъ. Если политика королей заключалась въ томъ, чтобъ уменьшать число сеньерій, то относительно городовъ ихъ интересъ былъ иной: они стремились къ тому, чтобъ задерживать развитіе вольныхъ городовъ въ своихъ собственныхъ владѣніяхъ, но содѣйствовали ему тамъ, гдѣ города могли служить союзниками королей противъ сеньёровъ и князей.

Эта внутренняя работа, подчиненіе сеньёровъ, прелатовъ и коммунъ королевской власти происходила одновременно во всѣхъ областяхъ Франціи, которыя вслѣдствіе этого все плотнѣе укладывались въ общемъ политическомъ строѣ и въ общемъ подчиненіи королевской власти. Такимъ образомъ сеньёры и коммуны разныхъ областей стали сближаться между собой и признавать свою солидарность. Богатый и могущественный графъ фландрскій, встрѣчаясь при королевскомъ дворѣ съ сиромъ де Куси, сталъ смотрѣть на него, не смотря на разстояніе, раздѣлявшее ихъ по феодальной лѣстницѣ, какъ на товарища и союзника противъ королевской власти. Депутаты амьенской коммуны, встрѣчаясь передъ королевской куріей съ депутатами Тулузы, переговаривались съ ними объ общихъ интересахъ французскихъ городовъ. Такимъ образомъ возвышеніе королевской власти не только стягивало провинціи и подчиняло ихъ общему цѣлому, но въ то-же время соединяло въ этихъ областяхъ сеньёровъ, прелатовъ и коммуны, сливая ихъ въ однородныя массы, живущія общими интересами. Этотъ важный результатъ былъ достигнутъ ко времени созванія *Генеральныхъ Штатовъ* Франціи при Филиппѣ IV, съ появленія которыхъ въ самомъ началѣ XIV вѣка, начинается новый періодъ въ исторіи этого государства.

Генеральные Штаты, т. е. собрание представителей вассаловъ, прелатовъ и городскихъ властей (*des bonnes villes*) Франціи, созваны были королемъ для того, чтобъ заручиться ихъ поддержкой въ борьбѣ съ притязаніями папы, и потомъ часто созывались, чтобы обсуждать съ королемъ различныя государственныя мѣры, а главнымъ образомъ для того, чтобъ предоставить ему право обложить подчиненное имъ сельское и городское населеніе государственною податью. Эти Генеральные Штаты служили такимъ образомъ выраженіемъ политическаго единства, уже достигнутаго Франціей, но въ то же время они своимъ существованіемъ и своими притязаніями напоминали королямъ, сколько еще оставалось сдѣлать на пути дальнѣйшаго объединенія. Король говорилъ съ Генеральными Штатами въ первое время ихъ существованія не какъ государь съ подданными, а какъ глава политической федераціи съ подчиненными ему правителями. Герцоги, графы, прелаты и меры, составлявшіе Генеральные Штаты, являлись не депутатами отъ населенія своихъ округовъ, а представителями государственной власти, принадлежавшей имъ наследственно или по избранію въ ихъ территоріяхъ.

Эти первые Генеральные Штаты имѣли характеръ не современнаго парламента (т. е. народнаго представительства), а скорѣе конгресса соединенныхъ штатовъ. Съ каждымъ изъ болѣе могущественныхъ сеньоровъ королевское правительство должно было отдѣльно уговариваться относительно количества подати государственной, налагаемой на его территорію, и предоставлять ему, смотря по его могуществу, четверть или половину оброка (*taille*—повинности подвластнаго народонаселенія), собираемаго въ его областяхъ. Съ такимъ положеніемъ дѣла королевская власть не могла примириться и, сохраняя форму Генеральныхъ Штатовъ, она постепенно измѣняла ихъ значеніе; она стремилась къ тому, чтобы лишить членовъ Генеральныхъ Штатовъ прежняго характера мѣстной верховной власти и превратить ихъ въ представителей сословій или мѣстнаго населенія. Королевское правительство достигло этого столько же стѣсненіемъ мѣстной верховной власти,

сколько *расширениемъ* представительнаго права въ видѣ раздачи привилегій. Такимъ образомъ съ половины XIV вѣка, оно стало жаловать этими привилегіями дворянъ; феодальные титулы постепенно переставали означать обладаніе верховной властью, а только указывали на принадлежность къ извѣстному привилегированному сословію. Точно такъ же короли стали давать или продавать разнымъ лицамъ титулъ королевскаго буржуа въ видѣ привилегіи, независимо отъ того, селилось-ли это лицо въ коммунѣ или въ простомъ городѣ или даже въ деревнѣ, подвластной сеньёру. Въ то же время короли стали призывать на Генеральные Штаты кромѣ депутатовъ старыхъ привилегированныхъ городовъ представителей всѣхъ городовъ безразлично и, наконецъ, даже сельскихъ округовъ. Почти незамѣтно происходило это превращеніе Генеральныхъ Штатовъ въ представительство трехъ сословій, на которыя распадалось населеніе французскаго государства — дворянства, духовенства и *третьяго* сословія или ротюры (*tiers état*), называвшагося такъ въ противоположность лицамъ двухъ привилегированныхъ сословій.

Соединяя такимъ образомъ въ одно дворянское сословіе крупныхъ и мелкихъ сеньёровъ (*hauts et bas justiciers*), непосредственныхъ вассаловъ и подъ-вассаловъ, родовыхъ и жалованныхъ дворянъ; соединяя прелатовъ, имѣвшихъ верховную власть, и прелатовъ, обладавшихъ простыми бенефиціями, въ одно духовное сословіе; приравнивая къ вольнымъ общинамъ (коммунамъ) королевскіе города и простыя сельскія общины — королевская власть лишала Генеральные Штаты главнаго основанія ихъ прежняго авторитета — присущей имъ верховной власти, и превращала ихъ въ сословное собраніе съ совѣщательнымъ голосомъ въ государственномъ управленіи.

Единственной представительницей верховной власти осталась королевская династія. Но королямъ казалась стѣснительной и та доля политическаго вліянія, которую сохранили за собой сословія въ своихъ представителяхъ. Короли начали постепенно уничтожать это политическое вліяніе и стали стремиться къ тому, чтобы поставить сословія въ совершенно за-

внѣшное отъ себя положеніе. Они подкапывались подъ независимость каждаго сословія и привязывали ихъ къ своимъ интересамъ различными средствами. Главнымъ орудіемъ противъ дворянства послужила королямъ постоянная армія, которая возникла во время продолжительной борьбы съ Англіей и окончательно сформировалась въ теченіе XV вѣка. Замѣняя феодальное ополченіе постояннымъ войскомъ, французскіе короли освободили себя отъ необходимости заискивать у дворянства и подчиняться его вліянію въ своей политикѣ. вмѣстѣ съ тѣмъ короли прибѣгали къ другому средству, которое должно было поставить дворянство въ совершенную зависимость отъ престола. Это средство заключалось въ привлеченіи дворянъ къ придворной и государственной службѣ, которая щедро вознаграждалась королями. Занимая офицерскія мѣста въ новой арміи, высшія должности въ провинціальной администраціи, новые дипломатическіе посты и многочисленныя придворныя синекуры, — дворянство привыкло жить королевскими окладами и пенсіями, привыкло смотрѣть на королевскую власть, какъ на источникъ милости и всякихъ благъ, и смотрѣть на себя, какъ на украшеніе и исключительную опору престола.

Могущественное и независимое феодальное духовенство было принижено передъ королевской властью другимъ средствомъ. Въ концѣ XIII вѣка французскіе короли, опираясь на національный инстинктъ духовенства, вступили въ борьбу съ притязаніями Бонифація VIII, которыя мѣшали правильному развитію общей государственной власти. Но французскіе короли измѣнили политику, какъ скоро имъ удалось перевести папство въ Авиньонъ и сдѣлать изъ него послушное орудіе французскихъ интересовъ. Послѣ авиньонскаго періода папства, французское правительство увлеклось одно время общимъ стремленіемъ Европы къ церковной реформѣ, къ ограниченію власти папъ и къ возстановленію въ церкви соборнаго правленія. Но при этихъ стремленіяхъ французскіе короли имѣли главнымъ образомъ въ виду не столько церковныя реформы, сколько обезпеченіе государственной власти и ея интересовъ.

Лучшимъ доказательствомъ тому служить Болонскій конкордатъ, заключенный королемъ Францискомъ I съ папою Львомъ X въ 1516 г., т. е. за годъ передъ тѣмъ, какъ германскій мѣръ приступилъ къ реформаціи и свергнулъ съ себя вѣковое римское иго. Болонскій конкордатъ имѣлъ своимъ послѣдствіемъ подчиненіе французской церкви королевской власти. Этотъ конкордатъ былъ собственно дѣлежомъ церкви между двумя главами, которые спорили за владычество надъ ней, — между свѣтскимъ главою ея и духовнымъ, между королемъ и папой; при этомъ однакожь королю досталась львиная доля. Болонскій конкордатъ, предоставившій королю право замѣщать по своему усмотрѣнію почти всѣ высшія духовныя должности и вознаградившій папу за эту уступчивость извѣстною отступною суммой, которая ему платилась ежегодно французскою церковью — поставилъ высшее французское духовенство въ такое же положеніе, въ какомъ уже находилось дворянство, т. е. сдѣлалъ изъ него придворную аристократію. Реформація, проникшая во Францію, дала королямъ возможность поставить духовенство еще въ большую зависимость отъ себя и привязать его еще ближе къ своимъ интересамъ.

Что касается до третьяго сословія, то королевская власть, опираясь на расположеніе къ себѣ двухъ привилегированныхъ сословій, не нуждалась въ особенныхъ ухищреніяхъ, чтобы побѣдить всякое сопротивленіе съ этой стороны. Собраніе Генеральныхъ Штатовъ, на которыхъ два первыхъ сословія обыкновенно подавали голосъ противъ третьяго, не только не стѣсняло королевской власти, но иногда служило ей даже средствомъ обнаружить немощь третьяго сословія и лишать его политическаго вліянія. Правда, въ общественной и экономической жизни третье сословіе, накопляя богатство и просвѣщаясь, приобрѣтало все болѣе и болѣе вѣса. Но въ рукахъ королей былъ такъ сказать хорошій громоотводъ, который давалъ имъ возможность обезопасить себя противъ серьезной оппозиціи со стороны третьяго сословія. Съ одной стороны короли постепенно уничтожали выборное правленіе

въ привилегированныхъ городахъ и замѣняли выборныхъ людей королевскими чиновниками, съ другой стороны, — а это средство было еще дѣйствительнѣе, — короли предоставляли выдававшимся по своему положенію буржуа возможность войти въ привилегированное сословіе покупкою одной изъ многочисленныхъ должностей, дававшихъ дворянство. Мало того, превращая значительную часть должностей по судебной и административной службѣ въ наследственные должности, короли сдѣлали изъ верхняго слоя буржуазіи привилегированное сословіе, заинтересовывая самыхъ честолюбивыхъ и дѣятельныхъ буржуа въ сохраненіи существовавшаго порядка и привязывая ихъ, подобно дворянству, къ подножію престола.

Такимъ образомъ Генеральные Штаты въ теченіе вѣковъ все болѣе и болѣе утрачивали всякое политическое значеніе. Но самое существованіе ихъ было стѣснительно для королей, такъ какъ напоминало имъ о прежнемъ раздробленіи верховной власти. Поэтому, когда Генеральные Штаты окончательно превратились въ сословное представительство, а самыя сословія посредствомъ привилегій были тѣсно связаны съ интересами королевской династіи, короли рѣшились совершенно отказаться отъ этого прежняго орудія своей власти и болѣе не созывать Генеральныхъ Штатовъ.

Съ этого времени начинается третій крупный періодъ въ исторіи французскаго государства — періодъ неограниченной королевской власти, слѣдовавшей за періодомъ феодальнымъ и за періодомъ Генеральныхъ Штатовъ. Этотъ третій періодъ наступилъ въ исходѣ XVI вѣка, по окончаніи религіозныхъ войнъ, и ознаменовался восшествіемъ на престолъ новой вѣтви Капетингской династіи — Бурбоновъ. Правда, по смерти Генриха IV были еще разъ созваны Генеральные Штаты, но это случилось вслѣдствіе малолѣтства короля Людовика XIII и оплошности тогдашнихъ правителей.

Привилегированныя сословія не съ разу примирились съ новымъ положеніемъ. Они воспользовались новымъ малолѣтствомъ преемника королевской власти и возстали противъ

всемогущественнаго любимца вдовствовавшей королевы, противъ итальянскаго кардинала, деспотически управлявшаго ихъ отечествомъ. Но эти смуты, прозванныя фрондой, не могли имѣть успѣха, не потому только, что привилегированныя сословія не находили поддержки въ народныхъ массахъ и не потому только, что дворянство расходилось въ своихъ интересахъ съ привилегированною буржуазіей (парламентомъ), но главнымъ образомъ потому, что, стремясь къ расширенію и упроченію своихъ привилегій, фрондеры не могли дѣлать серьезной оппозиціи той власти, которая была источникомъ ихъ привилегій. Они возставали болѣе противъ лица, чѣмъ противъ системы; они считали невыносимыми послѣдствія историческаго порядка, сложившагося во Франціи, но они не думали измѣнять условій и принциповъ, создавшихъ этотъ порядокъ; они стремились къ реставраціи, а не къ реформѣ, они желали раздѣлить верховную власть съ королемъ, но не имѣли въ виду подѣлиться съ той массой народа, которая стояла внѣ привилегій.

Фронда была послѣднею вспышкой феодальной самостоятельности, и молодой король, выросшій среди ея смуть, могъ безпрекословно отождествить государственную власть съ своею личною властью. Знаменитыя слова, приписываемыя Людовику XIV — „L'état c'est moi“ („государство—это я“) — не были выраженіемъ одного только деспотическаго тщеславія и безпредѣльнаго самоупоенія властью; въ этихъ словахъ заключается ясное сознаніе той ступени, которой достигла Франція въ своемъ историческомъ развитіи, и вѣрная оцѣнка свойствъ и характера тогдашней королевской власти. Изъ четырехъ элементовъ верховной власти въ феодальномъ періодѣ остался налицо только одинъ — королевская власть, которая поглотила въ себѣ остальные; мѣсто нѣсколькихъ Штатовъ заняло единое государство, выраженіемъ котораго была королевская власть. Притязанія старыхъ Штатовъ на участіе въ верховной власти такъ обветшали, что одна мысль объ ограниченіи ими власти короля казалась ему оскорбительной, и въ поученіи, написанномъ Людовикомъ XIV для своего сына, король

говорить, что зависимость, которая ставит „государя въ необходимость подчиняться волѣ своего народа, есть послѣднее бѣдствіе, въ которое можетъ впасть человѣкъ въ нашемъ положеніи“. Восторжествовавшая надъ своими соперниками королевская власть возвела свою побѣду въ догматъ; историческое право было вознесено на степень божественнаго права. Въ сознаніи этого божественнаго права король могъ думать, что проявленія его воли опираются на сверхъестественный авторитетъ. „Нѣтъ сомнѣнія, пишетъ Людовикъ XIV въ поученіи дофину, что государи въ извѣстныхъ дѣйствіяхъ своихъ являются такъ сказать намѣстниками Бога и потому какъ бы причастны Его всевѣдѣнію и Его всемогуществу; такъ напримѣръ въ оцѣнкѣ способности людей, въ распредѣленіи должностей и въ дарованіи милости“. Съ точки зрѣнія такой теоріи короли не могли довольствоваться тѣмъ, что исторгли верховную власть изъ рукъ частныхъ лицъ, смотрѣвшихъ на эту власть, какъ на свою частную собственность. Французскіе короли заявили въ лицѣ Людовика XIV, что верховная власть, которою они были облечены, давала имъ безграничное право на частную собственность ихъ подданныхъ. „Вы должны знать, пишетъ Людовикъ въ поученіи сыну, что король полномочный господинъ и что ему принадлежитъ естественное право свободно распоряжаться всѣмъ имуществомъ своихъ подданныхъ, какъ мірянъ, такъ и духовныхъ лицъ, для общихъ нуждъ государства“.

Но эта безграничная власть, которую присвоивали себѣ французскіе короли въ интересахъ государства, не могла отрѣшиться отъ тѣхъ свойствъ, которыя были слѣдствіемъ ея историческаго происхожденія. Въ средніе вѣка, всякая верховная власть имѣла характеръ частной собственности, потому что главнымъ основаніемъ ея была поземельная собственность. Частный характеръ имѣла верховная власть феодалныхъ сюзереновъ, а изъ феодальныхъ элементовъ сложилась и власть французскаго короля. Расширеніемъ своей власти, которая была ихъ частною собственностію, французскіе короли создали французское государство, и потому естественно,

что государственная власть представлялась имъ въ видѣ частной собственности ихъ рода, что король могъ отождествлять свою личную волю съ государственною властью. Этотъ-то взглядъ и выразился въ типическихъ словахъ: государство— это я.

Но историкъ, который захочетъ составить себѣ понятіе о силѣ и предѣлахъ королевской власти во Франціи въ періодъ развитія абсолютизма, чрезвычайно легко впасть въ ошибку, если онъ будетъ основывать свои выводы на различныхъ проявленіяхъ деспотическаго произвола или на теоретическихъ формулахъ, извлеченныхъ изъ сочиненій Людовика XIV и льстивыхъ увѣреній придворныхъ писателей. Историкъ впадетъ въ такую же ошибку, въ которую впадали Людовикъ XIV и его преемники. Онъ не замѣтитъ противорѣчія между теоріей и дѣйствительностью, между правительственной системой и учрежденіями страны. Подъ блескомъ королевской власти онъ не замѣтитъ ея предѣловъ, ея слабой стороны. За величественнымъ фасадомъ французскаго государственнаго зданія, историкъ не замѣтитъ развалинъ средневѣковыхъ учрежденій которыя мѣшали довершенію новаго зданія и нарушали его единство. Создавая французское государство изъ феодальнаго хаоса, французскіе короли крѣпко сплотили въ одно цѣлое различныя провинціи, разъединенныя племенными, географическими и историческими особенностями; но это объединеніе было болѣе механической спайкой, чѣмъ духовнымъ сляніемъ ихъ. Французскіе короли одинаково приучили гасконцевъ и пикардовъ, провансальцевъ и бретонцевъ почитать въ потомкѣ св. Людовика своего природнаго короля; но они не приучили ихъ поступиться своими провинціальными особенностями въ виду общей принадлежности къ единой французской націи. Французскіе короли успѣли сосредоточить въ своей столицѣ управление всей обширной своей территоріи, но они не сумѣли устранить тѣ разнообразныя органы провинціальной самостоятельности, которые мѣшали правильному и органическому воздѣйствію центральной власти. Вся Франція была покрыта сѣтью искусной администраціи, вездѣ были

королевскіе чиновники, облеченные чрезвычайными полномочіями и готовые дѣйствовать по малѣйшему знаку центрального правительства; но власть этихъ чиновниковъ имѣла характеръ произвола, вся эта административная система могла поддерживать себя только чрезвычайными, незаконными въ глазахъ населенія средствами.

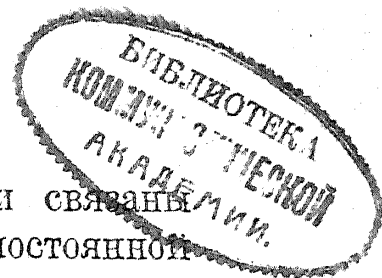
Чтобы убѣдиться въ противорѣчїи между правительственной системой и учрежденіями страны, познакомимся ближе съ административными органами королевской власти въ эпоху ея такъ называемаго абсолютизма. Въ этой администраціи мы замѣчаемъ нѣсколько историческихъ *наслоеній*, которыя продолжали существовать и дѣйствовать одновременно, хотя въ послѣднемъ словѣ было конечно больше силы и жизни, чѣмъ въ предшествовавшихъ.

Собрать въ одно цѣлое многочисленныя феодальныя организмы, на которые раздробилась Франція въ началѣ среднихъ вѣковъ, и создать изъ нихъ единое національное государство было задачей чрезвычайно трудною; она могла быть достигнута только постепенно. Каждая новая ступень въ дѣлѣ созданія французскаго государства изъ феодальныхъ помѣстій или сеньерій сопровождалась новымъ распределеніемъ французской территоріи на извѣстныя области и созданіемъ новыхъ административныхъ органовъ, поставленныхъ во главѣ этихъ областей. Каждое изъ этихъ распределеній доказывало, что королевская власть присвоивала себѣ новое право надъ страной, налагала на провинціи новую повинность, въ которой всѣ должны были одинаково участвовать. Сосредоточивая въ своихъ рукахъ верховную власть, французскіе короли должны были постепенно отнимать у мѣстныхъ властей всѣ функціи государственной дѣятельности. Главныя функціи государственной власти, присвоенныя сеньерами, были: судъ, право распоряжаться военной силой и право налагать подати. Возвращенію этихъ трехъ правъ къ верховной власти соотвѣтствуютъ три слоя административныхъ органовъ, созданныхъ королевскою властью для того, чтобы пользоваться упомянутыми правами, и три распределенія территоріи, ко-

торымъ подверглась Франція до революціи. Легче всего, необходимое всего было для королей подчинить себѣ феодальныхъ сюзереновъ въ отношеніи суда. Достиженію этого результата соотвѣтствуетъ старинное раздѣленіе Франціи на бальяжи и сенешальства. Когда король успѣвалъ присвоить себѣ княжескую власть въ какой-нибудь феодальной территоріи, онъ ставилъ туда своего балья или сенешаля (на югѣ). Это были намѣстники короля, представители его сюзеренной и княжеской власти. Король, какъ сюзерень известной территоріи, долженъ былъ лично предсѣдательствовать въ куріи своихъ вассаловъ. Эту обязанность свою онъ поручалъ своему балливу или балья, который такимъ образомъ становился высшимъ судебнымъ и административнымъ лицомъ въ своей территоріи. По мѣрѣ того, какъ одно феодальное княжество за другимъ отходило къ королямъ, вся Франція покрылась сѣтью бальяжей и сенешальствъ, среди которыхъ, какъ острова, выдавались полунезависимыя территоріи.

Къ концу среднихъ вѣковъ былъ сдѣланъ новый шагъ централизаціи государственной власти. Феодальное ополченіе совершенно уступило мѣсто новой регулярной арміи, которая стала уже такъ многочисленна, что ее нужно было расположить по всему государству. И вотъ Францискъ I приступаетъ къ новому дѣленію Франціи, онъ раздѣляетъ ее на двѣнадцать губернаторствъ, которыя соотвѣтствовали старымъ историческимъ провинціямъ. Губернаторъ былъ начальникомъ военной силы въ своей области и въ то же время главнымъ администраторомъ въ провинціи. Губернаторства распадались на нѣсколько областей, во главѣ которыхъ стояли намѣстники губернатора — генералъ - лейтенанты. Передъ этимъ раздѣленіемъ на военныя губернаторства прежнее раздѣленіе на юридическіе округа отступило на второй планъ, хотя и продолжало существовать; между прочимъ избраніе депутатовъ въ Генеральные Штаты происходило по бальяжамъ и сенешальствамъ.

Но какъ ни важно было для французскихъ королей устройство арміи, не меньшій интересъ представляли для королев-



скаго правительства — финансы. Какъ тѣсно были связаны оба эти вопроса, явствуетъ изъ того, что введеніе постоянной арміи (*gens d'armes*) послѣ столѣтней войны съ Англіей совпало съ введеніемъ общегосударственной подати, т. е. съ предоставленіемъ Генеральными Штатами королю Карлу VII права взимать оброкъ (*taille*) съ *ихъ* податныхъ людей. Съ тѣхъ поръ финансовое управленіе поглощаетъ главное вниманіе французскаго правительства, особенно когда исчезаютъ Генеральные Штаты, а въ нѣкоторыхъ провинціяхъ и провинціальныя Штаты, которые прежде завѣдывали взиманіемъ одной части сборовъ или по крайней мѣрѣ контролировали ихъ. Представителями новой государственной власти въ періодъ ея абсолютизма являются новые чиновники гражданскаго вѣдомства. Начало этого учрежденія относится еще къ эпохѣ Генриха III, послѣдняго короля, который созывалъ Генеральные Штаты и долженъ былъ бороться съ ними. Генрихъ III въ виду фискальныхъ потребностей раздѣлилъ свое королевство на нѣсколько округовъ, и въ каждомъ помѣстилъ двухъ генеральныхъ казначеевъ для управленія доменами и двухъ генеральныхъ сборщиковъ податей. Но устройство этихъ финансовыхъ канцелярій или казенныхъ палатъ (*bureaux de finance*) уже не могло удовлетворить королевское правительство въ періодъ абсолютизма, тѣмъ болѣе, что члены финансовыхъ канцелярій стали независимы отъ правительства вслѣдствіе введенія покупки должностей; организаціей этихъ финансовыхъ округовъ и воспользовался кардиналъ Ришелье, основатель административной централизаціи и системы абсолютизма во Франціи. Въ каждомъ изъ этихъ округовъ или такъ называемыхъ генеральствъ (*généralité*) онъ назначилъ представителя новой административной системы, носившаго сначала скромный титулъ „*commissaire départi pour l'exécution des ordres du roi*“ (комиссаръ, назначенный для исполненія королевскихъ повелѣній), а потомъ также не громкое названіе „*intendant de justice et de police*“ (блюститель юстиціи и полиціи). Какъ видно однако изъ самаго этого названія, новый мѣстный агентъ королевской власти явился представителемъ

ея во всемъ ея объемѣ. Онъ сталъ всевидящимъ окомъ правительства и правой рукой его во всѣхъ дѣлахъ и областяхъ—полиціи, т. е. администраціи въ обширномъ смыслѣ, юстиціи, финансовъ и даже въ военномъ дѣлѣ—въ интендантской части и милиціи. Нововведеніе это чрезвычайно не нравилось современникамъ и фронтда уничтожила интендантовъ. Но послѣ этого они были снова назначены и въ 1689 году Бретань, послѣдняя провинція, которая еще не имѣла интендантовъ, должна была покориться общей участи. Постепенно интенданты захватывали всѣ функціи государственной власти и подчиняли своему контролю всѣ проявленія мѣстной жизни. Они завѣдывали податною системой, городской и сельской администраціей, общественными работами, казенными фабриками, торговлей и цехами, школами, литературными обществами, полиціей и казенной благотворительностью. Имъ былъ порученъ наборъ рекрутъ, надзоръ надъ арсеналами, крѣпостями, госпиталями и войсковыми этапами, а иногда имъ поручалось даже начальство надъ войсками. При всемъ томъ они были предсѣдателями особыхъ королевскихъ судовъ и въ качествѣ чрезвычайныхъ комиссаровъ, завѣдуя административнымъ судомъ, они были органами правительственнаго произвола и королевской мести.

Но за этою могущественной организаціей, за этимъ наружнымъ однообразіемъ скрывалась чрезвычайная пестрота мѣстныхъ привилегій и особенностей, скрывалась большая слабость правительства. Несмотря на общее управленіе интендантовъ и на централизацію управленія, провинціи были очень мало похожи между собой. Большинство изъ нихъ давно утратило провинціальныя штаты, но въ четырехъ крупныхъ провинціяхъ и въ тринадцати мелкихъ областяхъ провинціальныя штаты сохранились до конца XVIII вѣка. Эти такъ называемыя „Pays d'Etats Généraux“ находились въ выгодномъ положеніи сравнительно съ другими, сохраняя возможность помимо центральной власти содѣйствовать развитію мѣстнаго благосостоянія и защищать населеніе отъ излишняго произвола интендантовъ. Нѣкоторыя изъ провинцій даже не признавали

себя безусловно присоединенными къ французской территоріи и постоянно ссылались на договоры, заключенные съ французскими королями при ихъ присоединеніи. Такъ на примѣръ, Франшъ-Конте ссылался на капитуляцію, подписанную Людовикомъ XIV при заключеніи съ Испаніей Нимвегенскаго мира, а Бретань—на брачный договоръ между Карломъ VIII и Анной бретанской. Многія изъ провинцій имѣли свой парламентъ, который былъ не только блюстителемъ мѣстной независимости, но также мѣстныхъ привилегій и мѣстнаго права (кутюмовъ). Благодаря этому провинціи раздѣлялись относительно права на территоріи обычнаго (германскаго) права и на территоріи писаннаго (римскаго) права. Относительно государственныхъ повинностей судьба отдѣльныхъ провинцій была еще болѣе различна или по крайней мѣрѣ могла подавать поводъ къ еще болѣе зависимости. Въ однѣхъ провинціяхъ главная государственная подать—*талья*, распредѣлялась по количеству населенія, была личной повинностью, въ другихъ она распредѣлялась по количеству и качеству земли, т. е. была имущественной податью; нѣкоторыя же области вовсе не платили талы (Руссильонъ, присоединенный въ XVI в.). Самой тяжелой, вредной и потому ненавистной повинностью древней Франціи была соляная регалия (*gabelle*). Правительство отдавало продажу соли на откупъ, заставляя населеніе покупать извѣстное годовое количество соли. Но эта повинность ложилась очень не ровно на различныя области. Всѣ провинціи были въ этомъ отношеніи раздѣлены на *rays de grande gabelle et petite gabelle* (области большой и малой соляной регалии). Различіе доходило до того, что въ Бретани за квинталь соли платили отъ 2 до 3 ливровъ, а въ Берри 62 ливра за квинталь. Нѣкоторыя же области были совершенно освобождены отъ соляной регалии вслѣдствіе того, что сумѣли воспользоваться обстоятельствами и откупиться. Вслѣдствіе такого неравномѣрнаго распредѣленія повинности, средняя податная плата была чрезвычайно различна; такъ на примѣръ въ интендантствѣ Нанси, присоединенномъ къ Франціи только во второй половинѣ XVIII вѣка, средняя

плата на человѣка составляла 13 ливровъ; въ сосѣдномъ же Мецскомъ интендантствѣ, которое было менѣе богато, но было присоединено уже въ XVI вѣкѣ, средняя плата составляла 19 ливровъ. Гористая область Берри платила среднимъ числомъ 5 ливровъ съ человѣка. Шампань же, которая была не богаче Берри, платила 26 ливровъ 16 су. Хуже всѣхъ было положеніе старинной вотчины Капетингской династіи — Орлеанской области. Эта провинція вслѣдствіе различныхъ причинъ была бѣднѣе, чѣмъ гористая область Берри, а между тѣмъ ей приходилось платить съ человѣка 28 ливровъ 4 су.

Уже различное распредѣленіе соляной повинности дѣлало необходимымъ установленіе внутреннихъ таможенъ, столь вредныхъ для развитія промышленности и торговли; но правительство дорожило ими, какъ источникомъ дохода. Эти внутреннія таможи еще болѣе обособляли каждую провинцію, не только разобщая провинціи между собой, но заставляя ихъ враждебно и съ завистью относиться другъ къ другу, такъ какъ съ различіемъ тарифа были нерѣдко связаны значительныя мѣстные выгоды. Такъ напримѣръ, восточныя провинціи, Лотарингія и Эльзась, имѣли право беспошлинно торговать съ Германіей и Швейцаріей; отъ Франціи же онѣ были отдѣлены таможеннымъ барьеромъ. Онѣ даже назывались поэтому „иностранными провинціями“. Когда въ концѣ XVIII вѣка зашла рѣчь объ уничтоженіи внутреннихъ таможенъ и установленіи общаго тарифа для всей Франціи, фабриканты Эльзаса и Лотарингіи громко возроптали противъ этого, указывая на то, что введеніе тарифа въ областяхъ, присоединенныхъ къ Франціи, въ таможенномъ отношеніи, напримѣръ въ Бургундіи и Франшъ-Конте, подорвало тамъ промышленность. Они даже рѣшились привести въ свою пользу, что рѣки, которыя протекаютъ по Эльзасу и Лотарингіи, не касаются французской территоріи, что онѣ текутъ въ Германію и что такимъ образомъ сама природа связала ихъ въ торговомъ отношеніи съ Германіей. Если подобный партикуляризмъ въ восточныхъ

провинціяхъ можно было объяснить недавнимъ присоединеніемъ ихъ, то что сказать о мелкомъ соперничествѣ коренныхъ французскихъ провинцій, которыя постоянно ссылались на различныя средневѣковыя привилегіи, чтобъ извлечь изъ нихъ денежныя выгоды. Такъ на примѣръ, еще въ прошломъ вѣкѣ, городъ Бордо требовалъ подъ страхомъ денежной пени и конфискаціи, чтобы бочки вина, привозимаго изъ Кагорской области, были мѣньшаго объема, чѣмъ бордосскія бочки. Такъ какъ вывозная пошлина на вино взималась съ бочки независимо отъ ея емкости, то иностранные купцы платили дороже за вино въ бочкахъ большого размѣра и бордосскіе винодѣлы хотѣли пользоваться этою монополіей передъ своими сосѣдями.

Подобно тому, какъ однообразіе административной системы въ эпоху королевскаго абсолютизма не могло уничтожить феодальной пестроты провинціальныхъ и сословныхъ привилегій, такъ съ другой стороны, всемогущая централизація не была въ состояніи устранить старинныя учрежденія, которыя все еще конкурировали съ новою правительственною системою. Ло былъ совершенно правъ, когда утверждалъ, что Франція управляется тридцатью интендантами, что отъ этихъ тридцати чиновниковъ (*maîtres de requêtes*), разосланныхъ въ провинціи, зависитъ счастье и несчастье послѣднихъ, ихъ благосостояніе и ихъ бѣдность. Но власть этихъ интендантовъ, этой новой бюрократіи, такъ сильно поразившей непривыкшаго къ ней Шотландца, была похожа на военную администрацію, которой подчиняется страна во время осаднаго или военнаго положенія, причемъ прежнія власти хотя и не перестаютъ существовать, но принуждены смолкнуть. Еще въ концѣ XVIII вѣка не были уничтожены губернаторства, которыя попрежнему поручались любимымъ вельможамъ или принцамъ крови. Хотя эти губернаторы, окруженные блестящимъ штатомъ, были безсильны передъ скромнымъ интендантомъ, но они платили ему за это гордымъ презрѣніемъ и считали его должность недостойною потомка феодальныхъ сувереновъ; они смотрѣли на власть интенданта,

какъ на незаконную, захваченную и притомъ установленную надъ одними лишь мѣщанами и крестьянами ¹⁾.

Гораздо серьезнѣе былъ отпоръ, который встрѣчала власть интендантовъ со стороны парламентовъ. Независимость и сопротивление парламентовъ нерѣдко составляли предметъ заботъ даже для самой центральной власти. Парламенты, образовавшіеся изъ старинныхъ феодальныхъ курій, были въ средніе вѣка главнымъ орудіемъ княжеской или королевской власти при введеніи новаго государственнаго строя. Поэтому французскіе короли чрезвычайно дорожили этими учрежденіями и при подчиненіи своей власти различныхъ провинцій вездѣ сохраняли образовавшіеся въ нихъ провинціальныя парламенты, но именно поэтому парламенты срослись съ партикуляризмомъ своихъ областей и смотрѣли на себя, какъ на естественныхъ блюстителей провинціальныя особенностей и привилегій. Покупка и наследственность должностей, установившаяся для членовъ парламентовъ, еще болѣе связали ихъ съ мѣстными интересами и старымъ порядкомъ, основаннымъ на личныхъ и мѣстныхъ привилегіяхъ. Этимъ объясняется двойственный характеръ парижскаго и провинціальныя парламентовъ въ эпоху королевскаго абсолютизма; они продолжаютъ быть органами государственной власти, но дѣйствуя на основаніи мѣстныхъ кутюмовъ и историческаго обычая, они становятся главнымъ препятствіемъ для дальнѣйшаго развитія государственной власти и административной централизаціи; они смотрятъ съ недовѣріемъ и враждебностью на новыя (по ихъ мнѣнію, незаконныя) орудія правительства, и чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе становятся поборниками стараго порядка. По мѣрѣ того, какъ мѣстныя представительства (провинціальныя штаты) теряютъ свое значеніе, а общее представительство страны—Генеральныя Штаты предаются забвенію, парламенты изъ судебнаго учреждения становятся политическимъ, противятся не только юридическимъ и административнымъ реформамъ, но и финансовымъ мѣрамъ прави-

¹⁾ Tocqueville. L'ancien régime, p. 79.

тельства и являются главными органами провинциальной оппозиции. Когда въ 1761 году Людовикъ XV издалъ указъ о взиманіи новаго налога, представитель мѣстнаго самоуправления въ Бургундіи—главный секретарь провинціальныхъ штатовъ Бургундіи, который завѣдовалъ дѣлами штатовъ въ промежутки отъ одной ежегодной сессіи до другой—обнародовалъ этотъ указъ, не заручившись согласіемъ Дижонскаго парламента. Парламентъ протестовалъ противъ такой угодливости и самоуправления секретаря. Губернаторъ Бургундіи, принцъ Конде, принялъ сторону чиновника, дѣйствовавшаго въ интересахъ правительства, но сопротивленіе парламента было такъ упорно, что, несмотря на все могущество неограниченной королевской власти, парламентъ одержалъ побѣду послѣ двухлѣтней борьбы ¹⁾.

Въ своей борьбѣ съ мѣстными органами королевскаго абсолютизма парламенты могли всегда рассчитывать на горячую поддержку со стороны населенія даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они сопротивлялись мѣрамъ, полезнымъ для страны. Когда въ 1788 году королевскимъ указомъ были уничтожены парламенты и вмѣсто нихъ учрежденъ верховный судъ (Cour Plenièrre), наварскій парламентъ обнаружилъ особенно энергическое сопротивленіе королевской власти. Королевскіе комиссары должны были силою принудить парламентъ узаконить (enregistrer, занести въ свои реестры, или протоколы) королевскій эдиктъ. Противъ такого проявленія королевскаго абсолютизма парламентъ предъявилъ формальный протестъ, въ которомъ между прочимъ упрекалъ правительство, что оно уничтожило мѣстную конституцію Навары и Беарна, двухъ независимыхъ (суверенныхъ) областей, связанныхъ съ французской короной „только подъ ясно и точно выраженнымъ условіемъ сохраненія всѣхъ привилегій, правъ и обычаевъ, подтвержденныхъ самымъ священнымъ образомъ подъ торжественной присягой его величества передъ депутатами Беарна при его восшествіи на престолъ“. Начальникъ военной силы за-

¹⁾ Léonce de Lavergne. Les Assemblées Provinciales sous Louis XVI, p. 440.

крылъ парламентъ, но крестьяне сошли съ своихъ горъ и силою отворили двери Палаты. Король отправилъ тогда въ По съ чрезвычайнымъ полномочіемъ герцога де Гишъ, сына герцога де Грамона, наслѣдственнаго губернатора Навары и Беарна, чтобы возстановить тамъ порядокъ. Все населеніе вышло навстрѣчу герцогу, неся передъ собой колыбель Генриха IV, основателя Бурбонской вѣтви, эмблему своихъ историческихъ преданій и провинціальныхъ правъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что наварскій парламентъ былъ возстановленъ ¹⁾.

До какой степени парламенты ненавидѣли новую администрацію и интендантовъ, о томъ между прочимъ можетъ свидѣтельствовать заявленіе (remontrance) Безансонскаго парламента, поданное королю въ 1787 году по случаю введенія Провинціальныхъ Собраній (Assemblées Provinciales): „Государь, подъ вліяніемъ горя, которымъ прониклось Ваше Величество при видѣ бѣдствій народа и истощенія казны, Вы не считали возможнымъ оказать Вашимъ подданнымъ большаго благодѣянія и приобрѣсти лучшее право на ихъ признательность—какъ уничтоживъ администрацію, которая всегда была ненавистна и заслужила всеобщее презрѣніе. Вы убѣдились въ злоупотребленіяхъ этой безобразной и гнетущей администраціи. Злоупотребленія такъ громко заявляли о себѣ со всѣхъ сторонъ, что наконецъ ихъ услышали... Ваше Величество полагали, что вашъ народъ получитъ полное удовлетвореніе; интенданты и ихъ клевреты, кажется, лишились всякой власти“.

Развитіе королевскаго абсолютизма среди феодальной Франціи представляетъ въ исторіи не первый примѣръ того, что новая власть, возникшая среди устарѣлыхъ учрежденій и призванная замѣнить ихъ, старается какъ бы ужиться съ ними, облечься въ старыя формы, сохранить прежніе обряды, съ которыми связано столько воспоминаній, и только исподоволь подкапывается подъ нихъ и притягиваетъ къ себѣ всѣ жизненныя силы. Такова была политика императоровъ, поло-

¹⁾ Lavergne, p. 461.

жившихъ конецъ римской республикѣ, но сохранявшихъ въ управленіи имперіей республиканскія формы. Какъ въ Римѣ, такъ и во Франціи, старинныя аристократическія учрежденія продолжали существовать и пользоваться наружнымъ почетомъ, устарѣвшія историческія понятія попрежнему господствовали въ обществѣ и языкѣ, а между тѣмъ административные органы монархической власти все болѣе и болѣе охватывали общество и объединяли его разнородныя части посредствомъ одинаковаго подчиненія всѣхъ государственной власти. Подобно тому, какъ императоры сохранили сенатъ, трибунскую власть и другія республиканскія учрежденія, французскіе короли утверждали свою абсолютную власть среди учреждений, тѣсно связанныхъ съ отживавшимъ феодальнымъ порядкомъ, а не перестроили общества согласно съ новою системою управленія. Отъ того новая система централизаціи и бюрократическаго управленія находилась въ рѣзкомъ противорѣчій съ историческими учрежденіями, отъ того мы можемъ назвать ее, выражаясь современнымъ языкомъ, „не конституціонной“. Общество сохранило старинныя юридическія и политическія формы, его строй не былъ прилаженъ къ новому началу государственной жизни, и потому проявленія этого новаго начала, хотя и болѣе совершеннаго, казались ненормальными, незаконными. Изъ этого противорѣчія между новой системою управленія и старинной конституціей (государственнымъ устройствомъ) вытекала для королевской власти роковая необходимость дѣйствовать *незаконными*, произвольными средствами. Желая проводить въ жизнь новыя государственныя начала, королевская власть должна была опираться на фактическую силу, имѣя противъ себя историческое право. Она должна была постоянно бороться противъ этого историческаго права и нарушать его, но этимъ она оскорбляла чувство справедливости и законности въ своихъ подданныхъ, навлекала на себя упреки въ насиліи и произволѣ. И эти упреки были вполне заслужены, всякая власть носить на себѣ печать своего историческаго происхожденія, даже въ малѣйшихъ своихъ проявленіяхъ. Насильственность и произволъ прави-

тельственной власти въ эпоху королевскаго абсолютизма проявлялись не только въ крупныхъ дѣлахъ,—въ вопросахъ государственной жизни, въ борьбѣ съ учрежденіями, но такъ какъ эта власть поручалась отдѣльнымъ лицамъ, агентамъ, которые естественно проникались духомъ господствовавшей системы, то насильственность и произволъ проявлялись и въ мелкихъ дѣлахъ, подѣ влияніемъ личныхъ расчетовъ и страстей,—въ борьбѣ правительства съ лицами. Эта мелочность и мстительность стараго порядка, этотъ произволъ въ дѣлахъ личнаго расчета и въ преслѣдованіи личностей всего болѣе раздражали современное общество и бросали самую темную тѣнь на эпоху королевскаго абсолютизма.

Противоположность между старой феодальной Франціей, въ которой королевская власть стѣснялась феодальными гарантіями, и новыми началами государственной жизни въ эпоху королевскаго абсолютизма, очень ясно сознавалась съ обѣихъ сторонъ и это сознаніе выразилось въ мѣткомъ названіи новой системы—„*plaisir du Roi*“ („произволъ короля“). Произвольной казалась новая власть не только обществу, привыкшему къ гарантіямъ, выработаннымъ въ феодальную эпоху; но сама правительственная власть, сознавая противорѣчіе между своей системой и установленнымъ историческимъ порядкомъ, откровенно приняла произволъ за свой девизъ¹⁾. Какія же средства имѣла новая система для борьбы со старымъ порядкомъ?—Эти средства приводятся къ двумъ началамъ, повидимому, противоположнымъ, но имѣвшимъ одинаковый результатъ, ибо они одинаково подрывали законный порядокъ, одинаково нарушали право и чувство справедливости, одинаково деморализовали общество — начало милости, но милости въ видѣ привилегіи, и начало застращиванія въ видѣ королевской кары. Трудно сказать, которое изъ этихъ началъ имѣло болѣе вредное влияніе: королевская милость портила привилегированные классы, королевская кара постигала безразлично всѣхъ.

¹⁾ Знаменитыя *Lettres de Cachet*, о которыхъ ниже будетъ рѣчь, обыкновенно заканчивались формулой: *Car tel est notre plaisir*.

Королевская милость можетъ быть всего болѣе содѣйствовала паденію и безсилію французской аристократіи. Это та система произвольной и высокоумѣрной милости, одинаково вредная для награжденныхъ, какъ и для обойденныхъ, которую такъ мѣтко заклеилъ замаскированный Персіанинъ (Монтескьё) въ своей знаменитой характеристикѣ Людовика XIV: „Онъ любитъ награждать тѣхъ, которые ему служатъ, но онъ награждаетъ такъ-же щедро услуги, даже лучше сказать, праздность своихъ придворныхъ, какъ и трудные походы своихъ генераловъ; онъ часто предпочитаетъ челоуѣка, который его раздѣваетъ или подаетъ ему салфетку, когда онъ садится за столъ, иному, который беретъ для него города и выигрываетъ сраженія; онъ полагаетъ, что верховное величіе не должно быть стѣснено въ распредѣленіи милости и не разбираетъ заслугъ челоуѣка, котораго онъ осыпаетъ благодѣяніями; онъ полагаетъ, что одинъ выборъ его дѣлаетъ этого челоуѣка достойнымъ. Такимъ образомъ случилось, что онъ награждалъ небольшою пенсіей челоуѣка, бѣжавшаго двѣ версты съ поля сраженія, и губернаторскимъ мѣстомъ другого, который бѣжалъ четыре версты“¹⁾.

Эту же систематическую порчу французскаго дворянства имѣлъ въ виду Монтескьё, когда писалъ главу объ извращеніи монархическаго принципа: „Этотъ принципъ извращается, когда высшія должности становятся признакомъ величайшаго рабства; когда вельможи лишаются уваженія народа и дѣлаются презрѣнными орудіями произвольной власти.... Принципъ монархіи извращается еще болѣе, когда почести ставятся въ противорѣчіе съ честью и когда можно въ одно и то же время пріобрѣсти извѣстность своими чинами и подлостью“²⁾.

Не только аристократія, но и духовенство было деморализовано этой системой королевской милости. Самыя церковныя богатства, накопленныя вѣками благочестія, сдѣлались сред-

1) Montesquieu. Lettres Persanes XXXVII.

2) Esprit des Loix. L. VIII. ch. VII.

ствомъ для поддержанія этой системы и орудіемъ развращающаго произвола. Давно уже установился обычай давать доходныя мѣста аббатовъ въ награду людямъ, которые подвергались тонзурѣ (постриженію) только въ виду этихъ доходныхъ мѣстъ и добивались ихъ въ парижскихъ салонахъ и въ пріемныхъ версальскихъ министровъ. Въ началѣ царствованія Людовика XVI изъ 726 мужскихъ монастырей 598 стояли подъ началомъ *назначенныхъ* аббатовъ (*abbés communitaires*), не носившихъ священническаго креста и проживавшихъ свои доходы гдѣ имъ было угодно, не заботясь о судьбѣ своего монастыря, и только въ 128 монастыряхъ монахамъ было предоставлено право избирать себѣ настоящаго аббата ¹⁾. Такимъ образомъ Мирабо былъ совершенно правъ, когда писалъ въ первомъ посланіи къ своимъ избирателямъ: „Развѣ есть хоть одинъ человѣкъ, который бы не зналъ и не говорилъ, что вѣдомство духовныхъ дѣлъ есть одно изъ самыхъ могущественныхъ средствъ подкупа“.

Что же касается до противоположнаго начала застраиванія и незаконнаго вмѣшательства власти, то оно проявлялось главнымъ образомъ въ трехъ видахъ, сообразно съ тремя отраслями государственной власти, законодательной, судебной и исполнительной. Въ области законодательной система королевскаго абсолютизма проявилась въ томъ, что было найдено средство обойти сопротивленіе парламентовъ, т. е., старинныхъ могущественныхъ корпорацій, которыя нѣкогда были единственными органами законодательной власти королей и безъ участія которыхъ ни одинъ королевскій законъ не получалъ обязательной силы. Это средство заключалось въ устройствѣ торжественныхъ засѣданій парламентовъ подъ предсѣдательствомъ короля (или въ провинціи его комисара), въ присутствіи котораго этикетъ не позволялъ ни преній, ни протестовъ. Если и это средство оказывалось беспильнымъ, тогда правительство приступало къ преслѣдованію отдѣльныхъ членовъ парламента.

¹⁾ Boiteau. Etat de la France, p. 176.

Что касается до области суда, то нарушение законнаго порядка или произвольное вмѣшательство власти производилось самыми различными способами: устраненіемъ извѣстныхъ лицъ изъ-подъ власти (подсудности) законнаго суда, вмѣшательствомъ въ судопроизводство, перенесеніемъ извѣстныхъ дѣлъ изъ-подъ вѣдѣнія компетентнаго суда въ другое судебное учрежденіе и, наконецъ, учрежденіемъ новаго королевскаго суда и чрезвычайныхъ судебныхъ комиссій.

Еще въ феодальную эпоху короли считали себя вынужденными освобождать своихъ чиновниковъ и агентовъ изъ-подъ вѣдѣнія законныхъ судебныхъ учрежденій и особыми указами (Committimus) переносили судебныя дѣла, въ которыхъ эти лица были замѣшаны, въ Парижъ и отдавали ихъ на разсмотрѣніе особыхъ трибуналовъ. Этотъ обычай, вызванный необходимостью оградить органы королевской власти отъ ненависти мѣстныхъ судовъ, постепенно обратился въ средство, къ которому охотно прибѣгали привилегированныя лица для того, чтобы измѣнить въ свою пользу ходъ правосудія. Принцы крови и аристократы, сановники и придворныя чины, ихъ друзья и служители постоянно добивались подобныхъ указовъ. Еще болѣе вредное вліяніе на ходъ правосудія имѣло право, которое было присвоено королевскимъ правительствомъ—непосредственно вмѣшиваться въ судопроизводство, и въ силу королевскихъ писемъ (носившихъ разныя наименованія ¹⁾) останавливать слѣдствіе, прекращать производство дѣла, отсрочивать исполненіе приговора или совершенно отмѣнять его.

Не довольствуясь этими частными нарушеніями законнаго судопроизводства, правительственная власть, исходя изъ вотчиннаго начала, по которому вотчинникъ былъ естественнымъ судьей своихъ подданныхъ (крѣпостныхъ), еще въ XIV вѣкѣ, т. е. вскорѣ послѣ окончательнаго установленія Парижскаго парламента, присвоила себѣ право привлекать, по своему усмотрѣнію, всякаго рода дѣла къ особому королевскому

¹⁾ Chassin. Le Génie de la Révolution. T II p. 78 sq.

суду, который дѣйствовалъ какъ-бы непосредственно отъ лица или отъ имени короля. Отсюда съ теченіемъ времени образовалось особое судебное учрежденіе (le Conseil Privé или des Parties) подъ предсѣдательствомъ канцлера, состоявшее въ концѣ XVIII вѣка изъ 42 совѣтниковъ (conseillers d'Etat) и 80 докладчиковъ (maîtres de requêtes) съ огромнымъ количествомъ секретарей и писцовъ. Этотъ совѣтъ представлялъ въ извѣстномъ смыслѣ верховный кассационный судъ, но пересмотръ дѣлъ совершался въ немъ не въ определенной инстанціи, а большею частію въ видѣ милости и привилегіи ¹⁾.

Самое же страшное орудіе королевскаго абсолютизма въ области суда были чрезвычайныя комиссіи, которыя составлялись съ спеціальною цѣлью и по мѣрѣ надобности и которымъ было предоставлено право вести дѣло, не стѣсняясь никакими законами, никакими формальностями и никакой процедурой. Таковы были пресловутыя „огненные палаты“ (Chambres ardentes), установленныя Францискомъ I для истребленія еретиковъ и впослѣдствіи такъ часто учреждавшіяся для того, чтобы выместить гнѣвъ правительства на откупщикахъ и финансовыхъ чиновникахъ и ихъ награбленнымъ богатствомъ пополнить истощенную казну.

Но это вмѣшательство въ область установленныхъ судовъ, это нарушеніе правительствомъ правильнаго хода судопроизводства не могли удовлетворить государственную власть XVII и XVIII вѣковъ. Этимъ способомъ можно было дѣйствовать только въ извѣстныхъ опредѣленныхъ случаяхъ; судебное преслѣдованіе могло быть направлено не противъ всякаго опаснаго и ненавистнаго человѣка; чрезвычайныя суды, не смотря на весь свой произволь, могли подвергать наказанію только за извѣстныя дѣйствія. Правительство же нуждалось въ орудіи, которое могло бы дѣйствовать мгновенно и всегда было бы наготовѣ, — въ дамокловомъ мечѣ, который бы висѣлъ надъ головою cadaго. Такой дамокловъ мечъ представляло собою право, присвоенное королевскою властью, удалять изъ

¹⁾ Voiteau. Etat de la France. 117.

общества или по крайней мѣрѣ изъ его обыкновеннаго круга дѣятельности всякое лицо, которое почему либо навлекло на себя неудовольствіе или подозрѣніе правительственныхъ чиновниковъ. Администрація пользовалась предоставленной ей властью безконтрольно и внѣ всякой регламентаціи; единственное основаніе, которымъ она должна была руководствоваться, было общее благо. Подобно тому, какъ ostracisme въ свое время считался необходимымъ условіемъ афинской демократіи, такъ французская монархія не могла существовать безъ административнаго ostracisme пресловутыхъ *zapeчатанныхъ королевскихъ посланій* (Lettres closes или Lettres de cachet). Эти письма, адресованныя за малую печатью короля на имя извѣстнаго лица, вмѣняли послѣднему въ обязанность немедленно удалиться въ указанное мѣсто, или же заключали въ себѣ приказаніе принять такое-то лицо на свою отвѣтственность и держать его подъ арестомъ до дальнѣйшаго распоряженія. Такимъ образомъ непріятности, сопряженныя съ полученіемъ письма за королевскою печатью, были весьма различны. Иногда послѣдствіемъ его была административная ссылка въ провинцію или въ какое-нибудь пограничное мѣстечко, гдѣ сосланный жилъ подъ надзоромъ мѣстныхъ властей, пользуясь, однако, полной свободой. Иногда же королевское письмо влекло за собой тяжелое заключеніе въ крѣпости, гдѣ несчастный, совершенно отрѣшенный отъ общества и отъ семьи, не получая часто никакихъ извѣстій изъ дому, проводилъ свое время на плохомъ содержаніи въ полномъ одиночествѣ, безъ занятій и нерѣдко безъ надеждъ на освобожденіе; ибо самое мѣсто заключенія иногда сохранялось въ глубокой тайнѣ и родственникамъ тогда не удавалось узнать, живъ ли еще заключенный или уже похороненъ на какомъ-нибудь кладбищѣ, подъ крестомъ съ арестантскимъ номеромъ, а администрація, при громадномъ количествѣ заключенныхъ, нерѣдко сама забывала о своихъ жертвахъ.

Какъ въ Афинахъ ostracisme исходилъ непосредственно отъ „государя“, т. е. отъ самодержавнаго народнаго собранія,

такъ и во Франціи каждое *запечатанное письмо*, кто бы ни былъ его настоящимъ авторомъ, считалось личнымъ приказаніемъ короля, непосредственнымъ проявленіемъ верховной власти, и это обстоятельство имѣло важное юридическое послѣдствіе. Подобно тому какъ аѳинскій остракизмъ, сколько бы онъ ни былъ тяжелъ для пострадавшаго лица, не налагалъ по общественному убѣжденію никакого позора на изгнанника или на его семью, а, напротивъ, выдвигалъ его изъ рядовъ современниковъ, такъ точно и королевскій французскій остракизмъ, съ точки зрѣнія даже самой власти, не заключалъ въ себѣ ничего позорящаго. Когда въ царствованіе Людовика XVI зашла рѣчь о томъ, чтобы подчинить эту административную кару извѣстнымъ правиламъ, разсмотрѣніе этого вопроса было поручено одному изъ самыхъ ловкихъ администраторовъ, Валансьенскому интенданту, Сенакъ де Мельяну. Въ своемъ мемуарѣ интендантъ высказался самымъ рѣзкимъ образомъ противъ намѣренія облечь административную ссылку въ законныя формы или подвергнуть всякое *запечатанное письмо короля* (какъ предполагалось) одобренію особой постоянной комиссіи. Между прочимъ Сенакъ де Мельянъ привелъ въ подтвержденіе своего взгляда слѣдующее соображеніе: „Тѣ, которые стали жертвами подобнаго дѣйствія власти, вынужденнаго у правосудія государя ¹⁾, и тѣ, которые заслужили временнаго лишенія свободы, возвращаются въ общество незапятнанными; они испытали такъ сказать отеческое исправленіе и не подверглись судебному приговору. Если же наказаніе будетъ исходить отъ какого-либо судебного трибунала или комиссіи, то это послужитъ въ ущербъ ихъ чести“.

Но если демократическій остракизмъ былъ рѣдкою мѣрой и падалъ только на самыхъ видныхъ гражданъ, то королевскій французскій остракизмъ никѣмъ не пренебрегалъ. „Великіе и малые, богатые и бѣдные, всѣ подвержены опасности;... даже самъ гордый Діогенъ могъ бы лишиться солнечнаго свѣта“, писалъ въ своемъ знаменитомъ памфлетѣ

¹⁾ D'un acte d'autorité, surpris à la justice du souverain.

противъ запечатанныхъ писемъ Венсенскій узникъ наканунѣ революціи. Королевская администрація такъ привыкла къ этому удобному средству устранять непріятныхъ людей, что число запечатанныхъ писемъ, разсылавшихся каждымъ министерствомъ, увеличивалось съ необыкновенной быстротой. Благодушный кардиналъ Флѣри хвалился, что въ его управленіе было разослано только 40,000 lettres de cachet. Изъ этого громаднаго числа административныхъ взысканій лишь небольшая часть бывала вызвана дѣйствительными интересами правительственной власти и государственнаго порядка. Въ этомъ-то и заключалось обоюдоострое свойство этого дамклова меча, что онъ сдѣлался орудіемъ частныхъ интересовъ и личныхъ страстей. Какъ будто абсолютная власть французскихъ королей могла держаться и дѣйствовать среди стараго порядка только благодаря тому, что такъ сказать воспроизводила себя ежеминутно въ полномъ своемъ абсолютизмѣ на каждомъ пунктѣ своей территоріи, — другими словами, что король долженъ былъ ввѣрять всю свою безграничную власть каждому министру, каждому интенданту, каждому административному чиновнику. Новая система государственной власти, казалось, могла отстоять себя среди враждебно расположеннаго общества только подъ условіемъ, чтобы право короля адресовать отъ своего имени lettres de cachet было обращено въ пустую формальность и собственно перенесено на всякаго представителя администраціи. При такомъ положеніи дѣла были неизбежны самыя поразительныя злоупотребленія. Письма за королевскою печатью стали служить не только для охраненія семейныхъ правовъ и для поддержанія супружескаго счастья, но и для личной мести, и для укрытія преступленій. Къ нимъ прибѣгали отцы, недовольные расточительностью своихъ сыновей, оскорбленные мужья, ограждавшіе свою честь, должники, спасавшіеся отъ кредиторовъ, преступники, желавшіе уйти отъ слѣдствія и суда. Достаточно было заручиться не только расположеніемъ министра или интенданта, но ихъ чиновниковъ и даже камердинеровъ и любовницъ, чтобы выхлопотать же-

ланное письмо. При нѣкоторыхъ министрахъ доходило до того, что установилась опредѣленная такса для королевскихъ писемъ, и любовница министра де Ла Врильера, графиня де Ланжакъ, почти открыто продавала ихъ по 500 ливровъ.

Подобныя злоупотребленія подрывали довѣріе къ власти и вселяли въ обществѣ не только ненависть къ королевскимъ письмамъ, но и полнѣйшее презрѣніе къ нимъ. Сами представители власти хорошо понимали, что вслѣдствіе слишкомъ частаго и бессмысленнаго употребленія этого меча, онъ пригнулся въ ихъ рукахъ. Но въ томъ-то и заключалось трагическое положеніе абсолютной власти среди феодальнаго порядка, что она не могла отказаться отъ орудія, ею же самой признаваемаго злоупотребленіемъ (*abus*). Ничто не представляетъ такъ ясно на видъ слабость французскаго абсолютизма въ прошломъ вѣкѣ и недостатки тогдашней бюрократіи, какъ это неумѣнье французскихъ министровъ управлять государствомъ безъ помощи административныхъ ссылокъ и произвольныхъ заключеній. Когда, при вступленіи на престолъ Людовика XVI, была сдѣлана попытка, не измѣняя существенно стараго порядка, преобразовать его, т. е., освободить отъ крайнихъ злоупотребленій, и Мальзербъ предложилъ въ государственномъ совѣтѣ уничтожить всѣ произвольныя дѣйствія административной власти, не обставленныя формами правильнаго суда, одинъ изъ членовъ совѣта воскликнулъ: „Если бы *lettres de cachet* были отмѣнены, я не захотѣлъ бы быть министромъ!“ Это чистосердечное сознание всего лучше характеризуетъ тотъ глубокій разладъ между правительственной системой, установившейся съ XVII вѣка, и государственнымъ порядкомъ, сохранившимся отъ феодальныхъ вѣковъ.

Но почему же французскіе короли, облеченные столь безграничною властью и снабженные всѣми орудіями бюрократической администраціи, не уничтожили этого разлада, почему они не измѣнили государственнаго и общественнаго строя согласно съ новымъ началомъ государственной жизни, почему они не довершили вѣкового дѣла, не объединили

Францію въ государственномъ отношеніи, т. е. не уничтожили розни провинцій, не объединили ее въ общественномъ отношеніи, т. е. не уничтожили розни сословій?—Эти вопросы рѣдко ставятся, а между тѣмъ отъ извѣстнаго разрѣшенія ихъ зависитъ основной взглядъ на всю исторію Франціи, а также на значеніе и характеръ „великой революціи“.

Легче всего, конечно, объяснить временный застой въ государственной жизни Франціи и отсутствіе коренныхъ реформъ въ эпоху королевскаго абсолютизма личными недостатками ея королей, безстыднымъ эгоизмомъ и равнодушіемъ Людовика XV и нравственнымъ безсиліемъ Людовика XVI. Но вѣдь въ Людовикѣ XIV не было недостатка въ энергіи и властолюбіи, а между тѣмъ и онъ не уничтожилъ указаннаго выше разлада. Съ другой стороны, на французскомъ престолѣ можетъ быть не было короля, котораго по отсутствію энергіи можно было бы сравнить съ Людовикомъ XIII; а между тѣмъ именно при этомъ королѣ было окончательно побѣждено феодальное самоуправство и развился королевскій абсолютизмъ. Наконецъ мы не должны забывать также, что и при Людовикѣ XV и XVI были сдѣланы нѣкоторыя серьезныя попытки къ переустройству Франціи и что эти попытки потерпѣли неудачу не вслѣдствіе равнодушія правительства, а вслѣдствіе сопротивленія со стороны самого общества.

Болѣе серьезнаго вниманія заслуживало бы объясненіе, которое попыталось бы возвести личные недостатки французскихъ королей въ періодъ абсолютизма къ общей причинѣ. Мы встрѣчаемся въ исторіи не разъ съ такимъ явленіемъ, что жизненная энергія, творческая дѣятельность извѣстной семьи, извѣстной династіи, необходимая для ея исторической роли, слабѣютъ, что династія такъ сказать вырождается, когда ея историческая роль сыграна. По мѣрѣ того, какъ салическіе завоеватели сливались съ туземнымъ романскимъ населеніемъ Галліи, по мѣрѣ того, какъ въ политическомъ бытѣ послѣдней совершалась ассимиляція римскаго и германскаго элементовъ, слабѣетъ энергія франкскаго королевскаго рода и дряхлѣютъ Меровинги. Историческая роль Ка-

ролинговъ была связана съ преобладаніемъ германскаго населенія Австразіи въ западной Европѣ. Когда окончательно установился во Франціи феодальный порядокъ, французскіе Каролинги, представители отживающей политической идеи о соединеніи романскаго запада съ германскимъ въ одной христіанской имперіи, теряютъ почву подъ ногами. Они физически не выродились, не утратили личной энергіи, но они не могутъ примириться съ новымъ общественнымъ порядкомъ, заставить новыя общественныя силы служить своимъ интересамъ. Они сходятъ со сцены, когда устанавливается новый порядокъ и уносятъ съ собою преданія отжившей эпохи.

Подобно этому и судьба Капетинговъ отождествилась съ ихъ исторической ролью. Призваніе ихъ состояло въ томъ, чтобы создать изъ феодальнаго хаоса французское государство подъ эгидой королевской власти. Это дѣло было окончено въ исходѣ XVII вѣка. Государство достигло своихъ естественныхъ границъ, феодальный порядокъ долженъ былъ преклониться передъ королевской властью, нація созрѣла. Дальнѣйшее движеніе могло совершиться только подъ знаменемъ другого начала; но Капетинги, въ лицѣ своей послѣдней вѣтви—бурбонской, не были въ состояніи водрузить это новое знамя, ихъ взоръ былъ постоянно обращенъ назадъ; они судорожно держались за существующій порядокъ, который постоянно уходилъ изъ-подъ ихъ ногъ.

Но и подобное объясненіе, основанное на предположеніи, что не только физическія свойства, черты фізіономіи и характера переходятъ по наслѣдству въ извѣстномъ родѣ, но что въ немъ вкореняются также, если онъ достаточно изолированъ отъ внѣшнихъ вліяній, извѣстный образъ мысли, извѣстный способъ отношенія къ окружающему ихъ міру—и это объясненіе въ данномъ случаѣ недостаточно, ибо заключаетъ въ себѣ много случайнаго и гадательнаго. Дѣятельность извѣстной династіи зависитъ не только отъ наслѣдственныхъ свойствъ ея, но главнымъ образомъ отъ историческаго характера ея власти и условій, среди которыхъ она вращается.

Историческій характеръ власти французскихъ королей обу-

словливался тѣмъ, что эта власть возникла на феодальной почвѣ. Феодализмъ же, какъ извѣстно, былъ основанъ на приурочиваніи государственныхъ функцій, а потомъ и самой государственной власти къ поземельной собственности. Отъ такого смѣшенія публичнаго права съ частнымъ государственная власть низошла на степень частной собственности. Хотя королевская власть во Франціи впоследствии впитала въ себя и другіе элементы изъ римскаго права и изъ каноническаго, напр., идею о божественномъ правѣ королей, — но эти элементы лишь послужили къ еще большому упроченію стариннаго взгляда, по которому государственная власть во Франціи считалась частнымъ достояніемъ королевскаго рода, была, такъ сказать, личною *привилегіей* династіи.

На совершенно такое же основаніе опирались привилегіи другихъ сословіи (*status, états*) въ королевствѣ — сеньеріальныя права дворянскихъ родовъ, иммунитетъ прелатовъ, наследственность должностей въ извѣстныхъ родахъ — въ судебныхъ и финансовыхъ палатахъ и на городской службѣ. Всѣ эти привилегіи вытекали изъ феодальнаго права, допустившаго превращеніе государственныхъ функцій въ частное достояніе, въ наследственную собственность. Такимъ образомъ королевская династія была солидарна съ привилегированными сословіями, государственная власть была привилегіей, собственностью династіи, и династія понятно щадила собственность, т. е. привилегіи другихъ государственныхъ элементовъ. Она не могла и не хотѣла лишить ихъ привилегій, такъ какъ это противорѣчило бы жизненному принципу, на которомъ династія основывала свои притязанія.

Сознаніе этой солидарности особенно живо проявлялось въ отношеніяхъ династіи къ дворянству. Представленіе о томъ, что королевскій родъ и дворянскіе роды (*les gentilshommes, т. е., gentiles homines*) коренятся въ одной почвѣ и что если подрѣзать корни дворянства, то изсохнетъ жизненная сила династіи — это представленіе всегда было живо во всѣхъ членахъ королевской семьи и связывало ихъ съ по-

слѣднимъ дворяниномъ. Конечно, много времени прошло съ тѣхъ поръ, когда феодальные сеньеры не признавали никакого различія между собой и королемъ, когда они полагали, что ихъ сеньеріальныя права однородны съ королевскими и нисколько не хуже ихъ, когда одинъ феодальный графъ на вопросъ французскаго короля: „Кто сдѣлалъ тебя графомъ?“ отвѣчалъ, не обинуясь: „А кто сдѣлалъ тебя королемъ?“ Многое измѣнилось съ тѣхъ поръ и потомки независимыхъ сеньеровъ, считавшіе высшей для себя честью, если удостоивались присутствовать при одѣваніи и раздѣваніи короля, и нерѣдко поддерживавшіе блескъ своего рода только милостями королевской семьи, не могли высказывать своихъ гордыхъ притязаній въ такой наивной формѣ, но попрежнему продолжали считать короля „первымъ дворяниномъ“ (*primus inter pares*). И этотъ взглядъ раздѣлялся всѣми членами королевскаго рода. Его высказалъ первый изъ королей бурбонской династіи, счастливый побѣдитель Лиги и мятежной аристократіи—Генрихъ IV: „*Je ne suis que le premier gentilhomme de mon royaume*“. Ту же мысль высказалъ и послѣдній изъ бурбонскихъ королей наканунѣ революціи, тогда еще носившій титулъ графа д'Артуа. Когда дворянство одного изъ южно-французскихъ сенешальствъ избрало его своимъ депутатомъ и онъ долженъ былъ, по приказанію короля, отказаться отъ предложеннаго порученія, графъ извѣстилъ о своемъ отказѣ дворянское собраніе въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Соблаговолите“, писалъ онъ президенту, „обратиться еще разъ отъ моего имени къ собранію и передать ему полное и искреннее увѣреніе, что кровь моего предка течетъ во мнѣ въ совершенной чистотѣ, и что пока останется одна капля ея въ моихъ жилахъ, я сумѣю доказать всему свѣту, что я достоинъ былъ родиться французскимъ дворяниномъ—*que je suis digne d'être né gentilhomme français*“ ¹⁾.

Если такъ смотрѣли на дѣло члены королевскаго рода, то естественно было самому дворянству считать свое исключи-

¹⁾ *Moniteur Universel* № 3, du 14 au 23 Mai 1789.

тельное и привилегированное положеніе въ обществѣ условіемъ необходимымъ для блеска и силы монархической власти во Франціи. Эти чувства не имѣли поводовъ высказываться въ эпоху неоспоримой власти потомковъ св. Людовика, но при первыхъ признакахъ предстоящей революціи дворянство спѣшитъ указать на солидарность между дворянскими привилегіями и ненарушимостью стараго монархическаго принципа. Когда Людовикъ XVI, утомленный борьбой, приказалъ наконецъ дворянской палатѣ уступить требованіямъ палаты коммунъ и слиться съ ней въ одно общее Національное Собраніе, предсѣдатель дворянской палаты, герцогъ Люксембургскій, умоляя короля отказаться отъ своего рѣшенія, высказалъ между прочимъ слѣдующее: „Вашему Величеству не безвѣстно, какимъ могуществомъ общественное мнѣніе и право народа облекли его представителей. Это могущество такъ велико, что самая верховная власть, которою Вы облечены, нѣмѣетъ подъ его вліяніемъ. Это безграничное могущество принадлежитъ во всемъ своемъ объемѣ Генеральнымъ Штатамъ, каковъ бы ни былъ ихъ составъ; но раздробленіе ихъ на 3 палаты сковываетъ ихъ дѣятельность и сохраняетъ за Вами свободу дѣйствій. Соединившись, Штаты не будутъ признавать надъ собою господина. Раздѣленные, они остаются Вашими подданными.“ — „Дефицитъ Вашихъ финансовъ, продолжалъ герцогъ тѣмъ напыщеннымъ и сентиментальнымъ языкомъ, который былъ тогда въ модѣ и который употребляли всѣ отъ государственныхъ людей и первоклассныхъ журналистовъ до деревенскихъ священниковъ и меровъ изъ крестьянъ, — и духъ инсубординаціи, охватившій Вашу армію, пугаютъ, я это знаю, Вашихъ совѣтниковъ; но, Ваше Величество, Вамъ остается Ваше вѣрное дворянство. Ему предстоитъ теперь добровольно, или, повинуваясь приглашенію Вашего Величества, соединиться со своими товарищами депутатами и раздѣлиться съ ними законодательную власть, или же умереть, защищая прерогативы престола. Въ его выборѣ не можетъ быть сомнѣнія—оно умретъ, не требуя за это никакой благодарности, ибо это его долгъ. Но умирая, дворянство спасетъ независи-

мость короны и обратить въ ничтожество всѣ дѣйствія Национальнаго Собранія, которое конечно нельзя будетъ считать полнымъ, послѣ того, какъ треть его членовъ будетъ предана на жертву яростной черни и ножамъ убійць.“

Герцогъ Люксембургскій является здѣсь представителемъ того большинства французскаго дворянства, которое имѣло болѣе въ виду сохраненіе своихъ почетныхъ привилегій, чѣмъ государственныя реформы и политическую свободу. Но не слѣдуетъ забывать, что съ другой стороны значительная часть и либеральнаго дворянства считала сохраненіе этихъ почетныхъ привилегій необходимымъ условіемъ для того, чтобы монархія не обратилась въ деспотію. Эта мысль была высказана въ половинѣ XVIII вѣка въ видѣ политической аксіомы знаменитымъ публицистомъ, который имѣлъ такое сильное вліяніе на своихъ современниковъ и идеями котораго руководилась отчасти еще во время французской революціи конституціонная партія.

По опредѣленію Монтескьё, существенное условіе и въ то же время главный признакъ монархіи въ отличіе отъ республики и деспотіи есть *привилегированное дворянство*.

„Посредствующія власти“ (les pouvoirs intermédiaires) говоритъ онъ, „подчиненныя и зависимыя, составляютъ сущность (la nature) монархическаго правленія. Самая естественная посредствующая власть — это дворянство. Оно входитъ, въ извѣстномъ смыслѣ, въ самую суть (essence) монархіи, и основной принципъ послѣдней — слѣдующій: безъ монархіи нѣтъ дворянства, безъ дворянства нѣтъ монарха (point de monarque, point de noblesse; point de noblesse, point de monarque)“¹⁾.

Но то дворянство, которое разумѣлъ Монтескьё, было современное ему французское дворянство съ феодальными привилегіями: „Такъ какъ честь (l'honneur) есть принципъ монархическаго правленія, то законы государства должны имѣть ее въ виду. Необходимо, чтобы законы содѣйствовали (qu'elles y travaillent) поддержанію этого дворянства, которое такъ

¹⁾ Esprit des Lois. Livre II. Ch. 4.

сказать порождаетъ честь и само порождено честью (dont l'honneur est pour ainsi dire l'enfant et le père)". — „Необходимо, чтобы законы дѣлали дворянство наследственнымъ, не для того, чтобы оно было стѣной между властью государя и слабостью народа, но для того, чтобы оно было взаимной связью между ними.“ -- „Маіораты, которые сохраняютъ имущество въ родѣ, будутъ очень полезны въ монархіи, хотя они не годятся при другихъ формахъ правленія“. Право родового выкупа возвратитъ дворянскимъ родамъ имѣнія, отчужденныя расточительностью какого-нибудь родича. „Дворянскія земли (les terres nobles) должны имѣть привилегіи, подобно лицамъ. Невозможно отдѣлить достоинство монарха отъ достоинства государства; точно такъ же невозможно отдѣлить достоинство дворянина (la dignité du noble) отъ достоинства его имѣнія (fief).“ „Всѣ эти привилегіи должны быть принадлежностью дворянства и не должны переходить къ народу, чтобы не нарушить принципа монархіи и чтобы не уменьшить силы дворянства и силы народа“ ¹⁾.

Это историческое родство между потомками сеньёровъ и потомками Гуго Капета, это признаніе солидарности между дворянскими привилегіями и прерогативами королевской династіи нужно считать одною изъ главныхъ причинъ той непосредственной снисходительности, съ которой французское правительство XVIII вѣка щадило дворянскія привилегіи, даже самыя бесполезныя для дворянства и наиболѣе стѣснительныя для народа. Королевская администрація постепенно вытѣснила дворянство изъ всѣхъ позицій, въ которыхъ оно могло соперничать съ ней. Правительство лишило дворянство политической власти, отняло у него управление провинціями и участіе въ высшемъ судѣ; оно сохранило, правда, за нѣкоторыми аристократами право назначать низшихъ судей и ставить висѣлицы на своей землѣ, но совершенно подчинило этотъ сеньеріальный вотчинный судъ своимъ чиновникамъ; въ арміи правительство оставило за дворянствомъ офицерскія мѣста, но подчинило его произволу военнаго министра, разобщило

¹⁾ Esprit d. L. L. V. Ch. 9.

дворянство съ крестьянами, отняло у него всякое вліяніе на тѣхъ, которыхъ дворянство продолжало называть своими „подданными (sujets и vassaux)“ и лишило его такимъ образомъ всякаго значенія даже въ мѣстной жизни. Но правительство не коснулось ни одной изъ привилегій, которыя поддерживали рознь между сословіями, и дворянство обольщалось иллюзіей, будто оно ничего не утратило изъ своего прежняго значенія. Хотя крестьяне на самомъ дѣлѣ стали свободными и даже независимыми отъ своихъ сеньёровъ, но они попрежнему были обязаны нести тѣ же повинности, которыя въ средніе вѣка были признаками ихъ политическаго подданства. Нѣкоторыя изъ этихъ повинностей, имѣвшихъ въ феодальное время значеніе простыхъ формальностей, теперь при освобожденіи крестьянъ и вслѣдствіе измѣнившихся экономическихъ и общественныхъ условій сдѣлались чрезвычайно обременительными для земледѣльческаго сословія.

Дворянство сохранило монополію сеньёріальной мельницы, сеньёріальнаго точила для винограда (pressoir) и сеньёріальнаго быка. Оно сохранило исключительное право держать голубей и охотиться. Дворянство, правда, было подчинено тѣмъ подоходнымъ податямъ, которыя были установлены абсолютной монархіей, но оно было попрежнему избавлено отъ самой тяжелой изъ податей, отъ поземельной подати, такъ какъ она въ своей средневѣковой формѣ оставалась главнымъ, и такъ сказать, позорнымъ признакомъ *податного человека* (taillable); и даже относительно общихъ податей дворяне пользовались особымъ, болѣе льготнымъ способомъ взиманія. Дворянство кромѣ придворной сферы не имѣло никакого реального вліянія, но продолжало смотрѣть на себя, какъ на властвующее сословіе, потому что его приказчики и лакеи избавлялись отъ общей подати и потому, что иногда по требованію сеньёра услужливый интендантъ спѣшилъ проводить новую дорогу къ его усадьбѣ посредствомъ крестьянской барщины. Помѣщикъ былъ такъ стѣсненъ администраціей, что въ его собственной деревнѣ на него смотрѣли, какъ на чужого, но зато если онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ высшей адми-

нистраціей, то по его просьбѣ заключали подъ арестъ безъ суда неприятныхъ ему сосѣдей) ¹⁾.

Такимъ образомъ королевская власть, продолжая вѣковую борьбу съ феодалными властями, лишила дворянство всякаго политическаго вліянія и всякаго значенія въ управленіи страной. Она постепенно, то сознательно, то инстинктивно подтачивала основы дворянства и привела его въ совершенную зависимость отъ королевскихъ милостей и отъ благосклонности правительственной администраціи. Но она тщателью сохранила за нимъ всѣ почетныя и отчасти податныя привилегіи, поддерживая его, какъ непреодолимый барьеръ между собой и народомъ. Точно такъ же королевское правительство поступало и относительно прочихъ привилегированныхъ сословіи.

Что касается духовенства, то французскіе короли привели его въ совершенную зависимость отъ себя, становясь, съ одной стороны его орудіемъ и беспощадно преслѣдуя въ угоду ему протестантовъ, — съ другой, покровительствуя по временамъ движеніямъ, подрывавшимъ авторитетъ церкви. Правительство то подчинялось вліянію іезуитовъ, то дозволяло парламенту поддерживать янсенистовъ, то давало просторъ антирелигіозной печати, то преслѣдовало сочиненія враждебныя католицизму и духовенству. Не только весь личный составъ высшаго духовенства зависѣлъ отъ благоусмотрѣнія короля и его министровъ, но королевская администрація съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе подчиняла себѣ различныя церковныя учрежденія. Администрація закрывала по своему усмотрѣнію монастыри, заставляла госпитали и богадѣльни, которыя были тогда большею частію независимыми церковными учрежденіями, продавать свои поземельные участки и превращать вырученный капиталъ въ государственную ренту; наблюдала посредствомъ своихъ чиновниковъ за выгоднымъ

¹⁾ Подобный случай, заимствованный Токвилемъ изъ переписки интендантовъ, приведенъ имъ въ примѣчаніяхъ къ соч. *L'ancien régime et la Révolution*, p. 448.

помѣщеніемъ монастырскихъ суммъ и т. д. ¹⁾. Но въ то же время правительство такъ тщательно охраняло всѣ феодальныя привилегіи, принадлежавшія духовенству, что единственные крѣпостные, оказавшіеся во Франціи въ началѣ революціи, были собственностью духовныхъ лицъ.

Города все болѣе и болѣе теряютъ самостоятельность и мѣстное самоуправленіе, все болѣе и болѣе подпадаютъ подъ произволъ интенданта и его субделегата. Въ XVIII вѣкѣ города совершенно утрачиваютъ право распоряжаться своимъ имуществомъ и облагать себя мѣстными податями. Они не могутъ ни продавать своихъ имуществъ, ни отдавать въ аренду, ни дѣлать займа подъ ихъ обезпеченіе, ни вести процессы, ни установить новую пошлину безъ разрѣшенія государственнаго совѣта, основаннаго на донесеніи интенданта. Ежеминутно хозяйственная и административная жизнь города нарушается неожиданными распоряженіями администраціи, которыя такъ часто слѣдовали одно за другимъ, что объ нихъ легко забывали. А между тѣмъ короли постоянно держались старинной политики Людовика XI, которая заключалась въ томъ, чтобы увеличивать въ городахъ число привилегированныхъ лицъ, стѣснять демократическое устройство средневѣковыхъ коммунъ и все болѣе и болѣе сосредоточивать городскія дѣла въ рукахъ олигархіи. Это была та же политика, которая привела къ разоренію муниципій Римской Имперіи.

Но политика старой монархіи относительно привилегіи особенно ярко отражается на положеніи 13 парламентовъ до-революціонной Франціи. Королевская администрація постоянно суживала кругъ дѣятельности этихъ парламентовъ. Развивающаяся экономическая и государственная жизнь вызывали новыя потребности, съ новыми сферами административной и

¹⁾ Токвиль приводитъ приказаніе министра финансовъ (contrôleur général) на имя интенданта уплатить одному монастырю кармелитовъ 15,000 л. и удостовѣриться, чтобы этотъ капиталъ былъ производительно помѣщенъ. «Подобные факты встрѣчаются на каждомъ шагу» въ административной перепискѣ, прибавляетъ историкъ *старой монархіи*, стр. 407.

судебной дѣятельности, которыя были совершенно изъяты изъ-подъ вѣдѣнія парламента; постоянно появлялись новыя королевскія распоряженія, въ которыхъ повторялась формула, что дѣла, которыя могутъ возникнуть вслѣдствіе существованія новаго закона, не должны подлежать разсмотрѣнію парламента и даже прежній кругъ дѣятельности парламента постоянно нарушался произвольнымъ перенесеніемъ дѣлъ въ Государственный Совѣтъ и другія административныя мѣста. А между тѣмъ члены парламента сохранили свои наслѣдственныя привилегіи неприкосновенными до самой революціи. Парламенты попережнему пререкаются съ административными органами правительства, кассируютъ ихъ распоряженія, грозятъ имъ судебнымъ преслѣдованіемъ; тонъ этихъ пререканій остается попережнему не только рѣзкимъ, но и становится иногда оскорбителенъ для правительства, ибо случается, что парламентъ, не обинуясь, называетъ министерскія распоряженія „произвольными и деспотическими дѣйствіями“.

Со времени смерти Людовика XIV значеніе, которое присвоиваетъ себѣ Парижскій парламентъ, даже увеличивается, такъ какъ онъ начинаетъ играть политическую роль и стоитъ въ постоянной оппозиціи противъ финансовыхъ мѣръ правительства.

✕ Такимъ образомъ мы встрѣчаемъ во всѣхъ слояхъ стариннаго французскаго общества феодальныя учрежденія, средне-вѣковые порядки и принципы. Королевская власть подкопалась подъ эти учрежденія, лишила ихъ реального значенія, порвала ихъ связь съ народною жизнью, но не отмѣнила ихъ. Какъ средне-вѣковые готическіе монастыри и феодальныя замки попережнему возвышались надъ французскими деревнями и городами, такъ же, повидимому, незыблемо воздымались надъ народною массой штаты сеньеровъ и прелатовъ, городскія нотабли, провинціальныя парламенты и прочія средне-вѣковыя учрежденія. Но подъ почвой, на которую они опирались своею громадною тяжестью, королевская власть посредствомъ неутомимой вѣковой работы своихъ административныхъ органовъ подвела обширную мину. Достаточно

было, кажется, одной искры, чтобы всю эту тяжесть средне-вѣковыхъ сооруженій низвергнуть въ бездну; достаточно было, повидимому, нѣсколькихъ правительственныхъ указовъ съ извѣстной формулой *de par le roi*, чтобы стереть съ лица Франціи всѣ привилегіи — сословныя, провинціальныя и корпоративныя. Но правительство не издавало этихъ указовъ, оно щадило даже тѣ привилегіи, которыя наиболѣе стѣсняли его собственную дѣятельность.

Мы указали на то, что главная причина этой снисходительности и слабости заключалась въ феодальномъ происхожденіи королевской власти, въ солидарности, которая въ глазахъ династіи связывала ее съ привилегированными классами.

Конечно, эта солидарность сознавалась преимущественно только относительно двухъ высшихъ сословій дворянства и духовенства. Потомки Св. Людовика, считая себя первыми дворянами Франціи и наслѣдственными защитниками французской церкви, продолжали заботиться о томъ, чтобы не утратилась ни одна изъ привилегій дворянъ и прелатовъ. Но на отношенія къ привилегированнымъ лицамъ третьяго сословія и къ корпораціямъ, основаннымъ на наслѣдственности должностей, имѣли вліяніе и финансовыя соображенія. Продажа и перепродажа государственныхъ, придворныхъ и городскихъ должностей, всегда связанныхъ съ изъятіемъ лица изъ податнаго сословія, продолжали до конца старой монархіи служить средствомъ, къ которому она прибѣгала въ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Если правительство не было въ состояніи отказаться отъ учрежденія и продажи новыхъ, совершенно бесполезныхъ и бессмысленныхъ должностей, по признанію самой администраціи чрезвычайно обременявшихъ податное сословіе, то уничтожить вдругъ или хотя по частямъ уже запроданныя должности было для него еще болѣе затруднительно. Это уничтоженіе могло быть произведено только двумя способами — посредствомъ возврата чиновникамъ и привилегированнымъ лицамъ затраченнаго капитала, или произвольной, насильственной отмѣной должно-

стей безъ выкупа. Для перваго способа понадобилась бы громадная финансовая операція, которая была бы не по средствамъ тогдашнему бюджету. Прибѣгнуть же ко второму способу значило бы объявить банкротство казны, рѣшиться на захватъ частной собственности въ неслыханныхъ размѣрахъ, заклеить себя вѣроломствомъ, а главное возстановить противъ себя весь средній классъ, всю финансовую и судебную администрацію. Конечно, королевское правительство съ среднихъ вѣковъ привыкло прибѣгать къ вышеприведеннымъ средствамъ, — къ банкротству, къ произвольной конфискаціи частной собственности, и къ вѣроломному нарушенію своихъ обязательствъ; оно до конца слѣдовало такой политикѣ. Напримѣръ еще въ XVIII вѣкѣ французское правительство заставило потомковъ тѣхъ дворянъ, которые купили должности, сопряженныя съ дворянствомъ, снова уплатить покупную сумму подъ страхомъ лишенія дворянства. Но, въ подобныхъ случаяхъ, правительство только два или три раза заставляло платить за однѣ и тѣ же привилегіи, не отнимая самыхъ привилегій. Притомъ, въ каждомъ данномъ случаѣ, страдалъ извѣстный только классъ общества. Совсѣмъ иной поднялся бы ропоть, если бы правительство принялось систематически и окончательно отнимать запроданныя должности безъ всякаго вознагражденія.

Къ этой, какъ мы выразились, солидарности правительства и привилегированныхъ классовъ и къ финансовымъ соображеніямъ присоединилась еще одна очень важная причина — робость правительства въ виду сопротивленія со стороны привилегированныхъ сословій и уступчивость его общественному мнѣнію, которое долгое время слагалось исключительно подъ вліяніемъ привилегированныхъ классовъ.

Мы уже имѣли случай указать на аналогію между политикой римскихъ императоровъ по отношенію къ республиканскимъ учрежденіямъ и политикой французскихъ королей въ періодъ абсолютизма по отношенію къ учрежденіямъ предшествовавшаго феодальнаго періода. Эта аналогія увеличивается еще тѣмъ, что какъ въ Римѣ, такъ и во Франціи одна изъ

причинъ, породившихъ уступчивость новаго абсолютизма передъ старыми формами и учрежденіями, заключалась въ необходимости щадить общественное мнѣніе, которое въ обоихъ случаяхъ исключительно почти опредѣлялось настроеніемъ высшихъ привилегированныхъ классовъ, побѣжденныхъ новымъ началомъ. Не касаясь подробностей императорской политики, укажемъ на то, что уваженіе французскихъ королей къ общественному мнѣнію, т.-е. въ данномъ случаѣ, къ понятіямъ привилегированныхъ классовъ, обуславливалось болѣе всего положеніемъ французской или католической церкви. Въ странахъ не католическихъ и преимущественно въ протестантскихъ монархъ могъ-бы гораздо смѣлѣе идти въ разрѣзъ съ понятіями и интересами высшихъ и привилегированныхъ классовъ, такъ какъ между нимъ и этими классами не стояла бы привилегированная, вѣрная преданію церковь; преобразователь, раздражая эгоистическое общественное мнѣніе своими политическими и административными реформами, не оскорблялъ бы при этомъ религіознаго чувства своихъ подданныхъ. Во Франціи-же католическая церковь представляла самое крѣпкое связующее звено между феодальной аристократіей и королемъ. Она была тѣсно сплетена своими матеріальными интересами съ этой феодальной аристократіей, такъ какъ съ одной стороны часть десятины перешла въ руки свѣтскихъ людей (*dîmes inféodées*) и получила чисто гражданское значеніе, съ другой стороны значительная часть церковныхъ и монастырскихъ доходовъ заключалась въ чисто помѣщичьихъ повинностяхъ, основанныхъ на феодальномъ правѣ и только имъ объяснимыхъ. Такимъ образомъ всякая гражданская реформа въ области землевладѣнія, всякое измѣненіе прежнихъ отношеній между помѣщиками и крестьянами пошатнули бы положеніе церкви и нанесли бы ей чрезвычайно чувствительный ущербъ. Кромѣ того, церковь тѣсно связывала правительство съ феодальной аристократіей посредствомъ личнаго состава высшей прелатуры. Почти всѣ прелаты были изъ дворянъ и потому вносили въ церковь настроеніе и духъ своей касты: правительство, за-

дѣвъ интересы дворянъ разныхъ категорій (дворянства со шпагой, noblesse d'érée, и дворянства въ судейскомъ платьѣ, noblesse de robe), неминуемо вооружило бы противъ себя ихъ родственниковъ въ митрахъ и съ посохами. Но что еще важнѣе—начиная со временъ Каролинговъ, когда канцлеры королевскіе впервые стали избираться изъ духовныхъ, до самаго низверженія капетингской династіи революціей,—мы почти всегда встрѣчаемъ въ совѣтѣ французскихъ королей епископовъ и кардиналовъ не только въ качествѣ духовниковъ, но въ положеніи и съ правами свѣтскихъ министровъ; правда, именно два кардинала наиболѣе содѣйствовали утвержденію во Франціи монархической власти и бюрократическаго начала, но ихъ-то дѣятельность и доказываетъ, какимъ образомъ такая политика мирилась съ снисходительностью къ гражданскимъ привилегіямъ двухъ высшихъ сословій. Наконецъ, что всего важнѣе, католическая церковь, съ тѣхъ поръ, какъ она окончательно организовалась, является въ исторіи самымъ величественнымъ воплощеніемъ искусственно-охранительнаго начала и вѣрности преданію, вселяя этотъ духъ во всѣ области, съ которыми она соприкасалась, и потому по роковой необходимости гражданскій прогрессъ, ломка феодальнаго порядка, отмѣна привилегій и коренныя реформы были мыслимы во Франціи только съ торжествомъ на престолѣ враждебныхъ католицизму идей.

Вслѣдствіе этихъ разнородныхъ вліяній—солидарности династіи съ феодальной аристократіей, невозможности для королевской администраціи при стѣсненіи финансовыхъ средствъ устранить наслѣдственность должностей и продажу привилегій третьему сословію; наконецъ, вслѣдствіе вліянія тогдашняго общественнаго мнѣнія въ высшихъ слояхъ и косныхъ началъ католицизма — внутренняя политика французскихъ королей въ періодъ абсолютизма представляетъ странную двойственность и неестественную нерѣшительность, которая нерѣдко придаютъ ей характеръ апатіи, эгоизма и непростительнаго равнодушія при произволѣ и деспотизмѣ. Но взглянувъ ближе, мы замѣчаемъ въ ней двѣ различныя струи,

которыя восходятъ къ двумъ различнымъ источникамъ. Съ одной стороны мы видимъ быстрое и сильное развитіе централизаціи, кипучую дѣятельность чиновничества, заботливость правительственныхъ органовъ о многихъ матеріальныхъ интересахъ общества, увеличивающуюся страсть къ регламентаціи самыхъ мелкихъ потребностей общественной жизни: съ другой — неподвижность, подчиненіе историческимъ предразсудкамъ, снисходительное равнодушіе къ привилегіямъ и послабленіе привилегированнымъ классамъ, доходящее до непростительнаго пристрастія. Одно объясняется жизненной силой центральной власти, объединившей государство и создавшей его національность, сознаниемъ со стороны правительства своихъ историческихъ заслугъ и инстинктивнымъ пониманіемъ своего историческаго призванія. Другое объясняется исторической связью представительницы этой централизующей власти, т.-е. династіи, съ устарѣвшими вѣковыми учрежденіями и зависимостью администраціи отъ общественнаго мнѣнія, которое находится еще исключительно подъ вліяніемъ привилегированныхъ классовъ. Такимъ образомъ, Франція XVIII вѣка представляетъ намъ странное явленіе государства, въ которомъ сильная монархическая власть, опирающаяся на чрезвычайно развитую административную централизацію, управляетъ страной въ угоду привилегированнаго меньшинства, отказываясь отъ дальнѣйшаго расширенія своей власти на счетъ привилегій.

Выходъ изъ подобнаго положенія могъ быть двоякій, смотря по условіямъ страны. Въ странѣ, не очень цивилизованной съ слабымъ общественнымъ мнѣніемъ центральная власть могла бы сдѣлать послѣдній рѣшительный шагъ, опираясь на собственную силу; она успѣла бы побѣдить привилегированные классы во имя одного монархическаго начала и водрузить на развалинахъ привилегированнаго строя чистый абсолютизмъ. Но въ странѣ съ высокой цивилизаціей, подобной Франціи, съ сильнымъ общественнымъ мнѣніемъ, такой исходъ былъ невозможенъ. Центральная власть могла преобразовать старый порядокъ только въ союзѣ съ убѣжде-

ніями и желаніемъ общества. Такой благопріятный моментъ насталь наконецъ для французскаго правительства.

Во второй четверти XVIII вѣка начался знаменательный поворотъ въ общественномъ мнѣніи французскаго общества. Поворотъ этотъ былъ дѣломъ литературы, которая отчасти подъ вліяніемъ англійской философіи и англійской общественной жизни, отчасти, продолжая нѣкоторыя преданія отечественной мысли, стала вдругъ въ рѣшительную оппозицію ко всему прошлому и настоящему Франціи. Несмотря на такое направленіе литературы, ее съ сочувствіемъ привѣтствовали многіе представители привилегированныхъ классовъ, у которыхъ она нашла покровительство противъ нерасположенія и преслѣдованія со стороны правительства. Благодаря сочувствію нѣкоторой части высшей аристократіи, произведенія новой литературы находили себѣ даже доступъ ко двору, и на самыхъ смѣлыхъ руководителей литературной оппозиціи падалъ иногда отблескъ королевской милости.

При отсутствіи политической жизни, литература скоро совершенно завладѣла общественнымъ мнѣніемъ и сдѣлалась исключительной руководительницей его, а революціонный характеръ этой литературы былъ значительно сглаженъ и скрытъ отъ сознанія общества тѣмъ обстоятельствомъ, что новыя идеи усвоивались съ жадностью именно привилегированными классами, которые почти одни и составляли въ то время развитую и мыслящую часть французскаго общества. Къ привилегированнымъ классамъ примыкалъ въ этомъ случаѣ и верхній слой такъ называемаго третьяго сословія.

Вліяніе литературы на общественное мнѣніе проявилось прежде всего въ равнодушіи и даже враждебности къ преданіямъ прошедшаго, къ средневѣковымъ учрежденіямъ, преимущественно къ католической церкви. Затѣмъ общество задалось новыми идеалами и создало себѣ близкіе, дорогіе ему интересы. Выработалось понятіе о человѣкѣ, отвлеченномъ отъ всякихъ историческихъ условій сословія, расы и времени, о человѣкѣ, какимъ онъ представлялся до начала своей земной исторіи, породившей всѣ различія между

людьми, или по крайней мѣрѣ понятіе о человѣкѣ, какимъ онъ бы долженъ быть по представленію тогдашней философіи. Это понятіе было возведено въ идеаль и въ то же время воплощено въ живое, дѣйствительное существо. Разсматривались права и требованія этого существа и все это опредѣлялось на основаніи чистаго разума. Этотъ созданный разумомъ человѣкъ былъ принятъ за единицу, съ помощью которой должны были разрѣшаться всѣ общественныя и политическія задачи. Это былъ законченный въ самомъ себѣ, совершенный микрокосмъ; взаимодействие этихъ одинаковыхъ, совершенныхъ микрокосмовъ составляло общественную жизнь. Это былъ атомъ, а изъ суммы подобныхъ атомовъ слагалось государство. Такимъ образомъ всѣ отправления и законы общества, все государственное устройство логически и послѣдовательно развивались изъ основнаго, теоретическаго понятія о человѣкѣ.

Но этотъ идеаль человѣка былъ не только предметомъ анализа для разума—онъ былъ достоинъ любви и симпатіи. Отсюда явились—нѣжная заботливость къ его нуждамъ и къ его страданіямъ, снисходительность къ его заблужденіямъ и проступкамъ, требованія терпимости для его мыслей и убѣжденій, требованіе гуманности и справедливости въ его столкновеніяхъ съ другими и смягченія наказаній для виновныхъ.

Это умственное напряженіе общества, этотъ вѣчный анализъ отвлеченнаго человѣка и его правъ, эта горячая любовь къ человѣческому идеалу, это гуманное состраданіе къ лишеніямъ и нуждамъ человѣка не могло, конечно, не измѣнить отношеній общественнаго мнѣнія къ условіямъ и порядкамъ современной жизни, не могло не возбудить въ немъ сознанія поразительнаго противорѣчія между его идеалами и тогдашнею дѣйствительностью.

Постепенно стало распространяться убѣжденіе въ несправедливости податныхъ привилегій, въ необходимости уравнивать повинности; явилось уваженіе къ труду и промысламъ; мнѣніе, что государственная власть призвана служить обществу и

что интересы общества требуют благосостоянія массъ, стало господствующимъ; вмѣсто прежняго равнодушія и презрѣнія къ податнымъ и рабочимъ классамъ (vilains, roture) явился живой интересъ къ нимъ и филантропическое сочувствіе, которое дошло до того, что народной массѣ стали приписывать однѣ только добродѣтели и непогрѣшимые инстинкты, и что мысль о ней всегда сопровождалась глубокимъ, а нерѣдко и сентиментальнымъ умиленіемъ. Эта вѣра въ народную массу, горячая любовь къ ней, все болѣе и болѣе росли въ продолженіе XVIII-го вѣка, пока наконецъ сентябрскія убійства и картины террора не разрушили идиллическаго представленія, выразившагося въ томъ, что слово peuple совершенно вытѣснило прежнее выраженіе populace.

Новыя идеи, конечно, не одинаково проникали во всѣ слои французскаго общества и во многихъ умахъ страннымъ образомъ смѣшивались съ идеями противоположнаго порядка и съ отживавшими предразсудками. Тѣмъ не менѣе ихъ успѣхъ становился съ каждымъ днемъ ощутительнѣе и онѣ покоряли своей власти самыхъ закорузлыхъ приверженцевъ феодальнаго порядка и самыхъ лучшихъ дѣятелей государственной администраціи. Какъ на самые интересные типы, можно съ одной стороны указать на маркиза Мирабо, съ другой на Тюрго и маркиза д'Аржансона.

Что касается перваго, то этотъ оригинальный маркизь, феодалъ и литераторъ, семейный деспотъ и „другъ людей“ (l'ami des hommes), приверженецъ самаго радикальнаго бюрократизма и либераль стараго закала—заслужилъ репутацію чудака и самодура не только своей частной жизнью, но и своей дѣятельностью, какъ писатель. Онъ смотритъ еще на массу рабочаго народа, какъ на *вьючную скотину* (bête de somme), но требуетъ, чтобы самая неусыпная дѣятельность государства была направлена на *улучшеніе быта трудящейся массы*, чтобы главное попеченіе государственныхъ людей имѣло въ виду соразмѣрность навьюченныхъ на народъ тяжестей. Онъ почти не уступаетъ социалистамъ тамъ, гдѣ возлагаетъ на государство всѣ заботы о *бѣдныхъ* и всю отвѣт-

ственность за ихъ судьбу; но за бѣдныхъ онъ вступается не только какъ филантропъ и другъ людей, а еще потому, что считаетъ это выгоднымъ для государства. Онъ требуетъ *братскаго чувства* (fraternité) и взаимной любви между всѣми классами общества, но онъ хочетъ, чтобы это братское общество управлялось *старшими братьями* (дворянами) по праву первородства.

Тюрго въ свою бытность интендантомъ сдѣлался идеаломъ администратора. На немъ лучше всего можно прослѣдить разницу между новыми администраторами, проникнутыми любовью къ государству, какъ проводнику общаго блага, и старыми, исключительно служившими королевской власти. Онъ раздѣляетъ съ послѣдними властолюбіе, страсть къ однообразію, къ сглаживанію всѣхъ шероховатостей, ограничивающихъ просторъ государственной власти, но онъ превосходитъ ихъ пренебреженіемъ къ преданію и ненавистью къ привилегіямъ ¹⁾. Главное же отличіе его заключается въ его любви, въ его состраданіи къ управляемымъ, въ постоянныхъ попеченіяхъ о томъ, чтобы облегчить тяжесть ихъ повинностей и улучшить ихъ бытъ, въ стараніяхъ оказать неимущимъ *государственную помощь*, осуществить въ самыхъ широкихъ размѣрахъ благотворительность государства (la charité de l'Etat).

Что же касается до знаменитаго государственнаго чело-вѣка, который при другихъ обстоятельствахъ могъ бы сдѣлаться однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ политическихъ реформаторовъ, маркиза д'Аржансона, то его „Записки“ лучше всего свидѣтельствуютъ о томъ, какой громадный переворотъ подготовлялся во французскомъ обществѣ, а вслѣдствіе этого и въ государствѣ. Нужно при этомъ вспомнить, что эти „Записки“ относятся еще къ первой половинѣ XVIII вѣка (1746—1756), къ тому времени, когда монархическая власть еще не утратила своего величія и блеска, когда Людовикъ XV еще назывался *возлюбленнымъ* (le bienaimé), когда въ обществѣ еще господствовалъ Монтескьё, а не Руссо

1) См. Токвиль: Oeuvres Complètes. Т. VIII, p. 155. Замѣтки о Тюрго.

и энциклопедисты. „Все нуждается въ реформахъ“, замѣчаетъ д'Аржансонъ въ одномъ мѣстѣ своего журнала, „иначе зданіе сокрушится“. А въ другомъ мѣстѣ: „Этому государству несомнѣнно предстоитъ революція; оно потрясено въ своихъ основаніяхъ“ (il croule par ses fondements). Или: „Не Франція собственно подвергается опасности, а ея правительство. Дурной успѣхъ нашего монархическаго абсолютнаго правительства окончательно убѣждаетъ Францію и всю Европу, что это худшая изъ правительственныхъ системъ. Никогда не говорили такъ много о *народѣ* и о *государствѣ*, какъ теперь. Эти два слова никогда не произносились при Людовикѣ XIV. Тогда не существовало даже понятія о нихъ. Впервые въ это царствованіе было возбуждено общественное мнѣніе подъ вліяніемъ сосѣдней Англіи, а *мнѣнія управляютъ міромъ*“.

Всего замѣчательнѣе, что министръ Людовика XV не только понималъ, что предстоитъ глубокой общественной и государственной переворотъ, но ясно сознавалъ сущность и характеръ этого переворота. Необыкновенно поучительны для исторіи Франціи слѣдующія поразительныя пророческія слова д'Аржансона, записанныя за 40 лѣтъ до революціи, въ самую глухую эпоху старой монархіи: „Если когда нибудь народъ войдетъ въ свою волю и снова получитъ свои права, онъ неминуемо установитъ всеобщее національное собраніе“¹⁾.

Конечно, не всѣ министры Людовика XV были такъ дальновидны, какъ маркизь д'Аржансонъ, и не всѣ его интенданты такъ заботились объ общественномъ благѣ и были такіе охотники до радикальныхъ реформъ, какъ Тюрго, но новый духъ времени, отовсюду проникая въ администрацію, не могъ не вдохнуть въ нее новой жизни и дать ей новое направленіе. О силѣ этого новаго духа и о вліяніи общественнаго мнѣнія на ходъ государственной жизни можно судить лучше всего по тому, что эта сила коснулась самого

¹⁾ См. Rémusat. Politique Libérale, p. 116. „Si jamais la nation allait rentrer dans sa volonté et dans ses droits, elle ne manquerait pas d'établir une *assemblée nationale universelle*“.

Людовика XV и этот повидимому наиболее равнодушный и невозмутимый изъ абсолютныхъ монарховъ произнесъ однажды такія слова: „Назначаю своихъ министровъ я, но отставку имъ даетъ нація—*c'est la nation qui les renvoit*“¹⁾. Какая противоположность между этимъ признаніемъ короля и девизомъ его предшественника — „государство — это я“, и какая глубокая переменна произошла во Франціи въ промежутокъ времени между дѣдомъ и правнукомъ, несмотря на все однообразіе политическихъ формъ и неподвижную гладь на поверхности государственной жизни!

При этихъ обстоятельствахъ слѣдовало ожидать, что королевское правительство наконецъ встрепетается, рѣшительно вступить на путь реформъ и начнетъ устранять привилегіи. Но это не случилось потому, что правительство давно уже не дѣйствовало по собственному почину, а только уступало напору общественнаго мнѣнія. Оно походило на ладью, которую поднимаетъ, колышетъ и носитъ бурное теченіе, но которая не можетъ уплыть съ теченіемъ потому, что крѣпко привязана къ неподвижной опорѣ. Кромѣ того, какъ мы уже замѣтили, самое общественное мнѣніе имѣетъ свою исторію; оно постепенно развивалось, росло, распространялось и укрѣплялось. Новыя идеи медленно пробивались въ привилегированные слои и въ административный механизмъ. Меньшинство проникалось ими, порывалось впередъ, иногда увлекало правительство; большинство же оставалось равнодушнымъ и задерживало движеніе. Этимъ объясняется весь характеръ правительственной дѣятельности: нерѣшительность центральной власти, при большой суетливости, многочисленные проекты преобразованій, которымъ не даютъ движенія, — то изъ страха передъ оппозиціей, то вслѣдствіе разногласія между правительственными органами и придворными партіями, а иногда даже вслѣдствіе недовѣрія къ старому правительственному духу²⁾; отсюда слабыя попытки реформъ,

1) Tocqueville. Oeuvres, T. V, p. 49.

2) Въ этомъ отношеніи въ высшей степени знаменателенъ тотъ фактъ, что превращеніе натуральной повинности при проведеніи и исправленіи

которыя постоянно обрываются, несоотвѣтствіе между словами правительства и его дѣйствіями. Новыя понятія и выраженія проникаютъ изъ литературы въ слогъ официальныхъ бумагъ, льстятъ общественному мнѣнію и возбуждаютъ его, такъ что если судить по его языку, то королевское правительство въ исходѣ XVIII в. можно считать радикальнымъ и даже поборникомъ социализма; но никакая другая эпоха не представляетъ такого контраста между революционнымъ языкомъ канцелярскихъ писаній и правительственныхъ манифестовъ и неподвижной рутинною и немощью администраціи ¹⁾).

Но наконецъ, повидимому, насталъ давно ожидаемый часъ. Королевское правительство объявляетъ войну средневѣковому порядку и привилегіямъ и рѣшается нанести имъ первый тяжелый ударъ. На кого же падетъ этотъ ударъ? На старинныхъ соперниковъ королевской династіи, — на феодалныхъ сеньеровъ, или на высшее духовенство, превратившее доходныя мѣста іерархіи въ синекуры для младшихъ сыновей

дорогъ въ денежную повинность, — реформа, составлявшая первую заботу благомыслившихъ интендантовъ, подобныхъ Тюрго, и проведенная тотчасъ провинціальными собраніями, созданными Людовикомъ XVI, — эта реформа была уже задумана министрами Орри и Трюденомъ, но не была приведена въ исполненіе изъ страха, что казна употребитъ вырученныя суммы не на пути сообщенія, а на другія потребности, и при томъ по прежнему станеть исправлять дороги посредствомъ наряда мѣстныхъ крестьянъ. См. Токвиль, 180.

1) Токвиль посвятилъ цѣлую главу своего сочиненія «L'ancien régime et la révolution» указанію на революціонную пропаганду королевскихъ эдиктовъ и подкрѣпилъ это многочисленными выдержками изъ нихъ: всѣ почти приведенные имъ примѣры относятся ко времени Людовика XVI, кромѣ одной правительственной бумаги, написанной во время голода въ южной Франціи еще въ 1772 году. Тулузскій парламентъ обвинялъ тогда правительство въ томъ, что „оно своими ошибочными мѣрами подвергаетъ бѣдныхъ опасности голодной смерти“, а правительство между прочимъ возразило на это, «что честолюбіе парламента и жадность богатыхъ были причиною этого общественнаго бѣдствія». Сочиненіе Лаверня о провинціальныхъ собраніяхъ также заключаетъ въ себѣ много интересныхъ примѣровъ крайней неумѣренности выраженій и революціонныхъ выводовъ со стороны официальныхъ лицъ и провинціальныхъ собраній.

аристократіи, или же на именитыхъ людей третьяго сословія, внесшихъ своими купленными должностями господство и гнеть привилегій въ самыя нѣдра народной жизни,—или наконецъ на парламенты, которые изъ старинныхъ союзниковъ королевской власти сдѣлались главной преградой для центральной администраціи и *поборниками старины?*—Какъ и можно было ожидать, королевская власть поразила не привилегіи, которыя всего тяжеле были для народа, и не привилегированные классы, а захотѣла прежде всего устранить учрежденія, которыя были наиболѣе стѣснительны для администраціи, и при существованіи которыхъ нельзя было провести никакихъ серьезныхъ реформъ. Въ 1771 году правительство Людовика XV, выведенное изъ терпѣнія оппозиціей и упрямствомъ Парижскаго парламента, разослало въ ссылку его членовъ, замѣнило его новымъ королевскимъ судомъ, а вслѣдъ затѣмъ упразднило и провинціальныя парламенты.

Можно было ожидать, что общественное мнѣніе, давно уже роптавшее противъ наследственныхъ должностей и негодовавшее противъ парламентовъ за ихъ рутину во всѣхъ экономическихъ и финансовыхъ вопросахъ, за ихъ беспечность и жестокость въ уголовныхъ процессахъ, съ восторгомъ привѣтствуетъ королевское распоряженіе и увидитъ въ немъ залогъ къ дальнѣйшимъ реформамъ. Но случилось нѣчто совершенно неожиданное. Общественное мнѣніе стало на сторону привилегій, взяло подъ свою защиту обветшалыя средневѣковыя учрежденія. Несмотря на королевскіе эдикты, упразднившіе продажность должностей, установившіе при замѣщеніи мѣсть въ новомъ королевскомъ судѣ строгое испытаніе, устранившіе медленность судопроизводства и запрещавшіе подъ строгимъ наказаніемъ взяточничество, процвѣтавшее въ старомъ парламентѣ,—министры Мопу и герцогъ Эгильонъ, главные виновники переворота, сдѣлались жертвами цѣлаго потока пасквилей и памфлетовъ; судебная реформа была встрѣчена оппозиціей не только со стороны всего судебного сословія, адвокатовъ, канцеляристовъ, но и высшаго чиновничества и даже членовъ двора.

Счетная и податная палаты дѣлали подѣ влияніемъ президента послѣдней, знаменитаго Мальзербъ, самыя рѣзкія *представленія*; два генераль-губернатора подали въ отставку и принцы королевскаго дома, герцоги Бурбонскій и Орлеанскій съ ихъ сыновьями и принцъ Конти за ихъ протестъ были высланы на житье въ свои имѣнія.

Такое отношеніе общества къ совершившейся важной реформѣ за два десятилѣтія до революціи, чрезвычайно знаменательно. Дѣло въ томъ, что общество было раздвоено; различныя партіи его относились весьма различно къ уничтоженію парламента, но всѣ партіи совершенно согласно выказали одинаковое несочувствіе къ мѣрѣ правительства. Приверженцы старины и привилегій, конечно, должны были недовѣрчиво относиться къ уничтоженію парламента и опасаться за привилегіи своего сословія. Но враги средневѣковыхъ учрежденій, продажи должностей и наслѣдственныхъ корпорацій, друзья народа и демократы, приверженцы государственныхъ реформъ—почему же они не ликовали?—Они не ликовали потому, что въ той части французскаго общества, которую можно обозначить общимъ именемъ либеральной произошла глубокая перестройка за послѣдніе 50 лѣтъ,—потому что общественное мнѣніе чрезвычайно измѣнилось, развилось съ тѣхъ поръ, какъ началось во Франціи пробужденіе народнаго сознанія. Королевская власть, въ извѣстномъ смыслѣ создавшая Францію и самый ея народъ, въ теченіе долгихъ вѣковъ составляла центральный фокусъ, въ которомъ объединялись и провинціи Франціи и ихъ жители. Поэтому долго французскій народъ отождествлялъ себя съ своими королями, не отдѣляя расширеніе ихъ власти отъ интересовъ народа. Но когда дѣло объединенія было завершено и началось пробужденіе народнаго сознанія, нація уже не отождествляла себя съ своими королями, а стала видѣть въ ихъ власти лишь орудіе для достиженія національныхъ интересовъ. Такое возрѣніе развивалось очень быстро; вспомнимъ, какъ уже въ 40-хъ годахъ д'Аржансонъ замѣчаетъ, что слова *нація* и *государство* у всѣхъ на устахъ. Наступило

время, когда отъ правительства требовали реформъ, хотя бы цѣною самаго безграничнаго расширенія королевской власти и самаго безконтрольнаго примѣненія ея, но съ условіемъ, что бы она служила интересамъ общества ¹⁾.

Такъ относилось къ королевской власти однако лишь меньшинство французскаго общества. Большинство увлекалось подъ вліяніемъ либеральной школы Монтескьё, а вслѣдъ затѣмъ радикальной доктрины „Общественнаго договора, оппозиціей противъ королевской власти. Особенно вредилъ ей въ глазахъ оппозиціи ея союзъ съ католическою церковью. Королевской власти стали приписывать только эгоистическія стремленія, нисколько не тождественныя съ народными интересами, и наконецъ въ этой власти стали видѣть главную преграду для осуществленія желательныхъ реформъ, для установленія *народной власти*, основанной на общей волѣ (*volonté générale*).

Съ этого времени особенно усилились въ литературѣ ученой и беллетристической тѣ вопли противъ деспотизма, представляемаго совершенно отвлеченно, какъ всѣ идеи XVIII вѣка, которые такъ поражаютъ своею необузданностью и страстностью, и отталкиваютъ своимъ риторическимъ пафосомъ. Подъ вліяніемъ этого настроенія совершился тотъ переворотъ, который сдѣлалъ французовъ, незамѣтно для нихъ самихъ, изъ самаго монархическаго народа, самымъ враждебнымъ своей многовѣковой исторической династіи; все это неожиданно обнаружилось въ концѣ столѣтія. Въ это время установилось то недовѣріе ко всякой власти, даже исполнительной, которое вызвало столько замѣшательствъ во время революціи.

Вслѣдствіе такого побужденія прогрессивная часть французскаго общества встрѣчала враждебно всякую реформу, которая влекла за собой расширеніе королевской власти; она была готова принести въ жертву свои собственные интересы, лишь бы не усилить правительства и не придать ему попу-

¹⁾ Самыми яркими представителями этого направленія были такъ называемые экономисты.

лярности. Французское общество изъ-за нерасположенія къ своему правительству стало на сторону ненавистныхъ ему привилегій и давно осужденныхъ имъ злоупотребленій; оно усвоило себѣ привычку сочувствовать всякой оппозиціи правительству, даже самой нелѣпой, и держалось этой политики до конца своего монархическаго періода.

Правда, не все просвѣщенное французское общество такъ относилось къ проводимымъ правительствомъ реформамъ. Были еще люди старыхъ убѣжденій, которые находили непоследовательнымъ это несочувствіе къ полезной реформѣ и покровительство привилегированнымъ парламентамъ. Особенно выдавался между ними Вольтеръ. Этотъ другъ и поклонникъ Фридриха Великаго, видѣвшій вблизи благія послѣдствія просвѣщеннаго деспотизма, этотъ старый врагъ парламентовъ, которые онъ не разъ клеймилъ позоромъ и побѣждалъ съ помощью общественнаго мнѣнія цѣлой Европы, въ негодованіи писалъ:

„Почти все королевство въ ожесточеніи и ужасѣ; возбужденіе въ провинціяхъ не менѣе сильно, чѣмъ въ Парижѣ. Между тѣмъ, по моему королевскій эдиктъ исполненъ полезныхъ реформъ. Продажность должностей отмѣнена, судопроизводство стало даровымъ, тяжущіеся лишены необходимости сѣзжаться съ окраинъ королевства въ Парижъ, чтобы тамъ разоряться, король взялъ на себя издержки вотчиннаго (сенъеріальнаго) суда—развѣ все это не великія услуги, оказанныя націи? А кромѣ того, развѣ эти парламенты не были часто мстительны и жестоки? Правду сказать, я не надивлюсь тому, что французы приняли сторону этихъ нахальныхъ и упрямыхъ буржуа. Что касается меня, я думаю, что король правъ, и такъ какъ нужно повиноваться, я полагаю, что лучше повиноваться породистому льву (un lion de bonne maison), который родился гораздо сильнѣе меня, чѣмъ двумъ стамъ крысамъ моего рода“.

Но семидесятисемилѣтній старецъ не понималъ уже своихъ современниковъ. Великій вождь XVIII столѣтія отсталъ отъ своего вѣка.

Если правительство Людовика XV рассчитывало въ своей борьбѣ съ парламентомъ на поддержку общества, то оно глубоко ошиблось. Оно встрѣтило двойное сопротивленіе какъ со стороны привилегированныхъ корпорацій, такъ и со стороны ихъ враговъ.

До сихъ поръ королевское правительство побѣждало всѣ препятствія, потому что его интересы совпадали съ интересами націи. Теперь же эти интересы разошлись. Соціальное и политическое объединеніе Франціи могло быть довершено только при отрицаніи феодальнаго принципа, отождествлявшаго государственную власть съ собственностью (съ помѣстьемъ). Но короли не хотѣли отказаться отъ своей собственности, отъ своихъ привилегій и потому не были въ состояніи уничтожить прочихъ привилегій. Препятствіе могло быть побѣждено только во имя высшаго принципа, во имя всенародныхъ интересовъ, но въ пользу этого принципа пришлось бы и королевской власти сдѣлать уступки. Королямъ пришлось бы управлять не во имя своего права, а во имя народнаго блага и воли. На это могла согласиться только новая власть, какая нибудь революціонная династія, какъ въ Англіи, но этого не могла сдѣлать историческая династія, смотрѣвшая по преданіямъ своего историческаго права на государство, какъ на свое созданіе и достояніе, какъ на свою вотчину.

Оттого французское общество не захотѣло поддержать реформъ, исходившихъ по прежнему изъ доброй воли *le bon plaisir*—короля, но пожелало быть обязаннымъ своимъ прогрессомъ только самому себѣ. Отсюда трагическое положеніе королевской власти въ послѣднемъ ея періодѣ: первымъ дѣломъ преемника Людовика XV, первой уступкой молодого короля общественному мнѣнію была отмѣна всѣхъ полезныхъ реформъ, восхваленныхъ Вольтеромъ въ вышеприведенномъ письмѣ,—возстановленіе парламента со всѣми его привилегіями, со всѣми злоупотребленіями и несообразностями его процедуры, накопившимися съ среднихъ вѣковъ.

Эта уступка, вызванная желаніемъ примириться съ обще-

ствомъ, была собственно отреченіемъ королевской власти и характернымъ предзнаменованіемъ для послѣдняго царствованія старой монархіи. Такимъ же точно образомъ Людовику XVI пришлось отказаться отъ всѣхъ даже собственныхъ своихъ реформъ; и какъ первымъ дѣйствіемъ этого короля было возстановленіе феодальнаго парламента въ угоду общественному мнѣнію, — такъ подобное же возстановленіе этого парламента, имъ самимъ упраздненнаго въ 1788 году было послѣднимъ дѣйствіемъ Людовика XVI передъ созваніемъ Генеральныхъ Штатовъ и передачею власти въ руки народныхъ представителей.

Такимъ образомъ мы полагаемъ, что историческій характеръ королевской власти во Франціи, вліяніе католической церкви и особенныя условія историческаго развитія французскаго общества, — выросшаго въ ненависти къ привилегіямъ, созрѣвавшаго подъ вліяніемъ платонической любви къ демократіи, внезапно пробужденнаго литературой къ сознанію своихъ правъ и своей силы и съ того времени противившагося всякой реформѣ, исходившей отъ центральной власти — были главными причинами того, почему періодъ абсолютизма королевской власти не привелъ къ полному уничтоженію феодальнаго строя въ обществѣ и государствѣ, и почему послѣднія два царствованія отличались именно старческою немощью, нерѣшительностью и непослѣдовательностью во внутренней политикѣ.

Такія соображенія подтверждаются сравненіемъ исторіи Франціи съ общей европейской исторіей XVIII вѣка. Въ исторіи Европы нельзя не отмѣтить благодѣяній такъ называемаго *просвѣщеннаго абсолютизма* и содѣйствія, оказаннаго имъ цивилизаціи. Сравнивая реформы, проведенныя напр. Фридрихомъ Великимъ въ его странѣ, съ современнымъ ему эгоистическимъ и близорукимъ царствованіемъ Людовика XV или съ малодушнымъ и непослѣдовательнымъ правленіемъ его внука, у историка можетъ явиться склонность сводить все различіе на личныя свойства государей и сожалѣть, что на французскомъ престолѣ не было вмѣсто Людовика XV

просвѣщеннаго и энергическаго монарха, который бы воспользовался громадною силою центральной администраціи и освободилъ бы свое отечество отъ развалинъ и обломковъ феодальнаго строя. Въ такомъ случаѣ, могъ бы сказать такой историкъ, полезныя реформы стали бы вводиться постепенно и умѣренно, радикальная революція была бы предупреждена, вся Европа была бы избавлена отъ двадцатилѣтняго потрясенія и кровопролитія, и ужасы террора не повлекли бы за собой реакціи и недовѣрія къ политической свободѣ ¹⁾.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ, какія преимущества представляла бы для Франціи монархическая революція въ началѣ XVIII вѣка передъ антимонархической, случившейся въ концѣ столѣтія, мы постараемся указать на причину, заставлявшую историковъ, а вслѣдъ за ними и общество, приписывать личнымъ свойствамъ двухъ или трехъ послѣднихъ королей старой монархіи такое вліяніе на судьбу Франціи и всей Европы.

Историческая наука подобна восходящему солнцу, которое, освѣщая сперва вершины и возвышенности, только въ послѣдствіи и постепенно проливаетъ свой свѣтъ на равнины. По свойству своего матеріала и источниковъ, исторія всегда лучше знала судьбу вождей, чѣмъ судьбу ихъ народовъ; жизнь дворовъ, чѣмъ жизнь общества; идеи философовъ, чѣмъ убѣжденія массы. Въ нашъ вѣкъ историческая наука старается глубже проникнуть въ свой предметъ, но еще въ такомъ выдающемся произведеніи, какъ исторія XVIII вѣка Шлоссера, описаніе маленькихъ нѣмецкихъ дворовъ и характеристика главныхъ литературныхъ произведеній составляютъ почти исключительное содержаніе главъ, посвящен-

¹⁾ Вспомнимъ краснорѣчивыя и исполненныя грусти слова Токвиля: „Un prince absolu eût été un novateur moins dangereux. Pour moi, quand je considère que cette même révolution, qui a détruit tant d'institutions, d'idées, d'habitudes contraires à la liberté, en a, d'autre part, aboli tant d'autres dont celle-ci peut à peine se passer, j'incline à croire qu'accomplie par un despote, elle nous eût peut-être laissés moins impropres à devenir un jour une nation libre, que faite au nom de la souveraineté du peuple et par lui“.

ныхъ бытовой исторіи. И это происходило не только потому, что жизнь многочисленныхъ дворовъ составляла въ то время дѣйствительно очень выпуклую черту тогдашняго общественнаго быта, а еще потому, что большая часть общества была почти нѣма, и историку чрезвычайно трудно прислушаться къ ея убѣжденіямъ. Такое невольное свойство исторической науки должно было вкоренить привычку, при всякомъ зарождающемся вопросѣ о причинахъ явленій, прежде всего взглянуть на вождей и правителей и въ личномъ ихъ характерѣ искать разгадку событій. Эта привычка еще должна была усилиться вслѣдствіе впечатлѣнія, произведеннаго тремя колоссальными по силѣ и генію личностями, слѣдовавшими другъ за другомъ на разстояніи одного поколѣнія—Петромъ Великимъ, Фридрихомъ и Наполеономъ. Но изслѣдуя вліяніе подобныхъ личностей на окружавшій ихъ міръ, мы не должны ограничиваться разсмотрѣніемъ ихъ индивидуальныхъ чертъ и дарованій, а прежде всего познакомиться съ общественной средой, которая на нихъ вліяла и была предметомъ ихъ дѣятельности. При такомъ приѣмѣ, нашъ взглядъ на историческую роль просвѣщеннаго абсолютизма можетъ значительно измѣниться. Остановимся для примѣра на Фридрихѣ Великомъ. Онъ такъ возвысился надъ своими предшественниками, что только благодаря ему Европа обратила вниманіе на его предковъ, и потому немудрено, что исторіографія стала выдѣлять его изъ ряда его предшественниковъ; при ближайшемъ разсмотрѣніи однако оказывается, что Фридрихъ во многихъ существенныхъ чертахъ своего правленія былъ только продолжателемъ своихъ предковъ. Его прадѣдъ произвелъ финансовую реформу въ союзѣ съ городами, вопреки желанію дворянства; его отецъ освободилъ крестьянъ на государственныхъ доменахъ. Но что гораздо важнѣе, при сравненіи среды, въ которой жилъ Фридрихъ Великій, съ условіями, при которыхъ пришлось бы дѣйствовать подобной личности на французскомъ престолѣ, мы убѣждаемся, что эти условія почти противоположнаго свойства. Во Франціи мы видимъ старинную династію, почти 1000 лѣтъ носившую

французскую королевскую корону и помазанную елеемъ св. Елигія — представительницу легитизма, т. е. всѣхъ правъ, освященныхъ религіей, давностью и исторической жизнью. Въ Пруссіи мы имѣемъ дѣло съ молодой, революціонной династіей, которая сама своими трудами пробивала себѣ дорогу и каждымъ своимъ возвышеніемъ наносила удары старому историческому строю. Эта династія не знатнаго рода въ сравненіи съ Вительсбахами и Вельфами; ея корни не теряются во мракѣ исторіи; на памяти людей предки прусскаго короля были служилыми людьми германскаго императора. Гогенцолерны съ начала XV вѣка владѣли Бранденбургомъ, съ XVI вѣка Пруссіей, съ начала XVII вѣка своими прирейнскими областями; они долго довольствовались званіемъ маркграфскимъ, потомъ получили титулъ курфюршерскій, наконецъ, за нѣсколько лѣтъ до рожденія Фридриха Великаго, королевскую корону. Это былъ молодой стволъ, роскошно и быстро развившійся изъ ветхаго пня „Священной римской имперіи германской націи“.

Обстановка двора, среди котораго воспитываются принцы этого дома, была совершенно иная, чѣмъ версальская. Несмотря на всѣ подражанія Версалю, на французскіе придворные титулы, французскія манеры, причудливые сады, во всей придворной прусской жизни было чрезвычайно много патріархальнаго. Пруссія до Фридриха Великаго еще не представляла *государства* въ теперешнемъ смыслѣ, а носила на себѣ явные слѣды стариннаго патримоніальнаго *хозяйства*.

Вспомнимъ Фридриха Вильгельма I, просматривающаго счета своихъ арендаторовъ, выдающаго королевѣ деньги на хозяйственные расходы, собственноручно расправляющагося на улицѣ съ горожанами Берлина, преступившими его распоряженіе о платьяхъ и пр. Воспитаніе и духъ гогенцолернскихъ принцевъ въ особенности обуславливались вліяніемъ и положеніемъ прусской церкви въ ея отличіи отъ французской. Протестантская церковь не сковывала духовной и государственной жизни преданіемъ и не заставляла принимать политическую и умственную неподвижность за благочестіе. Насиль-

ственно оторвавшись от католичества, протестантизмъ ставилъ государственную власть и общество во враждебное отношеніе къ средневѣковымъ порядкамъ и воззрѣніямъ. Хотя, какъ извѣстно, протестантизмъ, въ эпоху своей борьбы за существованіе и полемики съ протестантскимъ расколомъ, не отличался терпимостью, но вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ прусскія владѣнія сдѣлались какъ бы нейтральною областью различныхъ религій, и Гогенцолерны, принадлежавшіе по своему исповѣданію къ меньшинству своихъ подданныхъ, не только рано привыкли къ религіозной терпимости, но первые изъ государей стали слѣдовать политикѣ примиренія и соединенія церквей. Кромѣ того, такъ какъ реформація въ прусскихъ земляхъ была произведена государственной властью, то церковь въ Пруссіи не только стала въ подчиненное положеніе къ государству, но чрезвычайно усилила его своимъ авторитетомъ. И въ общественномъ отношеніи вліяніе реформации ознаменовалось тѣмъ, что, уничтоживши прелатуры и бенефиціи (за исключеніемъ немногихъ канониковъ для вдовъ и незамужнихъ женщинъ), она лишила дворянство сильной матеріальной и духовной поддержки, демократизовала церковь и внесла тотъ же духъ въ администрацію.

Но и помимо всего этого, прусское дворянство далеко не могло сравниться по силѣ и вліянію съ французскимъ. Оно не образовалось, какъ почти вся высшая французская аристократія, изъ *феодалныхъ сеньеровъ* (верховныхъ властелиновъ въ своихъ владѣніяхъ), а большею частью изъ служилыхъ людей—министеріаловъ (служителей) династіи, а въ собственной Пруссіи изъ рыцарей нѣмецкаго ордена. Во Франціи феодальные сеньеры и ихъ вассалы сплотились подъ давленіемъ королевской власти въ одну аристократическую касту съ *шляхетскимъ* характеромъ и притязаніями на прерогативы государственной власти въ своихъ помѣстьяхъ; въ Германіи же эти два класса совершенно разобщились; почти всѣ феодальные сеньеры сдѣлались въ Германіи независимыми членами Имперской федераціи съ государствен-

ной властью (reichsunmittelbar); ихъ же вассалы почти всѣ были обращены въ служилыхъ людей этихъ мелкихъ государей.

Силѣ воздѣйствія просвѣщеннаго абсолютизма благопріятствовала также историческая юность страны и разобщеніе общественныхъ слоевъ. Прусскія владѣнія XVIII вѣка представляютъ намъ земли съ чрезвычайно молодою историческою жизнью и очень отставшія въ цивилизаціи не только отъ Франціи и Англій, но и отъ юго-западныхъ областей Германіи. Бранденбургъ былъ завоеванъ и колонизованъ нѣмцами только въ XII столѣтіи, а Пруссія въ XIII ст., т. е. въ такое время, когда Франція при Людовикѣ Святомъ переживала свою послѣднюю, чисто феодальную эпоху, а Нѣмецкая имперія уже доживала при Гогенштауфенахъ періодъ своего дѣйствительнаго могущества. Въ противоположность характеру старинныхъ нѣмецкихъ областей, въ прусскихъ владѣніяхъ почти не было значительныхъ городовъ. Берлинъ въ первый разъ упоминается въ то время, когда Парижъ уже считался міровымъ городомъ и былъ умственнымъ центромъ европейской науки и цивилизаціи ¹⁾, и только въ XVIII вѣкѣ Берлинъ числомъ своего населенія перешелъ цифру 50,000 и украсился первыми замѣчательными зданіями и памятниками.

Въ прусскихъ городахъ жило небогатое, неразвитое и мирное населеніе безъ историческихъ воспоминаній, безъ соперничества съ дворянствомъ, безъ признанія своей солидарности съ городскими жителями прочихъ областей Германіи. Насколько объединяющая исторія Франціи и централизація ея управленія сплотили въ единую однородную массу жителей ея областей, настолько политическое раздробленіе Германіи разобщило ея жителей и препятствовало развитію народнаго сознанія и демократическаго духа въ городскомъ сословіи. Литература, которая впоследствии пробудила это сознаніе, во время молодости Фридриха Великаго, только содѣйствовала равнодушію общества къ политикѣ.

¹⁾ Въ *Lendit rimé* (XIII в.) поэтъ восхваляетъ Парижъ, «qui est du monde le meilleur». См. Springer: Paris im XIII Jahrh.

Въ то время, когда французы всѣхъ классовъ воспитывались на *Персидскихъ письмахъ*, на *Посланіи къ Ураніи* и на рукописныхъ стихахъ *Орлеанской дѣвы*, въ Германіи вниманіе нѣмецкой читающей публики было поглощено споромъ между Готшедомъ и швейцарскими литераторами о томъ, разсудокъ или фантазія составляетъ источникъ поэзіи и заключается ли ея цѣль въ дидактикѣ или въ подражаніи природѣ!

Еще болѣе, чѣмъ городскіе жители, отстало въ политическомъ развитіи сельское населеніе. Оно большею частью находилось еще въ крѣпостной зависимости отъ своихъ помѣщиковъ и не смотрѣло на нихъ подобно французскимъ крестьянамъ, какъ на гордыхъ *сосѣдей* ненавистныхъ своими привилегіями и поборами, а видѣло въ нихъ Богомъ поставленныя власти, естественныхъ посредниковъ между собою и государствомъ, которое было чуждо этимъ крестьянамъ и ощутительно для нихъ только своими поборами. Во многихъ мѣстностяхъ Пруссіи кромѣ того крестьяне даже не принадлежали къ нѣмецкой народности.

Тогда какъ во Франціи, при всѣхъ привилегіяхъ и при всей разобщенности сословій, съ каждымъ годомъ усиливалось умственное ихъ объединеніе, и разбогатѣвшій крестьянинъ спасался въ городъ, разбогатѣвшій ремесленникъ покупалъ сыну казенную должность и всѣ зажиточныя семьи третьяго сословія спѣшили сравняться съ дворянствомъ въ образѣ жизни, въ способѣ воспитанія дѣтей, направленіи чисто литературнаго образованія,—въ Пруссіи въ это время всѣ классы, при отсутствіи взаимной вражды, были разобщены и равнодушны другъ къ другу и негдѣ было развиваться обширному и сильному общественному мнѣнію.

Отсюда слѣдуетъ, что отсутствіе могущественнаго общественнаго мнѣнія, которое могло бы задерживать или предупреждать правительство, отсутствіе церковныхъ и общественныхъ учрежденій со славнымъ прошедшимъ и исключительными, привилегированными интересами, сравнительная историческая молодость націи и несложность государственнаго

организма, и наконецъ отсутствіе богатой политической и философской литературы, служащей выраженіемъ народнаго самосознанія, — таковы условія, необходимыя для того, чтобы единичная власть и индивидуальная воля могли произвести переворотъ въ народной жизни, или по крайней мѣрѣ вдохнуть въ нее новую силу, направить ее и наложить на нее печать своего генія. Не даромъ, чѣмъ далѣе мы идемъ на востокъ, тѣмъ болѣе ощутительны и глубоки становятся реформы, произведенныя правительствомъ, и тѣмъ благотворнѣе историческое призваніе такъ называемаго просвѣщеннаго абсолютизма. Необходимо конечно, чтобы для его цивилизаторской роли былъ и надлежащій просторъ, т. е. чтобы достаточно велико было разстояніе въ матеріальной и политической культурѣ между передовыми народами европейской цивилизаціи и тѣмъ обществомъ, въ которомъ должна происходить реформа.

И такъ, если мы сравнимъ положеніе Франціи въ XVIII вѣкѣ съ положеніемъ Германіи, Россіи и вообще другихъ странъ, лежавшихъ отъ нея на востокъ и уступавшихъ ей въ культурѣ, мы придемъ къ заключенію, что еслибы королевское правительство во Франціи и оторвалось отъ своихъ преданій и перешло бы въ руки единой, энергической воли, то эта воля едва ли была бы въ состояніи дѣйствовать съ такимъ успѣхомъ и проводить въ жизнь такія глубокія реформы, какъ въ странахъ восточной Европы, гдѣ правительство не находило никакой, или почти никакой оппозиціи со стороны общества, такъ какъ народная жизнь тамъ главнымъ образомъ сосредоточивалась въ правительствѣ и общество не простирало своихъ интересовъ далѣе самой тѣсной, насущной жизненной сферы.

Какую оппозицію могло бы встрѣтить со стороны общества французское правительство и какія оно могло бы вызвать замѣшательства, если бы задумало, вопреки желанію церкви и привилегированныхъ классовъ, водворить у себя программу „просвѣтительнаго абсолютизма“, — объ этомъ даетъ наглядное понятіе столь поучительная бельгійская революція, вызванная въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка либерельными реформами императора Іосифа II.

Но какими бы причинами мы ни объясняли узкую и рутинную политику королевскаго правительства во Франціи, его преданность преданію и привилегіямъ, его слабый, нерѣшительный и непослѣдовательный починъ относительно самыхъ настоятельныхъ реформъ — этотъ фактъ имѣлъ самыя важныя историческія послѣдствія. Королевская династія Франціи, исполнивши свою историческую роль, сплотивши государство и сосредоточивши политическую жизнь разнообразныхъ территорій въ одномъ центрѣ, создавши изъ различныхъ по языку, нраву и обычаямъ племенъ французскій народъ и объединивши его въ служеніи одному дому и въ сознаніи общаго отечества — *остановилась* въ своей исторической жизни. Королевская династія, основавшая французское государство среди феодальнаго хаоса, столь неутомимо боровшаяся съ феодализмомъ и беспощадно искоренявшая его въ области государственной жизни — *устала* въ этой борьбѣ и дозволила феодализму существовать въ худшемъ своемъ проявленіи въ общественной жизни, въ видѣ привилегій, разгораживавшихъ общество на чуждые и враждебные другъ другу слои.

А между тѣмъ процессъ объединенія французскаго государства и французской націи продолжался помимо воли королевскаго правительства. Изъ-за ветхихъ перегородокъ, которыя отдѣляли провинціи французской монархіи, пробивался духъ націи, сознававшей свое единство; изъ-за привилегій, которыя отдѣляли сословія, классы и индивидуумы одного и того же сословія, все быстрѣе и быстрѣе созрѣвало сознаніе гражданской связи и симпатіи между лучшими представителями всѣхъ слоевъ общества. Старая Франція достигла въ концѣ XVIII вѣка того момента, когда подъ феодальнымъ покровомъ незамѣтно созрѣлъ совершенно новый организмъ. Ее можно сравнить съ колоколомъ, который уже совершенно отлить, но котораго еще не видно изъ-за глиняной формы. Оставалось только разбить эту форму; оставалось только совершить то, что описываетъ поэтъ въ своей Пѣснѣ о колоколѣ:

Ну теперь ломайте зданье,
Въ немъ ужъ колоколъ отлить,
Пусть изящное созданье
Взоръ и сердце веселить.
Бей же, молотъ, бей!
Чтобъ въ красѣ своей
Колоколъ возсталъ предъ нами,
Форма пусть спадетъ кусками ¹⁾.

Глиняная форма была разбита въ ночь на 4 августа 1789 года: феодальный покровъ, отдѣлявшій новую Францію отъ старой, былъ сорванъ Национальнымъ Собраниемъ. Но это окончательное объединеніе французскаго государства и французской націи совершилось не во имя королевской власти, а во имя идеи верховной власти народа, во имя народовластія (*souveraineté nationale*), т. е. *республиканскаго* принципа.

Въ то время, когда писалась эта статья, Франція переживала критическій періодъ, стоя на перепутьи между республикой и монархіей. Будетъ ли во Франціи восстановлена въ лицѣ графа Шамбора легитимная монархія? таковъ вопросъ, который былъ тогда на устахъ у всѣхъ, кто интересовался судьбою Франціи. Естественно было для отвѣта обратиться

1) Nun zerbrecht mir das Gebäude—
Seine Absicht hat's erfüllt,
Dass sich Herz und Auge weide
An dem wohlgelungnen Bild.
Schwingt den Hammer, schwingt,
Bis der Mörtel springt;
Wenn die Glock soll auferstehn,
Muss die Form in Stücke gehn.

Мы привели этотъ отрывокъ изъ Шиллеровой «Пѣсни о колоколѣ» въ отличномъ переводѣ Мина, но приводимъ также и оригиналь, такъ какъ въ переводѣ въ данномъ мѣстѣ слабо переданъ тотъ отбѣнокъ въ поэтическомъ образѣ Шиллера, который даетъ возможность сравнить скрытое отъ глазъ отливаніе колокола съ быстро совершившимся въ 1789 году духовнымъ объединеніемъ французской націи, а разрушеніе глиняной формы — съ насильственнымъ разгромомъ обветшалыхъ феодальныхъ формъ, подъ которыми сложился новый строй.

къ исторіи страны, выяснитъ, на сколько историческая роль, которую монархія сыграла во Франціи, можетъ повліять на рѣшеніе этого вопроса. Конечно искать въ прошломъ руководства для настоящаго, или разгадки будущаго можно только съ большою осторожностью и съ оговорками. Предшествующая исторія страны не тяготѣетъ, какъ неизбѣжный фатумъ, надъ всей ея будущей судьбой. Исторія только подготавливаетъ почву для будущаго; отъ почвы зависитъ весьма многое, но многое также зависитъ отъ рукъ, ее обрабатывающихъ, отъ посѣянныхъ сѣмянъ и отъ наружныхъ, случайныхъ вліяній. Формы государственнаго устройства не всегда устанавливаются по потребностямъ или желаніямъ большинства народа или руководящаго класса, но зависятъ также отъ вліянія сосѣднихъ странъ, отъ степени успѣха, который онѣ могутъ обезпечить странѣ въ международныхъ отношеніяхъ, а главное отъ характера, свойствъ, программы и политическаго такта различныхъ партій, представляющихъ собою ту или другую форму правленія, отъ способности и популярности вождей этихъ партій. Наконецъ, какъ въ природѣ, такъ и въ исторіи, формы не смѣняются безъ переходовъ и колебаній.

Но какъ бы-то ни было, обзоръ исторической роли монархіи во Франціи подавалъ поводъ высказаться по вопросу, республика или монархія древней, легитимной династіи восторжествуетъ во Франціи?—и по этому поводу были тогда въ концѣ статьи высказаны слѣдующія соображенія:

Въ XVIII вѣкѣ во Франціи,—гдѣ до этого времени историческое развитіе государства было тождественно съ усиленіемъ королевской власти,—произошелъ разрывъ между принципомъ королевской власти и дальнѣйшимъ политическимъ развитіемъ государства. Но этотъ разрывъ, конечно, еще не сдѣлалъ монархію во Франціи навсегда невозможной, и поворотъ Франціи къ республикѣ, который она совершила въ 1789 году, принявши за свое политическое знамя принципъ народовластія, не обезпечилъ ей республиканскаго образа правленія. Напротивъ, отъ провозглашенія первой Имперіи послѣ революціи до паденія второй Имперіи, въ теченіе 66 лѣтъ,

почти безъ перерыва, Франція управлялась монархически. Если мы рассмотримъ характеръ этого послѣдняго монархическаго періода, постараемся распознать силы, поддерживавшія монархическій принципъ и причины, вызывавшія ее снова, то мы убѣдимся, что таковыхъ причинъ довольно много, что онѣ глубоко коренятся въ государственномъ устройствѣ и положеніи вещей а потому въ состояніи и впредь способствовать торжеству монархіи надъ республикой. Главныя изъ этихъ причинъ слѣдующія: сила историческаго преданія, память о нѣкогда тѣсномъ союзѣ церкви и высшихъ классовъ съ монархіей—или *легитимизмъ*; далѣе, крайняя административная централизація Франціи, которая болѣе свойственна монархическому, чѣмъ республиканскому образу правленія, и потому легче уживается съ монархіей; военные инстинкты французскаго народа, большая постоянная армія, особенно же войны, которыя вела Франція или которыя она имѣетъ въ виду — все это должно предрасполагать страну къ монархіи и въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ внезапно ее возродить; наконецъ католическая церковь, руководствуясь своими интересами, можетъ положить свою громадную тяжесть на вѣсы монархіи. Но въ тоже время мы замѣчаемъ, что та монархія, которая главнымъ образомъ основана на непрерывности историческаго преданія, на абсолютномъ, въ самомъ себѣ коренящемся принципѣ монархіи, легитимистическая, наименѣе популярна во Франціи и наименѣе имѣетъ будущности. Популярна была и осталась несмотря на военную неудачу, которая два раза прекратила ея существованіе, только та монархія (имперія), которая, хотя только формально, но признала надъ собою принципъ народовластія, т. е. приняла характеръ гражданской и военной диктатуры, основанной на плебисцитѣ.

Въ виду этого можно утверждать, что самый характеръ и судьба французской монархіи въ XIX вѣкѣ свидѣтельствуютъ о торжествѣ, которое одержала республиканская идея съ провозглашеніемъ принципа народовластія, и что Франція ходомъ своей исторіи предназначена быть *республикой*. Но съ другой стороны, принципа народовластія, конечно, недоста-

точно, чтобы обезпечить во Франціи *прочность* республиканской формы. Идея народовластія встрѣчается и въ другія историческія эпохи и уживалась съ различными формами правленія. Въ самой Франціи она была извѣстна уже съ XV вѣка; она свободно развивалась и пропагандировалась въ іезуитскихъ семинаріяхъ XVII и XVIII вѣковъ и однако не служила при этомъ отрицаніемъ власти французскихъ королей. Только когда эти короли отказались руководить Франціей на пути политическаго прогресса, принципъ народовластія принялъ во Франціи враждебный монархіи оттѣнокъ и сдѣлался боевымъ орудіемъ литературы и публицистики въ борьбѣ съ монархіей. Этимъ между прочимъ объясняется громаднй успѣхъ, который имѣли политическія теоріи Руссо, изложенныя въ его Contrat Social. Его отвлеченныя выкладки, болѣе напоминающія математическую, чѣмъ политическую задачу, перестали быть утопическими мечтаніями политическаго отшельника, но получили какъ бы практическую почву, оказались выраженіемъ оппозиціи противъ монархіи и сдѣлались политической программой и символомъ вѣры цѣлой массы лицъ, которыя были однако неспособны понять или даже прочесть ихъ. Этотъ принципъ народовластія и теперь еще составляетъ во Франціи главную приманку республики, а по понятіямъ многихъ даже исчерпываетъ собою все значеніе и назначеніе республики. Но, конечно, будущность республики во Франціи не зависитъ исключительно отъ силы вѣры въ этотъ принципъ и отъ степени его распространенія. Упрочится-ли во Франціи республика, т. е. исполнится ли завѣтъ исторіи, какъ будто данный ей XVIII вѣкомъ, — это зависитъ отъ того, насколько эта республика или партія и люди, являющіеся ея представителями, поймутъ свою историческую задачу. Республика во Франціи зародилась въ минуту борьбы со старымъ началомъ и насильственнаго разрушенія феодальныхъ остатковъ, съ которыми не хотѣла разстаться королевская власть. Съ тѣхъ поръ съ идеей республики во Франціи связанъ оттѣнокъ насилія и разрушенія. Въ этомъ видятъ главную ея прелесть многіе фанатическіе ея приверженцы; въ то-же вре-

мя ряды ея недоброжелателей, опасаются главнѣйшимъ образомъ этого духа насилія и разрушенія, который связываютъ, по историческимъ воспоминаніямъ, съ понятіемъ о республикѣ. Но разрушеніе стараго не можетъ исчерпывать исторической задачи никакой политической партіи. И потому будущность республики во Франціи зависитъ отъ того, съумѣетъ ли она свое разрушительное направленіе замѣнить созидающимъ, съумѣетъ-ли она повести Францію по пути историческаго прогресса,—или же она окажется въ этомъ отношеніи столь же бессильной, какъ была бессильна въ прошедшемъ вѣкѣ старая монархія.

Москва 1873 г.

Зачатки революціи 1789 года ¹⁾.

Французская революція хотя и рѣзко отдѣляется событіями 1789 года отъ временъ стараго порядка, но начинается для исторической науки не съ этого года. По мѣрѣ того, какъ догматическое или политическое изученіе революціи уступаетъ мѣсто изученію *историческому*, увеличивается число сочиненій, посвященныхъ исторіи генезиса революціи 1789 года, изслѣдующихъ, такъ сказать, французскую революцію до катастрофы упомянутаго года. Такое сочиненіе представляетъ, напр., замѣчательная книга Обертена (Aubertin. L'Esprit public au XVIII sc.), вышедшая въ началѣ 70-хъ годовъ; еще ближе подходитъ къ указанному предмету сочиненіе Феликса Рокена—„Революціонный духъ до революціи ²⁾“, на которое мы намѣрены обратить вниманіе читателей. Заглавіе книги не совсѣмъ точно, и автору пришлось самому какъ бы признаться въ этомъ, ибо на заглавномъ листѣ онъ поставилъ цифры 1715—1789, т. е. указалъ этимъ, что онъ въ своемъ изслѣдованіи ограничивается эпохами Людовика XV и XVI, тогда какъ начала того движенія, которое онъ называетъ „революціонномъ духомъ“, нужно, конечно, искать гораздо раньше вступленія на престолъ Людовика XV. И въ другомъ, еще болѣе важномъ отношеніи, книга Рокена не соотвѣтствуетъ тѣмъ ожиданіямъ, которыя ея заглавіе воз-

¹⁾ Статья эта была напечатана въ «Историческомъ Вѣстникѣ» (I годъ, т. II) въ 1879 г.

²⁾ F. Rocquain: L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution (1715—1789) Paris. 1878. По прошествіи 24 лѣтъ книга Рокена дождалась русскаго перевода—что конечно говоритъ въ ея пользу—подъ заглавіемъ: Движеніе общественной мысли во Франціи въ XVIII в. С.-П.Б. 1902. Такое заглавіе не вполне соотвѣтствуетъ содержанію книги.

буждаетъ въ любознательномъ читателѣ. Онъ не найдетъ въ ней ни точнаго опредѣленія того, что именно авторъ разумѣетъ подъ революціоннымъ духомъ, ни полнаго, или хотя бы многосторонняго изслѣдованія о томъ, какъ постепенно развивалось и усиливалось въ XVIII вѣкѣ во всѣхъ классахъ французскаго народа то недовольство „старымъ порядкомъ“, которое привело къ перевороту 1789 года. Рокенъ ограничивается главнымъ образомъ фактическимъ изложеніемъ въ хронологическомъ порядкѣ различныхъ правительственныхъ мѣръ, преимущественно по церковнымъ дѣламъ и по отношенію къ парламентамъ, раздражавшихъ общественное мнѣніе и содѣйствовавшихъ возникновенію революціонной литературы. Весь этотъ матеріалъ разбитъ на 12 равномѣрныхъ главъ, изъ которыхъ восемь относятся къ эпохѣ Людовика XV. Изложеніе нѣсколько сухо и утомительно, какъ вслѣдствіе однообразія перечисляемыхъ распоряженій правительства и взаимныхъ столкновеній между министрами, духовенствомъ и парламентскою магистратурой, такъ и потому, что авторъ не объединяетъ однородныхъ фактовъ въ общемъ очеркѣ и недостаточно ярко отбѣняетъ эпохи. Но несмотря на это сочиненіе Рокена очень любопытно и поучительно. Всѣ приведенные факты поставлены на своемъ мѣстѣ, правильно освѣщены и доставляютъ читателю богатый матеріалъ для собственныхъ соображеній. Изложеніе оживляется многочисленными интересными выписками изъ мемуаровъ, изъ брошюръ и официальныхъ актовъ того времени, которыя заключаютъ въ себѣ мѣткіе отзывы современниковъ о положеніи дѣлъ и отлично рисуютъ общественное настроеніе. Рокенъ не только хорошо воспользовался напечатанными мемуарами, особенно Барбье и д'Аржансона, но и еще неизданными записками Реньо и книгопродавца Ле-Гарди. Особенный интересъ представляютъ извлеченныя Рокеномъ изъ архивовъ выписки изъ приговоровъ парламента и государственнаго совѣта надъ многочисленными книгами и памфлетами, осужденными и запрещенными въ царствованіе Людовика XV и XVI. Такъ какъ эти приговоры были очень обстоятельны и

иногда пространно приводили изъ осужденныхъ сочиненій главныя мѣста, послужившія поводомъ къ карѣ, — большая же часть запрещенныхъ тогда изданій или совершенно уничтожены или составляютъ библиографическую рѣдкость, — то упомянутые приговоры могутъ до нѣкоторой степени замѣнить исчезнувшій матеріаль и представляютъ важный источникъ для исторіи французской литературы. Рокенъ приложилъ къ своему сочиненію на 46 страницахъ списокъ самыхъ книгъ и брошюръ, подвергнувшихся осужденію, съ обозначеніемъ постигшей ихъ кары.

Изъ богатаго матеріала, заключающагося въ сочиненіи Рокена, всего болѣе вниманія заслуживаютъ данныя, относящіяся къ слѣдующимъ тремъ вопросамъ: какую роль играли въ исторіи Франціи передъ революціей католическая церковь, антагонизмъ правительства и парламента и борьба того и другого противъ литературы и общественной оппозиціи, высказывавшейся въ памфлетахъ и въ расклеивавшихся на парижскихъ стѣнахъ афишахъ или плакардахъ.

Главное мѣсто въ первой половинѣ сочиненія Рокена занимаетъ церковь; вліяніе католицизма въ дѣлѣ подготовленія французской революціи было очень значительно и обнаружилось преимущественно въ двухъ отношеніяхъ: связанная своими матеріальными интересами съ феодальнымъ строемъ, церковь служила во Франціи сильной опорой стараго порядка, тормозила своимъ вліяніемъ различныя административныя реформы и, такимъ образомъ, содѣйствовала насильственности того переворота, который уничтожилъ феодальный порядокъ. На эту сторону дѣла мы находимъ у Рокена мало указаній, но зато у него превосходно освѣщена другая сторона того вреднаго вліянія, которое имѣла католическая церковь на ходъ событій, приведшихъ къ французской революціи. А именно, въ началѣ XVIII в. во французской церкви снова усилилось вліяніе иезуитовъ и получило окончательный перевѣсъ то направленіе, которое мы теперь называемъ ультрамонтанскимъ; слѣдствіемъ этого былъ расколъ среди духовенства, который отразился самымъ тяжелымъ образомъ на

всемъ обществѣ; раздоръ достигъ такихъ размѣровъ, какіе представляютъ только эпохи религіозныхъ смуть; дальнѣйшій вредъ заключался въ томъ, что правительство приняло сторону господствовавшей, т. е. римской партіи и этой своей клерикальной политикой не менѣе, чѣмъ другими своими ошибками, подорвало свою популярность въ странѣ. При этомъ нужно имѣть въ виду, что такое усиленіе фанатизма и торжество клерикальной партіи какъ разъ проявились въ то самое время, когда во французское общество не только впервые стали проникать идеи терпимости и гуманности, но и начали распространяться ученія матеріалистическія и враждебныя всякой религіи. Успѣху этихъ ученій не мало содѣйствовало направленіе господствовавшей въ церкви партіи; наконецъ, особенное значеніе имѣло еще то обстоятельство, что въ защиту галиканскихъ преданій и угнетенной партіи янсенистовъ выступилъ парижскій парламентъ, дружно поддерживаемый двѣнадцатью остальными провинціальными парламентами; между церковью и парламентами возгорѣлась ожесточенная борьба, продолжавшаяся во все царствованіе Людовика XV; эта борьба подняла значеніе парламентовъ, утраченное ими при Людовикѣ XIV, и сдѣлала ихъ не менѣе популярными въ глазахъ французскаго общества, чѣмъ ихъ сопротивленіе фискальнымъ мѣрамъ королевскихъ министровъ. Такимъ образомъ религіозная борьба приняла характеръ политическій и чрезвычайно содѣйствовала развитію оппозиціи противъ монархіи. Королевское правительство въ глазахъ французскаго общества становилось все болѣе и болѣе солидарнымъ съ клерикализмомъ, и наконецъ, когда оно послѣ того, какъ парламентъ осудилъ на изгнаніе іезуитскій орденъ, само присоединилось къ противникамъ іезуитовъ, то было уже поздно, и оно уже не стояло болѣе во главѣ движенія.

Въ виду этихъ обстоятельствъ факты, относящіеся къ исторіи французской церкви въ XVIII в., пріобрѣтаютъ общій интересъ. Борьба іезуитовъ съ янсенистами возгорѣлась еще въ XVII вѣкѣ; но она уже стала утихать, какъ вдругъ папская булла 1713 г., извѣстная подъ названіемъ Unigenitus,

изданная по наущенію іезуитовъ, ее снова воспламенила. Булла эта предавала осужденію сочиненіе патера Кенеля— „Réflexions morales“ и находила въ немъ ядъ „тѣмъ болѣе опасный, что онъ не замѣтенъ“. Эта булла, или какъ ее тогда называли во Франціи, „конституція“ вызвала много страстей. Вся почти страна раздѣлилась на конституціоналистовъ и на противниковъ конституціи. Послѣдніе усматривали въ ней нарушеніе исконной свободы галиканской церкви. Значительная часть духовенства, парламента, университетъ и множество мірянъ заявили протестъ противъ законности буллы. Многие *апеллировали* отъ рѣшенія папы къ будущему вселенскому собору. Чтобы понять такое возбужденіе страстей изъ-за буллы, касавшейся, повидимому, чисто богословскихъ вопросовъ, читателю нужно вспомнить впечатлѣніе, которое произвело въ наши дни обнародованіе *Силлабуса* или постановленія Ватиканскаго собора. Протестовавшіе видѣли въ буллѣ Unigenitus интригу іезуитовъ и понимали, что ихъ торжество должно повести къ окончательному подчиненію національной церкви римской куріи. Среди этого раскола, обнаружившагося въ обществѣ, положеніе правительства было очень затруднительно. Къ несчастію для Франціи лица, стоявшія во главѣ ея, руководились исключительно личными, минутными интересами. Регентъ, управлявшій Франціей во время малолѣтства Людовика XV, сначала выказывалъ предпочтеніе противникамъ конституціи и янсенистамъ, но затѣмъ устранился вліянія іезуитовъ; онъ сталъ постепенно сближаться съ римскимъ дворомъ, расположеніе котораго было необходимо главному совѣтнику регента, аббату Дюбуа, желавшему украситься кардинальской шапкой. Правительство пыталось заставить молчать недовольныхъ буллой; но это было тщетно, особенно потому, что правительство въ то же время не сдерживало приверженцевъ конституціи, которые смущали общество своими фанатическими заявленіями. Одинъ изъ нихъ, напр., Белзенсъ, благочестивый и милосердный къ бѣднымъ прелать, объяснялъ чуму, свирѣпствовавшую въ Провансѣ, гнѣвомъ небеснымъ за неповиновеніе *апеллянтовъ*,

а епископъ арльскій приписывалъ тѣмъ же *апеллянтамъ* появленіе саранчи въ его епархіи.

Воспитатель Людовика XV, „добродушный кардиналъ Флѣри“, управлявшій Франціей послѣ регента, вздумалъ уврачевать зло сильными средствами. „Онъ самъ, какъ говоритъ Рокенъ, былъ когда-то крайнимъ янсенистомъ, потомъ перешелъ къ іезуитамъ, когда убѣдился, что могущество на ихъ сторонѣ“. Его обращеніе было настолько полно, что въ 1725 году онъ даже заявилъ, что объясненія къ буллѣ, изданныя папою Бенедиктомъ XIII, составлены въ духѣ янсенистовъ, т. е. онъ оказался ортодоксальнѣе самого папы. Слѣдствіемъ такой политики были протесты парламента противъ папскихъ декретовъ и постановленій епископовъ, вызывавшіе съ другой стороны такъ называемые *lits de justice*, т. е. „чрезвычайныя засѣданія парламента для выслушанія *высочайшаго повелѣнія*“, запрещенія янсенистскихъ книгъ по распоряженію *королевскаго совѣта* и *яростныя* посланія епископовъ. Все это сопровождалось многочисленными симптомами сильнаго религіознаго и политическаго возбужденія общества: съ возбужденными до религіознаго экстаза противниками папской буллы происходили на улицахъ и кладбищахъ истерическіе припадки; чудеса, приписываемыя *конвульсіонерамъ*, смущали толпу; на стѣнахъ появлялись вызвавшія къ бунту прокламаціи, произвольные аресты вносили повсюду тревогу, и пр. и пр. Рокенъ хорошо показалъ, какимъ образомъ религіозный вопросъ становился все болѣе и болѣе политическимъ. Опредѣленіе отношеній церковной власти къ свѣтской или, какъ тогда выражались, „разграниченіе этихъ властей“ сдѣлалось предметомъ ежедневныхъ преній. Общество, укорявшее Флѣри за его уступчивость іезуитамъ и за его преданность интересамъ Рима, въ то же время восхваляло до небесъ „гражданское мужество“ парламента. „Вотъ истинные римляне и отцы отечества“, восклицала публика въ 1732 году при появленіи на улицѣ членовъ парламента. Различныя брошюры пытались придавать этому судебно-административному учрежденію значеніе „*представительнаго собранія*“

всей нации“, а изъ французскаго королевства дѣлали „нѣчто въ родѣ республики“. Флѣри же отвѣчалъ на это новыми преслѣдованіями, потребовалъ отъ университета отмѣны состоявшагося въ 1718 году приговора, въ которомъ тотъ апеллировалъ противъ буллы къ вселенскому собору, и желая для этой цѣли назначить во главѣ университета покорнаго ректора, произвольно измѣнилъ университетскій уставъ передъ самыми выборами. Такимъ способомъ удалось навязать университету буллу, которая была имъ торжественно принята „сердцемъ и духомъ“, какъ догматическій приговоръ вселенской церкви. Правда, 82 члена университетской корпораціи отказались принести свою совѣсть въ жертву волѣ кардинала и протестовали противъ насильственнаго искаженія университетскаго протокола. Всѣ они были тотчасъ лишены своихъ степеней, а знаменитый Ролленъ и 34 лучшихъ профессора университета потеряли свои кафедры. Эта суровость объясняется тѣмъ, что Флери въ это время хлопоталъ о своемъ избраніи въ папы послѣ смерти болѣзненнаго Климента XII. Французское общество было между тѣмъ встревожено новымъ соблазномъ. Духовенство, стоявшее за буллу, придумало новое оружіе противъ „апеллянтовъ“: оно начало отказывать имъ въ причащеніи, а умершихъ безъ причастія отказывалось хоронить. Вслѣдствіе этого иногда разыгрывались самыя возмутительныя сцены. Въ Сомюрѣ, напр., тѣло молодой дѣвушки, не признававшей буллы и потому принужденной умереть безъ причастія, было по распоряженію духовенства выброшено на живодерню, что вызвало возстаніе въ народѣ. Парламенты сильно вооружались противъ этой нетерпимости и запрещали „отказы въ причащеніи“; но ихъ постановленія противъ духовенства обыкновенно кассировались правительствомъ. Среди этой борьбы мало по малу выросталъ и укрѣплялся новый противникъ не только ультрамонтанства и іезуитовъ, но и всей церкви. Негодование, возбуждаемое преслѣдованіями и насмѣшка надъ пререканіями между конституціоналистами и апеллянтами, въ сильной степени содѣйствовали развитію того скептицизма, который подготовилъ

почву для смѣлыхъ нападокъ на церковь Вольтера и слѣдовавшихъ за нимъ „философовъ“.

Когда наконецъ въ 1743 году умеръ кардиналъ Флѣри, и Людовику XV, повидимому, ничто уже не мѣщало самому серьезно приняться за дѣла, положеніе монархіи во Франціи было уже довольно затруднительно. Въ общество уже стало проникать убѣжденіе въ непрочности существующаго порядка, и начали раздаваться голоса, предсказывавшіе неминуемый переворотъ. Въ самый годъ смерти кардинала М-ме де-Тансенъ (Tencin) сказала: „Если Господь не вступится въ дѣло, то государство неминуемо должно сокрушиться“; а составитель извѣстныхъ записокъ, маркизь д'Аржансонъ писалъ: „Революція въ этомъ государствѣ несомнѣнна; оно рушится въ самомъ своемъ основаніи“ (*il s'écroule par ses fondements*). Что монархія, однако, тогда не утратила своего обаянія для французскаго народа, это ясно обнаружилось на слѣдующій годъ во время болѣзни Людовика XV въ необыкновенно сердечномъ участіи всѣхъ классовъ общества къ королю, несмотря на то, что онъ уже успѣлъ многихъ разочаровать своею слабостью къ фавориткамъ. Въ одной Нотр-Дамской церкви въ Парижѣ было заказано до 6000 молебновъ о здравіи короля, и вѣсть о томъ, что опасность миновала, была принята парижанами, какъ величайшее національное торжество. При этихъ условіяхъ ничто, кажется, не мѣшало французской монархіи вступить на путь такъ называемаго просвѣтительнаго абсолютизма, который имѣлъ такой успѣхъ и такое важное культурное значеніе въ прошломъ вѣкѣ. Этого, однако, не случилось и вопросъ, почему именно не случилось, представляется однимъ изъ самыхъ важныхъ и интересныхъ для историка вопросовъ. Факты, приведенные въ книгѣ Рокена, даютъ основаніе утверждать что клерикальная политика французскаго правительства въ XVIII вѣкѣ была одной изъ главныхъ причинъ паденія монархіи Бурбоновъ. Людовикъ XV, который вступилъ въ роковой для него союзъ съ Австріей, отчасти изъ-за религіознаго интереса, въ этомъ отношеніи продолжалъ политику тщеславнаго кардинала Флѣри.

Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы между правительствомъ Людовика XV и церковью не было никакихъ столкновений; въ одномъ вопросѣ ихъ интересы существенно расходились — въ фискальномъ. Французская церковь все еще поддерживала средневѣковый принципъ, что ея имущества не подлежатъ обложенію податями. На практикѣ, правда, она давно уже согласилась на сдѣлку и платила королю, подъ названіемъ *don gratuit*, значительныя суммы, размѣръ которыхъ устанавливался на сѣздахъ высшаго духовенства послѣ продолжительныхъ пререканій съ министерствомъ. Въ 1749 году правительство, не довольствуясь *добровольнымъ приношеніемъ*, вздумало распространить вновь установленную 5⁰/₁₀₀ подоходную подать и на имущества церкви. Епископы тогда представили протестъ, въ которомъ они въ почтительныхъ выраженіяхъ упрекали короля въ томъ, что онъ нарушаетъ клятву, данную имъ при коронованіи, и обѣщанія всѣхъ своихъ предковъ, начиная съ Хлодвига. Въ отвѣтъ на это появилась брошюра, отстаивавшая право короля и доказывавшая, что привилегіи духовенства не что иное, какъ узурпація. Общество относилось очень сочувственно къ мѣрамъ правительства, которое потребовало переписи церковныхъ имуществъ и выпустило протестующій сѣздъ епископовъ. За то все духовенство было въ мятежномъ состояніи — *dans une espèce de révolte*, какъ выражались современники. Наступилъ, казалось, критическій моментъ въ политикѣ французской монархіи; но правительство вдругъ отступило. Какая же была тому причина? — Мы встрѣчаемся здѣсь съ фактомъ чрезвычайно интереснымъ для объясненія исторіи *старого порядка*. Правительство не нашло достаточной поддержки въ обществѣ! „Въ обществѣ, говоритъ Рокенъ, хорошо понимали, что образъ дѣйствія правительства былъ ему внушенъ не идеями „мудрыхъ преобразованій“, а исключительно нуждой въ деньгахъ, и что новые доходы, если получатся, уйдутъ (*iraient s'engouffrer* — по выраженію д'Аржансона) на расходы фиска и двора безъ облегченія страны“.

При такихъ условіяхъ борьба противъ ультрамонтанскаго

фанатизма велась, главнымъ образомъ, парламентами при живомъ участіи публики, которая все болѣе и болѣе привыкала видѣть въ нихъ настоящихъ защитниковъ интересовъ французскаго общества. Борьба разгорѣлась съ особеннымъ ожесточеніемъ со времени назначенія новаго архіепископа парижскаго, де-Бомона, который вступилъ въ должность „comme un mouton“, а велъ себя „comme un loup irrité“. Этотъ архіепископъ приказалъ духовенству отказывать въ причастіи всѣмъ лицамъ, которыя не въ состояніи предъявить свидѣтельство, подписанное *конституціоннымъ* священникомъ о томъ, что они у него исповѣдались (*billet de confession*). Вслѣдствіе этого стали опять повторяться „отказы въ причастіи“; ревностнымъ янсенистамъ приходилось умирать безъ причастія, и похороны такихъ лицъ становились поводомъ къ публичнымъ демонстраціямъ противъ духовенства. Неполучившіе причастія, или родственники ихъ, обращались съ жалобами въ парламентъ, и послѣдній вступилъ въ многолѣтнюю борьбу съ римскою партіей, которая наконецъ кончилась изгнаніемъ іезуитскаго ордена изъ Франціи. О характерѣ этой борьбы даетъ понятіе слѣдующій случай. Одинъ изъ горячихъ приверженцевъ конституціи, священникъ Буэтгенъ, отказался въ 1752 году причастить другого священника Ле-Мера, очень пожилого и больного. Послѣдній подалъ жалобу въ парламентъ; на запросъ парламента Буэтгенъ отвѣтилъ, что поступалъ согласно приказанію архіепископа. Парламентъ сдѣлалъ постановленіе (*arrêt*), которымъ вмѣнялъ въ обязанность архіепископу предписать въ теченіе 24 часовъ, чтобы больному было дано причастіе. Королевскій совѣтъ кассировалъ указъ парламента, и во время послѣдовавшихъ за тѣмъ пререканій больной умеръ безъ причастія. Извѣстіе объ этомъ вызвало въ Парижѣ такое возбужденіе, какое рѣдко бывало со времени междоусобныхъ войнъ. „Ненависть къ королю и презрѣніе къ правительству, пишетъ д'Аржансонъ, были такъ сильны, что предвѣщали самыя печальныя послѣдствія“. На похороны Ле-Мера публики собралось до десяти тысячъ человѣкъ. Парламентъ постановилъ арестовать

священника и, ожидая исполненія приговора, не прерывалъ засѣданія до четырехъ часовъ утра, когда пришли сказать, что виновный скрылся.

Съ какимъ упорствомъ продолжалась эта борьба и къ какимъ средствамъ прибѣгали обѣ стороны, чтобы осилить противника, покажетъ слѣдующій случай, бывший тринадцать лѣтъ спустя. Въ монастырѣ урсулинокъ въ С.-Клу находилась при смерти монашенка, которой архіепископъ парижскій запретилъ дать причастіе. Вопреки бдительному надзору, которымъ она была окружена, больной удалось довести о своемъ положеніи до свѣдѣнія парламента, и по распоряженію послѣдняго священникъ капитула С.-Клу явился въ монастырь, чтобы причастить умирающую. Но игуменья, получившая на то приказаніе отъ архіепископа, отказалась впустить священника. Пришлось силою отворить двери, и священникъ внесъ дары, сопровождаемый полицейскимъ офицеромъ и двумя чиновниками парламента, въ то время, какъ снаружи жандармы занимали сосѣднія улицы среди встревоженной толпы народа.

Если парламентъ на этотъ разъ употребилъ въ дѣло силу для защиты свободы совѣсти, то въ другихъ случаяхъ онъ прибѣгалъ къ подобнымъ мѣрамъ и для стѣсненія чужой совѣсти. Между многочисленными сочиненіями ультрамонтанскихъ писателей, осужденными парламентомъ на сожженіе, находилась и „Исторія Божьяго народа“ іезуита Беррюэ, въ которомъ парламентъ находилъ взгляды, противные свободѣ галиканской церкви и независимости королевской власти. Но не довольствуясь такимъ приговоромъ, парламентъ вызвалъ автора, какъ говорилось, *à la barre*, что впослѣдствіи такъ часто дѣлалось во время революціи, и такъ какъ Беррюэ по старости и болѣзненности не былъ въ состояніи исполнить приказаніе, то къ нему отправился комиссаръ парламента, въ присутствіи котораго онъ долженъ былъ отречься отъ своихъ мнѣній, что было засвидѣтельствовано протоколомъ.

Со времени классической книги Токвиля о „Старомъ по-

рядкѣ и революціи“ все болѣе и болѣе выясняется фактъ, что революція, хотя и была насильственнымъ переворотомъ, который уничтожилъ много древнихъ учрежденій и прервалъ не мало преданій, однако же во многихъ отношеніяхъ служила продолженіемъ вѣкового историческаго движенія въ исторіи Франціи. Книга Рокена, хотя ея авторъ самъ и не затрогиваетъ этого вопроса, даетъ читателямъ богатый матеріалъ для примѣненія этого положенія также и къ церковному вопросу. Тотъ глубокий расколъ, который въ настоящее время играетъ первенствующую роль въ политической жизни Франціи и раздѣляетъ французское общество на два столь враждебныхъ другъ другу лагеря, клерикальный и антиклерикальный, ведетъ свое начало не съ французской революціи. Не Учредительное Собраніе вызвало этотъ расколъ своими деспотическими и подъ часъ необдуманнми реформами, или своимъ требованіемъ, чтобы всѣ духовныя лица присягнули въ вѣрности „конституціи духовенства“;—этотъ расколъ уже былъ подготовленъ предшествовавшей исторіей и уже явно обнаруживался въ первой половинѣ XVIII вѣка вовремя борьбы іезуитской партіи, преобладавшей въ высшемъ духовенствѣ и при дворѣ, съ магистратурой, т. е. съ парламентами. Даже возникшія тогда названія партій—*nationaux et sacerdotaux* могли бы быть примѣнены къ эпохѣ революціи и къ современной намъ эпохѣ и даже лучше обрисовываютъ положеніе дѣлъ, чѣмъ употребляемые въ наше время термины.

И въ другомъ еще отношеніи время Людовика XV представляетъ намъ прелюдію революціи. Тотъ тѣсный союзъ между бурбонской монархіей и церковью, который во время революціи принесъ столько вреда обоимъ учрежденіямъ и такъ сильно содѣйствовалъ распространенію республиканскаго духа и возбужденію въ народѣ фанатизма противъ духовенства, уже задолго передъ революціей имѣлъ подобное вліяніе. Еще въ 1754 г. д'Аржансонъ писалъ по поводу этого союза: „Теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, нужно опасаться революціи; если она наступитъ въ Парижѣ, она начнется растерзаніемъ на улицѣ нѣсколькихъ священниковъ, можетъ быть даже

архіепископа парижскаго, а затѣмъ народъ бросится на многихъ другихъ, ибо онъ считаетъ духовныхъ лицъ главными виновниками своихъ бѣдствій. Известно, что именно съ разтерзанія на улицѣ нѣсколькихъ священниковъ начались въ 1792 г., сентябрскія убійства, которыя положили во Франціи начало *террору*.

Солидарность съ ультрамонтанствомъ составляетъ только одну сторону въ исторіи паденія бурбонской монархіи; другую соотвѣтствующую сторону представляетъ непрерывная борьба правительства Людовика XV съ парламентами. Въ исторіи этой борьбы сочувствіе безпристрастнаго наблюдателя не всегда можетъ быть на сторонѣ послѣднихъ. Ибо въ нѣкоторыхъ случаяхъ министры Людовика XV дѣйствовали совершенно согласно съ интересами государственнаго управленія, или же мѣры, принимаемыя ими бывали вынуждены обстоятельствами; а сопротивленіе парламента не всегда исходило изъ болѣе вѣрнаго пониманія нуждъ государства или интересовъ общества; оно часто обусловливалось привязанностью къ сословнымъ привилегіямъ или корпоративными интересами французской магистратуры. Но сочувствіе тогдашней публики было всегда на сторонѣ оппозиціи, и это явленіе очень поучительно; оно показываетъ, что при известномъ уровнѣ народнаго развитія даже благія нововведенія правительства, чтобы быть полезными, должны опираться на сочувствіе или на поддержку со стороны общества, и что главнымъ условіемъ политическаго успѣха должно быть довѣріе и уваженіе этого общества къ руководящимъ личностямъ. А этого именно условія не было во Франціи при Людовикѣ XV, и потому въ его правленіе сложилась во Франціи та безусловная и постоянная оппозиція противъ всѣхъ мѣръ правительства, которая при Людовикѣ XVI сдѣлалась главной помѣхой мирной реформы и неудержимо увлекла Францію къ революціи. Во всякомъ финансовомъ распоряженіи общество стало видѣть только обогащеніе *фиска* и двора, а во всякой административной мѣрѣ только усиленіе абсолютизма и произвола; да обществу и трудно было относиться къ дѣлу

иначе при известной обстановкѣ двора Людовика XV и при господствовавшемъ способѣ назначенія и увольненія министровъ.

Антагонизмъ между королевскимъ правительствомъ и парламентомъ обнаруживался сначала только косвеннымъ образомъ во время борьбы послѣдняго съ духовенствомъ. Правительство не сумѣло, или не было въ состояннн воспользоваться выгоднымъ положеніемъ высшей рѣшающей инстанціи, какое оно сначала занимало въ спорѣ между магистратурой и церковью; этотъ споръ помогъ парламенту возвыситься въ глазахъ народа и, принимая мало по малу политическій характеръ, перешелъ въ прямую борьбу между парламентомъ и правительствомъ, особенно послѣ изгнанія іезуитовъ, когда церковные вопросы отодвинулись на второй планъ.

Впрочемъ, если мы говоримъ о борьбѣ парламента съ королевскимъ правительствомъ, то мы принуждены для краткости употреблять неточное выраженіе. Слово правительство предполагаетъ понятіе о власти единой, дѣйствующей по опредѣленному плану съ энергіей и послѣдовательностью. Этихъ то свойствъ мы и не находимъ у правительства Людовика XV. То, что такъ повредило Людовику XVI, мы стрѣчаемъ уже при ~~при~~ его дѣдѣ; такъ называемое правительство представляло минутный результатъ самыхъ разнообразныхъ, случайныхъ, нерѣдко противоположныхъ вліяній — придворныхъ, клерикальныхъ, министерскихъ и пр., которыя далеко не всегда приводились хотя бы и къ внѣшнему единству могуществомъ фаворитки, или апатичной волей равнодушнаго ко всему Людовика XV. Во все продолжительное царствованіе этого короля дѣйствія его правительства никогда не были внушаемы духомъ обдуманной реформы, хотя бы въ интересахъ бюрократическаго абсолютизма, который могъ бы принести Франціи, по крайней мѣрѣ, ту пользу, что избавилъ бы ее отъ многихъ устарѣлыхъ учрежденій и привилегій. При такихъ условіяхъ даже побѣды, которыя одерживали министры въ борьбѣ съ парламентами, становились пораженіемъ правительства, ибо страшно раздражали противъ него обще-

ственное мнѣніе. Не менѣе того вредилъ правительству Людовика XV самый способъ, какимъ велась борьба — замѣчательная непослѣдовательность въ мѣрахъ, шаткость принциповъ, слабость въ критическую минуту и уступчивость послѣ рѣзкихъ насильственныхъ мѣръ.

Въ 1751 году, напр., архіепископъ парижскій, желая подчинить своему вліянію духовныхъ лицъ, служившихъ въ больницахъ и богадельняхъ Парижа, среди которыхъ нашли приубѣжище янсенистскія доктрины, такъ какъ эти лица назначались не имъ, а свѣтскими администраторами, — выхлопоталъ королевскую декларацію, измѣнявшую уставъ этихъ учрежденій. Парламентъ, которому принадлежалъ надзоръ надъ ними, *регистрировалъ* декларацію, (т. е. внесъ ее въ списокъ законовъ, обязательныхъ для судовъ) съ ограниченіями, измѣнявшими ея смыслъ. Король, постановленіемъ своего совѣта, кассировалъ эти измѣненія и, такимъ образомъ, начался цѣлый рядъ пререканій между правительствомъ и парламентомъ, во время которыхъ частный случай, вызвавшій ихъ, былъ совершенно забытъ изъ-за общаго политическаго вопроса объ отношеніяхъ двухъ властей. Члены парламента грозили подачей въ отставку, какъ они это сдѣлали еще въ 1732 году; съ другой стороны, при дворѣ говорили о закрытіи парламента. Иезуиты и епископъ „раздували огонь“, въ надеждѣ сдѣлать съ парламентомъ то, что имъ удалось съ университетомъ (съ Сорбоной), *en faire une carcasse*, какъ выражались въ то время. На неоднократныя требованія регистрировать декларацію въ неизмѣненномъ видѣ, магистраты отвѣчали, что „истинная вѣрноподданность и истинное повиновеніе парламента заключается въ томъ, чтобы никогда не соглашаться на то, что противорѣчитъ законамъ и принципамъ монархіи“. Раздраженный король вытребовалъ реестры парламента и собственноручно вырвалъ изъ нихъ протоколъ объ упомянутомъ постановленіи. Члены парламента приостановили свою судебную дѣятельность. Министерство, опасаясь смуть, объявило сбавку съ податей и по тогдашнему обычаю обнародовало свое постановленіе выкрикиваніемъ на улицахъ.

Народъ увидѣлъ въ этой наскоро принятой мѣрѣ выраженіе страха. Дѣло, продолжавшееся уже нѣсколько мѣсяцевъ, занимало весь городъ и тревога проникла въ простой народъ, „le petit peuple“, какъ тогда говорили. Замѣчательно, что народъ, какъ то постоянно случалось, особенно во время революціи, политическій вопросъ превращалъ въ социальный. Не понимая, по свидѣтельству современныхъ наблюдателей, политической стороны дѣла, народъ воображалъ, что парламентъ, сопротивляясь двору, имѣлъ въ виду только *интересы бѣдныхъ*. Между тѣмъ по настоянію короля парламентъ согласился возобновить свою дѣятельность; но онъ подтвердилъ особымъ постановленіемъ свое право обсуждать указы короля, запретилъ на будущее время перемѣщать реестры парламента и не захотѣлъ взять назадъ своихъ предшествовавшихъ протестовъ. Правительство отвѣтило на это указомъ (*lettre patente*), которымъ перенесло надзоръ надъ благотворительными учрежденіями въ такъ-называемый Большой Совѣтъ; но оно не рѣшилось обнародовать этого указа, „и дало этимъ новое доказательство того, что боится общественнаго мнѣнія“.

Еще болѣе уступчивымъ, послѣ упорной борьбы, оказалось правительство въ 1763 году, по окончаніи семилѣтней войны. Предвидя сопротивленіе парламента новымъ финансовымъ эдиктамъ, которыми отмѣнялись нѣкоторыя подати, но вмѣсто нихъ объявлялись другія, Людовикъ XV прямо назначилъ для обнародованія ихъ *королевское засѣданіе* парижскаго парламента (*lit de justice*), когда о возраженіяхъ не могло быть рѣчи. Парламентъ долженъ былъ повиноваться, но послѣ того постановилъ приговоръ, въ которомъ заявилъ, что всякая „насильственная регистрація указовъ ведетъ къ ниспроверженію основныхъ законовъ королевства“. Съ этого началась агитація въ литературѣ, и возбужденіе умовъ изъ Парижа распространилось и на провинціи. Провинціальныя парламенты примкнули къ столичному и, отказываясь регистрировать указы для своего округа, мотивировали отказъ въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ. Революціонный языкъ газетъ

и клубовъ 1789 года слышится въ официальныхъ актахъ задолго до революціи. Руанскій парламентъ, напр., укорялъ короля въ томъ, что онъ обогащаетъ придворныхъ аих *dépens de la subsistance des peuples*, а бордосскій парламентъ заговорилъ о паденіи царствъ. Еще серьезнѣе было то, что руанскій парламентъ потребовалъ у правительства представленія бюджета, а парижскій парламентъ сдѣлалъ заявленіе, что королевскіе указы могутъ быть признаны только подъ условіемъ свободнаго принятія ихъ не только парижскимъ, но и всѣми прочими парламентами монархіи.

Людовикъ XV рѣшился силою положить конецъ сопротивленію. Онъ кассировалъ приговоры парламентовъ и приказалъ военнымъ начальникамъ регистрировать эдикты „*manu militari*“. Это приказаніе было въ точности исполнено. Въ нѣкоторыхъ городахъ „храмъ справедливости“ былъ оцѣпленъ солдатами и офицеры вошли въ него съ саблею наголо; въ другихъ городахъ магистраты подверглись домашнему аресту. Парламенты отвѣтили тѣмъ, что приговорили комендантовъ къ заключенію подъ стражу (*prise de corps*). Въ Руанѣ 80 членовъ парламента подали въ отставку. Парижскій парламентъ протестовалъ въ самыхъ крайнихъ выраженіяхъ отъ имени всѣхъ парламентовъ противъ употребленія военной силы, заявляя между прочимъ, что поддерживать правительство силою значитъ научать народъ, что оно само можетъ быть ниспровергнуто силою. Раздраженіе парламентовъ начало сообщаться обществу. Устрашенное министерство отступило отъ своихъ требованій. Эдикты были видоизмѣнены; магистратамъ было сообщено, что король въ своей милости соизволилъ забыть ихъ неповиновеніе; парламенты, счетная палата и палата косвенныхъ налоговъ, получили приглашеніе доставить свои соображенія объ улучшеніяхъ, которыя могли бы быть введены въ финансовомъ управленіи: мало того, король въ особой деклараціи обѣщалъ уменьшить свои расходы и правительство предписало полное молчаніе относительно всего, что случилось. Конечно несмотря на эти обѣщанія и на соображенія, представленныя палатами, ничего не было измѣнено въ финансовой системѣ.

Совершенно такимъ же образомъ дѣйствовало правительство и въ другихъ столкновеніяхъ съ парламентомъ. Особенно поразительна была такая уступчивость при полномъ контрастѣ съ рѣзкимъ выраженіемъ монархическаго принципа, которымъ изобиловали королевскія заявленія. Такъ, напр., въ манифестѣ отъ 3 марта 1766 года встрѣчались, между прочимъ, слѣдующія слова: „Только въ *одномъ моемъ лицѣ*, заставляли говорить короля, заключается верховная власть; отъ *одного меня* заимствуютъ свое существованіе и авторитетъ верховныя палаты: мнѣ *одному* принадлежитъ законодательная власть безъ зависимости отъ кого бы то ни было и безъ раздѣла; общественный порядокъ во всей совокупности проистекаетъ *отъ меня*“. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ этого заявленія, всѣ рѣшительныя мѣры правительства были имъ взяты назадъ. Чрезвычайно характеренъ для французскаго общества его способъ отношенія къ королевской деклараціи. Публика находила, что въ ней съ величайшей смѣлостью „установлены принципы деспотизма въ ущербъ естественному праву“; но въ то-же время всѣ любовались слогомъ манифеста, и говорили, что если-бы король не состоялъ покровителемъ академіи, то онъ заслужилъ бы сдѣлаться ея членомъ безъ баллотировки (*par acclamation*).

Въ виду шаткости и слабости монархической политики, парламентъ чрезвычайно выигрывалъ постоянной твердостью и послѣдовательностью своихъ дѣйствій и особенно благодаря корпоративной солидарности и рыцарскому духу своихъ членовъ. Можно сказать, что французское служебное дворянство (*noblesse de robe*) вполне прониклось преданіемъ древняго военнаго дворянства (*noblesse d'érée*). Такъ напр. въ 1753 году Людовикъ XV, выведенный изъ терпѣнія высокопарнымъ протестомъ (*les grandes remonstrances*) парламента, рѣшилъ наказать членовъ его ссылкой въ Понтуазъ. Въ ночь съ 8-го на 9-е мая мушкетеры расхаживали по всѣмъ улицамъ Парижа, разнося членамъ парламента, за исключеніемъ членовъ Большой палаты, пресловутые *приказы за печатью короля* (*lettres de cachet*), вмѣнявшіе имъ въ обязанность выѣхать изъ Па-

рижа въ 24 часа. Что касается совѣтниковъ Большой Палаты, министерство рассчитывало, что они въ виду преклонныхъ лѣтъ и пенсій, которыя многіе изъ нихъ получали отъ двора, окажутся болѣе послушными. Но на другое утро члены Большой палаты при рукоплесканіяхъ публики заявили, что вполне раздѣляютъ убѣжденія своихъ товарищей и въ томъ же засѣданіи постановили приговоръ объ арестованіи нѣсколькихъ священниковъ. Немедленно послѣ этого и они получили приказаніе выѣхать въ Понтаузь.

Передъ тѣмъ, какъ въ 1771 году парламентъ былъ наконецъ совсѣмъ упраздненъ (четыре года спустя онъ былъ восстановленъ при вступленіи на престолъ Людовика XVI), образъ дѣйствія его членовъ отличался тѣмъ же единодушіемъ. Парламентъ желалъ въ то время добиться отмѣны одного финансоваго эдикта, и въ ожиданіи этого постановилъ прекратить всякое дѣлопроизводство. Четыре раза правительство приказывало ему (*par lettres de jussion*) возобновить свою дѣятельность; четыре раза парламентъ отказывался повиноваться. Тогда въ ночь съ 19-го на 20-е января мушкетеры доставили каждому изъ членовъ бумагу, на которой онъ долженъ былъ написать—да или нѣтъ, т. е. согласенъ-ли онъ или нѣтъ приступить къ отправленію своихъ служебныхъ обязанностей. Большинство подписало нѣтъ. Нѣкоторые приписали къ этому различныя объясненія. Одинъ, напримѣръ, написалъ: „*нѣтъ* слишкомъ непочтительно (*trop dur*) по отношенію къ моему королю; да—слишкомъ позорно для меня“. Сорокъ человекъ, подписавшихъ да, на другое утро взяли назадъ свое согласіе. Въ слѣдующую ночь 130 членовъ парламента получили приказаніе отправиться въ ссылку; при этомъ состоялось постановленіе королевскаго совѣта, конфисковавшее ихъ имущество и объявлявшее ихъ и ихъ дѣтей неспособными занимать какую-либо судебную должность. На слѣдующій день 38 членовъ парламента, не получившихъ запроса, отправились въ палату въ сопровожденіи громадной толпы и торжественно заявили о своемъ согласіи съ товарищами. И они въ свою очередь были отправлены въ ссылку.

Вслѣдствіе борьбы съ клерикализмомъ, постоянной оппозиціи финансовымъ мѣрамъ правительства и твердаго единодушнаго образа дѣйствія, популярность парламента росла съ каждымъ днемъ, значеніе его быстро развивалось и публика постепенно привыкала искать сущность верховной власти не въ монархическомъ правительствѣ. Уже въ 1756 году д'Аржансомъ отмѣчалъ въ своихъ мемуарахъ, что „народъ въ Парижѣ и въ провинціяхъ дошелъ до того, что считаетъ парламентъ какъ-бы *настоящимъ монархомъ Франціи*, который обладаетъ правительственной мудростью и *законною властью*“. Развитію идеи, что парламентъ есть представитель французскаго народа, особенно содѣйствовало слѣдующее характерное обстоятельство. Слѣды средневѣковаго быта, вліяніе феодальной раздробленности, предшествовавшей политическому и національному объединенію Франціи, между прочимъ, выражались въ существованіи 12 провинціальныхъ парламентовъ, изъ которыхъ каждый былъ облеченъ въ своей мѣстности такими же правами и обязанностями, какими обладалъ парижскій въ центральной Франціи. Провинціальные парламенты ревниво охраняли мѣстныя привилегіи и особенности своихъ областей и служили главнымъ тормозомъ бюрократическому объединенію Франціи. Но въ XVIII вѣкѣ, во время борьбы съ королевскою властью, сами парламенты явились проводниками стремленія къ объединенію, правда, не во имя монархическаго принципа, а во имя единства націи, т. е. той идеи, съ помощью которой и былъ произведенъ революціонный переворотъ 1789 г. Парламенты стали смотрѣть на себя, какъ на „*мѣстныя отдѣленія*“ (classes) одного общаго національнаго учрежденія, — *французскаго парламента*, или, какъ говоритъ Вольтеръ въ своей исторіи вѣка Людовика XV — какъ на различныя части одной общей корпораціи, составляющей *постоянные Генеральные штаты королевства* (les Etats Généraux perpétuels). Тогдашнее общество съ живымъ сочувствіемъ подхватывало подобныя идеи; въ публикѣ говорили даже, что ассоціація парламентовъ представляетъ собой нѣчто болѣе важное, чѣмъ Генеральные штаты и, что это вполне

образовавшееся *національное правительство*. Однажды, когда сдѣлалось извѣстнымъ, что члены сосланнаго въ Понтуазъ парижскаго парламента усердно занимаются государственнымъ правомъ, въ обществѣ стали говорить: если когда-нибудь французскій народъ найдетъ случай облечь ихъ своимъ довѣріемъ, то онъ будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи совершенно готовый *національный сенатъ* (un sénat national tout trouvé). Какъ скоро въ обществѣ зародилась мысль объ учрежденіи, представляющемъ собою *націю*, тотчасъ стали противопоставлять волю, права и интересы этой націи—интересамъ короля или абсолютной власти, и во Франціи началъ укореняться тотъ антагонизмъ между *монархическимъ и національнымъ* принципами, который съ такой рѣзкостью и односторонностью проявился во время французской революціи, и послужилъ немногочисленнымъ еще тогда противникамъ монархіи могущественнымъ рычагомъ для распространенія республиканскихъ доктринъ. Уже за 30 лѣтъ до революціи парламенты заговорили языкомъ, которымъ въ дни Учредительнаго собранія стала говорить вся Франція. Въ 1759 году парижскій парламентъ въ одномъ изъ своихъ заявленій (remontrance), обращенныхъ къ королю, протестовалъ противъ употребленія lettres de cachet и называлъ ихъ „неправильными средствами абсолютной власти, противными и законамъ и достоинству магистратуры и правамъ націи“.—„То было въ первый разъ, замѣчаетъ Рокенъ, что парламентъ ссылался передъ королевской властью на права *народа*“. Но парламентъ не одними только словами способствовалъ разрыву между монархіей и націей; самыя дѣйствія его пріучали французовъ признавать у себя существованіе двухъ соперничающихъ властей, изъ которыхъ одна должна была рано или поздно преодолѣть и устранить другую. Такъ наприимѣръ, въ 1752 г. случилось, что парижскій парламентъ постановилъ приговоръ, которымъ присуждалъ одного викарія къ трехлѣтнему изгнанію изъ Парижа, а двухъ церковнослужителей къ выслушанію выговора на колѣнахъ въ залѣ палаты. Правительство не хотѣло взять на себя отвѣтственности передъ духовенствомъ за такое

распоряженіе парламента и кассировало его приговоръ заключеніемъ королевскаго совѣта, которое было обнародовано обычнымъ способомъ (*crié dans les rues*). Въ тотъ же день и въ тотъ же часъ парламентъ обнародовалъ по улицамъ Парижа свой собственный приговоръ, такъ что, по замѣчанію одного современнаго дневника, въ одно и то же время народу объявлялась воля „двухъ властей почти равныхъ, которыя сталкивались въ своихъ распоряженіяхъ“. На другой день приговоръ парламента былъ снова обнародованъ и его напечатали вторымъ изданіемъ, такъ какъ число выпущенныхъ экземпляровъ не удовлетворяло требованіямъ разносчиковъ.

И такъ, главнымъ послѣдствіемъ церковно - политической борьбы, наполнявшей все царствованіе Людовика XV, послѣдствіемъ, которое вдругъ обнаружилось со всей силой при созваніи Генеральныхъ штатовъ, было распространеніе во французскомъ обществѣ доктрины объ антагонизмѣ между націей и королемъ, и о подчиненіи короля національному правительству. Нужно замѣтить, что эта доктрина укоренилась во Франціи гораздо раньше появленія „*Contrat Social*“ и другихъ произведеній демократической литературы. Уже въ половинѣ царствованія Людовика XV въ парламентахъ, и вообще среди янсенистовъ „установился принципъ, что *нація настолько выше короля, насколько церковь выше папы*“. Тогда же эта доктрина стала принимать тотъ фанатическій характеръ, который проявился во дни Конвента. Во время ссылки парижскаго парламента въ публикѣ распространились *подложныя* заявленія руанскаго парламента, „составленныя скорѣе Брутами, чѣмъ подданными“, въ которыхъ предлагалось созвать „*Національное Собраніе*, чтобы судить короля и рассмотреть его поведеніе“. Замѣчательно, что ультрамонтаны и іезуиты, желая заподозрить своихъ противниковъ и вооружить противъ нихъ правительство, сами содѣйствовали распространенію понятій, подрывавшихъ авторитетъ королевской власти. Такъ напримѣръ, они пустили въ ходъ „*епископское посланіе*“, въ которомъ утверждали, что *республиканскія* принципы парламента гораздо опаснѣе для короны, чѣмъ

принципы римской куріи, и что парламентъ по тому вліянію, которое онъ пріобрѣлъ „скорѣе въ состояніи низложить короля, чѣмъ папа“. Наконецъ, одинъ изъ епископовъ первый произнесъ роковое слово, такъ прискорбно осуществившееся въ 1793 году. Въ своемъ посланіи епископъ монтобанскій, напоминая объ англійской революціи, инсинуировалъ, что парижскій парламентъ по примѣру лондонскаго „былъ бы въ состояніи отдать короля подъ судъ и повести его на эшафотъ“.

Такимъ образомъ и парламентъ и церковники одинаково подрывали почву существующаго порядка. Парламентъ, поддерживаемый общественнымъ мнѣніемъ, взялъ наконецъ верхъ надъ своими противниками, но не ему было суждено сдѣлаться вождемъ Франціи при переходѣ ея къ другому политическому порядку. Его популярность и его значеніе держались только пока онъ боролся противъ ультрамонтанскихъ притязаній и министерскаго произвола. Въ началѣ революціи парламенты были еще быстрѣе снесены волной революціоннаго движенія, чѣмъ та власть, которую они подкапывали своей оппозиціей. Это объясняется тѣмъ, что парламенты, при всей рѣзкости своей оппозиціи, были представителями *старо* *порядка*, поборниками политическаго и общественнаго строя, сложившагося подъ вліяніемъ феодализма. И самая борьба ихъ противъ того, что они называли *абсолютной властью*, происходила главнымъ образомъ изъ ихъ приверженности къ феодальной старинѣ, на которой основывались ихъ собственныя привилегіи. Консервативное отношеніе ко всякимъ исторически сложившимся привилегіямъ дѣлало парламенты въ сущности вполне солидарными съ королевскимъ правительствомъ, стремившимся только къ расширенію административнаго простора, но не желавшимъ никакихъ существенныхъ реформъ. Эта солидарность парламентовъ съ полуфеодальною французскою монархіей XVIII вѣка особенно ярко проявляется въ ихъ общемъ союзѣ противъ духа новаго времени, въ ихъ дружномъ преслѣдованіи литературы, въ которой стали высказываться требованія и воззрѣнія иной культурной эпохи. Историческая несостоятельность парламентовъ,

неспособность ихъ къ великой политической и культурной роли, которая навязывалась имъ обстоятельствами, болѣе всего обнаруживается въ ихъ отношеніяхъ къ *философiи*, подъ общимъ именемъ которой французъ XVIII вѣка подразумѣвалъ всю массу новыхъ идей и понятій, подъ часъ весьма незрѣлыхъ и не глубокихъ, навѣянныхъ литературой вѣка раціонализма. Парламенты преслѣдовали съ одинаковой суровостью какъ газетныя сплетни, распространявшіяся безъ разрѣшенія правительства и политическіе памфлеты, такъ и сочиненія научнаго или культурнаго характера, въ которыхъ проводились великія идеи, прославившія XVIII вѣкъ. Такъ напримѣръ, въ 1745 г. парламентъ запретилъ „подъ страхомъ наказанія кнутомъ и ссылкой какъ сочиненіе, такъ и продажу „*Новостей*“ (Nouvelles à la main) — рукописныхъ газетъ, распространявшихъ по всему королевству и за границей недоброжелательную критику дѣйствій правительства и оскорбительныя выходки противъ него; а три года спустя, парламентъ приговорилъ къ сожженію сочиненія „*Les mœurs*“, въ которомъ рядомъ съ ученіемъ деизма и извѣстными крайностями и заблужденіями раціоналистической критики религій, проводились и идеи гуманности, требовалось напр. смягченіе наказаній, столь жестокихъ въ прошломъ вѣкѣ. Конечно, когда идетъ рѣчь о преслѣдованіи, которому подвергалась литература со стороны парламента, то не слѣдуетъ забывать о запальчивости и фанатизмѣ, съ которыми выступала эта литература, о радикальномъ отрицаніи во многихъ изъ ея произведеній всякихъ принциповъ, о циническомъ глумленіи въ нихъ надъ догматами и обрядомъ, надъ общественными законами и правилами нравственности. Но характерно то, что парламентъ, на ряду съ подобными уродливыми проявленіями новаго духа, подвергалъ осужденію напр. и требованіе *вѣротерпимости*. Какъ странно читать въ обвинительномъ актѣ генеральнаго прокурора—Омера Жоли де-Флѣри противъ „*Энциклопедіи*“ между прочими пунктами, которые ставились въ вину ея авторамъ, и слѣдующій: „что они требуютъ свободы совѣсти и, по необходимой послѣдовательности, всеобщей

терпимости“ (*tolérance universelle*). Правда, парламент не рѣшился приобщить Энциклопедію къ числу другихъ сочиненій, осужденныхъ на сожженіе палачемъ, и назначилъ для разсмотрѣнія ея комиссію изъ адвокатовъ и богослововъ. Но въ обвинительномъ актѣ прокурора, противъ *Эмиля*, который былъ сожженъ парламентомъ, опять таки красуется упрекъ Руссо за то, что онъ развиваетъ въ этомъ сочиненіи „преступную систему естественной религіи и проповѣдуетъ терпимость“. Извѣстные процессы Каласа въ Тулузѣ и молодого де-Ла-Барра, приговоренныхъ парламентами къ казни подъ давленіемъ религіознаго фанатизма, служатъ страшной иллюстраціей къ такимъ взглядамъ. Если парламентъ, находившійся въ борьбѣ съ господствовавшей въ церкви партіей, относился такъ враждебно къ литературѣ и *философіи*, то правительство, поддававшееся клерикальному вліянію, еще менѣе различало въ наплывѣ новыхъ идей суетныя выходки невѣжественнаго полуобразования и увлеченія модой отъ серьезныхъ требованій вѣка. При дворѣ смотрѣли съ одинаковой ненавистью какъ на памфлетистовъ и застрѣльщиковъ общественнаго мнѣнія, такъ и на великіе умы XVIII вѣка и называли Монтескье, Вольтера, Дидеро и Бюффона *отравителями общества* (*empoisonneurs publics*). „Дѣло дошло до того, писалъ Гриммъ, что въ настоящее время нѣтъ ни одного сановника (*homme en place*), который не считалъ бы успѣхъ философіи между нами причиною всѣхъ нашихъ бѣдствій. Можно было бы думать, что причины, обусловливавшія наши пораженія при Росбахѣ и Минденѣ, или разореніе и гибель нашихъ флотовъ, достаточно ясны и осязательны. Между тѣмъ, если вы прислушаетесь къ настроенію двора, то вы узнаете, что всѣ эти несчастія нужно приписать новой философіи, что она уничтожила воинскій духъ и слѣпое подчиненіе и все, что прежде создавало великихъ людей и славные подвиги Франціи“. Поэтому при дворѣ находила себѣ полную поддержку клерикальная агитація, направленная не только къ запрещенію „*Энциклопедіи*“ и подобныхъ ей по духу сочиненій, но и „*Естественной Исторіи*“ Бюффона и „*Духа зако-*

новъ“ Монтескье. До какой степени правительство дѣйствовало подозрительно и неразборчиво по отношенію къ литературѣ можно напр. судить по тому, что извѣстный канцлеръ Мопу запретилъ даже перепечатаніе капитуляріевъ Карла Великаго, изданныхъ при Людовикѣ XIV извѣстнымъ Балюзомъ, изъ опасенія, чтобы этотъ сборникъ старинныхъ франкскихъ законовъ не послужилъ орудіемъ въ рукахъ *патріотическихъ* писателей.

Такимъ образомъ мало по малу разгорѣлась ожесточенная борьба между правительствомъ Людовика XV, въ союзѣ въ этомъ случаѣ съ парламентомъ, и литературой, на сторонѣ которой стояло общественное мнѣніе. Борьба эта велась со всею жестокостью, которую допускали тогдашніе обычаи, и эта суровость нерѣдко обрушивалась на лицъ наименѣе виновныхъ или случайно подвернувшихся. Писатели, а по примѣру ихъ и издатели, часто скрывали свое имя и правительство было принуждено преслѣдовать разносчиковъ. Въ 1768 г. двое изъ нихъ были приговорены къ каторжной работѣ (на галерахъ) за то, что продавали сочиненіе „Le Christianisme dévoilé“, трагедію „Весталка“, направленную противъ монастырскихъ обѣтовъ, и рассказъ Вольтера „L'homme aux quarante écus“. Одинъ изъ приговоренныхъ умеръ съ отчаянія отъ такого жестокаго приговора. Правительство впрочемъ не всегда ограничивалось только наказаніемъ такихъ лицъ, для которыхъ распространеніе запрещенныхъ сочиненій было промысломъ, но иногда старалось запугать самое общество. Такъ въ 1749 г. „была произведена масса арестовъ: Бастилія, Венсенскій замокъ, Фортъ л'Евекъ были наполнены янсенистами, аббатами, учеными, beaux esprits, профессорами университета, докторами Сорбонны, по обвиненію въ сочиненіи, чтеніи, распространеніи стиховъ противъ короля, въ томъ, что они напали на министерство (frondé contre le ministère), что писали и печатали въ защиту деизма и противъ нравовъ“. Безъ уликъ, по одному подозрѣнію (soupçon de libelle) людей арестовали, обыкновенно ночью, и сажали въ тюрьму. Дидеро былъ одинъ изъ первыхъ арестованъ. Во время этого заключенія онъ задумалъ изданіе Энциклопедіи.

Но всё эти строгости были безуспѣшны. Страсть къ пропагандѣ до такой степени разгорѣлась, что начальникъ полиціи (lieutenant de police) самъ признавался въ своей немощи „сдержать приливъ сочиненій“. Чего не дерзали печатать во Франціи, печаталось за границей. Станки въ Голландіи „не переставали скрипѣть“ и каждую недѣлю доставляли какое-нибудь *адское* сочиненіе. Перепечатывались старинныя сочиненія, переводились книги иностранныхъ авторовъ. Что касается до новыхъ произведеній, то многія изъ нихъ по выраженію самихъ философовъ, были настоящею *дрянью* (drosses), но тѣмъ не менѣе они имѣли свое дѣйствіе на публику. Вносимыя этимъ литературнымъ потокомъ идеи энциклопедистовъ проникали и въ среду дворянства, буржуазіи и магистратуры; даже „среди лавочниковъ оказывались философы“. Въ одномъ изъ своихъ обвинительныхъ актовъ генеральный прокуроръ Сегюе жаловался: „Проза, поэзія, театръ, романы, словари—все заражено. Какъ только эти сочиненія появятся на свѣтъ въ Парижѣ, такъ они тотчасъ же какъ потокъ разливаются по провинціямъ. Зараза проникла въ мастерскія и даже въ самыя хижины“. И самое духовенство начало подвергаться ихъ вліянію. Въ 1769 г. два монаха признались Дидеро, что „атеизмъ сдѣлался доктриной, господствующей въ ихъ корридорахъ“.

Безуспѣшность преслѣдованія оппозиціонной литературы объясняется отчасти непослѣдовательностью самого правительства, антагонизмомъ между его представителями и наконецъ тайнымъ сочувствіемъ самихъ властей къ тому, что преслѣдовалось. Розыски велись иногда съ большой энергіей и тщательностью. Однажды напр. полиція, заподозривъ, что въ одномъ изъ закрытыхъ монастырей находится складъ запрещенныхъ памфлетовъ, осмотрѣла тамъ даже склепы и, какъ говорятъ, перерыла самыя гробы. Вслѣдствіе этого по временамъ запрещенныя книги становились рѣдки. Гриммъ жалуется въ одномъ изъ своихъ писемъ, что скоро сочиненія философовъ будетъ также трудно доставать въ Парижѣ, какъ въ Константинополѣ. Но это продолжалось не долго. Философы,

какъ нѣкогда янсенисты, имѣли тайныхъ приверженцевъ не только среди магистратуры, но даже и въ полиціи. Секретарь начальника полиціи былъ одинъ изъ „посвященныхъ“ (frère). Дворянство, болѣе внимательное къ таланту писателей, чѣмъ къ ихъ доктринамъ, считало долгомъ чести защищать ихъ. Знаки сочувствія, которые они получали отъ иностранныхъ государей, также служили для нихъ покровительствомъ. Правительство рѣшалось преслѣдовать только полумѣрами людей, которымъ прусскій король писалъ собственноручныя письма, или которыхъ русская императрица осыпала своими щедротами. Къ этому присоединилась странная непослѣдовательность дѣйствій и распущенность со стороны министерства.

Когда парламентъ приговорилъ *Эмиля* къ сожженію и приказалъ арестовать Руссо, само министерство дало ему средство скрыться. Въ то же самое время оно разрѣшило печатаніе „Энциклопедіи“, которая была имъ запрещена, и дозволило открытую продажу книги Гельвеція, которая недавно вызвала со стороны правительства самыя строгія мѣры. Послѣ этого не прошло шести мѣсяцевъ, какъ и *Эмиль* и запрещенный *Общественный договоръ* Руссо были выложены во всѣхъ книжныхъ лавкахъ рядомъ съ сочиненіями Гельвеція. Но особенно характерно выражается немощь хранителей *старого порядка* въ борьбѣ съ литературой въ слѣдующемъ фактѣ. Послѣ процесса де-Ла-Барра, казнь котораго возбудила особое негодованіе противъ парламента, послѣдній какъ бы самъ усомнился въ правотѣ своего дѣла и призналъ надъ собой торжество преслѣдуемой имъ *философіи*. вмѣсто осужденныхъ приговоромъ парламента сочиненій были въ 1770 г. преданы публичному сожженію *старые прокурорскіе акты*. Рокенъ утверждаетъ, что это былъ не первый случай подобнаго подмѣна; но съ этого времени по крайней мѣрѣ такой подмѣнъ пересталъ быть секретомъ для публики. Наконецъ магистратура даже воспротивилась обнародованію обвинительнаго акта прокурора, какъ того требовалъ обычай, и прокуроръ былъ принужденъ для напечатанія его просить королевскаго повелѣнія.

Не удивительно, что при такой шаткости властей, публикой все болѣе и болѣе овладѣвало убѣжденіе въ неминувости насильственнаго переворота. Начиная съ приведенныхъ нами предсказаній г-жи де Тенсенъ и д'Аржансона, относящихся къ 1743 г., сочиненіе Рокена заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ заявленій, предсказывавшихъ съ большею или меньшею точностью приближеніе революціи. Въ 1752 году, д'Аржансонъ писалъ: „Все распадается и рушится. Между тѣмъ общественное мнѣніе прокладываетъ себѣ путь, растетъ и крѣпнетъ, и это можетъ положить начало національной революціи“. Въ слѣдующемъ году, когда въ Парижѣ ожидали, что правительство, сославшее парламентъ въ Понтуазъ, закроетъ и Шатле (Châtelet—Парижская уголовная палата низшей инстанціи), волненіе дошло до того, что на улицахъ потребовались военныя предосторожности. Въ это время одинъ изъ высшихъ сановниковъ заявилъ д'Аржансону: „Я не сомнѣваюсь, что какъ только закроютъ Шатле, въ Парижѣ станутъ запираить лавки и строить баррикады, и съ этого начнетъ революція“. Въ 1764 г. Вольтеръ писалъ: „Все, что я вижу, бросаетъ сѣмена революціи, которая наступитъ неминувемо, но при которой я не буду имѣть удовольствія присутствовать. Молодое поколѣніе очень счастливо, оно увидитъ не мало чудесъ“ (de belles choses). Подобныя предсказанія были не всегда удачны. Въ 1767 г. одинъ епископъ сказалъ Мармонтелю, что „при настоящемъ ходѣ дѣлъ (au train dont on va) религія просуществуетъ не болѣе 50 лѣтъ“; а извѣстный Гриммъ, замѣтивъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, что антихристіанскій духъ имѣетъ такое же значеніе для XVIII вѣка, какое имѣлъ реформаціонный духъ для XVI и что это *предвѣщаетъ неизбежную и близкую революцію*, прибавилъ къ этому: „Можно сказать, что Франція представляетъ очагъ этой революціи, которая будетъ имѣть передъ предшествовавшими ей по крайней мѣрѣ то преимущество, что осуществится безъ всякаго пролитія крови“.

Это заблужденіе Гримма очень характерно. Оно показываетъ, въ какомъ мірѣ иллюзіи жили эти философы, т. е.

тогдашніе литераторы, которые судили обо всемъ по гуман-нымъ доктринамъ своего вѣка и по утонченнымъ нравамъ салоновъ, въ которыхъ вращались, и были совершенно незнакомы ни съ бытомъ, ни съ психическимъ состояніемъ народной массы. Въ этомъ заключается также одинъ изъ пробѣловъ сочиненія Рокена, гдѣ эта сторона дѣла, по свойству источниковъ, которыми онъ пользовался, недостаточно освѣщена. Нельзя, однако, писать исторію революціоннаго духа во Франціи, не обративши вниманія на постепенное проникновеніе этого духа въ народныя массы и на способъ выраженія его. Впрочемъ, и въ этомъ отношеніи въ разсматриваемомъ нами сочиненіи можно встрѣтить нѣсколько интересныхъ фактовъ, чрезвычайно поучительныхъ для исторіи 1789 и слѣдующихъ годовъ. Уже за 30 лѣтъ до революціи новые поборы, вызванные семилѣтней войной, возбудили такое сильное неудовольствіе въ народѣ, что оно высказалось въ самыхъ дерзкихъ выходкахъ противъ самого короля. Въ 1758 году, одинъ изъ парижскихъ жителей (bourgeois), занимавшій должность судебного пристава, за то, что дурно отзывался въ харчевнѣ о королѣ и министрахъ, для устрашенія другихъ былъ приговоренъ къ покаянію передъ церковью Нотр-Дамъ въ сорочкѣ и съ веревкой на шеѣ, и затѣмъ повѣшенъ. Но эта крайняя строгость не положила конца толкамъ. Въ самыхъ многолюдныхъ кварталахъ Парижа расклеивались прокламаціи, въ одной изъ которыхъ было сказано, что если правительство не возьметъ 50 милліоновъ съ духовенства и крупныхъ суммъ съ откупщиковъ, имѣющихъ 200,000 годового дохода, то 300,000 человекъ готовы, подъ руководствомъ своего вождя, взяться за оружіе. Подобныя же прокламаціи съ угрозами появились на стѣнахъ въ 1770 г., и когда канцлеръ Моу уничтожилъ парламенты, въ улицѣ Маре на стѣнѣ былъ нарисованъ человекъ на висѣлицѣ, съ надписью — *канцлеръ*. Въ Пале-Роялѣ, принадлежавшемъ герцогу Орлеанскому, одна прокламація гласила: „Покажите себя великимъ принцемъ и мы возложимъ корону на вашу главу“.

Не менѣе знаменательно было настроеніе толпы или про-

стого народа въ Парижѣ въ дни столкновений между правительствомъ и парламентомъ. Современные авторы дневниковъ и записокъ не разъ говорятъ о „мрачномъ негодованіи“, о „нѣмой ярости“, которыя отражались на лицахъ толпы, о томъ, какъ въ народъ проникла мысль о сопротивленіи. Какимъ образомъ обнаружится ярость толпы, какъ скоро мысль о возстаніи перейдетъ въ дѣйствіе, и на это въ памятникахъ того времени есть многочисленныя указанія, предвѣщавшія съ ужасающею точностью кровавыя сцены революціонныхъ годовъ. Французское правительство, заботясь по тогдашнему способу о процвѣтаніи своихъ колоній, не разъ отправляло туда насильно, для пополненія народонаселенія, людей бездѣльныхъ и промышлявшихъ собой женщинъ. Однажды случилось, что полицейскіе агенты, въ излишнемъ рвеніи, начали хватать дѣтей въ рабочихъ кварталахъ Парижа. Когда это сдѣлалось извѣстнымъ, въ слободахъ произошло возмущеніе, какого давно не видали въ Парижѣ. Нѣсколько солдатъ были убиты. Толпа бросилась къ дому начальника полиціи; въ своей ярости она хотѣла его растерзать „et lui manger le coeur“. Этотъ сановникъ, „блѣдный какъ утопленникъ“, спасся только тѣмъ, что выдалъ толпѣ одного изъ своихъ подчиненныхъ, котораго въ ту же минуту повлекли по мостовой и убили. Во время этихъ буйствъ „*des propos exécrationnels étaient vomis contre la personne du roi*“. Народъ собирался даже отправиться въ Версаль и сжечь дворецъ, который, какъ говорили въ толпѣ, былъ выстроенъ на ея счетъ. ✓

Не менѣе ярко выступаютъ характерныя черты парижской черни 1789 года въ другой сценѣ, случившейся вскорѣ послѣ того. Когда въ 1751 году, вслѣдствіе неурожая, почти повсемѣстно оказался недостатокъ въ хлѣбѣ, парижская чернь стала считать виновницей своего бѣдственнаго положенія маркизу де-Помпадуръ. Однажды, когда дофинъ съ дофиной отправлялись въ Нотр-Дамъ, двухтысячная толпа женщинъ окружила ихъ съ криками; „Дайте намъ хлѣба, мы умираемъ съ голода, и пусть прогонятъ эту..., которая управляетъ государствомъ и губитъ его! Если бы она попалась намъ въ руки, il n'en resterait bientôt rien pour en faire des reliques“.

И не въ одномъ Парижѣ обнаруживались во всѣхъ классахъ общества за долго до революціи тѣ симптомы, которые предвѣщаютъ читателю характерныя черты революціонной эпохи; въ провинціяхъ и въ деревняхъ, съ самаго начала борьбы между парламентами и правительствомъ, выступаетъ съ своей оппозиціей противъ правительства тотъ элементъ, которому суждено было играть главную роль въ событіяхъ революціи, мелкое чиновничество. Когда въ 1753 году во время ссылки въ Понтуазъ парламента, король учредилъ особую *Chambre de Vacation* и послалъ указъ объ этомъ для регистраціи въ Шатле, эта палата отказалась исполнить приказаніе, заявляя, что она не признаетъ надъ собой другой высшей власти, кромѣ парижскаго парламента. Почти всѣ мѣстные суды (*baillages*) парижскаго округа послѣдовали примѣру Шатле. Одно незначительное сельское „присутствіе“, состоявшее только изъ двухъ чиновниковъ, оказалось даже настолько смѣло, что протестовало „*par des remontrances*“ противъ королевскаго указа.

Изъ всего этого видно, сколько интересныхъ данныхъ заключаетъ въ себѣ книга Рокена для того, кто желаетъ изучить историческую связь французской революціи съ предшествовавшей ей эпохой. Но авторъ разбираемой книги не ограничился только собираніемъ поучительнаго для читателей матеріала. Онъ ставитъ и по своему разрѣшаетъ нѣсколько интересныхъ вопросовъ, которые напрашиваются всякому, кто изучаетъ исторію происхожденія французской революціи 1789 г. и которые имѣютъ большое вліяніе на наше сужденіе объ историческомъ значеніи и смыслѣ этого событія.

Взглядъ на исторію Франціи въ прошломъ столѣтіи, который проводится Рокеномъ въ его книгѣ „Революціонный духъ до революціи“, особенно характеризуется отношеніемъ автора къ слѣдующимъ тремъ вопросамъ: Насколько переворотъ 1789 г. обуславливался вліяніемъ литературы XVIII вѣка или философовъ, какъ выражаются во Франціи? — Какія послѣдствія имѣла бы французская революція, если бы она про-

изошла не въ 1789 году, а, напр., въ половинѣ прошлаго столѣтія, когда еще не успѣло обнаружиться во французскомъ обществѣ вліяніе рационалистической литературы?—Наконецъ, можно ли было предотвратить катастрофу 1789 года предпринятыми во-время французскимъ правительствомъ реформами?—Разрѣшеніе этихъ вопросовъ въ томъ или другомъ смыслѣ чрезвычайно важно для всякаго, кто хочетъ выяснитъ себѣ историческую жизнь французскаго народа. Послѣдніе два изъ поставленныхъ здѣсь вопросовъ, правда, чисто гипотетичны и потому, какъ всякіе вопросы въ исторіи о томъ, что *могло бы* случиться при извѣстныхъ обстоятельствахъ,—могутъ показаться праздными. Не трудно, однако, доказать, что такое мнѣніе несправедливо. Уже самая постановка ихъ, особенно послѣдняго, представляла собой успѣхъ въ исторической наукѣ. Она указывала на устраненіе односторонняго, *фаталистическаго* взгляда на французскую революцію, который господствовалъ въ первой половинѣ нашего вѣка и ярко выступилъ, напр., въ талантливыхъ и очень популярныхъ исторіяхъ Тьера и Минье. Какъ скоро *необходимость* французской революціи 1789 года перестала быть политической догмой, которой пользовались для либеральныхъ цѣлей, и *историческое* изученіе этого событія вступило въ свои права, такъ естественно возникло мнѣніе, что французская революція со всѣми бѣдствіями, которыя она повлекла за собой, могла быть предотвращена своевременными реформами. Такъ смотрѣлъ на дѣло Токвиль. Указавши на то, что около 1750 года французская нація относилась подобно тогдашней школѣ *экономистовъ* очень равнодушно къ политической свободѣ и болѣе ожидала реформъ, чѣмъ политическихъ правъ, Токвиль прямо говоритъ: „Если бы въ то время на французскомъ престолѣ былъ государь по достоинству и характеру подобный Фридриху Великому (*de la taille et de l'humeur du grand Frédéric*), то безъ сомнѣнія, онъ произвелъ бы во французскомъ обществѣ и правительствѣ нѣкоторыя (*plusieurs*) *изъ* самыхъ важныхъ перемѣнъ, совершенныхъ революціей и при этомъ не

только не потерялъ бы своей короны, но чрезвычайно увеличилъ бы свою власть“¹⁾.

Мы еще возвратимся къ этому предположенію Токвиля, когда подвергнемъ разсмотрѣнію взгляды, высказанные Рокеномъ въ его книгѣ, а теперь прежде всего познакомимъ читателей съ мнѣніями самого автора.

Вопросъ о вліяніи литературы, или такъ называемой *философii*, на французскую революцію не новый. Онъ не разъ уже обсуждался въ особыхъ сочиненіяхъ, написанныхъ непосредственно подъ впечатлѣніемъ самыхъ событій революціонной эпохи. Въ то время вопросъ этотъ обыкновенно разрѣшался въ утвердительномъ смыслѣ, какъ приверженцами Вольтера, Руссо и энциклопедистовъ, охотно преувеличивавшими вліяніе своихъ учителей, такъ и противниками ихъ, которые приписывали литературѣ все зло, происшедшее отъ революціи. Однако уже тогда раздавались голоса, отрицавшіе вліяніе теоретическаго радикализма французскихъ публицистовъ XVIII вѣка. Особенно любопытенъ отзывъ извѣстнаго Сенакъ де Мельяна, умнаго наблюдателя и практическаго дѣятеля при старомъ порядкѣ. „Напрасно, говоритъ онъ²⁾, приписываютъ энциклопедистамъ паденіе стараго порядка; обветшалое зданіе рухнуло само собой, а они только подготовили матеріаль для созданія новаго. Они не болѣе виновны въ этомъ разрушеніи, чѣмъ виновна въ какомъ-нибудь пожарѣ та каменоломня, откуда берутъ матеріаль для постройки сгорѣвшаго зданія. Мнѣніе Рокена очень близко подходитъ къ этому отзыву, по крайней мѣрѣ къ первой его части; но то, что у Сенака де Мельяна высказано въ видѣ смѣлаго парадокса, у нашего автора обстоятельно проведено съ помощью собранныхъ имъ фактовъ. Нужно, впрочемъ, имѣть въ виду, что Рокенъ въ этомъ случаѣ идетъ по стопамъ другого историка, писавшаго нѣсколькими годами раньше его. Уже Обертенъ въ своемъ сочиненіи „Общественный духъ въ XVIII вѣкѣ“

¹⁾ Tocqueville L'Ancien Régime, p. 274.

²⁾ Въ сочиненіи: Du gouvernement, des moeurs, et des conditions en France avant la révolution. 1795.

старался ограничить историческую роль французских философов. „Мы, какъ люди литературно образованные (*lettrés*), говорить онъ, слишкомъ преувеличиваемъ вліяніе *воинствующей философіи* (*philosophie militante*); обольщенные блескомъ этого продолжительнаго возмущенія французской мысли, которая вызвала трибуновъ послѣ того, какъ вдохновила писателей, мы во всемъ приписываемъ этой философіи честь успѣха; мы устраняемъ мысленно все, что ей чуждо, и ея только вліяніе намъ чувствуется въ дѣлѣ необходимыхъ разрушеній. Не нужно, однако, поддаваться такому предразсудку“. По мнѣнію Обертена корень французской революціи нужно искать не въ теоріяхъ философіи (*spéculations*), а въ политической борьбѣ партій, въ оппозиціи янсенистовъ и парламентовъ противъ правительства Людовика XV. Даже самыя крайности тогдашней литературы Обертенъ готовъ объяснить силою страстей, вызванныхъ упомянутой борьбой. „Еще разъ повторяю, говорить онъ, мы въ настоящее время слишкомъ склонны думать, что въ революціи все было дѣломъ философіи, что одна философія разрушила во Франціи монархію и католицизмъ. Это совершенно не основательно: философія уже нашла это революціонное настроеніе зародившимся и укрѣпившимся въ умахъ; конечно, она не помѣшала его дальнѣйшему развитію, но она не только не создала его, а сама сначала опиралась на него и пользовалась имъ“. Въ сочиненіи Обертена эти мысли высказаны какъ бы мимоходомъ; цѣлью его было изученіе главнѣйшихъ для французской исторіи XVIII вѣка дневниковъ и мемуаровъ и характеристика общественнаго настроенія въ различные эпохи прошлаго вѣка на основаніи этихъ источниковъ. При ближайшемъ знакомствѣ съ нѣкоторыми изъ нихъ, особенно съ дневникомъ адвоката Барбье и записками маркиза д'Аржансона, написанными во время самаго разгара борьбы парламентовъ съ правительствомъ и большею частью до появленія тѣхъ знаменитыхъ произведеній оппозиціонной литературы, которымъ обыкновенно приписывается революціонный духъ во Франціи, — Обертенъ былъ пораженъ революціоннымъ языкомъ и радикализмомъ идей въ

различныхъ слояхъ французскаго общества, еще незнакомыхъ съ философіей энциклопедистовъ и съ „англійскими политическими доктринами“. Можно думать, что это впечатлѣніе, вынесенное Обертеномъ изъ его историко-культурныхъ этюдовъ, и послужило для Рокена руководствомъ въ его изслѣдованіяхъ; какъ бы то ни было, упомянутое мнѣніе является въ сочиненіи Рокена уже въ видѣ строго-формулированнаго вывода, вытекающаго изъ обстоятельнаго изложенія относящихся сюда фактовъ. Борьба янсенистовъ съ римскою партіей и оппозиція парламентовъ, которыя у Обертена служатъ только фономъ для его литературно-біографическихъ очерковъ, въ книгѣ Рокена занимаютъ весь первый планъ, и слова, которыми онъ начинаетъ свое предисловіе, можно признать эпиграфомъ ко всему сочиненію: „То движеніе въ общественномъ мнѣніи, изъ котораго вышла французская революція, ведетъ свое начало не отъ философовъ. Катастрофа была подготовлена всѣмъ вѣкомъ“. (*Le siècle tout entier prépara la catastrophe*).

Въ самомъ сочиненіи своемъ Рокенъ идетъ гораздо дальше Обертена въ отрицаніи того преобладающаго вліянія, которое до сихъ поръ обыкновенно признавалось за философіей въ исторіи революціи. Обертень, напр., признавалъ преувеличеннымъ вышеприведенное мнѣніе Сенакъ де-Мельяна, „что философія такъ же мало повинна въ революціи, какъ неповинна въ какомъ-нибудь пожарѣ каменоломни, изъ которой берутъ камни для постройки сгорѣвшаго зданія“—и находилъ нужнымъ напомнить „что все-же энциклопедисты содѣйствовали тому, чтобы поджечь зданіе“ (*avaient travaillé à mettre le feu à la maison*, p. 259). Рокенъ по этому поводу замѣчаетъ, что „когда философы явились, чтобы поджечь зданіе, оно уже пошатнулось на своемъ основаніи“. (Пред. VII). Но этого мало. По мѣрѣ того, какъ Рокенъ развертываетъ передъ своими читателями широкую картину внутренней борьбы во Франціи въ царствованіе Людовика XV, онъ внушаетъ имъ мысль, что революція, хотя и произошла только въ 1789 году, въ сущности же созрѣла гораздо раньше, и нѣсколько разъ, особенно въ 1754, 1757 и 1770 годахъ, готова была вспых-

нуть. „Философы только собрали въ систему и возвели въ принципъ идеи, которыя вездѣ находились въ броженіи. Уже въ половинѣ XVIII вѣка духъ оппозиціи превратился въ духъ революціи“. Этотъ самый переходъ оппозиціоннаго настроенія въ революціонное Обертенъ еще приписывалъ отчасти философіи. Онъ сводилъ свои наблюденія надъ французскимъ обществомъ къ слѣдующему итогу: „Въ первой половинѣ XVIII вѣка парламентская агитація не рѣдко становится шумною и страстною, но она вовсе не представляется угрожающей и стремящейся къ перевороту (subversif). А народная масса сохраняетъ вѣру въ монархическій принципъ. Оппозиція носитъ характеръ консервативный; ее можно назвать конституціонной и династической; но нужно признаться, что она въ своихъ дѣйствіяхъ менѣе умѣренна, чѣмъ въ теоріи, и ея увлеченія уже налагаютъ на общественное настроеніе революціонныя черты. А что же дѣлала въ это время философія?—Она производила еще мало шума и ея роль, особенно въ политикѣ, была довольно скромна. Въ лицѣ Вольтера и Монтескьё она училась въ Голландіи и Англіи, она прокрадывалась въ театръ и не имѣла еще доступа въ Академію. Самыя смѣлыя мысли ея находили убѣжище въ анонимныхъ и тайно распространяемыхъ сочиненіяхъ; ея представители только начинали подвергать себя риску проповѣдничества и еще избѣгали мученичества. На дурномъ счету у власти, но пользуясь расположеніемъ „порядочныхъ людей“, философія давала тонъ въ салонахъ и въ литературѣ; она внушала негодованіе противъ фанатизма и осыпала насмѣшками религіозную борьбу, возбуждавшую страсти большинства публики. Неуловимая, она была вездѣ. Ей еще недоставало организациі, авторитета, большого числа приверженцевъ, системы и плана; она еще не собрала свое ополченіе подъ развернутое знамя и подъ руководство популярныхъ вождей. Правительство ее притѣсняло, не опасаясь ея,—во всякомъ случаѣ еще не считалось съ ней. Вольнодумство уже сдѣлалось вліяніемъ, но еще не было силою... Дѣйствіе философіи было еще мало замѣтно въ политическомъ движеніи, которое прежде всего

было дѣломъ парламентовъ и янсенистовъ. Въ обществѣ уже распространился философскій духъ, но еще не было партіи философовъ“... Однако положеніе дѣла постепенно измѣняется. „Наступаетъ моментъ, когда философія, собравшись съ силами (*pregnant l'essor*), уноситъ въ просторную область отвлеченной мысли вопросы, которые разбирались съ такимъ узкимъ упрямымъ политическими партіями и, возвышая самые вопросы, преобразовываетъ ихъ. Все, что предшествовало, не болѣе какъ прелюдія; теперь настоящій XVIII вѣкъ открывается въ своей мощной оригинальности“. Эпохой кризиса Обертенъ считаетъ время между Ахенскимъ миромъ и Семилѣтней войной (1748—1757). Начиная съ этой поры, Франція „переступаетъ порогъ, который отдѣляетъ споры, относящіеся къ старому порядку, отъ принциповъ 1789 года“.

Обертенъ, впрочемъ, противорѣчитъ самому себѣ въ объясненіи того, какимъ образомъ конституціонная и династическая оппозиція превратилась въ революціонную и республиканскую. Въ приведенномъ нами мѣстѣ это приписывается философіи; но въ другихъ мѣстахъ сочиненія такое содѣйствіе философіи оказывается какъ будто вовсе излишнимъ; продолжительность парламентской оппозиціи и несостоятельность правительства Людовика XV выставляются причинами „революціоннаго духа“, и основной принципъ революціи—главенство націи надъ королемъ—выводится изъ политической борьбы партій, а не изъ „размышленій философовъ“. Подобнаго противорѣчія у Рокена мы уже не находимъ. Преобладающая роль въ революціонномъ движеніи здѣсь прямо приписывается регигіозной и политической борьбѣ при Людовикѣ XV. Необходимость переменъ въ политическомъ порядкѣ Франціи, по мнѣнію Рокена, сознавалась всѣми уже въ началѣ 1751 г. „И эта переменна, говоритъ онъ, резюмировалась въ словѣ *революція*“. Даже тѣ, кто не сочувствовалъ насильственнымъ мѣрамъ, полагали, что при тогдашнемъ положеніи дѣлъ реформа, произведенная мирнымъ путемъ, какъ ее могъ бы задумать какой-нибудь „умный и уважаемый первый министръ“, была почти невозможна. Одни

при этомъ были того мнѣнія, что революція осуществится не безъ препятствій, другіе, напротивъ, полагали, что она совершится въ единодушномъ порывѣ (par acclamation). Рокенъ приводитъ въ доказательство этого общаго революціоннаго настроенія много любопытныхъ отзывовъ современниковъ. Особенно интересны слѣдующія слова д'Аржансона: „Всѣ сословія недовольны. Матеріаль вездѣ въ состояніи воспламеняемости; какое-нибудь мѣстное возстаніе (émeute) можетъ произвести мятежъ, а можетъ-быть приведетъ къ полной революціи, во время которой будутъ выбраны настоящіе народные трибуны, составлены комиціи, коммуны, а король и министры будутъ лишены своей чрезмѣрной власти вредить“.

„Въ это время, говорить далѣе Рокенъ, Вольтеръ находился въ Пруссіи, работая надъ своей исторіей *вѣка Людовика XIV*; Дидеро выпустилъ только первый томъ „*Энциклопедіи*“. Гельвецій только что отказался отъ положенія откупщика, чтобы предаться литературѣ и только 7 лѣтъ спустя издалъ свое сочиненіе „*О Духѣ*“. Руссо былъ извѣстенъ только своимъ первымъ разсужденіемъ, получившимъ премію Дижонской Академіи; аббатъ Рейналь только выступалъ изъ неизвѣстности; Гриммъ еще не принимался за „*Литературную корреспонденцію*“; Гольбахъ еще ничего не писалъ, а Бюффонъ выпустилъ только 3 или 4 тома своей „*Естественной исторіи*“. Такимъ образомъ падаютъ увѣренія, столь часто повторяемая, будто бы слѣдуетъ считать философовъ внушителями революціи (inspireurs). Гораздо раньше, чѣмъ имъ удалось направить своими сочиненіями общественное мнѣніе, перспектива революціи въ политическомъ мірѣ отчетливо представлялась умамъ и уже давно рисовалась въ области религіозной подобная же перспектива. Достаточно было какого-нибудь обстоятельства для того, чтобы революція съ своимъ двойственнымъ характеромъ вражды противъ церкви и противъ королевской власти, вдругъ перешла изъ области идей въ дѣйствительность.

При такомъ взглядѣ на дѣло, что не литература (философія) вызвала революцію, а напротивъ, революція вызвала

философію XVIII вѣка (la révolution avait été la secrète inspiratrice de la philosophie, p. 483) и при убѣжденіи, что революція могла такъ же легко осуществиться въ 1754 г., какъ и въ 1789 г., если бы какое-нибудь случайное событіе—произвело бы вспышку,—„королевскій ордонансъ о закрытіи Шатле или парламента, отказъ въ причастіи какому-нибудь янсенисту при особенныхъ обстоятельствахъ, народное волненіе, вызванное податями или какой-нибудь другой причиной“—Рокенъ естественно приходитъ къ вопросу: такъ какъ Франціи было суждено подвергнуться потрясенію революціи, то не слѣдуетъ ли пожалѣть о томъ, что эта революція не вспыхнула, на примѣръ, въ 1757 году вмѣсто того, чтобы произойти 35 лѣтъ позднѣе.

Рокенъ не колеблясь отвѣчаетъ утвердительно на этотъ вопросъ. „Парламентъ, говоритъ онъ, конечно, сталъ бы во главѣ движенія. Что касается до политическаго строя, то нечего и думать, что тогда, какъ полагалъ д'Аржансонъ, обратились бы къ „демократическому устройству правительства“ (gouvernement démocratique réglé). Вѣроятно французы ограничились бы тѣмъ, что ввели бы въ извѣстные предѣлы власть короля. На мѣсто деспотической монархіи попытались бы установить монархію конституціонную. Парламентъ, увеличивъ число своихъ членовъ и преобразовавшись, принялъ бы на себя роль аналогическую англійскому, или же, сохранивъ за собою только свою судебную функцію, согласился бы на сдѣлку и предоставилъ бы Генеральнымъ Штатамъ вмѣстѣ съ провинціальными опредѣленную власть. Что касается до духовенства, то возобновили бы дѣло, уже разъ затѣянное правительствомъ, но не удавшееся ему, т. е. духовенство было бы принуждено нести повинности государства наравнѣ съ прочими гражданами. Можетъ быть, попытались бы сдѣлать и больше. Вѣрно то, что французская нація раздѣлалась бы съ ультрамонтанствомъ, ей всегда ненавистнымъ при этомъ не удовольствовались бы возвращеніемъ на путь чистаго галликанизма; прекратилось бы всякое преслѣдованіе противъ протестантовъ; по мысли, которую имѣлъ еще регентъ, были

бы отмѣнены ненавистные законы Людовика XIV, извергнувшіе ихъ изъ общества. Можно предположить, что пошли бы и даже дальше этой мѣры. Но д'Аржансонъ ошибался, когда полагалъ, что было бы уничтожено всякое священство, всякое откровеніе, всякое таинство, и что стали бы довольствоваться религіей, которая-бы состояла въ поклоненіи Господу въ духѣ и истинѣ.“

„Уступая революціи 1789 г. въ силѣ доктринъ, революція 1754 года имѣла бы передъ нею по крайней мѣрѣ то преимущество, что, впадая въ излишества, къ несчастію, неизбѣжныя, она, конечно, не имѣла бы своимъ послѣдствіемъ систему террора, воспоминанія о которомъ еще теперь гнетутъ насъ по прошествіи 80 лѣтъ; что духъ реформъ, если такъ можно сказать, умѣрилъ бы духъ революціи; что тогда не представала бы опасная необходимость устроить новый порядокъ цѣликомъ на развалинахъ стараго; однимъ словомъ, Франція, еще привязанная къ своему прошедшему, произвела бы въ области церковной и государственной нововведенія, которыя были бы внушены столько же уваженіемъ къ преданію, сколько и прогрессомъ въ идеяхъ, и несмотря на это (sic) представила бы возможность болѣе существенныхъ перемѣнъ въ дальнѣйшемъ будущемъ“.

Такое разрѣшеніе вопроса о характерѣ, какой имѣла бы революція безъ участія литературы или до начала ея вліянія, уже опредѣляетъ отношеніе Рокена къ третьему изъ поставленныхъ выше вопросовъ,—могла ли революція быть предупреждена монархической реформой?—Рокенъ, сходясь съ Обертенемъ въ общемъ взглядѣ на несущественное вліяніе философіи въ исторіи происхожденія французской революціи, въ этомъ случаѣ расходится съ нимъ. Обертенъ старается ослабить представленіе о фаталистическомъ ходѣ французской революціи или, по крайней мѣрѣ, хотя и не совсѣмъ удачно—точнѣе опредѣлить смыслъ этого понятія. Онъ признаетъ „періодическія волненія, болѣе или менѣе сильные кризисы сущностью національной жизни Франціи“; такія революціи онъ считаетъ *неизбѣжной формой* прогресса въ исторіи Фран-

ціи, цѣною, которою французамъ приходится расплачиваться за самыя полезныя нововведенія; въ этомъ *правильномъ* возобновеніи *безпорядковъ*, въ этой *логикѣ* національныхъ *капризовъ*, онъ видитъ фатальность французской исторіи. „Но, говоритъ онъ, утверждать отвлеченнымъ образомъ, не принимая въ расчетъ личнаго характера государей и образа дѣйствія ихъ министровъ, что революція не могла быть ни ослаблена, ни предупреждена, ни отсрочена, что непобѣдимый рокъ паденія и разрушенія увлекалъ монархію съ 1715 года (года смерти Людовика XIV) или, по крайней мѣрѣ, съ 1774 (вступленія на престолъ Людовика XVI), къ той пропасти, которая ее поглотила; утверждать, что вся работа вѣка, его благородные порывы и развитіе его просвѣтленнаго разума неудержимо наталкивали его на тотъ утесъ, о который разбилась его гордая цивилизація это — гипотеза, которую нельзя допустить и которая опровергается изученіемъ фактовъ и свидѣтельствомъ современниковъ“.

Обертень, правда, находитъ рискованнымъ мнѣніе одного изъ этихъ современниковъ, графа Воблана, утверждавшаго, что дѣло монархіи во Франціи не было проиграно еще даже въ самое утро 10 августа 1792 года — (день низверженія Людовика XVI парижской коммуной); но уже изъ того, что Обертень счелъ нужнымъ привести это мнѣніе, видно, на сколько онъ вѣрилъ въ силу монархіи стараго порядка; тѣмъ болѣе, конечно, онъ далекъ отъ мысли, что революція была неизбежна въ половинѣ XVIII вѣка. Относительно этого времени онъ прямо говоритъ: „мудрая и рѣшительная воля была въ состояніи все исправить, все упрочить; никакая радикальная доктрина еще не подкапывала существенныхъ основъ власти; оппозиція осуждала въ правительствѣ только злоупотребленія деспотизма; уже многочисленные приверженцы политическаго прогресса — чтобы идти впередъ, ждали сигнала и пароля Людовика XV, и Франція была готова обновиться и преобразиться заодно съ монархіей“ (стр. 269).

Не такъ смотритъ на дѣло Рокенъ; онъ не только въ концѣ царствованія Людовика XVI считаетъ монархическую реформу

безуспѣшной, но и съ самаго начала этого правленія, во дни Тюрго и Мальзерба. „Когда умеръ Людовикъ XV, говоритъ онъ, во Франціи были революціонны не только понятія, но и самый народный темпераментъ, измѣненный шестидесятью годами возраставшихъ волненій. Достаточно разсмотрѣть первые годы царствованія этого государя, чтобы убѣдиться, что революція была неизбежна, по какому пути ни пошелъ бы король. Реформы имъ предпринятыя, даже если бы онѣ осуществились, не были въ состояніи ее предотвратить, а отступивъ отъ нихъ, онъ только ускорилъ катастрофу, которую дѣлало неминуемой роковое сдѣяніе событій“. Хотя Рокенъ и не высказывается такъ опредѣленно относительно эпохи Людовика XV, но изъ отзывовъ его, которые мы приводили, видно, что онъ склоняется къ мнѣнію д'Аржансона, который уже въ 1751 году считалъ только „революціонный режимъ“ способнымъ осуществить реформу. Рокенъ даже даетъ поводъ думать, что революція во французской исторіи становится неизбежной съ конца царствованія Людовика XIV, ибо началомъ всего революціоннаго движенія онъ признаетъ оппозицію противъ деспотической нетерпимости короля, который отмѣнилъ Нантскій эдиктъ и принесъ въ жертву галликанизмъ и янсенистовъ ультрамонтанству и іезуитамъ. Такимъ образомъ Рокенъ приводитъ исторію „революціи до 1789 года“ къ слѣдующей формулѣ: „Революція была подготовлена нетерпимостью Людовика XIV, раздуваема беспорядками и позоромъ правленія Людовика XV и вызвана слабостью Людовика XVI; начавшись въ области религіозной, она затѣмъ была перенесена въ политику, сдѣлалась тайной внушительницей (*inspiratrice*) философіи и нѣсколько разъ въ 1754, 1757 и 1770 г. — готовая вспыхнуть, она, наконецъ, побѣдоносно и неудержимо ринулась въ дверь, которую предъ нею принуждена была растворить утратившая всякое уваженіе власть“.

Вотъ въ чемъ заключаются въ главныхъ чертахъ взгляды автора сочиненія о „Революціонномъ духѣ“, которое вмѣстѣ съ сочиненіемъ Обертена и книгой Тэна „о Старомъ порядкѣ“ представляетъ наиболѣе интересный вкладъ фран-

цузской исторической литературы за послѣднее десятилѣтіе для объясненія генезиса революціи 1789 года, и вмѣстѣ съ ними служить любопытнымъ фактомъ въ исторіи развитія политической мысли въ современной Франціи. Обратимся теперь къ разбору мнѣній Рокена и укажемъ, насколько въ этихъ мнѣніяхъ заключается существеннаго для лучшаго пониманія великаго историческаго событія, котораго они касаются.

За Рокеномъ нужно признать несомнѣнную заслугу въ томъ отношеніи, что онъ представилъ въ новомъ или, по крайней мѣрѣ, болѣе яркомъ свѣтѣ церковную политику французскаго правительства въ первой половинѣ XVIII вѣка и вызванную имъ религіозную и политическую оппозицію; еще важнѣе то, что Рокенъ указалъ на существенное вліяніе, которое имѣла эта оппозиція на происхожденіе французской революціи. Заслуга Рокена, однако, не ограничивается этимъ болѣе или менѣе частнымъ результатомъ, но имѣетъ, кромѣ того, и методологическое значеніе: выставивъ на видъ непосредственную связь „революціоннаго духа“ съ общественнымъ настроеніемъ, вызваннымъ правительственными мѣрами Людовика XV по отношенію къ церкви и парламентамъ и, прослѣдивъ корни французской революціи до религіознаго фанатизма Людовика XIV, Рокенъ содѣйствовалъ установленію исторической, т. е. научной точки зрѣнія на этотъ переворотъ и объясненію его въ связи съ предшествовавшей исторіей французскаго народа. Сказавъ это, мы указали вмѣстѣ съ тѣмъ и на слабыя стороны историческихъ изслѣдованій нашего автора. Ограничившись изученіемъ церковной политики правительства и парламентовъ Франціи и стѣснивъ при этомъ свою задачу рамкой XVIII вѣка, Рокенъ могъ только въ извѣстномъ, ограниченномъ, т. е. одностороннемъ смыслѣ написать исторію „революціоннаго духа до революціи“. Въ основаніи его книги лежитъ совершенно вѣрная мысль, что объясненія „революціоннаго духа“, который съ такой силой проявился въ 1789—94 годахъ, нужно искать не столько въ агитаціи со стороны литературы XVIII вѣка, сколько въ осо-

бенностяхъ предшествовавшей французской исторіи; но для того, чтобы вѣрно опредѣлить вліяніе этой предшествовавшей исторіи на происхожденіе революціи 1789 года, нужно было выработать себѣ правильный общій взглядъ на весь ходъ французской исторіи, а для этого недостаточно углубиться въ событія XVIII вѣка. Въ связи съ этимъ отсутствіемъ общаго взгляда на исторію Франціи у Рокена находится и другой недостатокъ; у него также нѣтъ вѣрнаго и цѣльнаго представленія объ общемъ значеніи революціи 1789 года, и потому понятіе „революціоннаго духа“, которымъ онъ хочетъ объяснить этотъ переворотъ, остается у него слишкомъ неопредѣленнымъ выраженіемъ. Рокенъ ограничивается заявленіемъ, что *революціонный духъ* былъ порожденъ недовольствомъ религіознымъ и политическимъ деспотизмомъ французскаго правительства, и въ подтвержденіе этого онъ собралъ факты, которые мы находимъ въ его книгѣ. Но сосредоточивъ наше вниманіе на мѣрахъ, которыми правительство Людовика XV поддерживало іезуитскую партію въ церкви и боролось противъ парламентовъ, мы еще не поймемъ сущности того духа, который проявился въ революціи 1789 года.

Не въ возмущеніи только противъ „клерикальнаго и министерскаго деспотизма“ заключался духъ революціи 1789 года. Правда, въ общественномъ настроеніи въ первое время революціи преобладало стремленіе къ возможно большей свободѣ. Но историческимъ результатомъ переворота 1789 года было вовсе не удовлетвореніе потребности свободы, а, напротивъ, чрезвычайное усиленіе государственной власти. Результатъ этотъ не былъ слѣдствіемъ ни случайныхъ причинъ, — торжества якобинцевъ или Наполеона, ни простой реакціи противъ анархіи первыхъ лѣтъ, — но проистекалъ изъ всей предшествовавшей исторіи Франціи. Въ революціи 1789 года, если ее разсматривать, какъ звено въ общемъ историческомъ процессѣ жизни французскаго народа, нужно отличать два противоположныхъ теченія: одно, которое можно назвать *центробѣжнымъ* и другое *центростремительное*. Вто-

рое издавна составляло господствовавшее стремление французской истории, и революционный характеръ, съ которымъ оно проявилось въ 1789 и слѣдующихъ годахъ, обусловливался преимущественно тѣмъ, что удовлетвореніе національной потребности концентраціи и объединенія было долго задерживаемо, особенно въ XVIII вѣкѣ. Главнымъ результатомъ предшествовавшей исторіи Франціи было политическое и національное объединеніе ея—созданіе французскаго государства и французскаго народа. Этотъ результатъ былъ преимущественно дѣломъ государственной власти, а представительницей этой власти при старомъ порядкѣ была монархія. Это историческое призваніе монархіи упущено изъ вида Рокеномъ, и если бы онъ принялъ его во вниманіе, то описанная имъ дѣятельность правительства Людовика XV и XVI и борьба парламентской оппозиціи противъ правительства получили бы въ его книгѣ иное освѣщеніе. Если бы исторія „революціоннаго духа“ была изображена на настоящемъ историческомъ фонѣ, то она привела бы хотя и не къ оправданію правительствъ Людовика XV и XVI, но къ болѣе правильному пониманію положенія и мотивовъ обѣихъ сторонъ, т. е. правительства и оппозиціи, и къ болѣе полной оцѣнкѣ послѣдствій ихъ политики.

Такъ, напримѣръ, церковная политика французскаго правительства въ книгѣ Рокена изложена совершенно неудовлетворительно. Сводя ее на деспотизмъ Людовика XIV, онъ ее недостаточно мотивируетъ. Клерикализмъ французской монархіи является печальною случайностью, и читателю непонятны колебанія правительства между поощреніемъ ультрамонтанскихъ притязаній и уступчивостью передъ требованіемъ парламента. Рокенъ долженъ былъ бы показать, что солидарность между церковью и монархіей была существенной опорой династіи стараго порядка. Недаромъ безсиліе французской монархіи и непопулярность ея становятся особенно замѣтны съ того времени, когда съ изгнаніемъ іезуитовъ наносится пораженіе ультрамонтанству и церковь утрачиваетъ во Франціи свой прежній авторитетъ. Съ другой стороны, у Рокена

недостаточно выяснены послѣдствія солидарности между католицизмомъ и французской монархіей. Рокенъ указываетъ только на то, что вслѣдствіе покровительства, которое правительство оказывало церкви, оппозиція парламентовъ противъ ультрамонтанскаго направленія въ церкви получила мало по малу политическій характеръ и послужила причиной революціоннаго духа. Но при этомъ слѣдовало бы показать, что солидарность между католицизмомъ и монархіей стараго порядка была главнымъ препятствіемъ къ государственнымъ реформамъ, которыя надлежало провести монархіи, и вслѣдствіе этого главной причиной паденія династіи Бурбоновъ. Вліяніе церкви на судьбу французской монархіи заслуживаетъ особеннаго вниманія въ исторіи политики французскаго правительства и само собою бросится въ глаза, если мы захотимъ выяснитъ себѣ причины и мотивы этой политики вообще.

Главнымъ результатомъ предшествовавшей исторіи Франціи было, какъ мы выше сказали, политическое и національное объединеніе ея, — созданіе французскаго государства и французскаго народа. Этотъ процессъ былъ далеко еще не законченъ, когда онъ почти совсѣмъ остановился въ исходѣ XVII вѣка. Королевская власть, которая до того времени была главнымъ проводникомъ и представителемъ этого процесса, достигла къ концу XVII вѣка апогея своей силы, но тутъ именно остановилась въ своей вѣковой исторической работѣ; и дальнѣйшее движеніе по историческому пути, завершеніе завѣтнаго національнаго дѣла, почти прекратилось на цѣлый вѣкъ, а въ нѣкоторыхъ сферахъ движеніе даже пошло назадъ. Провинціи, на примѣръ, особенно тѣ, въ которыхъ уцѣлѣли средневѣковыя феодальныя учрежденія — парламенты и провинціальныя штаты сохранили до конца XVIII вѣка, несмотря на интендантовъ, ту же самую степень независимости по отношенію къ государственной власти, или, лучше сказать, ту же самую неповоротливость и строптивость, которую имѣли въ концѣ XVII вѣка. Правительство при Людовикѣ XVI было даже еще болѣе стѣснено протестами

и иногда открытымъ неповиновеніемъ различныхъ полусамостоятельныхъ административныхъ органовъ, напрімѣръ, парламентовъ, чѣмъ при Людовикѣ XIV; рознь между сословіями въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ступевалась ослабленіемъ привилегій, напрімѣръ, распространеніемъ нѣкоторыхъ государственныхъ податей на дворянъ; въ другихъ же еще увеличилась, напрімѣръ, лишеніемъ не-дворянъ права получать офицерскіе чины; главный камень преткновенія въ дѣлѣ примиренія и, сліянія общественныхъ классовъ—феодалный характеръ землевладѣнія—оставался не только безъ измѣненія, но какъ бы навсегда окаменѣлъ, такъ какъ государственная власть признала его нерушимымъ. Между тѣмъ потребность государственнаго и національнаго объединенія ощущалась живѣе, чѣмъ когда-либо и самимъ правительствомъ и отчасти обществомъ; стремленіе къ центру изъ бессознательнаго, инстинктивнаго, начинало становиться сознательнымъ. Отчего же въ такомъ случаѣ правительство, т. е. королевская власть, не пошло дальше на пути централизаціи, чтò было въ ея собственныхъ интересахъ и только бы усилило ее? Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключаетъ въ себѣ объясненіе всей исторіи Франціи XVIII вѣка и опредѣленіе революціи, а потому довольно сложенъ. Конечно, исторія французскаго правительства въ прошломъ вѣкѣ въ извѣстной степени зависѣла отъ личнаго характера ея королей; но различіе характеровъ Людовика XIV и его обоихъ преемниковъ было очень значительно, а между тѣмъ положеніе дѣлъ при нихъ мало измѣнилось. Напрасно также придаютъ такъ много значенія фавориткамъ Людовика XV; Людовикъ XVI былъ примѣрный супругъ, а вражда, которую возбудила противъ себя Марія Антуанета, была гораздо сильнѣе, чѣмъ непопулярность любой изъ фаворитокъ. Конечно, для судьбы французской династіи было очень неблагоприятно то обстоятельство, что одряхлѣвшему Людовику XIV наследовалъ пятилѣтній ребенокъ, при которомъ недобросовѣстное и легкомысленное регентство затрудняло всякія реформы, и то, что послѣ 55-лѣтняго непопулярнаго царствованія Людовика

XV вступилъ на престолъ неопытный 20-лѣтній юноша; но Людовикъ XV, который по смерти кардинала Флѣри объявилъ, что теперь самъ будетъ своимъ первымъ министромъ, окончательно испортилъ дѣло династїи; а что касается до Людовика XVI, то единственная попытка къ серьезнымъ реформамъ была произведена именно во время его юношества. Большую долю неблагопрїятнаго влїянїя на положенїе династїи можно приписать тому факту, что въ продолженїе всего XVIII вѣка Франція не была особенно богата военными успѣхами и ея политическая роль въ Европѣ понизилась; самое значительное территорїальное приобрѣтенїе ея—Лотарингїя, было не плодомъ блестящихъ побѣдъ, а результатомъ счастливой дипломатїи и совершилось безъ всякаго шума. Между тѣмъ авторитетъ и власть французскихъ королей всегда въ значительной степени обусловливались успѣхами внѣшней политики и удовлетворенїемъ, которое они доставляли военному тщеславію націи; до какой степени французы цѣнили въ своихъ короляхъ воинственный духъ, видно, на примѣръ, изъ того, что единственный случай, когда Людовикъ XV сдѣлался необыкновенно популяренъ, былъ во время войны, въ которой король захотѣлъ принять личное участїе, но опасно заболѣлъ въ арміи. Въ числѣ причинъ, объясняющихъ, почему монархическому правительству Франціи недоставало инициативы или авторитета для продолженїя дѣла государственнаго и національнаго объединенїя, слѣдуетъ поставить на первый планъ, конечно, солидарность этого правительства съ привилегированными классами, которымъ принадлежала со времени среднихъ вѣковъ извѣстная доля государственныхъ правъ. А въ этомъ отношенїи особенно важно положенїе церкви и влїянїе, которое она имѣла на внутреннюю политику правительства. Тѣсный союзъ между церковью и монархическимъ интересомъ разумѣлся самъ собою, и мы видимъ подобное явленїе во всѣхъ европейскихъ странахъ. Однимъ изъ главныхъ подспорьевъ монархическаго принципа въ эпоху сильнаго развитїя государственной власти была идея божественнаго права, а эта идея имѣла свои корни въ

ученіи церкви и держалась преимущественно ея авторитетомъ. Особенно интересна въ этомъ отношеніи исторія Англій въ XVII вѣкѣ и судьба династіи Стюартовъ, которая такъ тѣсно связана съ исторіей англиканской церкви, возведшей ученіе о божественномъ правѣ королей на степень церковнаго догмата. Династія Стюартовъ два раза теряла престолъ, и оба раза ея паденіе обуславливалось ея отношеніемъ къ церкви; въ первый разъ полное отождествленіе правительственной политики при Карлѣ I съ англиканскими интересами усилило политическую оппозицію въ странѣ религіознымъ фанатизмомъ угнетенныхъ сектъ; во второй разъ, случайный разрывъ обратившагося въ католицизмъ короля съ господствующей церковью лишилъ престолъ главной опоры и сдѣлалъ его легкой добычей оппозиціи виговъ. Во Франціи солидарность между церковью и династіей была еще тѣснѣе. Католицизмъ нуждался въ государственной власти для подавленія гугенотовъ и янсенистовъ, а династія находила въ католицизмѣ не только главное ручательство своего божественнаго права, но и могущественное орудіе для государственнаго и національнаго объединенія и, наконецъ, важную опору для своего международнаго положенія. Но союзъ церкви съ монархіей имѣлъ во Франціи еще болѣе роковыя послѣдствія, чѣмъ въ Англій, налагая на правительство болѣе тяжелыя обязательства и путы. Французская церковь была особенно заинтересована въ сохраненіи феодальныхъ порядковъ и тормозила всякія гражданскія и административныя реформы всею тяжестью своего религіознаго авторитета. Чтò могло, напр., сдѣлать правительство въ интересахъ сельскаго населенія и для освобожденія земель отъ феодальныхъ повинностей, когда всякая мѣра, касавшаяся земледѣльческаго класса, задѣвала главнымъ образомъ интересы церкви? И чтò могло предпринять правительство въ области административныхъ и финансовыхъ реформъ, для введенія, напримѣръ, болѣе цѣлесообразнаго и справедливаго принципа государственнаго обложенія, когда французская церковь отстаивала, какъ священный догматъ, свою привилегію „добровольнаго прино-

шенія“, т. е. право церкви не подчиняться финансовымъ распоряженіямъ правительства? А эта церковь владѣла цѣлою третью французской территоріи. Поэтому критическимъ моментомъ въ исторіи французской монархіи нужно считать тотъ годъ (1749), когда министръ Машо (Machault) предложилъ истребовать отъ французской церкви инвентари ея поземельныхъ имуществъ для обложенія ихъ опредѣленной повинностью; съ устраненіемъ этого проекта и паденіемъ министра всякая дальнѣйшая попытка къ реформамъ становилась тщетной и невозможной, и революція—неизбѣжной. Но французская церковь, производившая такое непосредственное давленіе на внутреннюю политику правительства, ставила монархическимъ реформамъ еще косвенное препятствіе. Изъ книги Рокена читатель могъ убѣдиться, какъ всѣ распоряженія правительства встрѣчали въ оппозиціи парламентовъ постоянную преграду. Не только финансовые поборы правительства Людовика XV, но и благодѣтельные реформы Тюрго встрѣчали отпоръ со стороны самостоятельной и популярной магистратуры. А эта магистратура издавна находилась во враждѣ съ господствовавшей въ церкви партіей и правительство, постоянно занятое и раздражаемое борьбой съ парламентами, поневолѣ держалось ихъ враговъ — іезуитовъ и ультрамонтанскихъ епископовъ—и подпало ихъ вліянію. Такимъ образомъ янсенизмъ, возникшій въ одно время съ развитіемъ монархическаго абсолютизма и нашедшій убѣжище въ парламентахъ, получилъ въ политической исторіи Франціи значеніе, далеко превосходящее тотъ интересъ, который онъ внушаетъ, какъ церковное или культурное явленіе.

Историческая роль парламентской оппозиціи, другая сторона описанной Рокеномъ борьбы, изложена имъ также не вполне удовлетворительно. Если пріостановка во внутреннемъ государственномъ развитіи Франціи въ XVIII вѣкѣ и непредпріимчивость французскаго монархическаго правительства относительно проведенія реформъ останутся непонятны тому, кто не вникнетъ въ положеніе и роль церкви, то для объясненія такого застоя столь-же необходимо знать исторію

парламентской оппозиціи. Читателю знакомому съ величіемъ, достигнутомъ французской монархіей при Людовикѣ XIV, съ громадными средствами, которыми она обладала при его преемникахъ, съ отличнымъ устройствомъ обширнаго административнаго механизма, который приходилъ въ дѣйствіе по волѣ „министерскаго деспотизма“ — должно показаться страннымъ, что правительство, пользовавшееся такимъ положеніемъ, церемонилось съ оппозиціей судебной магистратуры, мѣшавшей ему на каждомъ шагу, и что послѣ всякаго усилія развязать себѣ руки оно тотчасъ уступало и все оставляло по старому. На чемъ основана была сила, которую приобрѣли парламенты тотчасъ по смерти Людовика XIV и которую они сохранили до той самой минуты, когда имъ пришлось склониться предъ высшимъ авторитетомъ Национальнаго Собранія?—Въ чемъ заключается тайна той странной популярности, какой пользовалось въ продолженіе всего XVIII вѣка одно изъ самыхъ консервативныхъ учрежденій въ исторіи, съ необыкновенной послѣдовательностью противившееся всякой полезной реформѣ, задуманной правительствомъ?

Повидимому, право парламента, которое давало ему возможность стѣснять правительство въ его распоряженіяхъ, было очень незначительно само по себѣ и не особенно существенно для народа. Оно было основано на обязанности блюсти за исполненіемъ законовъ и ради этого вести полный и точный ихъ списокъ (реестръ). Поэтому при изданіи новыхъ законовъ правительствомъ ихъ должны были внести въ общій списокъ—или *регистрировать* въ парламентѣ. Когда новыми законами отмѣнялись какіе-либо изъ прежнихъ, или когда они могли противорѣчить привилегіямъ отдѣльныхъ корпорацій или мѣстностей, то парламенту предоставлялось право представлять королю до регистраціи свои соображенія или возраженія противъ новыхъ законовъ. Такое право парламентовъ — *ремонстрировать*, было подкрѣплено исторически сложившимся обычаемъ. Въ сущности правительство могло не стѣсняться этимъ правомъ. Въ противодѣйствіе ему исторія выработала другое явленіе французскаго государственнаго

права—такъ называемые *lits de justice*, торжественныя засѣданія всѣхъ членовъ парламента подъ предсѣдательствомъ короля, при чемъ обычай не дозволялъ дѣлать никакихъ возраженій противъ объявляемой королевской воли. Оба эти противорѣчащія другъ другу права— право парламентавъ ремонстрировать и не приступать къ регистраціи, и право правительства принуждать парламентъ къ молчанію,—продолжали совмѣстно существовать во все время „старого порядка“. Между тѣмъ право парламента стало получать все большее и большее значеніе вслѣдствіе того, что съ усиленіемъ централизаціи и усовершенствованіемъ административнаго механизма число издаваемыхъ законовъ постоянно росло; и, во-вторыхъ потому, что тогдашнее государственное право не различало юридическихъ распоряженій правительства отъ фискальныхъ; поэтому и парламента, особенно парижскіи, получили, такимъ образомъ, косвенное право налагать свое *veto*, хотя и временное, на *составленіе государственнаго бюджета*. Понятно поэтому, что весь XVIII вѣкъ наполненъ борьбою правительства съ парламентами; правительство постоянно прибѣгало къ угрозамъ и мѣрамъ строгости противъ отдѣльныхъ членовъ и противъ цѣлыхъ парламентавъ, суспендировало ихъ, ссылало; но потомъ опять всегда возстановляло на прежнемъ основаніи. Но почему же оно не лишало ихъ права регистрировать законы и не передало этого права, напр., „*Государственному совѣту*“?—Почему уничтоженіе этого права всѣмъ казалось возможнымъ только съ уничтоженіемъ самихъ парламентавъ?—Въ основаніи этого, конечно, лежало всеобщее, хотя и смутное сознаніе, что власть французскихъ королей *не абсолютна*, что законодательная власть ихъ нуждается въ извѣстномъ регуляторѣ; лежало то, что можно назвать *неписанной конституціей*. Дѣйствительно, исторія французскаго государства не выработала до самой революціи полной идеи абсолютной королевской власти; въ началѣ своего развитія власть французскаго короля была абсолютна только тамъ, гдѣ онъ владѣлъ на патримоніальномъ правѣ (*Hofrecht*) въ своихъ вотчинахъ; феодальное же право знаетъ только ограниченную власть сеньера; во фран-

цузскомъ королѣ постепенно слились права вотчинника и сеньера, но, какъ нерѣдко бываетъ, полного сліянія не послѣдовало, и обѣ струи текли, такъ сказать, вмѣстѣ. Чтобы получить общегосударственное значеніе, королевская власть была принуждена въ XIV вѣкѣ опереться на генеральные штаты, т. е. на сеньеровъ церковныхъ и свѣтскихъ и на городскія коммуны, которыя долго сохраняли и представляли собой значительную часть государственной власти. Потребность политическаго объединенія, развитіе государственныхъ формъ и международнаго преобладанія, дали постепенно перевѣсъ королевской власти, и съ 1614 года генеральные штаты болѣе не собираются; но именно съ этихъ поръ право ограниченія законодательной власти королей и въ то же время *санкціи* ея постановленій переходить къ парламентамъ и выражается въ ихъ обязанности регистрировать законы съ правомъ ремонстраціи. Эпоха абсолютизма Людовика XIV была временной диктатурой, которую страна радостно привѣтствовала послѣ смуть фронды и съ энтузіазмомъ сносила, пока она доставляла побѣды и пока не истощила силъ націи. Какъ всякая диктатура, такъ и королевская диктатура въ XVII вѣкѣ нуждалась въ успѣхѣхъ и популярности и могла быть только временной. Благодаря искусству и продолжительности диктатуры Ришельё и самого Людовика XIV королевская власть во Франціи сдѣлалась абсолютной, но только *de facto*; ограниченіе ея, правда, было доведено до минимума, до пустой формальности—регистрировать законы въ парламентѣ—но въ этой формальности крылась никогда не исчезающая во французскомъ народѣ потребность санкціонированія королевскихъ законовъ особымъ болѣе или менѣе самостоятельнымъ учрежденіемъ, представлявшимъ своимъ участіемъ гарантію законности.

Внимательный читатель книги Рокена найдетъ въ ней много фактовъ, подтверждающихъ указанное нами *конституціонное* значеніе права парламентовъ *регистрировать* или, какъ иногда выражались, *повѣрять* (*vérifier*) законы. Мы ограничимся ссылкой на нѣсколько фактовъ, относящихся ко времени, непосредственно предшествовавшему революціи.

Когда задуманные въ 1787 году правительствомъ новые налоги—гербовая пошлина и обще-поземельный налогъ (subvention territoriale) встрѣтили сопротивление со стороны парижскаго парламента и снова произошелъ полный разрывъ между министерствомъ и парламентомъ, въ обществѣ явилось опасеніе, „что правительство намѣрено отнять у парламента регистрацію *фискальныхъ* или *даже всѣхъ другихъ законовъ*“. Во время послѣдовавшей тогда официальной переписки между правительствомъ и парламентомъ, Людовикъ XVI въ одной изъ своихъ декларацій заявилъ: „Если большинство моихъ палатъ будетъ принуждать мою волю (forcer ma volonté), то монархія превратится въ *аристократію магистратовъ* (la monarchie ne serait plus qu'une aristocratie de magistrats)“. На это парламентъ, между прочимъ, возразилъ: „Для того, чтобы предохранить націю отъ гибельныхъ послѣдствій введенной въ заблужденіе воли (des volontés surprises), конституція (т. е. государственное право Франціи) требуетъ относительно законовъ *повѣрки* (vérification) со стороны палатъ, а относительно новыхъ повинностей (subsides) предварительнаго согласія генеральныхъ штатовъ ¹⁾“ и пр. Спустя нѣсколько времени парламентъ былъ упраздненъ. Правительство Людовика XVI отдѣлялось отъ своего назойливаго соперника. Но какъ же оно послѣ этого поступило?—Оно учредило новую палату—Cour Plénière, которой предоставило право представлять возраженія правительству (remontrances); при чемъ король сохранялъ право предписывать ей свою волю en lits de justice; въ то же время онъ предоставлялъ себѣ право заключать займы по собственной волѣ, не подвергая ихъ никакой повѣркѣ; въ случаѣ же объявленія новыхъ налоговъ до созванія Генеральныхъ Штатовъ эти налоги также должны были быть регистрированы палатой. Какъ видно изъ этого, французское правительство само никакъ не могло выйти изъ заколдованнаго круга, въ который поставила его исторія, т. е. традиція государственнаго права Франціи, непремѣнно требовавшая

¹⁾ Rosquain, стр. 466.

провѣрки или, такъ сказать, *легитимации* всякаго новаго закона установленною для того палатой. Правда, это было уже наканунѣ революціи, когда французское правительство очень ослабѣло и было чрезвычайно стѣснено въ денежномъ отношеніи. Но принципъ, который здѣсь ясно признается самимъ правительствомъ, указываетъ намъ на историческую роль французскихъ парламентовъ въ XVIII вѣкѣ и объясняетъ, почему столь могущественное и часто деспотическое правительство Людовика XV щадило парламенты и не могло ихъ окончательно устранить, и почему чисто формальное право парламентовъ поддерживалось полнымъ сочувствіемъ націи, которая видѣла въ немъ единственную свою гарантію ¹⁾.

Но могли-ли парламенты считаться представителями французской націи?—Вѣдь они были въ сущности не что иное, какъ почти наслѣдственные, привилегированныя корпораціи, которыя болѣе всего заботились о неприкосновенности своихъ привилегій, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда эти привилегіи служили къ ущербу націи. Кромѣ того, вслѣдствіе большей или меньшей солидарности всѣхъ вышедшихъ изъ феодализма привилегій, оппозиція парламента противъ правительства была однимъ изъ наиболѣе крѣпкихъ оплотовъ привилегій сословныхъ и мѣстныхъ и феодальнаго порядка вообще. Но тутъ мы касаемся одной чрезвычайно важной стороны французской и вообще европейской исторіи и должны указать на политическое и культурное значеніе *привилегій* при „старомъ порядкѣ“. Привилегіи сдѣлались, конечно, главной помѣхой на пути европейскихъ народовъ къ развитому государственному порядку; но въ то же время они удовлетворяли

¹⁾ До какой степени идея ограниченія законодательной власти королей посредствомъ повѣрки новыхъ законовъ парламентомъ была присуща монархіи стараго порядка, можно судить по слѣдующему факту. Когда уже послѣ казни Людовика XVI раздоръ Дюмурье съ якобинцами на нѣкоторое время оживилъ надежды роялистовъ, одинъ изъ нихъ составилъ для цѣлѣной Маріи Антуанеты проектъ, въ которомъ съ полнымъ возстановленіемъ королевской власти (*dans son entier*) имѣлось также въ виду возстановленіе парламента съ правомъ регистрировать королевскіе законы. *Fersen et la cour de France. Klinkowstroem.*

другой существенной потребности человеческого общества — потребности къ свободѣ. Тотъ переходный бытъ отъ средне-вѣковаго устройства къ современному, который мы обозначаемъ терминомъ *старый порядокъ*, зналъ свободу, или былъ въ состояніи осуществить ее только въ формѣ *привилегіи*. Гражданская или индивидуальная свобода могла въ свое время укрыться только за корпоративными или сословными преимуществами; общинныя или провинціальныя привилегіи служили защитой мѣстныхъ потребностей, которыя теперь ищутъ осуществленія въ принципѣ децентрализаціи и мѣстной автономіи. Постепенно только изъ понятія привилегіи выработалась идея свободы, и потому тѣ страны и общественные слои, которые особенно долго и упорно отстаивали свои привилегіи, сдѣлались наиболѣе способными къ осуществленію свободы. Такимъ образомъ, мѣстныя и сословныя привилегіи были общественной школой свободы. Переходъ отъ понятія привилегіи къ пониманію свободы особенно наглядно выступаетъ въ исторіи французскаго парламента и придаетъ ей новый интересъ. То самое учрежденіе, которое такъ долго отстаивало свои корпоративныя и чужія привилегіи, обратилось наконецъ къ королю съ требованіемъ отмѣнить *lettres de cachet* и при этомъ заявило: „Свобода не *привилегія*, а *право*, и правительство обязано уважать это право“ ¹⁾.

Итакъ, можно сказать, что въ продолженіе всего XVIII вѣка мы находимъ во французской исторіи столкновение тѣхъ же самыхъ противоположныхъ теченій, которыя произвели такой хаосъ во время революціи 1789 года: стремленіе къ усовершенствованію государственнаго и соціального быта посредствомъ централизаціи и усиленія власти и стремленіе къ свободѣ. Первая изъ этихъ потребностей могла быть осуществлена только путемъ усиленія королевской власти до абсолютизма, а вторая долго понималась только въ формѣ привилегіи. Взаимное противодѣйствіе этихъ двухъ началъ вызвало застой во внутренней жизни, который составляетъ вы-

¹⁾ Sire, la liberté n'est point un privilège, c'est un droit. Roc., p. 463.

дающуюся черту французской истории въ XVIII вѣкѣ. Выходъ изъ этого тяжелаго положенія, дальнѣйшее историческое движеніе, было возможно лишь подъ условіемъ новой сдѣлки между обоими принципами, т. е. провозглашенія той политической формулы, которая могла бы удовлетворить одновременно и потребности въ усиленіи государственной власти, необходимой для проведенія реформъ, и потребности въ гражданской и политической свободѣ. Такая гармонія была, казалось, найдена въ идеѣ *народовластія*, разработка и распространеніе которой было дѣломъ литературы XVIII вѣка. Противорѣчіе, заключавшееся въ самой этой идеѣ и практическія затрудненія, которыя должны были оказаться тотчасъ при примѣненіи новаго принципа къ дѣйствительной жизни, не могли, конечно, быть замѣчены при чисто теоретическомъ отношеніи къ вопросу и при сильномъ недовольствѣ дѣйствительностью.

Теперь мы можемъ обратиться къ естественно представляющемуся историкамъ вопросу—возможно ли было предотвратить и предупредить революцію во Франціи монархической реформой?—и къ мнѣнію Токвиля, отвѣчавшему утвердительно на этотъ вопросъ на томъ основаніи, что около 1750 года французское общество ощущало только сильную потребность въ административныхъ и экономическихъ реформахъ, но еще нисколько не интересовалось политической свободой. Обсужденіе подобнаго мнѣнія всегда будетъ затруднительно потому, что приверженцы его могутъ вообразить себѣ такое стеченіе случайностей и благопріятныхъ обстоятельствъ, которое ихъ противниками будетъ признано крайне невѣроятнымъ, но теоретическую возможность котораго нельзя отрицать. Можно, напр., представить себѣ, что около 1750 года на французскомъ престолѣ былъ бы монархъ не только одаренный сильнымъ умомъ и энергическимъ характеромъ, но и философски образованный, враждебно расположенный къ католицизму; при этомъ геніальный полководецъ, которому бы удалось счастливой и блестящей войной, не истощивши средствъ страны, приобрести чрезвычайную популярность и

создать войско, которое давало бы ему возможность сломить всякое сопротивление и сдерживать всякое неудовольствие, до тѣхъ поръ, пока нація не убѣдилась бы въ цѣлесообразности и значеніи предпринятыхъ имъ реформъ. Но гораздо интереснѣе, чѣмъ взвѣшивать возможность и послѣдствія такихъ случайностей, дать себѣ ясный отчетъ въ тѣхъ условіяхъ, среди которыхъ пришлось бы дѣйствовать французскому реформатору.

Изученіе же фактовъ—и въ этомъ отношеніи сочиненія Обертена и Рокена особенно полезны—приводитъ, какъ намъ кажется, не къ тому заключенію, на которомъ основано мнѣніе Токвиля о возможности монархической реформой предотвратить революцію, т. е. будто бы французское общество около 1750 года желало только реформъ и не ощущало потребности свободы,—хотя эта свобода представлялась различно разными классами населенія и представлялась иначе, чѣмъ теперь—во всякомъ случаѣ такой моментъ нельзя отнести къ 1750 году. Всякая реформа требовала въ то время сильнаго проявленія власти и должна была повести еще къ большому усиленію этой власти, а въ 1750 году подобное усиленіе вызывало такое же недовѣріе и сопротивление, какъ и во времена болѣе близкія къ революціи. Въ этомъ недовѣрїи сливались два мотива—привязанность къ привилегіямъ и желаніе конституціонныхъ гарантій. Если мы прислушаемся къ общественному мнѣнію того времени, которое высказывалось, конечно, гораздо слабѣе, чѣмъ впоследствии, то ясно различимъ тѣ струи, которыя помѣшали мирной реформѣ и въ началѣ царствованія Людовика XVI, и наканунѣ 1789 года: эгоизмъ привилегированныхъ классовъ, отрицавшій за правительствомъ всякое право измѣнить исторически сложившееся право, и либерализмъ, готовый допустить усиленіе государственной власти только во имя принципа несомѣстнаго съ тогдашней монархіей, т. е. принципа народовластія. Правительственная реформа была невозможна, пока существовали парламенты, а парламенты еще въ началѣ царствованія Людовика XV, когда дѣло коснулось ихъ привилегій, сдѣлали то же самое, что и въ 1787 году, т. е. апеллировали отъ мо-

нархїи къ націи, какъ янсенисты апеллировали отъ папы къ церкви. Такимъ образомъ монархія встрѣтила бы въ 1750 году тѣ же затрудненія, которыя придали перевороту 1789 года такой трагическій характеръ, т. е. сдѣлалась бы жертвой борьбы между феодализмомъ и демократической революціей. Мы полагаемъ, что главная причина застоя въ исторіи Франціи заключается въ томъ, что послѣ потерпѣвшей неудачу диктатуры Людовика XIV монархическое правительство Франціи было слишкомъ слабо, чтобы преодолѣть во имя принципа власти тѣ преграды, которыя оно встрѣчало со стороны принципа свободы, выражавшагося столь противоположнымъ образомъ въ привязанности къ старымъ, отжившимъ гарантіямъ и въ потребности новыхъ. Эти препятствія могли быть устранены, какъ мы сказали, только провозглашеніемъ такого принципа, который, усиливая власть, вмѣстѣ съ тѣмъ предоставлялъ бы обществу желанныя гарантіи. Такой принципъ могъ быть выработанъ только теоретическимъ путемъ, и потому проводникомъ его явилась литература, или такъ называемая философія XVIII вѣка.

Послѣ продолжительнаго господства этой философіи въ современномъ ей обществѣ и увлеченія ею со стороны историковъ революціи, въ наше время появилось противоположное отношеніе къ ней. Уже Токвиль, пролагая путь къ исторической точкѣ зрѣнія на революцію, отнесся не совсѣмъ справедливо къ философіи, осуждая ея *теоретическій* характеръ; взглядъ Токвиля, кромѣ того, мотивировался еще его несочувствіемъ къ анти-религіозному характеру этой философіи. Въ наши дни другой талантливый писатель выступилъ съ еще болѣе рѣзкимъ осужденіемъ философіи, руководясь при этомъ еще и другими мотивами. Съ предубѣжденіемъ позитивиста Тэнъ отнесся совершенно отрицательно къ раціоналистическому методу французскихъ философовъ XVIII вѣка, къ ихъ чисто логической разработкѣ политическихъ теорій.

Токвиль и Тэнъ сходились въ томъ, что приписывали насильственный характеръ революціи и ея анти-историческій духъ, главнымъ образомъ, вліянію отвлеченнаго, теоретиче-

скаго направленія философовъ. Съ совершенно другой точки зрѣнія умаляютъ историческое значеніе рационалистической философіи Обертень и особенно Рокень. Доказывая вполне справедливо, что революція 1789 года была вызвана не философіей, а подготовлена всей исторіей XVIII вѣка, послѣдній видитъ въ самой философіи только плодъ этой самой исторіи и такимъ образомъ какъ-бы отрицаетъ, что философія была существеннымъ факторомъ въ исторіи революціи. Мы полагаемъ, что историческая точка зрѣнія должна повести не къ умаленію роли философіи и не къ осужденію ея теоретическаго характера. Въ русской литературѣ давно уже высказано мнѣніе, превосходно соединяющее историческое объясненіе характера философіи XVIII вѣка съ правильной оцѣнкой ея заслугъ. Еще въ 1857 году въ критической статьѣ о книгѣ Токвиля— „Старый порядокъ и революція“—авторомъ ея было ³указано на то, что теоретическое направленіе было явленіемъ, которое принадлежало не исключительно XVIII вѣку, но что оно проникаетъ всю исторію Франціи. „Самое французское государство въ извѣстномъ смыслѣ построено было теоретическимъ путемъ. Старые французскіе юристы, будучи практиками, не менѣе того строили теоріи государства и возводили до идеи развитіе королевской власти. Эта теорія въ свое время была усвоена народомъ такъ же, какъ усвоивались имъ ученія XVIII вѣка. Послѣднее было тѣмъ легче, что самое существо философіи XVIII вѣка какъ разъ пришлось по французскому характеру и уму“ ¹⁾. вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, рецензентъ предостерегаетъ читателей отъ преувеличенія теоретическаго направленія умовъ, вызваннаго философіей. Онъ говоритъ, что не слѣдуетъ вмѣстѣ съ Токвилемъ приписывать теоретическому направленію слишкомъ большое вліяніе на ходъ событій. Оно всегда зарождалось практическими потребностями и являлось, какъ прикрытіе и освященіе жизненныхъ стремленій. „Не послѣдовательность логики, а бореніе различ-

¹⁾ Статя Б. Н. Чичерина „Новѣйшіе публицисты“. Отечественныя Записки, 1857 г., августъ. Перепечатана въ книгѣ: Очерки Франціи и Англии.

ныхъ общественныхъ элементовъ было внутреннею причиною событій; логика служила только орудіемъ“. Авторъ статьи подтверждаетъ это нѣсколькими интересными примѣрами изъ исторіи Національнаго Собранія и Конвента. Въ приведенной нами статьѣ г. Чичерина о Токвилѣ говорится только объ отрицательной дѣятельности французской мысли въ XVIII вѣкѣ, о значеніи разлагающаго анализа, не дававшего „пощады ничему обветшалому, вносившаго свѣтъ во всѣ темныя дебри историческаго зданія“; указывается также на другую заслугу философіи рационалистовъ, на то, что она выступала во имя началъ общественнаго блага, во имя любви къ людямъ, мягкости, снисхожденія. Но къ этому слѣдовало бы прибавить еще третью великую цѣль, для которой логика служила орудіемъ, цѣль, въ извѣстномъ смыслѣ, уже заключавшую въ себѣ первыя двѣ. Мы уже указали на эту заслугу рационалистической философіи. Она выработала и популяризировала принципъ, который сдѣлался движущимъ началомъ дальнѣйшаго государственнаго и общественнаго прогресса, послужилъ рычагомъ, выдвинувшимъ Францію изъ вѣковаго застоя, въ которомъ ее оставила исторія.

Французское правительство въ XVIII вѣкѣ, какъ мы видѣли, не находило въ принципѣ, который оно собою представляло, достаточно силы, чтобы довести до конца свое историческое дѣло, завершить государственное и національное объединеніе Франціи и побѣдить преграды, которыя ему противопоставлялъ духъ свободы въ его средневѣковыхъ окаменѣлыхъ формахъ. Дальнѣйшее историческое движеніе могло совершиться только во имя другого, высшаго принципа, который заключалъ бы въ себѣ и идею власти въ ея крайнемъ напряженіи и идею свободы, превратившейся изъ частной привилегіи въ общее право. Формулированіе этого принципа, который легъ въ основаніе новаго, современнаго періода развитія Франціи, разработка его въ національномъ духѣ и популярной формѣ и распространеніе его въ народѣ среди привилегированныхъ классовъ и самыхъ представителей правительства—вотъ въ чемъ заключается великая историческая

заслуга философіи и литературы XVIII вѣка. Но, внося въ историческое развитіе жизни Франціи теоретическій элементъ, литература XVIII вѣка оказала великую услугу не одной только Франціи, а всему человѣчеству; она придала національному развитію общечеловѣческое значеніе, подняла его на степень всемірнаго историческаго процесса.

Теперь намъ остается еще сказать лишь нѣсколько словъ о мнѣніи Рокена, что французская революція могла бы точно также вспыхнуть въ 1754 или 1770 году, какъ и въ 1789, и о его предположеніи, что такая, болѣе ранняя революція, была бы предпочтительнѣе: хотя она относительно политическихъ доктринъ и уступала бы перевороту 1789 года, но не вызвала бы террора—ибо духъ реформы умѣрилъ бы революціонныя страсти—и не нагромодила бы такихъ преградъ на историческомъ пути Франціи, такъ какъ не пришлось бы въ этомъ случаѣ строить все сызнова и за одинъ разъ (*tout d'une piéce*). Конечно, при извѣстныхъ случайностяхъ и въ 1770 году, и даже въ 1754 могло бы вспыхнуть возмущеніе въ Парижѣ или другомъ мѣстѣ и сдѣлаться всеобщимъ. Но это мало вѣроятно. Въ 1754 году на сторонѣ Людовика XV былъ не пошатнувшійся еще авторитетъ церкви; а въ 1770 году рядомъ съ непопулярнымъ королемъ стоялъ наслѣдникъ престола, на котораго были устремлены всѣ надежды. Затѣмъ, если бы и произошло такое возмущеніе, оно, вѣроятно, было бы подавлено и повело бы только къ безплодной реакціи; а если бы этого не случилось и правительство было низвергнуто, то Франція очутилась бы въ еще болѣе безвыходномъ положеніи, чѣмъ прежде, и потрясеніе, которое ей пришлось-бы испытать, конечно, не уступило бы ни крутостью переворота, ни продолжительностью, эпохѣ террора. Нація, во всякомъ случаѣ, расколосась бы на двѣ части, и число лицъ изъ привилегированныхъ или образованныхъ классовъ, которые оказались бы на сторонѣ движенія, было бы гораздо незначительнѣе, чѣмъ въ 1789 году; движеніе, вѣроятно, получило бы характеръ обширной *jacquerie*, какія и прежде бывали во Франціи. Какъ мало политической

зрѣлости было въ самомъ обществѣ, видно, напр., изъ того, что въ продолженіе всего XVIII в. почти никто не подумалъ серьезно о Генеральныхъ Штатахъ и что послѣ смерти Людовика XV, какъ говоритъ самъ Рокенъ, „въ обществѣ замѣчалось въ умахъ болѣе разномыслія, чѣмъ согласія, относительно перемѣнъ въ политическомъ устройствѣ, которыя всѣмъ желательно было ввести“.

Здѣсь дѣло, конечно, не въ годахъ; вопросъ нужно поставить такъ: какой характеръ принялъ бы переворотъ, если бы онъ произошелъ раньше, чѣмъ литература обнаружила свое вліяніе, сблизила классы и внушила обществу новыя идеи?—А въ этомъ случаѣ мы думаемъ, что чѣмъ раньше совершился бы во Франціи переворотъ, который долженъ былъ положить конецъ старому порядку, тѣмъ менѣе онъ имѣлъ бы шансовъ на успѣхъ, и тѣмъ менѣе имѣлъ бы, такъ сказать, историческаго содержанія. Конечно, паденіе стараго порядка и революція 1789 года были подготовлены всею предшествовавшей исторіей Франціи; она же вызвала то литературное и философское движеніе, которое дало перевороту 1789 года его теоретическій, а вмѣстѣ съ тѣмъ его культурный и универсальный характеръ; но только благодаря въ особенности литературѣ и философіи этотъ переворотъ, несмотря на всѣ бѣдствія, которыя были его послѣдствіемъ, несмотря на всѣ тяжелыя воспоминанія, которыя съ нимъ связаны, былъ не простымъ только возмущеніемъ „буржуазіи противъ привилегированныхъ классовъ“, какъ думали при дворѣ Людовика XVI, но сдѣлался событіемъ въ исторіи идей и принциповъ и получилъ всемірное значеніе.

Народность и прогрессъ ¹⁾.

Man bekämpft ein gegnerisches System durch Aufdeckung seiner Irrthümer, aber man besiegt es nur, indem man die vielleicht missverstandenen Wahrheiten, die jedes System enthält willig in den Kreis des eignen wissenschaftlichen Lebens aufnimmt.

Roscher: Gesch. d. Nationaloecm p. 1046.

Одинъ изъ самыхъ важныхъ современныхъ вопросовъ, какъ по общему интересу, который онъ представляетъ для публики, такъ и по практическому значенію, которое можетъ имѣть разрѣшеніе его въ томъ или другомъ смыслѣ, есть, безъ сомнѣнія, вопросъ о значеніи *народа* и *народности*. Для многихъ европейскихъ народовъ, а особенно для русскихъ,

1) Статья эта, напечатанная въ кн. журн. «Русская Мысль», должна была служить противовѣсомъ противъ проявлявшагося тогда въ нѣкоторыхъ статьяхъ этого журнала увлеченія національнымъ принципомъ въ области литературы и культуры. Съ другой стороны эта статья должна была служить введеніемъ къ сочиненію, имѣвшему цѣлью выяснитъ подобное увлеченіе національнымъ принципомъ въ XVIII вѣка во Франціи — въ области *политической*. Какъ видно изъ двухъ предшествовавшихъ статей, стремленіе къ свободѣ и борьба парламентовъ противъ королевскаго абсолютизма сильно выдвинули во Франціи идею *нации* и національной власти или воли въ противоположность къ сословіямъ и провинціямъ, а также въ противовѣсъ монархическому принципу. Понятіе о *нации* сдѣлалось такимъ образомъ главнымъ рычагомъ революціоннаго движенія и обезпечило побѣду третьяго штата въ Генеральныхъ штатахъ и національнаго собранія надъ королемъ. Прослѣдитъ проявленія этого понятія сначала у политическихъ писателей, а потомъ въ публицистикѣ и въ самыхъ событіяхъ, и было задачей предпринятаго сочиненія.

это, можно сказать, въ настоящее время *очередной* вопросъ. Бывали эпохи, когда духовные и практическіе интересы сосредоточивались преимущественно около другихъ элементовъ культурной жизни народовъ—церкви и государства. Вопросы объ истинной вѣрѣ, о цѣлесообразномъ устройствѣ церкви, объ отношеніяхъ церкви къ государственной власти, о положеніи и вліяніи на общество того класса, который преимущественно представляетъ собою церковь, стояли нѣкогда на первомъ планѣ, волновали и разъединяли народъ, создавали партіи, вызывали войны, опредѣляли формы государства, господствовали надъ мыслью и наукой и возбуждали духовное творчество человѣка. Если на разрѣшеніе этихъ вопросовъ и имѣли большое вліяніе національный характеръ и національныя потребности, то это совершалось бессознательно, и народность никѣмъ по крайней мѣрѣ не выставлялась высшимъ мѣриломъ по вопросамъ религіозной совѣсти. Наступила затѣмъ пора, когда интересы государственной жизни заняли первое мѣсто во вниманіи людей. Въ этой области національные элементы должны были, конечно, еще сильнѣе давать себя чувствовать, чѣмъ въ области религіозной; но ни въ политическихъ теоріяхъ, ни въ государственной практикѣ имъ въ прежнее время не было отведено виднаго мѣста. Во многихъ случаяхъ это было и невозможно. Во всѣхъ государствахъ, которыя сложились подъ вліяніемъ феодальнаго быта, народъ былъ раздробленъ въ *политическомъ* отношеніи на нѣсколько слоевъ или штатовъ¹⁾, и самое государство представлялось извѣстною сдѣлкой, чуть не федераціей этихъ сословныхъ слоевъ подъ верховною властью сюзерена. А въ тѣхъ изъ нихъ, гдѣ монархія, выступая проводникомъ государственнаго принципа, ослабила или устранила *политическую власть* сословій, новый государственный принципъ проявлялся въ формѣ личной власти (*l'état—c'est moi*) и государство представлялось личнымъ достояніемъ монарха. Конечно, и на этой ступени личность монарха могла предста-

¹⁾ *Status*, франц. *état* значитъ—сословіе и государство.

влять собою національную идею и реальная связь между монархией и народомъ проявляются въ ней и инстинктивно; но насколько эта связь была случайна и не обезпечена, указываетъ, напимѣръ, чрезвычайно рельефно исторія Франціи во время царствованія Людовика XV, т. е. непосредственнаго преемника именно того короля, государственную аксіому котораго мы только-что привели. Если же изъ области фактовъ мы перейдемъ къ государственнымъ теоріямъ, то встрѣтимся съ тѣмъ же явленіемъ. Во всѣхъ политическихъ теоріяхъ XVIII вѣка господствовала идея о *гражданствѣ*, т. е. отвлеченное представленіе о человѣческомъ индивидуумѣ въ отвлеченномъ государствѣ,—представленіе, при которомъ не принимались въ расчетъ ни національныя различія между государствами, ни тѣ подчасъ не менѣе разительныя различія, которыя въ предѣлахъ одного и того же государства обусловливаются степенью культуры и общественнымъ положеніемъ. Между тѣмъ съ конца прошлаго вѣка сталъ все болѣе и болѣе выдвигаться впередъ, какъ въ практической жизни, такъ и въ области идей, новый принципъ *народности*. Народъ представляетъ собою явленіе коллективное, и вмѣстѣ съ тѣмъ, индивидуальное. Понятіе о народѣ есть понятіе собирательное или коллективное, въ виду того, что народъ состоитъ изъ извѣстной суммы болѣе или менѣе однородныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ различныхъ людей, которые могутъ быть поставлены другъ къ другу въ различныя отношенія и связаны различными способами. Индивидуальная же сторона народа обнаруживается въ общей исторической жизни различныхъ поколѣній, принадлежащихъ къ одному и тому же народу, и проявляется особенно ярко въ отношеніяхъ одного народа къ другимъ и при сравненіи ихъ между собой. Вслѣдствіе этого вопросъ о народности имѣетъ двѣ стороны—внутреннюю и внѣшнюю, и принципъ народности можетъ проявляться въ двухъ направленіяхъ: по отношенію къ самому народу и по его отношеніямъ къ другимъ. Въ первомъ случаѣ рѣчь должна идти о томъ, какое дать опредѣленіе народу въ его внутреннемъ быту, въ чемъ преимуще-

ственно искать выраженія его сущности или его духа, какую роль въ проявленіи этого духа признать за различными слоями и группами, изъ которыхъ слагается народное цѣлое. Во второмъ случаѣ рѣчь идетъ объ опредѣленіи индивидуальности извѣстнаго народа по отношенію къ другимъ и его мѣста среди этихъ другихъ. Первое выражается понятіями *народа* и народности въ собственномъ смыслѣ, во второмъ случаѣ слова „народъ“ и „народность“ иногда замѣняются выраженіями — *нація* и *національность*. И въ томъ и въ другомъ смыслѣ понятія о народѣ и народности стали, особенно съ начала XIX вѣка, овладѣвать умами многихъ людей, направлять страсти и интересы ихъ, видоизмѣнять политическія и общественныя теоріи, руководить прямо или косвенно политикой и дипломатіей, вліять на философскія системы и научные методы. Научное открытіе понятія народа и народности можно признать однимъ изъ важнѣйшихъ, а въ извѣстномъ отношеніи и плодотворнѣйшимъ изъ культурныхъ приобрѣтеній послѣдняго вѣка европейской исторіи: разработка этихъ понятій и вліяніе, оказанное ими на жизнь и на теорію, составляютъ одну изъ существенныхъ чертъ, характеризующихъ культурный обликъ нашей эпохи въ сравненіи съ предшествовавшими; а потому изученіе ихъ и разсмотрѣніе ихъ вліянія на современный бытъ, на литературныя направленія и политическія партіи нашего времени представляютъ одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ, чтобы познакомиться съ духомъ вѣка, осмыслить многія окружающія насъ явленія и тенденціи и установить среди нихъ точку опоры, что составляетъ потребность всякаго мыслящаго человѣка.

Прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію вліянія, оказаннаго представленіями о народѣ и народности въ исторіи послѣдняго столѣтія, укажемъ на нѣкоторыя изъ причинъ, которыя на грани двухъ вѣковъ навели на эти представленія и способствовали ихъ могущественному вліянію на людей. Мы находимъ эти причины какъ въ области идей, такъ и въ области фактической исторіи. Самое общее объясненіе, которое обыкновенно дается по отношенію къ данному вопросу,

заключается въ томъ, что уваженіе къ принципу народности и національности явилось вслѣдствіе *реакціи* противъ рационализма, господствовавшаго въ XVIII вѣкѣ. Это, конечно, совершенно вѣрно; необходимо, однако, точнѣе опредѣлить въ этомъ случаѣ смыслъ слова реакція.

Мышленіе человѣческое въ XVIII вѣкѣ блуждало, насколько оно было обращено къ политическимъ вопросамъ, между индивидуализмомъ и космополитизмомъ, вытекавшими изъ одного и того же источника—рационалистическаго, т. е. разсудочнаго отношенія къ человѣку. Политическія теоріи рационализма говорили о человѣкѣ вообще, исходили изъ отвлеченнаго понятія о немъ, строились на свойствахъ этого отвлеченнаго человѣка, заботились о его нуждахъ и потребностяхъ. Отъ этого понятія объ *общемъ человѣкѣ* естественно было перейти къ собирательному понятію о *человѣчествѣ*, т. е. объ общей суммѣ людей. Понятія о *человѣкѣ* и *человѣчествѣ* были *коррелатами*, какъ часть и цѣлое, т. е. одно вело за собою другое, предполагало его, какъ необходимое дополненіе. Правда, между *человѣкомъ* и *человѣчествомъ* стояло государство, происшедшее, по господствовавшей тогда теоріи, изъ общественнаго договора, заключеннаго извѣстнымъ числомъ людей между собой. Но граждане такихъ государствъ оставались и послѣ заключенія подобнаго договора людьми вообще и были поэтому въ сущности гражданами „вселенной“, *космополитами*. Только съ понятіемъ *націи* было найдено реальное звѣно между *человѣкомъ* и *человѣчествомъ*, и мысль тѣхъ, которые были неудовлетворены крайними выводами изъ индивидуалистическаго и космополитическаго принциповъ, нашла убѣжище въ понятіи о національности. Но по тому же пути, по которому вело логическое сцѣпленіе идей, шла, такъ сказать, и логика фактовъ. Идеи индивидуализма сильнѣе и яснѣе всего проявились во французской революціи, и этотъ переворотъ окончился установленіемъ могущественнаго обширнаго государства съ космополитическими притязаніями; но въ борьбѣ съ захватившею половину Европы имперіей Наполеона пробудилось и окрѣпло національное сознаніе

большинства европейских народовъ, и послѣдствія этого столкновенія поэтому долго еще будутъ ощутительны въ политической и культурной исторіи нашего материка.

Если указанные нами причины направили общественное вниманіе преимущественно на внѣшнее проявленіе идеи народности, то-есть на принципъ національности, то другія тенденціи, также идущія отъ XVIII вѣка, отразились на развитіи народной идеи въ ея внутреннемъ значеніи. Здѣсь на первомъ планѣ приходится назвать филантропическую тенденцію, составляющую лучшее украшеніе того культурнаго періода, который мы обозначаемъ именемъ XVIII вѣка. Правда, филантропія, какъ показываетъ уже самое ея названіе, имѣла, какъ и всѣ другія тенденціи XVIII вѣка, преимущественно отвлеченный оттѣнокъ и общечеловѣческое направленіе; но, вызывая участіе къ бѣднымъ и слабымъ, къ нуждающимся классамъ вообще, она подготовляла почву для болѣе полного и глубокаго пониманія идеи о народѣ и вела къ установленію нравственной солидарности между отдѣльными его классами. И прежняя отвлеченно-государственная теорія принимала во вниманіе потребности бѣдныхъ, но заботилась о нихъ болѣе съ точки зрѣнія государственнаго порядка и благочинія. Имѣя въ виду исключительно государство и его интересы, можно было, напримѣръ, дойти до дикой аргументаціи того публициста, который доказывалъ необходимость общественнаго попечительства о бѣдныхъ на томъ основаніи, что бѣдные представляютъ собой внутреннихъ враговъ государства, которые только такимъ способомъ могутъ быть побѣждены. ¹⁾ Филантропія же основывала помощь, оказываемую бѣднымъ, не на политическомъ расчетѣ, а на симпатіи, на любви челоуѣка къ челоуѣку. Распространяясь среди зажиточныхъ и образованныхъ классовъ, она вызывала съ ихъ стороны одушевленное сочувствіе къ людямъ, обремененнымъ менѣе благопріятно, и хотя это сочувствіе руково-

(¹ *Геритекеръ*—одинъ изъ одностороннихъ послѣдователей Кантовской теоріи о государствѣ въ сочиненіи, написанномъ въ 1805 г. См. *Roscher*: „Gesch. d. Nationaloeconomie in Deutschland“, стр. 498.

дилось общечеловѣческимъ инстинктомъ, а не національнымъ принципомъ, оно открыло верхнимъ слоямъ общества глаза на положеніе низшихъ и послужило средствомъ для объединенія ихъ во имя народной идеи и общенародныхъ интересовъ.

Подобное же вліяніе имѣла и демократическая тенденція. Конечно, эта тенденція, въ смыслѣ сочувствія отвлеченному политическому принципу равенства или въ видѣ политической страсти и стремленія властвовать, не только не стоитъ въ связи съ національнымъ принципомъ, но можетъ даже быть неблагопріятной для его развитія. Однако, распространеніе демократическихъ идей въ обществѣ было необходимымъ условіемъ для возникновенія народной идеи, особенно на Западѣ, гдѣ сословія были не только общественными группами, но политическими подраздѣленіями народа, обладавшими извѣстными функціями и правами государственной власти. Насколько связь между демократической и національной идеей можетъ быть тѣсна, особенно свидѣтельствуетъ исторія Франціи. Здѣсь внезапное, могучее пробужденіе національнаго сознанія совершенно совпадаетъ съ демократическимъ преобразованиемъ общества; хотя, какъ извѣстно, именно во Франціи демократическій порывъ не остановился на національной идеѣ и очень быстро принялъ космополитически-революціонное направленіе.

Указанныя нами причины, вызывая въ обществѣ и усиливая сознаніе принципа народности, какъ въ индивидуальномъ, такъ и въ коллективномъ его смыслѣ, содѣйствовали болѣе правильному пониманію идеи о народѣ въ современномъ ея проявленіи. Народъ, однако, представляетъ собой явленіе, сущность котораго вполнѣ обнаруживается только во времени, т. - е. явленіе историческое. Вслѣдствіе этого истинное пониманіе народа обусловливалось представленіемъ о немъ какъ объ историческомъ организмѣ, установленіемъ преемственной связи между его настоящимъ и его прошедшимъ. Отсюда понятно, какое важное значеніе для развитія народнаго принципа долженъ былъ имѣть успѣхъ исторической

науки въ обширномъ смыслѣ, разумѣя подъ этимъ также изученіе поэзіи и быта народовъ, т. е. вообще исторію культуры. Исторія всегда занималась судьбою народовъ, но она дѣлала мало успѣховъ, пока не выяснила себѣ существеннаго своего принципа — идеи *развитія*, какъ въ смыслѣ генетическомъ, т. е. развитія одной формы изъ другой, такъ и въ смыслѣ усовершенствованія, т. е. развитія великаго изъ малаго, сложнаго изъ простаго, сознательнаго изъ инстинктивнаго и первобытнаго. Исторія поэтому совершила великій шагъ впередъ, когда стала изучать первоначальныя, несложныя формы въ прошедшемъ, или ихъ остатки въ настоящемъ, когда она обратилась къ дѣтскому возрасту народовъ, къ эпохамъ и продуктамъ безсознательнаго и коллективнаго творчества. Начало этого движенія относится къ послѣдней трети XVIII вѣка и принадлежитъ Германіи. Тамъ филологъ Гейне сталъ объяснять греческую мѣологію *творчествомъ племеннаго и національнаго духа*. Тамъ Гердеръ, обратившійся къ сравнительному изученію народной поэзіи и собравшій въ 1778 году «Голоса народовъ», выставилъ теорію о происхожденіи поэзіи изъ коллективнаго творчества народнаго духа, — теорію, которая скоро была примѣнена филологомъ Ф. А. Вольфомъ къ объясненію знаменитыхъ твореній Гомера. Тамъ, съ другой стороны, историкъ Мёзеръ обратился къ ежедневной прозѣ, къ будничной сторонѣ народной жизни. Наблюденія надъ современнымъ ему бытомъ вестфальскихъ крестьянъ онъ приводилъ въ связь съ толкованіемъ извѣстій Тацита о бытѣ древнихъ германцевъ. Онъ съ одинаковымъ интересомъ изучалъ старинныя лѣтописи и грамоты и бесѣдовалъ съ крестьянами о мелочахъ ихъ хозяйственнаго быта и строя. Такимъ образомъ онъ скоро выяснилъ себѣ живую, непосредственную связь между современной и прошлою жизнью своего народа и поставилъ исторіографіи, которая до тѣхъ поръ занималась только повѣствованіемъ о военныхъ и политическихъ дѣлахъ (*Staatsactionen*), о судьбѣ правителей и жизни дворовъ, — новую задачу, изобразить исторію народа, понимая это слово въ двоякомъ смыслѣ: и въ смыслѣ націи, и въ

смыслъ массы населенія ¹⁾. Такая задача могла быть въ то время только поставлена, особенно въ политически раздробленной и соціально и религіозно разъединенной Германіи, и потому не удивительно, что „Оснабрюкская исторія“ Мёзера, начало которой вышло въ 1768 году, не была окончена; но этотъ неоконченный и спеціальныи трудъ имѣетъ важное значеніе въ исторіи европейской культуры: онъ указываетъ на близкую связь между возникновеніемъ научнаго *историческаго метода* и признаніемъ со стороны историковъ той роли, которую играетъ національный элементъ въ исторіи.

Вызванный такимъ образомъ еще въ XVIII вѣкѣ разными причинами національный принципъ получилъ въ XIX вѣкѣ преобладающее значеніе. Въ политическомъ отношеніи онъ преобразилъ карту Европы и произвелъ въ ней болѣе значительныя перемѣны, чѣмъ періодъ абсолютизма или религіозныхъ войнъ; онъ создалъ въ Европѣ два новыхъ большихъ государства и нѣсколько мелкихъ, довелъ до разложенія старую Оттоманскую имперію, потрясъ имперію Австрійскую, а его роль на юго-востокѣ Европы еще долго будетъ служить источникомъ смутъ и направлять общую политику европейскихъ державъ. Менѣе ярко, но столь же значительно, было его вліяніе во внутренней жизни многихъ европейскихъ государствъ.

Національный принципъ, или народная идея, стали служить основаніемъ для политическихъ или литературныхъ партій, усиливать или парализовать другіе принципы и интересы, съ которыми соединялись или сталкивались и стали руководить законодательными мѣрами, торговой и финансовой политикою правительствъ.

Наконецъ, вліяніе новыхъ понятій о народѣ сдѣлалось ощутительно и въ научной сферѣ. Имъ привлечены къ научному

¹⁾ Мёзеръ выразилъ это стремленіе между прочимъ такъ: „Исторія должна изображать не только жизнь и старанія врачей (т.-е. правителей), но не забывать и о самомъ больномъ“. Въ другомъ мѣстѣ онъ примѣняетъ къ правительствующимъ классамъ выраженіе Фридриха Великаго — „великіе и малые слуги націй“. Biedermann Deutschl. im XVIII J. II, 706.

изученію цѣлыя области бытовой жизни, остававшіяся прежде незамѣченными, и памятники старины, которыми прежде пренебрегали. Исторія языка, исторія вѣрованій только благодаря національному принципу поставлены на твердую научную почву. Наука о правѣ также почувствовала на себѣ его благотворное вліяніе. Ничто, на примѣръ, такъ не измѣнило прежнее догматическое изученіе римскаго права, какъ открытіе, сдѣланное такъ-называемой исторической школой, что право есть продуктъ національнаго духа. Подобнымъ образомъ тотъ же національный принципъ въ связи съ историческимъ методомъ вывелъ политическую экономію изъ отвлеченной догматики и изъ области общихъ формулъ и сдѣлалъ возможною настоящую науку о *хозяйствѣ* (Nationaloeconomie).

Но всякій могущественно дѣйствующій и плодотворный принципъ порождаетъ одностороннее служеніе ему и подаетъ поводъ къ недоразумѣніямъ и уклоненіямъ отъ его настоящаго смысла. Изучать такія уклоненія тѣмъ полезнѣе, чѣмъ важнѣе правильное пониманіе и примѣненіе самаго принципа.

Во всей Европѣ мы находимъ въ обществѣ, въ литературѣ и даже въ наукѣ людей, посвятившихъ особенное вниманіе вопросу о національности и народности, никогда не теряющихъ изъ вида этихъ интересовъ и готовыхъ измѣрять и оцѣнивать съ точки зрѣнія этихъ интересовъ всѣ другія современныя потребности. Появленіе людей этого направленія и распространеніе ихъ убѣжденій въ обществѣ должно не только быть признано естественнымъ послѣдствіемъ той роли, которую національный вопросъ играетъ въ наше время, но можетъ быть очень плодотворно и соотвѣтствуетъ существенной потребности современной культуры. Существованіе національностей есть одинъ изъ важнѣйшихъ фактовъ европейской жизни; вліяніе національности на различныя сферы этой жизни не подлежитъ сомнѣнію, и потому чѣмъ тщательнѣе будетъ изученъ этотъ фактъ, чѣмъ точнѣе будетъ опредѣлена сущность вопроса о народности, тѣмъ лучше. При этомъ, конечно, плодотворность всѣхъ подобныхъ попытокъ будетъ обуславливаться разрѣшеніемъ предварительнаго во-

проса, гдѣ именно искать существенное выраженіе данной народности.

Въ Россіи тѣ люди, которымъ принадлежитъ починъ въ этомъ дѣлѣ и которые съ тѣхъ поръ неустанно трудились надъ разрѣшеніемъ вопроса о русской народности, извѣстны подъ именемъ славянофиловъ. Вожди ихъ отвергаютъ это названіе, и они правы, потому что это названіе указываетъ только на одну сторону ихъ литературной дѣятельности и ихъ интересовъ, и не на самую существенную. Но, по неимѣнію другого общепринятаго термина, приходится довольствоваться этимъ. Значеніе славянофильскаго направленія въ Россіи ¹⁾, какъ и аналогическихъ направленій у другихъ европейскихъ народовъ, — на примѣръ, нѣмецкаго романтизма, — двоякое: отрицательное и положительное. Сильное и страстное пробужденіе національнаго сознанія вездѣ, естественно, повело къ протесту противъ всего чужого, иноземнаго, къ отрицанію иностранныхъ вліяній въ литературѣ и бытѣ. Но въ этомъ отношеніи обнаруживается существенное различіе между славянофильствомъ и аналогическими направленіями, на прим., въ Германіи, — различіе, обусловленное особенностями русской исторіи и развитія цивилизаціи въ Россіи, — различіе, которое вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ самый слабый пунктъ славянофильства. Вездѣ, гдѣ желаніе развить и создать *свое* привело къ отрицанію чужого, такому отрицанію подвергалось вліяніе какого-нибудь одного народа, культура котораго получила преобладающее значеніе въ сосѣдней странѣ. Такъ въ Германіи національный принципъ питался и крѣпнулся посредствомъ отрицанія всего французскаго, въ Даніи — всего нѣмецкаго. Вездѣ ради своего національнаго элемента отрицался какой-нибудь другой также національный элементъ. Въ Рос-

¹⁾ Мы здѣсь не имѣли въ виду представить съ нашей точки зрѣнія полную оцѣнку значенія славянофильства въ исторіи русскаго просвѣщенія; сопоставляя его съ романтизмомъ, мы не упускали изъ вида, что его вліяніе было сравнительно гораздо обширнѣе и плодотворнѣе. Мы касаемся славянофильства только въ предѣлахъ того вопроса, которому посвящена наша статья.

сіи-же ревностнымъ сторонникамъ національнаго элемента приходилось возставать не противъ другого національнаго элемента, а противъ вліянiя *Запада*, противъ *западной цивилизаціи*, т.-е. противъ европейскаго вліянiя, противъ цивилизаціи вообще. Здѣсь уже проявлялся не частный только антагонизмъ между двумя націями, а принципиальный антагонизмъ между національнымъ и общечеловѣческимъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обнаруживался протестъ противъ чело-вѣческой культуры въ ея высшей современной формѣ. Конечно, лучшіе представители славянофильства не допускали такого принципиальнаго антагонизма и отнюдь не желали придавать своему направленію антикультурнаго характера. Но школы и принципы оцѣниваются въ исторіи не только сообразно съ намѣреніемъ ихъ основателей и лучшихъ поборниковъ, но и согласно съ тѣмъ, какъ они отражались на убѣжденіяхъ всей массы ихъ сторонниковъ и согласно съ практическимъ вліаніемъ, которое имѣли дѣлаемые изъ нихъ выводы. А въ этомъ отношеніи нельзя не признать, что многіе усвоили себѣ изъ славянофильства только какое-то туманное недовѣріе къ *европейскому*, а иногда и инстинктивную неприязнь къ извѣстнымъ культурнымъ идеямъ и формамъ только потому, что ихъ нельзя признать національными.

Однако, помимо такихъ заблужденій, которыя могутъ быть отнесены на счетъ недоразумѣній или увлеченій мало развитыхъ сторонниковъ, извѣстная связь славянофильства съ нерасположеніемъ къ новымъ идеямъ и формамъ европейской цивилизаціи обнаруживается при разсмотрѣніи того, что можно назвать *положительною* стороною этого направленія. Борьба противъ чуждаго элемента можетъ имѣть смыслъ и благотворный результатъ лишь подъ условіемъ вѣрнаго пониманія и опредѣленія національнаго элемента. Какъ другія аналогическія направленія, такъ и славянофильство, совершенно правильно обратилось съ этою цѣлью къ изученію различныхъ памятниковъ и проявленій народной жизни въ прошедшемъ и въ настоящемъ. Въ этомъ любовномъ отношеніи къ народному творчеству въ языкѣ и въ поэзи, къ народной

религии и праву, къ народной *старинѣ* вообще, заключается главная культурная *заслуга* славянофильства. Но интересъ къ старинѣ такъ часто влечетъ за собой пристрастіе къ этой старинѣ! Этому пристрастію всецѣло поддалось славянофильство, и здѣсь кроется причина одного изъ коренныхъ заблужденій его сторонниковъ, заставляющаго ихъ искать въ прошедшемъ наиболѣе полное и вѣрное выраженіе національнаго принципа.

Это заблужденіе славянофильство раздѣляетъ, какъ извѣстно, съ нѣмецкимъ романтизмомъ. И нѣмецкіе романтики для того, чтобы добраться до корней своей національной жизни, сочли нужнымъ вычеркнуть изъ исторіи своего народа послѣдніе три вѣка, во всякомъ случаѣ перешагнуть назадъ черезъ нихъ и признать господствовавшія тогда идеи и формы *національными*, т. е. придать имъ абсолютно-національный характеръ. Притомъ многимъ славянофиламъ или, точнѣе здѣсь сказать, *народникамъ*, было трудно удержаться на этомъ уклонѣ къ старинѣ, остановиться въ этомъ блужданіи за непочатыми источниками народной жизни, еще не замутившимися отъ чужеземнаго вліянія, и такимъ образомъ нѣкоторые изъ писателей этого направленія пошли гораздо дальше назадъ въ отыскиваніи національныхъ элементовъ; они не остановились на „московскомъ періодѣ“, но уже со введенія христіанства начинали считать уклоненіе отъ народныхъ основъ. Подобно этому и въ Германіи не всѣ радѣтели національной старины довольствовались возвращеніемъ къ золотому вѣку рыцарства и католицизма, но отводили гораздо болѣе продолжительный періодъ на господство иноземнаго ига и *заблужденій*, подлежащихъ отмѣнѣ; такъ, на примѣръ, довольно извѣстный политико-экономъ Шульцъ утверждалъ, что „реформы нашего времени“ должны главнымъ образомъ состоять въ восстановленіи древнѣйшаго быта до появленія иноземщины (*Ausländerei*), причемъ начало иноземщины онъ относилъ къ году смерти Карла Великаго, полагая такимъ образомъ на ея владычество круглымъ счетомъ 1.000 лѣтъ (отъ 814 до 1813 г.).

Съ этимъ стремленіемъ искать настоящее, чистое выраженіе народности назадъ, въ старинѣ, находится въ тѣсной связи другая сторона этого направленія—стремленіе искать выраженіе народнаго духа внизу, въ вѣрованіяхъ, понятіяхъ и обычаяхъ народной массы. И въ этомъ отношеніи, конечно, нужно признать за славянофильствомъ, какъ и за аналогическими тенденціями у другихъ народовъ, двойную заслугу—какъ относительно возбужденія самаго вопроса, такъ и формулированія извѣстныхъ практическихъ требованій. Послѣ раціоналистическаго отношенія ко всѣмъ явленіямъ человѣческой жизни, господствовавшаго въ прошломъ вѣкѣ, общественная мысль была обязана важнымъ успѣхомъ тѣмъ людямъ, которые обратили вниманіе на раннія и низшія формы культуры,— на тѣ эпохи, когда наблюдатель имѣлъ дѣло не съ ясно формулированными понятіями и принципами, не съ сознательною дѣятельностью отдѣльныхъ лицъ, а съ коллективнымъ творчествомъ массы, съ вѣрованіями и обычаями, бессознательно сложившимися въ извѣстной средѣ. Передъ людьми, вѣрившими въ абсолютное господство разсудка и отвлеченныхъ понятій, открылась какъ бы новая и чрезвычайно важная область *инстинктивной* жизни человѣка, въ которой нужно искать начало и корни главныхъ проявленій человѣческой культуры, и языка, и религіи, и права, и государственныхъ учрежденій.

Главная заслуга по теоретическому разъясненію этого существеннаго вопроса принадлежитъ философіи исторіи. Еще въ прошломъ вѣкѣ Вико отмѣтилъ нѣкоторыя характерныя черты ранняго періода въ жизни народовъ, указалъ, напри- мѣръ, на то, что у юныхъ народовъ поэтическое творчество замѣняетъ собой сознательную работу мысли; что имъ свойственно выражать свои мысли посредствомъ символическихъ олицетвореній или, какъ выразился Вико, мыслить „поэтическими представленіями“. Но настоящая принципіальная постановка вопроса о значеніи инстинкта есть дѣло Шеллинга. Область „бессознательнаго“ была краеугольнымъ камнемъ всей его философской системы. „Ключъ къ разъясненію сущ-

ности сознательной духовной жизни, — говорилъ онъ, — заключается въ области безсознательнаго“. Въ основаніи его системы *трансцендентальнаго идеализма* лежало различіе безсознательнаго и сознательнаго элементовъ, и единство ихъ составляло высшее начало этого идеализма. Съ помощью этого принципа Шеллингъ теоретически связалъ въ одинъ величественный процессъ всю жизнь вселенной — міръ неорганической съ органическимъ, а послѣдній съ духовною жизнью человѣка и человѣчества въ его историческомъ развитіи. Исторія такимъ образомъ представлялась Шеллингу сочетаніемъ двухъ противоположныхъ элементовъ человѣческаго естества — безсознательнаго и сознательнаго. Философія Шеллинга отразилась плодотворнымъ образомъ на разныхъ областяхъ человѣческаго мышленія и научнаго изслѣдованія и между прочимъ послужила точкой отправленія, какъ для различныхъ публицистовъ и историковъ въ Германіи, такъ и для славянофиловъ въ Россіи. И въ данномъ случаѣ нѣкоторыя изъ направленій, отдѣлившіяся отъ общей системы, усвоили себѣ *одно* изъ положеній этой системы и занялись дальнѣйшею разработкой его въ болѣе или менѣе одностороннемъ смыслѣ. Впрочемъ, нужно замѣтить, что корень главной односторонности, которою отличаются примыкающія къ Шеллингу ученія, находится у самого философа. Въ различныхъ мѣстахъ его сочиненій ясно просвѣчиваетъ извѣстное предпочтеніе безсознательнаго элемента передъ сознательнымъ, слышится не разъ превознесеніе инстинктивной жизни и инстинктивнаго творчества въ природѣ и въ области человѣческаго духа надъ сознательнымъ. „Явленія животнаго инстинкта, — говорилъ Шеллингъ, — для всякаго мыслящаго человѣка принадлежатъ къ самымъ возвышеннымъ; они представляютъ настоящій пробный камень истинной философіи“. Превосходство инстинкта надъ сознаніемъ рельефно выставляется Шеллингомъ въ его опредѣленіи языка, гдѣ онъ такъ сильно настаиваетъ на значеніи творческаго инстинкта массъ (*Masseninstinct*). Наконецъ, разслѣдуя высшее проявленіе личнаго творчества — дѣятельность генія въ поэзіи и въ искусствѣ,

Шеллингъ ищетъ главное основаніе этого творчества въ „темной силѣ“ генія, которая не можетъ быть замѣнена никакою сознательною способностью“.

Указанная здѣсь оригинальная черта философіи Шеллинга послужила точкой отправленія для различныхъ его послѣдователей и для мыслителей, находившихся подъ его вліяніемъ. Восхваленіе инстинкта, прославленіе бессознательныхъ процессовъ развитія, особенный интересъ къ низшимъ сферамъ органической и политической жизни—вотъ признаки, по которымъ легко отличить направленія, вдохновлявшіяся Шеллингомъ. Ни въ одномъ, однако, изъ такихъ направленій эта черта не выступаетъ такъ выпукло, какъ у славянофиловъ. Она проявляется у нихъ въ полупоэтическомъ, полумистическомъ отношеніи къ народной массѣ или къ простонародью. Простой народъ является въ ихъ глазахъ главнымъ хранителемъ и носителемъ народнаго духа, его возрѣнія служатъ для нихъ вѣрнымъ мѣриломъ и безошибочнымъ регуляторомъ потребностей и интересовъ народныхъ ¹⁾. Въ основаніи этихъ мечтаній лежитъ, конечно, серьезная мысль. Жизнь и духовный бытъ простонародья вообще представляютъ важный научный и практическій интересъ. Если область инстинктивной жизни для цивилизованныхъ народовъ вообще лежитъ далеко назади въ прошедшемъ, если для наблюденій надъ этимъ психическимъ состояніемъ, которое характеризуется господствомъ инстинкта, нужно обращаться къ старинѣ, то и въ настоящее время въ каждомъ народѣ значительная масса населенія болѣе или менѣе обрѣтается на ступени инстинктивной жизни, и наблюденія надъ этою формою жизни въ прошломъ плодотворнымъ образомъ дополняются и расширяются съ помощью подобныхъ наблюденій надъ жизнью наименѣе культурныхъ слоевъ населенія.

¹⁾ „То, что выдавалось за самобытное произведеніе русской мысли вообще, было только блѣднымъ отраженіемъ философскихъ ученій Запада. Особенность славянофиловъ состоитъ въ томъ, что они въ русскомъ простонародѣ видѣли высшій нравственный идеалъ“. Чичеринъ: „Ист. полит. ученій“, т. IV, стр. 265.

Съ другой стороны, понятія и обычаи народной массы, особенно крестьянскаго населенія, во многихъ отношеніяхъ представляютъ въ настоящемъ вѣрное отраженіе культурнаго быта и ступени развитія извѣстнаго народа въ болѣе отдаленную эпоху его существованія, и поэтому, конечно, могутъ служить важнымъ подспорьемъ при изслѣдованіи и характеристикѣ жизни извѣстной націи въ ея историческомъ развитіи.

Къ этимъ двумъ теоретическимъ соображеніямъ присоединяется еще одно практическое положеніе, очень существенное при разрѣшеніи вопроса о народности—необходимость искать въ данный моментъ опредѣленія народности не въ однихъ высшихъ или культурныхъ классахъ народа, но вмѣстѣ съ тѣмъ принимать въ расчетъ духовное состояніе, понятія и потребности массъ населенія, которыя уже по своей многочисленности, даже при низкой ступени развитія, имѣютъ право на вниманіе и всегда даютъ на практикѣ чувствовать свой вѣсъ въ направленіи народной жизни, а кромѣ того, могутъ служить драгоценнымъ указателемъ особенностей и того градуса культуры, до котораго поднялся народъ въ своей исторической жизни. Но это неоспоримо вѣрное положеніе, которое должны принимать во вниманіе и наука, и здравая политика, подлежить, конечно, какъ и всякая мысль, превеличенію и искаженіямъ. Подобныя увлеченія принимаютъ особенно рѣзкій характеръ, когда они являются выраженіемъ протеста противъ другой противоположной крайности и орудіемъ борьбы противъ нея. Въ русскомъ обществѣ такія увлеченія встрѣчаются преимущественно у писателей прямо или косвенно примыкающихъ къ славянофильству. Увлеченія эти, какъ извѣстно, заключаются не только въ сентиментальной идеализации быта, понятій и привычекъ простонародной среды, но особенно въ принципиальномъ возведеніи того, что представляетъ собой извѣстную форму, а иногда извѣстную фазу въ развитіи народа, въ коренное, вѣчное, нормальное и потому абсолютное выраженіе народнаго духа.

Пока такой взглядъ на дѣло держится въ литературной или теоретической области, примѣняется къ эстетической

или исторической критикѣ и высказывается, на примѣръ, въ предпочтеніи извѣстныхъ формъ поэтическаго творчества и быта передъ другими, онъ можетъ быть только поводомъ къ извѣстной, довольно невинной эксцентричности въ личныхъ мнѣніяхъ. Но при нѣкоторой послѣдовательности со стороны лицъ, усвоившихъ себѣ этотъ взглядъ, онъ ведетъ обыкновенно къ такимъ сужденіямъ и къ такому направленію, къ которому общество не можетъ относиться равнодушно, а именно, онъ влечетъ за собой недоувѣріе и даже враждебное отношеніе къ прогрессивному движенію въ идеяхъ и учрежденіяхъ.

Такимъ образомъ съ положительною стороною въ идеалахъ и стремленіяхъ славянофильства тѣсно связано то, что можно назвать ихъ отрицательною ролью. Въ этомъ отрицаніи національныя тенденціи славянофиловъ находятъ себѣ сильную поддержку въ ихъ демократическихъ тенденціяхъ. Какъ возвеличеніе старины побуждаетъ ихъ отрицать правильность историческаго развитія за послѣдніе два вѣка, совершившагося подъ непосредственнымъ вліяніемъ европейской культуры, такъ идеализація простонародныхъ понятій и обычаевъ вселяетъ въ нихъ нерасположеніе къ тѣмъ понятіямъ и потребностямъ, которыя стоятъ надъ уровнемъ протонароднаго міровоззрѣнія, и даже къ тѣмъ общественнымъ слоямъ и литературнымъ направленіямъ, на которыхъ преимущественно отражалась современная европейская культура съ ея разнообразными идеалами и стремленіями. Конечно, въ своемъ отрицательномъ и полемическомъ отношеніи къ извѣстнымъ явленіямъ славянофиловъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ быть и правы. Не все, что кому-либо представляется выраженіемъ прогресса, составляетъ дѣйствительный прогрессъ, и ни одна прогрессивная форма или мысль не имѣетъ абсолютнаго смысла, т. е. значенія внѣ времени и пространства. Но и тамъ, гдѣ теорія славянофильства права въ своей критикѣ частныхъ явленій, гдѣ она осуждаетъ дѣйствительныя заблужденія, возникающія подъ именемъ прогресса, она сама поражаетъ себя безсиліемъ, потому что исходитъ изъ лож-

наго начала. Не столько во имя общих, разумных критеріевъ въ опредѣленіи прогресса или во имя практической цѣлесообразности осуждаютъ славянофилы своихъ противниковъ, сколько на томъ основаніи, что они „оторвались отъ народа“. А при возникающихъ отсюда преніяхъ опять такъ не разумъ, опирающійся на современное образованіе, не научный опытъ и методъ признаются съ ихъ стороны высшими руководителями, но рѣшающею силой является мистическое начало „народной правды“, которую они ищутъ или слишкомъ далеко назадъ, или слишкомъ низко, за предѣлами или внѣ предѣловъ сознательной національной жизни. Такимъ образомъ и въ томъ и въ другомъ случаѣ отрицательная сторона славянофильства, какъ національнаго направленія, сводится къ одному результату—къ умаленію и суженію національной идеи, какъ въ ея историческомъ развитіи, такъ и въ современномъ ея проявленіи, т. е. къ подрыву истинно-национальнаго принципа.

При изученіи того, что высказано славянофильствомъ и другими романтиками по вопросу о народности, легко придти къ убѣжденію, что между этими направленіями и приемами, которые усвоила себѣ современная историческая наука, есть много точекъ соприкосновенія. Это и неудивительно, ибо та же философская система, отъ которой берутъ свое начало романтизмъ и славянофильство, послужила плодотворнымъ принципомъ для *исторической школы*, внося въ разсмотрѣніе судебъ человѣческихъ идею прогресса и органическаго развитія.

Историческая школа, въ противоположность раціоналистическаго отношенія къ политическимъ и общественнымъ вопросамъ, выяснила значеніе въ исторіи цивилизаціи національной идеи и народнаго духа; она указала на преемственность и органическій характеръ жизненнаго процесса отдѣльныхъ народовъ, на прохожденіе народами извѣстныхъ ступеней въ своемъ развитіи, связанныхъ съ извѣстными формами государственнаго строя и быта и обусловленныхъ извѣстными данными. Историческая школа, наконецъ, обратила вниманіе

на область бессознательной жизни и коллективного творчества и поставила требованіе, чтобы при обсужденіи современныхъ практическихъ вопросовъ было принято во вниманіе все прошлое теченіе народной жизни, т. е. своеобразныя условія, созданныя имъ, и степень вліянія, которое это прошлое обнаруживаетъ въ современномъ быту, на различныхъ слояхъ и сферахъ народной жизни.

Эта характеристика историческаго взгляда на вопросъ о народности достаточно объясняетъ и точки соприкосновенія между этимъ направленіемъ и славянофильствомъ и все существенное различіе между ними. Последнее особенно проявляется со стороны славянофиловъ въ непониманіи и непризнаніи свойствъ человѣческой цивилизаціи и значенія историческаго прогресса. Конечно, этотъ упрекъ можетъ быть сдѣланъ нѣкоторымъ такъ-называемымъ славянофиламъ, но не славянофильству вообще и отнюдь не главному его дѣятелю и основателю—А. С. Хомякову. Главное свойство цивилизаціи—это ея развитіе по ступенямъ и ихъ преемственность. Романтики народности не расположены допускать представленія о ступеняхъ въ исторіи народнаго развитія. То, что съ точки зрѣнія исторической школы представляется извѣстною ступенью, они склонны принимать за существенное, неотъемлемое выраженіе народнаго духа и, устремивъ все свое вниманіе на какую-нибудь эпоху въ прошедшемъ, имъ особенно симпатичную, фантастически разукрасивъ ее подъ вліяніемъ сочувствія къ ней, они отвергаютъ преемственность въ дальнѣйшей жизни народа и ищутъ его идеаловъ назадъ, не понимая, что вмѣстѣ съ ростомъ и развитіемъ измѣняются потребности и совершенствуются идеалы.

Съ другой стороны, они недостаточно цѣнятъ формы и потребности, вырабатываемыя прогрессомъ въ его разнообразныхъ проявленіяхъ, необходимо выступающія на первый планъ вмѣстѣ съ развитіемъ общечеловѣческой культуры. Стоя ревнивыми стражами на защиту расовыхъ свойствъ и первобытныхъ чертъ въ народной жизни, романтики народности подчасъ отвергаютъ все прогрессивное и рациональное, не

только съ точки зрѣнія практической его примѣнимости или цѣлесообразности, но стараясь подрывать самое значеніе или, — говоря ихъ языкомъ, — самую *правду* тѣхъ формъ и идей, противъ которыхъ они ратуютъ, и обнаруживая этимъ только свое непониманіе ихъ. Другое существенное свойство цивилизаціи — ея единство, т. е. ея общечеловѣчность. Конечно, народность — не только одинъ изъ существенныхъ элементовъ человѣческой цивилизаціи, начало, примиряющее индивидуалистическія потребности съ космополитическими, но она можетъ быть и могущественнымъ подспорьемъ цивилизаціи, когда національное чувство является для отдѣльныхъ лицъ и для массъ побужденіемъ къ новому напряженію духовныхъ силъ и къ творческой дѣятельности въ политикѣ, искусствѣ и наукѣ. Но не слѣдуетъ забывать, что народность есть форма, въ которой можетъ проявляться цивилизація, но что она не составляетъ ея цѣли. Цивилизація въ своихъ высшихъ цѣляхъ едина, какъ едина научная истина. Научныя истины не дробятся и не видоизмѣняются ни по вѣроисповѣданіямъ, ни по государствамъ, ни по національностямъ, и сообразно съ этимъ свѣтъ цивилизаціи можетъ преломляться по племенамъ, народамъ и по ихъ возрастамъ; преломляющая среда можетъ дѣлать свѣтъ болѣе или менѣе тусклымъ, но свѣтъ остается, тѣмъ не менѣе, общимъ и единымъ началомъ.

Наконецъ, существенное несогласіе между историческимъ или научнымъ направленіемъ и романтическимъ высказывается въ ихъ различномъ отношеніи къ идеѣ прогресса. Правда, рѣдко кто-либо даже изъ мистическихъ сторонниковъ народнаго начала высказывался принципиально противъ прогресса; однако враждебное или, по крайней мѣрѣ, равнодушное отношеніе къ прогрессу скрывается обыкновенно за выходками противъ „подражанія“, противъ усвоенія чуждыхъ формъ и идей, за протестомъ противъ прогресса, несвойственнаго народному духу и подрывающаго его основы. Но, за исключеніемъ нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ и справедливой полемики противъ увлеченій мнимымъ прогрессомъ, неопредѣленные толки о „самобытности“ и о „внутренней“ или

„народной правдѣ“ вытекаютъ въ сущности изъ противоположнаго историческому взгляду отношенія къ прогрессу— изъ нежеланія или невозможности признать, что высшее начало и высшая *цѣль* жизни человѣчества есть прогрессъ. А еще болѣе это явствуется изъ послѣдствій, къ которымъ ведетъ романтизмъ массу своихъ приверженцевъ. Болѣе или менѣе безсознательно всѣ они приходятъ къ политическому и научному *квіетизму*, который влечетъ за собой застой, отрицаніе прогресса. Подъ такимъ квіетизмомъ вовсе не нужно разумѣть нерасположеніе къ какой-нибудь частной мѣрѣ или предполагаемой реформѣ,—квіетизмъ есть скорѣе извѣстное постоянное настроеніе, которое даетъ общій оттѣнокъ убѣжденіямъ и стремленіямъ человѣка, предрасполагая его видѣть вещи въ томъ или другомъ свѣтѣ. Подобно, тому, какъ, на примѣръ, религіозный квіетизмъ, во французскомъ обществѣ XVII вѣка, также проникнутый мистическимъ принципомъ и не лишенный поэтической окраски, — погружая лицо въ созерцаніе своего *я* и божественныхъ основъ своего бытія, влекъ за собой извѣстное самодовольство и этимъ ослаблялъ внутреннюю борьбу и напряженіе, необходимыя для нравственнаго усовершенствованія; такъ и квіетизмъ социальный, вытекающій изъ мистическаго созерцанія основъ національнаго духа и совершенства народной правды, ведетъ къ національному самодовольству, и этимъ вселяетъ общее равнодушіе къ измѣненіямъ и преобразованіямъ и становится преградой на пути дальнѣйшаго историческаго развитія. Такимъ образомъ, если историческое направленіе, выясняя вездѣ въ исторіи начало движенія и прогресса, внушаетъ интересъ къ этому началу и этимъ содѣйствуетъ его вліянію и дальнѣйшему усиленію среди самой націи и въ общей жизни народовъ,—противоположное отношеніе къ прогрессу ведетъ и къ противоположнымъ результатамъ. А изъ этого обнаруживается правильность слѣдующаго вывода. Различныя романтическія направленія, и между прочимъ славянофильство, имѣютъ въ вопросѣ о народности на столько значенія и основанія, на сколько совпадаютъ съ научнымъ пониманіемъ исто-

рін народовъ; ошибки ихъ начинаются тамъ, гдѣ они расходятся съ правильнымъ историческимъ взглядомъ на народную жизнь и обусловливаются именно отступленіемъ отъ историческаго метода.

II.

Мы старались доказать, что научное изученіе исторической жизни народовъ является лучшимъ противодѣйствіемъ противъ односторонности и увлеченій, въ которыя легко впадаютъ народные романтики, и историческій методъ долженъ быть признанъ самымъ вѣрнымъ регуляторомъ общественныхъ идеаловъ и стремленій, вытекающихъ изъ извѣстнаго рода пониманія народнаго духа. Этимъ, однако, не ограничивается общественная роль историческаго метода въ современныхъ вопросахъ. Есть еще другая область общественныхъ идеаловъ и тенденцій, въ которой историческій методъ можетъ оказать обществу такую же услугу, какъ и по отношенію къ романтизму и славянофильству. Эти идеалы и тенденции вытекаютъ изъ начала, къ которому народные романтики такъ часто относятся отрицательно: мы разумѣемъ начало *прогресса*. По замѣчанію Рошера, люди, у которыхъ сильно развито чутье народнаго духа (*der Sinn für das Volksthümliche*), легко поддаются желанію по возможности *сохранить* старину въ обычаяхъ и учрежденіяхъ и при этомъ часто доходятъ до уродливой крайности (*reactionäre Auswüchse*, по выраженію Рошера) въ стремленіи произвести *реакцію* противъ всякой новизны. Это замѣчаніе, конечно, найдетъ себѣ подтвержденіе въ личномъ опытѣ всякаго читателя, знакомаго съ литературой нашего вѣка; однако изъ-за уродливыхъ наростовъ, къ которымъ такъ часто подаетъ поводъ *реакція* противъ *прогресса*, не слѣдуетъ забывать общественное значеніе, которое можетъ имѣть въ извѣстномъ случаѣ подобная тенденція. Не всякая *реакція* враждебна прогрессу въ настоящемъ смыслѣ этого слова; какъ замѣтилъ одинъ изъ самыхъ талантливыхъ критиковъ современной европейской литературы, ко-

того не заподозрить въ равнодушїи къ прогрессу, реакція сама по себѣ вовсе не совпадаетъ съ понятїемъ регресса, —напротивъ, всякая реакція, которая исправляетъ современное представленіе о прогрессѣ и дополняетъ его, является новымъ элементомъ прогресса. Культурное значеніе подобной реакціи Брандесъ видитъ въ томъ, что она ополчается противъ излишествъ предшествовавшаго періода и выставляетъ на свѣтъ то, что передъ этимъ было забыто и оттъснено на задній планъ. Сообразно съ этимъ можно сказать, что общественная заслуга или историческое значеніе романтизма, а значитъ, и славянофильства, въ ихъ идеальномъ стремленїи, заключаются въ предостереженїи и въ извѣстномъ протестѣ противъ односторонняго пониманїя идеи прогресса, противъ увлеченїя ложными формулами, вытекавшими изъ неправильныхъ представленїи о немъ. Какъ всякая идея, такъ и высокая идея прогрессивнаго развитїя, вызываемая обзорѣнїемъ исторической жизни народовъ и чело-вѣчества, можетъ быть поводомъ къ недоразумѣнїямъ и превратнымъ толкованїямъ; какъ всякій идеаль, такъ и идеаль безостановочнаго, безпредѣльнаго развитїя индивидуумовъ и обществъ можетъ проявляться въ искаженномъ, *карикатурномъ* образѣ. Такія карикатурныя представленїя о прогрессѣ обуславливаются или одностороннимъ отношенїемъ къ нему чело-вѣческой мысли, или недостаточною образованностью среды, въ которой они проявляются, и потому бываютъ чрезвычайно разнообразны. Въ борьбѣ съ *пародїей* на прогрессъ, съ прогрессивными обскурантами, романтизмъ получаетъ свой смыслъ, и можно сказать, что обширное сочувствїе, которое романтизмъ по временамъ получаетъ въ обществѣ, всегда обуславливается не столько случайнымъ, необъяснимымъ увлеченїемъ общества модною тенденціей, сколько чувствомъ самосохраненїя отъ болѣзненнаго и уродливаго прогрессизма. Но подобный расчетъ со стороны общества, хотя и бессознательный, не вполне оправдывается; противъ увлеченїи нужно бороться не увлеченїями и крайности побѣждать не крайностями. Романтизмъ можетъ имѣть благодѣтельное

вліяніе, какъ реакція противъ увлеченія ложнымъ прогрессомъ, освѣщая слабыя стороны этого явленія, но онъ не даетъ выхода изъ фальшиваго положенія, въ которое поставлено общество. Стремленіе къ ложному идеалу прогресса можетъ быть побѣждено не возвращеніемъ къ старинѣ, не движеніемъ назадъ, но только началомъ, которое совмѣщаетъ въ себѣ идею поступательнаго движенія и ведетъ къ представленію объ истинномъ прогрессѣ, т. е. началомъ историческаго развитія.

Однимъ словомъ, историческій принципъ долженъ служить пробѣлкой различныхъ современныхъ представленій и требованій относительно прогресса: и не мало направленій, идущихъ подъ общимъ знаменемъ прогресса, окажутся предъ нимъ несостоятельными.

Мы не ставимъ себѣ цѣлью пересмотрѣть здѣсь всѣ различныя злоупотребленія идеей прогресса, которыя встрѣчаются въ современномъ намъ обществѣ, но только намѣтимъ главнѣйшія направленія, въ области которыхъ идея прогресса подвергается произвольному толкованію и искаженію. Увлеченія и практическія ошибки, къ которымъ подаетъ поводъ одностороннее пониманіе прогресса, обыкновенно сводятся къ двумъ основнымъ заблужденіямъ. Оба они въ одинаковой степени обусловливаются тѣмъ, что къ данному вопросу не всегда примѣняется историческій методъ. Отсутствіе исторической точки зрѣнія можетъ, во-первыхъ, обнаружиться въ опредѣленіи самаго понятія прогресса и имѣть своимъ послѣдствіемъ слишкомъ догматическое отношеніе къ прогрессивному началу вообще. Всякій результатъ общаго прогрессивнаго развитія будетъ тогда цѣниться самъ по себѣ, а не по отношенію къ данному обществу или народу, не по тому вліянію, которое онъ окажетъ на извѣстную среду. Результатомъ такого поверхностнаго и слишкомъ легковѣрнаго отношенія къ прогрессу будетъ склонность цѣнить слишкомъ абсолютно различныя формы и продукты человѣческой цивилизаціи и преувеличивать потребность и способность различныхъ обществъ въ усвоеніи ихъ. Съ другой же стороны,

отсутствіе исторической точки зрѣнія можетъ проявиться въ непониманіи способовъ развитія цивилизаціи и законовъ, по которымъ оно совершается. Слѣдствіемъ этого бываетъ пренебреженіе къ основному свойству всякаго историческаго прогресса—постепенности и преемственности развитія, бываетъ неумѣнье различать ступени въ исторической жизни народовъ и недостаточное вниманіе къ индивидуальному характеру эпохъ и обществъ. Эти тенденціи приводятъ къ различнымъ невѣрнымъ формуламъ или къ неумѣстнымъ практическимъ требованіямъ, смотря по отдѣльнымъ вопросамъ и интересамъ, къ которымъ прилагаются.

Историческій прогрессъ въ жизни европейскихъ народовъ обнаружился въ послѣдніе два вѣка преимущественно въ области трехъ главныхъ вопросовъ, около которыхъ и теперь еще вращается: во-первыхъ, вопроса о свободномъ положеніи и развитіи человѣческаго индивидуума среди общества, къ которому онъ принадлежитъ; во-вторыхъ, вопроса о цѣлесообразномъ устройствѣ самого общества согласно съ принципами и потребностями, выставленными современною цивилизаціей; наконецъ, третій вопросъ столько же касается индивидуумовъ, сколько и общества: это—вопросъ о той роли, которая должна быть отведена главному двигателю современной цивилизаціи—знанію и наукѣ.

Право, предъявляемое личностью на свободу и на полный просторъ въ общественной жизни и во внутреннемъ развитіи, было долго господствующимъ вопросомъ вѣка; оно лежало въ основаніи многихъ философскихъ системъ и различныхъ теорій общественнаго и государственнаго устройства; оно породило въ области литературы и поэзіи цѣлый рядъ блестящихъ произведеній и идеальныхъ типовъ, которые глубоко отпечатлѣлись на реальной жизни различныхъ европейскихъ обществъ. Вопросъ этотъ и теперь не затихъ, онъ по существу своему вопросъ вѣчный и возникаетъ съ новою силой повсюду, гдѣ личность начинаетъ чувствовать надъ собой сильное давленіе того строя, среди котораго она живетъ и стремится къ полному развитію. Проявленіе индивидуальнаго

принципа и творческая дѣятельность личности въ области философскаго мышленія, права и нравственности, конечно, составляютъ одинъ изъ главныхъ элементовъ прогресса; борьба индивидуума со средой, разрывъ личности съ обществомъ, нерѣдко становились исходными пунктами для новаго движенія по пути цивилизаціи; но, съ другой стороны, въ области индивидуализма, въ стремленіяхъ личности отпечатлѣть свое я на окружающей средѣ, въ притязаніяхъ индивидуума признать свое личное благо тождественнымъ съ общественнымъ или національнымъ прогрессомъ, возвести требованія своего я на степень общихъ требованій—очень часто встрѣчаются или одностороннее болѣзненное увлеченіе, или извращеніе идей и самаго принципа прогресса.

Страданія субъекта, ограниченнаго узкими для него рамками даннаго общества, протестъ индивидуума противъ всякихъ правилъ и нормъ, имъ не признанныхъ, формулированы, начиная съ Вертера, въ европейскихъ литературахъ на самые различные тоны и лады—отъ чистаго, идеалистическаго мечтанія до самаго циническаго эгоизма. Такой индивидуализмъ даже въ безсмертныхъ твореніяхъ Гёте и Байрона отмѣченъ болѣзненнымъ безсиліемъ, которое обуславливается тѣмъ, что у субъекта, предоставленнаго самому себѣ, нѣтъ никакого мѣрила кромѣ личнаго произвола; въ этихъ случаяхъ, однако, онъ еще могъ служить высокимъ культурнымъ началомъ, потому что на немъ лежитъ печать генія и потому, что онъ облеченъ въ поэзію, которая облагородила его и придала идеальный смыслъ скорби и притязаніямъ субъекта. Но какъ далеко отъ поэтическихъ образовъ, съ которыхъ началъ европейскій индивидуализмъ, до матеріалистическихъ формулъ, къ которымъ пришли его подражатели въ современной русской публицистикѣ! Вертеръ, на примѣръ, представляетъ собою „право и неправду переполнившася сердца по отношенію къ пошлымъ и омертвѣлымъ правиламъ разумно устроенной будничной жизни, его стремленіе къ безконечности, его жажду свободы, которой жизнь представляется темницей, и всѣ общественныя перегородки—тюремными стѣнами“ ¹⁾.

¹⁾ *Брандесъ* „Die Litteratur des XIX J.“, т. I, стр. 35 (втор. изд.).

Однако, какъ извѣстно, даже въ этой непритязательной поэтической формѣ индивидуализмъ вызвалъ въ современномъ ему обществѣ нравственную эпидемію, содѣйствовалъ одному изъ крупныхъ патологическихъ явленій, которыхъ не мало насчитываетъ исторія человѣчества. Но что же послѣ этого сказать о слѣдующей формулѣ индивидуализма: „Если общественныя отношенія не удовлетворяютъ стремленіямъ, сознаваемымъ вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное измѣненіе этихъ отношеній. Сомнѣнія тутъ никакого не можетъ быть. Почувствуйте только, какъ слѣдуетъ, право вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы самымъ непримѣтнымъ и естественнымъ образомъ придете къ кровавой враждѣ съ общественною неправдой!“

Сколько можно встрѣтить людей среди нашего образованнаго общества, которые въ своемъ философствованіи никогда не поднимались выше такой формулы и ее одну принимаютъ за исходную точку своихъ нравственныхъ понятій и общественныхъ теорій. Хорошо еще, пока рѣчь въ этомъ случаѣ идетъ о нравственно развитыхъ людяхъ. Но формула тѣмъ особенно и грѣшитъ, что субъектъ, за которымъ она признаетъ право на правду и на счастье, — въ томъ произвольномъ смыслѣ, какъ этотъ субъектъ ихъ понимаетъ, — представляетъ собою невѣдомый x и что съ этимъ x можетъ отождествить себя всякій, кому это угодно, не говоря уже о томъ, что счастье поставлено здѣсь на ряду съ правдой и что на общество возлагается отвѣтственность и за счастье личности.

Но оставимъ въ сторонѣ эти уродливыя уклоненія индивидуализма и остановимся на его идеальномъ проявленіи. Мы имѣемъ тутъ передъ собой одну изъ самыхъ высокихъ и трудныхъ проблемъ культурной жизни, основанную на антагонизмѣ между безпредѣльностью воли и желаній лица и предѣлами, которые ему ставитъ общество. Гдѣ же выходъ изъ этого антагонизма? — Гдѣ найдутся для субъекта средства, чтобы обуздать вѣчную тревогу сердца и примириться съ преградами, на которыя онъ наталкивается? — Это средство

субъектъ, конечно, можетъ найти только въ *историческомъ принципѣ*. Только когда субъектъ пойметъ, что тотъ разумъ, который онъ признаетъ своимъ руководителемъ, лежитъ въ основаніи окружающаго его порядка, что тѣ формы, въ которыхъ онъ видѣлъ только преграды, не что иное, какъ медленно и постепенно назрѣвающія перерожденія великаго организма,—онъ охотно откажется отъ своего высокобѣрнаго, уединенія и, сохраняя свой внутренній идеализмъ, признаетъ себя живымъ членомъ, микрокосмомъ болѣе великаго цѣлаго. Не даромъ вслѣдъ за эпохой раціоналистическаго индивидуализма наступила эпоха генетическаго метода и историческаго принципа. Еще въ самомъ началѣ этой эпохи знаменитымъ государственнымъ человѣкомъ Англій, защищавшимъ право американскихъ колоній на свободу и своими сочиненіями проложившимъ путь къ научной точкѣ зрѣнія на историческое развитіе общества, было отчетливо формулировано правильное отношеніе индивидуальнаго разума къ тому великому разуму, который лежитъ въ основаніи исторической жизни народовъ. „Намъ страшно, — восклицаетъ съ ироніей Боркъ, обращаясь къ раціоналистамъ своего вѣка,—ставить людей въ необходимость существовать и жить въ обществѣ только съ тѣмъ частнымъ запасомъ разума, который выпалъ на долю каждаго; намъ страшно потому; что мы предполагаемъ, что этотъ запасъ незначителенъ въ каждомъ индивидуумѣ и что отдѣльныя лица поступили бы лучше, если бы стали всѣ вмѣстѣ пользоваться общественнымъ запасомъ и общимъ достояніемъ народовъ и вѣковъ“¹⁾. Раскрыть этотъ общій запасъ разума, накопленный народами и вѣками, есть дѣло исторической науки; а потому исторія есть лучшая нравственная школа индивидуальнаго разума. Только убѣжденіе, что развитіе человѣческихъ обществъ и историческій прогрессъ совершаются по неотъемлемымъ разумнымъ законамъ и по извѣстнымъ ступенямъ, можетъ служить для всякаго развитого индивидуума мѣриломъ при предъявленіи

¹⁾ *Burke's Works*. Ed. Bohn. Vol. II, p. 359 („*Reflexions on the Revolution of France*“).

его притязаній на извѣстное общество и заставить его не посягать на права другихъ и самого общества, основанныя на томъ же самомъ индивидуальномъ принципѣ.

Отъ прогресса въ области индивидуальной свободы перейдемъ къ прогрессу въ общественныхъ учрежденіяхъ. Въ этомъ отношеніи всякій, кто сопоставитъ политическій строй и общественный бытъ большей части европейскихъ народовъ въ половинѣ прошлаго вѣка съ современными, придетъ, конечно, къ убѣжденію, что не было въ исторіи другой эпохи, когда политическій и социальный прогрессъ совершался бы такъ быстро и такъ плодотворно отражался въ одно и то же время на жизни столь различныхъ и многочисленныхъ народовъ. Но именно эта сила и быстрота поступательнаго движенія, совершавшагося часто только на поверхности, имѣли своимъ послѣдствіемъ слишкомъ абсолютную оцѣнку политическаго прогресса вообще, а затѣмъ и увлеченіе относительно средствъ къ его достиженію. Однимъ изъ главныхъ средствъ при этомъ была политическая *теорія*, философское построеніе челоѣческаго общества на отвлеченныхъ понятіяхъ, чисто разсудочное приложеніе къ обществу великихъ началъ *свободы* и *равенства*, — однимъ словомъ, политическій раціонализмъ. Отсюда — то всеобщее, выходившее изъ всякихъ разумныхъ предѣловъ, поклоненіе раціонализму, которое и теперь такъ сильно даетъ себя чувствовать; отсюда — предрасположеніе въ обществѣ относиться чисто отвлеченно къ идеѣ политическаго и общественнаго прогресса; отсюда, наконецъ, у многихъ эта склонность слишкомъ высоко цѣнить политическія *формы* и превозносить то формы очень сложныя на счетъ болѣе простыхъ и первобытныхъ (либерализмъ), то крайне упрощенныя, непримѣнимыя къ сложному историческому организму (демократическій радикализмъ). Въ область права и политической экономіи гораздо раньше, чѣмъ въ область собственно политики, проникло сознаніе постепеннаго и обусловленнаго постоянными законами развитія, пониманіе *условнаго* значенія различныхъ ступеней и формъ. Именно сравненіе очень сложныхъ, позднихъ формъ экономической жизни съ условіями

и потребностями болѣе первобытной страны (Англии и Россіи) значительно содѣйствовало освобожденію политической экономіи отъ того отвлеченнаго догматизма, печать котораго была на нее наложена ея великимъ преобразователемъ, Адамомъ Смитомъ, а еще болѣе его школой. Извѣстный русскій государственный человѣкъ, графъ Канкринъ, одинъ изъ первыхъ выяснилъ понятіе *слагающейся* (въ экономическомъ отношеніи) *страны* (eines werdenden Landes) и по многимъ практическимъ вопросамъ обратилъ вниманіе на относительное значеніе и необходимость многихъ экономическихъ формъ и пріемовъ, признанныхъ экономической наукой *устарѣлыми* ¹⁾. Съ меньшимъ, конечно, основаніемъ такое же научно-практическое отношеніе могло бы быть примѣняемо къ политическимъ фирмамъ и общественнымъ учрежденіямъ, если бы въ этомъ случаѣ правильнымъ пріемамъ не препятствовала старая привычка разсуждать отвлеченно и руководиться одною только вѣрой въ непогрѣшимость рационалистической теоріи политическаго прогресса. И въ этомъ случаѣ мы охотно приведемъ слова Борка, какъ одного изъ первыхъ писателей, которые обсуждали вопросъ о политическомъ прогрессѣ съ исторической точки зрѣнія: „Я не постигаю, какимъ образомъ можно довести себя до такой крайней степени высокомерія, чтобы не видѣть въ своей родинѣ ничего болѣе какъ *блѣдный листъ*, на которомъ можно чертить все, что вздумается. Человѣкъ, горячо одушевленный теоретическимъ благоволеніемъ (*speculative benevolence*), можетъ желать, чтобы общество, среди котораго онъ родился, было иначе устроено, чѣмъ оно есть. Но добрый патріотъ и истинный политикъ всегда заботится о томъ, чтобы какъ возможно больше воспользоваться матеріаломъ, существующимъ въ его отечествѣ. Наклонность сохранять и способность улучшать — соединеніе этихъ двухъ свойствъ служить въ моихъ глазахъ мѣриломъ государственнаго человѣка. *Spartam nactus est, hanc exorna*“ ²⁾.

1) Рошеръ: „Исторія полит. экон.“, § 171.

2) Спарта тебѣ досталась въ удѣль, ее и украшай. *Burke*, p. 428.

MB

Еще больше, однако, поводовъ къ недоразумѣніямъ подаетъ раціоналистическое представленіе о прогрессѣ, когда оно прилагается къ области духовной культуры.

И въ этомъ случаѣ заблужденіе заключается въ преувеличенной, безусловной оцѣнкѣ *одного* изъ элементовъ историческаго прогресса. Нѣтъ сомнѣнія, что одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ цивилизаціи, особенно современной, есть *знаніе* въ реалистическомъ смыслѣ этого слова и распространеніе его въ обществѣ посредствомъ школы и чтенія. Но то великое и благотворное значеніе, которое получило съ прошлаго вѣка изученіе природы въ европейской культурѣ, не могло не породить односторонняго понятія о знаніи и слѣпое поклоненія новому кумиру. Сложилось мнѣніе, что прогрессъ въ жизни человѣчества обуславливается единственно успѣхами реального знанія и что всѣ представленія, убѣжденія и стремленія людей, которыя вытекаютъ не изъ такого знанія, только тормозъ на пути къ прогрессу. Явились попытки возвести это мнѣніе въ философскую формулу и дать ему научное основаніе; подобныя попытки вполне соответствовали извѣстной потребности общества, и потому находили въ немъ сочувственный отголосокъ. Огромный успѣхъ, который, на примѣръ, имѣло у насъ въ свое время сочиненіе Бокля, гораздо болѣе объясняется предрасположеніемъ многихъ его читателей къ проводимой имъ теоріи, вслѣдствіе сильно пробудившагося у нихъ влеченія къ знанію, чѣмъ настоящими заслугами этого ученаго труда. Теорія, видѣвшая въ знаніи *панacea*, породила все болѣе и болѣе одностороннихъ и горячихъ приверженцевъ по мѣрѣ того, какъ она попадала въ среду, слабо проникнутую знаніемъ и образованіемъ. Въ Россіи, подобно тому какъ во Франціи въ XVIII вѣкѣ, реалистическое воззрѣніе на прогрессъ нашло для себя особенно благоприятную почву, какъ по причинѣ большой потребности образованія и желанія въ обществѣ хотя бы и наскоро удовлетворить ей, такъ и вслѣдствіе общаго хода русскаго просвѣщенія и чрезвычайно важной роли, которую при этомъ играла литература. Болѣе чѣмъ гдѣ-либо просвѣщеніе раз-

вивалось въ Россіи благодаря усиліямъ правительства, проводилось извнѣ и должно было пробиваться сквозь темную среду. По той же причинѣ просвѣщеніе имѣло въ Россіи болѣе чѣмъ гдѣ-либо теоретическій, отвлеченный характеръ; общество не столько выработало, сколько вычитало его, и главною пищей для него служили при этомъ журналы и газеты. При этихъ условіяхъ раціоналистическое представле-
ніе о просвѣщеніи имѣло въ Россіи относительный смыслъ, но при незрѣлости многихъ изъ своихъ представителей вышло далеко за предѣлы разумнаго; нигдѣ не проповѣдовалась съ такимъ авторитетомъ и съ такимъ усиліемъ, какъ въ русской литературѣ, теорія, что „есть въ человѣчествѣ одно только зло—невѣжество; противъ этого зла есть только одно лѣкарство—наука“. Нигдѣ не вѣрили такъ наивно и безусловно въ золотой вѣкъ прогрессистовъ, когда настанетъ возможность „черпать науку ведрами и сороковыми бочками“ и одинаково поливать ею всѣхъ людей, какъ огородныя растенія. „Пока наука не перестанетъ быть барскою роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ cadaго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простаго мужика, — до тѣхъ поръ бѣдность и безправственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи социалистовъ“.

Неудивительно конечно, что съ такимъ взглядомъ на дѣло соединялось крайнее пренебреженіе къ вѣрованіямъ и понятіямъ народной массы, что поклонники раціоналистическаго прогресса считали себя въ правѣ презирать народное міросозерцаніе за то, что „оно находится въ самой непримиримой враждѣ со всѣми элементарными учебниками физики и географіи“. Съ ихъ точки зрѣнія народъ—„пассивный матеріалъ, надъ которымъ друзьямъ человѣчества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это—туманное пятно, изъ котораго вырабатываются новые міры,

но о которомъ теперь рѣшительно нечего говорить“. Это— „подвалъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ общечеловѣческой мысли“.

Это-то общественное зданіе, въ которомъ вырабатывается прогрессъ, представлялось фанатикамъ реального прогресса очень несложнымъ. Оно состоитъ изъ подвала и сквозной верхней галереи для печатнаго станка и горсти литераторовъ-популяризаторовъ. Все дѣло въ „книжкѣ“. „Людямъ надо доказывать, какъ можно убѣдительно, что имъ вовсе не слѣдуетъ исправляться“ и т. д. Главный совѣтъ долженъ состоять въ томъ: „Вы бы почитали книжку“,—потому что „все человѣческое благосостояніе безусловно зависитъ отъ высоты умственнаго развитія“. Мы привели эти подлинныя цитаты для того, чтобы опредѣленнѣе характеризовать направленіе, о которомъ идетъ рѣчь. Намъ нельзя возражать, что приведенныя слова были написаны болѣе десяти лѣтъ тому назадъ. Они взяты изъ книги очень распространенной и теперь еще жадно читаемой, большому распространенію которой мѣшаетъ только случайное обстоятельство. А главное дѣло въ томъ, что это направленіе остается и теперь въ полной силѣ. Хотя оно и не высказывается такъ наивно, съ такою пылкостью и юношескою незрѣлостью, какъ въ шестидесятихъ годахъ, но въ сущности оно не измѣнилось. Серьезная сторона его заключается все въ томъ же убѣжденіи, что прогрессъ безусловно зависитъ отъ умственнаго развитія, что это умственное развитіе исключительно обусловливается приобрѣтеніемъ реальныхъ знаній; а изъ этого крайне односторонняго и потому невѣрнаго положенія уже дѣлается софистическій выводъ, что *раціоналистическое* просвѣщеніе можетъ и должно быть въ одинаковой степени проводимо во всѣ слои народа и что главный культурный факторъ при этомъ заключается въ публицистикѣ.

Такое *книжное* представленіе о жизни, такая *идеологія* прогресса совершенно противорѣчатъ дѣйствительности и здравому смыслу. Мы сошлемся въ этомъ случаѣ на одного изъ соотечественниковъ Бокля, на писателя, который въ

своемъ отечествѣ всегда былъ поборникомъ *прогрессивныхъ* идей, и нерѣдко даже очень крайнихъ, но при этомъ всегда сохранялъ трезвый взглядъ на прогрессъ. Хваля Руссо за то, что онъ „среди научнаго и философскаго энтузіазма“, охватившаго въ его время Францію, отстаивалъ *истину*, Морлей формулируетъ эту истину слѣдующимъ образомъ: „Мы можемъ сказать, что это есть возможность существованія выдающихся гражданскихъ добродѣтелей въ такомъ народѣ, у котораго нѣтъ ни склонности къ наукамъ, ни знаній, ни интеллектуальной любознательности, или мы можемъ сказать, что это есть совмѣстимость общаго довольства и порядка въ извѣстномъ обществѣ съ весьма низкимъ уровнемъ знаній“. Морлей высказываетъ свое сочувствіе мысли Руссо, что „добродѣтель безъ знанія лучше, нежели знаніе безъ добродѣтели,—или что благополучіе страны зависитъ болѣе отъ пониманія общественныхъ обязанностей и отъ готовности гражданъ подчиняться имъ, нежели отъ степени умственнаго развитія и отъ степени его распространенности. Другими словами, мы должны менѣе заботиться о философской или научной любознательности народа, нежели о томъ, насколько возвышенны его понятія о гражданскихъ добродѣтеляхъ и готовъ ли онъ съ твердостью осуществлять эти понятія на практикѣ“. „Въ наше время, говоритъ далѣе Морлей, энергическіе умственные труженики слишкомъ высоко цѣнятъ то, что они вносятъ въ общій запасъ средствъ способствующихъ человѣческому счастью, и—что еще болѣе важно — цѣнятъ слишкомъ низко любовь къ порядку, скромность, самоотверженность, то-есть тѣ нравственныя качества, которыя одни только могутъ дѣлать людей лучшими и поддерживать существованіе общества“¹⁾.

Но не одинъ только здравый смыслъ возстаетъ противъ рационалистическаго представленія о прогрессѣ; къ такому же результату приводитъ и опытъ исторіи—изученіе средствъ и способовъ человѣческаго развитія. Исторія показываетъ, что про-

1) *Морлей*: «Руссо», гл. V, пер. Невѣдомскаго, стр. 100.

грессъ—явленіе чрезвычайно сложное, обусловленное взаимодействіемъ многихъ причинъ, и, во-вторыхъ, что это—прогрессъ, проходящій по извѣстнымъ ступенямъ и совершающійся постепенно. Таковъ непремѣнный ходъ развитія какъ для отдѣльнаго человѣка, такъ и для цѣлыхъ массъ людей. И если нѣкоторыя техническія свѣдѣнія и „последнія слова науки“, на вѣру усвоенныя, еще не превращаютъ дикаря въ развитого и образованнаго человѣка, то прогрессъ цѣлаго народа съ вѣковой исторической жизнью и прочно осѣвшими устоями всего быта тѣмъ менѣе зависитъ отъ искусственнаго вѣянія, которое легко можетъ быть вызвано на его поверхности.

Въ тѣсной связи съ рассмотрѣнными нами вопросами о прогрессѣ въ индивидуальной свободѣ, въ общественныхъ учрежденіяхъ и въ духовной культурѣ, находится вопросъ о самомъ способѣ развитія этого прогресса, т.-е. насколько такой процессъ долженъ имѣть характеръ самостоятельный или же допускаетъ подражаніе со стороны одного народа другому, болѣе успѣвшему. И въ этомъ отношеніи историческій методъ даетъ твердую точку опоры. Если поклонники національнаго принципа обыкновенно слишкомъ упорно держатся за него и въ вопросѣ о способѣ прогрессивнаго развитія, то приверженцы рационалистической точки зрѣнія на прогрессъ, хотя и строятъ свои идеалы и программы на основаніи общихъ началъ, однако, въ то же время любятъ опираться на примѣръ и авторитетъ другихъ странъ, выставляемыхъ образцомъ. Такимъ образомъ для французскихъ либераловъ въ XVIII вѣкѣ служила Англія, а для нѣмецкихъ либераловъ 30 и 40 годовъ современная имъ Франція. Вслѣдствіе этого либерализмъ на европейскомъ материкѣ, съ своей теоретической стороны отличавшійся постоянною склонностью къ обобщеніямъ и чисто разсудочной оцѣнкѣ политическихъ формъ, въ практической жизни представлялся большею частью направленіемъ *подражательнымъ*. Такое подражаніе давало на практикѣ очень различные результаты: такъ, на примѣръ, заимствованный Франціей изъ Англіи въ концѣ прошлаго вѣка судъ присяжныхъ быстро принялся и сдѣлался, такъ сказать, орга-

ническимъ учрежденіемъ страны; заимствованіе же конституціоннаго механизма съ безотвѣтственнымъ королемъ и двумя палатами—наслѣдственныхъ и выборныхъ представителей— встрѣтило, какъ извѣстно, непреодолимая препятствія, какъ при Людовикѣ XVI, такъ и въ двухъ попыткахъ примѣнить эту политическую форму во Франціи, сдѣланныхъ въ XIX вѣкѣ.

При различныхъ неудачахъ, постигавшихъ подобныя попытки заимствованія, обыкновенно обнаруживались два легко понятныхъ недостатка со стороны людей, проводившихъ или отстаивавшихъ заимствованныя формы: во-первыхъ, плохое знакомство съ условіями и потребностями родной страны, съ настроеніемъ *дѣйствительнаго* общественнаго мнѣнія, съ историческимъ прошедшимъ страны, насколько оно вліяло на современное ея положеніе, и, наконецъ, даже съ сущностью предлагаемыхъ къ заимствованію учреждений и настоящимъ положеніемъ ихъ въ той самой странѣ, откуда они почерпались. Эти недостатки обнаружили поразительнымъ образомъ не только со стороны людей, пытавшихся въ 1789 году перенести во Францію англійскій конституціонный механизмъ (Мунье и др.), но и въ XIX вѣкѣ въ различныхъ фракціяхъ конституціонной партіи во Франціи.

Совершенно аналогическое явленіе представляетъ намъ и исторія Германіи со времени ея освобожденія отъ владычества Наполеона. Эта исторія ясно показываетъ, какимъ образомъ „національная идея“, столь сильно пробужденная войной за освобожденіе, утратила подъ собой почву и вліяніе надъ обществомъ вслѣдствіе союза главныхъ ея представителей—романтиковъ съ вождями и приверженцами реакціи, начавшейся съ Вѣнскаго конгресса, и вслѣдствіе совершеннаго непониманія со стороны романтиковъ либеральныхъ потребностей въ нѣмецкомъ обществѣ. Но та же исторія Германіи представляетъ въ ту же эпоху въ либерализмѣ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ примѣръ направленія, впадавшаго въ ошибку, вслѣдствіе своей беспочвенной подражательности.

Вслѣдствіе единства общечеловѣческаго прогресса и преемственности въ исторіи культурныхъ народовъ подражаніе и подчиненіе чужому вліянію является однимъ изъ главныхъ элементовъ цивилизаціи. Исторія не въ состояніи открыть первоначальные источники теперешней европейской цивилизаціи, и первые культурные народы, которыхъ она знаетъ, вѣроятно, уже успѣли заимствовать у своихъ предшественниковъ нѣкоторые элементы своей культуры. Съ тѣхъ поръ цѣпь подражаній идетъ непрерывно: греки получили сѣмена своей культуры съ Востока и воспитали римлянъ; римляне сдѣлались учителями Западной Европы и т. д. Народы, занимающіе высокую культурную ступень, открыто сознаются въ томъ, какъ многимъ они обязаны другимъ. Одинъ изъ главныхъ представителей юридической науки въ Германіи недавно заявилъ: „Путемъ нашего законодательства мы приняли у себя французское государственное устройство, французское уголовное право, французское судоустройство и судопроизводство, хотя и съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, и подготовляемый сводъ гражданскаго права Германской имперіи, вѣроятно, будетъ во многихъ отношеніяхъ носить на себѣ слѣды французскаго Code Civil“ *).

Съ другой стороны, нужно имѣть въ виду, что не всякое заимствованіе есть только подражаніе и что не всѣ плоды чужеземнаго вліянія слѣдуетъ признавать чужими. Доступность чужеземному вліянію бываетъ иногда только признакомъ того, что въ народѣ начинаютъ проявляться новыя потребности, и когда старыя формы и понятія отжили свое время и потеряли значеніе, а новыя еще не выработались, общество жадно хватается за готовыя формы и понятія, которыя находитъ у другихъ народовъ, и съ ихъ помощью совершаетъ переходъ на новую ступень развитія. Такимъ образомъ, напримѣръ, такъ-называемая *рецепція* римскаго права въ Германіи въ XV вѣкѣ не представляетъ собой простаго подражанія Италіи или древнему Риму; въ тогдаш-

*) Sohm. Zeitsch. d. Savigny Stift, т. I, p. 84.

ней Германіи совершался переходъ отъ феодальнаго устройства къ государственному, отъ сословныхъ и корпоративныхъ формъ въ администраціи и судѣ къ бюрократическимъ; это стремленіе нашло себѣ полное удовлетвореніе въ формахъ римскаго права, и послѣднее стало быстро вытѣснять старое германское право повсюду, гдѣ новая государственная власть успѣла окрѣпнуть. Подобнымъ образомъ, когда полицейское государство, искоренивъ остатки феодальной старины, очистило почву отъ мѣстныхъ и сословныхъ преградъ и слило населеніе въ безразличную массу гражданъ, въ этой массѣ проявилась потребность образовать изъ себя новыя органическія формы, и эта потребность привела къ подражанію англійскимъ и французскимъ учрежденіямъ.

Вслѣдствіе всего этого аргументація, исходящая изъ начала *самобытности*, для того, чтобы бороться противъ подражанія чужимъ формамъ и понятіямъ, не имѣетъ сама по себѣ серьезнаго значенія; она можетъ получить такое значеніе только въ союзѣ съ научнымъ историческимъ методомъ. Возражать противъ заимствованій, противъ чужихъ формъ и отношеній можно только въ такомъ случаѣ, когда извращается самое понятіе о цивилизаціи и прогрессѣ и подъ ихъ покровомъ превозносятся скороспѣлые плоды современнаго прогресса или даже отбросы, падающіе съ трапезы цивилизованныхъ народовъ. А помимо этого возраженіе противъ заимствованій чужого имѣетъ тогда только смыслъ, когда заимствованіе находится въ противорѣчьи съ понятіемъ органическаго развитія народной жизни, когда есть основаніе думать, что привитая вѣтка дастъ только пустоцвѣтъ и напрасно притянетъ къ себѣ соки, необходимые для питанія цѣлага. Отсюда слѣдуетъ, что какъ въ теоретическихъ вопросахъ, такъ и въ практическихъ, выходящихъ изъ области литературы на почву публицистики и общественной жизни, — въ вопросахъ, около которыхъ поэтому группируются не только литературные кружки и школы, но и политическія партіи, — критическимъ мѣриломъ и примиряющимъ началомъ является историческій принципъ.

Предшествовавшее наше изложеніе имѣло цѣлью доказать, что различныя направленія въ вопросѣ о народности и о прогрессѣ впадаютъ въ заблужденіе именно по мѣрѣ того, какъ они удаляются отъ историческаго взгляда на предметъ и отъ примѣненія историческаго метода къ явленіямъ народной жизни и прогресса. Поэтому къ историческому методу должны прибѣгать за руководствомъ тѣ, кто, исходя изъ уваженія ко всему индивидуальному и своеобразному, ко всему искони сложившемуся въ народной жизни, преимущественно склонны сохранять неприкосновеннымъ все, что ими признается народнымъ. А съ другой стороны, историческій принципъ долженъ служить нормой и для тѣхъ, которые видятъ національный интересъ въ возможно быстромъ усвоеніи всего, что признается необходимымъ требованіемъ прогресса и продуктомъ культуры и при опредѣленіи этого руководятся преимущественно общими началами и изученіемъ современныхъ культурныхъ теченій.

Историческій взглядъ признаетъ народъ за организмъ и въ силу этого вмѣщаетъ въ себѣ оба начала, проявляющіяся въ исторической жизни политическихъ организмовъ вообще, а слѣдовательно и народностей,—какъ начало прогресса, т.-е. дальнѣйшаго роста по общимъ законамъ, такъ и начало органическаго развитія, т.-е. развитія изъ самого себя съ сохраненіемъ своего индивидуальнаго, своеобразнаго характера. Историческій взглядъ на предметъ не даетъ, конечно, готовыхъ отвѣтовъ на вопросы, которые ставятся практической жизнью, но онъ представляетъ твердую почву для разрѣшенія ихъ; онъ можетъ служить лучшимъ средствомъ для того, чтобы сознательно отнестись къ нимъ и такимъ образомъ быть регуляторомъ для здраваго общественнаго мнѣнія. Для того, однако, чтобы въ обществѣ установился правильный взглядъ на такіе существенные интересы, какіе связаны съ представленіями о народѣ, о народности и о прогрессѣ въ народной жизни, необходимо прежде всего, чтобы между образованными людьми распространилось знакомство съ исторіей этихъ вопросовъ и съ постановкой ихъ въ различныхъ

европейскихъ литературахъ. При изслѣдованіи внутренней жизни извѣстнаго народа всего поучительнѣе сравненіе ея съ ходомъ развитія другихъ народовъ; при оцѣнкѣ литературныхъ произведеній и типовъ необходимѣе всего сравнительное изученіе; для устранения заблужденій, предразсудковъ и ложныхъ теорій относительно современныхъ вопросовъ ничто такъ не полезно, какъ знакомство съ причинами, вызвавшими подобныя явленія въ другихъ обществахъ; а въ дѣлѣ фантастическихъ мечтаній о народѣ и народности ничто такъ не отрезвляеть, какъ убѣжденіе, что и другіе увлекались подобнымъ же образомъ.

Содѣйствовать въ нѣкоторой мѣрѣ въ кругу читателей распространенію историческихъ свѣдѣній по вопросу о народѣ и народности въ иностранныхъ литературахъ есть цѣль предположенныхъ нами очерковъ. О томъ значеніи, которое имѣютъ для насъ такія свѣдѣнія, слишкомъ часто забываютъ въ послѣднее время. Къ какимъ недоразумѣніямъ это нерѣдко подаютъ поводъ, мы пояснимъ слѣдующимъ примѣромъ.

Покойный Ф. М. Достоевскій въ своей извѣстной рѣчи, произнесенной на юбилеѣ Пушкина, между прочимъ заявилъ, что Пушкинъ въ Алеко „отыскалъ и геніально отмѣтилъ того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ“ *). Сущность высказанной здѣсь мысли Достоевскаго заключается въ томъ, что „скитальчество“ Алеко и подобныхъ ему типовъ обусловлено раздвоеніемъ русскаго народа, которое вызвано Петровскою реформой и „европейскимъ“ направленіемъ „русской интеллигенціи, оторвавшейся отъ народа“. Пушкину ставится въ заслугу, что онъ первый „отыскалъ и отмѣтилъ главнѣйшее и болѣзненное явленіе нашего интеллигентнаго, исторически оторваннаго отъ почвы общества, возвысившагося надъ народомъ“. Правда, Достоевскій при этомъ вскользь и какъ бы нехотя намекнулъ на то, что типъ Алеко заимство-

*) „Дневникъ писателя“. Выпускъ 1880 г., стр. 9.

ванъ изъ иностранной литературы. Пушкинъ, — замѣчаетъ онъ, — „отыскалъ же его, конечно, не у Байрона только“; а въ другомъ мѣстѣ о характерѣ Алеко сказано: „Тутъ есть немножко Жанъ-Жакъ Руссо“. Несмотря на это, однако, вездѣ проводится основная мысль, что типъ Алеко есть выраженіе разлада, проявившагося въ русскомъ обществѣ, вслѣдствіе отдѣленія интеллигенціи отъ народа. „Типъ этотъ вѣрный, — сказано у Достоевскаго, — и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей русской землѣ, поселившійся“. Человѣкъ этотъ, говорится дальше, зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой Петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. Такое объясненіе типа Алеко, возводившее Пушкина въ родоначальника того направленія, котораго держался Достоевскій, встрѣтило возраженіе, между прочимъ, и со стороны проф. Градовскаго.

Въ статьѣ г. Градовскаго (помѣщенной въ 174 № *Голоса*) высказано — краснорѣчиво и убѣдительно — много дѣльныхъ замѣчаній о направленіи знаменитаго романиста, но относительно Алеко тамъ проводится взглядъ почти столь же парадоксальный и также навѣенный потребностью минуты, какъ и взглядъ Достоевскаго, сдѣлавшаго изъ Алеко перваго славянофила. Упрекая Достоевскаго въ томъ, что онъ не даль типамъ Пушкина „полнаго объясненія именно потому, что связалъ ихъ не со всѣмъ послѣдующимъ движеніемъ нашей литературы, а исключительно съ своимъ міросозерцаніемъ“, г. Градовскій впалъ въ ту же крайность. Связавъ Алеко съ извѣстнымъ рядомъ позднѣйшихъ литературныхъ типовъ, критикъ подводитъ ихъ подъ одинъ общій знаменатель и объясняетъ ихъ одной общею причиною. Такимъ образомъ г. Градовскій приходитъ къ выводу, что причину того, „отчего бѣжалъ къ цыганамъ Алеко, должно искать не въ однихъ личныхъ качествахъ скитальцевъ, а въ качествахъ *общественныхъ учреждений* прежняго времени“. — А въ другомъ мѣстѣ даже эти личные качества: „значительная доля гордости“ и „великая доза себялюбія“ — сводятся на тѣ же

общественныя учрежденія, признаются ихъ *результатами*. „Гордость и себялюбіе,—сказано у г. Градовскаго,—не были ихъ первоначальными грѣхами (Алеко и другихъ скитальцевъ), не были и первою причиною ихъ скитальчества физическаго или духовнаго. Совершенно напротивъ: гордость и себялюбіе явились результатомъ ихъ отчужденія, долговременнаго отрицательнаго отношенія ко всему окружавшему, плодомъ ихъ одиночества“. Отрицательное же отношеніе скитальцевъ „къ явленіямъ русской жизни“, какъ и подобное отрицательное отношеніе „просвѣщенной части русскаго общества“, объясняется неприглядною дѣйствительностью, которую, напримѣръ, такъ вѣрно изобразилъ Гоголь.

Въ своемъ отвѣтѣ на возраженіе проф. Градовскаго Достоевскій очень мѣтко опровергнулъ мнѣніе, будто бы Алеко искалъ убѣжища у цыганъ отъ гражданской скорби, вызванной тогдашними общественными учрежденіями, что онъ бѣжалъ въ степь отъ „Дмухановскаго и Держиморды“; но издатель „Дневника писателя“ уже вовсе не коснулся существенной стороны вопроса, а именно, что происхожденія разбираемаго типа нужно прежде всего искать въ общихъ теченіяхъ европейской литературы.

Объ этомъ искусственномъ истолкованіи поэмы „Цыгане“, объ этомъ произвольномъ искаженіи ея главнаго типа пожалѣть, конечно, всякій, кому имя Алеко живо напоминаетъ одну изъ прелестнѣйшихъ картинъ, созданныхъ поэтомъ,—всякій, кто находился когда-либо подъ обаяніемъ его чуднаго стиха. Въ этомъ гармоническомъ аккордѣ Пушкинской лиры всякій образованный читатель отчетливо отличить ноты, которыя въ разныхъ сочетаніяхъ и тонахъ громко звучали во всѣхъ современныхъ Пушкину европейскихъ литературахъ. Въ героѣ „Цыганъ“ слабѣе всего слышится звукъ, составляющій основную ноту другихъ аналогическихъ произведеній того времени, едва намѣчена идея разрыва героя съ обществомъ („его преслѣдуетъ законъ“, говоритъ цыганка; „добровольнымъ“ называетъ свое изгнаніе Алеко); точно также мимоходомъ, едва задѣта и другая струна, такъ сильно

звучавшая у многихъ предшественниковъ и современниковъ Пушкина—меланхолия, тайная необъяснимая грусть. Гораздо рѣзче выступаетъ въ героѣ черта, не имѣющая ничего общаго съ гражданскою скорбью,—черта, которою отмѣчено столько *генийевъ* и *геніальныхъ типовъ*, созданныхъ поэтами въ первой четверти нашего вѣка,—жажда „волшебной славы“ и вмѣстѣ съ тѣмъ гордое разочарованіе въ ней и скорбь объ ея суетности.

Скажи мнѣ, что такое слава?—
Могильный гулъ, хвалебный гласъ,
Изъ рода въ роды звукъ бѣгущій...

Но настоящій характеръ героя можетъ быть понятъ только въ связи съ картиной, изъ которой онъ выступаетъ, а фонъ этой картины составляетъ гармоническій контрастъ между вольною степью „съ вешнимъ запахомъ луговъ“ и „неволей душныхъ городовъ“, между бродячей бѣдностью, волей кочевниковъ и „мертвой нѣгой и жизнью праздною“,—контрастъ между страстной, близкой къ природѣ, дикаркой и дѣвами въ „нарядахъ дорогихъ“, между жизнью среди дикарей и въ цивилизованномъ обществѣ, гдѣ

Любви стыдятся, мысли гонять,
Торгуютъ волею своею...

Этотъ контрастъ получаетъ, наконецъ, особенную окраску, ясно выдающую его происхожденіе—вслѣдствіе противоположенія между мирнымъ забвеніемъ челоуѣка, „презрѣвшаго оковы просвѣщенія“ и вернувшагося къ природѣ, и „пресыщеніемъ пышной суетой наукъ“. Однако для довершенія поэтической картины, представляемой „Цыганами“, нужно имѣть въ виду, что господствующій мотивъ въ поэмѣ, преобладающій надъ всѣми другими мотивами, есть *страсть*, — любовная страсть со всѣмъ ея блаженствомъ и со всѣми мученіями ревности и злобы, страсть со всѣмъ жгучимъ пыломъ ея, какой могла почувствовать и изобразить душа 25-лѣтняго поэта. Страсть смущаетъ „сердечную лѣнь“ героя, волненія страсти измучили его грудь, усмиренія ихъ онъ ищетъ въ вольной степи; но

здѣсь они снова просыпаются, и въ таборѣ цыганъ онъ опять подпадаетъ ихъ власти.

Мы не имѣли здѣсь въ виду подробно входить въ анализъ Пушкинской поэмы. Это потребовало бы отдѣльнаго очерка, въ которомъ пришлось бы точнѣе разграничить три элемента, слившіеся въ поэмѣ: *индивидуальный*, внесенный туда личностью поэта и его личнымъ положеніемъ, затѣмъ *общественный*, — насколько на поэмѣ отразилось положеніе и настроеніе русскаго общества того времени, — и, наконецъ, элементъ *литературный* и *культурный*, то-есть вліяніе, оказанное на поэта обще-европейскою литературой. Все это — дѣло біографовъ Пушкина, и мы можемъ для примѣра сослаться въ этомъ отношеніи на біографію Пушкина, составленную В. Я. Стоюнинымъ. Указавъ, какъ работала фантазія поэта подъ впечатлѣніями его собственной жизни, а съ другой стороны, на сочувственный откликъ Пушкина голосу Байрона, біографъ приходитъ къ заключенію, что „отъ всего этого Алеко не переработался въ чистый типъ, который бы можно было объяснить русскою историческою жизнью“ *). Такое опредѣленіе, конечно, гораздо ближе къ истинѣ, чѣмъ попытки объяснить поэму Пушкина литературными тенденціями, возникшими позднѣе. Вся полемика, которой мы коснулись, исключительно вращалась около того, за какимъ изъ двухъ современныхъ литературныхъ направленій, столк-

*) *Истор. Вѣст.* 1880 г. авг., стр. 642. Мы позволимъ себѣ сдѣлать по этому поводу одну оговорку. Намъ кажется, что въ главѣ объ Алеко почтенный біографъ былъ недостаточно послѣдователенъ. Пренебреженіе Алеко „къ оковамъ просвѣщенія“ онъ объясняетъ жизнью русскаго дворянскаго общества. „Ему было легко сдѣлаться дикаремъ, — говоритъ г. Стоюнинъ, — потому что то просвѣщеніе, отъ котораго онъ отрекся, было просвѣщеніе большинства русскихъ дворянъ“ и т. д. Тутъ дано слишкомъ много значенія мѣстному вліянію. Вѣдь мысль освободиться отъ оковъ просвѣщенія (т.-е. цивилизаціи) возникла не въ средѣ русскаго дворянства и даже не у аристократическихъ поэтовъ Франціи и Англіи (Шатобріана и Байрона); первымъ ея провозвѣстникомъ былъ упомянутый г. Стоюнинымъ *Женевскій гражданинъ*, ополчившійся противъ жизни „цивилизованно-дворянскаго общества“.

нувшихъ по вопросу о Пушкинѣ, останется право провозгласить Пушкина своимъ родоначальникомъ и воспользоваться его авторитетомъ для своего торжества. Такой характеръ полемики и такая вообще постановка вопроса объ общественномъ значеніи поэтическаго творчества Пушкина были невозможны, если бы спорящія стороны приняли во вниманіе исторію европейской литературы со включеніемъ русской, и при установленіи „народной правды“ или, съ другой стороны, „гражданской правды“ позаботились бы прежде всего о томъ, чтобы не нарушать дѣйствительной или фактической правды. Подобнымъ образомъ могли бы быть устранены многія недоразумѣнія и излишніе споры о народности и связанныхъ съ этимъ принципомъ вопросахъ, еслибы исторія этого принципа и его появленія въ литературѣ различныхъ европейскихъ народовъ были болѣе извѣстны. Особенно поучительна въ этомъ случаѣ исторія литературы и отношенія ея къ вопросу о народности въ двухъ европейскихъ странахъ—во Франціи и Германіи. Въ первой вопросъ о народѣ и народности разрабатывался тѣмъ съ большею страстностью и односторонностью, что различныя теоретическія направленія въ этомъ вопросѣ часто находили себѣ непосредственное приложеніе къ политической жизни или вытекали изъ нея. Въ Германіи различныя взгляды на этотъ предметъ проводились большею частью въ области философіи и поэзіи, въ эстетической критикѣ и въ наукѣ, и рѣже примыкали къ практическимъ интересамъ различныхъ политическихъ партій. Въ виду того, что проявлявшіяся во французской литературѣ и исторіографіи представленія о народѣ и народности преимущественно нуждаются въ критической провѣркѣ и особенно интересны для русскихъ читателей по причинѣ глубокаго и постояннаго вліянія, которое французская литература имѣла на русское общество, мы избрали ихъ предметомъ нашего изученія, съ указанной нами точки зрѣнія.

Понятіе о народѣ у Руссо ¹⁾.

Qui dit le peuple, dit plus d'une chose: c'est une vaste expression; et l'on s'étonnerait de voir ce qu'elle embrasse et jusqu'où elle s'étend. *La Bruyère.*

Съ половины прошлаго вѣка слово *народъ* получило новое значеніе и особый интересъ для французскаго общества, — конечно, преимущественно для той его части, которая находилась подъ вліяніемъ современной литературы. Возникшія и установившіяся тогда *новыя* представленія о *народѣ* служили отраженіемъ распространившихся въ тогдашнемъ обществѣ политическихъ понятій и потребностей, а съ другой стороны, эти представленія въ свою очередь сдѣлались могущественнымъ проводникомъ новыхъ идей и исходною точкою новыхъ общественныхъ стремленій. Поэтому изучить происхожденіе того общаго понятія о *народѣ*, которое тогда сложилось въ языкѣ и въ литературѣ Франціи — значитъ познаться съ условіями, при которыхъ совершалось развитіе духовной культуры и политической жизни Франціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлялось и направленіе, которое получило это развитіе подъ вліяніемъ общественныхъ стремленій и наиболее популярныхъ писателей. А такъ какъ французское образованіе и литература Франціи были далеко распространены за ея предѣлами, то исторія понятія о *народѣ*, установившагося во французскомъ обществѣ, представляетъ непосредственный интересъ при изученіи духовной жизни другихъ европейскихъ народовъ и многое въ ней можетъ объяснить.

¹⁾ *Прим.* Напечатано въ журн. «Русская Мысль» 1882. № 5 и 8.

Очеркъ исторіи въ предѣлахъ Франціи этого важнаго, можно сказать, преобладающаго понятія, нужно начать съ Руссо. Различныя направленія мысли, пробудившіяся во французскомъ обществѣ XVIII вѣка по отношенію къ понятію о народѣ, всё какъ бы сходятся и сосредоточиваются въ Руссо, получаютъ особый отпечатокъ и животрепещущій интересъ подъ вліяніемъ чуткой субъективности и литературнаго таланта этого писателя, кристаллизуются и отчеканиваются въ его произведеніяхъ и отсюда быстро расходятся и глубоко проникаютъ въ различные слои французскаго общества. Руссо можно поэтому считать въ извѣстномъ смыслѣ родоначальникомъ различныхъ представленій о народѣ во французской литературѣ, и хотя тѣ школы или направленія въ вопросѣ о народѣ, которыя намъ придется различать, не всё въ одинаковой степени могутъ быть произведены отъ Руссо, но для всёхъ ихъ можно найти основаніе въ его сочиненіяхъ, и только у него одного эти отчасти противоположныя направленія, хотя они и не связаны органически въ одной теоріи, объединены и сведены къ одному центру разнообразными потребностями одной личности и различными оттѣнками одного индивидуальнаго творчества.

Если мы разсмотримъ культурные элементы, подъ вліяніемъ которыхъ сложилось преобладавшее во французскомъ обществѣ и у Руссо представленіе о народѣ, то мы на первомъ мѣстѣ встрѣтимъ *раціонализмъ*. Раціонализмъ достигъ около половины XVIII вѣка своего крайняго развитія въ Европѣ и невозбранно господствовалъ въ философіи и въ богословіи, въ религіозныхъ понятіяхъ и научномъ методѣ, въ политическихъ ученіяхъ и въ житейской мудрости. Слѣдствіемъ этого было одностороннее превознесеніе разума и дедукціи, разсудочности въ оцѣнкѣ всякихъ явленій, не исключая нравственныхъ, склонность къ обобщеніямъ и общимъ мыслямъ, пристрастіе къ отвлеченію и отвлеченнымъ представленіямъ. Даже въ Англіи, странѣ, въ исторической своей жизни всегда руководившейся преданіемъ, въ правѣ — прецедентами, въ наукѣ и въ жизни — *эмпиріей*, раціонализмъ былъ такъ си-

лень, что установить на время преобладаніе *естественнаго разума* въ вопросахъ вѣры и въ богословской наукѣ, а въ области политической мысли создать знаменитую попытку Локка — путемъ разсудочной дедукціи оправдать установленный переворотомъ 1688 года государственный строй, и вмѣстѣ съ тѣмъ основать на выводахъ отвлеченнаго разума дальнѣйшее развитіе гражданской и религіозной свободы. Раціонализмъ такимъ образомъ вовсе не былъ исключительно французскимъ явленіемъ, и невниманіе къ обще-европейскому происхожденію и значенію раціонализма можетъ повлечь за собою одностороннюю оцѣнку его, какую, напримѣръ, заключаетъ въ себѣ извѣстное сочиненіе Тэна о „Старомъ порядкѣ“ во Франціи. Но нѣтъ сомнѣнія, что раціонализмъ проявлялся во Франціи съ особенною послѣдовательностью и безошадною логикой и что онъ нигдѣ не находилъ столько благопріятныхъ условій для своего развитія и не сросся столькими корнями съ обществомъ. Францію можно считать родиной раціонализма. Новая европейская философія начинается съ картезіанизма, а это ученіе явилось во Франціи и долго сохраняло во французскихъ школахъ абсолютное господство. Исходною же точкой Декарта есть чистая мысль—*cogito, ergo sum*. Чтобы привести себя въ состояніе, при которомъ возможно правильное философствованіе, мыслитель долженъ, по ученію Декарта, отвлечь свое вниманіе отъ всего окружающаго міра, долженъ забыть все, что онъ вынесъ изъ непровѣреннаго мыслью опыта, долженъ порвать всякую связь съ преданіемъ, подвергнуть сомнѣнію всѣ положенія и убѣжденія, которыя онъ усвоилъ себѣ подъ вліяніемъ воспитанія и авторитета другихъ. Освободивши такимъ образомъ свой разумъ отъ всего, что ему служило помѣхой и отправляясь отъ самосознанія въ самой простой и чистой его формѣ: „я мыслю, потому я есмь“, — человекъ долженъ, идя путемъ логики и отвлеченнаго размышленія, перестроить свой внутренній міръ. Такимъ путемъ онъ придетъ прежде всего къ незыблемому понятію о Богѣ и пойметъ тогда дѣйствительный конкретный міръ въ его истинномъ значеніи и смыслѣ.

Въ теченіе цѣлаго вѣка всѣ серьезно образованные французы проходили черезъ школу картезіанизма и усвоивали себѣ привычку къ отвлеченному разсужденію и наклонность провѣрять конкретную дѣйствительность требованіями отвлеченнаго, на самомъ же дѣлѣ не рѣдко крайне субъективнаго разума. Но ту же тенденцію проводила во французское общество и самая дѣйствительность, насколько она находилась подъ вліяніемъ общаго направленія государственной жизни. Политическое развитіе Франціи представляетъ почти съ самаго возникновенія государства чрезвычайно рѣзко проявившееся стремленіе отъ мѣстной обособленности къ общему однообразію и отъ мѣстной и сословной автономіи къ подчиненію общему порядку.

Чѣмъ сильнѣе были мѣстные и индивидуальныя элементы, чѣмъ дольше затягивалась борьба, тѣмъ отвлеченнѣе сознавалась идея государства и тѣмъ рѣзче формулировались требованія, выставляемыя отъ его имени. Уже давно проводники идеи государственнаго порядка, легисты, боролись съ феодальной автономіей, съ мѣстными и сословными привилегіями во имя общаго *разума* и представляли естественно-историческій процессъ образованія государства и развитія государственной (монархической) власти, какъ торжество разумной идеи надъ неразумной дѣйствительностью. Правительственная централизація достигла въ XVIII вѣкѣ уже значительныхъ успѣховъ, и, подводя повсюду, насколько это было возможно, мѣстную жизнь подъ общій уровень, она приучала французское общество относиться съ пренебреженіемъ къ старымъ историческимъ формамъ и прилагать къ нимъ однообразныя общія нормы. Указавши на вліяніе философскаго метода и государственной политики, мы можемъ не останавливаться на второстепенныхъ причинахъ, содѣйствовавшихъ развитію раціонализма во французскомъ обществѣ. Сюда можно причислить характеръ воспитанія и преподаванія какъ въ среднихъ, такъ и въ высшихъ школахъ Франціи, гдѣ до конца прошлаго вѣка исключительно господствовалъ методъ формальнаго и риторическаго развитія и поэтому даже изу-

ченіе классическихъ языковъ и литературы содѣйствовало рационалистическому и отвлеченному взгляду на жизнь. Сюда же можно еще отнести вліяніе *салоновъ*, гдѣ люди преимущественно только литературно образованные привыкали обсуждать въ остроумной бесѣдѣ всевозможные общественные и политическіе вопросы подѣ впечатлѣніемъ новой книги и послѣдней театральной пьесы. Здѣсь, наконецъ, можно еще упомянуть объ извѣстной національной чертѣ французовъ, унаслѣдованной ими еще отъ галловъ, о ихъ склонности и способности къ краснорѣчію и къ ораторскимъ приемамъ, съ которыми тѣсно связана привычка къ обобщеніямъ и отвлеченному отношенію къ дѣйствительности.

При такомъ всеобщемъ расположеніи къ рационалистическимъ воззрѣніямъ, французское общество, совершенно отрѣшенное отъ всякаго практическаго знакомства съ государственною жизнью, сдѣлалось особенно доступнымъ рационализму въ политическихъ понятіяхъ. Его занимали самыя общіе вопросы о правахъ чловѣка въ государствѣ, о происхожденіи и сущности государства, законовъ и правительства, и всѣ эти вопросы разрѣшались въ самомъ рационалистическомъ духѣ. Исходнымъ пунктомъ для всѣхъ политическихъ разсужденій было понятіе о *человѣкѣ*. Древніе римляне строго различали чловѣка отъ гражданина и противоплапали одно понятіе другому. *Человѣкъ вообще* въ ихъ глазахъ не былъ облеченъ никакими правами въ государствѣ; извѣстныя политическія права и полномочія были принадлежностью только гражданина, т. е. такого чловѣка, который, по своему происхожденію или въ силу какого-нибудь юридическаго или политическаго акта, становился членомъ какого-нибудь извѣстнаго опредѣленнаго государства. Французы XVIII вѣка, поступая совершенно наоборотъ, отождествляли понятія чловѣка и гражданина, видѣли въ каждомъ чловѣкѣ *гражданина* вообще независимо отъ мѣстныхъ и историческихъ условій его жизни. Такое понятіе о чловѣкѣ - гражданинѣ не было заимствовано ни изъ опыта, представляемаго прошедшимъ, т. е. изъ исторіи, ни изъ наблюденій надъ настоящимъ. Фран-

цузское общество съ увлеченіемъ усвоило себѣ идею о чело-
вѣкѣ вообще, о челоѣкѣ, отвлеченномъ отъ всего, что
налагается на него извѣстною эпохой или бытомъ, отъ всѣхъ
свойствъ и наклонностей, унаслѣдованныхъ отъ семьи и
племени, отъ всякаго индивидуальнаго склада, обусловлен-
наго воспитаніемъ, занятіемъ и степенью развитія. Этотъ-то
отвлеченный челоѣкѣ сдѣлался предметомъ психологическаго
анализа и точкой отправленія для политическихъ соображеній;
задача заключалась лишь въ томъ, чтобы опредѣлить его
права въ общежитіи и формулировать необходимыя для нихъ
гарантіи.

Вмѣстѣ съ установленіемъ основнаго политическаго по-
нятія о *челоѣкѣ* было дано и опредѣленіе государства,—оно
представлялось союзомъ людей, основаннымъ на доброволь-
номъ соглашеніи для личныхъ цѣлей. Въ основаніе государ-
ства была положена идея *общественнаго договора*. Челоѣкѣ,
по теоріи общественнаго договора, въ *естественномъ состоя-
ніи* обладаетъ всѣми правами личности и полною свободой
воли. Вступая въ общежитіе съ другими подобными себѣ лич-
ностями, онъ отрывается въ пользу общую отъ своихъ правъ
и отъ своей воли. Изъ этого сліянія единичныхъ волей со-
здается общая воля. Этой общею волей обуславливается возник-
новеніе народовъ и государствъ. Всякая группа или сумма
людей, перешедшихъ отъ естественнаго состоянія къ общежи-
тію вслѣдствіе добровольнаго соглашенія, представляетъ собой
народъ. Такимъ образомъ народы возникаютъ и существуютъ
лишь вслѣдствіе сознательнаго и произвольнаго заявленія
лицъ, изъ которыхъ они состоятъ; съ прекращеніемъ договора,
съ исчезновеніемъ общей воли, которою держится договоръ,
уничтожается и народъ, подобно тому, какъ перестаетъ су-
ществовать число, разложенное на первоначальныя единицы.
Такъ - же искусственно и случайно представляется по этой
теоріи возникновеніе и существованіе государства. Какъ и
самый народъ, оно существуетъ лишь въ силу общей воли;
этою волей поэтому обуславливаются его формы, его основныя
законы и самое его существованіе. Какую бы систему упра-

влянія ни усвоило себѣ государство въ силу историческихъ обстоятельствъ, источникъ государственной власти всегда коренится въ первоначальной общей волѣ, и форма ея всегда должна сообразоваться съ послѣдней. Такова въ самыхъ общихъ чертахъ рационалистическая теорія о государствахъ, господствовавшая въ XVIII вѣкѣ и получившая самое рѣзкое и догматическое выраженіе свое въ сочиненіи Руссо— „Общественный договор“.—Прежде, чѣмъ мы коснемся подробнѣе вліянія, которое должна была имѣть эта теорія на представленіе о народѣ, мы должны указать на политическія причины, которыми объясняется необыкновенный и непонятный успѣхъ этой теоріи, а также практическое значеніе ея для французскаго общества въ XVIII вѣкѣ. Эти причины заключались въ политическомъ антагонизмѣ между различными составными частями общества, а также между обществомъ и правительствомъ, и въ глубокой, слишкомъ долго задержанной потребности существенныхъ преобразованій.

Королевская власть, создавшая французское государство, и вмѣстѣ съ нимъ въ извѣстномъ смыслѣ французскій народъ, остановилась въ XVIII вѣкѣ на своемъ пути. Она была слишкомъ связана феодальнымъ преданіемъ, уваженіемъ къ идеѣ легитимизма, вліяніемъ аристократіи и особенно авторитетомъ католической церкви, чтобы довершить построеніе государства и объединеніе народа, подготовленныя ею въ теченіе предшествовавшихъ вѣковъ. Между тѣмъ идея національнаго и государственнаго единства продолжала созрѣвать подъ вліяніемъ централизующей администраціи, и потребности общества во многомъ опередили дѣятельность правительства. Особенно въ области сословныхъ отношеній чувствовалось рѣзкое противорѣчіе между старыми формами и новыми понятіями. Феодальная аристократія Франціи—какъ свѣтская, такъ и духовная—давно утратила свое мѣстное господство и свою автономію по отношенію къ королевской власти, но сохранила въ видѣ привилегій свои гражданскія и политическія преимущества передъ остальнымъ населеніемъ. Между тѣмъ это остальное населеніе начинало сливаться въ однородную мас-

су, все болѣе и болѣе .сознававшую, что и матеріальныя средства, и образованіе, и право на болѣе вліятельную роль въ государственной жизни находятся на ея сторонѣ. Но всѣ стремленія къ гражданскому равенству и къ политической свободѣ встрѣчали непреодолимую преграду въ установившемся вѣками старомъ порядкѣ и въ рутинѣ безсильнаго правительства, то склонявшагося къ преобразованіямъ, то отступавшаго отъ нихъ. Разбиваясь объ эту преграду, общественное стремленіе принимало все болѣе утопическій и отвлеченный характеръ, и въ обществѣ все болѣе и болѣе укоренялось убѣжденіе въ необходимости построить самый принципъ власти на новомъ основаніи.

KB | Главнымъ рычагомъ этого общественнаго движенія сдѣлалась раціоналистическая идея о народовластіи. Представленіе о томъ, что государственная власть исходитъ отъ народа, было давно извѣстно во Франціи. Французы унаслѣдовали его отъ римлянъ вмѣстѣ съ римскимъ правомъ. Оно долго служило во Франціи могущественнымъ орудіемъ монархическаго начала. Римскіе императоры, присвоивъ себѣ трибунскую власть, считали себя представителями пришедшаго въ упадокъ народнаго собранія на римскомъ форумѣ и выводили отсюда свое право на законодательную власть. Великіе юристы императорской эпохи рѣзко формулировали тождество императорской воли съ закономъ въ виду того, что воля императора представляетъ собою волю народа.—*Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.* Это положеніе Дигестъ воодушевляло и средневѣковыхъ французскихъ легистовъ въ ихъ борьбѣ съ феодальнымъ порядкомъ во имя королевской власти. Раціоналистическіе публицисты, подобно Гроцію, также умѣли мирить идею народовластія съ самостоятельной и сильной монархическою властью. Однако эта идея представляла возможность совершенно иного толкованія въ демократическомъ и республиканскомъ смыслѣ. Эту сторону ея особенно охотно развивали схоластическіе публицисты, желавшіе въ интересахъ церковной власти ослабить и лишить самостоя-

KB

тельного значенія свѣтскую монархію. Во Франціи школы, управляемыя іезуитами, сдѣлались рассадникомъ доктрины о народовластіи, устранявшей идею, что естественный представитель народовластія есть король. Уже въ началѣ XVIII вѣка въ руанскомъ парламентѣ судился одинъ изъ преподавателей - клериковъ за республиканское истолкованіе понятія о народовластіи.

Вмѣстѣ съ развитіемъ неудовольствія во французскомъ обществѣ противъ стараго порядка ученіе о народовластіи начинало принимать среди янсенистовъ и парламентской магистратуры все болѣе и болѣе оппозиціонный, и даже революціонный характеръ. Интересно наблюдать въ мемуарахъ министра Людовика XV, маркиза д'Аржансона, какой оппозиціонный оттѣнокъ получило понятіе о народовластіи у этого государственнаго челоуѣка, когда онъ сдѣлался беспильнымъ наблюдателемъ правительственной рутинны. Въ „Общественномъ договорѣ“ Руссо понятіе о народовластіи уже представляется основаніемъ самой радикальной политической теоріи, и въ этомъ именно направленіи этотъ маленькій трактатъ далъ сильный толчекъ движенію, приведшему къ перевороту 1789 года.

Но мы не имѣемъ въ виду останавливаться на роли, которую играло во французской исторіи понятіе о народовластіи благодаря вліянію Руссо, а хотѣли здѣсь только указать, въ какой степени представленіе этого писателя о *народѣ* обусловливалось господствовавшимъ въ его время раціонализмомъ и глухой политической борьбою, подготовлявшею паденіе стараго порядка.

Представленіе о *народѣ* у Руссо взято не изъ исторіи и не изъ наблюденій надъ жизнью, — оно придумано для того, чтобы служить опорой для раціоналистическаго построенія общества и перенесенія государственной власти отъ легитимной династіи на другой органъ.

Основывая государство на общественномъ договорѣ, Руссо выводилъ отсюда самое существованіе народа. Полемизируя, напр., противъ положенія Гроція, что всякій народъ воленъ поставить надъ собой полновластнаго государя, Руссо гово-

рить: „Итакъ, по мнѣнію Гроція, народъ уже представляетъ собой народъ прежде, чѣмъ отдастъ себя царю. Эта отдача однако есть гражданскій актъ и потому предполагаетъ публичное обсужденіе. Но поэтому прежде, чѣмъ разсмотрѣть актъ, въ силу котораго народъ избираетъ царя, слѣдовало бы разслѣдовать актъ, посредствомъ котораго народъ становится народомъ“¹⁾.

Этотъ актъ и состоитъ въ заключеніи *общественнаго договора*, значеніе и послѣдствія котораго описываются слѣдующимъ образомъ: „Въ моментъ его заключенія, этотъ актъ общенія создаетъ на мѣсто отдѣльныхъ личностей, которыя вступаютъ въ договоръ, нравственное собирательное цѣлое, состоящее изъ столькихъ членовъ, сколько въ собраніи было голосовъ, — цѣлое, которое получаетъ, въ силу этого акта, свое единство, свою личность (*son moi commun*), свою жизнь и волю. Это общественное лицо, образующееся вслѣдствіе соединенія всѣхъ другихъ личностей, называется его членами *государствомъ* — въ пассивномъ смыслѣ; *государемъ*, когда оно дѣйствуетъ, *державой* по отношенію къ другимъ подобнымъ политическимъ тѣламъ. Что же касается до самихъ членовъ (*associés*), то они принимаютъ собирательное имя *народа*, въ отдѣльности же называются *гражданами*, какъ участники въ верховной власти, и *подданными*, какъ подчиненные законамъ государства“²⁾.

Еще рѣзче выражена эта мысль въ „Эмилѣ“. „Разсматривая—говоритъ здѣсь Руссо,—смыслъ этого собирательнаго названія *народъ*, посмотримъ, не нуженъ ли для того, чтобы создать народъ, договоръ, по крайней мѣрѣ, молчаливый, состоявшійся раньше, чѣмъ договоръ, заключенный между народомъ и царемъ. Если для того, чтобы избрать царя, народъ уже представляетъ собой народъ, то что же могло сдѣлать его народомъ, какъ не общественный договоръ“³⁾?

1) C. s., l. I. ch. 5.

2) C. s., l. I, ch. 6.

3) «Emile», l. V, p. 252. Ed. Nach.

Подобно тому, какъ народъ возникаетъ и существуетъ въ силу общественнаго договора, онъ, по объясненію Руссо, разлагается, прекращаетъ свое существованіе въ моментъ нарушенія общественнаго договора. Такимъ нарушеніемъ договора Руссо считаетъ, на примѣръ, всякое обязательство со стороны народа покоряться представителю государственной власти. „Если, — говоритъ Руссо, — народъ даетъ обѣщаніе повиноваться, онъ этимъ актомъ уничтожаетъ себя (*se dissout*), утрачиваетъ свойство *народа* (*sa qualité de peuple*); въ ту самую минуту, какъ является господинъ, нѣтъ болѣе государя — и тогда политическое тѣло разрушено“ ¹⁾.

До чего доходитъ эта логика рационализма, отрѣшеннаго отъ всякой дѣйствительности и жизненной правды, показываетъ пресловутое мѣсто о свободѣ англичанъ. „Англійскій народъ, — говоритъ Руссо, — считаетъ себя свободнымъ; онъ очень ошибается, — онъ свободенъ лишь во время избранія членовъ парламента, а какъ скоро они избраны, онъ становится рабомъ, онъ ничто“ ²⁾.

Особенно ярко проявляется рационалистическое представленіе о народѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ Руссо объясняетъ различіе между мелкими и большими (по числу гражданъ), народами, относительно той доли власти или свободы (эти два понятія постоянно смѣшиваются у Руссо), какая приходится въ нихъ на долю cadaго изъ гражданъ.

„Предположимъ, — говоритъ Руссо, — что государство состоитъ изъ десяти тысячъ гражданъ; здѣсь государь относится къ каждому отдѣльному гражданину, какъ 10.000 къ единицѣ; это значитъ, что на cadaго члена государства приходится только одна десятитысячная доля верховной власти, хотя онъ ей подчиненъ всѣмъ своимъ существомъ (*tout entier*). Предположимъ теперь, что народъ состоитъ изъ ста тысячъ человѣкъ. Положеніе подданныхъ въ этомъ случаѣ не измѣнится, и каждый изъ нихъ въ равной степени несетъ на себѣ

¹⁾ С. s., I. II, ch. 1.

²⁾ С. s., I. III, ch. 15.

всю тяжесть законовъ, тогда какъ его голосъ (suffrage), сведенный на одну стотысячную часть общей воли, имѣеть въ десять разъ менѣе вліянія на составленіе законовъ“. Такимъ образомъ подданный всегда представляетъ собой извѣстную единицу, отношеніе же государя къ нему увеличивается обратно пропорціонально числу гражданъ. Отсюда слѣдуетъ, что чѣмъ большіе размѣры принимаетъ государство, тѣмъ болѣе уменьшается свобода“ ¹⁾.

Облеченная въ такія простыя, ариѳметическія формулы, въ такіе бойкіе афоризмы, льстившіе самолюбію, раціоналистическая теорія о народѣ глубоко врѣзывалась въ умы поклонниковъ Руссо и сдѣлалась ходячею монетою для политикующей публики. Она изгоняла всѣ другія болѣе правильныя понятія о жизни народовъ, дѣлая совершенно безплодными и тѣ, которыя могли быть извлечены читателями Руссо изъ его собственныхъ сочиненій. Самъ Руссо находился подъ вліяніемъ двухъ противоположныхъ теченій. Преобладающимъ направленіемъ его ума въ политическихъ вопросахъ былъ раціонализмъ. Его склонность къ раціонализму могла проявляться на полномъ просторѣ при недостаточности его образованія и при крайне скудной начитанности его. Знавшій его близко Юмъ сказалъ о немъ: „Онъ очень мало читалъ въ теченіе своей жизни и теперь совершенно отказался отъ всякаго чтенія. Онъ мало видѣлъ на своемъ вѣку и лишенъ всякой охоты видѣть и наблюдать. Онъ, въ сущности говоря, размышлялъ и занимался очень мало и обладаетъ на самомъ дѣлѣ очень незначительнымъ запасомъ свѣдѣній“. Несомнѣнно то, что раціоналистическія формулы встрѣчали въ умѣ Руссо слишкомъ слабыя преграды со стороны житейскаго опыта или соображеній, заимствованныхъ изъ исторіи народовъ, и ничто не мѣшало Руссо доводить эти формулы смѣлой діалектикой до крайнихъ выводовъ. Другая причина, почему раціонализмъ развивался у Руссо на такомъ просторѣ, заключается въ его враждебности къ господствовавшему во

¹⁾ С. s., I. III. ch. 1.

Франціи политическому и общественному строю. Этотъ порядокъ былъ вдвойнѣ чуждъ Руссо, какъ иностранцу, уроженцу республиканской Женевы, и какъ теоретику, не затруднявшемуся извлекать свои политическія убѣжденія изъ *республики Платона* и изъ политики *Миноса* и *Ликурга*.

Локкъ также стоялъ на почвѣ общественнаго договора и признавалъ естественное состояніе чловѣка подкладкой его гражданскаго быта; но его раціонализмъ былъ умѣренъ эмпиріей и служилъ ему средствомъ, чтобы оправдать и объяснить конституцію 1688 года; а для Руссо англійская свобода была такъ же ненавистна, какъ и французское рабство.

Однако Руссо находился въ то же время подъ вліяніемъ совершенно иного направленія. Давно уже начался въ западной Европѣ тотъ способъ изученія политическихъ вопросовъ, который можно назвать *реальнымъ*, если имѣть въ виду его цѣли,—и научнымъ, если характеризовать его методъ. Самымъ блестящимъ представителемъ его во Франціи въ XVIII вѣкѣ былъ Монтескье, знаменитое сочиненіе котораго „Духъ законовъ“, появилось за тринадцать лѣтъ до напечатанія „Общественнаго договора“. Практическимъ результатомъ появленія „Духа законовъ“ было постепенно распространявшееся убѣжденіе, что законодатель долженъ принимать въ соображеніе физическія, политическія и культурныя условія, въ которыхъ находится страна, и что политическіе мыслители должны изслѣдовать и формулировать взаимное вліяніе быта и законовъ. Слава Монтескье была еще такъ значительна и свѣжа, что Руссо, при всемъ своемъ раціонализмѣ, не могъ не поддаться желанію продолжать его дѣло и усовершенствовать добытые имъ выводы. Вслѣдствіе этого, политическія сочиненія Руссо отмѣчены глубокимъ противорѣчіемъ: то онъ выступаетъ отчаяннымъ теоретикомъ, фанатикомъ своихъ силлогизмовъ; то, забывая о раціоналистической основѣ своей системы, беретъ съ большимъ тактомъ и чутьемъ за реальную политику, производитъ тонкія наблюденія надъ людьми и обществомъ и даетъ самые благоразумные совѣты.

Объясняя внутреннее противорѣчіе въ политическихъ

сочиненіяхъ Руссо тѣмъ, что онъ находился подъ вліяніемъ двухъ могучихъ теченій въ современномъ ему французскомъ обществѣ, мы должны однако замѣтить, что подобное, и еще болѣе глубокое, противорѣчіе проходитъ и по всѣмъ другимъ сочиненіямъ Руссо. Впослѣдствіи мы будемъ имѣть поводъ остановиться подробнѣе на этой коренной чертѣ всей дѣятельности Руссо и приведемъ ее въ связь съ его общей исторической ролью. Но помимо этого необходимо упомянуть, что противорѣчія во взглядахъ и мнѣніяхъ Руссо иногда обуславливаются просто его склонностью къ риторическому пафосу, которую онъ раздѣлялъ со многими литераторами того вѣка, и особенно его любовью къ парадоксамъ, находящейся въ тѣсной связи съ выдающейся чертой его характера — болѣзненнымъ самолюбіемъ. Какъ многіе умы, у которыхъ склонность къ парадоксамъ вытекаетъ изъ подобнаго источника, Руссо легко отказывался отъ нихъ, когда эффектъ былъ достигнутъ. Онъ обыкновенно даже самъ старался смягчить выпущенный имъ въ свѣтъ парадоксъ и согласить его съ здравымъ смысломъ и практическими потребностями дѣйствительности, и онъ дѣлалъ это почти съ такимъ же краснорѣчіемъ и талантомъ, какіе употребилъ на смѣлое софистическое развитіе своихъ парадоксовъ. Руссо въ такихъ случаяхъ, не краснѣя, отступалъ отъ собственной логики и, не заботясь о послѣдствіяхъ, самъ собиралъ матеріалы для изобличенія своихъ софизмовъ ¹⁾. Въ примѣръ противорѣчія съ самимъ собой вслѣдствіе парадоксальной формы, въ которую онъ облачалъ свою мысль, можно привести его взгляды на прогрессъ и цивилизацію. Въ своемъ „Разсужденіи о причинахъ неравенства между людьми“, этомъ злобномъ пасквилѣ на цивилизацію, Руссо выставляетъ ее уклоненіемъ отъ природы, источникомъ всѣхъ матеріальныхъ бѣдствій и всего нравственнаго зла на землѣ и превозноситъ бытъ и счастье дика-

¹⁾ Это проведено по всѣмъ главнымъ сочиненіямъ Руссо Сень-Маркъ Жирарденомъ въ его книгѣ: «J. J. Rousseau etc.» См. также статью Капо въ сочиненіи: «La fin du XVIII siècle».

рей на счетъ положенія цивилизованныхъ народовъ. Между тѣмъ онъ тутъ же чрезвычайно отчетливо проводитъ мысль, что способность къ совершенствованію есть самый существенный признакъ, отличающій природу человѣка отъ животнаго; а въ отвѣтномъ письмѣ къ женеvскому ученому Бонне, написанномъ въ свое оправданіе, Руссо уже прямо отказывается отъ принципиальныхъ нареканій на цивилизацію и заявляетъ, что хотѣлъ только предостеречь своихъ современниковъ отъ слишкомъ быстрого и преждевременнаго прогресса. „Такъ какъ цивилизація (l'état de société), — говоритъ онъ — представляетъ собой извѣстную цѣль, къ которой люди вольны (sont maîtres) устремиться ранѣе или поздиѣе, то онъ считалъ полезнымъ указать имъ на опасность, какую представляетъ такое быстрое движеніе къ прогрессу, и на бѣдственныя стороны (misères) того состоянія, которое они отождествляютъ съ усовершенствованіемъ человѣческаго рода“ ¹⁾.

Не менѣе поразительны противорѣчія, въ которыя впадаетъ Руссо, когда измѣняетъ рационалистическому методу и беретъ въ расчетъ другіе элементы, на которыхъ зиждется человѣческое общество. Сюда можно, напр., отнести знаменитое мѣсто о значеніи религіи въ политической и культурной жизни, съ которымъ впрочемъ такъ мало гармонируетъ то, что Руссо въ другихъ случаяхъ писалъ о религіи: Руссо утверждаетъ, что такъ какъ всякій правитель имѣетъ право отказаться отъ своей власти, то тѣмъ болѣе народу должно принадлежать право отказаться отъ своего подчиненія. Но, — продолжаетъ Руссо, — страшныя усобицы, безкончныя смуты, которыя повлекло бы за собой это опасное право, доказываютъ, насколько людскія правительства нуждались въ *болѣе прочномъ основаніи, чѣмъ одинъ только разумъ*, и насколько было необходимо для общественнаго мира вмѣшательство божественной воли, чтобы придать верховной власти святость и неприкосновенность, которыя лишили бы подданныхъ пагубнаго права располагать ею. Если бы религія доставила людямъ

1) «Lettre de J. J. Rousseau à Philopolis» Oeuvr. VIII p. 246. Ed. 1790.

это благо, то этого было бы достаточно, чтобы дорожить ею при всѣхъ ея злоупотребленіяхъ, ибо она сберегаетъ человечеству больше крови, чѣмъ сколько ея проливаетъ религиозный фанатизмъ“¹⁾.

Другой примѣръ подобнаго противорѣчія и отступленія отъ политическаго рационализма представляютъ сужденія Руссо объ абсолютной демократіи. Строго держась теоріи „Общественнаго договора“ и рационалистическаго метода, Руссо является послѣдовательнымъ поклонникомъ абсолютной демократіи. „Ни одинъ законъ, — говоритъ онъ, на примѣръ, — который не принятъ народомъ всеобщей подачей голосовъ (en personne), не имѣетъ силы; это не законъ“. Верховная власть, по опредѣленію Руссо, можетъ дѣйствовать только тогда, когда весь народъ въ сборѣ. Но можетъ ли народъ быть въ сборѣ? — Что за химера! возражаетъ самъ Руссо, а затѣмъ старается доказать, чрезвычайно неудачно ссылаясь на исторію Рима и франковъ, что это не было химерой въ прежнее время, что природа человѣка съ тѣхъ поръ не измѣнилась и что предѣлы возможнаго въ вопросахъ нравственныхъ вовсе не такъ тѣсны, какъ мы воображаемъ.

Особенно бросаются въ глаза противорѣчія Руссо, которыя ему внушены практической политикой. Въ теоріи онъ признаетъ за каждымъ народомъ безусловное право свергать свое правительство и мѣнять свое устройство. „Во всякомъ случаѣ, — говоритъ онъ, — народъ воленъ отмѣнить свои законы, даже самые лучшіе; ибо если ему угодно причинить зло самому себѣ, то кто имѣетъ право ему въ этомъ помѣшать?“ На самомъ же дѣлѣ трудно найти у кого-либо такія благоразумныя предостереженія противъ насильственныхъ переворотовъ, какъ у Руссо. Такое трезвое отношеніе къ дѣлу со стороны Руссо еще понятно въ торжественныя для него минуты, когда ему выпадало на долю играть передъ всей Европой роль отвѣтственнаго совѣтника народовъ, чаявшихъ отъ него своего возрожденія. Такъ, на примѣръ, въ

¹⁾ Disc. s. l'inég. Oeuv. t. VII, p. 162.

своихъ „Разсужденіяхъ объ управленіи Польшей“ онъ даетъ полякамъ совѣтъ: „Исправляйте, если можно, злоупотребленія въ вашемъ государственномъ устройствѣ, но не относитесь съ пренебреженіемъ къ тому, которое васъ сдѣлало тѣмъ, что вы есть“. 1).

Еще съ большею силою Руссо выразилъ эту мысль въ слѣдующемъ афоризмѣ, благоразуміе котораго тѣмъ болѣе замѣчательно, что онъ высказанъ въ одномъ изъ первыхъ сочиненій Руссо, въ эпоху риторическихъ *разсужденій*: „Дѣйствительно испорчены не столько тѣ народы, у которыхъ дурные законы, сколько тѣ, которые ихъ презираютъ“ 2).

Такую-же осторожность проявляетъ Руссо и въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не являлся въ оффиціальной роли законодателя народовъ, напримѣръ—въ своей критикѣ на проектъ аббата де-Сен-Пьера, предлагавшаго окружить французскаго короля нѣсколькими выборными совѣтами: „Чтобы дать правительству форму, придуманную аббатомъ де-Сен-Пьеромъ, — говоритъ Руссо, — нужно было бы начать съ разрушенія всего существующаго строя; а кому неизвѣстно, какъ опасенъ въ большомъ государствѣ моментъ анархіи и кризиса, необходимо предшествующій установленію новаго строя. Уже одно введеніе въ дѣло выборнаго начала должно повлечь за собою страшное потрясеніе и—произвести скорѣе судорожное и безостановочное движеніе въ каждой частицѣ, чѣмъ придать новую силу всему тѣлу. Пусть каждый представитъ себѣ опасность, которая произойдетъ отъ возбужденія громаднхъ массъ, составляющихъ французскую монархію. Кто будетъ въ состояніи остановить данный толчокъ или предвидѣть всѣ его послѣдствія? Если бы даже всѣ преимущества новаго плана были безспорны, какой здравомыслящій человѣкъ дерзнулъ бы уничтожить древніе обычаи, устранить старые принципы и измѣнить ту форму государства, которую постепенно создавалъ для него продолжительный рядъ тринадцати вѣковъ?“ 3).

1) С. s., l. III, ch. 4, 12 п 15.

2) «Lettre à M. Grimm», I, p. 24.

3) «Jugement sur la Polysynodie». Oeuv. II, p. 461.

Подобнымъ образомъ и изъ самаго „Общественнаго договора“ можно привести много мѣстъ, отмѣченныхъ вліяніемъ Монтескье и доказывающихъ вниманіе къ реальнымъ условіямъ исторической жизни. Какъ ясно, на примѣръ, формулируетъ Руссо принципъ всякой практической политики въ VIII главѣ второй книги, гдѣ онъ, указавъ на двѣ, по его мнѣнію, главныя цѣли всякаго законодательства—свободу и равенство, заявляетъ, что „эти общіе принципы всякаго хорошаго политическаго устройства должны быть видоизменяемы во всякой странѣ сообразно съ отношеніями, вытекающими какъ изъ мѣстныхъ условій, такъ и изъ характера жителей, и на основаніи этихъ данныхъ всякій народъ долженъ быть надѣленъ особенною системой учрежденій, которая должна быть лучшею, если и не сама по себѣ, то для государства, для котораго предназначается“. Разсмотрѣвъ затѣмъ различныя частности этого вопроса, Руссо заявляетъ: „Однимъ словомъ, помимо общихъ всѣмъ положеній, каждый народъ обладаетъ какимъ-нибудь условіемъ, которое дѣлаетъ его учрежденія пригодными только для него одного“. А вся VIII глава третьей книги, носящая заглавіе: „Не всякая форма правительства годится для всякой страны“ — ничто иное, какъ подробное развитіе положенія Монтескье: „Свобода есть плодъ, который растетъ не во всякомъ климатѣ и потому не можетъ быть достояніемъ всѣхъ народовъ“ ¹⁾. „Чѣмъ болѣе размышляешь надъ этимъ положеніемъ, — прибавляетъ отъ себя Руссо, — тѣмъ болѣе проникаешься его истинностью. Чѣмъ болѣе его оспариваютъ, тѣмъ болѣе даютъ поводъ упрочить его новыми доказательствами“.

Съ этою цѣлью Руссо входитъ въ подробное разсмотрѣніе вліянія климата на производительность страны, на коли-

¹⁾ Задолго еще до появленія «Общественнаго договора» въ своемъ *Разсужденіи о неравенствѣ* Руссо выразилъ эту мысль слѣдующимъ образомъ: «Свободу можно сравнить съ крѣпкой и сочной пиццей или съ благородными винами, способными питать и подкрѣплять сильныя, привычныя къ нимъ натуры, но которыя удручаютъ, губятъ и опьяняютъ слабыя и нѣжныя натуры, не созданныя для этого» (Dédicace, p. 10).

чество и качество пищи, необходимой для жителей, на ихъ одежду, на самую питательность съѣстныхъ припасовъ, на количество и сгущенность народонаселенія.

Всѣ эти *данныя* служатъ ему матеріаломъ для указанія, какой именно способъ правленія соотвѣтствуетъ каждому климату. И хотя тутъ встрѣчаются выводы слишкомъ общіе, чтобъ имѣть какое-либо значеніе, или даже очень спорные, напримѣръ: „монархія пригодна только для народовъ богатыхъ, аристократія—для государствъ среднихъ по богатству и размѣру, а демократія—для государствъ небольшихъ и бѣдныхъ“, или „деспотизмъ есть принадлежность жаркихъ странъ, варварство—странъ холодныхъ, а хорошія политическія учрежденія (*la bonne politique*) соотвѣтствуютъ областямъ, лежащимъ между ними,—однако же самая попытка свести формы правленія и общественныхъ учреждений на мѣстныя условія есть уже отступленіе отъ рационалистическаго отношенія къ явленіямъ исторической жизни народовъ.

Понятно, что при такой внимательности къ реальнымъ факторамъ жизни народовъ, отъ Руссо не могло укрыться, что самое представленіе о *народѣ* нужно извлекать не изъ рационалистическихъ опредѣленій, а изъ исторіи и жизни. Въ его *Разсужденіи* о неравенствѣ мы находимъ попытку объяснить эмпирически происхожденіе національностей. Еще важнѣе то, что Руссо, обыкновенно выводившій и государство и народъ изъ добровольнаго соглашенія, былъ однако не чуждъ представленія объ организмѣ въ примѣненіи къ нимъ. Въ своемъ *Разсужденіи* о „Политической экономіи“ онъ говоритъ ¹⁾: „Политическое тѣло, взятое индивидуально, можетъ быть разсмотрѣно, какъ *органическое* тѣло, живое и подобное человѣку“. Руссо вдается даже по этому поводу въ чрезмѣрно подробныя сравненія, слишкомъ длинныя и искусственныя, чтобы ихъ приводить; онъ отождествляетъ, напр., верховную власть съ головой, законы и обычаи — съ мозгомъ, торговлю, промышленность и земледѣліе—со ртомъ

1) Oeuvres.—Изд. 1790, t. VII, p. 265.

и желудкомъ, подготовляющимъ питаніе, гражданъ—съ тѣломъ и членами, которые приводятъ въ движеніе и даютъ жизнь всему механизму, и т. д. Согласно съ этимъ мы встрѣчаемъ въ самомъ „Общественномъ договорѣ“ между рационалистическими опредѣленіями народа и такія выраженія, которыя какъ будто внушены убѣжденіемъ, что самый народъ есть продуктъ исторіи. Такъ, напримѣръ, устанавливается различіе между юными народами и народами дряхлѣющими; только первые, по мнѣнію Руссо, способны подчиняться преобразованіямъ мудраго законодателя, послѣдніе же со старостью становятся неисправимы. Далѣе Руссо утверждаетъ, что для народовъ существуетъ, какъ и для отдѣльныхъ людей, извѣстная пора *зрѣлости*, которой нужно дожидаться, чтобы съ успѣхомъ дать народу хорошія гражданскія учрежденія; эта пора зрѣлости не всегда легко распознаваема, и если законодатель опередитъ ее, все дѣло его пропало. „Одинъ народъ,—замѣчаетъ Руссо,—способенъ къ правильной организаціи (*est disciplinable*) при зарожденіи своемъ, другой еще неспособенъ къ этому и по прошествіи десяти вѣковъ“¹⁾.

1) Вѣрную мысль, что реформы должны соответствовать историческому возрасту народа, Руссо подкрѣпилъ не особенно удачно примѣромъ Россіи. По его словамъ, русскій народъ никогда политически не созрѣетъ (*les russes ne seront jamais vraiment policés*), потому что Петръ Великій принялся слишкомъ рано за его развитіе. Развивая далѣе свою мысль, что большая часть преобразованій Петра была неудачна и принесла вредъ, Руссо предсказываетъ паденіе Россіи, которая будетъ поглощена татарами. Вольтеръ ѣдко глумился надъ этимъ предсказаніемъ и сравнилъ его съ пророчествами одного распространеннаго альманаха *Хромого Вѣстника*. Но болѣе любопытно то, что этою выходкой Руссо противъ Петра Великаго счелъ возможнымъ воспользоваться одинъ современный русскій публицистъ. Объясняя и защищая взглядъ славянофиловъ на Петра Великаго, г. Градовскій заявляетъ («Націон. вопросъ», стр. 244): «Сказать ли, кто въ этомъ отношеніи подаетъ имъ руку?—Одинъ изъ знаменитыхъ обще-человѣковъ XVIII вѣка, Ж.-Ж. Руссо! Вотъ что говоритъ онъ въ своемъ «*Contrat social*»: «Петръ захотѣлъ дѣлать нѣмцевъ, англичанъ, когда нужно было дѣлать *русскихъ*; онъ помѣшалъ своимъ подданнымъ *навсегда* сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ они могли бы быть, увѣривъ ихъ, что они то, чѣмъ они не были». Эта цитата изъ Руссо утратила бы свою привлекательность для противниковъ Петра Великаго и они отреклись бы отъ такого союзника, если бы мнѣніе Руссо было приведено цѣликомъ.

Если въ этомъ случаѣ Руссо допускаетъ извѣстные возрасты, т. е. органическія эпохи развитія въ жизни народовъ, то въ другомъ мѣстѣ, опредѣляя условія, при которыхъ народъ становится способенъ къ правильной законодательной организаціи, авторъ „Общественнаго договора“ признаетъ самый принципъ, который могъ бы расшатать всю его теорію о происхожденіи гражданскаго общества и народовъ изъ договора индивидуумовъ, а именно—естественную связь общаго происхожденія (*union d'origine*), т. е. принципъ національности.

Но такіе проблески болѣе правильнаго отношенія къ понятію о народѣ совершенно исчезаютъ для читателей „Общественнаго договора“ среди господствующаго раціоналистическаго метода и настроенія. Можно даже сказать, что это смѣшеніе раціонализма съ историческимъ методомъ служитъ у Руссо всецѣло интересамъ перваго, придавая ему болѣе вѣса, нѣкоторую фактическую обстановку и мнимую научность. „Общественный договоръ“ представляетъ у Руссо не только гипотезу нужную для объясненія того, какъ первоначально сложились гражданскія общества,—онъ, какъ грозная туча постоянно виситъ надъ историческою жизнью государствъ и народовъ, всегда готовый вторгнуться въ дѣйствительную жизнь и нарушить существующій и сложившійся вѣками порядокъ. Мало того, такое вторженіе идеи общественнаго договора въ живой организмъ политическаго тѣла и, вслѣдствіе этого, разложеніе его на первоначальныя единицы, составляетъ по теоріи Руссо общій необходимый законъ: это—неизбѣжный рокъ, поражающій государства подобно тому, какъ дряхлость и смерть настигаютъ человѣка ¹⁾).

По этой теоріи, всякое превышеніе власти со стороны правительства или одного изъ органовъ правительства разрываетъ соглашеніе, на которомъ основано общество, и всѣ отдѣльные граждане по праву снова вступаютъ въ пользованіе своей природною свободой. Но всякое правительство,

1) C. s., l. III, ch. 10.

по словамъ Руссо, безпрестанно стремится къ захватамъ по отношенію къ верховному государю (подъ этимъ разумѣется, по терминологіи Руссо, сумма гражданъ), и такъ какъ нѣтъ другой воли, которая могла бы служить противовѣсомъ силѣ правительства, то „рано или поздно,—какъ говорить Руссо,— должно случиться, что правительство наконецъ поработитъ (оррime) государя и этимъ нарушитъ общественный договоръ. Въ этомъ,—прибавляетъ Руссо,—заключается коренной и неизбѣжный порокъ, который съ самаго зарожденія государства непрестанно стремится разрушить его“.

Англійскій біографъ Руссо, Морлей ¹⁾, очень удачно пояснилъ фантастичность такого голословнаго разсужденія указаніемъ на историческій фактъ, бывшій въ Англии въ то время, когда „Общественный договоръ“ находился въ самой модѣ. Въ 1788 году, вслѣдствіе помѣшательства, постигшаго Георга III, не могъ быть открытъ парламентъ, такъ какъ король былъ не въ состояніи подписать указа о созваніи его. Тѣмъ не менѣе парламентъ собрался и первымъ дѣломъ его было уполномочить министровъ издать указъ, скрѣпленный большою королевскою печатью, объ открытіи парламента и заявить свое согласіе на парламентскій билль объ установленіи регентства. Это было, какъ замѣчаетъ Морлей, несомнѣннымъ захватомъ королевской власти со стороны одного изъ органовъ правительства и, слѣдовательно, примѣненіемъ того случая нарушенія общественнаго договора, который формулированъ у Руссо слѣдующимъ образомъ: „То же самое имѣетъ мѣсто, когда членъ правительства отдѣльно присвоиваетъ себѣ ту власть, которая имъ предоставлена совместно; это представляетъ не меньшее нарушеніе законовъ“ и т. д.

При такомъ взглядѣ на общественный договоръ, подражаніе Монтескье и легкія экскурсы Руссо въ область историческаго метода были бессильны противъ его раціонализма и не были въ состояніи ослабить революціонную тенденцію,

¹⁾ *Morley*: „Rousseau“, II, 186.

которую онъ придалъ представленію о народѣ. Можно сказать, что уроки, которые Руссо извлекалъ изъ исторіи,—а онъ прибѣгалъ для этого почти исключительно къ исторіи Греціи и Рима,—только усиливали этотъ революціонный отъѣнокъ. Приведенныя нами ссылки Руссо на возрасты и историческую жизнь народовъ служатъ ему лишь поводомъ для заявленія, что никакой возрастъ и никакія бытовыя условія не гарантируютъ народъ отъ насильственныхъ потрясеній, вслѣдствіе которыхъ народъ можетъ снова помолодѣть, начать сначала свою историческую жизнь.

Замѣтивши, что коренныя преобразованія могутъ быть полезны только въ извѣстномъ возрастѣ народовъ, Руссо продолжаетъ ¹⁾: „Когда обычаи установились, и укоренились предрасудки, всякая попытка измѣнить ихъ есть опасное и тщетное предпріятіе; народъ не можетъ даже потерпѣть, чтобы коснулись его ранъ для исцѣленія ихъ, подобно тѣмъ глухимъ и трусливымъ больнымъ, которые дрожатъ при видѣ врача“.

Однако, какъ будто надумавшись, Руссо прибавляетъ: „Впрочемъ, подобно тому, какъ инныя болѣзни поражаютъ умъ больныхъ и отнимаютъ у нихъ память о прошедшемъ, такъ въ жизни государствъ наступаютъ иногда бурныя эпохи, когда революціи имѣютъ для народовъ такія послѣдствія, какъ извѣстные болѣзненные кризисы для отдѣльныхъ людей, у которыхъ вмѣсто забвенія является отвращеніе къ прошлому и когда государство, воспламененное междуусобною войной, возрождается, такъ сказать, изъ пепла и обрѣтаетъ силу молодости, выходя изъ объятій смерти. Такова была Спарта во время Ликурга; таковъ былъ Римъ послѣ Тарквиніевъ и таковы были у насъ Голландія и Швейцарія по изгнаніи тирановъ“.

Легко представить себѣ, какой революціонный пылъ это историческое риторство должно было возбудить во французскихъ читателяхъ Руссо. Въ роскошномъ изданіи его сочи-

1) С. s., l. II, ch. 8.

неній, вышедшемъ въ 1790 году, издатель къ этому мѣсту сдѣлалъ слѣдующее патріотическое и наивное примѣчаніе: „и такова, надѣюсь, будетъ Франція, за исключеніемъ междоусобной войны“. Эти слова были напечатаны въ то время, когда вся Франція еще признавала Людовика XVI законнымъ королемъ и Учредительное Собраніе трудилось надъ составленіемъ монархической конституціи. Ни издатель Руссо, ни читатели его не припомнили, конечно, другое мѣсто изъ его сочиненій и другую ссылку на римлянъ временъ Тарквинія, которыя можно было съ большимъ основаніемъ примѣнить къ Франціи 1790 года. „Если народы пытаются сбросить свое иго, они тѣмъ болѣе удаляются отъ свободы, что принимаютъ за нее разнузданное своеволие (*licence effrénée*), противоположное свободѣ, и что ихъ революціи дѣлаютъ ихъ почти всегда жертвами льстецовъ (*séducteurs*), которые отягчаютъ ихъ цѣпи. Даже самъ римскій народъ, этотъ образецъ свободнаго народа, не былъ въ состояніи управлять собой, вышедши изъ-подъ гнета Тарквинія“ ¹⁾.

Въ виду такой страстной политической проповѣди, какая заключается въ приведенныхъ отрывкахъ изъ Руссо, трезвые и благоразумные совѣты этого автора, разсѣянные по всему „Общественному договору“, едва ли переубѣдили кого-либо изъ читателей, введенныхъ въ заблужденіе его фанатическими софизмами. Парадоксы, пущенные имъ въ общество, продолжали свое разрушительное дѣйствіе въ умахъ, потому что льстили страстямъ и интересамъ той части французскаго общества, которая зачитывалась сочиненіями Руссо. Рационалистическое представленіе о народѣ сдѣлалось въ немъ однимъ изъ самыхъ сильныхъ революціонныхъ ферментовъ. Понятіе о государствѣ блѣднѣло и постепенно утрачивалось въ сознаніи людей, которые принимали *общую волю*, т.-е. въ сущности свою собственную волю, за настоящій источникъ и регуляторъ политическаго строя; правительство лишалось значенія и авторитета съ точки зрѣнія приверженцевъ теоріи,

¹⁾ Disc. s. l'orig. de l'inég. Oeuvr. v. VII, p. 11.

считавшей настоящимъ государемъ „сумму гражданъ“, а монарховъ, парламенты и республиканскихъ магистратовъ—прикащиками, которые должны быть удалены, какъ скоро не исполняютъ волю народа, т.-е. то, что всякій искренно или неискренно выдавалъ за народную волю; законъ терялъ свою силу и обязательность въ виду формулы о неотъемлемости и нераздѣльности народной власти,—формулы, легко допускавшей такое толкованіе, что *народъ* во всякую минуту можетъ отмѣнить существующій порядокъ и отрѣшить законное правительство и представительство. Раціоналистическое представление о народѣ, прилагаемое въ этомъ смыслѣ къ практикѣ, дѣлало анархію естественнымъ и хроническимъ состояніемъ гражданскаго общества и узаконяло революцію, ибо всякій насильственный переворотъ только возстановлялъ естественное состояніе гражданъ и возвращалъ народу его неотъемлемую власть.

Однако вліяніе Руссо на революціонное настроеніе французскаго общества не ограничилось тѣми выводами, которые могли быть извлечены людьми, понимавшими въ буквальномъ смыслѣ теорію народовластія въ „Общественномъ договорѣ“. Эта теорія и раціоналистическое построеніе государства были давно извѣстны,—они встрѣчались и у католическихъ богослововъ, и у средневѣковыхъ легистовъ Франціи, и у великихъ публицистовъ, положившихъ начало наукѣ государственнаго права—у Гроція, Локка и др., и приводили къ совершенно инымъ результатамъ, чѣмъ „Общественный договоръ“, служили къ оправданію теократическаго или монархическаго строя. Особенно революціонный оттѣнокъ получилъ политическій раціонализмъ у Руссо, благодаря той новой культурной струѣ, съ которой онъ встрѣтился въ лицѣ автора „Эмиля“ и извѣстныхъ *разсужденій* и исходнымъ пунктомъ которой было понятіе о естественномъ состояніи (*état de la nature*). Это понятіе *вводитъ* насъ въ совершенно другую сферу литературной дѣятельности Руссо и его вліянія на представленія французскаго общества о народѣ.

II.

Восемнадцатый вѣкъ представляется въ общихъ чертахъ эпохой просвѣтительнаго, гуманнаго раціонализма, и Руссо, какъ видно изъ предшествовавшей главы, былъ въ *политическихъ вопросахъ* однимъ изъ передовыхъ и страстныхъ борниковъ раціоналистической точки зрѣнія. Однако прошлый вѣкъ, при всемъ своемъ раціонализмѣ, далъ въ то же время начало другому культурному движенію, во многомъ противоположному раціоналистической тенденціи, и такимъ образомъ положилъ основаніе такъ называемой *реакціи*, столь сильно обнаружившейся въ XIX-омъ вѣкѣ противъ господствовавшаго прежде міровоззрѣнія. И въ этомъ отношеніи Руссо игралъ не только передовую роль, но, можно сказать, шелъ во главѣ того движенія, которое отвело европейское общество далеко отъ раціонализма. Вліяніе Руссо въ этомъ отношеніи такъ значительно, что историки, ставящіе себѣ задачей изобразить исторію *реакціонныхъ* идей и стремленій въ XIX вѣкѣ, принуждены съ него начинать это движеніе ¹⁾. Одинъ изъ главныхъ вопросовъ, въ которыхъ Руссо существенно разошелся съ настроеніемъ современнаго ему общества и указалъ ему новый путь, былъ его взглядъ на *природу*. Во время господства аскетическаго, церковнаго идеала, природа не могла привлекать къ себѣ человѣка и только пугала его проявленіями своихъ таинственныхъ силъ, которыя представлялись средневѣковымъ людямъ чѣмъ-то демоническимъ и полнымъ мистическихъ чаръ. *Возрожденіе* наукъ и искусствъ, правда, тотчасъ отразилось и на отношеніяхъ человѣка къ природѣ и снова заставило любоваться ею. Восхожденіе Петрарки на Монъ-Ванту занимаетъ одну изъ первыхъ страницъ въ исторіи гуманизма; и въ религіозной живописи XV вѣка вдохновенное чувство художника посте-

¹⁾ Такъ, напр., Брандесъ, который подвелъ возродившееся литературное движеніе во Франціи послѣ революціи подъ искусственную рубрику — „Литература эмигрантовъ“ (Шатобріанъ, г-жа де Сталь, де-Местръ и пр.), былъ принужденъ поставить во главѣ этихъ *эмигрантовъ* Руссо.

пенно переходитъ на изображеніе окружавшаго главныя фигуры ландшафта, пока, наконецъ, послѣдній не получаетъ самостоятельнаго значенія въ художествѣ. Но распространившаяся въ области искусства манерность стиля снова закрыла передъ обществомъ настоящую природу, а въ области литературы природа въ эпоху Людовика XIV и XV была совершенно забыта. Однако, въ это время вниманіе образованнаго человѣка къ природѣ было возбуждено съ совершенно другой стороны—со стороны науки. Великія открытія въ астрономіи, математикѣ и небесной механикѣ расширили его горизонтъ и познакомили его съ вѣчными космическими законами. Деизмъ воспользовался этимъ приобрѣтеніемъ человѣческаго разума и построилъ на этомъ основаніи свою религіозно-философскую систему, въ которой природа служила основаніемъ для религіи и этики раціонализма. Природа съ этой точки зрѣнія представлялась безпредѣльнымъ, величавымъ въ своей строгой чинности механизмомъ, отъ искусной разумности котораго мыслящій человѣкъ дѣлалъ заключеніе о всемогуществѣ и величіи творца. Затѣмъ выступили на первый планъ экспериментальныя естественныя науки, и природа превратилась для людей XVIII вѣка въ громадную лабораторію; все вниманіе ихъ было поглощено физическими, химическими и фізіологическими процессами и попытками съ ихъ помощью объяснить чувство и мысль, и изъ-за этого всѣ забыли о природѣ, какъ о живомъ мірѣ, и о человѣкѣ, какъ о нравственномъ существѣ. Энциклопедисты были энергическими передовыми проводниками этого возрѣнія и ихъ направленіемъ совершенно увлеклось все литературно-образованное общество, несмотря на условный протестъ и безсильный ропотъ старыхъ деистовъ, на примѣръ—Вольтера. Въ этомъ настроеніи общества Руссо произвелъ неожиданный переворотъ. Онъ снова открылъ природу для чувства и для поэзіи, онъ сдѣлалъ ее источникомъ для обновленія нравственнаго міра человѣка. Мы касаемся здѣсь исключительно Франціи и потому не станемъ указывать, какимъ путемъ чувство природы снова оживилось въ Германіи и Англии;—

во Франціи это явленіе тѣсно связано съ личностью и литературной дѣятельностію Руссо ¹⁾. Среди городского, столичнаго общества, забывшаго о природѣ въ своихъ салонахъ, канцеляріяхъ, рабочихъ кабинетахъ и лабораторіяхъ, явился энтузіастъ *деревни*, человѣкъ восхищавшійся тѣмъ, что у него „зелень передъ окномъ“, чувствовавшій потребность часто возвращаться къ этой сельской природѣ, которую онъ долженъ былъ покинуть. Выходить за городъ, блуждать пѣшкомъ по полямъ и по лѣсу было для этого человѣка необходимо, чтобы освѣжиться и успокоиться; остаться наединѣ съ природой, погрузиться въ раздумье подъ тѣнью деревьевъ или на берегу ручья—было для него наслажденіемъ, съ которымъ не могли сравниться ни остроумная застольная беседа съ друзьями, ни художественный энтузіазмъ, овладѣвавшій публикой въ театрѣ. Подъ вліяніемъ этого человѣка, который умѣлъ съ такимъ талантомъ и съ такою страстью передавать другимъ свое настроеніе, въ городскомъ населеніи пробудилось желаніе видѣть природу, явилась тоска по

1) „C'est de lui que date chez nous le sentiment de la nature“. *St. Beuve. Causeries* III, p. 65. Конечно, это замѣчаніе знаменитаго критика вѣрно только въ условномъ смыслѣ. Во французской литературѣ и задолго до Руссо можно встрѣтить пониманіе природы и предпочтеніе села и земледѣльцевъ городу и горожанамъ, но такія восхваленія природы проходили безслѣдно. Для примѣра укажемъ на Ля-Брюера: „On s'élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et champêtres..., on se contente de se nourrir et de s'habiller. Ne parlez pas à un grand nombre de bourgeois, ni de guérets ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains, si vous voulez être entendu; ces termes pour eux ne sont pas français; parlez aux uns d'aunage, de tarif, ou de sou pour livre, et aux autres de voie d'appel, de requête civile, d'appointement, d'évocation. Ils connaissent le monde et encore par ce qu'il a de moins beau et de moins spécieux; ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses dons et ses largesses... Il n'y a si vil praticien qui au fond de son étude sombre et enfumée et l'esprit occupé d'une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos et qui fait de riches moissons; et, s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre, et de leur économie, il s'étonne qu'on ait pu vivre en de tels temps, où il n'y avait encore ni offices, ni commissions, ni présidents, ni procureurs“, etc., p. 155.

ней, и *прогулка* за городъ сдѣлалась новымъ источникомъ вдохновенія для поэтовъ и прозаиковъ и знаменіемъ новаго культурнаго направленія ¹⁾).

Поэзія, которую Руссо ощущалъ въ природѣ, привлекала его какъ человѣка и какъ мыслителя. На этомъ чувствѣ была основана религіозная и нравственная философія Руссо. Природа не была для него искуснымъ механизмомъ, свидѣтельствующимъ о всемірномъ разумѣ, а чуднымъ, непредѣльнымъ храмомъ, въ каждомъ уголкѣ котораго человѣкъ чувствовалъ свою личную связь съ Божествомъ и свое духовное происхожденіе. Въ созерцаніи природы Руссо черпалъ увѣренность въ безсмертіи своей души, и она послужила ему тѣмъ откровеніемъ, которое дало начало новому религіозному движенію во французскомъ обществѣ ²⁾).

Такое же значеніе имѣла природа въ социологіи Руссо. И здѣсь исходною точкой была та гармонія, которую Руссо ощущалъ, когда отдавался созерцанію природы,—тотъ отголосокъ, который онъ слышалъ въ ней въ отвѣтъ на разные тоны своего лирическаго настроенія. Природа еще болѣе располагала его къ *мечтательности*, которая была основною чертой его натуры, и подъ вліяніемъ Руссо новое поклоненіе природѣ имѣло непосредственнымъ результатомъ своимъ небывалое въ европейскомъ обществѣ развитіе мечтательности (*rêverie*). Мечтательность легко принимаетъ элегическій оттѣнокъ, и потому даже въ минуты счастья и душевнаго покоя

¹⁾ См. стихотвореніе Шиллера—«Прогулка»:

Здравствуй, веселое поле, ты, шелестящая липа...

Здравствуй и ты, синева, захватившая въ мирный свой куполь.

И меня, который, бѣжавъ изъ комнаты душной

И отъ пошлыхъ рѣчей, ищетъ спасенья въ тебѣ...

О, разомкните же стѣны, дайте плѣннику выходъ!

Онъ спасень и бѣжитъ въ лоно покинутыхъ нивъ...

Перев. *Крещева* въ издан. *Гербеля*.

²⁾ «Rousseau est un homme de foi;... il croit à la nature comme on croit à l'Écriture; il la voit surement, il l'interprète infailliblement; il reçoit directement la lumière qu'il renvoie sur le genre humain...» *Bersot*. Введеніе къ соч. Сен-Марка Жирардена о Руссо, стр. 16.

у Руссо и его послѣдователей въ наслажденіи природою звучить грустная нота и восхищеніе ея красотаи пробуждаетъ меланхолію ¹⁾.

Но такія минуты, когда Руссо безмятежно наслаждался природой, были рѣдки въ его жизни. Отсутствие правильнаго воспитанія и опредѣленныхъ, прочныхъ занятій чрезвычайно затрудняло положеніе Руссо, которое онъ постоянно ухудшалъ своимъ безпокойнымъ, нервнымъ темпераментомъ, болѣзненнымъ самолюбіемъ и крайнею подозрительностью по отношенію къ людямъ. Недостаточно сознавая причины своихъ бѣдствій, Руссо раздражался противъ жизни и людей и дошелъ до полнаго разлада съ обществомъ.

Этотъ разладъ все болѣе и болѣе обострялся вслѣдствіе оригинальности его литературнаго направленія и столкновений со всѣми литературными партіями и общественными силами—съ Вольтеромъ, съ энциклопедистами, съ католическою церковью и свѣтскою цензурой. Въ тяжелыя минуты разрыва съ друзьями, разочарованія, вызваннаго уязвленнымъ самолюбіемъ и романтическимъ увлеченіемъ женщинами, въ пору гнетущей нищеты и политическаго преслѣдованія—Руссо находилъ убѣжище и забвеніе отъ своихъ золъ только въ уединеніи съ природою, и къ поэтической прелести, которую онъ всегда въ ней находилъ, стало примѣшиваться чувство живой, личной благодарности ²⁾.

Рѣзкій контрастъ, который Руссо ощущалъ между блаженствомъ, какое ему давала природа и бѣдствіями, какія онъ испытывалъ въ обществѣ себѣ подобныхъ, все болѣе и болѣе разрастался въ его глазахъ и привелъ его наконецъ къ со-

1) Стихотвореніе Шиллера—«Прогулка» — первоначально носило заглавіе—«Элегія». Вообще всѣ раннія произведенія Шиллера проникнуты меланхолическимъ отбѣнкомъ въ наслажденіи природой. Карлъ Моръ, глядя на закатъ солнца, заливаясь слезами и потомъ восклицаетъ: «Было время, когда слезы мои такъ сладко лились... О, замокъ отцовъ моихъ, мечтательныя долины!... Горюй со мной, природа!»

2) «Il sentit dans son coeur une reconnaissance attendrie pour la nature». *P. Albert.*—*La Littérature Franç. au XVIII sc.*, p. 225.

знанію рѣшительнаго антагонизма между *природой* и чело-вѣческимъ обществомъ. Природа, т. е. физическій міръ, становилась для него символомъ стройнаго порядка, по мѣрѣ того, какъ „общество“ и нравственный міръ все болѣе казались ему построенными на неправдѣ. Подъ вліяніемъ этого чувства Руссо влгаетъ въ уста савойскому викарію слѣдующія слова: „Когда я рассматриваю различные общественные слои и людей, ихъ составляющихъ, какое зрѣлище меня поражаетъ! Картина природы представляла мнѣ одну гармонію и стройность, а челоуѣчество — одну лишь смуту и беспорядокъ. Согласіе царствуетъ между стихіями, а люди повержены въ хаосъ. Животныя счастливы, одинъ только ихъ царь бѣдствуетъ“ ¹⁾. Этотъ контрастъ между природой и обществомъ сдѣлался источникомъ безконечныхъ размышленій для наиболѣе сентиментальныхъ послѣдователей Руссо. Бернарденъ де Сен-Пьеръ, наприм., написалъ на эту тему цѣлое сочиненіе, которое имѣло громаднй успѣхъ и доставило ему всемірную славу. Планъ этого сочиненія—„Etudes de la nature“, по опредѣленію самого автора, заключался „въ изслѣдованіи наслажденій, доставляемыхъ природой, и бѣдствій, причиняемыхъ намъ обществомъ“.

Самъ Руссо однако не ограничился такой мирной пропагандой во славу природы. Природа, гармоніей и миромъ которой онъ наслаждался, сдѣлалась для него орудіемъ неуклонной и неутомимой борьбы противъ современнаго общества и представляемой имъ цивилизаціи. Точкой отправленія этой борьбы было понятіе о *состояніи природы* (*état de la nature*) или о *естественномъ состояніи* (*état naturel*) челоуѣка.

Понятіе о *естественномъ состояніи* было давно извѣстно въ публицистической литературѣ и представляло собой *филло-*

¹⁾ «Emile», IV, p. 69. Эту мысль почти буквально повторилъ Карлъ Моръ: «Es ist doch eine so göttliche Harmonie in der seelenlosen Natur, warum sollte dieser Missklang in der vernünftigen sein?» Въ другомъ мѣстѣ Руссо говоритъ: «Il y a un si bel ordre dans l'ordre physique et tant de désordre dans l'ordre moral, qu'il faut de toute nécessité, qu'il y ait un monde, où l'âme soit satisfaite... *St. Beuve. Caus. VI, p. 349.*

софскую фикцію, служившую для обозначенія общественнаго быта, отвлеченнаго разсудкомъ отъ всѣхъ конкретныхъ признаковъ исторической жизни, государственнаго устройства, сословныхъ учреждений, національныхъ и племенныхъ отличій.

Иногда же это самое выраженіе обозначало *историческую фикцію*, воображаемое состояніе людей въ первобытномъ періодѣ до образованія государства и семьи, до развитія самыхъ простыхъ и первичныхъ проявленій цивилизаціи. Руссо овладѣлъ этой отвлеченною формулой, разукрасилъ ее своей поэтической фантазіей, вдохнулъ въ нее жизнь своею страстностью, своею любовью къ природѣ и своею ненавистью къ цивилизованному обществу. Безжизненный терминъ о естественномъ состояніи превратился у Руссо въ полупоэтическое, полужантасическое представленіе, для котораго онъ заимствовалъ свои краски изъ историческихъ преданій, изъ описаній быта дикарей у современныхъ путешественниковъ и сентиментальныхъ мечтаній *на лонъ природы*. Естественное состояніе сослужило для Руссо двойную службу. Въ „*Contract social*“ оно является тѣмъ состояніемъ, которое предшествуетъ общественному договору и вступаетъ снова въ силу, какъ скоро этотъ договоръ нарушенъ. Такимъ образомъ оно принимается здѣсь за основаніе всякаго нормальнаго политическаго порядка, за исходную точку возможнаго въ будущемъ правильнаго развитія человѣческаго общества. Но въ совершенно другомъ смыслѣ употреблялось это понятіе въ знаменитыхъ „*Разсужденіяхъ*“ Руссо, которыя положили основаніе его славы. Руссо возвелъ здѣсь естественное состояніе не только въ поэтическій идеаль, что дѣлалось до него, но и въ *обличительный аргументъ* противъ цивилизаціи. Античную легенду о золотомъ вѣкѣ онъ обратилъ въ страстную, пропитанную горечью, декламацію противъ всякой человѣческой культуры. И не тѣ или другія черты современнаго общественнаго строя, не тѣ или другія формы цивилизаціи вызывали его безпощадное негодованіе, — нѣтъ, вся человѣческая культура вообще, все, что появляется и развивается вмѣстѣ съ цивилизаціей — образованіе и наука, искусство и театр, обществен-

ныя учрежденія и собственность, церковь и государство—вся жизнь человѣчества, вся исторія являются подъ освѣщеніемъ Руссо постепеннымъ уклоненіемъ отъ природы, прогрессивнымъ паденіемъ.

Риторическій походъ Руссо противъ цивилизаціи со всѣми ея проявленіями матеріальнаго благосостоянія и духовнаго развитія имѣлъ въ свое время глубокое значеніе, — имѣетъ его отчасти и теперь, несмотря на вычурно-патетическое и незрѣлое краснорѣчіе, на скудную и мѣстами просто ребяческую аргументацію, которыми окутана основная мысль „Разсужденій“. Обѣ диссертации Руссо представляютъ собой, въ крайне парадоксальной формѣ, протестъ противъ цивилизаціи, которой достигло современное общество. Особенною парадоксальностью отличается второе „Разсужденіе“, направленное противъ гражданскаго и политическаго строя цивилизованныхъ обществъ и написанное на тему, что главныя бѣдствія, какимъ подвергаются въ современной жизни отдѣльныя лица и цѣлыя массы, происходятъ отъ неравенства между людьми; самое же неравенство есть слѣдствіе общежитія и цивилизаціи. Поэтому Руссо орошаетъ слезами всякое проявленіе возникающей среди человѣчества культуры и встрѣчаетъ съ проклятіемъ всякій шагъ, который дѣлалъ человѣкъ на этомъ пути. Точкой отправленія роковой исторіи человѣчества служитъ въ глазахъ Руссо естественное состояніе человѣка, или, правильнѣе сказать, животное состояніе ¹⁾, въ которомъ онъ представляетъ себѣ первобытнаго человѣка. Этотъ первобытный человѣкъ не знаетъ семьи, не имѣетъ жилища и живетъ въ полномъ

1) «En considérant l'homme tel qu'il a dû sortir des mains de la nature, je vois un animal moins fort que les uns, moins agile que les autres, mais à tout prendre organisé le plus avantageusement de tous». Сочувствіе Руссо къ животному состоянію человѣка предпочтительно передъ культурнымъ бытомъ, который дѣлаетъ человѣка злымъ, проявляется очень характерно: «Il ne faut point nous faire tant de peur de la vie purement animale, ni la considérer comme le pire état où nous puissions tomber, car il vaudrait encore mieux ressembler à une brebis qu'à un mauvais ange». Réponse à m-r Bordes, I, p. 52. Ed. Hach.

одиначествѣ, отъ котораго онъ только временно отказывается, побуждаемый физическими потребностями. Пока продолжается это одиночество, пока человѣкъ не имѣетъ почти никакихъ потребностей, онъ совершенно счастливъ. Но какой-то злой рокъ, „какое-то случайное стеченіе разныхъ обстоятельствъ, которыя могли бы никогда не появиться“, побудили человѣка отказаться отъ его блаженнаго состоянія. Первымъ шагомъ къ паденію было постоянное жилище. Сначала человѣкъ, чтобъ отдохнуть, ложился подъ любымъ деревомъ или укрывался въ первой пещерѣ; но вотъ ему пришла охота выкопать себѣ яму или устроить себѣ шалашъ изъ вѣтвей: „это былъ, говоритъ Руссо, первый переворотъ въ человѣческой жизни, вызвавшій возникновеніе и различеніе семьи и породившій извѣстнаго рода собственность, слѣдствіемъ чего были можетъ-быть уже многія ссоры и столкновенія“. Устройство шалаша повлекло за собой разведеніе огорода и земледѣліе; для земледѣлія нужны были желѣзные орудія, и это вызвало обработываніе металловъ.

Послѣ жилища и семьи земледѣліе и металлургія являются новыми шагами на пути человѣческаго паденія. Въ глазахъ поэтовъ, — восклицаетъ Руссо, — золото и серебро, но по мнѣнію философовъ—желѣзо и хлѣбъ цивилизовали людей и погубили человѣческій родъ. Всѣ упомянутыя перемены въ бытѣ естественнаго человѣка въ сущности уже вызвали личную собственность. Тѣмъ не менѣе Руссо встрѣчаетъ ея появленіе въ исторіи съ отчаяніемъ и патетическимъ проклятіемъ: „первый, — говоритъ онъ, — кто, огородивъ участокъ земли, рѣшился сказать: это принадлежитъ мнѣ— и нашелъ людей настолько простоватыхъ, что они повѣрили ему, — долженъ считаться настоящимъ основателемъ человѣческаго общества. Отъ сколькихъ преступленій, войнъ, убійствъ, бѣдствій и ужасовъ избавилъ бы человѣчество тотъ, кто, вырвавши колья или заваливъ ровъ, закричалъ бы своимъ товарищамъ: берегитесь, не слушайте этого обманщика“ ¹⁾.

¹⁾ Oeuvres, VIII, 116.

Съ такимъ же риторическимъ негодованіемъ Руссо встрѣчаетъ потомъ государство и установленіе законовъ и такими же парадоксами объясняетъ ихъ происхожденіе.

Мы уже говорили о парадоксальности ума Руссо и приводили это свойство его въ связь съ его характеромъ, съ самолюбіемъ и тщеславіемъ, которыя его мучили и побуждали выдаваться и отличаться отъ другихъ не только оригинальнымъ образомъ мысли, но и образомъ жизни, вкусами, даже костюмомъ. Въ этомъ отношеніи въ парадоксахъ Руссо было много искусственнаго; можно даже сказать, что побужденіемъ къ нимъ былъ иногда извѣстный расчетъ, и нельзя не признать нѣкоторой доли правды въ замѣчаніи Сень-Маркъ-Жирардена, что Руссо начинаетъ съ парадокса, чтобы привлечь къ себѣ толпу, что парадоксъ служить ему какъ бы сигналомъ для того, чтобы возвѣстить истину, и что „этотъ авторъ сначала поднимаетъ шумъ, чтобы затѣмъ принести пользу“ ¹⁾.

Однако, въ виду того, что Руссо въ минуту спокойнаго размышленія и ученой полемики легко отказывался отъ своихъ парадоксовъ, не слѣдуетъ видѣть въ нихъ лишь литературный маневръ. Помимо самолюбія и извѣстнаго расчета, парадоксы Руссо имѣли еще другой, и можетъ-быть главный источникъ, сильное возбужденіе *чувства*. Парадоксы этого писателя чаще всего свидѣтельствуютъ о томъ сильномъ *аффектѣ*, подъ влияніемъ котораго онъ писалъ, и служатъ ясными симптомами господствовавшихъ въ немъ симпатій и антипатій. На историкѣ лежитъ обязанность объяснить, чѣмъ аффектъ былъ вызванъ и какому чувству онъ служилъ выраженіемъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что *Разсужденіе* о причинахъ неравенства между людьми пропитано такъ сказать насквозь чувствомъ негодованія и злобы противъ всякаго различія между людьми въ общественномъ положеніи и имуществѣ, и если называть, по примѣру Жирардена, „парадоксъ, лежащій въ

1) «Le paradoxe sert toujours ainsi de tambour à la vérité et l'auteur s'arrange pour faire du bruit avant et afin de faire du bien». T. I, p. 49.

основаніи этого разсужденія, барабаннымъ боемъ“, то барабанный бой въ этомъ случаѣ возвѣщалъ не истину, а приближеніе тѣхъ фанатическихъ массъ, которыя тридцать лѣтъ спустя разоряли дворянскіе замки и взяли приступомъ Тюльери. Но помимо этого взрыва политической страсти, послужившей сигналомъ для французской демократіи, упомянутое *Разсужденіе* проникнуто еще другимъ чувствомъ, которое имѣетъ болѣе близкое отношеніе къ разсматриваемому нами вопросу. Это чувство недовѣрія, антипатіи къ способности человѣка совершенствоваться (*la faculté de se perfectionner*). Указавъ на то, какъ мало человѣкъ въ естественномъ состояніи отличается отъ животнаго, Руссо съ огорченіемъ отмѣчаетъ въ немъ одну своеобразную черту, а именно эту способность къ цивилизаціи, которой онъ приписываетъ всѣ бѣды человечества. „Съ грустью, говоритъ онъ, мы принуждены признаться, что именно эта отличительная и почти безпредѣльная способность есть источникъ всѣхъ несчастій человѣка; что именно она съ теченіемъ времени вырываетъ его изъ того первобытнаго положенія, въ которомъ его дни протекали бы въ спокойствіи и невинности; что, порождая съ теченіемъ вѣковъ его просвѣщеніе и его заблужденія, его пороки и добродѣтели, она дѣлаетъ его тираномъ надъ самимъ собой и надъ природой. Не ужасно ли, что намъ приходится прославлять, какъ благодѣтеля человечества, того, кто первый завелъ у прибрежныхъ жителей Ореоко тѣ дощечки, которыми они сдавливаютъ виски своихъ дѣтей и которыя обезпечиваютъ послѣднимъ по крайней мѣрѣ извѣстную долю ихъ неразвитости и ихъ первобытнаго счастья“¹⁾.

Здѣсь парадоксъ, что умственное развитіе, вѣками совершающееся, есть корень всего зла, выраженъ въ такой формѣ, что читатель могъ бы принять его за иронію; но стоитъ перевернуть лишь нѣсколько страницъ, чтобы убѣдиться въ полной искренности Руссо и встрѣтиться съ пресловутымъ изреченіемъ, что „размышленіе есть противоестественное со-

¹⁾ Disc. s. l'orig. de l'inég. Oeuv. VIII, p. 72.

стояніе и что человѣкъ размышляющій есть извращенное животное („l'état de réflexion est un état contre nature et l'homme qui médite est un animal dépravé“).

Этотъ коренной тезисъ Руссо представляется изреченіемъ какого-то сфинкса, а между тѣмъ именно онъ и есть та красная нить, которая вьется черезъ всѣ ткани его философской системы. Въ *Разсужденіи о неравенствѣ* онъ выраженъ прямо, но затемняется благодаря преобладанію политическихъ разсужденій и демократической страсти, и потому мы обратимся для выясненія его смысла къ первому *Разсужденію* Руссо, цѣликомъ посвященному развитію тѣхъ воззрѣній, которыя сконцентрированы въ приведенномъ нами парадоксѣ. Разсужденіе это, какъ извѣстно, было написано въ отвѣтъ на поставленный Дижонской академіей вопросъ: „Содѣйствовало-ли возрожденіе наукъ и искусствъ исправленію нравовъ?“—Руссо не ограничился поставленными въ этой темѣ рамками, но обобщилъ вопросъ и написалъ *разсужденіе* о роли наукъ и искусствъ въ исторіи цивилизаціи.

Этотъ первый публицистическій опытъ Руссо съ научной стороны еще слабѣе, чѣмъ второй, и уступаетъ послѣднему въ обдуманности плана и аргументаціи, а между тѣмъ заключаетъ въ себѣ болѣе относительной правды. Правда, скрывающаяся за декламаціей Руссо противъ наукъ и образованія, состоитъ въ протестѣ противъ неправильной и преувеличенной оцѣнки ихъ общественнаго значенія и культурной роли. Время, когда жилъ Руссо, чрезвычайно нуждалось въ предостереженіи отъ увлеченія знаніемъ, особенно же—одностороннимъ, поверхностнымъ образованіемъ, основаннымъ на чтеніи модныхъ книгъ. Представителями того знанія, противъ котораго возставалъ Руссо, были такъ-называемые философы, т.-е. главнымъ образомъ энциклопедисты и примыкавшіе къ нимъ литераторы и посѣтители салоновъ. Знаніе ихъ было полужнаніемъ, если судить о немъ съ точки зрѣнія современной науки, но притязанія ихъ были безпредѣльны. На основаніи своего неполнаго и отрывочнаго знанія они безапелляціонно рѣшали всѣ нравственные и политическіе вопросы,

не заботясь о практических результатах своих теорій, и съ крайнимъ пренебреженіемъ и высокомеріемъ относилсь ко всѣмъ, кто не стоялъ на уровнѣ ихъ знанія. Въ выходкахъ Руссо противъ тогдашнихъ представителей просвѣщенія много трезваго и справедливаго, особенно если освободить эти выходки отъ парадоксальной формы, которую онѣ облечены въ *Разсужденіи*, и принять въ соображеніе замѣчанія Руссо, разсѣянные по другимъ его сочиненіямъ.

Нерасположеніе Руссо къ *просвѣщенію* можно свести къ нѣсколькимъ причинамъ. Прежде всего слѣдуетъ отмѣтить у него сильное разочарованіе въ главномъ орудіи образованія—въ книгахъ и книжномъ чтеніи. Въ своемъ „Эмилѣ“, говоря о необходимости путешествовать и о причинахъ, почему чтеніе путешествій не можетъ замѣнить собственнаго опыта, Руссо произноситъ надъ книгами слѣдующій общій приговоръ: „Предоставимъ же это столь хваленое средство тѣмъ, кто въ состояніи имъ удовлетвориться. Подобно искусству Раймунда Лулла (схоластика) оно пригодно лишь на то, чтобы научить насъ болтать о томъ, чего мы не знаемъ. Оно годится, чтобы выдрессировать пятнадцатилѣтнихъ философовъ, какъ разсуждать въ салонахъ“ и т. д. ¹⁾

Въ этомъ случаѣ упрекъ, который Руссо дѣлаетъ книгамъ, мотивированъ болѣе или менѣе случайными недостатками и послѣдствіями ихъ. Но къ этому присоединяется другая, болѣе глубокая причина разочарованія въ нихъ. Книги и просвѣщеніе, которыя онѣ распространяютъ, безсильны противъ страстей и интересовъ людей, а потому не въ состояніи сдѣлать людей болѣе нравственными и болѣе счастливыми. Лучшее всего это убѣжденіе Руссо выражено въ его письмѣ къ членамъ Экономическаго Общества въ Бернѣ ²⁾, написанномъ двѣнадцать лѣтъ спустя послѣ появленія его перваго *Разсужденія*. „Предразсудки, которые обуславливаются только заблужденіемъ, могутъ быть разрушены; но тѣ,

1) Rous. «Emile», l. V, p. 243.

2) *Correspondance*, № 334.

которые основаны на новыхъ порокахъ, исчезнуть лишь вмѣстѣ съ ними. Вы хотите сначала научить людей истинѣ, чтобы сдѣлать ихъ болѣе мудрыми; но слѣдовало бы, совсѣмъ наоборотъ, сдѣлать ихъ сначала мудрыми для того, чтобы они могли любить истину. Истина почти никогда ни къ чему не приводила на свѣтъ, потому что люди всегда болѣе руководятся своими страстями, чѣмъ своимъ знаніемъ (*lumières*), и потому что, одобряя хорошее, они въ то же время поступаютъ дурно. Вѣкъ, въ которомъ мы живемъ, одинъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ, даже въ нравственныхъ вопросахъ: но развѣ же онъ лучше другихъ? — Книги ни къ чему не годны. То же самое я скажу объ академіяхъ и литературныхъ обществахъ; всему, что изъ нихъ выходитъ, люди оказываютъ только безплодное сочувствіе. Нѣтъ, господа, вы можете просвѣтить народы, но вы не сдѣлаете ихъ ни лучше, ни болѣе счастливыми“.

Противопоставляя *просвѣщенію* предрасудки и страсти, какъ непреодолимыя препятствія, Руссо идетъ еще дальше. Людскія страсти не только дѣлаютъ безплодными научныя истины и просвѣтительныя стремленія, но онѣ часто отравляютъ самый источникъ просвѣщенія, потому что сами *просвѣтители* нерѣдко менѣе одушевлены истиной, чѣмъ собственными интересами и страстями. Эту мысль Руссо выразилъ очень рельефно, между прочимъ, въ своемъ *посланіи* къ архіепископу парижскому, осудившему его „Эмиля“: „Я всегда замѣчалъ, — говоритъ Руссо, — что народное просвѣщеніе страдаетъ двумя существенными пороками, которые невозможно устранить. Одинъ — это неискренность (*la mauvaise foi*) тѣхъ, отъ кого оно исходитъ, другой — ослѣпленіе тѣхъ, кто его получаетъ. Если бы люди безъ страстей просвѣщали людей безъ предрасудковъ, наши познанія заключались бы въ болѣе тѣсныхъ предѣлахъ, но были бы вѣрнѣе, и разумъ всегда бы господствовалъ. Но что бы мы ни стали дѣлать, общественные дѣятели всегда будутъ одинаково руководиться интересомъ; предрасудки же народа, не имѣя прочнаго основанія, болѣе доступны переменамъ, — они могутъ

быть видоизмѣнены, замѣнены, увеличены и уменьшены. Потому только въ этомъ отношеніи просвѣщеніе можетъ имѣть нѣкоторый успѣхъ и въ эту сторону должны быть направлены старанія друзей истины. Они могутъ надѣяться сдѣлать народъ болѣе разумнымъ, но не могутъ рассчитывать сдѣлать болѣе честными тѣхъ, кто имъ руководить“.

Руссо, однако, вовсе не того мнѣнія, что эта борьба просвѣщенія противъ предрасудковъ народа должна быть безусловна и безпредѣльна. Въ приведенномъ письмѣ къ членамъ Бернскаго Экономическаго Общества Руссо безъ обиняковъ заявляетъ своимъ соотечественникамъ, что держится въ этомъ отношеніи другого взгляда, чѣмъ они. Одинъ изъ вопросовъ, поставленныхъ этимъ Обществомъ на премію, былъ слѣдующій: существуютъ ли почтенные предрасудки, публично опровергать которые добрый гражданинъ долженъ остерегаться (*se faire un scrupule*)? „Я не могу скрыть отъ васъ, — пишетъ по этому поводу Руссо, — что я высказался бы вмѣстѣ съ Платономъ въ утвердительномъ смыслѣ, но это, конечно, не соотвѣтствуетъ цѣли, съ которой поставленъ вами этотъ вопросъ“. Ту же мысль Руссо выразилъ слѣдующимъ образомъ въ письмѣ къ Борду, въ которомъ онъ защищалъ себя отъ нападковъ и возраженій, посыпавшихся на него послѣ появленія въ свѣтъ его перваго *Разсужденія*. „Я уже сто разъ говорилъ — хорошо, что существуютъ философы; лишь бы народъ не вздумалъ имъ подражать“¹⁾.

Эти возраженія и оговорки Руссо противъ книжнаго образованія и просвѣтительныхъ тенденцій *философовъ* показываютъ, въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать его филиппику противъ *наукъ* и *искусствъ*. Эти возраженія направлены противъ неумѣстныхъ притязаній и слѣплого доктринерства просвѣтителей, противъ высокомернаго властолюбія и личнаго интереса, нерѣдко скрывающихся за просвѣтительною ролью, противъ безусловнаго господства въ народѣ и надъ народомъ книжнаго, рационалистическаго образованія. Руссо

1) «Pourvu que le peuple ne se mêle pas de l'être.

старается оградить отъ этого господства ту сферу жизни и тотъ слой народа, гдѣ оно можетъ принести не пользу, а только вредъ. Разумную сторону протеста Руссо противъ просвѣщенія нужно видѣть въ томъ, что оно представляется ему само по себѣ не высшею цѣлью, а лишь средствомъ—желательнымъ на столько, на сколько оно содѣйствуетъ благоденствію и нравственному усовершенствованію общества и народа. Эту разумную сторону протеста Руссо нужно имѣть въ виду, чтобы не смѣшивать ее съ крайностями, къ которымъ онъ былъ такъ склоненъ въ литературной полемикѣ и въ увлеченіи парадоксами, и чтобъ отличить его направленіе отъ другихъ аналогическихъ тенденцій.

Подобные протесты противъ наукъ и образованія раздаются издавна, и мотивы, которыми они бывали внушены, чрезвычайно различны. Прогрессъ знанія и притязанія науки не разъ осуждались въ средніе вѣка съ религіозной или церковной точки зрѣнія, и сѣтованія Руссо на науку иногда буквально тождественны съ приговоромъ клерикальныхъ писателей новаго времени. Не даромъ реакція романтизма противъ просвѣтительнаго направленія примыкаетъ въ этомъ случаѣ къ Руссо, и критическія нападки графа де-Местра на философію совершенно совпадаютъ съ выходками Руссо ¹⁾. Съ совершенно другой точки зрѣнія ополчается противъ науки грубый и близоруко-утилитарный демократизмъ, отвергающій въ области наукъ все, что не служитъ непосредственно матеріальнымъ интересамъ массы и все, что превышаетъ уровень ея пониманія. Руссо, какъ вождь крайней демократіи, вполне разделяетъ ея антипатію къ наукѣ за то, что послѣдняя становится источникомъ новаго, духов-

¹⁾ Любопытно, что съ противоположной стороны въ апології знанія сошлись іезуиты съ современными послѣдователями Бокля, утверждающими, что нравственный прогрессъ обуславливается успѣхомъ наукъ и распространеніемъ реальныхъ свѣдѣній въ массѣ. Подобнымъ же образомъ одинъ іезуитъ доказывалъ въ 1753 году, вопреки Руссо, что «любовь къ наукамъ внушаетъ любовь къ добродѣтели».

наго неравенства ¹⁾, и потому въ его *Разсужденіи* мѣстами слышится какъ бы голосъ какого-нибудь современнаго народника, вопіющаго противъ науки „ненужной для народа“. Но хотя онъ говоритъ то языкомъ религіознаго фанатизма, прославляя подвигъ халифа Омара, предавшаго огню Александрійскую бібліотеку, то — демократическаго фанатизма, мотивы его протеста противъ книгъ и наукъ существенно отличаются отъ клерикальной или демократической вражды къ образованію. Онъ ополчается противъ книгъ и наукъ не столько потому, что онѣ заглушаютъ религіозное чувство, и не потому только, что онѣ нарушаютъ равенство, но въ интересахъ нравственности и добродѣтели.

Въ этой именно области, т.-е. въ области этики, нужно, какъ мы думаемъ, искать главную заслугу Руссо; здѣсь по крайней мѣрѣ она несомнѣнна. Чтобы оцѣнить ее, нужно вспомнить, какой взглядъ на нравственность преобладалъ въ эпоху Руссо; то было время господства сенсуализма, ученій Гельвеція и Гольбаха, сводившихъ все нравственныя побужденія и поступки на эгоизмъ, признававшихъ одинъ только эгоизмъ источникомъ и мѣриломъ какъ частной, такъ и гражданской добродѣтели. Противъ этого мертвящаго ученія Руссо возвысилъ свой краснорѣчивый голосъ; онъ сумѣлъ пробудить въ сердцахъ своихъ многочисленныхъ читателей такія чувства, предъ которыми была бессильна аргументація модныхъ въ то время *философовъ*. „Они утверждаютъ, — говоритъ Руссо, — что всякій содѣйствуетъ общественному благу ради собственнаго интереса. Но откуда же происходитъ то, что праведникъ содѣйствуетъ этому благу себѣ въ ущербъ? Что значить идти на смерть ради собственной выгоды? Конечно, всякій дѣйствуетъ въ своемъ интересѣ (*n'agit que pour son*

¹⁾ По вѣрному замѣчанію Сень-Маркъ Жирардена въ основаніи крайней демократіи лежитъ идея, что власть принадлежитъ толпѣ, все равно, образована ли она или невѣжественна (*qu'il y a un droit dans la foule, qu'elle soit instruite ou qu'elle soit ignorante*). Съ этой точки зрѣнія образованіе есть нѣчто излишнее, ненужная и часто даже опасная, роскошь стр. 43.

bien); но если не существует нравственного интереса (un bien moral), который нужно принимать въ соображеніе, тогда никогда не удастся объяснить людскія дѣйствія эгоизмомъ, или же придется ограничиться объясненіемъ только поступковъ дурныхъ людей. Но уже слишкомъ отвратительна была бы та философія, которая пришла бы въ затрудненіе отъ благородныхъ поступковъ и относительно ихъ не знала бы другого выхода, какъ придумать для нихъ низкія намѣренія и неблагородныя побужденія“.

Отвергнувъ ученіе, которое безразлично объясняло все людскіе поступки расчетомъ и эгоизмомъ и такимъ образомъ пришло къ отрицанію нравственности и добродѣтели, Руссо призналъ источникомъ послѣднихъ особое самостоятельное начало въ человѣческой душѣ, которое онъ обыкновенно называлъ совѣстью (conscience). Этика Руссо не представляетъ, конечно, строго обдуманной и логически проведенной системы; противорѣчія въ ней встрѣчаются на каждомъ шагу, декламация и нравственная проповѣдь занимаютъ въ ней больше мѣста, чѣмъ философскія разсужденія и аргументация; несмотря однако на это, успѣхъ новой доктрины былъ громаденъ, и вліяніе ея сказалось въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ. Въ самомъ принципѣ, на которомъ Руссо построилъ свою этику, не было ничего особенно новаго. Другіе моралисты до него отыскивали съ большею глубиной и съ болѣе философскимъ методомъ въ человѣческой душѣ самостоятельное начало этики, но что дало доктринѣ Руссо особенное значеніе и что составляетъ ея оригинальность—это ея связь съ другими понятіями и тенденціями Руссо.

Нравственное чувство въ человѣкѣ, или совѣсть, какъ его называетъ Руссо, рѣзко разграничивается имъ отъ разсудка и даже противопоставляется ему. Это—*инстинктъ*, который дѣйствуетъ независимо отъ указаній разума и стоитъ даже выше его, ибо не подверженъ подобно ему заблужденіямъ. „О, совѣсть,—воскликаетъ Руссо,—божественный инстинктъ, бессмертный и небесный голосъ, вѣрный руководитель невѣжественнаго и ограниченнаго существа, но разум-

наго и свободнаго, непогрѣшимый судья надъ добромъ и зломъ, дѣлающій человѣка подобнымъ Богу! Тебѣ мы обязаны превосходствомъ нашей природы и нравственностью нашихъ поступковъ; безъ тебя я не ощущаю въ себѣ ничего, что ставило бы меня выше животныхъ, кромѣ печальной привилегіи блуждать отъ одной ошибки къ другой, опираясь на разсудокъ безъ твердыхъ правилъ и на разумъ безъ руководящаго начала“¹⁾.

Такъ же опредѣленно Руссо противопоставляетъ совѣсть разуму въ „Новой Элоизѣ“, гдѣ онъ влагаетъ свои убѣжденія въ уста героя этого романа Сень-Прё и по поводу его объясненій дѣлаетъ отъ себя слѣдующее замѣчаніе, прямо направленное противъ энциклопедистовъ: „Сень-Прё отождествляетъ нравственную совѣсть съ чувствомъ, а не съ сужденіемъ; это противорѣчитъ опредѣленіямъ философовъ. Я думаю, однако, что въ этомъ отношеніи ихъ вымышленный сотоварищъ правъ“. Такимъ образомъ источникъ нравственности сводится на прирожденный человѣку *инстинктъ*. Этотъ инстинктъ, а не разумъ, по мнѣнію Руссо, есть самый вѣрный руководитель человѣка въ его дѣятельности. Совѣсть не что иное, какъ инстинктивное влеченіе къ добру и инстинктивное отвращеніе отъ зла; голосъ этой совѣсти всегда указываетъ человѣку тотъ нравственный законъ, которому онъ долженъ слѣдовать въ данномъ случаѣ. „Не достаточно ли,—воскликаетъ Руссо,—войти въ самого себя для того, чтобы познаться съ законами добродѣтели и прислушаться къ голосу своей совѣсти при молчаніи страстей? Вотъ въ чемъ заключается истинная философія, — будемъ ею довольствоваться“.

Но, противопоставляя нравственный инстинктъ или совѣсть разсудку, Руссо въ то же время приводитъ ее въ связь съ тѣмъ понятіемъ, которое играетъ такую роль въ его ученіи, съ *природой*. Голосъ совѣсти совпадаетъ съ голосомъ природы. Голосъ природы вопіетъ у Руссо противъ „отвратительной философіи“, основывающей добродѣтель и гра-

1) Prof. de foi du V. S. «Emile», IV, p. 82.

жданскую доблесть на личномъ интересѣ. „Слава Богу,—восклицаетъ онъ,—мы теперь избавлены отъ всего этого ужаснаго философскаго построенія (arrageil); мы можемъ быть людьми, не будучи учеными; намъ не нужно истощать свою жизнь въ изученіи этики; мы приобрѣли за меньшую цѣну вѣрнаго руководителя среди лабиринта человѣческихъ мнѣній. Но не достаточно, чтобъ этотъ руководитель существовалъ,—надо умѣть его распознать и слѣдовать ему. Если онъ говоритъ всякому сердцу, почему же такъ мало людей, которые его понимаютъ?—А это происходитъ отъ того, что онъ говоритъ намъ языкомъ природы, который все заставляло насъ забыть“.

Въ связи съ этими воззрѣніями Руссо получаетъ свое полное освѣщеніе знаменитый афоризмъ: „размышленіе есть противоестественное состояніе, и человѣкъ размышляющій есть извращенное животное“. Французское мышленіе, начавъ съ Декартовскаго *cogito, ergo sum*, пришло въ этомъ афоризмѣ къ самоотрицанію. Тамъ мысль признавалась исходною точкой человѣческаго сознанія, здѣсь же размышленіе отвергается въ виду того, что оно низводитъ человѣка ниже животнаго. И почему размышленіе такъ опасно и вредно для человѣка?—Потому, что оно заглушаетъ въ немъ голосъ природы, тотъ нравственный инстинктъ, который „дѣлаетъ человѣка подобнымъ Божеству“.

Такимъ образомъ *паденіе* человѣчества, вышедшаго изъ естественнаго состоянія вслѣдствіе работы разума и развитія цивилизаціи, двойное. Положеніе человѣка стало ухудшаться съ тѣхъ поръ, какъ онъ вступилъ въ общежитіе и образовалъ государство, и въ то же время самъ человѣкъ сталъ нравственно извращаться съ тѣхъ поръ, какъ предался размышленію, сталъ заниматься науками и стремиться къ знанію. Съ развитіемъ цивилизаціи и знанія человѣкъ дѣлается несчастнымъ, и самъ онъ становится хуже. Цивилизація и размышленіе лишаютъ его первоначальнаго благополучія и въ то же время безпорочной нравственности, которою онъ надѣленъ отъ природы.

Такъ Руссо среди общества, утонченно цивилизованнаго и развитога, въ самый вѣкъ отвлеченнаго разума и расчужденнаго *просвѣтленія*, смѣло бросаетъ перчатку основному принципу этого вѣка. Онъ проповѣдуетъ возвращеніе къ природѣ и къ естественному состоянію, обращеніе отъ философіи и знанія къ нравственному чувству, прирожденному человѣку. Онъ открыто и рѣшительно отдаетъ преимущество въ жизни человѣка темному слою ощущеній передъ мыслью и сознаніемъ, посредствомъ которыхъ человѣкъ вышпается надъ животною жизнью. Настоящая роль Руссо въ исторіи культуры заключается въ томъ, что онъ провозглашаетъ не равноправность только, но преимущество инстинкта предъ разумомъ. Добродѣтель человѣка, его нравственность обусловливаются господствомъ инстинктовъ, этимъ же обусловливается и счастье человѣка; и въ томъ и въ другомъ случаѣ инстинктъ представляется гораздо болѣе вѣрнымъ руководителемъ, чѣмъ мерцающій свѣтъ разума.

Оттого поклоненіе инстинкту, провозглашеніе его правъ становится исходною точкой для Руссо въ сочиненіяхъ, направленныхъ къ исправленію нравовъ и общественной жизни. Эманципація инстинкта отъ условныхъ общественныхъ понятій и правилъ и идеализація его составляютъ тайну того очарованія, которое имѣлъ въ свое время скучный дидактическій романъ Руссо. Относительная правда, которую заключала въ себѣ проповѣдь инстинкта среди общества, тяготившагося формами своего быта и пресыщеннаго унаслѣдованными отъ предковъ понятіями и предразсудками, — объясняетъ намъ, почему современное Руссо поколѣніе жадно зачитывалось его „Новой Элоизой“, обливая ее слезами и благословляя автора, какъ своего благодѣтеля.

Особенно плодотворнымъ реформаторомъ явился апостоль инстинкта въ области воспитанія; здѣсь давно пора было преобразовать старую систему и прервать рутину. Не сокрушать инстинкты человѣка, проявляющіеся въ ребенкѣ, не ломать природу, не противоборствовать ей должно было воспитаніе, по мысли Руссо, — напротивъ его задачей должно

быть развитіе и усовершенствованіе инстинктовъ и способностей, вложенныхъ природой. Ребенокъ ближе къ природѣ, чѣмъ взрослый человѣкъ. Онъ добръ и непороченъ, „ибо все непорочно, когда выходитъ изъ рукъ всемірнаго Творца“, и потому прежде всего необходимо освободить педагогію отъ „варварской догмы“ первороднаго грѣха. Человѣчество удалилось отъ состоянія природы путемъ цивилизаціи: въ каждомъ ребенкѣ природа снова протестуетъ противъ этого уклоненія отъ нея, снова заявляетъ о своихъ нарушенныхъ правахъ. Всѣ дѣти, — говоритъ Руссо, — лѣнивы и неохотно учатся; они чувствуютъ, что ученіе и размышленіе удаляютъ ихъ отъ естественнаго состоянія, — тайный инстинктъ говоритъ имъ, что счастье заключается въ невѣдѣніи. Здравая педагогія должна не насиловать этого природнаго расположенія. Она должна какъ можно позднѣе и бережнѣе отрывать ребенка отъ лона природы; она должна знать, что, какъ выразился Руссо, „чтеніе есть бичъ дѣтства“. Здравая педагогія, принаравливая ребенка къ искусственному обществу, въ которомъ ему придется жить, должна по крайней мѣрѣ по возможности приблизить воспитанника къ состоянію природы, къ человѣческому идеалу; поэтому воспитаніе должно сдѣлать изъ него не дворянина или мѣщанина, не француза или англичанина, а прежде всего человѣка.

Заслуги Руссо въ педагогіи достаточно извѣстны, но онѣ еще болѣе значительны, чѣмъ это обыкновенно себѣ представляютъ, такъ какъ потомки не могутъ имѣть полнаго понятія о томъ плачевномъ состояніи, въ которомъ находилось воспитаніе дѣтей въ XVIII вѣкѣ. Заслуги Руссо въ педагогіи должны быть признаны въ трехъ отношеніяхъ: нужно, во-первыхъ, имѣть въ виду все, что имъ устранено изъ области воспитанія, затѣмъ — то, что онъ туда внесъ, и наконецъ — непосредственное, благотворное вліяніе, которое онъ имѣлъ на матерей и на воспитателей. Для того, чтобы оцѣнить заслуги Руссо, какъ реформатора, нужно было бы подробно распространиться о варварствѣ и рутинѣ старой педагогіи, объ обычаяхъ, господствовавшихъ во всѣхъ классахъ

французскаго общества, отдавать дѣтей на воспитаніе по деревнямъ къ чужимъ людямъ, о жестокости тѣлесныхъ наказаній даже въ высшемъ классѣ, превышавшей всякое вѣроятіе ¹⁾, о механическомъ, внѣшнемъ способѣ обученія, о многопредметности школьной программы, о раннемъ вступленіи дѣтей въ общество салоновъ, гдѣ съ ними обращались, какъ съ взрослыми, величая—monsieur et madame.— Знакомый съ исторіей педагогіи читатель готовъ будетъ признать справедливость педагогической аксіомы Руссо: „Поступайте во всемъ противоположно обычному и вы, почти всегда, будете поступать правильно“.

Чтобы вполне оцѣнить переворотъ, произведенный Руссо въ педагогіи, нужно понять смыслъ его нововведеній и его теоріи. Руссо, можно сказать, открылъ *дѣтскій возрастъ*, первый старался проникнуть въ дѣтскій міръ, и хотя самъ онъ не выяснилъ внутренней жизни, психическаго состоянія ребенка, въ отличіе отъ взрослога, и даже ввелъ въ этотъ вопросъ много ложныхъ представленій, но все-таки, благодаря ему, эта главная задача педагогіи стала на первый планъ. Руссо положилъ основаніе новому плодотворному принципу, что въ ребенкѣ нужно искать и видѣть только ребенка, что педагогію и обученіе нужно сообразовать съ наклонностями и способностями дѣтскаго возраста, и не одно только лучшее пониманіе дѣтской природы было слѣдствіемъ этого новаго отношенія къ дѣтямъ: еще болѣе можетъ-быть значенія имѣла пробудившаяся у взрослыхъ *любовь* и нѣжность къ ребенку, безъ которой самая умная педагогическая теорія безжизненна и бесплодна. Какъ и всегда, эта любовь имѣла благотворныя послѣдствія не только для дѣтей, которыя были ея предметомъ, но и для тѣхъ, отъ кого она исходила. Для многихъ, особенно для женщинъ, любовь къ дѣтямъ сдѣлалась источникомъ нравственнаго перерожденія,

¹⁾ Для примѣра укажемъ на страницы въ мемуарахъ кардинала де-Берни, гдѣ описаны наказанія, которымъ онъ подвергался со стороны своего наставника-аббата.

и мы вполне можем вѣрить искренности тѣхъ женщинъ, которыя съ восторженною благодарностью признавались Руссо, что только ему онѣ обязаны тѣмъ, что стали испытывать материнскія чувства. Но, признавая всѣ эти заслуги Руссо, не слѣдуетъ однако увлекаться идеализаціей его педагогической теоріи; черезъ нее повсюду проходятъ два ложныхъ начала, которыя были, и еще могутъ быть, причиной многихъ заблужденій и практическихъ ошибокъ: во-первыхъ, ученіе, что въ человѣческомъ сердцѣ нѣтъ никакихъ дурныхъ задатковъ, никакихъ порочныхъ инстинктовъ, и что, вслѣдствіе этого, подобно тому, какъ въ людскомъ обществѣ все зло происходитъ только отъ законовъ, учрежденій и правительствъ, такъ въ ребенкѣ нѣтъ ни одного порока, относительно котораго нельзя было бы указать, какимъ путемъ онъ *извне* прокрался въ его чистое сердце. Мы готовы признать, что фантастическія представленія, которыми Руссо искажилъ свою теорію о природѣ ребенка, принесли свою долю относительной пользы: его увѣренія, что ребенокъ представляетъ собой естественное состояніе человѣка и что злоба въ ребенкѣ есть только слѣдствіе его физической слабости и что всѣ дурныя склонности въ дѣтяхъ прививаются къ нимъ только воспитателями и обществомъ—чрезвычайно содѣйствовали возбужденію у взрослыхъ той *жалости* и любви къ дѣтямъ, о которой мы говорили. Такъ какъ известная гармонія между разсудкомъ и чувствомъ есть удѣль немногихъ, то для большинства людей ложная идеализація предмета есть необходимый спутникъ пробуждающейся любви и симпатіи, и нерѣдко ихъ источникъ;—и въ этомъ смыслѣ можно сказать, что ложной идеализаціей ребенка у Руссо въ значительной степени обусловливались и восторгъ, и нравственное умиленіе, съ которыми матери и отцы, педагоги-теоретики и гувернеры привѣтствовали открывшійся предъ ними дѣтскій міръ. При всемъ этомъ ложная идеализація ребенка имѣла однако свою обратную сторону,—она послужила источникомъ *сентиментальности* въ педагогикѣ и такимъ образомъ породила новую искусственность, *аффектацію*

чувства, взаѣмнѣ разсудочной искусственности, прежде господствовавшей. Другое ложное начало заключалось въ неправильномъ и натянутомъ противоположеніи природы и *естественнаго* развитія — *цивилизациі* и *искусственнаго воспитанія*, въ установленіи враждебнаго антагонизма между природой и цивилизаціей, тогда какъ слѣдовало бы выставить цивилизацію въ ея истинномъ смыслѣ, какъ плодъ и результатъ естественнаго развитія человѣческой природы, а враждовать лишь съ пороками и предрасудками современнаго общества.

Къ какимъ ложнымъ практическимъ заключеніямъ привели эти ложныя начала въ области педагогическія — здѣсь не мѣсто разсматривать. Педагогическія теоріи Руссо привлекаютъ здѣсь наше вниманіе, насколько онѣ представляютъ аналогію съ его общественными теоріями и освѣщаютъ ихъ. То же самое искусственное противоположеніе цивилизаціи природѣ, побудившее Руссо видѣть въ ребенкѣ *неиспорченное* лжемудростью существо, заставило его идеализировать и тотъ общественный бытъ, который можно было съ большимъ или меньшимъ основаніемъ отождествить съ естественнымъ состояніемъ и выставить, какъ отрицаніе цивилизаціи. Такое образцовое состояніе Руссо отыскалъ въ бытѣ дикарей. И въ этомъ вопросѣ, такъ же, какъ въ области педагогическія, правда и ложь, софизмъ и нравственная проповѣдь, были тѣсно связаны у Руссо и сплетены другъ съ другомъ. Относясь съ особеннымъ интересомъ къ *дикарямъ*, Руссо плылъ по теченію вѣка и потворствовалъ наклонностямъ тогдашняго общества, для котораго подъ вліяніемъ современныхъ путешествій и такихъ популярныхъ сочиненій, какъ „Естественная исторія“ Бюффона, вопросъ о бытѣ и нравахъ дикарей сдѣлался моднымъ вопросомъ.

Съ своей стороны Руссо болѣе, чѣмъ кто-либо другой содѣйствовалъ существенной перемѣнѣ, происшедшей въ XVIII вѣкѣ въ отношеніяхъ европейцевъ къ дикарямъ. Когда европейцы въ *вѣкъ открытій* встрѣтились съ дикарями Америки и Африки, они преимущественно подъ вліяніемъ католиче-

скаго фанатизма, видѣли въ нихъ только невѣрныхъ и относился къ нимъ, какъ къ животнымъ. Филантропическій XVIII вѣкъ открылъ въ дикарѣ *человѣка*, но бѣда была въ томъ, что этотъ вѣкъ *просвѣтлѣнія* еще самъ не имѣлъ вѣрнаго понятія о *человѣкѣ*. Тамъ, гдѣ мы *наблюдаемъ*, люди XVIII вѣка *разсуждали*, и матеріалы, собранные путешественниками о бытѣ дикихъ народовъ, служили въ то время только поводомъ къ обличительной или нравственно-назидательной риторикѣ. Руссо справедливо упрекнули въ томъ ¹⁾, что когда онъ говоритъ о дикаряхъ, читатель недоумѣваетъ, какихъ дикарей онъ имѣетъ въ виду — негровъ ли Африки, краснокожихъ Сѣверной Америки, или же баснословныхъ троглодитовъ: для Руссо дикарь вообще — *le sauvage* — есть отвлеченная категорія, общее понятіе, которому не соотвѣтствуетъ ничего реальнаго. Какъ мало было у Руссо въ этомъ вопросѣ настоящаго знакомства съ предметомъ и научнаго отношенія къ нему, яснѣе всего обнаруживается изъ того, что онъ орангъ-утанговъ причислялъ къ дикарямъ. Руссо отвергаетъ рѣшительно всякое родство между обезьяной и человѣкомъ на томъ основаніи, что обезьяны не могутъ говорить, особенно же потому, что „эта порода несомнѣнно лишена способности усовершенствованія“; и между тѣмъ онъ вступаетъ въ полемику съ путешественниками, которые отказываются признать орангъ-утанговъ за людей. Руссо упрекаетъ ихъ въ недостаткѣ наблюдательности, въ предразсудкахъ и слишкомъ поспѣшныхъ сужденіяхъ, и самъ высказываетъ предположеніе, что орангъ-утанги — дикіе люди, порода которыхъ, искони разсѣянная по лѣсамъ, не имѣла случая развить ни одной изъ своихъ способностей, — однимъ словомъ, что орангъ-утангъ — настоящій *первобытный человѣкъ*, еще не вышедшій изъ того *состоянія природы*, которое Руссо принималъ за исходную точку въ своей борьбѣ противъ цивилизаціи ²⁾.

1) *Morley*: «Rousseau», I, p. 178.

2) Эта полемика Руссо по поводу орангъ-утанговъ занимаетъ нѣсколько страницъ въ его *примѣчаніяхъ* къ «Разсужденію о неравенствѣ». — Оеив. VIII p. 209—213.

Симпатіи Руссо колеблются между этимъ первобытнымъ состояніемъ, когда люди живутъ врозь, не имѣя семьи, не зная пороковъ и несчастій, потому что ощущаютъ только самыя простыя физическія потребности,—и между бытомъ дикарей, которые „уже удалились отъ перваго состоянія природы“, однако „занимаютъ золотую средину между апатіей первобытнаго состоянія и пылкой энергіей нашего эгоизма 1)“. Вслѣдствіе этого Руссо несмотря на идиллическое восхваленіе естественнаго состоянія, восхищается и слѣдующимъ за нимъ *дикимъ* состояніемъ, называя этотъ періодъ развитія человѣчества самымъ счастливымъ и продолжительнымъ—*настоящей молодостью міра*. Описывая печальную исторію развращенія человѣчества посредствомъ прогресса цивилизаціи, Руссо съ грустью оглядывается назадъ, на бытъ дикарей; въ его изображеніяхъ этого быта рельефнѣе всего выступаютъ двѣ черты, которыми онъ надѣляетъ бытъ дикихъ народовъ—счастье и нравственное превосходство передъ культурнымъ человѣкомъ. Руссо спрашиваетъ: „Слыхалъ ли кто, чтобы дикарь на свободѣ вздумалъ жаловаться на жизнь и искалъ смерти черезъ самоубійство? Это и не можетъ быть иначе, ибо дикарь желаетъ только того, что ему извѣстно; а такъ какъ онъ знаетъ лишь такіе предметы, которыми онъ уже обладаетъ, или которые легко можетъ пріобрѣсти, то ничто не можетъ сравниться съ спокойствіемъ его души и съ ограниченностью его разума“.—Руссо возстаетъ противъ смѣшного заблужденія, будто дикари подъ вліяніемъ своихъ страстей постоянно истребляютъ другъ друга; онъ опровергаетъ это указаніемъ на караибовъ, тотъ народъ, который наименѣе удалился отъ состоянія природы и именно поэтому особенно миролюбивъ въ любовной страсти и наименѣе подверженъ ревности, хотя и живетъ въ знойномъ климатѣ 2).

Съ другой стороны, дикарь *лучше* культурнаго человѣка: чувство состраданія въ немъ безсознательно, но живо; въ ци-

1) Oeuv. VIII, p. 129—130.

2) Ibid., p. 92, 221, 116.

вильзованномъ же человѣкѣ оно развито, но слабо. Подъ окномъ философа можно безнаказанно зарѣзать ближняго; заткнувъ уши и придумавъ нѣсколько поводовъ для своего оправданія, онъ легко можетъ заглушить въ себѣ голосъ природы. Дикарь же не обладаетъ этимъ удивительнымъ талантомъ и вслѣдствіе отсутствія мудрости и разума онъ всегда безъ оглядки предается первому чувству человѣчности.

Въ томъ, что Руссо говоритъ о довольствѣ дикарей своимъ бытомъ и объ ихъ кротости, есть извѣстная доля правды; но эта правда далека отъ реальнаго психологическаго изображенія ихъ, которое составляетъ задачу современныхъ этнографовъ и антропологовъ. Руссо и не ищетъ этой правды, — его цѣль въ томъ, чтобы установить какъ можно болѣе рѣзкій контрастъ между преимуществами дикаго состоянія и культурнаго быта. „Сравните, — говоритъ онъ, — безъ предубѣжденія эти два состоянія и изслѣдуйте, если можете, сколько новыхъ путей къ болѣзнямъ и къ смерти открылъ культурный человѣкъ помимо его злобы, его потребностей, его бѣдствій...“ И за этимъ слѣдуетъ страстное, ѣдкое, на цѣлой страницѣ безъ передышки излитое перечисленіе всѣхъ золъ современной культуры, и все для того, чтобы доказать, какъ дорого природа заставляетъ платить за пренебреженіе, съ которымъ относимся къ ея урокамъ ¹⁾).

Къ подобнымъ сравненіямъ давно уже прибѣгали для нравственныхъ или сатирическихъ цѣлей, и Руссо имѣлъ въ этомъ отношеніи много предшественниковъ. Напрасно, однако, его сопоставляютъ съ Тацитомъ и утверждаютъ, какъ, наприм., Морлей, будто „Руссо писалъ о дикомъ состояніи почти въ такомъ настроеніи духа, въ какомъ Тацитъ писалъ о Германіи“. Если бы это было такъ, „Германія“ Тацита не могла бы служить современной наукѣ основаніемъ для всѣхъ политическихъ, юридическихъ и экономическихъ изслѣдованій о бытѣ древнихъ германцевъ. Естественноѣе было въ этомъ случаѣ сопоставить Руссо съ Вольтеромъ и привести въ параллель

¹⁾ Ibid., p. 199.

романъ послѣдняго—„L'Ingénu“. Здѣсь появленіе простодушнаго и честнаго дикаря среди тогдашняго французскаго общества служить превосходною точкой отправленія для беспощадной критики религіознаго фанатизма и іезуитскаго ханженства, произвола и продажности администраціи и вообще пороковъ и предразсудковъ такъ-называемаго цивилизованнаго общества. И какъ Вольтеръ сумѣлъ воспользоваться этой темой, какъ искусно онъ заставляеть читателя смѣяться и негодовать, какъ мѣтко попадаетъ каждый ударъ его сатиры!.. Какъ слаба — сравнительно съ этимъ живымъ контрастомъ между наивнымъ и благороднымъ Гуронномъ и развращенными священниками и чиновниками—риторическая тирада Руссо: „Что за зрѣлище представляетъ для карамба трудная и завидная дѣятельность европейскаго министра! Сколько жестокихъ смертей не предпочель бы этотъ апатичный дикарь такой ужасной жизни, которая часто даже не вознаграждается удовольствіемъ дѣлать добро!“

Преимущество, которое, вѣроятно, многіе читатели въ данномъ случаѣ готовы будутъ отдать Вольтеру передъ Руссо, обусловливается не столько различіемъ между сатирическимъ и риторическимъ отношеніемъ къ предмету, сколько основною точкой зрѣнія обоихъ на цивилизацію. Первый есть истый сынъ культуры своего вѣка; онъ страстно любитъ ее и желаетъ путемъ сатиры исправить ея недостатки; Руссо исполненъ чувствомъ пресыщенія цивилизаціею; въ немъ говорить *тоска* по тому полудикому состоянію, изъ котораго человѣкъ выбрался путемъ столькихъ трудовъ и страданій; въ немъ пробудились грѣзы о человѣческомъ младенчествѣ, воспоминанія о порѣ, когда жизнь человѣка слита съ жизнью природы и онъ еще не поднялся надъ нею посредствомъ самосознанія. Его задушевную мысль отлично выражаетъ виньетка заглавнаго листа къ VIII тому въ изданіи 1790 года: она изображаетъ *европейца* въ костюмѣ XVIII вѣка—въ высокой мягкой шляпѣ съ перомъ, въ богатомъ кафтанѣ, въ чулкахъ до колѣнъ и башмакахъ; въ одной рукѣ онъ держитъ высокую трость, а другою дѣлаетъ знакъ изумленія; передъ нимъ же стоитъ

обнаженный человѣкъ въ свободной и изящной позѣ опернаго актера; середина его тѣла задрапирована какой-то звѣриной шкурой, а сбоку виситъ мечъ; на землѣ передъ нимъ лежитъ какой-то узелъ, на который онъ показываетъ рукой, тогда какъ другая изображаетъ прекрасный ораторскій жестъ: это готтентотъ, исторію котораго Руссо разсказалъ въ своемъ *разсужденіи*, заимствовавъ ее изъ „Собранія путешествій“: Ванъ-дербъ-Стель, губернаторъ Капа, взялъ этого готтентота къ себѣ ребенкомъ и воспиталъ его по-европейски: „его научили нѣсколькимъ языкамъ, и успѣхи его вполнѣ соответствовали заботамъ о его воспитаніи“. Когда онъ выросъ и сталъ обнаруживать большой умъ, его отправили на службу въ Восточную Индію. Возвратившись на Мысъ Доброй Надежды, онъ посѣтилъ своихъ родственниковъ и тамъ рѣшился откаться отъ своего европейскаго *наряда* и одѣться въ овечью шкуру. Въ такомъ видѣ онъ явился къ своему воспитателю и въ патетической рѣчи отрекся отъ христіанской религіи и „всего этого наряда“, прося какъ милости оставить ему ожерелье и мечъ, который онъ сохранить изъ любви къ нему. „Не дождавшись отвѣта, онъ укрылся бѣгствомъ“.

Подобные разсказы о цивилизованныхъ дикаряхъ, которые испытывали тоску по состоянію своихъ отцовъ и возвращались къ нему, занимали воображеніе Руссо; онъ помѣстилъ у себя даже исторію ребенка, вскормленнаго волками, найденнаго въ 1344 году въ лѣсу, жившаго потомъ при дворѣ гессенскаго принца и говорившаго, что если бы это зависѣло отъ него, онъ охотно возвратился бы къ волкамъ, предпочитая жить съ ними, чѣмъ среди людей ¹⁾.

Сѣмена, посѣянные Руссо, пали на воспріимчивую почву. Съ него началось паломничество къ дикарямъ, и потянулись къ нимъ путешественники-филантропы, какъ Фѣрстеръ и Шамисо, привѣтствовавшіе въ дикомъ человѣкѣ своего *лучшаго* брата, и путешественники въ родѣ Уатертона и Мѣстера, которые шли къ дикимъ съ тѣмъ, чтобы сдѣлаться дикарями.

1) Ibid., p. 183.

Онъ же далъ толчокъ литературному движенію, обличавшему цивилизованную Европу устами добродѣтельныхъ гуроновъ и канадійцевъ, отъ имени которыхъ честный и испытанный горечью жизни Зейме заявлялъ европейцамъ: „Мы, дикіе—лучше люди, чѣмъ вы“. Такія фантазіи, то поэтически-трогательныя, то забавныя, были главнымъ плодомъ сентиментальной риторики Руссо и совершенно заглушили заключающееся въ ней зерно истины, которое при другомъ направленіи могло бы дать здоровые плоды. Такимъ зерномъ истины мы признаемъ, что просвѣщеніе можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, стать источникомъ глубокаго душевнаго разлада. Какъ мѣтко выразилъ эту мысль Руссо въ восклицаніи: „Что можетъ быть печальнѣе положенія дикаря, ослѣпленнаго просвѣщеніемъ, измученнаго страстями и разсуждающаго о состояніи столь несходномъ съ его бытомъ“ ¹⁾ Но Руссо не остановился на этой практической истинѣ и свелъ подхваченный имъ съ такимъ успѣхомъ антагонизмъ между дикимъ состояніемъ и цивилизаціей къ фантастическому софизму о превосходствѣ дикаря надъ культурнымъ человѣкомъ.

Мечтанія Руссо о преимуществѣ дикарей и дикаго состоянія не могли не отразиться на его сужденіяхъ о народахъ вообще и на его представленіяхъ о *народѣ*. Среди культурныхъ народовъ онъ сталъ явно отдавать преимущество тѣмъ, которые были наименѣе цивилизованы или, какъ онъ выражался, стояли ближе къ природѣ. „Народы,—говоритъ Руссо въ „Эмилѣ“,—наименѣе цивилизованные вообще самые мудрые“ ²⁾.

Отсюда оставался одинъ только шагъ до распространенія такого взгляда на различныя составныя части одного и того же народа и до примѣненія къ нимъ той же мѣрки. Среди самаго цивилизованнаго народа можно встрѣтить массу людей, „поставленныхъ природой на одинаковомъ разстояніи между тупостью животнаго и пагубнымъ просвѣщеніемъ цивили-

¹⁾ Ibid., p. 92.

²⁾ «Emile», p. 244.

лизованнаго челоуѣка, — людей, сохранившихъ среди развращенной культуры первобытную простоту и чистоту“. — Руссо смѣло сдѣлалъ этотъ шагъ; замѣчая, что всѣ народы выигрываютъ по мѣрѣ ихъ удаленія отъ центра или отъ столицы, онъ продолжаетъ: „чѣмъ болѣе они приближаются къ природѣ, тѣмъ болѣе добрыхъ свойствъ преобладаетъ въ нихъ, и только, забившись въ города и измѣнившись подѣ вліаніемъ культуры, они развращаются и мѣняютъ нѣкоторые недостатки болѣе грубые, чѣмъ зловредные, на пріятные, но пагубные пороки ¹⁾).

Въ этомъ мѣстѣ софизмъ скрадывается вслѣдствіе того, что преимущество, отдаваемое природной дикости передъ культурой, совпадаетъ съ контрастомъ между жителями деревень и городовъ, среди которыхъ при большей культурѣ встрѣчается часто и большая развращенность. Но въ другихъ мѣстахъ софизмъ, что просвѣщеніе есть зло, что невѣжество есть оплотъ добродѣтели, примѣняется безразлично къ народной массѣ въ деревняхъ и городахъ, и сельская идиллія уступаетъ мѣсто идеализаціи массы. Нѣтъ добродѣтели, нѣтъ преимущества, которыя бы Руссо не приписывалъ *народу* въ противоположность буржуазіи или свѣтскому обществу. Господствовавшія въ его время моды въ Парижѣ даютъ ему поводъ восхвалять цѣломудренность даже парижской черни: „стыдливость и скромность глубоко вкоренены въ понятіяхъ народа и въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ другихъ, грубость (*la brutalité*) народа честнѣе, чѣмъ приличіе свѣтскихъ людей“ ²⁾.

Чернь, по мнѣнію Руссо, сострадательнѣе *интеллигенции* ³⁾. Въ томъ мѣстѣ своего *разсужденія* о неравенствѣ, гдѣ

1) Ibid., p. 262.

2) Рѣчь идетъ объ оскорбленіяхъ, которымъ подвергались на улицѣ дамы, одѣтыя по тогдашней модѣ. „Новая Элоиза“, ч. II, письмо 17.

3) Жизнь и собственныя *признанія* Руссо представляютъ интересный комментарий къ этому положенію его. Ему однажды г-жа Варенсъ поручила сопровождать въ Лионъ своего наставника въ музыкѣ и друга, Ле-Метра «и остаться при немъ, пока тотъ будетъ нуждаться въ его помощи». Тамъ съ музыкантомъ случился эпилептический припадокъ среди улицы,

Руссо доказываетъ преизбытокъ гуманности у дикаря передъ философомъ, онъ продолжаетъ: „во время мятежа, уличной свалки, сбѣгается толпа, благоразумный человѣкъ удаляется, чернь же и уличныя торговки (*la canaille, les femmes des halles*) разнимаютъ дерущихся и мѣшаютъ порядочнымъ людямъ избивать другъ друга“.

Для Руссо не подлежитъ сомнѣнію, что погонщикъ муловъ въ любви „ближе къ счастью, чѣмъ миллионеръ“; но это не мѣшаетъ ему признать, что нѣтъ никакого различія въ чувствахъ между людьми различныхъ сословій. „Человѣкъ, говоритъ онъ, одинъ и тотъ же во всѣхъ состояніяхъ; а если это такъ, то сословія наиболѣе многочисленныя заслуживаютъ наиболѣе уваженія. Въ глазахъ мыслящаго человѣка всѣ гражданскія различія исчезаютъ; онъ видитъ тѣ же страсти, тѣ же чувства въ холопѣ (*goujat*) и въ какомъ-нибудь знаменитомъ человѣкѣ, и онъ отмѣчаетъ между ними только различіе въ способѣ выраженія, въ болѣе или менѣе тщательной отдѣлкѣ; если даже между ними есть какое-нибудь общественное различіе, то оно служитъ къ ущербу того, въ комъ меньше искренности. Народъ показываетъ себя тѣмъ, что онъ есть, и не представляется привлекательнымъ (*n'est pas*

недалеко отъ ихъ гостиницы. Руссо началъ кричать, звать на помощь, назвалъ его гостиницу и умолялъ, чтобъ его отнесли туда; потомъ, пока толпа хлопотала около больного, потерявшаго сознаніе, Руссо воспользовался мгновеніемъ, когда никто не обращалъ на него вниманія, завернулъ за уголъ улицы и скрылся изъ Ліона. «Такимъ образомъ,— прибавляетъ онъ,—Ле-Метръ былъ покинутъ единственнымъ другомъ, на котораго онъ долженъ былъ рассчитывать» (*Confess.*, I, p. 1. 3, въ концѣ). Отсюда видно, какъ справедливо замѣчаетъ его біографъ, Морлей, что можно обладать большою чуткостью къ звону колоколовъ, къ пѣнію птицъ, къ красотѣ прелестныхъ садовъ—и въ то же время быть способнымъ безъ всякаго укора совѣсти покинуть друга, лишившагося чувствъ на улицѣ въ чужомъ городѣ (*Morley*, I. 56). Но отсюда видно также, сколько ханженства и декламациі было въ выходкахъ Руссо противъ *философовъ* и просвѣщенія, которое убиваетъ, будто бы, въ человѣкѣ хорошіе инстинкты. Его дурной поступокъ съ Ле-Метромъ, въ которомъ онъ потомъ каялся, конечно, не былъ обусловленъ избыткомъ просвѣщенія.

aimable); что же касается до свѣтскихъ людей, то они, конечно, принуждены маскироваться: еслибъ они являлись тѣмъ, что они въ дѣйствительности, они внушали бы отвращеніе ¹⁾.

Обращаясь къ образованнымъ классамъ, Руссо заявляетъ, что *народъ*, говоря инымъ языкомъ, обладаетъ „такимъ же умомъ и большимъ здравымъ смысломъ, чѣмъ они“; а къ этому онъ прибавляетъ еще другое превосходство — въ политическомъ отношеніи — въ честности и въ чувствѣ справедливости сравнительно съ правящимъ классомъ.

„Несправедливость и обманъ, — говоритъ Руссо, — часто находятъ себѣ покровителей, но они никогда не встрѣчаютъ сочувствія въ обществѣ; въ этомъ именно отношеніи голосъ народа есть гласъ Божій. Къ сожалѣнію, однако, этотъ священный голосъ всегда заглушается въ общественныхъ дѣлахъ возгласами властителей, и жалоба угнетенной невинности изливается тихимъ ропотомъ, которымъ пренебрегаетъ тиранія. Все, что происходитъ посредствомъ интриги и подкупа, совершается преимущественно въ интересѣ тѣхъ, кто управляетъ обществомъ, и это не могло быть иначе. Хитрость, предразсудки, корысть, надежда, тщеславіе, благовидные предлоги, наружный видъ порядка и дисциплины — все это служитъ средствомъ для ловкихъ людей, облеченныхъ властью и опытныхъ въ искусствѣ обманывать народъ“ ²⁾.

Поэтому для Руссо не существуетъ беззаконнаго или несправедливаго возмущенія, — народъ ни въ чемъ и ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть виноватъ. „Никогда, — говоритъ онъ, — народъ не возставалъ противъ законовъ, если правители сами не начинали нарушать ихъ въ чемъ-нибудь“ ³⁾.

Такія замѣчанія не пропали даромъ. Догма *непогрѣшимости* народной, породившая цѣлый рой страстныхъ проповѣдниковъ, принесла кровавые плоды во время французской революціи и послужила затѣмъ многимъ историкамъ, какъ,

1) «Emile, l. IV, p. 15.

2) «Lettres d. I. Montagne», p. II, l. 8, p. 514.

3) Ibid., p. 500.

напр., Мишле, исходною точкой для фантастическаго освѣщенія этого событія. При этомъ никого изъ поклонниковъ Руссо не приводили въ смущеніе инья, чрезвычайно реалистическія, замѣчанія о народѣ, разсѣяныя въ его сочиненіяхъ и рѣзко противорѣчащія догмѣ о непогрѣшимости. „Завѣдываніе властью въ международныхъ отношеніяхъ, — говоритъ Руссо, — (l'exercice extérieur de la puissance) не можетъ быть предоставлено народу; великіе государственные принципы ему недоступны (ne sont pas à sa portée); онъ долженъ въ этомъ отношеніи положиться на своихъ правителей, всегда болѣе просвѣщенныхъ въ этомъ случаѣ чѣмъ онъ, и не имѣющихъ никакого интереса заключать договоры невыгодные для своего отечества“¹⁾.

Еще болѣе обобщена эта мысль въ другомъ мѣстѣ: „Народъ самъ по себѣ всегда хочетъ добра, но самъ по себѣ не всегда его видитъ. Общая воля всегда права, но сужденіе, которымъ она руководится, не всегда разумно. Нужно показывать ему вещи въ ихъ настоящемъ видѣ, иногда же представлять ихъ такъ, какъ они должны ему *казаться*, указывать ему правильный путь, котораго онъ ищетъ, обезпечить его отъ искушеній со стороны частныхъ интересовъ, уравнивать приманку предстоящихъ и ощутительныхъ выгодъ указаніемъ на опасность отдаленныхъ и скрытыхъ бѣдствій“ и т. д.²⁾ Руссо выводитъ отсюда необходимость *законодателя*, котораго онъ облачаетъ высшимъ политическимъ и *религиознымъ* авторитетомъ. Немного далѣе онъ говоритъ въ подтвержденіе той же мысли: „Мудрые люди, которые стали бы говорить съ народомъ своимъ, а не его языкомъ, не были бы имъ поняты. Существуетъ тысяча понятій, которыя невозможно передать на языкѣ народа. Слишкомъ общія соображенія и слишкомъ отдаленныя цѣли ему одинаково непонятны; каждое отдѣльное лицо въ немъ, сочувствуя только тому государственному строю, который имѣетъ отношеніе къ его личному интересу,

1) Ibid., p. 489.

2) С. s., l. II, ch. 6.

съ трудомъ постигаетъ выгоды, которыя онъ могъ бы извлечь изъ постоянныхъ лишеній, налагаемыхъ полезными законами“.

Такъ же легко отказывается Руссо отъ своего положенія, что *народъ* превосходитъ высшіе классы нравственнымъ чутьемъ относительно моды и обычаевъ: „Народъ всегда обезьянничаетъ и подражаетъ богатымъ, отправляется въ театръ вовсе не для того, чтобы насмѣхаться надъ ихъ глупостями, но чтобы научиться отъ нихъ и, подражая имъ, сдѣлаться еще глупѣе ихъ (*plus fou*)“¹⁾.

Наконецъ, въ своемъ трактатѣ о воспитаніи, Руссо высказываетъ мысль, мало идущую къ его проповѣди о народномъ инстинктѣ, что „только тотъ можетъ руководить народомъ, кто не похожъ на него“, т.-е. стоитъ выше его по развитію и образованію²⁾.

Но всѣ подобныя трезвыя наблюденія и практическіе совѣты были бессильны остановить потокъ политическихъ страстей и демократическихъ увлеченій, источникомъ котораго были сочиненія самого же Руссо. Подобно тому, какъ историческій методъ, которымъ Руссо слѣдовалъ въ нѣкоторыхъ главахъ „Общественнаго договора“, и подраженіе Монтескье нисколько не ослабили слѣпой вѣры въ догматъ о народовластіи, выведенный изъ этого договора, такъ и приведенныя нами противорѣчія не разсѣяли фантастическаго призрака о безпорочномъ, непогрѣшимомъ народѣ, — призрака, въ которомъ слились всѣ мечтанія Руссо о природѣ, о преимуществѣ инстинкта предъ разумомъ и образованіемъ, о развращенности культуры, объ идиллическомъ блаженствѣ дикарей и о нравственномъ и политическомъ превосходствѣ простого народа надъ образованными и высшими классами. Это предпочтеніе, которое въ виду извѣстныхъ обстоятельствъ имѣло случайный смыслъ, было возведено въ общую, универсальную теорію, повліяло на политическія и соціальныя идеи современниковъ

1) «Nouv. Hél.» part. II, l. 17, p. 289.

2) «L'on ne mène point le peuple, quand on lui ressemble». — «Emile», l. III, p. 566.

Руссо и сдѣлалось *исходнымъ началомъ* новаго политическаго ученія о *народѣ*. Благодаря идеализаціи массы, живущей инстинктомъ и еще неиспорченной цивилизаціей, блѣдное рационалистическое представленіе о народѣ-государѣ получило конкретный образъ, облеклось въ плоть и кровь: ученіе о народѣ, возникшемъ въ силу взаимнаго договора изъ естественнаго состоянія и представляющемъ собой источникъ государственной власти, могло въ своей *теоретичности* оказать вліяніе только на отвлеченное мышленіе; поклоненіе же инстинкту, обоготвореніе массы дало ему жизнь, сдѣлало его способнымъ глубоко возбуждать чувства и страсти. Посредствомъ незамѣтнаго логическаго скачка и простой тавтологіи рационалистическое представленіе о народѣ-государѣ отождествилось съ представленіемъ о народной массѣ, и послѣдней были приписаны всѣ атрибуты власти, которыми „Общественный договоръ“ такъ щедро надѣлилъ *отвлеченный народъ*. Переходъ отъ одного понятія къ другому казался тѣмъ естественнѣе, что рационалистическій методъ приучилъ примѣнять къ политическимъ понятіямъ арифметическіе приемы и смотрѣть на народъ, какъ на *сумму* гражданъ. Что за бѣда, если изъ этой *суммы* выкинуто нѣсколько пустыхъ единицъ, мѣшавшихъ общей гармоніи. Переходъ этотъ былъ указанъ самимъ Руссо: „Народъ, — восклицаетъ онъ, — составляетъ человечество (*c'est le peuple qui fait le genre humain*); то, что не входитъ въ составъ народа, такъ ничтожно, что не стоитъ труда его считать“ ¹⁾. Руссо же первый произнесъ роковое слово, которое сдѣлалось манифестомъ революціоннаго движенія въ 1789 году, начертилъ программу, обнародованіемъ которой прославился аббатъ Сіесъ: „То, что въ извѣстной странѣ осмѣливаются называть третьимъ сословіемъ (*tiers-état*), и есть *народъ*. Такимъ образомъ, частный интересъ двухъ сословіи постав-

1) «Emile», I. IV, p. 15. Съ еще болѣе злобною презрительностью выражаетъ Руссо эту мысль въ другомъ мѣстѣ: «Il y a comme cela une poignée qui ne comptent qu'eux dans tous l'univers et ne valent guère la peine qu'on les compte si ce n'est pour le mal qu'ils font «Nouv Hël.» part II, I. 17.

лень на первомъ и на второмъ планѣ; общественный же интересъ поставленъ только на третьемъ мѣстѣ“¹⁾.

Но Руссо пошелъ далѣе: онъ еще болѣе сузилъ понятіе о народѣ и внесъ въ него еще другаго рода рознь,—наряду съ программой политическаго переворота мы находимъ у него указаніе на социальный антогонизмъ среди самого „третьяго сословія“, между буржуазіей и сельскимъ населеніемъ: „Деревня,—говоритъ онъ,—представляетъ собою страну, и крестьяне (le peuple de la campagne) составляютъ націю“²⁾.

Къ этому отождествленію націи съ сельскимъ населеніемъ присоединился еще другой моментъ. Посредствомъ другого логическаго скачка состояніе природы, предшествовавшее предполагаемому общественному, договору, стало отождествляться съ *близкимъ къ природѣ* состояніемъ того слоя народа, котораго наименѣе коснулась цивилизація. Отсюда явилась возможность примѣнить къ понятію о народѣ теорію, придуманную для человѣческаго рода и положенную у Руссо въ основаніе исторіи человѣчества. Сообразно съ тѣмъ, какъ исторія цивилизаціи представлялась имъ въ видѣ постепеннаго паденія человѣчества и уклоненія отъ нормальнаго состоянія, такъ и исторія культуры въ предѣлахъ каждаго народа должна была казаться ненормальнымъ процессомъ, удаленіемъ отъ первоначальнаго совершенства.

Такія теоретическія соображенія легко могли перейти на почву практическихъ требованій, и послѣдствія этого должны были имѣть громадное значеніе: если размышленіе и основанное на развитіи разума образованіе привели къ извращенію первоначальнаго человѣка, то тѣ слои народа, которые менѣе поддались образованію и умственному развитію, должны были имѣть, съ этой точки зрѣнія, преимущество передъ образованными классами, т.-е. передъ тѣми, которые оторвались отъ общаго основанія. Чѣмъ сильнѣе билъ въ какомъ-нибудь словѣ народа не замутившійся отъ образованія источникъ при-

1) С. s. I III, ch. 15.

2) «Emile», p. 261.

роды, тѣмъ этотъ слой долженъ былъ казаться нравственно совершеннѣе. Отсюда вытекало, что мѣриломъ политическаго вліянія и власти слѣдовало считать принадлежность къ этому слою; что народомъ въ собственномъ смыслѣ слѣдовало признавать только тотъ густой слой, который еще не почать цивилизаціей, и политическое преобладаніе должно принадлежать массѣ не въ силу только раціоналистическаго аргумента, что большинство есть выраженіе общей воли, но въ силу ея нравственнаго преимущества.

Окончательные выводы, вытекающіе изъ культа непочатаго, неиспорченнаго цивилизаціей народа, въ его примѣненіи къ теоріи народовластія, были сдѣланы уже послѣдователями Руссо и получили обширное развитіе въ эпоху революціи. Самъ же Руссо надѣлилъ понятіе о народѣ еще новою чертой, придавшей этому могучему слову совершенно особый смыслъ и новое значеніе. Этому новому оттѣнку понятія о *народѣ*, установившемуся во французскомъ обществѣ преимущественно подъ вліяніемъ Руссо, было суждено играть въ будущемъ еще болѣе видную роль, чѣмъ идеализаціи некультурной массы, сохранившей свой прирожденный нравственный инстинктъ, и отождествленію этой массы съ *народомъ*.

III.

Источникъ новаго оттѣнка въ представленіи о *народѣ*, которымъ Руссо надѣлилъ это понятіе, нужно искать въ одномъ изъ самыхъ характерныхъ явленій, которыя представляетъ намъ культурная исторія французскаго и вообще европейскаго общества. Гармонія человѣческаго духа, нарушенная сильнымъ преобладаніемъ раціонализма, т.-е. разсудочности, привела во второй половинѣ XVIII вѣка къ такой же сильной реакціи *чувства*. Апостоломъ чувства, главнымъ борцомъ за его преобладаніе надъ разумомъ, былъ Руссо. Самое ополченіе его противъ цивилизаціи и разсудка въ пользу природы и инстинкта было вызвано безусловнымъ господствомъ, которое имѣло надъ нимъ чувство. Чувство не было для Руссо

психологическою категоріей, значеніе которой и отношеніе къ другимъ элементамъ духовной жизни онъ могъ бы хладнокровно взвѣшивать. Оно владѣло имъ всецѣло, оно замѣняло ему разсудокъ и было источникомъ его мыслей и разсужденій. „Je sentis avant de penser, c'est le sort commun de l'humanité. Je l'éprouvai plus qu'un autre“—это самое глубокое психологическое наблюденіе, которое сдѣлалъ надъ собою Руссо. Его мысли зарождалась въ немъ въ формѣ чувствъ; чувства были для него всегда самыми сильными и убѣдительными доводами. Вся философія его была дѣломъ чувства; самыя глубоко-мысленныя философскія проблемы онъ разрѣшалъ съ помощью чувствъ. Вопросъ о свободной волѣ, напр., не представляетъ въ его глазахъ никакихъ затрудненій; онъ разрѣшается въ утвердительномъ смыслѣ *внутреннимъ чувствомъ*. „Я часто слышу, — говоритъ Руссо, — разсужденія противъ свободы чело-вѣка, и я презираю всѣ эти софизмы: какой-нибудь *резонеръ* (raisonneur) можетъ, сколько ему угодно, мнѣ доказывать, что я не свободенъ, внутреннее чувство сильнѣе всѣхъ этихъ доводовъ и постоянно ихъ опровергаетъ; и во всякомъ рѣшеніи, которое я принимаю, я вполнѣ чувствую, что отъ меня зависи-ть рѣшиться на противоположное дѣло“. Осмѣивая способъ доказательствъ своихъ противниковъ, отрицавшихъ самодѣя-тельность и свободу воли, и обвиняя ихъ въ томъ, что они сначала предполагаютъ то, что имъ хочется доказать¹⁾, а потомъ отсюда выводятъ то, что имъ слѣдовало бы доказать, — Руссо восклицаетъ: „мы же вовсе не предполагаемъ, что мы самодѣятельны и свободны, — мы чувствуемъ, что мы таковы. Ихъ дѣло доказать не только то, что это чувство можетъ насъ обмануть, но что оно дѣйствительно насъ обманываетъ“.

Подобнымъ образомъ религіозность Руссо и его вѣрованія основаны исключительно на чувствѣ: „Я вѣрую, — говоритъ савойскій викарій въ своей исповѣди, — что міръ управляется

1) «Ils commencent par supposer que tout être intelligent est purement passif et puis ils déduisent de cette supposition des conséquences pour prouver qu'il n'est pas actif».

всемогущею и сильною волей; я вижу это или, вѣрнѣе, я это чувствую, и для меня важно это знать... Я вижу Бога вездѣ въ его твореніяхъ, я его чувствую въ себѣ, я его вижу вокругъ себя; но какъ скоро я хочу изслѣдовать, гдѣ онъ, что онъ и въ чемъ его сущность,—онъ для меня исчезаетъ, и мой смущенный умъ ничего болѣе не видитъ“.

На подобномъ же внутреннемъ чувствѣ основана вѣра Руссо въ безсмертіе души : „Еслибы я не имѣлъ никакого другого доказательства въ пользу безсмертія души, какъ торжество зла на землѣ и угнетеніе праведнаго, то это одно помѣшало бы мнѣ усомниться въ немъ“.

При томъ важномъ значеніи, которое имѣло чувство во внутренней жизни Руссо, ему легко было сдѣлать заключеніе отъ самого себя къ другимъ и постигнуть великую роль, которую играетъ чувство въ человѣческихъ дѣлахъ. Это наблюденіе, сдѣланное имъ, заслуживаетъ особеннаго вниманія въ виду времени и общества, къ которымъ оно относится. Въ самый разгулъ раціонализма, въ эпоху безусловной вѣры въ совершенство и безпредѣльную силу человѣческаго разума, когда люди надѣялись посредствомъ развитія разумнаго просвѣщенія и всеобщаго истребленія предразсудковъ изгнать изъ человѣческаго общества всякое зло, всякую неправду и водворить повсемѣстную гармонию и всемірное блаженство,—выступаетъ мыслитель, провозглашающій, что главное руководство въ жизни и отношеніяхъ людей принадлежитъ не разуму, а чувству: *Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit*,—если разумъ и составляетъ существенное свойство человѣка, но владѣетъ и управляетъ имъ чувство.

Признаніе за чувствомъ первенствующей роли въ человѣческихъ дѣйствіяхъ было плодотворною мыслью, способною пролить много свѣта на исторію человечества и содѣйствовать болѣе вѣрному пониманію ея. Но Руссо не остановился на этомъ. Преобладаніе чувства надъ разумомъ человѣка было для него не только реальнымъ *фактомъ*, съ которымъ приходилось считаться историку, педагогу и политику, но и

нормальнымъ положеніемъ, благимъ принципомъ, который пользуется всѣмъ его сочувствіемъ.

Предпочтеніе, которое Руссо оказываетъ чувству передъ разумомъ, выражается, во-первыхъ, въ его мнѣніи, что чувство *первобытнѣе* разума: „Мы чувствуемъ прежде, чѣмъ сознаемъ. Дѣйствія нашей совѣсти не сужденія, а чувства; хотя всѣ наши представленія приходятъ къ намъ извнѣ, но чувства, ихъ оцѣнивающія, находятся внутри насъ, и только благодаря имъ мы сознаемъ соотвѣтствіе или несоотвѣтствіе между нами и предметами, которыхъ мы должны желать или избѣгать. *Существовать* значитъ для насъ чувствовать — „*exister pour nous, c'est sentir*; наша чувствительность несомнѣнно предшествуетъ нашему разуму, и у насъ есть чувства прежде, чѣмъ являются идеи“.

Но чувство не только первобытнѣе разума, оно выше его, лучше его, и потому заключаетъ въ себѣ ту истину, къ которой разумъ приходитъ лишь съ трудомъ. „Если, — говоритъ Руссо, — первый проблескъ разсудка насъ ослѣпляетъ и искажаетъ предметы предъ нашими взорами, то потомъ при свѣтѣ разума они представляются намъ таковыми, какими съ самаго начала показывала ихъ намъ природа; поэтому удовлетворимся первыми чувствами, которыя мы въ себѣ находимъ, ибо къ нимъ насъ всегда приводитъ изученіе предметовъ, если оно насъ не ввело въ заблужденіе“.

Вслѣдствіе этого нравственныхъ правила, которыми руководится человѣкъ, должны быть выведены изъ чувства. „Я не извлекаю эти правила, — говоритъ савойскій викарій, — изъ началъ высокой философіи, но нахожу ихъ изображенными природой въ своемъ сердцѣ неизгладимыми чертами. Мнѣ достаточно посовѣтоваться съ самимъ собой насчетъ того, что я хочу дѣлать: все, что мое чувство признаетъ хорошимъ, — хорошо; все, что оно признаетъ дурнымъ, — дурно ¹⁾“.

Чувство, въ глазахъ Руссо, не только руководитъ мыслью человѣка, но и должно руководить ею, — не только напра-

1) *Oeuvres*, éd. 1790, t. XII, p. 83.

вляеть волю челоуѣка, но должно быть высшимъ, можно сказать единственнымъ мѣриломъ во всѣхъ вопросахъ жизни. Такимъ образомъ чувство было для Руссо не только основнымъ началомъ его психологiи и философiи, но и кореннымъ источникомъ нравственности ¹⁾. И въ данномъ случаѣ, какъ въ другихъ, аффектъ увлекъ Руссо до парадокса. Въ его глазахъ чувство, признанное источникомъ нравственности и добродѣтели, отождествилось съ самою добродѣтелью. Чувствовать влеченiе къ добродѣтели уже значило быть добродѣтельнымъ. „Тотъ лучший челоуѣкъ, кто лучше и сильнѣе другихъ чувствуетъ; тотъ достигъ нравственнаго совершенства, кѣмъ овладѣлъ восторгъ къ добродѣтели“ ²⁾.

При томъ первенствующемъ значенiи, которое признавалось за чувствомъ въ нравственномъ ученiи Руссо, оно не могло не сдѣлаться предметомъ восторженнаго поклоненiя. Руссо и его послѣдователи стали относиться съ чувствомъ къ собственному чувству. Это исполненное энтузиазма обожанiе чувства и составляетъ отличительный оттѣнокъ той роли, которую стало играть чувство въ культурѣ прошлаго вѣка; оно и есть источникъ той *чувствительности*, печать которой носятъ литература и общество того времени. У Руссо чувство нераздѣльно съ чувствительностью; всякое чувство у него всегда расплывается въ чувствительность. Чувство природы, которое Руссо несомнѣнно оживилъ въ своихъ современникахъ, становится чувствительнымъ лиризмомъ; чувство любви и страсть, которыя Руссо понялъ глубже своихъ современниковъ и сдѣлалъ серьезнѣе, освободивъ ихъ отъ условныхъ правилъ и формъ тогдашняго свѣтскаго общества ³⁾,—въ то

¹⁾ „Dans sa conduite c'est le sentiment qui le mène“,—справедливо замѣтилъ о немъ Берсо,

²⁾ „Et ce qui achève de le caractériser, c'est qu'il croit et professe qu'aucun homme n'a été meilleur que lui, car les actes ne sont rien, les sentiments seuls existent et c'est par là qu'il vaut“, Bersot.

³⁾ Культурное значенiе «Новой Элоизы» чрезвычайно мѣтко указано въ слѣдующемъ замѣчанiи Берсо: «Contre la corruption sensuelle et la galanterie, qui est l'esprit en amour, il relève la passion, et contre la passion le devoir».

же время стали неразлучны съ мечтательностью, слезами восторга и необъяснимой печалью. Главная струна, сильнѣе всѣхъ звучащая въ сочиненіяхъ Руссо, есть прославленіе чувствительности; изъ нихъ широкою струей разлилось по всей Европѣ сентиментальное отношеніе къ міру, къ людямъ и, главнымъ образомъ, къ самому себѣ. Эта чувствительность, конечно, съ особенною силой охватила то политическое понятіе, которое составляетъ предметъ нашего изученія—представленіе о *народѣ*. Она именно и исторгла это понятіе изъ-подъ власти сухого, отвлеченнаго раціонализма и пропитала его лиризмомъ, и въ то же время она наиболѣе содѣйствовала тому, чтобъ изъять этотъ предметъ изъ области наблюденія и объективнаго размышленія и сдѣлать его достояніемъ чисто субъективнаго отношенія.

Главная культурная заслуга этого чувствительнаго настроенія заключается въ томъ, что оно изощрило въ человѣкѣ чутье къ чужимъ страданіямъ, сосредоточило на нихъ его вниманіе и развило въ немъ до высокой степени способность къ *состраданію*. Какъ новый Будда, Руссо снова сдѣлалъ страданіе міровымъ вопросомъ, призналъ страданіе существеннымъ удѣломъ, главнымъ назначеніемъ человѣчества. „Всѣ люди, безъ исключенія,—говоритъ онъ,—родятся нагими и бѣдными, всѣ подвержены бѣдствіямъ этой жизни, боли и злу, нуждамъ и скорби всякаго рода, всѣ наконецъ осуждены на смерть; эта неизбѣжность страданія составляетъ сущность человѣка (*ce qui est vraiment de l'homme*); отъ нея не избавленъ никто изъ смертныхъ. Итакъ, начните же изучать то, что неотъемлемо отъ человѣческой природы,—то, что составляетъ самую сущность человѣчества (*ce qui constitue le mieux l'humanité*)“. Этимъ опредѣляется для Руссо одна изъ главныхъ задачъ здоровой педагогій: страдать—это первый урокъ жизни, которому долженъ научиться ребенокъ, это—то знаніе, которое для него будетъ всего болѣе необходимо. Еще серьезнѣе становится задача воспитателя, когда ребенокъ достигаетъ юношескаго возраста.

„Въ шестнадцать лѣтъ юноша знаетъ, что значить стра-

дать, потому что онъ самъ уже страдалъ; но онъ едва ли знаетъ, что и другіе страдаютъ, ибо видѣть страданіе и не чувствовать его—не значить знать его“. Ребенокъ не въ состояніи вообразить себѣ то, что ощущаютъ другіе, и потому ему извѣстны только собственныя страданія; но когда съ развитіемъ чувствъ въ немъ разгорается воображеніе, онъ начинаетъ чувствовать себя въ другихъ, подобныхъ ему людяхъ, начинаетъ приходить въ волненіе при ихъ жалобахъ и страдать отъ ихъ горя. „Вотъ тогда-то, — поучаетъ Руссо, — грустная картина страждущаго человѣчества должна возбудить въ его сердцѣ первое умиленіе, имѣ когда-либо испытанное“, и съ этой поры Руссо возлагаетъ на воспитателя обязанность всѣми способами „возбуждать и питать эту зарождающуюся чувствительность“, т. е. развивать въ юношѣ доброту, гуманность, состраданіе, благотворительность и пр. Если задачей новой педагогіи становится развитіе въ будущемъ гражданинѣ чувствительности и состраданія посредствомъ зрѣлища человѣческихъ страданій, то интересъ къ страждущимъ тѣмъ сильнѣе преобладаетъ въ политикѣ, которая ведетъ свое начало отъ Руссо. Вліяніе этого направленія во внутренней политикѣ было громадно и можно сказать, что оно существенно измѣнило отношеніе аристократическихъ и зажиточныхъ классовъ къ низшимъ. Восемнадцатый вѣкъ уже былъ филантропически настроенъ; Руссо придалъ этой филантропіи силу аффекта и развилъ ее до крайней нервозности и чувствительности. И прежде, конечно, видъ нищеты и страданій у многихъ вызывалъ благотворительность и состраданіе; но чтобы понять переворотъ, совершившійся въ XVIII вѣкѣ въ настроеніи высшихъ классовъ и въ языкѣ, которымъ говорила литература о простомъ народѣ, чтобъ измѣрить разстояніе, которое въ этомъ отношеніи отдѣляетъ эпоху Людовика XIV отъ эпохи Руссо, — достаточно вспомнить извѣстную характеристику французскаго крестьянина у Лабрюера. Это изображеніе отнюдь не свидѣтельствуетъ о равнодушіи самого Лабрюера къ описываемому предмету; напротивъ, въ немъ звучитъ сдержанное негодованіе и жест-

кій упрекъ тѣмъ, которымъ можно было поставить болѣе или менѣе въ вину печальное положеніе дѣла; но приводимое нами мѣсто показываетъ, какимъ образомъ многіе относились въ то время къ крестьянамъ, и какимъ языкомъ могъ говорить о нихъ со своими современниками литераторъ XVII вѣка: „На поляхъ видны какія-то дикія животныя, самцы и самки, почернѣвшія, багровыя и опаленныя солнцемъ; они точно прикованы къ землѣ, которую вскапываютъ и ворочаютъ съ непреодолимымъ упорствомъ; они издаютъ какъ будто членораздѣльные звуки и когда встаютъ на ноги, проявляютъ человѣческой образъ, и дѣйствительно это люди. На ночь они удаляются въ свои норы, гдѣ они питаются чернымъ хлѣбомъ, водой и кореньями. Они избавляютъ другихъ людей отъ труда сѣять, пахать и жать для того, чтобы существовать, и заслуживаютъ поэтому, чтобъ ихъ не лишали того хлѣба, который ими посѣянъ“¹⁾).

Совсѣмъ иной языкъ и инныя чувства внушаетъ Руссо видъ французской деревни: „Истощенныя лошади, издыхающія подъ ударами; жалкіе крестьяне, изнуренные голодомъ, надломанные усталостью и одѣтые въ лохмотья; развалившаяся деревушка—все это представляетъ глазу печальное зрѣлище; становится горько за человѣка, когда подумаешь о несчастныхъ существахъ, кровью которыхъ мы добываемъ себѣ пищу“. Къ совершенно другимъ заключеніямъ и требованіямъ пришелъ писатель XVIII вѣка сравнительно съ его предшественникомъ, и въ этомъ различіи между ними отра-

¹⁾ *La Bruyère*, p. 267. Это мѣсто не слѣдуетъ, какъ это иногда дѣлается (напр. у Рошера), приводить отрывочно и внѣ связи съ другими отзывами Лабрюера о томъ же предметѣ. Во всякомъ случаѣ для поясненія его слѣдовало бы привести непосредственно предшествующее ему мѣсто: «Конфискація земли и распродажа движимаго имущества, конечно, бываютъ нужны; нужны темницы и наказанія,—я согласенъ съ этимъ. Но, оставивъ въ сторонѣ справедливость, законы и необходимость, я всегда изумляюсь, когда вижу, съ какою свирѣпостью люди обращаются съ другими людьми!» Мы будемъ имѣть случай привести другое мѣсто изъ Лабрюера, которое яснѣе покажетъ, какъ слѣдуетъ понимать приведенныя его слова.

жается вся громадная разница между историческимъ обликомъ двухъ вѣковъ!

Конечно, перемѣна во взглядѣ на судьбу французскихъ крестьянъ началась до Руссо; въ значительной степени этому содѣйствовали *экономисты*, т. е. фیزیократы, выведившіе все богатство страны изъ земледѣлія. Основатель этой школы, докторъ Кене, поставилъ девизомъ своей книги слова: „*rauytes raysans, rayvte royaume; rayvte royaume, rayvte roi*“, а маркизь Мирабо, какъ экономическій писатель, гордо присвоилъ себѣ имя — *l'ami du peuple*. Но взглядъ на народную массу, который распространялъ Руссо, существенно отличался отъ точки зрѣнія экономистовъ и по мотивамъ, и по цѣли. Хотя понятіе о любви (*tendresse*) и состраданіи и въ системѣ послѣднихъ играетъ важную роль, но все же у нихъ преобладаетъ интересъ къ общей пользѣ, забота о народномъ хозяйствѣ и цѣль ихъ — чисто-практическая — извѣстное улучшение крестьянскаго быта. У Руссо состраданіе къ сельскимъ труженикамъ есть проявленіе той общей жалости, которой онъ охватываетъ все страждущее — рабочую скотину наравнѣ съ людьми; и въ то же время безысходность положенія, беспомощность человѣка передъ роковою силою дѣйствительности раздражаетъ его до желчи противъ всѣхъ, на чью долю выпала лучшая судьба.

Безъ сомнѣнія, страстная чувствительность Руссо и въ социальномъ отношеніи принесла добрые плоды; нужна была сильная доза чувства, чтобы расшевелить безпечное въ своемъ довольствѣ общество и заставить его чувствовать лишения и бѣдствія низшихъ классовъ, какъ свои собственные; въ этомъ отношеніи Руссо болѣе чѣмъ кто-либо содѣйствовалъ развитію новой культурной черты нашего времени, *сердечнаго* и *симпатизирующаго* интереса образованнаго общества къ остальной массѣ народа. Но какъ всегда у Руссо, такъ и здѣсь, правда быстро заглушалась парадоксомъ, чувство переходило въ аффектъ, и вмѣстѣ съ лѣкарствомъ онъ подносилъ обществу отраву. Обратная или вредная сторона его социальной чувствительности, во-первыхъ, обуславливалась тѣмъ, что одно

чувство въ противоположность разуму плохой руководитель въ общественныхъ вопросахъ, ибо оно само себѣ служить мѣркой и сообразуется не съ дѣйствительностью, а съ собственной силой. Разсматривая состраданіе съ психологической стороны, Руссо дѣлаетъ слѣдующее чрезвычайно вѣрное наблюдение: „Жалость, которую намъ внушаютъ страданія другихъ, соразмѣряется не съ количествомъ этого страданія, но съ чувствомъ, которое мы приписываемъ страдающимъ“¹⁾. Но въ этомъ и заключается осужденіе преобладающей роли чувства въ социальныхъ и политическихъ вопросахъ: кто въ нихъ исключительно руководится чувствомъ, тотъ въ своихъ сужденіяхъ и стремленіяхъ не беретъ въ расчетъ дѣйствительности, не имѣетъ для нея никакой объективной мѣрки, а потому обрекаетъ себя на декламацію и наводитъ туманъ туда, гдѣ можетъ помочь одинъ только свѣтъ.

Еще болѣе вредно повліяло на социальную чувствительность Руссо то, что для него общественный вопросъ слился съ личнымъ; онъ самъ былъ для себя вѣчнымъ, неизсякаемымъ источникомъ чувствительности. То, что Руссо былъ самъ, такъ сказать, центромъ своей социальной чувствительности, и придавало такую силу его чувству и такую убѣдительность его пропагандѣ. Жалость къ самому себѣ сдѣлалась для него постоянной школой социального состраданія, и личныя ощущенія дали направленіе его общественной теоріи.

Безцѣльное скитальчество и неудачи его юности, лишенія и гоненія, которыя ему приходилось выносить въ жизни, — хотя очень часто по собственной винѣ, — давали богатую пищу его состраданію къ собственному я. Но Руссо, кромѣ того, съ болѣзненной горечью постоянно растравлялъ раны, которыя наносила ему дѣйствительность, и искусственно питалъ въ себѣ чувство антагонизма противъ общества. Не найдя себѣ мѣста или, правильнѣе сказать, покоя и удовлетворенія въ обществѣ „знатныхъ и довольныхъ“, Руссо привыкалъ

1) «Emile» L. IV.

отождествлять свое дѣло съ дѣломъ бѣдныхъ, свою участь— съ долей страдающаго *народа* и создалъ себѣ общественное положеніе изъ этой роли.

Никогда еще можетъ-быть извѣстная общественная доктрина не носила до такой степени субъективнаго характера; никакой политическій реформаторъ не защищалъ такъ непосредственно своего личнаго дѣла, какъ авторъ „Разсужденій“. Руссо на себѣ испыталъ—по крайней мѣрѣ, по своему убѣжденію,—ничтожество того общества, которое онъ обвинялъ въ томъ, что оно уклонилось отъ естественнаго порядка вещей. Онъ убѣдился, что это общество безсердечно и несправедливо, потому что оно, какъ онъ увѣрялъ себя, было жестоко и безжалостно къ нему. Личное раздраженіе Руссо служило твердой опорой его общественному пессимизму и придавало послѣднему ту страстность и убѣжденность, какой не можетъ дать никакая вѣра въ теорію и никакое школьное доктринерство. Сочиненія Руссо не только предвѣщаютъ собой политическій переворотъ во Франціи, преобразование ея государственнаго и общественнаго строя въ демократическомъ смыслѣ, но сами уже являются переворотомъ, представляютъ собой въ аристократически-сложившемся обществѣ Франціи и въ носящей ея отпечатокъ литературѣ торжество демократическихъ идей и чувствъ. Переворотъ ознаменовался уже тѣмъ, что въ лицѣ Руссо занимаетъ господствующее положеніе въ литературѣ и даетъ тонъ французскому обществу человѣкъ изъ *народа* (*homme du peuple*), какъ называлъ его Сентъ-Бёвъ. Другой французскій критикъ—Сентъ-Маркъ Жирарденъ съ извѣстной долей основанія возстаеъ противъ такой точки зрѣнія на Руссо ¹⁾ и съ помощью родословной этого писателя доказываетъ, что онъ принадлежалъ къ жевской буржуазіи, т.-е. къ аристократическому, правительствующему сословію этой республики, и всегда гордился

1) «Nous avons fait de Jean-Jacques Rousseau surtout un homme du peuple, venu d'en bas et s'élevant par son génie à la dictature de l'opinion publique. Pur roman que tout cela и т. д.

своимъ званіемъ женевскаго гражданина. „Мы дѣлаемъ изъ Руссо,—говоритъ этотъ біографъ въ другомъ мѣстѣ,—краснорѣчиваго авантюриста, гениальнаго пролетарія, какого-то литературнаго Спартака. Ничего этого не было. Это—буржуа, отставшій отъ своего сословія (*déclassé*) вслѣдствіе брака съ трактирной служанкой. Такова правда; и если его сочиненія отзываются демагогіей, такъ это обусловливается не происхожденіемъ его, вовсе не низкимъ и не темнымъ: это есть слѣдствіе случайностей его жизни и ошибокъ въ его поведеніи“¹⁾. Это правда, но не вся правда; Руссо представляетъ собой во французской литературѣ настоящаго *homme du peuple* не столько по своему происхожденію²⁾, или по своимъ чувствамъ, сколько по своему отношенію къ этому вопросу. Среди французскихъ литераторовъ и до Руссо, и въ его время было не мало лицъ, которыя были одинаковаго съ нимъ происхожденія и подобно ему испытывали нужду и лишенія; но это не отражалось на ихъ сочиненіяхъ, потому что они относились къ этому просто и не *идеализировали* своего прошедшаго. Руссо же одновременно открылъ *поэзію* бѣдности и испыталъ въ себѣ злобу, которую она можетъ возбудить въ человѣкѣ. Руссо былъ способенъ любоваться своей бѣдностью, какъ онъ любовался природой, и въ его воспоминаніяхъ тѣ минуты, когда онъ наслаждался природой, не имѣя ни одной копейки въ карманѣ, слились въ поэтическую картину какого-то первобытнаго состоянія и счастья. Но въ то же время онъ зналъ, что такое *голодъ*³⁾, и глубоко хранилъ въ своихъ воспоминаніяхъ это ощущеніе.

1) *St-Marc Girardin*: «J. J. Rousseau» part. I, 146.

2) Самъ Руссо претендовалъ съ нѣкоторой аффектаціей на принадлежность къ *народу*. Вспоминая о своемъ отцѣ, который за своимъ верстакомъ и среди инструментовъ часовщика читалъ Тацита, Плутарха и Гроція, Руссо говоритъ въ посвященіи своего «Разсужденія» магистрату Женевской республики: «Tels sont, magnifiques et très honorés seigneurs, les citoyens et même les simples habitans nés dans l'état que vous gouvernez: tels sont ces hommes instruits et sensés dont, sous le nom d'ouvriers et de peuple, on a chez les autres nations des idées si basses et si fausses».

3) «Il a eu faim dans sa vie; il note dans ses Confessions la dernière

Такимъ образомъ въ демагогіи Руссо были искренніе звуки, дѣйствительно испытанныя чувства, но въ то же время это была и роль, иногда доходившая до шарлатанства. Извѣстно, что когда Руссо уже достигъ своими сочиненіями славы, когда онъ приобрѣлъ обширныя знакомства и связи съ аристократіей, онъ покинулъ свѣтскій костюмъ—обшитый кружевомъ кафтанъ и шпагу, сталъ носить круглый парикъ и избралъ себѣ ремесло переписчика нотъ. Онъ хотѣлъ играть роль ремесленника, живущаго ручнымъ трудомъ среди литературнаго и свѣтскаго міра, къ которому онъ продолжалъ принадлежать. Онъ самъ сознается въ своей „Исповѣди“, что имъ руководилъ при этомъ нѣкоторый расчетъ: „я полагалъ, что у переписчика, достигшаго извѣстности, не будетъ недостатка въ работѣ“. Расчетъ Руссо слишкомъ удался. Публика не давала покоя модному переписчику своими посѣщеніями и неотступными приглашеніями на обѣды и, чтобы вознаграить его за потерянное время, осыпала его подарками. „Я почувствовалъ тогда,—пишетъ Руссо,—что не всегда такъ легко, какъ воображаешь, быть бѣднымъ и независимымъ“. Руссо рѣшился отвергать все подарки, крупныя и мелкіе, безъ всякаго исключенія, но онъ сознается, что его Тереза, и особенно мать послѣдней, не были въ этомъ отношеніи такъ тверды, какъ онъ самъ.

Руссо игралъ въ этомъ случаѣ, какъ говоритъ одинъ изъ его біографовъ, *жалкую комедію*. Но онъ игралъ подобную комедію не въ одной только роли переписчика нотъ, который живетъ даромъ на дачѣ герцога Люксембургскаго, обѣдаетъ за его столомъ и въ то же время принимаетъ отъ него заказъ на переписку, какъ будто эта работа составляла главный источникъ его матеріальнаго существованія. Руссо большую часть своей жизни прожилъ на счетъ другихъ, дѣтей своихъ отдавалъ въ воспитательный домъ и въ то же время постоянно выставялъ на показъ свою бѣдность и гордую независи-

fois, où il lui est arrivé de sentir à la lettre la misère et la faim». St-Beuve, *Causeries* III, p. 73.

мость. Такая роль была для самого Руссо не легка и не особенно почетна; но она имѣетъ большое значеніе въ исторіи европейской культуры. Руссо создалъ роль интеллигентнаго пролетарія, который находится въ разладѣ съ обществомъ, противопоставляетъ ему *народъ*, сочиняетъ себѣ новаго рода титуль—*homme du peuple*, который даетъ ему право возноситься надъ другими. И въ этомъ случаѣ въ самомъ Руссо правда и ложь, пережитое и сочиненное, чувство и фантазія—были искусственно сплетены между собой; притомъ оригинальность придаетъ интересъ его роли. Но многочисленнымъ подражателямъ его часто недоставало той желчной страстности, которая дѣлала эту роль сносною; у нихъ злобное выраженіе лица превращалось въ гримасу и патетическая тирада становилась рекламой.

Такъ Бернардень де-Сенъ-Пьеръ, уже будучи избалованнымъ любимцемъ публики, вдругъ переѣзжаетъ въ глухое предмѣстье—съ такимъ населеніемъ, что его знакомые начинаютъ бояться за его безопасность,—отказывается отъ обѣдовъ у своихъ аристократическихъ поклонниковъ, у которыхъ онъ гостилъ на дачѣ по цѣлымъ днямъ, и въ отвѣтъ на жалобы своего друга, литератора Шамфора, капризно пишетъ: „Je ne sais si m-r de-Chamfort connait des personnes qui s'intéressent à moi. Quand je me suis logédans le quartier des pauvres, je me suis mis à la place où je suis classé depuis longtemps“¹⁾.

Это новое докихотство, ведущее свое начало отъ Руссо, получаетъ особенную важность въ виду того, что оно послужило источникомъ *новой* черты, которою Руссо, руководясь своимъ субъективнымъ чувствомъ, надѣлилъ представление о *народѣ*, соединивъ съ нимъ понятіе о *бѣдности*. Иногда это понятіе прилагается къ народу вообще въ противоположность правительству. Въ „Общественномъ договорѣ“ Руссо выступаетъ защитникомъ будто бы забытаго учеными публицистами народа. Онъ утверждаетъ, что настоящее государственное право еще не возникло, потому что никто изъ

¹⁾ *St-Beuve*, *Caus.* VI, p. 362.

ученымъ, писавшихъ о немъ, не бралъ въ расчетъ интересовъ народа. Руссо съ рѣзкой ироніей упрекаетъ своихъ знаменитыхъ предшественниковъ за такое пренебреженіе къ народу, объясняя его тѣмъ, что „народъ не раздаетъ ни каедръ, ни пенсій, ни академическихъ должностей, а потому писаки и не заботятся о немъ“. Въ подобномъ смыслѣ Руссо говоритъ не разъ о *несчастномъ* народѣ, на счетъ котораго содержится правительство¹⁾.

Но еще чаще встрѣчается другой отбѣнокъ понятія *бѣдный* въ примѣненіи къ народу. Противопологая народъ знатнымъ и богатымъ, т.-е. вообще аристократической части общества, Руссо начинаетъ отождествлять народъ съ бѣдными, съ нищими—съ пролетаріатомъ, а съ другой стороны признаетъ за этимъ слоемъ населенія нравственное преимущество передъ другими,—преимущество, обусловленное именномъ бѣдностью. Завоевавъ себѣ почетное положеніе среди блестящаго парижскаго общества, Руссо находился въ полномъ разладѣ съ нимъ. Онъ былъ бѣденъ и хотѣлъ быть бѣднымъ, а между тѣмъ все время жилъ среди богатыхъ и знатныхъ и пользовался ихъ одолженіями. Это противорѣчіе раздражало его и увеличивало антагонизмъ между нимъ и обществомъ. Его болѣзненное воображеніе перенесло этотъ антагонизмъ и на нравственную почву. Его гордость постоянно подсказывала ему, что онъ лучше и достойнѣе тѣхъ счастливицевъ жизни, которыми онъ былъ окруженъ. Онъ вообразилъ, что онъ въ нравственномъ отношеніи выше всѣхъ, потому что превосходить всѣхъ чувствомъ и чувствительностью. Пороки и слабости, которые онъ сознавалъ въ себѣ, не смущали его; смиреніе его было паче гордости, и въ своей „Исповѣди“ онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что если у него и есть пороки, то онъ все-таки и въ этомъ отношеніи не похожъ на другихъ. Постоянныя представленія о своей бѣдности, о томъ, что онъ—жертва общественной тираніи, слились у него съ сознаниемъ своего нравственнаго преимущества. Понятія о бѣдности и о

1) Oeuvres, part. VII, p. 85.

добродѣтели отождествились для него. Онъ готовъ былъ видѣть добродѣтельнаго человѣка во всякомъ бѣднякѣ, подобномъ ему, а въ каждомъ изъ богатыхъ людей—эгоиста и человѣка безъ совѣсти. Случайныя встрѣчи и личныя столкновения подкрѣпили это убѣжденіе и доставили ему матеріаль, которымъ онъ воспользовался со всею страстностью своей натуры. Такъ укоренилось въ немъ убѣжденіе, наивно высказанное имъ въ автобіографіи, гдѣ ему на каждомъ шагу приходится упоминать объ одоженіяхъ, оказанныхъ ему друзьями,—что нѣкоторую гуманность онъ встрѣчалъ только со стороны *бѣдныхъ*, въ средѣ людей голодающихъ и угнетенныхъ поборами; а какъ онъ думалъ о богатыхъ и знатныхъ, это онъ высказалъ, на примѣръ, въ минуту страстнаго негодованія въ письмѣ къ графу Ластіку. Корзина съ масломъ, предназначенная въ подарокъ тещѣ Руссо, случайно попала на кухню этого господина. Узнавъ объ этомъ, старуха послала къ графу Терезу, чтобы вытребовать назадъ масло или деньги за него; но графъ и его жена встрѣтили ее съ насмѣшками и наконецъ велѣли выгнать. Вотъ отрывокъ изъ письма, которое Руссо написалъ по этому поводу: „Я старался утѣшить въ горѣ добрую женщину, изложивъ ей правила большого свѣта и аристократическаго воспитанія; я ей доказалъ, что не стоило бы имѣть лакеевъ, если бъ они не были нужны на то, чтобы выгнать бѣдняка, приходящаго за своимъ добромъ; и объяснивъ ей, что справедливость и гуманность—не болѣе какъ мѣщанскія слова; наконецъ, я заставилъ ее понять, какая ей оказана честь тѣмъ, что ея масло съѣдено графомъ“ ¹⁾.

Это письмо не было отправлено по настоянію г-жи д'Эпине, какъ видно изъ письма Руссо къ послѣдней, но вотъ другое подобное, написанное къ дамѣ, и вдобавокъ къ дамѣ, оказывавшей Руссо покровительство. Баронесса Безенваль и дочь ея, графиня де-Броль, приняла участіе въ Руссо, когда онъ еще былъ мало извѣстенъ своимъ литературнымъ талан-

¹⁾ «Corresp», письмо 86.

томъ, и доставили мѣсто секретаря при французскомъ посланникѣ графѣ Монтэгу въ Венеціи. Когда Руссо былъ принужденъ оставить это мѣсто и послѣ разныхъ непріятностей, которыя ему надѣлалъ Монтэгу, возвратился въ Парижъ, онъ посѣтилъ баронессу. Образъ дѣйствія графа намъ извѣстенъ только по разсказу Руссо, который, судя по его обычному поведенію, вѣроятно, и въ данномъ случаѣ былъ самъ не безъ вины. Какъ бы то ни было, Руссо остался недоволенъ пріемомъ своей старой знакомой и написалъ ей: „Я виноватъ, я ошибся: я считалъ васъ справедливой, но вы—дворянка, и я бы долженъ былъ понять, какъ неприлично мнѣ, иностранцу и плебею, жаловаться на дворянина... Если онъ ведетъ себя безъ достоинства, безъ благородства, то это потому, что дворянство его отъ того избавляетъ“ и т. п.¹⁾

Въ обоихъ этихъ случаяхъ Руссо имѣлъ дѣло съ отдѣльными лицами, которыя его оскорбили, и возбужденіе его могло бы отчасти служить оправданіемъ его небезпристрастныхъ обобщеній. Но Руссо былъ склоненъ къ такимъ обобщеніямъ въ совершенно спокойныя минуты, и здѣсь особенно ярко обнаруживается свойство того демократическаго чувства, органомъ котораго сдѣлался Руссо и которое проявилось такимъ роковымъ образомъ въ событіяхъ 1789--93 годовъ. То было не самоуваженіе, основанное на спокойномъ сознаніи своего достоинства и значенія, но проистекавшее изъ завистливой и желчной злобы высокомерное презрѣніе къ своимъ политическимъ противникамъ. Такимъ именно чувствомъ пышетъ страстная діатриба противъ дворянства, которую Руссо влагаетъ въ уста лорду Эдуарду въ „Новой Элоизѣ“. Когда лордъ проситъ у отца Юліи руки его дочери для своего друга Сень-Прё и тотъ отказывается выдать „последній отпрыскъ знаменитаго рода за кокого-то проходимца, принужденнаго жить подаянiями другихъ“,—представитель англійской аристократіи приходитъ въ негодованіе и клеймитъ позоромъ всѣхъ знатныхъ и всякую знать: сколько громкихъ именъ пришлось

¹⁾ Ibid, письмо 35.

бы предать забвенію, если бы считать только тѣхъ которые происходятъ отъ человѣка достойнаго уваженія. О прошедшемъ мы можемъ судить по настоящему: на два или три гражданина, которые пріобрѣтаютъ извѣстность честными средствами, тысяча подлецовъ доставляютъ своей семьѣ дворянскій санъ, и о чемъ же будетъ свидѣтельствовать этотъ санъ, которымъ потомки будутъ такъ гордиться, какъ не о кражахъ и безчестіи ихъ предковъ? Бываютъ, конечно, — я согласенъ, — безчестные люди и между мѣщанами; но всегда можно биться объ закладъ, ставя двадцать противъ одного, что дворянинъ происходитъ отъ плута ¹⁾“.

Противопоставленіе „знатнымъ“ *народа*, какъ образца гражданской добродѣтели и нравственности, началось не съ Руссо; и въ этомъ отношеніи Руссо имѣлъ во Франціи предшественниковъ. Почти за сто лѣтъ до него Лабрюеръ укорялъ „знатныхъ“ и отдавалъ предпочтеніе предъ ними народу въ такихъ выраженіяхъ, которыя могутъ изумить своей откровенностью и рѣзкостью, если принять въ расчетъ вѣкъ и общество, къ которымъ относятся. „Если я сравниваю между собой, — говоритъ наставникъ герцога Конде, — два самыя противоположныя состоянія между людьми — знатныхъ и народъ, — то послѣдній представляется мнѣ довольнымъ тѣмъ, что необходимо, первые же — безпокойными и бѣдными при всемъ своемъ излишествѣ. Человѣкъ изъ народа не можетъ

1) «Nouv. Héi.», I, p. 62. Справедливость требуетъ напомнить, что въ томъ же письмѣ заключается восторженная характеристика политическаго значенія и образа дѣйствій англійской аристократіи: «Залогъ свободы, поддержка отечества и опора престола, мы составляемъ условіе прочнаго равновѣсія между народомъ и королемъ. Мы признаемъ первымъ долгомъ наши обязанности относительно народа, вторымъ долгомъ — обязанности по отношенію къ его правителю; не волей его мы руководимся, а его правомъ. Верховные исполнители закона въ палатѣ лордовъ, иногда законодатели, мы отдаемъ одинаковую справедливость народу и королю» и т. д. Но такой политическій урокъ по теоріи Монтескье о посреднической роли дворянства долженъ былъ пропасть безслѣдно, когда заговорили страсти, и вожди демагогіи стали повторять слова Руссо, что справедливость и гуманность не совмѣстимы съ аристократическимъ положеніемъ.

причинить никакого зла; знатный не хочет дѣлать никакого добра и способенъ произвести много дурного; одинъ развивается и упражняется только на предметахъ полезныхъ, а другой присоединяетъ къ этому и то, что вредно; съ одной стороны простодушно обнаруживаются грубость и искренность, съ другой — подь оболочкой вѣжливости скрываются дурные и испорченные соки; у народа не развитъ умъ, у знатныхъ нѣтъ души; у того доброе основаніе, но нѣтъ наружнаго лоска, эти обладаютъ только наружнымъ лоскомъ и не имѣютъ никакого содержанія. Если выбирать, — я не поколеблюсь, я хочу быть съ народомъ (*je veux être peuple*)“¹⁾.

Конечно, и въ этихъ словахъ можно уже слышать отдаленный раскатъ того социальнаго потрясенія, которое превратило одну изъ самыхъ аристократическихъ странъ Европы въ передовую страну европейской демократіи. Но при ближайшемъ сопоставленіи Лабрюера съ Руссо обнаруживается различіе во взглядахъ и цѣляхъ обоихъ авторовъ и существенная разница между эпохой Людовика XIV и кануномъ революціи. Лабрюеръ говоритъ какъ моралистъ, обращаясь къ знатнымъ вообще и противопоставляя имъ народъ въ общемъ смыслѣ, всю остальную массу націи, лишенную привилегій и политическаго значенія; въ филиппикахъ Руссо уже слышится революціонный агитаторъ, исполненный вражды ко всему дворянству, какъ особому классу, — демагогъ, для котораго понятіе о народѣ все болѣе и болѣе суживается до образа санкюлота, а бѣдность является залогомъ добродѣтели и сливается съ нею.

Въ эпоху Руссо представителемъ аристократической части французскаго общества было дворянство, и поэтому не удивительно, что главныя выходки Руссо направлены противъ *знатныхъ*, тѣмъ болѣе, что его злоба противъ нихъ вытекала также изъ демократическаго чувства, оскорбленнаго неравенствомъ; но эти выходки представляются намъ въ настоящемъ свѣтѣ, если мы примемъ въ соображеніе, что честность,

¹⁾ *La Bruyère*, p. 195.

благородство и добродѣтель, которыя онъ отрицалъ у дворянъ. Руссо приписывалъ *бѣднымъ*. Руссо пустилъ въ оборотъ фразу о „добродѣтельныхъ бѣднякахъ“ (de pauvre vertueux), которая такъ пришлась ко времени и обратилась въ ходячее слово. Эта фраза сдѣлалась неизбѣжною приправой поэтическихъ произведеній и политическихъ памфлетовъ и такъ вошла въ привычку, что авторы и читатели повторяли ее одинаково машинально. У Бернардена де-Сень-Пьера, сочиненія котораго были въ такомъ ходу въ концѣ XVIII вѣка и такъ характерны для этой эпохи, она встрѣчается на каждомъ шагу. Въ своемъ „Путешествіи“, вышедшемъ въ 1773 году, описывая возвращеніе рыбаковъ во время бурной погоды, этотъ авторъ проникается гражданскою скорбью: „C'est donc parmi les gens de peine,—воскликаетъ онъ,—que l'on trouve encore quelques vertus“.

Мечтая въ своей филантропической чувствительности устроить вблизи Париза, на одномъ изъ островковъ Сены, *Элизей*, Бернарденъ де-Сень-Пьеръ даетъ ему слѣдующее назначеніе: онъ долженъ служить кладбищемъ для *благотворительныхъ смертныхъ*, ботаническимъ садомъ для экзотическихъ растеній, искусственнымъ лугомъ (для травосѣянія), *пританеемъ*, мѣстомъ для устройства свадебъ и празднествъ для *добродѣтельныхъ бѣдныхъ*, неприкосновеннымъ убѣжищемъ для задолжавшихъ отцовъ семейства и для всѣхъ несчастныхъ.

Изъ предшествовавшаго изложенія видно, какъ разнообразны были оттѣнки, которые принимало представленіе о народѣ въ діалектическомъ умѣ Руссо и подъ вліяніемъ его страстнаго воображенія. Двѣ великія силы человѣческаго духа, разумъ и чувство, одинаково, но независимо другъ отъ друга, участвовали въ созданіи тѣхъ образовъ, которымъ его талантъ придалъ такую чарующую форму и доставилъ такую популярность. Въ политической области Руссо руководился однимъ отвлеченнымъ разсудкомъ и выработалъ съ невозмутимою логикой и съ полнымъ забвеніемъ дѣйствительности и исторіи самую раціоналистическую формулу для *народа* въ

смыслѣ источника и представителя государственной власти. Но въ то же время онъ самъ поднялъ знамя реакціи противъ господствовавшаго раціонализма и далъ полный просторъ чувству, примѣняя его къ представлению о народѣ въ культурной и въ соціальной жизни. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи идеи Руссо имѣли большой успѣхъ и громадное вліяніе на убѣжденія современниковъ и ихъ политическіе идеалы. Популярности идей Руссо нисколько не повредило внутреннее противорѣчіе между ними; ихъ убѣдительность не терпѣла никакого ущерба отъ того, что онѣ были выведены имъ изъ двухъ діаметрально противоположныхъ принциповъ—разсудка и чувства. Напротивъ, эта разнородность именно и давала имъ силу: однѣ своей логичностью, оторванной отъ всякаго опыта, убѣждали умъ, другія увлекали сердце, и такимъ образомъ идеи Руссо такъ же согласно уживались въ убѣжденіяхъ его современниковъ, какъ и на страницахъ его изданій. Механическая система государственнаго строя, составленная безъ малѣйшаго вниманія къ исторической жизни народа, служила какъ бы незыблемымъ основаніемъ для представленія, что народъ есть ничто иное какъ масса лицъ, составляющихъ народное собраніе, и что народная воля есть только сумма голосовъ, полученная за вычетомъ меньшинства изъ большинства. А эта юридическая *презюмція* въ пользу *количества* получала новый авторитетъ при помощи убѣжденія, что образование есть уклоненіе отъ природы, извращеніе здороваго чистаго инстинкта, вложеннаго въ человѣка природой; мало того, она приобрѣтала нравственную силу вслѣдствіе доктрины, отождествлявшей бѣдность съ добродѣтелью, богатство съ эгоизмомъ и допускавшей выводъ, что только пролетарій можетъ быть благороднымъ гражданиномъ. Именно это странное сочетаніе, эта взаимная солидарность политическаго раціонализма и соціальной чувствительности содѣйствовали необузданности демократической страсти, обнаружившейся въ революціи 1789 года, и вызвали тѣ печальныя явленія, которыми заключился этотъ величавый въ своемъ началѣ и своей цѣли историческій переворотъ.

IV.

Представленія Руссо о народѣ имѣютъ интересъ не только для объясненія французской революціи; отъ его ученія исходятъ, какъ изъ центрального пункта, и развиваются, сплетаясь между собой, три логически возможные извращенія идеи о народѣ—*раціоналистическое*, или вытекающее изъ него *радикальное* ¹⁾, *романтическое* ²⁾ и *соціалистическое*. Всѣ они происходятъ отъ неправильнаго примѣненія представленія о народѣ къ *тремъ* главнымъ проявленіямъ и въ то же время средствамъ цивилизаціи и прогресса—*государству, образованію и собственности*. Радикальное направленіе, отъправляясь отъ существенно важнаго для всякаго прогресса отвлеченнаго понятія о *личности человека*, неправильно отождествляетъ народъ съ суммой отвлеченныхъ личностей, забывая о народѣ, какъ о конкретномъ явленіи и объ его исторической индивидуальности. Добывая арифметическимъ путемъ, чрезъ сложеніе и вычитаніе, понятіе о народной волѣ, радикализмъ неправильно отождествляетъ это теоретическое понятіе съ реальной политической силой—съ государственною властью, въ которой сосредоточивается историческая жизнь народовъ, и этимъ сводитъ цѣль, задачи и обязанности государственной власти на механическую работу счета голосовъ.

Въ дѣйствительности послѣднее слово такого радикализма есть *анархія*; она является невольнымъ выводомъ изъ раціоналистическаго построенія понятія о народѣ. Тѣсная связь анархіи съ политическимъ раціонализмомъ прямо подтверждается различными мѣстами изъ „*Contrat social*“. Руссо раз-

1) Раціонализмъ, переходя на практическую почву, становясь знаменемъ политической партіи, или источникомъ извѣстнаго настроенія въ обществѣ, проявляется въ формѣ *радикализма*, при чемъ конечно мельчаетъ, сохраняя однако свое доктринерство.

2) *Романтическимъ* мы назвали это направленіе потому, что идея преимущества инстинкта надъ разумомъ и цивилизаціей была особенно развита романтиками. Въ этомъ смыслѣ Руссо можетъ быть названъ первымъ романтикомъ.

личалъ, подобно своимъ предшественникамъ въ области публицистики, и строго разграничивалъ понятіе *souverain* (государь) и *gouvernement* (правительство). Сувереномъ, т.-е. какъ бы идеальнымъ государемъ, по его теоріи, былъ всегда народъ; правительство же могло при этомъ принимать по волѣ народа различныя формы—монархическую, аристократическую и демократическую. Отсюда Руссо выводилъ, что правительственная власть—„ничто иное, какъ порученіе“ или должность (*une commission, un emploi*), въ которой правительственные лица, (*les magistrats, simples officiers du souverain*) употребляютъ въ дѣло, отъ имени государя, власть, имъ возложенную на нихъ (*le pouvoir dont il les a faits dépositaires*).

Ту же мысль по отношенію къ монархіи вѣрнѣе, но не менѣе сильно, выразилъ великій абсолютный монархъ XVIII вѣка, Фридрихъ II Прусскій, сказавъ: „*le souverain n'est que le premier serviteur de ses états*“. Слѣдовательно, приведенная формула Руссо сама по себѣ не заключаетъ еще ничего анархическаго. Но рядомъ съ ней стоитъ у него выводъ, неизбѣжно ведущій къ анархіи. „Правительственные лица, которымъ вручена государственная власть,—говоритъ Руссо (*les dépositaires de la puissance exécutive*,—не господа народа (*ne sont point les maîtres du peuple*—и это вполне согласно съ мнѣніемъ Фридриха Великаго), и потому народъ можетъ ихъ назначить и смѣстить, когда ему угодно“. Это уже несогласно ни съ какой разумною теоріей; при такихъ принципахъ не можетъ существовать никакой цивилизованный народъ.

Для нѣкотораго оправданія Руссо нужно напомнить, что когда онъ дѣлалъ практическіе выводы изъ своей теоріи, онъ имѣлъ въ виду не Францію, а свою родину—республиканскую Женеву. Но и по отношенію къ такому микроскопическому государству, какъ Женева, всѣхъ гражданъ которой можно было собрать на одной площади, требованіе Руссо несостоятельно и должно повести къ анархіи. Это ему ясно высказалъ еще Вольтеръ, написавшій критику на „*Contrat social*“ подъ псевдонимомъ женевскаго гражданина: „Мы имѣемъ право, когда мы созданы, принять или отверг-

нуть правительственные лица (magistrats) и законы, которые намъ предложены; мы не имѣемъ права смѣшать государственныхъ сановниковъ, *когда намъ угодно*,—такое право было бы *узаконенной анархіей* (le code de l'anarchie)¹⁾.

Другой пунктъ, гдѣ анархія прорывается сквозь искусственную ткань политической теоріи Руссо, это—его учение о неотчуждаемости власти, принадлежащей каждому гражданину, о невозможности передать ее *представителю*. „Народовластіе,—говоритъ онъ,—не можетъ быть представлено, по той же причинѣ, по которой оно не можетъ быть отчуждено; оно существенно заключается въ общей волѣ, а воля не допускаетъ представительства,—она или та же самая или другая,—здѣсь нѣтъ середины. Депутаты народа поэтому не представители народа и не могутъ ими быть,—они ничто иное, какъ приказчики его, они ничего не могутъ рѣшить окончательно. Никакой законъ, не признанный лично народомъ, не имѣетъ силы; это не законъ (la loi que le peuple en personne n'a pas ratifié est nulle)“.

Руссо находится здѣсь подъ вліяніемъ тѣхъ немногихъ классическихъ авторовъ, которыхъ онъ изучалъ; онъ не подъялся надъ точкой зрѣнія античнаго міра, знавшаго только самодержавные города (civitates) и не знавшаго свободы безъ непосредственнаго *личнаго* участія всякаго гражданина въ функціяхъ государственной власти—въ законодательствѣ, судѣ и администраціи. Непримѣнимость этой теоріи къ крупнымъ и цѣльнымъ государствамъ очевидна, но анархическій характеръ ея, даже въ примѣненіи къ мелкимъ государствамъ, ясно обнаруживается въ слѣдующемъ выводѣ Руссо, находящемся въ тѣсной связи съ его взглядомъ на представительство: „Въ ту минуту, когда народъ законнымъ образомъ собранъ въ качествѣ государя (en corps souverain), всякая юрисдикція правительства прекращается и личность послѣдняго гражданина такъ же священна и неприкосновенна, какъ особа перваго магистрата, ибо тамъ, гдѣ является самъ представляемый (le représenté), не можетъ быть никакого представителя“.

¹⁾ *Barni*: «Hist. des idées morales et polit.», I, 264.

Это положеніе „Общественнаго договора“, — сказали Вольтеръ, — было бы пагубно, если бы не было ложно и очевидно нелѣпно. Вольтеръ, впрочемъ, здѣсь очень ошибся; онъ слишкомъ разсчитывалъ на здравый смыслъ людей и забывалъ о ихъ страстяхъ. Сколько разъ во время французской революціи толпа, навязывая свою волю народному собранію, дѣйствовала согласно съ этимъ указаніемъ Руссо. Такимъ образомъ логическую связь радикализма съ анархіей доказываетъ намъ теорія Руссо; практическое же доказательство этой связи представляетъ исторія французской революціи.

Романтическое направленіе, отпавляясь отъ таинственнаго инстинктивнаго элемента въ человѣческой природѣ вообще, въ людскихъ массахъ и въ исторической жизни народовъ, преувеличиваетъ его нравственное и культурное значеніе и возводитъ въ идеаль то, что составляетъ только основную почву дальнѣйшаго развитія. Отсюда — неправильное противоположеніе инстинкта разуму, предпочтеніе, оказываемое всему, что живетъ и вращается въ области бессознательнаго, что руководится инстинктомъ; отсюда — идеализація понятій и формъ, превратившихся въ привычку, наклонностей и стремленій, существующихъ въ силу преданія и обычая. Отсюда, наконецъ, установленіе искусственнаго антагонизма между народною массой, живущей инстинктомъ и обычаемъ, и тѣмъ меньшинствомъ, которое выдвинуто образованіемъ изъ этого заколдованнаго круга, и признаніе какого-то мистическаго и провиденціальнаго значенія за фактомъ, который есть только слѣдствіе естественнаго, неизбѣжнаго и необходимаго различія между извѣстными ступенями культуры.

Соціалистическое направленіе беретъ, такъ же какъ и радикальное, свое начало въ рационалистическомъ представленіи о личности человѣка и о народѣ, но примѣняетъ ихъ не къ одной только государственной власти, а также и къ собственности. Какъ радикализмъ, объясняя происхожденіе государства и государственной власти изъ „Общественнаго договора“ и изъ общей воли, дѣлаетъ отсюда выводъ, что государствен-

ная власть должна непосредственно принадлежать массѣ; такъ соціализмъ, выводя собственность гражданина изъ того же „Общественнаго договора“ и изъ общей воли, переходитъ отсюда къ заключенію, что собственность можетъ быть только коллективною, что настоящимъ, полнымъ собственникомъ можетъ быть только народъ. Какъ рационалистическая теорія государства, отправляясь отъ индивидуалистической теоріи, отъ естественной, безусловной свободы человѣческой личности, приходитъ въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи къ самому полному государственному деспотизму и къ совершенному уничтоженію свободы личности, такъ эта теорія въ примѣненіи къ собственности, отправляясь отъ того же индивидуалистическаго взгляда на собственность, ведетъ къ отрицанію личной собственности и такимъ образомъ къ политическому подавленію личности присоединяетъ еще уничтоженіе ея въ гражданскомъ быту.

Но въ этой отвлеченной формѣ, основанный на рационалистической теоріи происхожденія собственности, соціализмъ, какъ ученіе, доступенъ и привлекателенъ для немногихъ, большую же часть своихъ сознательныхъ или полуинстинктивныхъ приверженцевъ онъ получаетъ инымъ путемъ. Если оставить въ сторонѣ тѣхъ, кто усвоиваетъ себѣ это ученіе какъ средство для политической роли, и ту массу, которая примыкаетъ къ агитаторамъ въ надеждѣ улучшить свое матеріальное положеніе, — то можно будетъ сказать, что соціализмъ рѣже коренится въ односторонне направленномъ разсудкѣ, чѣмъ въ чувствѣ. Соціалистовъ по чувству гораздо болѣе, чѣмъ соціалистовъ по теоріи, и для многихъ самая теорія есть ничто иное, какъ смутное разсужденіе, которымъ стараются прикрыть себя чувство.

И въ томъ и другомъ отношеніи Руссо можетъ быть признанъ родоначальникомъ новѣйшаго европейскаго соціализма ¹⁾; въ его сочиненіяхъ можно найти корни обоихъ

¹⁾ Конечно, это не слѣдуетъ понимать въ слишкомъ тѣсномъ смыслѣ. Одновременно съ появленіемъ въ свѣтъ «Разсужденій» Руссо о причинахъ неравенства (1754) Морелли высказалъ въ своемъ сочиненіи «Code de la

оттѣнковъ; его представленія о народѣ послужили источникомъ, откуда черпали свою силу оба направленія социализма—доктринарный и чувствительный. Въ своемъ „Разсужденіи о неравенствѣ“ Руссо рѣзко осудилъ личную недвижимую собственность, какъ уклоненіе отъ естественнаго (въ его смыслѣ—*нормальнаго*) состоянія человѣчества, и какъ источникъ всѣхъ золъ и бѣдствій на землѣ; и свое негодованіе онъ излилъ въ такую формулу проклятія, которая легко овладѣвала воображеніемъ, прочно укладывалась въ памяти и избавляла своихъ приверженцевъ отъ всякаго дальнѣйшаго размышленія. Въ „Общественномъ договорѣ“ Руссо забылъ объ этомъ проклятій; онъ признаетъ собственность однимъ изъ основныхъ элементовъ того общества, которому онъ хочетъ дать рациональное основаніе и разумный строй. Но формула, которою онъ объясняетъ происхожденіе народа и государства, представляетъ и здѣсь готовую рамку для теоріи социализма. По ученію Руссо, въ моментъ возникновенія народа или государства, люди, обладающіе всѣми силами своего духа и тѣла и безусловно-свободные, вступаютъ между собой въ договоръ на слѣдующемъ условіи: „полное отчужденіе каждаго члена (*associé*) со всѣми его правами въ пользу всей общины“. Отчужденіе это происходитъ безусловно (*sans réserve*), и ни одинъ изъ участниковъ не имѣетъ потомъ права ничего требовать въ свою пользу (*n'a plus rien à réclamer*). Далѣе *сущность* „Общественнаго договора“ опредѣляется слѣдующимъ образомъ: „Каждый изъ насъ обращаетъ въ общее достояніе (*met en commun*) и всю свою личность, и

nature» гораздо рѣшительнѣе, чѣмъ Руссо, что причина всего общественнаго и нравственнаго зла на землѣ есть личная собственность и, что особенно важно, присоединилъ къ этому проектъ организациі образцовой общины, основанной на отсутствіи личной собственности. Но ни этотъ проектъ, ни болѣе поздняя социалистическая утопія Мабли далеко не имѣли такого успѣха, какъ страстная и чувствительная риторика Руссо, и они остались бы—(проектъ Морелли) мертвой схемой, или идилліей (утопія Мабли) если бы не получили жизненности благодаря настроенію общества, создавшемуся подъ вліяніемъ духа, исходившаго отъ Руссо.

всѣ свои силы (*puissance*) въ полное распоряженіе общей воли“. Руссо полагаетъ, что онъ этимъ путемъ *нашелъ* то, чѣмъ онъ задался, — „общество, которое бы защищало и охраняло общей своею силой *личность* и *имущество* каждаго члена и въ которомъ всякій, присоединяясь ко всѣмъ, повиновался бы однако только самому себѣ и оставался бы такъ же свободенъ, какъ и прежде“. На самомъ дѣлѣ, однако, было бы гораздо послѣдовательнѣе вывести изъ основанія, принятаго у Руссо—абсолютную власть общей воли надъ личностью и имуществомъ каждаго члена. Самъ Руссо это сдѣлалъ по отношенію къ личности, установивъ въ концѣ „Общественнаго договора“ тѣ религіозныя догмы, которыя всякій гражданинъ обязанъ исповѣдывать подѣ страхомъ изгнанія, и съ которыми онъ долженъ сообразовать свой образъ жизни подѣ страхомъ смертной казни ¹⁾. Другіе сдѣлали подобный выводъ изъ формулы Руссо по отношенію къ собственности и пришли къ теоретическому уничтоженію ея.

Но если Руссо въ своихъ сочиненіяхъ нигдѣ не дѣлаетъ прямыхъ социалистическихъ выводовъ изъ формулы „Общественнаго договора“, онъ какъ бы вознаграждаетъ себя за эту уступку разуму и уваженію къ дѣйствительности, обильно расточая ненависть и презрѣніе противъ общества, въ которомъ собственность играетъ такую роковую роль, въ которомъ богачъ развращенъ и только бѣднякъ добродѣтеленъ.

Очень мѣтко замѣчаніе Сенъ-Марка Жирардена, что Руссо революціонеръ не столько по своей доктринѣ, сколько по своимъ чувствамъ ²⁾. То же самое можно сказать по поводу

¹⁾ С. S., IV, ch. 8, p. 258 (éd. 1790). «Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentimens de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen, ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire il peut bannir de l'état quiconque ne les croit pas... Que si quelqu'un après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort».

²⁾ «J. J. Rousseau n'est point toujours révolutionnaire par les doctrines et il y a même beaucoup des doctrines de J. J. Rousseau qu'on peut retour-

его социализма; Руссо содѣйствовалъ развитію социализма не столько своимъ ученіемъ, сколько тѣми чувствами, которыя его одушевляли и которыя онъ внушалъ другимъ. Какъ многихъ другихъ, его сдѣлали социалистомъ добрыя и вмѣстѣ съ тѣмъ дурныя чувства. Главное мѣсто между первыми занимаетъ *со-страданіе*. Чувство *состраданія* (*pitié*), то-есть способность чувствовать чужія страданія, можно признать основаніемъ всей этики Руссо. Оно въ его глазахъ по преимуществу *естественное*, присущее человѣческой природѣ чувство; оно имѣетъ даже еще болѣе общее и всеобъемлющее значеніе, ибо его ощущаютъ и самыя животныя; а съ другой стороны оно воздерживаетъ человѣка отъ жестокаго обращенія съ ними¹⁾. Въ человѣческомъ же обществѣ состраданіе является у Руссо источникомъ всѣхъ благородныхъ порывовъ и всѣхъ социальныхъ добродѣтелей. „Что такое великодушіе, милость, гуманность,—воскликаетъ Руссо,—какъ не состраданіе, примѣненное къ виновнымъ или къ человѣческому роду вообще? Даже любовь (*bienveillance*) и дружба, собственно говоря, результатъ постояннаго состраданія, сосредоточеннаго на извѣстномъ предметѣ, ибо желать, чтобы кто-нибудь не страдалъ, не значитъ ли желать, чтобы онъ былъ счастливъ?“²⁾.

Съ другой стороны, одного состраданія, по мнѣнію Руссо, достаточно, чтобы воздержать человѣка отъ всего дурного: „пока онъ не будетъ противиться внутреннему голосу жалости, онъ никогда не причинитъ зла ни одному человѣку, за исключеніемъ того законнаго случая, когда его собственная безопасность подвергается риску и онъ принужденъ дать

ner contre l'esprit révolutionnaire; mais ce qu'il y a d'essentiellement révolutionnaire dans J. J. Rousseau, ce sont les sentiments». I, 80.

1) Въ виду сильнаго вліянія, которое имѣло на Руссо чтеніе Плу-тарха, уважемъ на мѣсто, гдѣ этотъ греческій моралистъ говоритъ о со-страданіи въ человѣкѣ, которое, «проистекая изъ обильнаго источника, распространяется и на неразумныхъ тварей», Біогр. Катона, гл. 5.

2) Оеувр., VII, р. 99. Началомъ расположенія Руссо къ Терезѣ послужило состраданіе къ ней, вызванное въ немъ грубыми шутками, которыми она подвергалась въ харчевнѣ, гдѣ была служанкой.

себѣ предпочтеніе. „Такимъ образомъ, — заключаетъ Руссо, — состраданіе, умѣряя во всякомъ индивидуумѣ себялюбіе, содѣйствуетъ взаимному сохраненію всего человѣческаго рода“.

Признавая состраданіе корнемъ нравственности и добродѣтели, выводя изъ этого начала нравственную солидарность людей, Руссо ставитъ постоянно состраданіе въ извѣстный антагонизмъ по отношенію къ разуму, настаивая на томъ, что состраданіе есть *ирраціональный* элементъ. Руссо не только повторяетъ, что состраданіе предшествуетъ разуму (*est antérieur à la raison*) и всякому размышленію, но что развитіе разума ослабляетъ состраданіе и можетъ привести къ уничтоженію его. Состраданіе основано на способности человѣка отождествлять себя съ лицомъ страдающимъ; но эта способность, чрезвычайно сильная въ естественномъ состояніи, суживается по мѣрѣ того, какъ развивается въ человѣкѣ способность размышлять, и человѣчество вступаетъ въ періодъ раціональнаго развитія (*état de raisonnement*). Разумъ порождаетъ себялюбіе, а размышленіе укрѣпляетъ его; оно заставляетъ человѣка замкнуться въ себѣ; оно отдѣляетъ его отъ всего, что его тревожитъ и огорчаетъ; философія изолируетъ человѣка; подъ ея вліяніемъ онъ говоритъ себѣ въ тайнѣ при видѣ страдающаго человѣка: погибай, если хочешь, — я въ безопасности.

Такимъ образомъ Руссо понимаетъ состраданіе только какъ слѣпой инстинктъ, который тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше развитъ разумъ, чѣмъ слабѣе привычка размышленія. Это состраданіе не нуждается въ просвѣтлѣніи разумомъ, — оно, напротивъ, избѣгаетъ его. Чѣмъ необразованнѣе общество, чѣмъ ближе человѣкъ къ состоянію дикаря, тѣмъ живѣе въ немъ состраданіе, и такъ какъ оно есть источникъ всѣхъ соціальныхъ добродѣтелей, то въ интересахъ человѣчества желательно, чтобы развитіе разума какъ можно меньше ему мѣшало. „Хотя Сократъ и люди подобные ему, — восклицаетъ Руссо съ нѣкоторой проницательностью, — и были способны приобрѣтать добродѣтель путемъ разума, однако человѣчество

давно бы не существовало, если бы его сохранение зависѣло отъ размышленія людей“ 1).

Это-то инстинктивное состраданіе, не просвѣтленное разумомъ и недовѣрчиво къ нему относящееся, лежитъ въ основаніи социологій Руссо; оно же нерѣдко руководило имъ въ его разсужденіяхъ о богатствѣ и бѣдности.

Люди, по мнѣнію Руссо, *уговорились* между собой устроить общество и государство, и по уговору возникъ народъ; но отчего бы людямъ не уговориться, чтобы не было бѣдности и нищеты? Руссо первый внесъ чувствительное фантазерство въ исторію; онъ сдѣлался основателемъ той особаго рода исторіографіи, которая видитъ въ жизни народовъ только насиліе и обманъ, порабощеніе и эксплуатацію, которая объясняетъ происхожденіе государства только изъ захвата власти и по мнѣнію которой законы *придуманы* сильными и богатыми для того, чтобы держать въ своей власти бѣдныхъ и слабыхъ. „Разсужденіе“ Руссо о происхожденіи неравенства есть основная мелодія, на которую социалистическіе историки писали только варіаціи, напр., Луп Бланъ и Марксъ съ ихъ вольными и невольными подражателями. Какъ мало соотвѣтствовало такое страстное искаженіе исторіи въ пользу пролетарія не только научной истинѣ, но и мудрому совѣту, который Руссо даетъ учителямъ въ своемъ педагогическомъ трактатѣ: „Научите вашего воспитанника любить всѣхъ людей, даже тѣхъ, которые относятся къ нимъ съ пренебреженіемъ; ведите его такъ, чтобъ онъ не причислялъ себя ни къ какому классу, но умѣлъ бы себя узнать во всѣхъ; говорите предъ нимъ о человѣческомъ родѣ съ умиленіемъ, даже съ состраданіемъ, но никогда съ презрѣніемъ. Человѣкъ не долженъ безславить человѣка“.

Ложный взглядъ Руссо на происхожденіе общества имѣлъ своимъ послѣдствіемъ не только искаженіе исторіи, но и долженъ былъ привести къ превратному представленію объ отношеніяхъ богатыхъ къ бѣднымъ и о благотворительности.

1) Oeuvr., VII. 102.

Если богатство есть результатъ насилія или обмана, если оно произошло отъ присвоенія того, что должно было бы принадлежать всѣмъ, тогда не можетъ быть рѣчи о благотворительности; тогда всякая помощь, оказанная бѣдному, есть ничто иное какъ уплата долга, какъ возвращеніе чужого достоянія; самое состраданіе становится абсурдомъ, когда бѣдный имѣетъ право не на состраданіе къ нему, а когда онъ можетъ требовать дѣлежа во имя права сильнаго. Такого въ сущности взгляда держится Руссо, и замѣчательно, что онъ прорывается у него въ „Эмилѣ“, въ сочиненіи, написанномъ съ педагогическою цѣлью, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ „Разсужденія о неравенствѣ“, и въ то самое время, когда онъ въ „Общественномъ договорѣ“ признавалъ право собственности, какъ одно изъ главныхъ правъ личности, гарантируемыхъ государствомъ. Указывая, какимъ способомъ лучше всего развивать въ ребенкѣ благотворительность, Руссо совѣтуетъ воспитателю дѣлать это посредствомъ вліянія собственнымъ примѣромъ и въ то же время до извѣстной поры лишать ребенка возможности помогать бѣднымъ, для того, чтобъ онъ не смѣшивалъ обязанностей ребенка съ обязанностями взрослого. По этому поводу изложенъ слѣдующій разговоръ между воспитателемъ и ученикомъ, который спрашиваетъ его, почему онъ подаетъ милостыню бѣднымъ:— „Другъ мой, это потому, что когда бѣдные захотѣли допустить, чтобы были богатые (*quand les pauvres ont bien voulu qu'il y eût des riches*), богатые обѣщали кормить тѣхъ, которые не могутъ содержать себя ни съ помощью своего имущества, ни посредствомъ труда“.— „Значитъ и вы тоже дали такое обѣщаніе?“— „Безъ сомнѣнія; я владѣю тѣмъ имуществомъ, которое проходитъ черезъ мои руки только на общемъ условіи, которое присуще всякой собственности“.

Можно очень усомниться въ достоинствѣ совѣта, даннаго Руссо. Если бы какой-нибудь педагогъ дѣйствительно вздумалъ говорить такимъ образомъ съ своимъ воспитанникомъ, онъ бы навсегда убилъ въ немъ чувство состраданія и инстинктъ благотворительности. Такія правоученія могли бы

только развить страхъ и расчетъ и содѣйствовать установленію взгляда, высказаннаго нѣкоторыми публицистами XVIII вѣка, что бѣдные—враги государства и общественнаго порядка, и мѣры благотворительности необходимы, чтобъ обезопасить отъ нихъ общество¹⁾.

Но если проявившееся въ упомянутыхъ словахъ мнѣніе Руссо, что богатые обязаны своимъ существованіемъ добротѣ и терпѣнію бѣдныхъ, не могло имѣть нравственнаго вліянія на богатыхъ, то оно должно было уже прямо развращающимъ образомъ подѣйствовать на бѣдныхъ и на всѣхъ тѣхъ, которые съ большимъ или меньшимъ правомъ причисляли себя къ нимъ въ силу того, что ихъ потребности и желанія превышали ихъ средства. А между тѣмъ именно этому классу людей было суждено играть большую роль во время событій, которыя въ значительной степени были подготовлены сочиненіями Руссо. Послѣднему совершенно справедливо былъ сдѣланъ упрекъ, что никто не всеялъ столько надменности бѣднымъ и ихъ политическимъ вождямъ, какъ онъ. Если такимъ образомъ даже добрыя чувства, одушевлявшія Руссо, его чувствительность и сострадательность, въ своемъ результатѣ нерѣдко вызвали ложныя понятія и возбуждали злобныя и антисоціальныя инстинкты, то что сказать о дурныхъ чувствахъ, которымъ слабая натура Руссо была безъ сомнѣнія слишкомъ легко доступна? Что сказать объ его завистливости, неблагодарности, его щекотливомъ тщеславіи, его мнительной подозрительности и болѣзненной мизантропіи, постепенно развившейся до настоящей маніи?

¹⁾ Приводя это мѣсто, Барни указываетъ («Histoire des idées», II, 168), какимъ образомъ Кантъ, облекшій многія идеи Руссо въ болѣе разумныя и философскія формы, исправилъ приведенный педагогическій совѣтъ: воспитатель долженъ былъ сказать ученику, что если онъ лучше одѣтъ, лучше питается, вообще счастливѣе другихъ, то обязанъ этимъ случайнымъ обстоятельствамъ; что другіе имѣютъ такое же право на благосклонность судьбы и что поэтому, оказывая помощь бѣднымъ, онъ исполняетъ только свой долгъ.

Изслѣдовать, насколько эти чувства повліяли на ложныя представленія Руссо объ обществѣ и о народѣ—задача интересная для психолога, но непріятная для историка; къ тому же она слишкомъ далеко отклонила бы насъ отъ предмета нашего изслѣдованія. Мы ограничимся здѣсь указаніемъ на этотъ фактъ и приведемъ по этому случаю мѣткій и справедливый отзывъ одного изъ современныхъ французскихъ критиковъ о вліяніи Руссо. „Въ сочиненіяхъ Руссо нужно искать источникъ революціоннато и сентиментальнаго жаргона; онъ далъ общій тонъ и изобрѣлъ главные мотивы; этого было достаточно; концертъ, можно сказать, шаривари, тотчасъ начался. Сѣтованія, воззванія, крики злобы, стоны непонятыхъ сердець, парадоксы и патетическія тирады людей, не ужившихся на своемъ мѣстѣ, театральныя лоскутья, которыми драпируются болѣзненное тщеславіе и страсти, не нашедшія себѣ предмета—все это ведетъ свое начало отъ него; это онъ посѣялъ въ мірѣ желчь ¹⁾).

Такимъ образомъ, какъ видно изъ примѣра Руссо, одностороннее проявленіе чувства, болѣзненная чувствительность могутъ въ двоякомъ отношеніи послужить побужденіемъ къ разладу съ современнымъ обществомъ, къ протесту противъ него. Протестъ можетъ быть направленъ противъ господства разума, противъ основанной на развитіи разума и на знаніяхъ культуры, противъ тѣхъ классовъ общества, куда проникла эта культура. Съ другой стороны, предметомъ протеста и антагонизма могутъ быть богатство и собственность и тѣ классы общества, которые ими преимущественно обладаютъ. Съ протестомъ обыкновенно идетъ рука объ руку чувствительная идеализація такихъ состояній и классовъ, которые представляютъ противоположныя черты, олицетворяютъ собой въ извѣстномъ смыслѣ отрицаніе того, что вызываетъ протестъ. Такъ, съ одной стороны, идеализируются живущіе въ естественномъ быту дикари, превозносятся эпохи первобытной культуры въ жизни извѣстнаго народа, пред-

¹⁾ P. Albert: «La Littérature Franç. au XVIII^e sc.», p. 288.

ставляются въ поэтическомъ свѣтѣ массы, которыхъ мало коснулась современная культура. Все это—различные отгѣнки направленія, которое принято называть *романтизмомъ*. Съ другой стороны, является идеализація бѣдности и бѣдныхъ на счетъ богатыхъ, или вообще собственниковъ. Отсюда особенное направленіе, которое хотя и не всегда доходитъ до опредѣленныхъ теоретическихъ формулъ социализма, — иногда даже враждуетъ съ нимъ (Мишле), — но подготавливаетъ для него почву.

Это направленіе, не требуя вмѣстѣ съ социализмомъ отгѣнки личной собственности во имя народной идеи, признаетъ ее какъ роковой фактъ, но нравственно не вполне примиряется съ нимъ, потому что видитъ въ немъ источникъ розни и раздвоенія въ народной жизни. Приверженцевъ этого направленія можно назвать *романтиками социализма*. Теоретическій социализмъ борется противъ собственности, какъ общественнаго учрежденія; романтическій ограничивается идеализаціей пролетаріата. Понятно, что социальный романтизмъ представляетъ очень много точекъ соприкосновенія съ обыкновеннымъ романтизмомъ. Романтики культуры враждуютъ противъ прогресса, цивилизаціи и противъ образованія, потому что оно отрываетъ извѣстный слой общества отъ народной массы; романтики социализма относятся враждебно къ тому слою, который выдѣляется изъ массы посредствомъ собственности. Оба направленія переносятъ на предметъ своего сочувствія нравственныя преимущества, заимствованныя изъ идеальныхъ представленій. Какъ у романтиковъ народности отсутствіе образованія признается условіемъ нравственнаго здоровья и добрыхъ инстинктовъ, такъ у романтиковъ социализма богатство есть источникъ эгоизма и нравственной порчи, а бѣдность—залогъ нравственной чистоты, безкорыстія и самоотверженія. Оба направленія сходятся въ томъ, что создаютъ искусственныя категоріи въ народѣ и возводятъ въ принципъ то различіе, которое въ жизни смягчается постепенностью явленій и постояннымъ передвиженіемъ.

Приверженцы одного романтизма искусственно обособля-

ють людей, которымъ они ставятъ въ упрекъ развитіе разума (intelligence) и дѣлаютъ браннымъ терминомъ то, что составляетъ естественную цѣль одного изъ благороднѣйшихъ инстинктовъ, вложенныхъ въ человѣка природой. Сторонники другого романтизма еще болѣе искусственно и насильственно выдѣляютъ въ особый классъ людей, обладающихъ собственностью, подъ именемъ *буржуа*, присоединяя къ этому названію предосудительный отгѣнокъ, и бросая такимъ образомъ тѣнь на то, что составляетъ естественный плодъ главнаго корня общественнаго благосостоянія — человѣческаго труда. Такимъ образомъ оба эти направленія извращаютъ естественныя отношенія между различными классами общества и искажаютъ нормальное представленіе о народѣ, которое дается правильнымъ пониманіемъ его, какъ историческаго организма, и разумнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности. Одно изъ этихъ направленій хочетъ видѣть *народъ* преимущественно въ непросвѣщенной массѣ, въ темномъ людѣ, а другое отождествляетъ *бѣдныхъ* съ народомъ.

Зародыши ложныхъ направленій въ представленіяхъ о народѣ, которые мы отмѣтили у Руссо, получили свое дальнѣйшее развитіе въ литературѣ, находившейся подъ его вліяніемъ; особенно содѣйствовали этому развитію событія, сокрушившія *старый порядокъ* во Франціи. Французская революція 1789 года вызвала къ дѣйствительной жизни всѣ эти призраки софистической мысли и ложно направленаго чувства; они получили громадное вліяніе на самый ходъ революціи и ярко отразились на главнѣйшихъ событіяхъ этого переворота.

Роль, которую ложныя представленія о народѣ играли во время революціи, вліяніе, которое они имѣли на благородныя увлеченія и преступленія той эпохи, были ясно поняты еще современниками и вынудили характерное признаніе у одного изъ самыхъ рѣшительныхъ послѣдователей политической теоріи Руссо и главнаго теоретика революціоннаго движенія во Франціи... „Мнимый народъ есть самый ожесточенный врагъ, котораго когда-либо имѣлъ французскій

народъ“. Эти слова аббата Сіеса могли бы служить знаменательнымъ эпиграфомъ къ исторіи революціи, и справедливость ихъ подтверждается по мѣрѣ того, какъ описаніе этого событія освобождается изъ-подъ вліянія страстей и становится предметомъ научнаго изученія.

Народъ и Правительство Франціи на исходѣ Стараго Порядка.

Въ предшествовавшей статьѣ изложено, въ какой степени представленія Руссо о народѣ и народовластіи расходились съ политическими и социальными основами *стараго* порядка. Но существовали ли въ то время въ самомъ народѣ и у тогдашняго правительства Франціи болѣе правильныя и органическія представленія объ этихъ вопросахъ?

Исторія Франціи чрезвычайно мало ее подготовила для этого, и условія, среди которыхъ ей были поставлены эти роковыя въ жизни каждаго народа вопросы, сложились особенно неблагоприятно для правильнаго ихъ разрѣшенія.

Если мы обратимся къ исторіи Франціи, чтобы выяснить, что именно она дала въ этомъ отношеніи французскому народу, то съ перваго взгляда будемъ поражены преимуществами, которыя онъ имѣлъ передъ другими европейскими народами. Исторія въ изобиліи обезпечила за нимъ всѣ элементы необходимыя для полной національной жизни. Его страна почти на всемъ пространствѣ рѣзко очерчена самой природою; въ этихъ естественныхъ рамкахъ давно уже сплотилось единое могущественное государство и его границы почти совпадали съ предѣлами, въ которыхъ жила французская національность; представительницей этого государства была самая древняя династія въ Европѣ, единственная когда-либо возсѣдавшая на французскомъ престолѣ, никогда не прерывавшаяся въ мужскомъ колѣнѣ, и возникшая вмѣстѣ съ французскимъ государствомъ и съ французскимъ народомъ. Нигдѣ въ остальной Европѣ государственное един-

ство не проявлялось такъ сильно въ устройствѣ общаго управления и въ административной связи частей, какъ во Франціи; нигдѣ политическая жизнь страны не была такъ стройно сведена къ одному центру, нигдѣ она не получала изъ этого центра такого быстрого, постояннаго импульса. Наружному единству этого политическаго цѣлаго вполне соответствовала его внутренняя жизнь. Дворъ былъ центромъ и законодателемъ общественнаго быта; свѣтское общество со своими обычаями, вкусами и модами было блестящимъ выраженіемъ національной жизни и объединяющей ее силой; его языкъ былъ національнымъ языкомъ, а на этомъ языкѣ уже проявилась творческая сила національнаго духа. Всѣ эти результаты исторической жизни Франціи въ ихъ совокупной связи обусловливали собой выгодное положеніе французскаго народа среди другихъ европейскихъ націй; французскій дворъ, французскія учрежденія, французское общество и французская литература сдѣлались всеобщимъ образцомъ, и въ этомъ торжествѣ всего французскаго находило себѣ обильную пищу самосознаніе французскаго народа.

Однако это единство и эта гармонія національныхъ элементовъ во Франціи, которыя не могли не поражать иностранцевъ въ XVIII вѣкѣ, вовсе не были такъ значительны и прочны. При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывалось за этимъ единствомъ чрезвычайно много недодѣланнаго, а за этой гармоніей много розни и противорѣчій. Въ территориальномъ отношеніи сохранились еще вполне неприкосновенными со своими случайными очертаніями и древними границами старинныя области, изъ которыхъ сложилась держава французскихъ королей. Примыкая одна за другой къ древней вотчинѣ Капетинговъ, провинціи не утрачивали своей мѣстной и исторической индивидуальности. Вездѣ твердымъ оплотомъ этой индивидуальной жизни являлось мѣстное *право*, сложившееся чрезвычайно своеобразно изъ приложенія германскаго или римскаго права къ мѣстнымъ формамъ и условіямъ; далеко не повсюду господствовала въ массѣ французская рѣчь, а наружнымъ выраженіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ

блюстителями провинціальныхъ особенностей являлись древнія и довольно самостоятельныя административныя *учрежденія*, довершавшія замкнутость отдѣльныхъ областей. Проникавшія отсюда различія въ способѣ управленія не только поддерживали исключительность мѣстныхъ интересовъ, но и порождали рознь между провинціями; какъ мало еще было органической связи между различными частями Франціи, объ этомъ можно судить по тому, что, напр., штуку сукна, отправляемую съ валансьенскихъ фабрикъ для продажи на испанскую границу, нужно было по пути черезъ Францію оплачивать пошлиной въ пяти различныхъ провинціальныхъ таможахъ, за нее приходилось вносить *ввозную* пошлину на границѣ Пикардін, *вывозную* при выходѣ изъ Пуату, въ Бордо такъ называемую *Comtable*, при провозѣ черезъ область *Ландовъ*—Аррасскую пошлину, а въ Баіоннѣ—*кутюму*. Вполнѣ согласно съ такимъ положеніемъ дѣла восточныя области, завоеванныя въ XVI и XVII в. у Германіи, продолжали называться даже на официальномъ языкѣ *иностранными провинціями*, и жители окраинъ, отправляясь въ Парижъ, говорили, что *идутъ во Францію*.

Но кромѣ этой разобщенности между провинціями и розни между ихъ промышленными и коммерческими интересами—существовалъ еще прямой антагонизмъ между ними вслѣдствіе неодинаковыхъ отношеній къ нимъ со стороны общаго правительства. Общегосударственныя повинности, которыя несли отдѣльныя области, были очень неравномѣрны, и различіе въ этомъ отношеніи еще увеличивалось вслѣдствіе того, что способъ взиманія податей былъ не вездѣ одинаковъ. Главная изъ прямыхъ податей, *талья*, въ иныхъ областяхъ падала на недвижимое имущество, въ другихъ на личность плательщиковъ; въ однѣхъ областяхъ разверстаніе общей суммы и сборъ ея были предоставлены мѣстнымъ выборнымъ учрежденіямъ, въ другихъ она распредѣлялась чиновниками, а сборъ податей былъ порученъ сборщикамъ, назначавшимся администраціей и отвѣчавшимъ своимъ имуществомъ и свободой за полный сборъ. Еще неравномѣрнѣе

падалъ на плательщиковъ самый тяжелый изъ косвенныхъ налоговъ—налогъ на соль. Чѣмъ древнѣе была провинція, тѣмъ выше былъ обыкновенно ея соляной налогъ, и по мѣрѣ уменьшенія этого налога можно было опредѣлить вѣкъ ея завоеванія. Въ такихъ случаяхъ мѣстныя особенности уже пріобрѣтали значеніе областныхъ *привилегій* и становились ненавистными и несправедливыми, по мѣрѣ того, какъ *историческое право*, лежавшее въ основаніи этихъ податныхъ и административныхъ льготъ, выговоренныхъ провинціями или дарованныхъ имъ правительствомъ при ихъ присоединеніи къ Франціи,—приходило въ ветхость вслѣдствіе его несогласности съ новыми государственными понятіями и общими потребностями націи.

Такимъ образомъ единство Франціи нарушалось въ территориальномъ отношеніи различными преградами и привилегіями, раздроблявшими ее на множество частей; — но то же самое явленіе эта страна представляла тому, кто сталъ бы изслѣдовать ея строеніе въ вертикальномъ направленіи: и тутъ онъ встрѣтилъ бы такую же раздробленность, ту же рознь и такой же антагонизмъ. Средніе вѣка были періодомъ обособленія: потребности жизни заставляли людей съ одинаковыми интересами тѣсно спланиваться въ отдѣльныя группы и обособляться отъ другихъ. Монахъ уходилъ отъ міра въ монашескую общину, которая обособлялась отъ епископа; прелаты и сеніоры отдѣлялись отъ короля, вассалы отъ своего сюзерена, городъ обособлялся отъ деревни, въ городѣ жители разбивались по гильдіямъ и цехамъ. Общество, вышедшее изъ средневѣковыхъ условій, сохранило на себѣ слѣды этой разобщенности; вездѣ оно было разбито на людей разныхъ сословій и корпорацій, пользовавшихся разными льготами, несшихъ различныя обязанности и подчиненныхъ разнымъ властямъ. Но въ этой массѣ общественныхъ разновидностей особенно рѣзко отдѣляются другъ отъ друга два слоя—*привилегированный* и *податной*. Первый состоитъ изъ множества обособленныхъ группъ, находящихся между собой въ извѣстномъ антагонизмѣ, но связанныхъ однимъ общимъ отличи-

тельнымъ признакомъ — *привилегіей*. Такое наслоеніе проходитъ по всѣмъ территоріямъ и областямъ, и такимъ образомъ можно сказать, что главную связующую черту, придававшую единство различнымъ областямъ, представляла именно эта повсемѣстная рознь въ социальномъ строеніи.

По мѣрѣ того, какъ развивалась государственная жизнь и усложнялись общественныя формы, привилегіи принимали весьма различный видъ—но въ основаніи ихъ всѣхъ лежалъ въ сущности одинъ общій принципъ. Этотъ принципъ, созданный феодальной жизнью, видоизмѣнился съ ея паденіемъ и стерся до нѣкоторой степени, но не былъ совершенно забытъ—это было обладаніе извѣстной частицей *государственной власти* или извѣстной ея функціей и проистекавшая отсюда *автономія* въ своемъ кругу. Феодализмъ разбилъ государственную власть въ рукахъ преемниковъ Карла Великаго и разбросалъ ее по областямъ и ленамъ; осколки ея, еще не подобранные королями Франціи, или снова выпущенные ими изъ рукъ, составляли то *право*, на которое опирались *привилегированные*—какъ лица, такъ и корпораціи. Власть феодальныхъ сеньёровъ надъ ихъ *подданными* по большей части уже утратила свой государственный характеръ; сеньёрьяльныя права во многихъ случаяхъ превратились въ статью дохода, въ повинность, которая падала на землю или на лицо, и даже тамъ, гдѣ первоначальный характеръ этихъ правъ сохранился яснѣе, напр., въ области сеньёрьяльнаго суда, привилегія—судить подданныхъ короля на ряду съ королевскими судами должна была казаться аномаліей среди общаго государственнаго строя.

Еще болѣе, однако, приняли характеръ *привилегій* сеньёрьяльныя права, сохранившіяся по отношенію къ самой королевской или государственной власти, такъ какъ политическая сторона ихъ еще болѣе стусевалась; прежняя *автономія* обратилась главнымъ образомъ въ податную льготу: она сохранилась въ видѣ изъятія отъ той подати, которая составляла отличительный признакъ податного сословія (талья), или же, какъ у духовенства, въ правѣ вносить другія государ-

ственные подати лишь по добровольному соглашенію. До послѣднихъ дней старой монархіи за духовенствомъ оставалось право *вотировать* суммы, которыя налагались правительствомъ на его имущество, и подносить ихъ королю въ видѣ *дара* (*don gratuit*).

Къ этимъ двумъ классамъ привилегированныхъ—военнымъ дворянамъ (*noblesse d'écrite*), къ которымъ собственно принадлежали только потомки владѣльцевъ феодальныхъ сеньерій, и духовнымъ владѣльцамъ церковныхъ помѣстій, присоединился третій многочисленный классъ привилегированныхъ позднѣйшаго наслоенія. Источникомъ этихъ привилегій была также государственная власть, но не присвоенная въ феодальную эпоху и потому въ извѣстномъ смыслѣ самобытная, а уступленная или предоставленная уже самими королями. Сюда принадлежали разные лица и корпораціи, которымъ короли поручали или продавали—нерѣдко съ правомъ передачи по наслѣдству—извѣстныя судебныя и фискальныя должности, избавляя ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ до извѣстной степени отъ разныхъ государственныхъ повинностей. Это была цѣлая іерархія съ множествомъ градацій отъ потомственныхъ членовъ могущественныхъ парламентовъ (*noblesse de robe*) до сельскаго урядника (*exempt*), избавленнаго отъ тали и милиціи; но общей отличительной чертой ихъ была *привилегія*.

Какъ вездѣ, такъ и во Франціи, строеніе государства и общества обуславливали собой характеръ правительства; и здѣсь за наружнымъ единствомъ оказывалось разъединеніе, и тѣ же самые элементы, которые вносили разладъ въ государство и общество Франціи, нарушали единство ея верховной власти. Эта верховная власть еще носила на себѣ слѣды своего феодальнаго происхожденія. При обыкновенномъ теченіи жизни верховная власть была представлена королемъ; но въ критическія минуты выступали на сцену другіе ея элементы—*Генеральные Штаты*, т.-е. представительство тѣхъ общественныхъ силъ въ странѣ, за которыми признавалась извѣстная доля политической автономіи. Правда, королев-

ская власть сумѣла въ послѣдніе два вѣка обойтись безъ ихъ помощи, но она не устранила и не заставила забыть политическій принципъ, который представляли собой Генеральныя Штаты. Память объ нихъ постоянно поддерживалась существованіемъ въ главныхъ провинціяхъ такихъ мѣстныхъ „Генеральныхъ Штатовъ“, которые ограничивали въ своихъ предѣлахъ правительственную власть. Съ другой стороны, короли во весь періодъ своего абсолютизма косвенно признавали правительственное право Генеральныхъ Штатовъ тѣмъ, что они сами придавали только *временный* характеръ новымъ налогамъ, которымъ они подвергали привилегированныя сословія.

Еще болѣе, однако, бросался въ глаза въ теченіе XVIII вѣка другой разладъ среди французскаго правительства, — разладъ между новой административной бюрократіей или *министерскимъ деспотизмомъ*, какъ вошло тогда въ моду ее называть — и парламентами. Парламенты были нѣкогда главнымъ орудіемъ королей для введенія государственныхъ формъ среди феодальнаго порядка вещей. Но эти учрежденія постепенно такъ срослись со старымъ порядкомъ, что когда французское государство стало принимать съ XVII в. чисто бюрократическія формы, то королямъ пришлось организовать свою новую администрацію внѣ круга дѣйствія парламентовъ и къ ущербу ихъ власти и вліянія. Отсюда эта странная двойственность въ системѣ управленія Франціей, которая проходитъ по всѣмъ функціямъ государственной жизни и одновременно даетъ себя чувствовать какъ въ центрѣ, такъ и во всѣхъ частяхъ. Парламентъ вѣдаетъ судомъ, но рядомъ съ нимъ появляются королевскіе и чрезвычайные суды; за парламентомъ остается прежняя область администраціи, но вокругъ него все шире и глубже разрастается административная власть интендантовъ, подвѣдомственныхъ министру финансовъ; парламентъ остается главнымъ органомъ законодательной власти короля, но законы готовятся и пишутся въ Королевскомъ Совѣтѣ.

Вслѣдствіе этой двойственности въ органахъ правитель-

ства между ними постоянно происходят препирательства и столкновения; парламенты враждуютъ съ интендантами, борются съ министрами. Эти столкновения изъ области административной нерѣдко переходятъ въ область государственнаго права и получаютъ политическое значеніе. Парламенты, вѣрные своему происхожденію и первоначальному значенію, признаютъ аксіомой абсолютность законодательной власти короля (*si veut le roi, si veut la loi*), но вмѣстѣ съ тѣмъ пользуются стариннымъ обычаемъ вносить въ свой реестръ королевскіе указы для того, чтобы бороться противъ распоряженій правительства, и такимъ образомъ возводятъ свою обязанность объявлять и хранить законъ на степень какой-то конституціонной гарантіи противъ королевской воли, представляемой министрами ¹⁾.

Такое дробленіе правительственной власти становится тѣмъ чувствительнѣе, что правительству приходится имѣть дѣло не съ однимъ парламентомъ, а съ тринадцатью. Расширяя свои владѣнія въ средніе вѣка, французскіе короли находили во всѣхъ болѣе или менѣе самостоятельныхъ областяхъ свои мѣстные парламенты; они сохраняли за ними ихъ прежнее значеніе, такъ какъ въ то время нуждались въ нихъ, какъ въ административныхъ органахъ, и опирались на нихъ противъ дворянства и духовенства. Но эти могущественныя и довольно самостоятельныя корпораціи готовы были служить королямъ только по *старинѣ* и такимъ образомъ стали преградой для дальнѣйшаго расширенія королевской власти. Мало того, съ развитіемъ централизаціи они превратились въ блюстителей мѣстнаго права и областныхъ привилегій, въ оплотъ партикуляризма среди централизованной Франціи. Этого послѣдняго оттѣнка не имѣлъ только Парижскій парламентъ, вѣдавшій большею частью коренной Франціи, но зато онъ сдѣлался центромъ легальной оппозиціи противъ *двора*, такъ какъ считалъ въ числѣ своихъ членовъ не однихъ магистра-

¹⁾ Vérifier, si les édits des rois, étoient ou non d'accord, soit avec les traités particuliers faits par les provinces, soit avec les lois fondamentales du royaume. M. de Stael. Considér. I 135.

товъ, но также и *перовъ* Франціи и принцевъ королевскаго дома.

Такимъ образомъ, съ какой стороны мы ни взглянемъ на старую Францію, на государство, на общество или правительство, вездѣ мы находимъ вмѣстѣ съ строгимъ единствомъ большое дробленіе, на ряду съ сильнымъ вѣковымъ стремленіемъ къ единообразію формъ и быта, такое же упорное сопротивление.

При такомъ положеніи дѣла старая Франція представляла мало данныхъ для органическаго взгляда на народъ, для установленія гармоническаго понятія о немъ, заимствованнаго изъ его исторической жизни. И дѣйствительно, тогдашняя терминологія относительно понятія о народѣ носитъ на себѣ слѣды сбивчивости представленій и внутреннихъ противорѣчій, созданныхъ исторіей.

Французскій языкъ получилъ въ наслѣдство отъ латинскаго два слова, которымъ онъ могъ воспользоваться для обозначенія понятія о народѣ—nation и peuple. Изъ нихъ первое, какъ болѣе книжное, было болѣе приноровлено жизнью къ обозначенію народа въ общемъ смыслѣ, и такъ какъ у французовъ, подобно другимъ народамъ, сознаніе національнаго единства проявилось въ антагонизмъ съ другими націями, то слово nation употреблялось обыкновенно съ эпитетомъ française, обозначая такимъ образомъ французскій народъ въ противоположность другимъ. Однако понятіе о цѣлости и нераздѣльности французскаго народа не настолько еще укоренилось, чтобъ исключить всякіе другіе эпитеты кромѣ „французскаго“ въ приложеніи къ жителямъ различныхъ областей, входившихъ въ составъ Франціи; о бретонцахъ, о жителяхъ Беарна говорили, какъ объ отдѣльныхъ націяхъ—la nation bretonne и т. п. Въ этихъ случаяхъ особенность провинціи, коренные жители которой еще не говорили на французскомъ языкѣ, до нѣкоторой степени объясняла такой способъ выраженія; но партикуляризмъ былъ еще настолько силенъ въ старой Франціи, что накануне революціи будущій вождь якобинской диктатуры — Робес-

пьеръ—официально обратился къ своимъ избирателямъ въ графствѣ Артуа—съ посланіемъ къ *артезіанской націи*, à la nation artésienne. Эта *нація* жила на пространствѣ 25 квадратныхъ верствъ и говорила на языкѣ *французской націи*; единственный поводъ для нея смотрѣть на себя, какъ на отдѣльную націю, заключался развѣ въ привилегіяхъ, которымъ пользовались жители Артуа. Со времени своего присоединенія къ Франціи они не платили ни талли, ни соляного побора, ни другихъ косвенныхъ налоговъ, извѣстныхъ подъ именемъ *aides*, ни таможенныхъ пошлинъ; зато остальная Франція была отдѣлена отъ нихъ крѣпкимъ таможеннымъ кордономъ—это былъ политическій островокъ въ старой Франціи.

Не менѣе знаменательный признакъ разлада во внутренней жизни французскаго народа можно усмотрѣть въ другомъ отбѣнкѣ, который получаетъ слово *нація*. Оно начинаетъ служить для обозначенія воли и власти Генеральныхъ Штатовъ—какъ представителей народа въ противоположность воли и власти короля. Въ этомъ смыслѣ употребляетъ слово *nation* уже кардиналъ Дюбуа въ конфиденціальномъ докладѣ, представленномъ регенту королевства—Филиппу Орлеанскому. Послѣ финансоваго погрома, вызваннаго кредитными операціями Ло, регентъ вздумалъ созвать Генеральные Штаты, чтобы съ ихъ помощью организовать государственное хозяйство. Совѣтникъ регента убѣждалъ его не дѣлать этого, указывая ему на то, что затрудненія, которыя онъ испытывалъ съ парламентами, удесятятся съ созваніемъ Генеральныхъ Штатовъ. Можетъ ли монархъ, спрашивалъ Дюбуа, сказать *націи*, какъ онъ могъ сказать парламенту — „вы не нація“? Можетъ ли онъ сказать представителямъ своихъ подданныхъ — „вы не представляете собой націи“? можетъ ли король Франціи отправить въ ссылку *націю*, чтобы добиться повиновенія, подобно тому, какъ онъ отправляетъ въ ссылку свои парламенты?“¹⁾

Употребленіе слово *нація* въ этомъ смыслѣ стало съ тѣхъ

¹⁾ Н. Parl. I. 158.

порь быстро распространяться. Уже д'Аржансонъ замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ, что „никогда не говорили такъ много о націи и государствахъ, какъ теперь. Эти два слова никогда не произносились при Людовикѣ XIV. Тогда не существовало даже понятія о нихъ“.

Не менѣе разнообразно и характерно было употребленіе другого термина, которому пришлось играть такую роковую роль во время революціи—слова *peuple*. И оно употреблялось нерѣдко для обозначенія французской націи вообще въ противоположность другимъ, и тогда къ нему прилагалось слово *français*. Употреблялось оно также для обозначенія населенія Франціи въ его отношеніяхъ къ королю, который говорилъ на официальномъ языкѣ о своихъ народахъ—*ses peuples*. Большую же частью слово *peuple* въ единственномъ числѣ и безъ всякаго опредѣленія обозначало массу населенія въ противоположность *привилегированнымъ* сословіямъ и лицамъ; въ этомъ случаѣ ему придавали то болѣе обширный смыслъ,—противопоставляя ему *les grands*, т. е. включая въ его составъ всѣхъ—за исключеніемъ высшей аристократіи; то изъ него исключались всѣ привилегированные, хотя бы они принадлежали и къ *tiers-état*; въ такихъ случаяхъ оно получало очень узкій смыслъ, подходившій къ смыслу слова *populace*.

Такимъ образомъ, самое употребленіе словъ, обозначавшихъ народъ, отражало на себѣ рознь и антагонизмъ элементовъ въ народной жизни, созданныхъ исторіей и еще не приведенныхъ къ общей гармоніи. Между тѣмъ, сама исторія, давшая Франціи толчекъ къ единству, поставила ей эту цѣль; вопросъ былъ только въ томъ, какимъ путемъ она можетъ быть достигнута.

Точкой опоры для этого единства была монархія. Французскіе короли искони были центромъ притяженія для Франціи; расширяя свою власть, они создали французское государство, создали тѣ рамки и условія, среди которыхъ сложился французскій народъ. Ихъ власть продолжала служить объединяющей связью областей и сословій. Коренные фран-

цузы любили потомковъ Людовика Святого, какъ своихъ законныхъ властителей; упорный бретонецъ видѣлъ въ королѣ Франціи законнаго наслѣдника своихъ національныхъ герцоговъ; полудикій пастухъ Пиренеевъ чтилъ колыбель перваго Бурбона на престолѣ Франціи, какъ національную святыню. Подобною же связью была династія и для сословіи: рыцарская лояльность вассала къ сюзерену и вѣрность подданнаго своему *доброму королю* сливались въ общей преданности монарху Франціи.

Но постепенно сила притяженія королевской власти во Франціи начинаетъ ослабѣвать, стремленіе правительства объединить государство и націю замедляется; вѣковая работа монархіи приостанавливается прежде, чѣмъ ея дѣло завершается и вмѣстѣ съ тѣмъ монархія начинаетъ утрачивать свой національный характеръ. Эта перемѣна въ исторической роли Капетинговъ обнаруживается, начиная съ Людовика XIV, того именно короля, при которомъ королевскій абсолютизмъ достигъ своего высшаго развитія, и Франція, какъ государство и какъ нація, заняла первенствующее мѣсто въ Европѣ.

Какія причины приостановили во Франціи это движеніе къ государственному и національному единству и заставили монархію уклониться отъ ея историческаго призванія?

Прежде всего, конечно, отвѣта на этотъ вопросъ нужно искать въ характерѣ правящихъ лицъ, въ условіяхъ времени и историческихъ обстоятельствахъ. Людовикъ XIV до известной степени довершилъ дѣло своихъ предковъ; слава, которой онъ себя окружилъ, значеніе которое онъ доставилъ Франціи своими побѣдами, своей политикой и блескомъ своего двора, сильно развили обаяніе королевской власти и вмѣстѣ съ тѣмъ патріотизмъ и національное сознаніе во Франціи. Этому государю, казалось, было бы всего естественнѣе и легче устранить дуализмъ между парламентами и бюрократіей, уничтожить партикуляризмъ провинцій и исключительное положеніе *привилегированныхъ* въ государствѣ и обществѣ. Если онъ ничего не сдѣлалъ въ этомъ отношеніи, то это можно главнымъ образомъ объяснить двумя причи-

нами. Свободный отъ внутреннихъ раздоровъ, этотъ король обратилъ все свое вниманіе на международное положеніе Франціи, истратилъ всѣ силы своего правительства на національную или династическую политику. Все пятидесятилѣтнее царствованіе его было занято войнами съ небольшими промежутками, занятыми приготовленіемъ къ войнѣ. Такое время постоянныхъ и тяжелыхъ войнъ, конечно, было неблагоприятно для внутреннихъ реформъ. Съ другой стороны, Людовикъ XIV и не чувствовалъ потребности въ нихъ; предъ величіемъ его власти смолкло всякое сопротивленіе, можно сказать всякое разногласіе во внутренней жизни Франціи. Онъ вынесъ изъ своего дѣтства, совпавшаго со смутами фронды, самое тяжелое воспоминаніе о приниженіи королевской власти, о всеобщей анархіи, вызванной своеволіемъ парламентовъ, сенсеровъ, принцевъ крови, и ихъ борьбой за власть. При немъ все измѣнилось кореннымъ образомъ: принцы, вельможи, высшее духовенство и магистратура жили только мыслью о королевской милости. Людовикъ XIV чувствовалъ себя вполнѣ удовлетвореннымъ проявлявшимся вокругъ него торжествомъ монархическаго начала; онъ отдавалъ приказанія парламенту, являясь туда въ охотничьемъ костюмѣ и съ хлыстомъ въ рукѣ; вельможа, впавшій въ немилость и потомъ снова принятый ко двору, говорилъ ему— „Вдали отъ Васъ, государь, человекъ не только несчастенъ, онъ становится смѣшонъ“. Привилегированные безъ ропота подчинились подушной подати (*capitation*), возложенной на нихъ простымъ королевскимъ указомъ. Единственная вольность, которая оскорбляла короля, единственная привилегія, стѣснявшая его абсолютизмъ, заключалась въ свободѣ вѣры гугенотовъ, обеспеченной за ними Нантскимъ эдиктомъ, и Людовикъ XIV уничтожилъ эту аномалію въ своемъ государствѣ, не пожалѣвъ никакихъ жертвъ и не отступивъ ни отъ какихъ деспотическихъ мѣръ для того, чтобы достигнуть единства въ области религіи.

Послѣ Людовика XIV обстоятельства были еще менѣе благоприятны для коренныхъ реформъ. Эпоха регентства и долгаго попечительства надъ молодымъ королемъ не дозво-

ляла никакихъ серьезныхъ мѣръ, даже если бы личности Филиппа Орлеанскаго, Герцога Бурбонскаго и стараго кардинала Флѣри были къ тому болѣе способны: а затѣмъ опять наступила эпоха войнъ, поглотившихъ почти цѣлое двадцатипятилѣтiе при Людовикѣ XV; министры этого короля не разъ задумывали частныя реформы, нерѣдко и принимались за нихъ, но извѣстно, съ какими влiянiями имъ приходилось бороться и на чемъ сосредоточивалась главная забота правительственныхъ лицъ.

Однако, сколько влiянiя мы бы ни приписывали свойствамъ дѣйствовавшихъ лицъ и историческимъ обстоятельствамъ, этого недостаточно для объясненiя апатiи правительственной власти во Францiи и ея немощи относительно коренныхъ реформъ въ продолженiе цѣлаго вѣка. Короли Испанiи, Португалiи и Неаполя въ XVIII в. были еще слабѣе и ничтожнѣе, чѣмъ короли Францiи, а между тѣмъ каждая изъ этихъ странъ можетъ гордиться своимъ Тануччи или Помбалемъ; исторiя всѣхъ европейскихъ государствъ въ это время заключаетъ въ себѣ страницы борьбы правительственной власти съ средневѣковыми учрежденiями и привилегiями. Отчего же эпоха *просвѣтительнаго абсолютизма* прошла такъ бесплодно для Францiи?

Еще министръ всемогущаго Людовика XV призналъ, что *мнѣнiя управляютъ людьми*, т.-е. другими словами, что идеи руководятъ событiями; и въ области идей мы должны искать ключъ къ объясненiю правительственной политики Францiи.—Какая же политическая идея господствовала въ этой странѣ и наложила свою печать на убѣжденiя ея правительствующихъ классовъ? — Эту идею не трудно угадать: она еще въ наше время обнаруживаетъ свое влiянiе, свидѣтельствующее о ея прежней силѣ, это идея *легитимизма*. *Легитимизмъ* былъ главнымъ устоемъ древне-французскаго государственнаго и общественнаго строя—въ немъ заключалось нравственное начало, на которое опирались привилегiи.

Уваженiе къ праву давности, къ законности, вытекающей

изъ историческаго права, конечно, было вездѣ дѣйствующей въ исторіи силой; но нигдѣ оно не сложилось въ такую догматическую форму, нигдѣ не сдѣлалось благодаря обстоятельствамъ предметомъ такой вѣры, такимъ моральнымъ преданіемъ, заглушавшимъ голосъ окружающей дѣйствительности, какъ во Франціи.

Ни для одной изъ династій Европы легитимизмъ не имѣлъ того значенія, какъ для династии Капетинговъ, такъ какъ ни одна изъ нихъ не могла въ такой степени опереться на это право; ни одна, кромѣ того, не сохранила столько феодальныхъ чертъ въ общемъ началѣ и въ частныхъ проявленіяхъ своей власти, какъ династія на французскомъ престолѣ — а феодализмъ есть источникъ легитимизма. Съ теченіемъ времени, правда, французскіе короли присоединили къ праву, вытекавшему изъ легитимизма, и другое право, основанное на началѣ государственной власти, а также и принципъ божественнаго права, выведеннаго изъ ученія церкви, но несмотря на все это династія Гуго Капета никогда не отказывалась отъ принципа легитимизма и всегда на него опиралась.

Главнымъ же хранителемъ идеи легитимизма было французское дворянство; оно никогда не переставало думать, что его положеніе въ государствѣ, его вліяніе, даже его имущество опираются на легитимизмъ и никогда не переставало напоминать объ этомъ королямъ. Вся политическая мудрость французскаго дворянства коренилась въ *трехъ словахъ*, которыя не переставало твердить большинство дворянской палаты 1789 года—*c'était ainsi jadis—такъ было искони*. Англійское дворянство выработало въ своей исторической жизни аристократическій принципъ въ политикѣ, французская аристократія выработала только принципъ *легитимизма*. Этотъ принципъ оно принимало за основаніе не только своихъ сословныхъ правъ и своего положенія въ государствѣ, оно требовало, чтобы весь политическій и общественный строй былъ неизмѣнно на немъ основанъ; оно держалось того убѣжденія— и въ этомъ случаѣ къ старинному феодальному дворянству

примыкали всё остальные привилегированные — что самая права государственной власти, что все гражданское право должно рушиться съ падениемъ или ограничениемъ начала легитимизма.

Уже наканунѣ революціи Безансонскій парламентъ, вступаясь за права феодальныхъ дворянъ, заявляетъ королю, что иммунитетъ леновъ обезпеченъ за ними положительными законами и тысячелѣтнимъ правомъ давности: „самыя священныя права, говоритъ парламентъ, даже право частной собственности, даже наследственность престола не имѣютъ другого основанія, какъ это право давности ¹⁾... Этотъ крикъ отчаянія однако не что иное, какъ выраженіе господствующаго взгляда ²⁾. Это тотъ самый взглядъ, который изложилъ въ научной, догматической формѣ великій публицистъ *старой* монархіи—Монтескьё, утверждавшій, что безъ привилегій не можетъ держаться дворянство, а безъ дворянства не можетъ держаться монархія (*point de noblesse, point de monarque* ³⁾).

Другой силой, отстаивавшей легитимистическое начало, а вмѣстѣ съ нимъ и привилегіи, была католическая церковь. Духовенство владѣло одной пятой земли Франціи на феодальномъ правѣ; значительная часть его доходовъ, кромѣ того, была связана съ феодальными привилегіями; большая часть прелатовъ, т. е. членовъ высшаго духовенства, принадлежала къ дворянству, и потому понятно, что католицизмъ въ дореволюціонной Франціи, помимо того, что церковь вездѣ является хранительницей начала преданія и законности—присоединился со всею тяжестью своего громаднaго, нравственнаго и политическаго вліянія къ опорамъ легитимизма.

Когда въ другихъ странахъ Европы монархическое правительство начинало въ интересахъ государства нарушать начала легитимизма, оно всегда находило сильное и готовое орудіе въ легистахъ, въ представителяхъ отвлеченнаго права

¹⁾ B. et R. I. 286.

²⁾ M. de Staël. *Considérations*. I. 197.

³⁾ E. d. L. L. V. ch. 9.

и государственнаго закона. Такъ было нѣкогда и во Франціи, и средневѣковые легисты съ своими общими началами, заимствованными изъ римскаго права, нанесли феодализму самые тяжелые удары. Но такъ именно сложилась историческая судьба Франціи, что потомки и преемники этихъ самыхъ легистовъ, докторовъ римскаго права и членовъ королевской куріи сдѣлались самымъ твердымъ оплотомъ легитимизма. Ничто не придавало правительственной власти Франціи такого легитимистическаго характера, ничто такъ не тормозило всякую попытку правительства отступить отъ легитимизма, ничто не содѣйствовало въ такой степени тому, что всякая бюрократическая мѣра или реформа считалась дѣломъ министерскаго деспотизма, какъ положеніе, принятое парламентами и убѣжденія, усвоенныя этими старинными органами королевскаго правительства въ области администраціи и суда.

Принципъ легитимизма представлялъ собой самую крѣпкую связь между королевскимъ правительствомъ и привилегированными классами, особенно съ ихъ главнымъ представителемъ—дворянствомъ. И помимо этого между династіей и дворянствомъ было много общихъ интересовъ и взаимной солидарности. Ихъ связывало общее происхожденіе отъ феодализма; характеръ власти Капетинговъ надъ вассалами и подданными древнихъ вотчинъ ничѣмъ не отличался отъ той, которая служила источникомъ сеньерьяльныхъ привилегій. Многія права короны были совершенно тождественны съ феодальными привилегіями, напр., королевскія *охоты* (les capitaineries du roi), и самъ король былъ въ извѣстномъ смыслѣ лишь первымъ среди *привилегированныхъ* — (le grand privilégié). Династію соединяло съ дворянствомъ преданіе рыцарства и одинаковость быта; это сознаніе всегда было живо съ обѣихъ сторонъ. Еще въ 1788 г. принцы крови, въ запискѣ, которую они представили Людовику XVI въ видѣ протеста противъ способа созванія Генеральныхъ Штатовъ, говорятъ „за дворянство и за самихъ себя на томъ основаніи, что они входятъ въ составъ дворянской корпораціи и ничѣмъ не

должны отъ нея отличаться ¹⁾. Династія была также во многомъ солидарна съ интересами церкви и ея главнаго представителя—высшаго духовенства, которое умѣло ей служить, начиная съ аббата Сугерія, умѣло также подчинять ее своему вліянію. Но всѣ эти различныя связи между династіей и привилегированными скрѣплялись и оправдывались началомъ легитимизма.

Не мудрено поэтому, если королевская политика во Франціи представляетъ постоянное колебаніе между *абсолютизмомъ* и *легитимизмомъ*, что короли ведутъ борьбу съ дворянствомъ и духовенствомъ, пока не подчиняютъ ихъ своей власти, что они косвеннымъ путемъ обходятъ ихъ податныя привилегіи въ интересахъ своей власти, но не дѣлаютъ послѣдняго рѣшительнаго шага и не объявляютъ войны принципу привилегій. Впрочемъ это было бы и не такъ легко. Нельзя судить по той внезапности, съ которой рушились въ одну ночь всѣ сословныя, корпоративныя и областныя привилегіи во Франціи, о тѣхъ сопротивленіяхъ, которыя встрѣтило бы въ свое время королевское правительство, если бы задумало отмѣнить или ограничить привилегіи. Мы не говоримъ о матеріальномъ сопротивленіи со стороны привилегированныхъ, хотя не слѣдуетъ забывать и того, что въ первой половинѣ XVIII вѣка вся военная сила Франціи была подъ командой привилегированныхъ, что все духовенство стало бы на сторону привилегій, и что многія административныя должности, губернаторства и т. д. были заняты лицами, заинтересованными въ привилегіяхъ. Гораздо болѣе нужно принимать въ расчетъ то сопротивленіе, которое давало себя чувствовать въ самомъ центрѣ, откуда могла исходить борьба противъ привилегій; всѣ лица, которыя воспитывали короля, постоянно окружали его, были его совѣтниками и исповѣдниками, изъ среды ко-

¹⁾ En parlant pour la noblesse, les princes de votre sang parlent pour eux mêmes; ils ne peuvent oublier qu'ils font partie du corps de la noblesse, qu'ils n'en doivent point être distingués: que leur premier titre est d'être gentils hommes: Henri IV l'a dit, et ils aiment à répéter les expressions de ses nobles sentimens.

торыхъ онъ бралъ себѣ министровъ и исполнителей—всѣ сочувствовали привилегіямъ; никто изъ нихъ не могъ представить себѣ государственнаго и общественнаго строя безъ привилегій. А если и предположить, что въ самомъ правительствѣ взялъ бы верхъ принципъ враждебный привилегіямъ, то оно имѣло бы въ этомъ случаѣ противъ себя общественное мнѣніе всей страны, ибо это послѣднее въ то время составлялось исключительно привилегированными слоями и въ эту среду почти не проникали еще тогда другого рода взгляды.

Наконецъ, при объясненіи правительственной политики *старого* порядка особенно важно имѣть въ виду, что королевскій *абсолютизмъ*, который одинъ былъ въ состояніи устранить привилегіи, имѣлъ дѣло не съ однимъ только *легитимизмомъ*, не съ однимъ только пассивнымъ сопротивленіемъ привилегированныхъ, но что противъ него давно уже началось такъ сказать противное теченіе во французскомъ обществѣ; что въ этомъ обществѣ появилось не только направленіе, отрицавшее абсолютизмъ во имя привилегій, но и во имя политической *свободы* и конституціонныхъ началъ. Знаменитое изреченіе г-жи де *Сталь*, выставленное ею, какъ аргументъ „противъ всѣхъ приверженцевъ историческаго права“, что „свобода древнѣе деспотизма“ (*que c'est la liberté qui est ancienne et le despotisme qui est moderne*), страдаетъ тѣмъ, что оно слишкомъ широко и неопредѣленно, разумѣя подъ деспотизмомъ всякое проявленіе государственной власти, а подъ словомъ *свобода* также и феодальную анархію, но оно совершенно справедливо указываетъ на историческую связь между феодальными привилегіями во Франціи и *стремленіемъ* къ конституціоннымъ учрежденіямъ. Поворотъ отъ феодальнаго своеволія и партикуляризма къ конституціоннымъ стремленіямъ происходитъ въ концѣ XVII вѣка, и какъ разъ совпадаетъ съ абсолютизмомъ Людовика XIV. Во время *фронды* дворянство отстаивало еще свое старинное, необузданное самоуправство; когда эта послѣдняя вспышка феодальной независимости была побѣждена и дворянство окончательно

подчинено государственной власти, оно стало требовать себя правильного участія въ этой власти. Самыми характерными представителями этого стремленія въ литературѣ являются герцогъ де Сен-Симонъ и графъ де Буленвилье. Первый изъ нихъ, гордый своей принадлежностью къ *перамъ*, имѣетъ въ виду лишь интересы и значеніе высшей аристократіи; графъ де Буленвилье въ своемъ ученомъ трактатѣ является представителемъ обще-дворянскаго интереса. Въ немъ либеральныя стремленія страннымъ образомъ смѣшиваются съ феодальными притязаніями и съ принципомъ легитимизма. Онъ утверждаетъ, что короли не имѣютъ права ни чеканить монету, ни опредѣлять количество военныхъ силъ въ странѣ, ни налагать подати безъ согласія дворянъ; онъ идетъ еще дальше, оспаривая у королей право законодательной власти и право объявлять войну. Основывая права дворянства на томъ, что оно происходитъ отъ франковъ, завоевателей страны, которые одни и составляютъ всю французскую націю, онъ говоритъ: всѣмъ извѣстно, что французы (франки) были свободнымъ народомъ и избирали себя вождей подъ *именемъ* королей, для того чтобы эти послѣдніе исполняли законы, которые *они* издавали, или вели ихъ на войну; но они отнюдь не смотрѣли на королей, какъ на законодателей, которые могли дѣлать распоряженія (*ordonner*) по своему усмотрѣнію. Нѣтъ ни одного указа (*ordonnance*) изъ временъ первыхъ династій, который не былъ бы помѣченъ согласіемъ общихъ собраній (франковъ) на Мартовскомъ или Майскомъ полѣ; ни одна война не происходила тогда безъ ихъ одобренія“.

Съ точки зрѣнія графа де Буленвилье только настоящіе *благородные* — за исключеніемъ *облагороженныхъ*, т. е. получившихъ дворянство по королевскому указу — составляютъ націю и этой націи принадлежитъ законодательная власть. Здѣсь идея конституціонныхъ гарантій и ограниченіе королевской власти теряется въ хаосъ феодальныхъ воспоминаній и утопій. Но мы находимъ эту идею уже совершенно созрѣвшею и облеченною въ научно-теоретическую формулу у отца французскаго конституціонализма, у

Монтескьё. Замѣчательно, что несмотря на все вліяніе Англии, правовой порядокъ въ приложеніи къ Франціи основанъ у Монтескьё на легитимистическомъ принципѣ. По его ученію, что отличаетъ монархію отъ деспотіи — это *посредствующія власти*. „Власти эти (*les pouvoirs intermédiaires*), подчиненныя и зависимыя, составляютъ сущность (*la nature*) монархическаго управленія“. Эти власти — дворянство, духовенство, самостоятельныя судебно-административныя корпораціи (парламенты). „Самая естественная посредствующая власть — это дворянство“. Дворянство Монтескьё себѣ представляетъ только въ феодальныхъ формахъ съ майоратами, правомъ родового выкупа, съ привилегіями, присущими дворянскимъ имѣніямъ (*fiefs*) и лицамъ. „Всѣ эти привилегіи должны быть принадлежностью дворянства и не переходить къ народу“.

Это ученіе Монтескьё о монархіи, ограниченной самостоятельнымъ дворянствомъ, легло въ основаніе либерализма французскихъ легитимистовъ. Мы встрѣчаемъ его въ упомянутой нами запискѣ принцевъ крови въ 1788 г., гдѣ первымъ подписался графъ д'Артуа (Карль X). Указывая на послѣдствія, которыя имѣло бы удвоеніе числа депутатовъ *третьяго сословія*, „принцы говорятъ: „На основаніи общихъ законовъ, управляющихъ всѣми политическими учрежденіями, французская монархія неминуемо должна будетъ превратиться въ деспотію (*dégénérer en despotisme*), или же стать республикой (*démocratie*); то были бы двѣ революціи противоположнаго характера, но обѣ одинаково пагубныя“.

Изъ двухъ главныхъ посредствующихъ властей, стремившихся ограничить королевскій абсолютизмъ въ XVIII вѣкѣ — дворянство не имѣло для этого постояннаго органа съ тѣхъ поръ, какъ вышло изъ обычая созываніе Генеральныхъ Штатовъ; зато тѣмъ болѣе возросло значеніе парламентовъ. Съ тѣхъ поръ какъ королевскій абсолютизмъ освободился отъ притязательнаго содѣйствія и стѣснительной опеки Штатовъ, парламентъ сталъ смотрѣть на себя, какъ на ихъ преемника, какъ на главный оплотъ законности и, такъ сказать, конституціонной гарантіи. Извѣстный парламентскій вождь,

Талонъ, ясно высказалъ этотъ принципъ еще при Людовикѣ XIII: „Въ прежнее время воля нашихъ королей не исполнялась народомъ (*les peuples*), если ея постановленія не были подписаны въ подлинникѣ всѣми вельможами королевства, принцами и сановниками короны, находившимися при дворѣ. Въ настоящее время это политическое законодательство перешло къ парламентамъ (*cette jurisdiction politique est dévolue dans les parlements*). Мы пользуемся этой властью второй степени (*seconde puissance*), которая узаконена давностью времени и къ которой подданные относятся съ терпѣніемъ и почтеніемъ“.

Эти притязанія смолкли при Людовикѣ XIV, но они возобновились тотчасъ по его смерти, когда представитель правительства былъ вынужденъ обратиться къ парламенту, чтобы посредствомъ его кассировать завѣщаніе *великаго* короля. Слова Талона составляютъ ключъ къ политикѣ парламентовъ въ продолженіе всего XVIII вѣка и объясняютъ намъ сочувствіе, какое ихъ упорная и эгоистическая оппозиція противъ правительства постоянно находила во французскомъ обществѣ.

Такимъ образомъ *легитимизмъ*, составлявшій нравственное основаніе *старого порядка* и своеобразный либерализмъ, проникшій въ высшіе классы и правительственныя корпораціи, парализировали правительственную власть во Франціи. Между тѣмъ только королевскій абсолютизмъ могъ устранить преграды, которыя ставилъ старый порядокъ интересамъ государства и націи, только правительственная диктатура могла обновить политическій и общественный строй Франціи. Въ этомъ заключается роковое и безвыходное положеніе старой королевской власти. Лица, близкія къ правительству, давно сознавали ветхость стараго порядка и неминуемость катастрофы. Еще воспитатель внука Людовика XIV, Фенелонъ, называлъ при жизни этого короля правительственный механизмъ Франціи—ветхой, распатавшейся машиной (*une vieille machine délabrée*), которая дѣйствуетъ въ силу даннаго ей когда-то движенія и которая окончательно ломается при первомъ толчкѣ. „Мы живемъ, говорилъ онъ, только ка-

кимъ-то чудомъ“. А маркизь д'Аржансонъ вынесъ изъ своего министерства убѣжденіе, что французскому государству несомнѣнно предстоитъ революція: оно потрясено въ своихъ основаніяхъ.

Вотъ тѣ условія, при которыхъ застало Францію рационалистическое представленіе о народѣ: ясно пробудившееся національное сознаніе и рѣзкое разграниченіе націи на сословія; сильная государственная централизація и упорный партикуляризмъ областей и корпорацій; раздвоеніе въ органахъ государственной власти и раздвоеніе въ самомъ принципѣ, руководившимъ ею; колебаніе между деспотизмомъ и легитимизмомъ; рѣшительная необходимость въ сильной правительственной власти и пробудившаяся въ обществѣ потребность политической свободы.—Все эти противорѣчія въ учрежденіяхъ и стремленіяхъ общества послужили причиною быстрого успѣха рационалистическаго настроенія во Франціи.

Это настроеніе—*l'esprit philosophique*—какъ его называли во Франціи въ XVIII вѣкѣ, есть не что иное, какъ привычка разсуждать о вещахъ съ точки зрѣнія общихъ принциповъ, добытыхъ разумомъ и потребность привести дѣйствительность въ согласіе съ тѣмъ, что признано разумнымъ¹⁾. Въ этомъ смыслѣ рационализмъ не только присущъ всякому обществу, вступившему въ періодъ сознательной жизни, но онъ можетъ быть великимъ двигателемъ прогресса.

Заблужденіе рационализма начинается тамъ, гдѣ онъ сопровождается незнаніемъ дѣйствительности, условій, ее породившихъ и законовъ ею управляющихъ, и гдѣ къ этому присоединяется основанное на такомъ невѣдѣніи пренебреженіе къ существующему. Понятно, что послѣдняя черта особенно быстро и сильно развивается тамъ, гдѣ существующее дѣйствительно подаетъ много поводовъ къ порицанію,

¹⁾ Такъ вѣрно понимала господствовавшее въ ея время направленіе еще M.de Staël: *Les lumières philosophiques, c'est à dire l'appréciation des choses d'après la raison et non d'après les habitudes.* Consid. I. 182.

гдѣ оно заключаетъ въ себѣ много отжившаго и утратившаго свой смыслъ. Раціонализмъ принимаетъ особенно острый характеръ тамъ, гдѣ потребность реформъ долго задержана и гдѣ защитники старины слишкомъ слѣпо и упорно противопоставляютъ право давности всякому требованію современности. Отсюда слѣдуетъ, что нигдѣ раціонализмъ не могъ приобрести такой силы, нигдѣ онъ не долженъ былъ принять такой догматическій характеръ и сдѣлаться предметомъ такой фанатической вѣры, какъ во Франціи—странѣ легитимизма. Французскій раціонализмъ есть невольное порожденіе французскаго легитимизма. Этого не принялъ во вниманіе Токвиль, объяснявшій раціонализмъ французскаго общества исключительно вліяніемъ литературы и незнакомствомъ писателей съ общественными дѣлами: еще болѣе впалъ въ эту крайность Тэнъ, который съ точки зрѣнія своего философскаго реализма подчеркивалъ въ раціонализмѣ XVIII вѣкѣ его изумительную самоувѣренность, поразительное невѣжество и голословную декламацию. Около половины прошлаго вѣка французскій раціонализмъ обратился отъ вопросовъ религіозныхъ и философскихъ къ политическимъ и скоро построилъ себѣ въ высотахъ своего идеализма отвлеченное государство въ противоположность существующему. Это идеальное государство отличалось именно отсутствіемъ всякихъ случайностей и несовершенствъ, встрѣчаемыхъ въ дѣйствительности. Оно не знало ни невѣжества, ни эгоизма, въ немъ не было никакихъ различій, порождаемыхъ жизнью, не было поэтому антагонизма ни между классами, ни между обществомъ и правительствомъ. ^ Это государство состояло только изъ *гражданъ*, свободныхъ и разумныхъ, вступившихъ другъ съ другомъ въ добровольный взаимный договоръ и представлявшихъ *народъ*; государственная власть покоилась на широкомъ основаніи народовластія, или же на договорѣ съ народомъ. По мнѣнію однихъ, это разсудочное государство было первоначальной формой общежитія, отъ которой народы и правительства постепенно уклонились: по другимъ, это былъ идеалъ будущаго; на самомъ дѣлѣ это былъ миражъ, въ родѣ тѣхъ, которые видитъ въ пустынѣ

утомленный и жаждущий путник; образы, которые ему мерещутся, слагаются изъ отдаленныхъ воспоминаній и игры воображенія и представляютъ собою перевернутое вверхъ дномъ изображеніе дѣйствительности. Это раціоналистическое представленіе о народѣ и государствѣ находило себѣ удобную почву въ старомъ порядкѣ; оно питалось его предрасудками и заблужденіями, и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ отрицаніемъ. Идея общественнаго договора была разрушительна для прежней политической системы; а между тѣмъ она была изъ нея заимствована. *Старый порядокъ* былъ основанъ на привилегіяхъ, а что такое привилегія, какъ не слѣдствіе договора между правительствомъ Франціи и различными корпораціями, результатъ *капитуляціи*, подъ условіемъ соблюденія которой провинціи и сеньеры какъ бы согласились вступить въ общее тѣло Франціи, признать надъ собою верховную власть ея королей. Когда въ 1788 году правительство замѣнило парламентъ Верховнымъ судомъ (Cour Plenièrre), Наварскіи парламентъ протестовалъ противъ этого въ силу провинціальной конституціи Навары и Беарна „двухъ суверенныхъ областей, связанныхъ съ французской короной только подъ ясно и точно выраженнымъ условіемъ сохраненія всѣхъ привилегій, правъ и обычаевъ и подтвержденнымъ самымъ священнымъ образомъ торжественною присягой его Величества, короля, передъ депутатами Беарна при его восшествіи на престолъ“¹⁾. Въ томъ же духѣ и смыслѣ протестовало дворянство Бретаньи, ссылаясь на основные законы (lois constitutives) своей провинціи, установленные брачнымъ договоромъ между Карломъ VIII и наслѣдницей Бретанскихъ герцоговъ. Такъ-же смотрѣли на свои отношенія къ государству и сословія; выражая ихъ мнѣнія, принцы крови въ приведенной выше запискѣ угрожаютъ королю, что если права двухъ первыхъ сословій потерпятъ какое-либо измѣненіе, одно изъ нихъ, а можетъ быть оба—отвергнуть авторитетъ созываемыхъ Генеральныхъ Штатовъ и откажутся узаконить свое униженіе своимъ при-

1) L. de Lavergne. Les Ass. Prov. p. 440.

сутствіемъ въ собраніи“. Какъ извѣстно, оба сословія исполнили эту угрозу—духовенство, отказавшись принести конституціонную присягу, дворянство, эмигрируя. Они хотѣли оставаться членами французской націи только на основаніи стараго договора съ королемъ, а не новаго—съ націей.

Подобнымъ образомъ и ученіе о происхожденіи государственной власти изъ общественнаго договора, о необходимости договора между династіей и народомъ несмотря на то, что оно казалось совершенно чуждымъ Франціи, находило себѣ отголосокъ во всѣхъ классахъ общества и въ самомъ правительствѣ. Когда, напр., во время войны между Франціей и Англійей, внукъ Іакова II, Карль Эдуардъ пытался съ французской помощью овладѣть престоломъ своихъ предковъ— „всѣ планы, инструкціи и манифесты, надъ которыми трудились въ интересахъ этого принца—кардиналь де-Тансенъ, маркизь д'Аржансонъ, герцогъ Ришельё, Вольтеръ и другіе— всѣ были основаны, какъ рассказываетъ въ своихъ мемуарахъ Веберъ на доктринѣ обоюднаго договора и взаимнаго обязательства между государями и подданными.

Среди людей, до такой степени свыкнувшихся съ мыслью, что общественный строй основанъ на договорномъ началѣ, идея *общественнаго договора* не могла представляться одной только искусственной гипотезой; ложно понимаемая дѣйствительность придавала этой политической фикціи значеніе дѣйствительнаго основнаго факта въ современной жизни; а между тѣмъ эта же фикція, замѣняя частный договоръ всеобщимъ, казалось, представляла выходъ изъ всѣхъ затрудненій и въ этомъ смыслѣ являлась прогрессивнымъ началомъ для переустройства французскаго общества. Стоило только всѣмъ сословнымъ и областнымъ корпораціямъ отказаться отъ своего частнаго договора съ правительствомъ въ пользу одного общаго и взаимнаго, и соперничающія сословія превратились бы въ единую націю, разрозненныя провинціи слились бы въ единую Францію.

Точно такъ же и въ правительственномъ отношеніи рacionales предстваленіе о происхожденіи и сущности го-

сударственной власти являлось прогрессивнымъ началомъ. Въмѣсто слабой ветхой власти, задерживаемой въ своей дѣятельности тысячами легальныхъ преградъ и протестовъ, нарушавшей каждымъ своимъ дѣйствіемъ чей-нибудь интересъ и имѣвшей только одинъ выходъ изъ этихъ затрудненій—ненавистный всѣмъ деспотизмъ—представлялся образъ власти великой и мощной, потому что она основана на совокупной власти всѣхъ, — власти имѣвшей въ виду только всеобщее благо, ибо она служила выраженіемъ общаго разума—власти, дѣйствія которой не могли нарушить ничьихъ интересовъ, ибо она представляла собой общую волю. Наконецъ, раціоналистическое представленіе о государствѣ льстило и удовлетворяло распространившейся потребности свободы. Если власть есть выраженіе общей воли, а общая воля предполагаетъ согласіе всѣхъ—ибо иначе, по этой гипотезѣ, не состоялся бы и общественный договоръ—тогда она никого не стѣсняетъ, ибо всѣ хотятъ одного и того же, слѣдовательно всѣ свободны. Въ то время никому во Франціи не приходило на умъ, что господство такъ называемой общей воли или того органа, который былъ бы признанъ ея выраженіемъ, можетъ оказаться самымъ сильнымъ, самоувѣреннымъ и необузданнымъ деспотизмомъ, хотя стоило только дочитать до конца „Общественный Договоръ“ Руссо, чтобы въ этомъ убѣдиться.

Говоря о политическомъ раціонализмѣ во Франціи, нужно однако, не только имѣть въ виду точки опоры, которыя онъ находилъ въ тогдашней дѣйствительности, но и принять въ соображеніе, что раціоналистическія формулы о народѣ и государствѣ допускали большое разнообразіе, были способны къ различнаго рода сдѣлкамъ съ дѣйствительностью и могли вести къ очень различнымъ требованіямъ на практикѣ.

Раціоналистическое представленіе о народовластіи, казалось, не исключало монархическаго начала; даже послѣ революціи 1789 года главный доктринеръ легитимистическаго роялизма при реставраціи, Бональдъ, принялъ его какъ осно-

ваніе своей политической теоріи, — „что верховная власть принадлежит королю безъ раздѣла и безъ чьего либо участія“. „До учрежденія и организациі политическихъ обществъ“, говоритъ Бональдъ въ Королевской Газетѣ отъ 22 окт. 1814, „разсѣнные члены ихъ пользовались правами верховной власти. Необходимость и собственный интересъ заставили ихъ соединиться и поручить (déléguer) эту верховную власть вождю (chef), котораго они назначили, чтобы управлять ими. Народъ не можетъ нарушить этого торжественнаго договора (révoquer ce contrat solennel), ни возвратить себѣ первоначальное пользованіе своимъ правомъ на верховную власть, не нарушивъ святости договорнаго начала и не подвергая государство внутреннимъ междуусобіямъ. Руссо, правда, утверждаетъ, что народъ не можетъ отчуждать свое право на верховную власть. Но если это отчужденіе для него полезно, если оно становится основаніемъ его свободы и его благоденствія, онъ долженъ предпочесть дѣйствительное и прочное право благу нерѣдко мнимому и часто обременительному. До договора, въ силу котораго произошло отчужденіе народомъ его верховной власти, онъ не имѣлъ другихъ средствъ для защиты своихъ естественныхъ правъ, какъ только одну матеріальную силу и хитрость; вслѣдствіе же своего отреченія отъ этой власти онъ можетъ опираться на общія силы; подъ покровительствомъ охраняющихъ его законовъ онъ мирно наслаждается естественными и гражданскими правами“.

Абсолютистъ Бональдъ такъ-же далекъ отъ истины, т. е. отъ историческаго представленія о происхожденіи народа и государственной власти, какъ и радикалы, противъ которыхъ направленъ его аргументъ. И для него еще народъ не что внезапно народившееся во всеоружіи власти и величія, какъ богиня Минерва: и онъ забылъ, что государственная власть нерѣдко предшествуетъ народу и создаетъ его, т. е. что свое политическое бытіе народъ нерѣдко получаетъ только благодаря самостоятельно возникшей въ его средѣ государственной власти. Но примѣръ Бональда очень важенъ, какъ доказательство того, какъ легко было въ XVIII вѣкѣ заблуждаться

относительно послѣдствій рачіонализма; его поклонники не замѣчали, что онъ противорѣчитъ принципу самостоятельной государственной власти, въ которой такъ нуждалась феодальная Франція, и что этотъ рачіонализмъ заключаетъ въ себѣ неминуемое торжество разрушительныхъ теорій и тенденцій, которыя и произвели крушеніе всякаго общественнаго и государственнаго порядка Франціи и привели ее къ военному деспотизму. Будущее Франціи поэтому зависѣло отъ того, какое практическое направленіе приметъ въ ней политическій рачіонализмъ, какая формула восторжествуетъ среди различныхъ его толкованій.

Тутъ-то и обнаруживается все роковое значеніе, которое имѣло для Франціи направленіе, данное рачіонализму „Общественнымъ Договоромъ“ и другими сочиненіями Руссо. Мы поэтому ближе познакомились съ дѣятельностью этого писателя и указали на его противорѣчія и ошибки въ вопросѣ о народѣ. Мы видѣли, что для Руссо „Общественный договоръ“ былъ не только гипотезой, къ которой и другіе прибѣгали, чтобы объяснить образованіе человѣческихъ обществъ, но единственно возможнымъ источникомъ какого бы то ни было правового порядка. Съ другой стороны, такъ какъ всѣ существующія общества и государства были въ глазахъ Руссо порожденіемъ дикаго и незаконнаго насилія, то новый общественный договоръ былъ для него единственнымъ средствомъ возстановить свободу и законный порядокъ—это былъ Дамокловъ мечъ, висѣвшій надъ обществомъ, постоянная угроза революціоннаго переворота. вмѣстѣ съ тѣмъ понятіе о народѣ получило у Руссо крайне механическое и матеріалистическое толкованіе.

Выраженіе народной воли Руссо считалъ возможнымъ только въ видѣ ариѳметическаго итога, полученнаго изъ счета голосовъ; эта народная воля никогда не могла быть отчуждаема и кѣмъ-либо представляема. Руссо не только не понималъ, что и монархъ могъ быть представителемъ воли народа въ его исторической жизни, но считалъ незаконной узурпаціей власти всякое представительство со стороны вы-

борныхъ людей. Но при всемъ этомъ, однако, рационализмъ Руссо былъ опасенъ не столько своими теоретическими выводами, сколько той страстной силою, которою дышали его сочиненія, тѣмъ революціоннымъ фанатизмомъ, который былъ справедливо поставленъ ему въ упрекъ еще современниками ¹⁾.

Торжество революціоннаго рационализма надъ болѣе умѣреннымъ или теоретическимъ обусловливалось не только тѣмъ перевѣсомъ, который придаетъ страстность извѣстнымъ мнѣніямъ въ борьбѣ съ другими, но и всѣмъ дальнѣйшимъ ходомъ французской исторіи. Если эпоха застоя въ политическомъ развитіи Франціи создала ту почву, на которой удобно и широко развился рационализмъ, то наступившій наконецъ періодъ реформъ придалъ этому рационализму реальную силу и вызвалъ его на поле практической дѣятельности. Этотъ періодъ реформъ, начинающійся со вступленія на престолъ Людовика XVI и причины, которыя въ это время такъ благопріятствовали дальнѣйшему развитію рационализма, заслуживаютъ особеннаго вниманія; изученіе ихъ можетъ во многомъ объяснить направленіе, принятое революціей, и ту роль, которую играло въ ней представленіе о народѣ.

II

Въ числѣ причинъ, особенно повліявшихъ на судьбу Франціи въ концѣ XVIII вѣка, нужно отмѣтить—кромѣ зазатрудненій, созданныхъ предшествующей исторіей Франціи, слѣдующіе факты: личный характеръ короля и главныхъ правительствующихъ лицъ—постоянное колебаніе ихъ относительно средствъ къ реформѣ и самихъ политическихъ принциповъ; сопротивленіе, оказанное привилегированными

¹⁾ Weber p. 53.—Rousseau, qui devait tout outrer, se contredire sur tout, éprouver au même degré le désir de la vérité et celui des paradoxes, charmer par le style lors même qu'il révoltait par la matière et inspirer le fanatisme de la sédition autant que d'autres inspiraient le fanatisme de l'impiété.

корпораціями планамъ правительства, обращеніе правительства къ народу, чтобы найти въ немъ поддержку своимъ планамъ и такое же обращеніе къ нему съ противоположной цѣлью со стороны привилегированныхъ. Всѣ эти факты сплетаются въ своемъ вліяніи, и это вліяніе трудно выдѣлить особо при сжатомъ изложеніи.

Большинство даже еще и въ наше время относится несочувственно къ Людовику XVI, потому что знаетъ его только по его образу дѣйствія во время революціи и по декламации тѣхъ историковъ, которые ставили себѣ цѣлью оправдать цѣликомъ все, что случилось во время этого переворота. Между тѣмъ, чтобы справедливо отнестись къ королю, необходимо познакомиться съ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ во время *старого порядка*. При всей неразвитости его ума, вслѣдствіе которой многое отъ него ускользало, при всей апатичности его натуры, въ немъ съ самаго начала было теплое неподдѣльное чувство любви къ тому народу, управленіе которымъ ему было вручено судьбою. Подъ вліяніемъ этого чувства онъ готовъ былъ на всякую личную жертву и когда пришелъ къ убѣжденію въ необходимости урѣзать расходы, которые шли на содержаніе и на представительство двора, король сократилъ ихъ самымъ рѣшительнымъ образомъ и въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, хотя именно ему было особенно трудно отказывать другимъ въ выпрашиваемой у него милости. При всемъ этомъ рѣдко можно было встрѣтить такъ мало себялюбія, такъ мало заботы о собственномъ интересѣ и личномъ успѣхѣ въ правительственныхъ распоряженіяхъ и мѣрахъ, какъ у Людовика XVI. Трогательно и наивно выразилось это чувство короля въ извѣстныхъ словахъ, сказанныхъ имъ, когда онъ былъ принужденъ дать отставку Тюрго: „Только Тюрго и я, мы одни, кажется, любимъ народъ“; особенно трогательны эти слова именно потому, что сказавшееся въ нихъ чувство проникнуто сознаніемъ рокового безсилія. Но еще болѣе рѣдка другая черта въ Людовикѣ XVI: невозможно указать на другого монарха, который съ такой охотой, съ такимъ добродушнымъ самозабвеніемъ и такимъ отсутствіемъ

всякой мысли о популярности и славѣ, готовъ былъ подѣлиться своей властью, призвать другихъ къ соучастию въ управленіи страной, какъ этотъ наивный потомокъ Людовика XIV. Когда онъ созвалъ нотаблей — что тогда-же вызвало у одного изъ придворныхъ замѣчаніе: „король подалъ въ отставку“, — онъ написалъ министру, склонившему его на этотъ рѣшительный шагъ: „Я не спалъ всю ночь, но отъ удовольствія“.

Кажется, что эти двѣ черты въ королѣ особенно соотвѣтствовали обстоятельствамъ того времени, требовавшимъ серьезныхъ реформъ и уступокъ, и представляли лучшее условіе для благопріятнаго исхода предпринятаго самимъ правительствомъ переворота. Но плодотворные результаты, которыхъ можно было ожидать отъ этихъ качествъ, были совершенно парализованы другой преобладающей чертой въ характерѣ короля — пассивностью его характера. Неумѣстны, конечно, были бы здѣсь догадки о томъ, какое вліяніе на дѣла могла бы имѣть въ ту эпоху сильная энергическая личность на французскомъ престолѣ; для насъ важно только отмѣтить отсутствіе такой личности. Въ то время для Франціи не столько была нужна готовность короля на уступки, сколько умѣнье и воля съ его стороны — заставить уступить другихъ; но именно этого главнаго условія успѣха недоставало послѣднему королю стараго порядка ¹⁾; королевская власть Франціи, не исполнившая вовремя своего историческаго призванія — въ лицѣ Людовика XVI какъ бы окончательно подала въ отставку; и когда она наконецъ своими проектами реформъ произвела всеобщее столкновеніе интересовъ, она осталась пассивной зрительницей борьбы, не имѣя средствъ ни сдержать, ни направить ее; вызванная на сцену нація не нашла въ правительствѣ ни руководителя, ни даже центра тяжести, около котораго могли бы притти въ равновѣсіе бурныя и встревоженные массы. Къ несчастью для двадцатилѣтняго короля его выборъ руководящаго министра былъ

¹⁾ Le ciel, qui le destinait à un grand exemple lui avait donné la con-

крайне неудаченъ. Это былъ умный, но эгоистичный и пустой старикъ, отставленный двадцать пять лѣтъ тому назадъ отъ министерства графъ Морепа, который въ своемъ заточеніи жилъ только въ мысляхъ о постигшей его опалѣ; а когда ему неожиданно была возвращена власть, имѣлъ только одинъ интересъ,—сохранить свое положеніе и потому не допускать никакого посторонняго вліянія на короля. При такихъ обстоятельствахъ первая важная мѣра новаго правительства была рѣшительной ошибкой.

Королевская власть избавилась въ послѣдніе годы Людовика XV отъ главнаго тормоза всякихъ нововведеній—отъ парламентовъ. Причиной этой коренной мѣры, правда, была не забота о государственномъ интересѣ, а придворная интрига. Завладѣвшая въ то время королемъ графиня Дю Барри нашла себѣ рѣшительный отпоръ въ лицѣ всемогущаго и популярнаго министра, герцога де Шуазёля. Чтобы упрочить свое положеніе, она стала искать опоры въ канцлерѣ де Мопу и въ герцогѣ д'Эгильонѣ, изъ личныхъ расчетовъ давно враждовавшихъ съ парламентами. Цѣлью общаго союза между ними было паденіе де Шуазёля и упраздненіе парламентовъ; при такихъ условіяхъ эти мѣры правительства встрѣтили мало сочувствія. Фрондерство въ обществѣ и даже при дворѣ въ то время уже чрезвычайно развилось: при отставкѣ и ссылкѣ герцога де Шуазёля оно обнаружилось въ небывалыхъ размѣрахъ. Въ первый разъ придворные ухаживали за жертвой опалы и выказывали презрѣніе къ побѣдившей партіи—герцогъ въ своемъ помѣстьи былъ окруженъ блестящимъ дворомъ, „Версаль опустѣлъ“. Послѣдовавшее затѣмъ упраздненіе парламентовъ усилило такое настроеніе; къ несчастью подборъ личнаго состава въ замѣнившихъ парламенты судахъ былъ произведенъ поспѣшно и не совсѣмъ удачно, такъ какъ вся прежняя опытная и пользовавшаяся авторитетомъ магистрат-

stance des martyrs plutôt que le courage des héros..... et dans la crise, où il s'est vu jeté personne ne pouvait suppléer l'action, la volonté, le caractère du maître. Weber p. 49.

тура отказалась принять въ нихъ участіе. Такимъ образомъ понятно, почему по смерти Людовика XV возстановленіе парламентовъ казалось либеральной мѣрой, требуемой общественнымъ мнѣніемъ. Но на самомъ дѣлѣ этой мѣрой Людовикъ XVI съ перваго шага впалъ въ роковую политику своихъ предшественниковъ, колебавшихся между легитимизмомъ и произволомъ, и обрекъ на безплодіе всю дальнѣйшую свою дѣятельность.

При этихъ условіяхъ приглашеніе молодымъ королемъ способныхъ министровъ и предлагаемыя ими реформы утрачиваютъ значеніе, которое онѣ могли бы имѣть. Имена—Тюрго, Неккеръ, Калоннъ, знаменуютъ собою тѣ силы и интересы, на которые могла опираться королевская власть въ дѣлѣ реформъ, тѣ различныя системы, которыхъ она могла при этомъ придерживаться, а быстрая смѣна этихъ именъ указываетъ на колебанія правительства между этими системами. Тюрго, прославившійся, какъ интендантъ, внесъ съ собою въ правительственныя сферы новый духъ, проникшій изъ науки и литературы въ общество и въ администрацію. Онъ былъ челоѣкъ системы и держался теоріи тогдашнихъ экономистовъ. Первыя принципиальныя реформы его были направлены противъ *старого порядка* въ хозяйственной жизни народа, противъ привилегій въ средѣ третьяго сословія; онъ отмѣнилъ пошлины на хлѣбъ и всѣ преграды, стѣснявшія свободную торговлю хлѣбомъ; онъ освободилъ промышленный трудъ, отмѣнивъ цехи и ремесленныя корпорации. Слѣдовавшая затѣмъ реформа возбудила опасеніе привилегированныхъ высшаго разряда — Тюрго переложилъ на деньги дорожную повинность, которая отбывалась натурой и падала только на крестьянъ.

Не трудно было себѣ представить, что установленіе денежной повинности въ дѣлѣ, которое одинаково близко касалось всѣхъ жителей, повлечетъ за собою распространеніе этой повинности на тѣ классы, которые пользовались дорогами, но не платили за нихъ. А къ какимъ дальнѣйшимъ послѣдствіямъ должно было повести примѣненіе къ хозяй-

ственной жизни принциповъ школы экономистовъ, на это ясно указывало напечатанное подъ покровительствомъ Тюрго сочиненіе Бонсерфа „О неудобствахъ феодальныхъ повинностей“. Парижскій парламентъ, ревностный и зоркій стражъ стараго порядка, присудилъ книгу Бонсерфа къ сожженію; вслѣдъ за этимъ палъ Тюрго.

Его мѣсто послѣ краткаго промежутка занялъ Неккеръ. Этотъ женеваскій банкиръ былъ представителемъ въ совѣтѣ короля другого класса и другого интереса. Вслѣдствіе финансовой системы правительства—отдачи на откупъ податей—и особенно вслѣдствіе постоянныхъ займовъ—значение и вліяніе капиталистовъ стало быстро возрастать во французскомъ обществѣ.

На ряду съ элементами, владычествовавшими въ старомъ порядкѣ—духовенствомъ, дворянствомъ и парламентами, появилась новая сила, не находившая себѣ мѣста среди міра привилегированныхъ и потому содѣйствовавшая его разложению. Такъ какъ король съ отставкой Тюрго отказался итти по пути преобразованій, новый министръ, который, кромѣ того, какъ протестантъ, не получилъ офиціальнаго ранга своего предмѣстника, долженъ былъ указать правительству другой исходъ. Этотъ исходъ, самый естественный въ положеніи Неккера—состоялъ въ системѣ обширныхъ займовъ. Благодаря общему довѣрію, которымъ онъ пользовался, какъ искусный банкиръ, а также съ помощью сбереженій и разныхъ улучшеній въ способѣ распредѣленія и взиманія налоговъ—Неккеръ высоко поднялъ государственный кредитъ Франціи и это дало ему возможность справиться съ затрудненіями, вызванными войной въ Америкѣ. Большую услугу оказала ему при этомъ, важная при тогдашнихъ условіяхъ мѣра, указывавшая на новое направленіе, принимаемое правительствомъ—обнародованіе государственнаго бюджета (*Compte Rendu*). Уже тогдашніе недоброжелатели Неккера утверждали, что это нововведеніе было внушено ему его жаждой популярности, руководившей имъ и въ другихъ важныхъ случаяхъ его жизни. Но нельзя не признать, что на этотъ разъ по-

добная мѣра вполнѣ вытекала изъ системы принятой Неккеромъ; государственный кредитъ, составлявшій основаніе этой системы, опирается на общественное мнѣніе и не можетъ обойтись безъ его довѣрія.

Во всякомъ случаѣ это было отступленіе отъ прежней системы, неприятное для тѣхъ, которые ею дорожили; нѣкоторыя другія мѣры, подготовлявшіяся и отчасти проведенныя Неккеромъ, особенно задуманныя имъ провинціальныя собранія, вызвали еще большее раздраженіе преимущественно со стороны парламентовъ; наконецъ щепетильность, обнаруженная Неккеромъ въ личныхъ вопросахъ, отчасти какъ слѣдствіе прямоты и честности его натуры, отчасти же подъ вліяніемъ его необыкновеннаго самомнѣнія—все это повлекло за собой отставку Неккера.

Когда этотъ министръ удалился отъ дѣлъ, доходы Франціи, по увѣренію Неккера въ его „Отчетѣ“, превышали ея расходы на 10 милліоновъ франковъ ¹⁾. Это дало нѣкоторымъ современникамъ, пережившимъ революцію, поводъ утверждать, что еслибы Неккеръ остался министромъ, онъ предупредилъ бы революцію. „Еслибы, говорилъ наблюдательный и безпристрастный Веберъ, Неккеръ находился при королѣ въ день смерти Морепе (полгода спустя), главный авторитетъ перешелъ бы къ нему; и тогда не было бы ни дефицита, ни Нотаблей, ни Генеральныхъ Штатовъ, ни революціи“. Не совсемъ такъ смотритъ на дѣло дочь самого Неккера, вѣроятно помня эпиграфъ, поставленный ею во главѣ ея сочиненія и взятый изъ мемуаровъ Сюлли: „Перевороты, происходящіе въ большихъ государствахъ, не бываютъ слѣдствіемъ ни случайностей, ни произвола народовъ (*caprices des peuples*)“. Г-жа де Сталь при всей любви своей и уваженіи къ отцу, при всей своей вѣрѣ въ его государственныя способности заявляетъ только, что политика Неккера была единственнымъ средствомъ предотвратить революцію при жизни Людовика XVI, и что ея отецъ никогда не колебался въ убѣжденіи, что въ

¹⁾ Дѣйствительная смѣта за 1780 годъ, сведенная въ Іюль 1786 году, представляетъ *дефицитъ* въ 114 милліоновъ. Неккеръ конечно разумѣлъ *обыкновенные* доходы и расходы, т. е. весьма идеальную величину.

1781 году это ему удалось бы. Въ другомъ мѣстѣ своего сочиненія она, правда, замѣчаетъ уже отъ себя, что еслибы Неккеръ выждалъ смерти перваго министра, онъ занялъ бы его мѣсто; царствованіе Людовика XVI, вѣроятно, прошло бы мирно и нація приготовилась бы посредствомъ хорошей администраціи къ освобожденію, на которое имѣла право (*qui lui était due*).

Но дѣло въ томъ, что проблема, представлявшаяся Неккеру, т.-е. вообще французскому правительству, была вовсе не такъ проста. Главное затрудненіе заключалось вовсе не въ дефицитѣ. Дефицитъ могъ быть временно устраненъ и появился бы снова, такъ какъ онъ былъ слѣдствіемъ всего стараго порядка. Вопросъ былъ въ томъ, можно ли было мирнымъ путемъ преобразовать старый порядокъ при сопротивленіи привилегированныхъ сословій и корпорацій, и, съ другой стороны, при господствовавшихъ въ то время взглядахъ на народъ, на власть и на свободу?—Отвѣтъ на это даютъ событія, разыгравшіяся семь лѣтъ спустя; они, во всякомъ случаѣ, доказываютъ, что Неккеръ не былъ въ состояніи измѣнить ихъ общаго хода.

Попытка, сдѣланная королемъ, послѣ отставки популярнаго Неккера, управлять съ министрами, взятыми изъ парламентской оппозиціи, не удалась. Столкновеній съ парламентами, правда, не было, но за то ни новые налоги, установленные министромъ Жоли де Флери, ни заемъ, предложенный имъ, не дали удовлетворительнаго результата, и королю пришлось опять взять министра финансовъ изъ среды ненавистной парламенту—изъ бюрократіи: министерство было поручено бывшему интенданту Калонну.

Министерство Калонна принадлежитъ уже къ исторіи революціи, но не потому только, что онъ предложилъ королю созвать Нотаблей, т.-е. обратился къ содѣйствію управляемыхъ, а потому, что проектированныя имъ реформы представляютъ рѣшительный ударъ правительственной системѣ стараго порядка. Кто полагаетъ, что революція вызвана однимъ созваніемъ Нотаблей и потому считаетъ Калонна виновникомъ революціи, забываетъ, какихъ цѣлей онъ желалъ достигнуть съ ихъ помощью.

Сдѣлавшись министромъ, и имѣя передъ собой два пути— путь новыхъ налоговъ или путь новыхъ займовъ, Калоннѣ избралъ сначала послѣдній, какъ болѣе легкій и покойный. Это была система Неккера—система удовлетворять потребностямъ государства съ помощью государственнаго кредита. Находясь въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ Неккеръ, Калоннѣ былъ вынужденъ искусственно создать кредитъ— какъ себѣ лично, такъ и государству; первой цѣли онъ достигнулъ тѣмъ, что при дворѣ щедро сыпалъ деньгами, увѣряя всѣхъ, что нѣтъ никакихъ финансовыхъ затрудненій;— государственный же кредитъ онъ думалъ поднять тѣмъ, что притворялся, „будто въ казнѣ деньги въ изобиліи, чтобы скрыть размѣры нужды, и производилъ громадныя траты, чтобы заставить выйти наружу тѣ деньги, которыя страхъ держалъ подъ спудомъ (*répandre l'argent pour l'attirer*)“. Первые годы эта система какъ-будто удавалась; въ теченіе трехъ лѣтъ были заключены имъ три займа на 305 милліоновъ ливровъ „для уплаты долговъ, вызванныхъ американской войной“; затѣмъ были сдѣланы два скрытыхъ займа въ 80 мил.

Результатомъ такого хозяйничанья было то, что 6 лѣтъ спустя послѣ Неккера въ бюджетѣ оказался дефицитъ въ сто съ лишнимъ милліоновъ, хотя доходы были увеличены на 80 милліоновъ. Правительству оставалось одно—признать свое банкротство, или объявить несостоятельность стараго порядка, и найти въ борьбѣ съ нимъ новыя средства для государственныхъ нуждъ; и вотъ въ лицѣ Калонна французское правительство заявило ¹⁾, что есть только одно средство помочь государству—искоренить *злоупотребленія*; что остается одинъ богатый источникъ для возстановленія финансовъ—*привилегіи*. вмѣстѣ съ тѣмъ правительство утверждало, что необходимо радикальный государственный переворотъ, что „если злоупотребленія, давно всѣми осужденныя, до сихъ поръ продолжались и не могли быть устранены ни общественнымъ мнѣніемъ, ни усиліями администраторовъ, то это потому,

1) Въ рѣчи Калонна при открытіи Нотаблей въ присутствіи короля.

что хотѣли частными мѣрами добиться того, что могло быть достигнуто только посредствомъ общей мѣры; что считали возможнымъ устранить безпорядокъ, не искоренивъ его въ зародышѣ, что предпринимали усовершенствовать государственный порядокъ, не устранивъ въ немъ дисгармоніи и не установивъ въ немъ принципа единообразія (*d'uniformité*), который одинъ только можетъ устранить частныя затрудненія и вдохнуть новую жизнь въ государственное тѣло“.

Главныя мѣры, которыя Калоннъ хотѣлъ провести для осуществленія провозглашеннаго имъ принципа, заключались въ слѣдующемъ: установленіе общей поземельной подати, устраненіе внутреннихъ таможенъ, равномерное распредѣленіе соляного налога и введеніе провинціальныхъ собраній.

Общій поземельный налогъ долженъ былъ замѣнить собой подушную подать и подоходную (*vingtième*), которыя падали на привилегированныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ дать средства отмѣнить значительную часть талли. Непріятная сторона поземельнаго налога для привилегированныхъ заключалась не столько въ его обременительности—такowymъ онъ былъ только для тѣхъ лицъ или областей, которыя откупились отъ подушной и подоходной подати, или избавлялись отъ нихъ благодаря своимъ связямъ и мѣстному вліянію,—сколько въ его принципіальномъ и политическомъ значеніи. Онъ обозначалъ собой приближеніе къ принципу равнаго одинаковаго обложенія для всѣхъ классовъ, и, вслѣдствіе самаго способа взиманія, подрывалъ привилегированное положеніе тѣхъ, на которыхъ падалъ. Особенно касалось это духовенства, которое съумѣло сохранить почти полную податную автономію, ведя переговоры съ правительствомъ о размѣрахъ суммы, которую оно было готово взять на себя, и не допуская непосредственнаго обложенія своихъ имуществъ правительствомъ. Теперь же, при взиманіи новой подати со всѣхъ земель посредствомъ мѣстныхъ органовъ, корпоративное устройство духовенства становилось не нужнымъ и политическая роль его уменьшалась.

Такое же принципиальное значеніе имѣли *провинціальныя собранія*. Это было рѣшительное отступленіе отъ бюрократическаго принципа, отъ мѣстнаго абсолютизма интендантовъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ новое учрежденіе, соединяя на почвѣ мѣстныхъ интересовъ поземельныхъ собственниковъ всѣхъ классовъ, и предоставляя третьему классу число голосовъ, равное голосамъ двухъ привилегированныхъ сословій, измѣняло вѣковое отношеніе между ними, обусловленное феодальнымъ бытомъ.

Такія крутыя перемѣны въ государственномъ строѣ Франціи не могли быть проведены обычнымъ, конституціоннымъ путемъ. Протестъ парламентовъ былъ неминуемъ. Для того же, чтобы начать борьбу съ ними, которая могла повести, какъ при Людовикѣ XV, къ насильственному ихъ упраздненію, для этого ни время, ни обстоятельства не были благопріятны. Нельзя было думать о государственномъ переворотѣ и бюрократической диктатурѣ при дефицитѣ въ 100 милліоновъ и при такомъ отсутствіи кредита, что Калоннъ былъ принужденъ заключить заемъ въ 30 мил. чрезъ посредство города Парижа. Затѣмъ, осуществленіе новой программы требовало добровольнаго и усерднаго содѣйствія привилегированныхъ классовъ, которымъ представлялась такая широкая дѣятельность въ провинціальныхъ собраніяхъ. Поэтому необходимо было заручиться ихъ согласіемъ. Прошлое Франціи указывало для этого два пути, болѣе сложный и опасный—Генеральныя Штаты, и болѣе простой, созваніе Нотаблей, которые назначались самимъ правительствомъ, по его усмотрѣнію, безъ опредѣленнаго срока, и которые являлись на совѣтъ безъ всякихъ полномочій и правъ. Нотабли были созваны, и 22 февраля 1787 года ихъ собраніе было открыто краткой рѣчью короля, который объяснилъ въ ней правительственную программу и выражалъ надежду, что никакіе частные интересы не поднимутъ своего голоса противъ общаго интереса; за этимъ послѣдовала длинная рѣчь Генеральнаго Контролера, которая можетъ быть названа первымъ манифестомъ грядущей революціи, такъ какъ въ ней не только объявля-

лось намѣреніе правительства отступить отъ принципа легитимизма, но всѣ вытекавшія изъ него права были заклеямены названіемъ *злоупотребленій*.

Однако, собраніе Нотаблей, на содѣйствіе которыхъ правительство хотѣло опереться при переходѣ отъ *старого порядка* къ новому, не осуществило возложенныхъ на него надеждъ. Въ объясненіе этого можно привести множество неблагоприятныхъ случайностей и ошибокъ со стороны главныхъ дѣйствующихъ лицъ: самоувѣренность и легкомысліе Калонна, который поспѣшилъ созвать собраніе, не окончивъ даже докладовъ, для него предназначенныхъ; наивность короля, который слабо защищалъ одобренные имъ проекты своего министра, и въ то-же время добродушно поощрялъ оппозицію въ частныхъ разговорахъ; борьба партій при дворѣ и особенно интриги главнаго руководителя собранія, архіепископа Тулузскаго, который добивался для себя мѣста Калонна; наконецъ, вызванная разными непростительными ошибками Калонна, опала его, которая должна была отразиться на судьбѣ его проектовъ и ослабить положеніе правительства. Но помимо такихъ частныхъ причинъ неудачи правительственнаго опыта съ созваніемъ Нотаблей заключались въ самомъ свойствѣ и положеніи собранія. Нотабли состояли изъ представителей четырехъ классовъ: меры большихъ городовъ представляли третье сословіе: президенты и генеральные прокуроры — парламентскую магистратуру; дворянство же и духовенство были представлены преимущественно вельможами, въ числѣ которыхъ было 7 принцевъ крови, и прелатами высокаго сана. Представители городовъ держали себя очень скромно и не заявляли никакихъ притязаній; магистратура заняла выжидательное положеніе, зная что ея очередь настанетъ, когда новые законы поступятъ на утвержденіе парламентовъ; вельможи и перы не обнаруживали принципиальной оппозиціи, хотя ихъ связь со дворомъ ослабѣла съ того времени, какъ при Маріи Антуанетѣ стали исчезать при дворѣ старыя формы. Главная роль оппозиціи противъ министра, представлявшаго правительство, выпала на долю духовенства; оно

должно было потерять больше всёхъ отъ проектовъ Калонна, а съ другой стороны оно, благодаря своему корпоративному и іерархическому устройству, было плотнѣе организовано, чѣмъ представители другихъ классовъ. Такимъ образомъ, оно сдѣлалось вождемъ собранія и повело его путемъ оппозиціи. Это былъ, впрочемъ, естественный исходъ для всякаго подобнаго собранія ¹⁾. Неудовлетворенные своимъ положеніемъ Нотабли изъ совѣщательнаго собранія стремились сдѣлаться руководящимъ, правительствующимъ учрежденіемъ; проекты, предложенные имъ на разсмотрѣніе, и на обсужденіе способовъ и подробностей ихъ примѣненія, они хотѣли разсматривать по существу; имъ былъ заявленъ общій итогъ дефицита, чтобы убѣдить ихъ въ неотложности предложенныхъ реформъ, они потребовали подробной смѣты расходовъ и доходовъ, чтобы углубиться въ ея разсмотрѣніе. „Я предлагаю, сказалъ генеральный-прокуроръ де Кастильонъ, указывая на протестъ Калонна противъ притязаній собранія, „чтобы эту бумагу убрали со стола и предоставили намъ обсуждать, какъ по существу, такъ и по формѣ, проекты съ первой строки до послѣдней“. Тогда стало понятно, замѣчаетъ Веберъ, приведшій эти слова, что въ XVIII в. нельзя легкомысленно созывать *національное собраніе*, какова бы ни была его форма— и что представить на разсмотрѣніе такого собранія государственныя дѣла, значить предоставить ему ихъ рѣшеніе. Однако, собраніе Нотаблей не обладало въ достаточной степени единствомъ организаціи и не чувствовало подъ собою достаточной опоры, чтобы вступить въ серьезное состязаніе съ правительствомъ. Къ тому же положеніе главнаго оппозиціоннаго элемента, духовенства, было ложное. Оно сознавало, что не время отстаивать свои податныя льготы, и готово было отступить отъ нихъ, но оно не хотѣло пожертвовать своимъ политическимъ положеніемъ, т.-е. своимъ правомъ собираться и самооблагаться.

¹⁾ Rien n'est plus mal combiné dans un temps, où les esprits sont agités, que ces réunions d'hommes, dont les fonctions se bornent à parler; on excite, ainsi, d'autant plus l'opinion, qu'on ne lui donne point d'issue. M-me de Staël Cons. I p. 113.

Вслѣдствіе этого, оно стало искать выхода въ политическихъ махинаціяхъ, къ которымъ оно прежде всегда съ успѣхомъ прибѣгало—оно было склонно объявить себя не компетентнымъ, пряталось за народъ, указывало на другую силу, которая одна въ состояніи разрѣшить предстоящія затрудненія.

Архіепископъ Арльскій, внушавшій уваженіе къ себѣ, какъ своимъ характеромъ, такъ и обширной ученостью, выразилъ въ рѣшительныхъ словахъ сомнѣніе, компетентно ли какое либо другое собраніе кромѣ *Генеральныхъ Штатовъ Франціи*, взять на свою отвѣтственность увеличеніе такимъ бременемъ тѣхъ тягостей, которыя безъ того несетъ „нація“.

Многіе изъ приверженцевъ стараго порядка въ собраніи, очевидно, возлагали большія надежды на Генеральные Штаты: они рассчитывали, что будутъ обладать тамъ настолько большимъ вліяніемъ, чтобъ руководить правительствомъ. Съ совершенно противоположной цѣлью дѣйствовала въ томъ же направленіи другая партія среди Нотаблей. Число лицъ, желавшихъ, по примѣру Англій, ограниченной или конституціонной монархіи, сильно возросло во Франціи; внѣшнимъ симптомомъ этого настроенія является распространившаяся англоманія—подражаніе англійскимъ обычаямъ и модамъ; американская война еще болѣе усилила стремленіе къ свободѣ и національному самоуправленію. Представителемъ этого направленія между Нотаблями былъ маркизъ де Лафайетъ; онъ вербовалъ партію, которая должна была пойти къ королю и сказать ему: „Вы требуете нашего голоса въ пользу налога; но мы не обладаемъ для этого никакою властью; мы ничего не представляемъ собой для націи, которая намъ не дала полномочій. Но мы дерзнемъ удовлетворить насущнымъ потребностямъ, если, служа королю, мы вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ служить французскому народу. Даруйте намъ, Ваше Величество, великую хартію; пусть въ нее войдетъ установленіе индивидуальной свободы и періодическихъ собраній Генеральныхъ Штатовъ, и мы подадимъ тогда голосъ въ пользу взиманія новаго налога до ближайшаго собранія Генераль-

ныхъ Штатовъ, срокъ котораго можетъ быть установленъ по зрѣлому обсужденію“.

Такъ приверженцы стараго порядка и его противники съ двухъ разныхъ сторонъ одинаково указывали правительству, что ему слѣдуетъ обратиться помимо Нотаблей къ націи, чтобы выйти изъ затрудненій. Но оно уже само въ лицѣ Калонна имѣло въ виду пойти по этому пути и уже сдѣлало первые шаги по немъ. Созывая Нотаблей, Калоннъ ожидалъ оппозиціи со стороны привилегированныхъ членовъ этого собранія и думалъ предупредить ее искусной организаціей собранія. Съ этой цѣлью онъ противопоставилъ прелатамъ и вельможамъ, въ равномъ числѣ, представителей магистратуры и городовъ, и установилъ принципъ поголовной подачи голосовъ въ собраніи, вмѣсто посословной: очевидно, онъ надѣялся составить себѣ большинство изъ лицъ разныхъ сословій, не стѣсненныхъ корпоративной связью. Но сила оппозиціи превзошла его ожиданія, и тогда онъ обратился непосредственно къ націи, чтобы произвести нравственное давленіе на Нотаблей. Совѣщанія ихъ происходили негласно и потому ихъ оппозиція противъ правительства могла казаться либеральной; въ виду этого Калоннъ велѣлъ отпечатать доклады, представленные Нотаблямъ и присоединилъ къ нимъ объясненія въ томъ смыслѣ, что вина должна пасть на Нотаблей, если они помѣшаютъ королю облегчить положеніе народа. Этотъ документъ былъ разосланъ всѣмъ приходскимъ священникамъ для всеобщаго распространенія, и подобно другимъ правительственнымъ распоряженіямъ, его выкликали на улицахъ Парижа. Даже тѣ современники, которые одобряли намѣренія Калонна, говорятъ, что всѣ видѣли въ обнародованномъ имъ документѣ призывъ къ *возстанію*, обращенный къ третьему сословію, противъ привилегированныхъ классовъ ¹⁾.

Демонстрація Калонна, вызвавшая особенное негодованіе Нотаблей, окончательно пошатнула его положеніе. Преемни-

¹⁾ Weber p. 106. Besenval 286. Sallier 67.

комъ его въ качествѣ руководящаго министра сдѣлался вождь Нотаблей—архіепископъ Тулузскій, Ломени де Бриенъ. Достигнувши своей цѣли, этотъ честолюбивый прелать распустилъ собраніе, не дождавшись, чтобы оно окончательно формулировало свои взгляды и требованія.

Такимъ образомъ, собраніе Нотаблей имѣло только одинъ результатъ: оно нанесло поражение правительству и нравственно ослабило его, такъ какъ на него пали всѣ упреки и обвиненія, направленные противъ Калонна; оно объявило правительству не компетентнымъ пересоздать старый порядокъ и утвердило мнѣніе, что это великое и необходимое дѣло можетъ взять на себя только сама нація, т.-е. какъ ее тогда всѣ понимали--Генеральные Штаты.

Созваніе этихъ Штатовъ было теперь лишь вопросомъ времени; но къ несчастью для Франціи въ короткій срокъ, который оставался правительству для свободнаго образа дѣйствій, его авторитетъ палъ еще ниже и оно окончательно утратило способность играть самостоятельную роль во время приближавшагося великаго кризиса. Это случилось, какъ вслѣдствіе ошибокъ и неспособности новаго главнаго министра, такъ, и еще болѣе, по винѣ блюстителей стараго порядка, *парламентовъ*.

Люди, лично знавшіе архіепископа Тулузскаго, уже въ теченіе тридцати лѣтъ, прочили его на высшія государственныя должности; онъ составилъ себѣ репутацію дѣльнаго человѣка среди людей разныхъ круговъ и приверженцевъ разныхъ экономическихъ школъ; онъ былъ членомъ Французской Академіи; въ Лангедокѣ его уважали не только за устроенныя имъ полезныя и благотворительныя учрежденія, но и какъ усерднаго администратора.

Но если у архіепископа и было достаточно таланта, чтобы многимъ внушить большое довѣріе къ себѣ, если онъ и обладалъ умѣньемъ подчинять людей своему вліянію и заставить ихъ служить своимъ цѣлямъ, при всемъ этомъ онъ оказался совершенно неспособнымъ для той великой роли, которую такъ легкомысленно взялъ на себя. Онъ не имѣлъ ни поли-

тическихъ, ни нравственныхъ принциповъ: средства, къ которымъ онъ прибѣгалъ, чтобы руководить людьми, были также мелки, какъ и его цѣли, и къ тому же онъ обладалъ такими свойствами характера, при которыхъ былъ невозможенъ прочный успѣхъ въ критическихъ обстоятельствахъ того времени.

Мы замѣчаемъ въ немъ ту же непостижимую самоувѣренность, ту же роковую недалковидность, которыми отличались всѣ министры Людовика XVI, а къ этому еще присоединилось полнѣйшее отсутствіе твердости и выдержанности. Полагаясь на себя, архіепископъ не извлекъ единственной пользы, которую Нотабли могли оказать правительству и не заручился ихъ авторитетомъ при внесеніи въ Парижскій парламентъ разсмотрѣнныхъ ими новыхъ законовъ. Парламентъ пропустилъ безъ возраженій законъ о провинціальныхъ собраніяхъ и хлѣбной торговлѣ, но уже законъ о замѣнѣ барщинной повинности денежною при исправленіи дорогъ встрѣтилъ съ ихъ стороны сопротивленіе, а новый штемпельный налогъ вызвалъ рѣшительный протестъ. вмѣстѣ съ тѣмъ Парижскій парламентъ отступилъ отъ своей традиціонной политики возражать отъ собственнаго имени противъ правительственныхъ распоряженій; онъ провозгласилъ новый принципъ—необходимость обратиться для узаконенія новыхъ указовъ къ самому народу. Одинъ только народъ, „собранный на Генеральныхъ Штатахъ“, заявилъ парламентъ, можетъ дать необходимое согласіе на постоянный налогъ. Парламентъ не имѣетъ власти замѣнить собой это согласіе. Уполномоченный государемъ возвѣщать его волю народамъ, онъ никогда не получалъ отъ послѣднихъ полномочія замѣщать ихъ самихъ“.

Присланный въ это время на утвержденіе парламента законъ объ общемъ поземельномъ налогѣ подлилъ масла въ огонь. Крайніе изъ парламентскихъ ораторовъ предложили потребовать отъ короля немедленнаго созванія Генеральныхъ Штатовъ, и это предложеніе было принято большинствомъ въ общемъ собраніи всѣхъ палатъ парламента.

Уменьшивъ на 20 милліоновъ расходъ по министерству двора, и обѣщавъ дальнѣйшія сокращенія, король считалъ

себя вправѣ итти твердо впередъ по пути преобразованій и высочайшимъ повелѣніемъ приказалъ парламенту обнародовать предложенные ему законы. Но на другой день послѣ этого парламентъ сдѣлалъ постановленіе такого содержанія: „Изъ добровольнаго уваженія къ желаніямъ короля, парламентъ всегда вносилъ въ списки законовъ указы о налогахъ; но онъ не имѣлъ на это никакой власти и не могъ получить таковой отъ короля; это заблужденіе продолжалось довольно долго, и потому палата заявляетъ, что впредь король не будетъ имѣть права взимать никакого новаго налога, если предварительно не созоветъ и не выслушаетъ мнѣнія *Генеральныхъ Штатовъ*“. Какъ видно, парламентъ зашелъ далеко впередъ по пути, указанному Нотаблями: онъ не только сдѣлалъ официальное постановленіе о необходимости созвать народъ въ формѣ Генеральныхъ Штатовъ, но объявилъ незаконнымъ весь прежній старый порядокъ, осудилъ вмѣстѣ съ собой на немощь королевскую власть и призналъ прежнюю систему правительства узурпаціей правъ народа.

Этотъ новый революціонный манифестъ со стороны представителей стараго порядка объясняется взаимодействіемъ двухъ противоположныхъ теченій; духъ стараго фрондерства противъ королевской власти слился съ духомъ оппозиціи во имя новаго раціоналистическаго принципа; отчаянные приверженцы *привилегій*, какъ увлекавшійся своимъ краснорѣчіемъ д'Епремениль, дѣйствовали теперь заодно съ „американской партіей“ среди совѣтниковъ парламента, съ Дюпоромъ, руководившимъ потомъ крайней лѣвой въ Учредительномъ Собраніи и съ сановитымъ, щеголеватымъ Геро де Сешель, другомъ Дантона и президентомъ Конвента 31 мая 1793 г., въ день узурпаціи власти Якобинцами.

Вмѣстѣ съ тѣмъ представители стараго порядка перешли отъ теоретическаго внушенія новой доктрины народу къ практическому воспитанію его въ анархіи.

Въ первый разъ мы замѣчаемъ тогда въ поведеніи Парижскаго парламента черту, которая потомъ входитъ въ привычку всѣхъ оппозиціонныхъ партій во время революціи — союзъ съ

толпой. Во весь день продолжавшагося одиннадцать часовъ за-сѣданія, когда принято было выше приведенное постановленіе, зданіе и дворы парламента были переполнены нетерпѣливо ожидавшей толпой. Постановленіе, осуждавшее королевскую власть за вѣковую узурпацію, было объявлено толпѣ и вызвало „полное изступленіе“, выражавшееся въ проклятїяхъ правительству и въ восторженномъ сочувствїи главнымъ героямъ оппозиціи. „Храмъ правосудїа становился незамѣтнымъ образомъ очагомъ мятежа“.

Парламентъ былъ отправленъ въ ссылку въ Труа; тамъ началась въ немъ болѣе благопрїятная правительству реакція. Но нетерпѣніе архіепископа, по отзыву современниковъ, испортило дѣло. Опасеніе за свое мѣсто, или затруднительное положеніе финансовъ заставили его пойти на сдѣлку съ парламентомъ, мало выгодную для правительства. Послѣднее взяло назадъ проекты обоихъ новыхъ налоговъ, а парламентъ, по возвращенїи въ Парижъ, согласился лишь продолжить взиманіе одного изъ подоходныхъ налоговъ (*second vingtième*), распространивъ его на всѣ поземельныя имущества безъ исключенія.

Такъ какъ путь налоговъ былъ закрытъ, пришлось опять вступить на путь займовъ. Планъ, выработанный архіепископомъ, чрезвычайно характеренъ, какъ для этого министра, такъ и для общаго положенія правительства. Онъ заключался въ томъ, чтобы получить согласіе парламента на заемъ въ 420 милліоновъ ливровъ, который долженъ былъ реализироваться постепенно въ теченіе 5 лѣтъ, и за это обѣщать къ концу этого срока созваніе Генеральныхъ Штатовъ. Для министра, какъ временнаго представителя правительства, такой исходъ былъ, конечно, очень удобенъ. Новый планъ обезпечивалъ ему въ теченіе пяти лѣтъ свободное дѣйствіе правительственнаго механизма и спокойное обладаніе властью; а пятилѣтній срокъ былъ настолько продолжителенъ, что за это время легко могъ представиться правительству какой-нибудь другой выходъ, который сдѣлалъ бы ненужнымъ созваніе Штатовъ.

Но именно эта пятилѣтняя отсрочка должна была многихъ вооружить противъ проекта; не всѣ были такъ довѣрчивы, какъ Веберъ, который полагалъ, что „подобный промежутокъ былъ необходимъ, чтобы дать возможность правительству *приготовиться* къ такой великой мѣрѣ, какъ возстановленіе Генеральныхъ Штатовъ послѣ 175-лѣтняго перерыва,— а королю возможность, являясь передъ собравшимся народомъ, сообщить ему все, что онъ сдѣлалъ для его благополучія и для того, чтобы его упрочить“.

Мѣры, придуманныя де-Бриенномъ, чтобы обезпечить успѣхъ его плана, еще болѣе носятъ на себѣ печать этого юркаго интригана, который надѣялся выманить у парламента согласіе на свое предложеніе такими же мелкими средствами, къ какимъ онъ привыкъ прибѣгать въ личныхъ сношеніяхъ. Сохраняя въ глубокой тайнѣ задуманный имъ планъ, онъ выбралъ для королевскаго засѣданія въ парламентѣ время, когда еще не всѣ его члены возвратились въ Парижъ съ вакаціи, и даже уговорилъ короля назначить охоту на тотъ день, когда онъ долженъ былъ пріѣхать въ Парижъ, чтобы объявить свою волю парламенту. Съ другой стороны, онъ пустилъ въ ходъ тайные переговоры и, повидимому, даже подкупъ. При такихъ условіяхъ состоялось королевское засѣданіе парламента 19 ноября 1787 года. Языкъ, которымъ въ этотъ день говорило правительство Франціи, отражалъ на себѣ его колебанія между старымъ политическимъ порядкомъ и отреченіемъ отъ него. Хранитель печати Ламуаньонъ изложилъ въ своей рѣчи политическую теорію старой монархіи, нѣкогда признанную парламентами. То, что онъ говорилъ о королевской власти, было буквально извлечено изъ одного постановленія парламента, сдѣланнаго въ 1766 году: „Одному королю принадлежитъ верховная власть въ его королевствѣ. Онъ отвѣтственъ только предъ Богомъ за примѣненіе этой власти. Связь, соединяющая короля съ народомъ, нерушима по своему существу. Интересъ порядка заключается въ томъ, чтобы права государя не потерпѣли какихъ-либо измѣненій. Король—верховный глава своего народа и составляетъ съ нимъ одно цѣлое.“

Законодательная власть олицетворяется особою государя и принадлежит ему безъ раздѣла и зависимости“.

Затѣмъ въ отвѣтъ на требованіе парламента и въ предупрежденіе незаконныхъ его притязаній было заявлено: „Изъ этихъ древнихъ національныхъ принциповъ, подтверждаемыхъ каждой страницей нашей исторіи, слѣдуетъ, что одному королю принадлежитъ право созывать Генеральные Штаты; что онъ одинъ долженъ судить о томъ, полезно ли, или необходимо такое созваніе; что онъ не нуждается ни въ какихъ чрезвычайныхъ полномочіяхъ для управленія своимъ королевствомъ; что король Франціи можетъ видѣть въ представителяхъ трехъ государственныхъ сословіи лишь расширенный совѣтъ, составленный изъ отборныхъ членовъ семьи, главою которой онъ состоитъ, и что онъ долженъ всегда оставаться верховнымъ судьей ихъ заявленій и печалованій (*doléances*)“.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ король давалъ торжественный зарокъ ежегодно обнародовать финансовую смѣту и, обѣщая созвать Генеральные Штаты до истеченія пяти лѣтъ, онъ этимъ обѣщаніемъ какъ бы ограничивалъ свое право устанавливать бюджетъ. Еще менѣе соответствовало провозглашенію стараго абсолютнаго монархическаго принципа то, что за этимъ послѣдовало. Министры, вѣроятно, рассчитывали на большинство въ собраніи, и потому не объявили королевское засѣданіе парламента *чрезвычайнымъ* (*lit de justice*), въ которомъ обычай не допускалъ рѣчей и протестовъ. Такое чрезвычайное проявленіе королевской власти утратило въ послѣдніе годы свое значеніе или обаяніе; послѣ cadaго *lit de justice* парламентъ обыкновенно протестовалъ противъ насилія, сдѣланнаго надъ его совѣстью, и объявлялъ свое согласіе недѣйствительнымъ. Этого-то хотѣли избѣгнуть министры Людовика XVI; при тогдашнихъ обстоятельствахъ такое поведеніе парламента могло подорвать успѣхъ правительственнаго плана, рассчитаннаго на широкое привлеченіе кредита. Поэтому правительственные законопроекты были предложены парламенту въ обыкновенномъ засѣданіи, допускавшемъ свободное выраженіе мнѣній. Но тонъ произнесенныхъ рѣчей, должно быть,

внушили присутствовавшимъ членамъ правительства серьезное опасеніе. Несмотря на присутствіе короля много было сказано чрезвычайно запальчивыхъ рѣчей, въ которыхъ ораторы, прибѣгая то къ грознымъ внушеніямъ, то къ патетическимъ увѣщаніямъ, настаивали на немедленномъ созваніи Штатовъ; и вотъ подъ впечатлѣніемъ этихъ рѣчей хранитель печати, пошептавшись съ королемъ, объявилъ, что въ присутствіи короля голоса не считаются и предложенія правительства приняты. Затѣмъ самъ король приказалъ приступить немедленно къ внесенію указовъ въ сводъ законовъ (регистраціи). Тогда раздался протестъ со стороны герцога Орлеанскаго, съ указаніемъ на различіе между обыкновеннымъ и чрезвычайнымъ королевскимъ засѣданіемъ. Король удалился, но несмотря на это парламентъ незаконно продолжалъ засѣданіе и формально заявилъ протестъ противъ королевскаго повелѣнія.

Правительство прибѣгло къ обыкновеннымъ въ этихъ случаяхъ мѣрамъ взысканія; сдѣлало парламенту выговоръ, уничтожило на его реестрахъ незаконное постановленіе, отправило въ ссылку герцога Орлеанскаго и посадило въ крѣпость двухъ совѣтниковъ парламента. Но провинціальныя парламенты подхватили протестъ Парижскаго парламента, оппозиція перешла въ общество и „въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ по всей Франціи только и раздавались протесты, постановленія и возгласы всякаго рода, настойчиво требовавшія возвращенія герцога, освобожденія изъ заключенія совѣтниковъ, отмѣны административной ссылки, и уже слышались голоса въ пользу разрушенія Бастиліи и другихъ государственныхъ тюремъ“. По всѣмъ дорогамъ въ Версаль встрѣчались депутаціи отъ провинціальныхъ парламентовъ, получившихъ было приказанія выслать туда свои протоколы; протоколы эти собственноручно уничтожились королемъ, но по возвращеніи депутацій парламенты вносили въ протоколъ новыя постановленія, еще болѣе прежнихъ дерзкія. Чѣмъ мятежнѣе былъ языкъ этихъ официальныхъ документовъ, тѣмъ обширнѣе была гласность, которую имъ давали. „Невозможность для правительства

управлять государством быстро наступала“. При такихъ-то условіяхъ правительство подготовляло крупный актъ монархической реформы, послѣднее проявленіе самостоятельной дѣятельности старой монархіи. Это было коренное преобразование парламентовъ, которое во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ вниманія. Реформа дѣлала правосудіе болѣе доступнымъ и дешевымъ, устанавливая въ громадномъ округѣ Парижскаго парламента мѣстные суды, въ вѣдѣніе которыхъ должны были перейти всѣ дѣла до 20,000 фр. Уголовное судопроизводство преобразовывалось согласно съ духомъ новаго времени, требовавшимъ больше гуманности къ подсудимому, большей гласности въ процессѣ и большей мягкости въ приговорахъ и карахъ. вмѣстѣ съ тѣмъ надъ всѣми парламентами Франціи учреждалась Верховная Палата (Cour Plénière); она должна была состоять изъ Большой Палаты Парижскаго парламента, членами которой были старшіе по службѣ члены Парижской магистратуры, изъ перовъ и высшихъ сановниковъ государства и изъ депутатовъ провинціальныхъ парламентовъ. Назначеніе этой новой палаты, которая по своему имени и отчасти по устройству была возстановленіемъ древняго королевскаго совѣта до возвышенія магистратуры и до развитія бюрократіи—было двойное. Она должна была служить государственному объединенію въ области законовъ и суда, постепенно устраняя крайнее различіе и противорѣчія въ мѣстныхъ кутюмахъ и въ судопроизводствѣ разныхъ вѣдомствъ. Во-вторыхъ, въ политическомъ отношеніи она должна была устранить вредный для государства дуализмъ между центральнымъ правительствомъ и магистратурой. Съ одной стороны, Верховная Палата отнимала у тринадцати парламентовъ право вмѣшательства въ политическое законодательство и финансовое управленіе и становилась самостоятельнымъ Верховнымъ Судомъ въ случаѣ непокорности и произвола мѣстной магистратуры. Съ другой стороны, эта палата, составленная изъ отборныхъ элементовъ той же магистратуры, бюрократіи и аристократіи, должна была служить регуляторомъ законодательной власти и сдержкой произвола центральнаго прави-

тельства; съ этой цѣлью ей предоставлялась обязанность *про-
вѣрки и обнародованія общихъ законовъ*, издаваемыхъ для
королевства (*la vérification et publication des lois générales*).
Такимъ образомъ король, какъ онъ выразился въ своей рѣчи,
надѣялся установить во всѣхъ частяхъ своей монархіи то
единство принциповъ (*cette unité de vues*), ту общую связь,
безъ которыхъ многочисленныя и обширныя провинціи только
ослабляютъ большое королевство.

Великому государству, сказалъ онъ, нужна единая верхов-
ная власть (*un seul roi*), единый законъ, единый сводъ (*un
seul enregistrement*). Эта цѣль достигалась новой палатой,
которая должна была стать единственнымъ хранителемъ зако-
новъ общихъ всему королевству и принять на себя внесеніе
ихъ въ общій сводъ (регистрацію). Къ этому король приба-
вилъ обѣщаніе созывать Генеральные Штаты всякій разъ,
когда этого потребуютъ нужды государства.

Нѣкоторые современники предавались надеждѣ, что новая
Верховная Палата (*la cour du baronnage et des Pairs, le Par-
lement universel*) начертаетъ для Франціи великую хартію
общественныхъ вольностей подобно тому, какъ это сдѣлали
королевскіе бароны Англій, и станетъ со временемъ Верх-
ней Палатой дѣйствительно народнаго представительства.

Мы не будемъ останавливаться на этомъ достойномъ вни-
манія предположеніи, но укажемъ на другое соображеніе, на
которое наводитъ установленіе Верховной Палаты. Оно сви-
дѣтельствуетъ о томъ, какъ глубоко коренилось въ старой
Франціи убѣжденіе въ необходимости извѣстнаго контроля
надъ законодательной дѣятельностью правительства, и какъ
королевская власть, даже въ періодъ абсолютизма не отвер-
гавшая этого принципа, была вслѣдствіе этого стѣснена въ
своей дѣятельности. Это убѣжденіе сложилось историческимъ
путемъ съ того времени, когда ближайшіе совѣтники короля—
бароны и перы Франціи—раздѣляли съ нимъ законодательную
власть. Отъ нихъ это право перешло къ магистратурѣ, и
въ этомъ-то заключается сила парламентовъ и юридическое
основаніе ихъ притязаній. Теперь, въ послѣднюю минуту

королевская власть, стѣсненная этими притязаніями, старается не вовсе избавиться отъ этого контроля, а только придать ему болѣе единства и общегосударственное значеніе.

Такъ какъ нужно было ожидать рѣшительнаго сопротивленія Парижскаго парламента, гдѣ преобладали молодые совѣтники, исключаемые отъ участія въ Верховной Палатѣ— то правительство держало втайнѣ своей проектъ, намѣреваясь провести его посредствомъ чрезвычайнаго парламентскаго засѣданія, *Lit de Justice*, въ Версалѣ 8 мая. Когда Ламуаньонъ сообщилъ своему другу барону Безанвалю о предлагаемой реформѣ и спросилъ его мнѣніе объ ней, тотъ отвѣтилъ другимъ вопросомъ, —увѣрено ли правительство, что у него хватитъ денегъ на текущія нужды? Хранитель печати объяснилъ, что по заявленію архіепископа Тулузскаго, сдѣланному въ его присутствіи, казна обезпечена денежными средствами до 1 янв. 1789 года; тогда баронъ сказалъ: „Въ такомъ случаѣ дѣйствуйте; обладая деньгами и твердостью воли, не опасайтесь ничего“.

Скоро однако обнаружилось, что у правительства не хватило ни денегъ, ни мужества на проведеніе задуманнаго преобразованія. Д'Епременилю удалось за нѣсколько дней до королевскаго засѣданія посредствомъ подкупа наборщиковъ узнать о содержаніи проекта и произвести переполохъ въ парламентѣ. Въ шумныхъ засѣданіяхъ члены парламента клятвенно обязались не подчиниться преобразованію. Правительство приказало арестовать на дому д'Епремениля и Гуалара, и когда тѣмъ удалось укрыться въ зданіи парламента, послало отрядъ войска, чтобы взять ихъ оттуда силою. Тамъ послѣдовала извѣстная драматическая сцена: командовавшій отрядомъ офицеръ въ недоумѣніи стоялъ передъ засѣдавшимъ въ полномъ составѣ парламентомъ, не зная, кого арестовать, а на его требованіе указать д'Епремениля, ему закричали въ отвѣтъ: „мы всѣ д'Епременили“.

Не менѣе бурныя сцены, чѣмъ въ Парижѣ, повторились въ Версалѣ, когда вызванный туда парламентъ былъ принужденъ выслушать и принять къ свѣдѣнію указъ о Верхов-

ной Палатѣ; при этомъ слѣдуетъ отмѣтить особенно интересный историческій фактъ — разыгранную Парижскимъ парламентомъ, словно по программѣ, прелюдію той революціи, которая была произведена тамъ же въ Версалѣ ровно черезъ годъ депутатами третьяго сословія. Распущенные послѣ королевскаго засѣданія на вакацію, члены парламента несмотря на это продолжали собираться и, не имѣя помѣщенія для своихъ засѣданій, устраивали ихъ въ гостинницѣ, подобно тому, какъ депутаты нашли убѣжище въ залѣ для „игры въ мячъ“. Въ Парижѣ волненіе перешло отъ парламента къ среднему и низшему слою судебнаго вѣдомства, къ той средѣ, изъ которой вышло большинство второстепенныхъ революціонныхъ дѣятелей въ эпоху террора; къ нимъ стала примыкать публика—молодые люди изъ свѣтскаго общества, въ англійскомъ костюмѣ, и пестрая толпа людей всякаго рода, получавшихъ здѣсь свое первое политическое воспитаніе.

За заставами Парижа на сотни верстъ еще все было тихо и мирно, но зато почти всѣ провинціи, имѣвшія свои парламенты, представляли картину полной анархіи и открытаго сопротивленія. Провинціальная магистратура по своему происхожденію и родству находилась въ тѣсной связи съ дворянствомъ, которое тотчасъ и приняло участіе въ распрѣ парламентовъ съ правительствомъ. Въ Бретани члены парламента бросали записки въ толпу, возбуждая ее наложить руку на интенданта; военный губернаторъ, сопровождаемый войскомъ, былъ встрѣченъ градомъ камней; вооруженные дворяне заграждали путь кавалеріи, которой было приказано разогнать толпу; другіе вызывали на дуэль офицеровъ; устраивались дуэли, гдѣ партія дворянъ должна была драться съ соответствующимъ числомъ офицеровъ. Приказаніе короля о распущеніи парламента на вакацію не было исполнено.

Въ Греноблѣ, главномъ городѣ Дофинѣ, приказаніе, данное военнымъ губернаторомъ непокорившемуся парламенту, выѣхать изъ города, вызвало открытый мятежъ; населеніе города и крестьяне съ сосѣднихъ горъ, созванные набатомъ, взяли приступомъ дворецъ губернатора, разграбили его и,

угрожая жизни герцога Клермонъ-Тоннера, заставили его отмѣнить его приказаніе. Мало того, дворянство сдѣлало первый шагъ къ организаціи особаго правительства для провинціи; пригласивъ на свое собраніе духовенство, муниципалитетъ и разныя лица третьяго сословія, оно постановило возстановить древніе, давно упраздненные провинціальныя штаты. Замѣчательно, что это рѣшеніе было принято единодушнымъ постановленіемъ членовъ отъ привилегированныхъ сословіи и противъ воли большинства третьяго сословія.

Движеніе оттуда перешло въ провинціи Лангедокъ и Русильонъ: съѣздъ провинціальныхъ представителей Дофинъ въ Визилѣ вызвалъ подобное же собраніе въ Тулузѣ; Бордоскій парламентъ пришлось силою отправить въ заточеніе; въ Наваррѣ же пиренейскіе крестьяне съ оружіемъ въ рукахъ водворили свой провинціальный парламентъ. Фландрія и Геннегау также требовали, хотя и „съ большой флегмой“ — сообразно съ фламандскимъ темпераментомъ, особыхъ провинціальныхъ штатовъ. Маршалы, отправленные въ волновавшіяся провинціи съ чрезвычайными полномочіями, оказались безсильными возстановить спокойствіе и повиновеніе правительству. Дисциплина въ войскѣ пошатнулась, оно стало ненадежно, колебаніе въ немъ началось съ офицеровъ, представителей привилегированныхъ классовъ.

При такихъ условіяхъ денежный кредитъ правительства палъ такъ же низко, какъ его нравственный авторитетъ; суммы, ожидаемыя отъ займовъ, не поступали, всѣ финансовыя расчеты архіепископа Тулузскаго рушились. Тогда онъ ухватился за послѣдній якорь спасенія—созвалъ на чрезвычайный съѣздъ представителей высшаго духовенства.

Поведеніе духовенства въ эту критическую минуту заслуживаетъ особеннаго вниманія. Оно располагало большими богатствами и значительнымъ кредитомъ; оно легко могло выручить правительство; снабдивши его нужными деньгами, оно дало бы ему возможность пережить кризисъ, возстановить свой кредитъ и авторитетъ. Католическое духовенство всего болѣе было заинтересовано въ сохраненіи ста-

раго порядка, оно должно было больше всѣхъ потерять отъ предстоявшаго переворота; первый министр, умолявшій его о помощи, былъ изъ его среды, и тѣмъ не менѣе духовенство, хотя и при нѣкоторомъ разногласіи въ собраніи, отказало ему во всемъ. Мало того, оно выступило строгимъ порицателемъ старой монархіи, заявивъ, что въ ея длинной исторіи лишь нѣсколько именъ и немногіе годы заслуживаютъ того, чтобъ быть съ честью помянутыми; духовенство приняло на себя роль пристрастнаго судьи въ спорѣ между правительствомъ и парламентами, одобрявъ способъ дѣйствія послѣднихъ: оно окончательно подорвало авторитетъ правительства, объявивъ подати произвольными поборами—и наконецъ потребовало безотлагательнаго собранія Генеральныхъ Штатовъ.

Тогда правительство было вынуждено сдѣлать послѣднюю уступку. Съѣздъ духовенства еще не окончилъ своихъ засѣданій, когда состоялось постановленіе Королевскаго Совѣта отъ 5 іюля 1788 года, возвѣщавшее о созваніи Генеральныхъ Штатовъ въ *ближайшемъ будущемъ*. Архіепископъ рассчитывалъ на впечатлѣніе, которое произведетъ эта уступка и надѣялся выиграть время, которымъ онъ хотѣлъ воспользоваться, чтобы найти поддержку для правительства въ массѣ народа, стоявшаго внѣ привилегированныхъ сословій, чтобы произвести разладъ среди оппозиціи и, поднявъ третье сословіе противъ двухъ первыхъ, сдѣлать изъ него опору престола ¹⁾.

Съ этой цѣлью онъ сталъ употреблять все свое вліяніе, чтобы вызвать притязанія третьяго сословія и поселить раздоръ между нимъ и дворянствомъ; *маршалы*, отправленные въ провинцію, и другіе представители правительственной власти получили приказаніе направлять движеніе къ этой цѣли и устроить оборонительный союзъ между народомъ и короной противъ того, что при дворѣ называли *возстаніемъ дворянъ*. Архіепископъ дѣйствовалъ лично въ томъ же направленіи. Когда явились къ нему депутаты Дофине съ требова-

1) Слова Вебера, стр. 140.

ніемъ провинціальныхъ штатовъ, онъ любезно обѣщалъ имъ ихъ возстановленіе, прибавивъ при этомъ: но „вы, конечно, не пожелаете ихъ возстановленія со всѣми феодальными недостатками этихъ обветшалыхъ учрежденій, въ которыхъ народъ считался ни во что (*ou le peuple était compté si peu*)“.

Однако времени было слишкомъ мало, чтобы выиграть что-нибудь посредствомъ такой политики. Сама природа была въ заговорѣ противъ правительства. Лѣто 1788 г. было чрезвычайно знойное и дало плохой урожай; страшное градобитіе, которому подверглась почти вся сѣверная Франція, уничтожило послѣднія надежды. Въ главномъ казначействѣ оставалось всего 400000 фр.; всѣ прочія кассы были пусты; архіепископъ выбралъ послѣднія деньги даже изъ театральной кассы и наложилъ руки на суммы, вырученныя лотереей въ пользу несчастныхъ, пострадавшихъ отъ града.

Въ такой моментъ застала Францію великая новость: Генеральные Штаты созывались на 1 мая 1789 года. Архіепископу пришлось выбирать между возстановленіемъ парламентовъ, которые могли предать его суду, и созваніемъ штатовъ, которые должны были считать его виновникомъ своего собранія. Такъ состоялось постановленіе Королевскаго Совѣта, опредѣлившее срокъ собранія штатовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ былъ официально заявленъ окончательный неуспѣхъ правительственной реформы: учрежденіе Верховной Палаты было отложено до созванія штатовъ.

Нѣсколько дней послѣ этого обнаружилось банкротство правительства; многіе платежи были отсрочены на годъ; относительно государственной ренты было постановлено, что при платежахъ свыше 1200 ф. только $\frac{3}{8}$ будутъ уплачиваться деньгами, $\frac{2}{8}$ же—пятипроцентными облигаціями. Наконецъ банковымъ билетамъ дисконтнаго банка, авансами котораго пользовалось правительство, былъ данъ принудительный курсъ.

При такихъ-то условіяхъ подготовлялся рѣшительный поворотъ въ исторіи Франціи, вызванный приглашеніемъ представителей націи къ участию въ управленіи страной.

Утверждать, что созваніе Генеральныхъ Штатовъ было случайнымъ результатомъ слабости и популярничанья министровъ Людовика XVI, могутъ только люди, историческія занятія которыхъ не восходятъ далѣе министерства Калонна. Созваніе національнаго представительства было такимъ же естественнымъ и неизбѣжнымъ результатомъ всей предшествовавшей исторіи Франціи, какъ и необходимость пересоздать старый порядокъ.

Вліяніе націи на правительство становилось все болѣе и болѣе ощутительнымъ, начиная съ Людовика XIV, и необходимость считаться съ этимъ вліяніемъ все болѣе и болѣе сознавалась самими королями. Людовикъ XIV еще могъ говорить, что послѣднее несчастье, въ которое можетъ впасть государь, это зависимость отъ своихъ подданныхъ; но уже Людовикъ XV несмотря на зависимость, въ которой онъ находился отъ фаворитокъ, говорилъ: „Назначаю своихъ министровъ я, но отставку имъ даетъ нація“. Въ бумагахъ, оставшихся послѣ Дофена, сына Людовика XV, сохранились указанія на то, какъ его занимала мысль о Генеральныхъ Штатахъ, и мы видѣли, съ какой радостью принялъ внукъ Людовика XV предложеніе раздѣлить съ представителями націи отвѣтственность правительства. Весь вопросъ заключался лишь въ томъ, при какихъ условіяхъ и въ какой формѣ состоится это созваніе. Въ этомъ отношеніи и заслуживаютъ особеннаго вниманія факты царствованія Людовика XVI, на которыхъ мы останавливались. Французское правительство, какъ мы видѣли, долго не рѣшалось вступать въ борьбу со старымъ порядкомъ. Когда, наконецъ, вынужденное къ тому финансовыми затрудненіями, оно вступило на путь реформы, оно встрѣтило серьезное сопротивленіе со стороны привилегированныхъ сословій и учрежденій стараго порядка. Опозиція привилегированныхъ перешла границы легальныхъ формъ, приняла революціонный характеръ и произвела анархію въ странѣ. Въ этой борьбѣ правительства съ привилегированными возникъ вопросъ о народѣ; оспаривая законность правительственныхъ преобразованій, привилегированные утверждали, что только сама нація

можетъ рѣшить представившіяся затрудненія, и потребовали созванія Генеральныхъ Штатовъ; послѣ неудачной попытки съ Нотаблями правительство рѣшилось вступить въ открытую борьбу съ привилегированными, но, обезсиленное борьбой и доведенное до банкротства, надѣясь найти поддержку за предѣлами привилегированнаго міра, оно наконецъ согласилось на созваніе представителей націи.

Пока шла эта борьба, всѣ прозносили имя націи, не размышляя о значеніи этого слова; всѣ удовлетворялись унаследованнымъ отъ прошлаго убѣжденіемъ, что выраженіемъ воли *націи* служатъ Генеральные Штаты; всѣ, и защитники старины, и приверженцы радикальныхъ преобразованій, надѣялись найти въ нихъ поддержку для своихъ взглядовъ и притязаній. Только когда созваніе Штатовъ было рѣшено правительствомъ, всѣмъ представилось соображеніе, что осуществленіе ихъ надеждъ будетъ зависѣть отъ *состава* Генеральныхъ Штатовъ; что хотя Генеральные Штаты представляютъ націю, но нація можетъ быть на нихъ различнымъ образомъ представлена. На этотъ предметъ устремлялись теперь всѣ помыслы. Генеральные Штаты такъ давно не собирались, объ ихъ устройствѣ было такъ мало извѣстно, что вопросъ объ ихъ составѣ представлялъ широкое поле для предположеній и желаній всякаго рода. Само правительство подало сигналъ къ возбужденію этого вопроса. Къ постановленію Королевскаго Совѣта отъ 5 іюля, возвѣщавшему о предстоящемъ созваніи Штатовъ, было прибавлено приглашеніе, обращенное къ народамъ Франціи (*aux peuples*), высказать свои пожеланія относительно способа составленія трехъ штатовъ и предложеніе, адресованное ко всѣмъ муниципалитетамъ, провинціальнымъ собраніямъ и судебнымъ учрежденіямъ, чтобы они переслали хранителю печати результаты своихъ изысканій и соображеній; наконецъ воззваніе ко всѣмъ ученымъ, ко всѣмъ образованнымъ людямъ государства, доставить правительству ихъ указанія и записки для того, чтобы сдѣлать собраніе Генеральныхъ Штатовъ настолько народнымъ, какъ ему слѣдовало быть.

Такимъ образомъ цѣль, которая послѣ столькихъ усилій казалась уже достигнутой, задернулась туманомъ, когда послѣ долгихъ недоумѣній и продолжительной борьбы интересовъ взяло верхъ убѣжденіе, что единственный выходъ изъ лабиринта стараго порядка есть созваніе націи, когда поднялась новая проблема, *какъ* ее собрать. Французское правительство обратилось къ французскому народу, ко всѣмъ и каждому съ убѣдительнымъ приглашеніемъ употребить всѣ старанія, чтобы указать, гдѣ искать націю, подъ какую формулу ее подвести. Результатомъ всей предшествующей исторіи Франціи оказались — несостоятельность стараго порядка, невозможность для правительства преобразовать его и необходимость призвать для этого французскій народъ; но результатомъ той же исторіи былъ неразрѣшенный вопросъ, кто составляетъ народъ, и кто долженъ его собой представлять? }

III.

Завѣтъ, который старая Франція оставила новой, заключался въ томъ, чтобы созвать національное собраніе *по истиннѣ народное*. Этого желали всѣ безъ различія цѣлей и интересовъ. Ради этого правительство обратилось въ лицѣ архіепископа Тулузскаго ко всей націи съ приглашеніемъ высказать свои желанія относительно состава Генеральныхъ Штатовъ. Собранія *по истиннѣ народнаго* требовали сами привилегированные въ лицѣ Парижскаго парламента¹⁾; этого же самаго хотѣли и тѣ сотни „благородныхъ патріотовъ“, которые, говоря языкомъ одной современной брошюры, „по милостивому знаку добраго короля ринулись во мракъ времени, чтобы вырвать изъ его темныхъ нѣдръ вѣчные и нерушимые принципы права, изображенные великимъ Законодателемъ природы огненными чертами въ душѣ всѣхъ свободныхъ людей“²⁾.

1) Постановление парламента объ организаціи Генеральныхъ Штатовъ — 5 Д. 1788: Au moyen de ces préliminaires sans lesquels on ne peut concevoir une assemblée vraiment nationale.

2) Aux Etats Généraux. Imprimé au Temple de la Vérite. 1789.

Правительство не могло однако пассивно выжидать результатов народного опроса, имъ самимъ вызваннаго; за нимъ оставался главный починъ въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ отъ него должны были исходить правила, опредѣлявшія общій составъ собранія и инструкціи для избирателей. Руководить этой великой операціей, „которая должна была возродить Францію и составить счастье всѣхъ, не было суждено тому, кто подалъ къ ней знакъ—архіепископу Ломени-де Бриенну. Паника, которая была слѣдствіемъ его неудачныхъ финансовыхъ мѣръ, сдѣлала невозможнымъ его оставленіе при дѣлахъ, и онъ со слезами принялъ свою отставку, еще въ послѣднюю минуту бросивъ на короля и на королеву тѣнь своей громадной непопулярности, такъ какъ онъ сумѣлъ воспользоваться ихъ чувствительностью при прощаніи, чтобы выхлопотать для себя и даже для родственниковъ необычайно щедрыя денежныя и почетныя награды. Преемникомъ архіепископа Тулузскаго сталъ протестантъ и женевецъ Неккеръ, личное вліяніе котораго главнымъ образомъ обуславливаетъ собой политику французскаго правительства въ критическую минуту созванія націи.

Неккеръ долженъ былъ тѣмъ болѣе спѣшить установленіемъ общихъ правилъ для составленія Генеральныхъ Штатовъ, что онъ сократилъ срокъ созванія ихъ и назначилъ его на 1 янв. 1789 года. Генеральные Штаты были исконнымъ политическимъ учрежденіемъ Франціи, и возстановленіе ихъ, повидимому, не заключало въ себѣ никакихъ особенныхъ трудностей. Но уже въ прежнія времена правила, которыми руководилось правительство при собираніи ихъ, были чрезвычайно различны, сообразно съ требованіями обстоятельствъ, а съ тѣхъ поръ произошли существенныя перемѣны въ общественномъ и политическомъ строѣ Франціи. Штатъ (Ordre) дворянства первоначально заключалъ въ себѣ только владѣльцевъ феодальныхъ, болѣе или менѣе автономныхъ бароній—теперь на представительство въ дворянской палатѣ претендовало все дворянское сословіе, т. е. какъ потомки феодальныхъ сеньеровъ и тѣхъ дворянъ, которые получили отъ короля свои

дворянскія грамоты, такъ и буржуазные владѣльцы феодальныхъ имѣній и покупщики государственныхъ должностей, сопряженныхъ съ дворянскими привилегіями. Палата духовенства также имѣла прежде феодальный характеръ; теперь на представительство въ ней претендовала масса сельскаго и городского духовенства, по своему происхожденію, по нравамъ и убѣжденіямъ мало отличавшагося отъ окружавшаго его населенія. Третью палату (Tiers Etat) прежде составляли выборные люди или магистраты привилегированныхъ городовъ; теперь не было никакого повода исключать изъ представительства въ ней всю остальную массу населенія королевства—не допускать туда, говоря языкомъ королевскаго манифеста¹⁾, ту часть народа, которую „Его Величество можетъ осѣнить только своей любовью, такъ какъ обширность королевства и блескъ престола ее удаляютъ отъ него, и которая внѣ предѣловъ его взоровъ тѣмъ не менѣе поручаетъ себя покровительству его справедливости и предусмотрительнымъ заботамъ его милости“.

Такимъ образомъ изданіе инструкціи для избранія депутатовъ вовсе не было простой административной мѣрой, общій характеръ которой обуславливался указаніемъ опыта и мѣстными потребностями; подъ старыми формами скрывалось нѣчто совершенно новое; на долю министерства Неккера въ сущности выпала задача—правительственными мѣрами опредѣлить составъ и характеръ народнаго представительства Франціи. Эта роковая проблема заключала въ себѣ двѣ стороны—первая касалась распредѣленія народнаго представительства между различными классами, взаимнаго отношенія ихъ въ собраніи Генеральныхъ Штатовъ. Старые Генеральные Штаты были въ сущности представительствомъ привилегированныхъ классовъ, и даже если третью палату считать представительницей непривилегированнаго населенія—что было бы не совсемъ вѣрно,—то и въ такомъ случаѣ привилегированные, обладая двумя голосами противъ одного, имѣли прежде рѣ-

1) Règlement fait par le Roi pour é exécution des Lettres de Convocation.

шающее вліяніе въ собраніи Генеральныхъ Штатовъ. Отсюда возникалъ вопросъ, слѣдовало ли сохранить за ними этотъ прежній ихъ характеръ, или же посредствомъ избирательной инструкціи видоизмѣнить его?

Другая сторона вопроса касается политическаго значенія Генеральныхъ Штатовъ. Должно ли было новое собраніе итти по слѣдамъ своихъ предшественниковъ и не выходить изъ предѣловъ ихъ притязаній?

На послѣднихъ Штатахъ предсѣдатель третьяго штата обратился къ королю со словами „Поелику Господь внушилъ Вашему Величеству желаніе собрать три чина Вашего королевства, чтобы поразмыслить (aviser) объ устраненіи извѣстныхъ злоупотребленій, въ него вкравшихся; поелику это собраніе ничто иное, какъ отеческое совѣщаніе короля, тихое и мирное, со своими подданными, мы должны обратить наши сердца къ Господу“... Должны ли были новые Генеральные Штаты проявлять такую же покорность? Рѣшеніе этого вопроса зависѣло въ значительной степени отъ текста королевскаго указа, созывавшаго ихъ и отъ программы для нихъ начертанной правительствомъ.

Но ни король, ни Неккеръ, ни другіе его совѣтники не понимали всей важности проблемы, предъ которой они стояли, и поэтому подходили къ ея разрѣшенію нерѣшительно, такъ сказать, ощупью. Все дѣло зависѣло отъ того, какая степень вліянія на Генеральныхъ Штатахъ будетъ предоставлена третьему сословію, и Неккеръ возбудилъ этотъ вопросъ въ слѣдующей формѣ: предоставить ли третьей палатѣ такое же число депутатовъ, какъ каждому изъ первыхъ двухъ сословій, или двойное, т. е. равное числу обоихъ? Самъ Неккеръ склонялся къ послѣднему способу, но не рѣшился предложить его королю, и потому созвалъ для рѣшенія этого и нѣсколькихъ второстепенныхъ вопросовъ Нотаблей Калонна. Это приглашеніе Нотаблей было ошибкой, какъ сознается и дочь Неккера. Если бы Нотабли высказались за болѣе популярную мѣру, то это бы отняло у правительства въ глазахъ общества всякую заслугу въ этомъ дѣлѣ; въ случаѣ же, если бы предложеніе о двойномъ количествѣ

непривилегированных депутатов было отвергнуто Нотаблями, правительство поставило бы и себя, а еще болѣе привилегированные классы, въ неловкое положеніе. На эти классы должна была бы пасть отвѣтственность за образъ дѣйствія Нотаблей, который навлекъ бы на эти классы подозрѣніе, что они противники реформъ и раздражило бы противъ нихъ общественное мнѣніе прежде, чѣмъ они сами имѣли случай высказаться; и если бы затѣмъ правительство отвергло мнѣніе Нотаблей, оно еще болѣе скомпрометировало бы привилегированныхъ въ глазахъ страны безъ всякой пользы для дѣла. Послѣднее и случилось. Нотабли высказались 76 голосами противъ 33 за предоставленіе всѣмъ штатамъ одинаковаго числа голосовъ, а вслѣдъ за тѣмъ Королевскій Совѣтъ при всеобщемъ одобреніи и громкихъ требованіяхъ со стороны разныхъ общинъ и печати постановилъ въ деклараціи, обнародованной 24 дек., такъ называемое *удвоеніе* третьяго штата.

Съ тѣхъ поръ главный виновникъ этой мѣры подвергался за нее безконечнымъ упрекамъ и нападкамъ, но нельзя не сказать, что большая ихъ часть несправедлива, преувеличена, или направлена не туда, куда слѣдуетъ. Оставить неприкосновенною старую форму Генеральныхъ Штатовъ было бы несправедливо и неполитично со стороны правительства. Первоначально первые два штата представляли собой не только сеньеровъ и прелатовъ, но и подчиненное имъ, управляемое ими населеніе, а рядомъ съ ними третій штатъ имѣлъ частное или мѣстное значеніе; теперь эти отношенія кореннымъ образомъ измѣнились: первые два штата представляли собой только два сословія—третій же штатъ все остальное населеніе. Даже самыя сословныя различія, нѣкогда очень рѣзкія,—въ бытѣ, средствахъ жизни и понятіяхъ, чрезвычайно сгладились. Это давно понимали лучшіе государственные люди старой Франціи; еще за долго до революціонныхъ смуть графъ де Верженнъ говорилъ Людовику XVI въ конфиденціальной запискѣ: „Нѣтъ болѣе ни духовенства, ни дворянства, ни третьяго сословія во Франціи—различіе между ними фиктивное, касается только внѣшностей (*purement représentative*) и не имѣетъ реального

значенія (*autorité réelle*). Когда заговорить монархъ, всѣ представляютъ собою народъ, *tout est peuple*, и всѣ повинуются“.

Дѣйствительно, дворянство и духовенство слились и въ культурѣ, и въ политической оппозиціи съ остальнымъ населеніемъ въ одинъ народъ, ихъ отдѣляли только привилегіи; но, съ другой стороны, эти привилегіи создавали тѣсную солидарность между двумя первыми штатами въ противоположность остальному населенію. При такихъ условіяхъ сохранить за ними два голоса, предоставить имъ въ національномъ представительствѣ возможность отвергать все, что могло быть не въ ихъ частныхъ интересахъ, было бы крайне несправедливо. Оно было бы также крайне неполитично со стороны правительства. Давно прошло то время, когда правительство въ борьбѣ съ папской властью могло найти опору противъ духовенства у второго и третьяго штата, или когда ему приходилось обуздывать притязанія своевольныхъ вассаловъ съ помощью духовенства и городского населенія.

Въ концѣ XVIII вѣка правительство находилось въ борьбѣ съ обоими привилегированными классами изъ-за ихъ феодальныхъ привилегій, и предоставить имъ преобладающее вліяніе на Генеральныхъ Штатахъ значило обречь себя на безсиліе и повторять въ обширныхъ размѣрахъ бесплодную борьбу съ Нотаблями и парламентами. Итакъ, увеличить значеніе и силу третьяго штата на Генеральныхъ Штатахъ было благоразумно и необходимо. Путь, избранный для этого Неккеромъ, могъ быть оправданъ прецедентами. Такое именно отношеніе между сословіями, какое онъ предложилъ для Генеральныхъ Штатовъ, было положено въ основаніе новоучрежденныхъ провинціальныхъ собраній, гдѣ владѣльцы недвижимой собственности, не принадлежавшіе къ привилегированнымъ сословіямъ, имѣли равное съ ними число голосовъ. Тотъ же самый способъ голосованія былъ примѣненъ къ собранію Нотаблей, или малыхъ Генеральныхъ Штатовъ. Наконецъ, когда провинція Дофине самовольно возстановила у себя свои древніе провинціальные штаты, привилегированные классы сами высказались въ пользу равенства и общей

подачи голосовъ и этотъ способъ имѣлъ на дѣлѣ очень хорошій результатъ.

Самъ Неккеръ мотивировалъ свое предложеніе въ Королевскомъ Совѣтѣ во-первыхъ, указаніемъ на всеобщее расположеніе въ пользу этой мѣры, затѣмъ, политическими соображеніями. Онъ ссылаясь „на безчисленные адреса городовъ и общинъ королевства и на всегласно высказанное желаніе этой обширной части подданныхъ короля, которая называется третьимъ сословіемъ. Я могъ бы также указать, прибавляетъ онъ, и на отдаленный гулъ цѣлой Европы, благопріятствующей всѣмъ идеямъ общей справедливости. Дѣло третьяго сословія всегда будетъ имѣть за себя общественное мнѣніе, ибо дѣло это связано съ великодушными чувствами, которыя одни только можно вслухъ высказывать. Потому оно всегда будетъ находить поддержку въ рѣчахъ и въ сочиненіяхъ людей, исполненныхъ одушевленія и способныхъ увлекать читателей и слушателей... Ваше Величество прочитали всѣ замѣчательныя писанія, опубликованныя по вопросу, повергаемому нынѣ на Ваше усмотрѣніе, и Вы припомните тѣ соображенія, какія не упомянуты въ настоящемъ докладѣ“.

Веберъ, близкое лицо къ королевѣ, очевидецъ ея несчастія и страданій, склонный преувеличивать вліяніе, которое имѣли ошибки Неккера на исходъ революціи, особенно глумится надъ ссылкой Неккера на *глухой гулъ цѣлой Европы* и говоритъ, что это было ничто иное, какъ отголосокъ парижскихъ клубовъ и кофеенъ. Онъ рассказываетъ по этому поводу, какъ самъ Неккеръ съ помощью особаго агента, бывшаго газетнаго редактора Арто, которому министръ платилъ громадныя деньги, устроилъ нѣчто въ родѣ клуба, гдѣ сходились самые видные вожди тогдашней оппозиціи, представители либеральной аристократіи, парламентскіе фрондеры и литераторы—Мирабо, Дюпоръ, аббатъ Сіесъ, Шамфоръ и др. Каждое утро министру докладывали о томъ, что наканунѣ говорилось въ клубѣ, и эти свѣдѣнія имѣли большое вліяніе на политику правительства.

Дочь Неккера вполне соглашается съ тѣмъ, что ея отецъ

какъ и въ данномъ случаѣ, вообще, преимущественно руководился въ своей политикѣ общественнымъ мнѣніемъ „какъ компасомъ“, но она понимаетъ это общественное мнѣніе не такъ узко, какъ Веберъ. Она говоритъ, что письма и донесенія, которыя министръ получалъ изъ провинцій, всѣ единогласно говорили въ пользу расширенія политическихъ правъ третьяго штата; что многіе изъ дворянъ и изъ священниковъ примкнули къ мнѣнію, которое стали называть *народнымъ*; что большое число офицеровъ благопріятствовало дѣлу третьяго штата. Всѣ, и мужчины, и женщины, которые въ высшемъ обществѣ Франціи вліяли на мнѣнія, высказывались съ большой горячностью въ интересахъ *народнаго дѣла* (*cause de la nation*); что сама мода вліяла въ этомъ направленіи; что это настроеніе было результатомъ всего XVIII вѣка, и старые предрасудки, которые еще поддерживались старинными учрежденіями, были въ то время гораздо слабѣе, чѣмъ въ какую-либо эпоху слѣдующаго двадцатипятилѣтія“. Г-жа де Сталь справедливо доказываетъ силу общественнаго духа (*l'ascendant de l'esprit public*) примѣромъ самого Парижскаго парламента, ему поддавагося. Тотчасъ по возстановленіи своемъ 24 сент. парламентъ потребовалъ созванія Генеральныхъ Штатовъ на старинныхъ основаніяхъ; — 5-го же декабря, убѣдившись въ непопулярности этого требованія, парламентъ „возлагалъ надежду на мудрость короля для допущенія видоизмѣненій, которыя могутъ быть указаны разумомъ, свободой, справедливостью и общимъ желаніемъ“.

Но помимо потока общаго желанія, Неккеръ намекалъ въ своемъ докладѣ и на политическія соображенія, которыя дѣлали для него желательнымъ усиленіе вліянія третьяго штата. „Два первыя сословія, говоритъ онъ, лучше, чѣмъ третье, знаютъ дворъ и волнующіе его раздоры и если пожелаютъ, могутъ съ большею увѣренностью на успѣхъ войти въ соглашеніе съ нимъ, чтобы затруднить министерство, утомить его энергію и сдѣлать его безсильнымъ“.

Поразительна безтактность, обнаруженная Неккеромъ, при напечатаніи этого мѣста доклада, и не менѣе поразительно

ослѣпленіе правительства, допустившаго это напечатаніе. Обнародованіемъ этого доклада правительство официально заявило передъ страной, что въ немъ существуетъ расколъ, что либеральный Неккеръ увлекаетъ его по пути уступокъ общественному мнѣнію, и что онъ нуждается въ усиленіи третьяго штата для того, чтобы преодолѣть интриги и коварный союзъ привилегированныхъ сословій съ дворомъ. И Людовикъ XVI со всѣмъ синклитомъ своихъ министровъ расписался подъ этимъ! Сколько разъ въ исторіи революціи оправдывались слова Сегюра—король подалъ въ отставку.

Но возвратимся къ вопросу объ усиленіи третьяго штата, котораго, несомнѣнно, требовали какъ интересы правительства, такъ и націи въ общемъ смыслѣ. Достаточно ли была мѣра, проведенная Неккеромъ, для этой цѣли? Очевидно нѣтъ. Удвоеніе числа депутатовъ третьяго штата, которое и на прежнихъ Генеральныхъ Штатахъ бывало значительнѣе, чѣмъ число депутатовъ отъ дворянъ и духовенства, только тогда могло бы обезпечить за третьимъ штатомъ равноправность въ національномъ представительствѣ, если бы одновременно былъ принятъ правительствомъ принципъ совмѣстной и поголовной подачи голосовъ на Генеральныхъ Штатахъ. Но такъ далеко Неккеръ не хотѣлъ итти.

Въ своемъ докладѣ онъ указывалъ, нѣсколько туманно, на объединеніе штатовъ, какъ на желанную цѣль, но заявлялъ, что правительство не должно содѣйствовать этой цѣли: „Было бы, безъ сомнѣнія, желательно, говорилъ онъ, чтобы сословія по собственному изволенію соединились въ разсмотрѣніи всѣхъ предметовъ, относительно которыхъ ихъ интересы вполне одинаковы (?). Но такое рѣшеніе зависитъ отъ желанія въ отдѣльности каждаго сословія, и его надлежитъ ждать отъ общей любви къ государственному благу“.

Мало того, въ дальнѣйшемъ текстѣ Неккеръ какъ-будто даже отрекается отъ того, чтобы принятой имъ мѣрой *удвоенія* голосовъ онъ хотѣлъ предрѣшить вопросъ, или дать поводъ требовать разрѣшенія его въ извѣстномъ смыслѣ: „Обязанный подать свой голосъ вмѣстѣ съ другими министрами,

говорилъ Неккеръ, я по совѣсти и чести, какъ вѣрный слуга государя, рѣшительно полагаю, что Е. В. можетъ и долженъ призвать въ собраніе представителей такое число депутатовъ третьяго сословія, которое равнялось-бы совокупному числу двухъ другихъ—не для того, чтобы этимъ вынудить, какъ повидимому опасаются, поголовную подачу голосовъ, но чтобы удовлетворить общему и разумному желанію общинъ королевства, какъ скоро это можно сдѣлать, не вредя интересамъ двухъ другихъ сословіи“.

Такимъ образомъ, Неккеръ, противопоставивъ депутатовъ французскаго народа въ двойномъ числѣ депутатамъ привилегированныхъ корпорацій, бросилъ между ними, какъ яблоко раздора, вопросъ о сословной или поголовной подачѣ голосовъ, т. е. въ сущности весь вопросъ объ организаціи народнаго представительства. Правительство устранилось отъ рѣшенія этого вопроса, оно предоставляло самимъ депутатамъ уладить между собой споръ о томъ, кто имѣетъ право говорить отъ имени націи, кто изображаетъ собой ея волю;—на этотъ разъ не одинъ король, а все монархическое правительство въ цѣломъ своемъ составѣ подавало въ отставку.

Образъ дѣйствія государственныхъ дѣятелей объясняютъ то политическими принципами и убѣжденіями, то личнымъ характеромъ и темпераментомъ. На этотъ разъ оба способа объясненія одинаково примѣнимы.

Г-жа де Сталь, исполненная уваженія къ отцу, сравниваетъ его съ знаменитымъ канцлеромъ Франціи, Лопиталемъ, который прославился въ XVI вѣкѣ своей политикой примиренія среди религіозныхъ страстей католиковъ и гугенотовъ;—подобнымъ образомъ, говоритъ она, и Неккеръ „во время своихъ двухъ министерствъ слѣдовалъ путемъ, который былъ начертанъ разумомъ, между двухъ враждебныхъ партій и постоянно стремился къ благоразумной сдѣлкѣ (transaction) между старыми интересами и новыми идеями“.

Хотя общая политика Неккера здѣсь слишкомъ идеализирована, мы не станемъ оспаривать, что и въ данномъ случаѣ таковы были его намѣренія; но если остановиться на

самой мѣрѣ, посредствомъ которой онъ думалъ достигнуть мудрой сдѣлки между притязаніями легитимистовъ и демократическими идеями, то она лучше объясняется другою чертой Неккера, которую также отмѣчаетъ его дочь — нерасположеніемъ къ рѣзкимъ правительственнымъ мѣрамъ. „Хотя, говоритъ г-жа Сталь, Неккеръ былъ рѣшительнымъ противникомъ подобныхъ привилегій, какъ феодальныя права и податныя льготы, онъ хотѣлъ войти въ сдѣлку съ владѣльцами этихъ привилегій, чтобы не приносить безпощадно въ жертву существующія права въ пользу будущихъ благъ ¹⁾. По этому поводу нельзя не припомнить идеаль государственнаго человѣка, который Неккеръ противопоставилъ Тюрго въ своемъ критическомъ сочиненіи о „свободѣ хлѣбной торговли“. Неккеръ высказалъ здѣсь своимъ вычурнымъ тяжелымъ языкомъ, что государственный человѣкъ долженъ преслѣдовать истину по ея *волнистому* пути, такъ какъ общественный строй не допускаетъ единства средствъ; что проницательный глазъ его, способный услѣдить за разнообразіемъ обстоятельствъ, можетъ основать на гармоніи интересовъ высшее благо государства. Даже событія революціи не отрезвили въ этомъ отношеніи Неккера; уже послѣ полной неудачи своей системы, въ 1791 году, отдавая ей предпочтеніе передъ насильственной политикой Учредительнаго Собранія онъ, писалъ: „А вѣдь можно было бы съ нѣкоторой сдержанностью въ принципѣ (*un peu de retenue*), съ нѣкоторымъ вниманіемъ къ угнетеннымъ, съ нѣкоторымъ уваженіемъ къ старымъ мнѣніямъ, особенно же съ нѣкоторой любовью и добротой, шелковыми узами повести всю Францію на встрѣчу къ счастью“.

Эти то *шелковыя узы* (*liens de soie*) всегда представлялись Неккеру лучшимъ средствомъ для управленія Франціей, хотя она нуждалась въ коренномъ преобразованіи всего стараго порядка. Указывая на эту склонность Неккера добиваться цѣли переговорами, мы должны, однако, принять во вни-

1) Consid. I 59.

маніе и его религіозныя убѣжденія, и нравственную доктрину, которою онъ руководился. Неккеръ представлялъ собою во Франціи духъ протестантской, кальвинистской Женевы. Какъ въ XVI, такъ и въ XVIII вѣкѣ, духъ этотъ обнаружился въ горячей преданности религіозному началу и въ строгомъ нравственномъ ригоризмѣ.

Изъ Женевы съ половины XVIII вѣка этотъ духъ повѣялъ рѣзкой струей въ скептическую Францію, поддавшуюся сенсуализму и атеизму энциклопедистовъ. Женевецъ Руссо бросилъ перчатку своимъ друзьямъ философамъ и сталъ проповѣдывать вѣру въ Бога и вѣчныя начала нравственности. Такимъ проповѣдникомъ нравственныхъ и религіозныхъ идей былъ и второй замѣчательный выходецъ изъ Женевы, Неккеръ. Время своего невольнаго досуга между своими двумя министерствами онъ посвятилъ этой задачѣ, и наканунѣ революціи выпустилъ въ свѣтъ серьезно обдуманное и не лишнее философской глубины сочиненіе о *важности религіозныхъ идей*, а передъ своей смертью, семидесяти лѣтъ, онъ напечаталъ *Руководство религіозной морали*. Какъ ни велико на первый взглядъ различіе между этими двумя выходцами изъ Женевы, между озлобленнымъ пролетаріемъ, который по слабости характера завязъ въ страстяхъ и порокахъ, и счастливымъ банкиромъ, образцовымъ семьяниномъ, добродѣтельнымъ филантропомъ и мудрецомъ неподкупной честности, которому всѣ государи Европы на перерывъ предлагали завѣдывать хозяйствомъ своей страны,—если отрѣшиться отъ случайностей судьбы и вліянія чисто внѣшнихъ условій, мы будемъ имѣть передъ собой людей одного и того же *типа*.

Правда, демократическія и республиканскія симпатіи женевакаго гражданина были смягчены у Неккера вліяніемъ среды и сильнымъ впечатлѣніемъ, которое произвело на него пребываніе въ Англіи, и знакомство съ громадными нравственными и матеріальными средствами, которыя она почерпала изъ своего аристократическаго строя. Но аналогія между Неккеромъ и Руссо тотчасъ возстановляется, какъ скоро мы обратимъ вниманіе на громадное значеніе, которое оба при-

давали религіознымъ и нравственнымъ началамъ въ общественной и въ частной жизни человѣка. Для Неккера, вытекающая изъ религіознаго источника нравственность является краеугольнымъ камнемъ общественной жизни уже потому, что она одна примиряетъ противоположные интересы и устанавливаетъ равновѣсіе между ними; „она говоритъ человѣку языкомъ, который неизвѣстенъ законодательству; она согрѣваетъ ту чувствительность, которая должна опережать самый разумъ; она дѣйствуетъ, какъ внутренній свѣтъ и теплота; она освѣщаетъ, оживляетъ, повсюду проникаетъ; мы недостаточно обращаемъ вниманіе на то, что среди обществъ эта нравственность является невидимой связью, соединяющей множество частицъ, которыя постепенно распались бы, еслибы цѣпь, ихъ соединяющая, когда либо порвалась“.

Но этотъ проповѣдникъ нравственнаго начала является вмѣстѣ съ тѣмъ *доктринеромъ* новаго ученія. Начало, которое должно согрѣвать и оживлять, облечено у него въ отвлеченную сухую формулу, которая бессильна въ жизни и которую дѣйствительность отталкиваетъ отъ себя. Нравственное доктринерство обнаруживается у Неккера въ его внутренней жизни и еще болѣе въ его государственной дѣятельности. Глубокое сознаніе величія нравственныхъ идей порождаетъ въ немъ, какъ и въ Руссо, высокое самомнѣніе, обожаніе своего нравственнаго я. Точно такъ же поклоненіе нравственному началу побуждаетъ его смѣшивать то, что должно быть, съ тѣмъ, что въ дѣйствительности существуетъ. Убѣжденіе, что нравственныя начала должны руководить дѣйствіями людей, заставляетъ его преувеличивать ихъ силу надъ умами и страстями. Онъ слишкомъ вѣритъ въ увлекательность нравственнаго примѣра. Въ первое свое министерство Неккеръ посовѣтовалъ королю отмѣнить въ его домѣнахъ остатки крѣпостнаго права, выражавшіяся въ личныхъ и имущественныхъ стѣсненіяхъ; но королевская власть не промолвила ни слова относительно того, какъ должны были поступить въ этомъ случаѣ другіе сеньеры. „Она понадѣялась только на вліяніе своего примѣра“. Уже М-те де

Сталь замѣтила, что по мнѣнію Неккера общественная нравственность не должна была отличаться отъ нравственныхъ правилъ въ частной жизни. Сентъ-Бёвъ развилъ эту мысль и указалъ на это убѣжденіе Неккера, какъ на серьезный недостатокъ его политики. „Многіе говорили послѣ Неккера о полномъ соотвѣтствіи морали и политики; онъ не только объ этомъ говорилъ, но вѣрилъ въ это и подчинялся этому настолько добросовѣстно (*scrupuleusement*), какъ то позволяли обстоятельства; но онъ понималъ эту мораль въ томъ же точномъ и частномъ смыслѣ, котораго держится честный человекъ, дѣйствующій въ сферѣ частныхъ интересовъ. Поэтому Неккеръ не только не хотѣлъ слышать о совѣтѣ привлечь на сторону правительства нѣсколькихъ членовъ Національнаго Собранія; онъ не только брезгливо отвергъ мысль дѣйствовать заодно съ такимъ безнравственнымъ человекомъ, какъ Мирабо, онъ считалъ даже несомвѣстнымъ съ нравственностью повліять въ интересахъ правительства на выборы, и позаботиться о томъ, чтобы обезпечить за нимъ нѣкоторую поддержку въ собраніи. Въ этихъ случаяхъ онъ являлся только послѣдовательнымъ приверженцемъ строгой нравственности въ политическихъ средствахъ. Но полное непониманіе дѣйствительности и ослѣпленіе доктринерствомъ обнаружилъ онъ, когда его вниманіе было обращено на опасность тѣхъ правительственныхъ мѣръ, которыя возбуждали народъ противъ высшихъ классовъ и вызывали въ немъ чувство мщенія и самыя энергическія страсти человѣческаго сердца—своекорыстіе и честолюбіе. Когда ему на это указывали, Неккеръ холодно отвѣчалъ, поднявъ высоко голову, что „надо же разсчитывать на нравственную добродѣтель людей“.

Неккеръ подлежитъ осужденію не за то, что онъ отказался употреблять въ дѣло нечистыя средства—подкупъ или интригу, но за то, что онъ считалъ возможнымъ управлять государствомъ фразами и рѣшать самыя трудныя политическія вопросы воззваніями къ любви и благородству.

Для Неккера несостоятельность такой политики была непонятна, потому что онъ, подобно Руссо, считалъ слабыми и

порочными большую часть людей, съ которыми находился въ личныхъ сношеніяхъ, но зато тѣмъ болѣе идеализировалъ стоявшую за кулисами массу остального человѣчества. Какъ многіе другіе современники, онъ составилъ себѣ представленіе о французскомъ народѣ, какъ о націи очень любезной, чувствительной, легко руководимой, не испорченной и непорочной ¹⁾. Съ такимъ представленіемъ находятся въ странномъ противорѣчій мысли, высказываемыя Неккеромъ по случаю соціальной проблемы. Здѣсь мы опять встрѣчаемъ сходство съ Руссо, который впадалъ въ такое же противорѣчіе. Опровергая теорію Тюрго и Экономистовъ о необходимости свободы торговли и промысловъ, Неккеръ, указывая на абсолютную противоположность интересовъ собственниковъ и пролетаріевъ, говорилъ: это львы и беззащитныя животныя, живущія вмѣстѣ; нельзя увеличить долю послѣднихъ, не обманувъ бдительности первыхъ, не отнявъ возможности броситься на ихъ жертву“. И тотъ же Неккеръ вѣрилъ абсолютно въ господство нравственныхъ идей надъ людьми и потому предлагалъ королю ожидать соглашенія между народомъ и привилегированными сословіями ради общей любви къ государственному благу“. Но указавъ на значительное вліяніе, которое имѣла нравственная доктрина Неккера на его политику,—тѣмъ болѣе, что это характеризуетъ вообще состояніе умовъ и убѣжденія тогдашняго общества—мы должны обратиться къ другой сторонѣ медали, къ личному характеру Неккера. Основной чертой этого характера можно назвать нерѣшительность. И г-жа де Сталь сознается въ этомъ, говоритъ даже о болѣзненной нерѣшительности (*maladie de l'incertitude*), въ которую иногда впадалъ ея отецъ. Она старается объяснить это обширностью его ума и силой его воображенія; наконецъ, добросовѣстностью (*le scrupule*), господствовавшей надъ нимъ подобно тому, какъ страсти господствуютъ надъ другими. Это подтверждаютъ и другія близкія къ Неккеру лица. Его умъ, говоритъ одинъ изъ нихъ, имѣлъ

¹⁾ St Beuve. *Causeries* VII. 284.

навыкъ разсматривать всѣ стороны извѣстнаго дѣла съ такою точностью и обдуманностью; его склонность все предусмотрѣть была такъ впечатлительна и добросовѣстна, что даже въ обстоятельствахъ нетерпѣвшихъ отлагательства его всего болѣе поражали затрудненія, которыя представляло извѣстное рѣшеніе, и онъ долженъ былъ, такъ сказать, заставить себя силой что-нибудь захотѣть. Принять какое-нибудь рѣшеніе безъ повода, который бы въ его глазахъ обладалъ очевидной убѣдительностью, было для него усиліемъ невозможнымъ— иногда въ самыхъ мелкихъ дѣлахъ, какъ и въ самыхъ важныхъ. Онъ самъ рассказывалъ, какъ въ первые годы его пребыванія въ Парижѣ, ему сто разъ случалось просиживать болѣе четверти часа на своемъ извозчикѣ, прежде чѣмъ онъ могъ рѣшиться указать домъ, куда онъ хотѣлъ сначала поѣхать ¹⁾.

Для министра съ такимъ нерѣшительнымъ характеромъ общественное мнѣніе, тамъ, гдѣ оно говорило громко и ясно, должно было имѣть рѣшающее значеніе. Много было говорено о воспримчивости Неккера къ похваламъ и осужденіямъ общественнаго мнѣнія, прораставшей изъ самолюбія и само-мнѣнія, доходившихъ до мелочности. Но не слѣдуетъ упускать изъ вида и другіе мотивы, которые придавали въ его глазахъ общественному мнѣнію такое высокое значеніе. Какъ финансистъ, Неккеръ съ малолѣтства успѣлъ убѣдиться въ его громадной общественной роли; нравственная доктрина заставляла его видѣть въ общественномъ мнѣніи только отголосокъ нравственныхъ идей и инстинктовъ, управляющихъ людьми. Послѣ его религіозныхъ обязанностей, говоритъ его дочь, его всего болѣе занимало общественное мнѣніе; онъ приносилъ свое состояніе и почести и все, чего домогаются честолюбцы, въ жертву уваженію націи; и этотъ голосъ народа, тогда еще чистый (*non encoire alterée*), имѣлъ для него нѣчто божественное. Наконецъ, это общественное мнѣніе было необходимымъ для него руководителемъ при его нерѣшитель-

¹⁾ Мастеръ изъ Цюриха—слова прив. у Сентъ-Бѣва Ib. 262.

ности. Оно явно требовало увеличения числа депутатовъ третьяго сословія—онъ на этомъ и настоялъ. Но далѣе онъ не могъ дать никакихъ опредѣленныхъ указаній; каждый дальнѣйшій шагъ потребовалъ бы рѣшительныхъ, можетъ быть насильственныхъ правительственныхъ мѣръ. Общественное мнѣніе крайне неблагопріятствовало всякому проявленію того, что называли министерскимъ деспотизмомъ. Такимъ образомъ все, и политическіе принципы главнаго министра, и его нравственная доктрина, и голосъ общественнаго мнѣнія, и нерѣшительность характера Неккера—все побуждало его предоставить самимъ представителямъ народа любовно уладить вопросъ о составѣ народнаго представительства и ждать этого рѣшенія отъ общей любви къ государственному благу.

Имъ же самимъ онъ представилъ опредѣтить и самую программу, созываемаго королемъ *Народнаго собранія*.

Понятія о власти и о народѣ въ наказахъ 1789 года *).

Въ торжественную годовщину своего основанія Московскій Университетъ поручаетъ поочередно одному изъ своихъ членовъ привѣтствовать рѣчью собравшуюся на торжество публику. Цѣль этихъ обращеній заключается въ томъ, чтобы поддерживать духовную связь между университетомъ и обществомъ, указывать на участіе университетской науки въ великой работѣ человѣчества, въ его неустанныхъ стремленіяхъ къ совершенствованію и прогрессу.

Способъ содѣйствія этому прогрессу не одинаковъ со стороны различныхъ отраслей университетской науки: это зависитъ отъ того, что чрезвычайно различны и самые элементы прогресса. Прогрессъ можетъ совершаться въ области положительнаго знанія, и здѣсь содѣйствіе науки обнаруживается наиболѣе непосредственно, или же въ области нравственной, въ которой вліяніе наукъ ощущается болѣе отдаленно и косвенно. Но существуетъ еще особая область прогресса, которая не совпадаетъ ни съ той, ни съ другой, хотя и находится въ извѣстной зависимости отъ обѣихъ—это прогрессъ общественный и политическій. Онъ не исчерпывается ни количествомъ знаній, распространенныхъ въ обществѣ, ни его воспріимчивостью къ нравственнымъ идеаламъ, но нуждается для своего успѣшнаго развитія еще въ особыхъ историческихъ и общественныхъ условіяхъ. Вліяніе науки въ этой области прогресса хотя и значительно, но

*) Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи Императорскаго Московскаго Университета 12-го января 1884 года.

болѣе условно, чѣмъ гдѣ-либо, вслѣдствіе того, что политическія и общественныя науки далеки отъ той точности, которою до извѣстной степени обладаютъ науки болѣе положительныя, а также и вслѣдствіе того, что онѣ требуютъ, въ отличіе отъ другихъ наукъ, извѣстной зрѣлости общественной среды и высокаго нравственнаго подъема со стороны тѣхъ, къ кому обращаются.

Эти свойства наукъ политическихъ и общественныхъ обусловливаются тѣмъ, что онѣ имѣютъ дѣло не съ одними фактами, а съ идеями; идеи же составляютъ одинъ изъ важнѣйшихъ элементовъ прогресса, но и наиболѣе условный въ своемъ проявленіи и въ своемъ вліяніи на понятія и на образъ дѣйствія людей. Исторія можетъ сказать, что чѣмъ значительнѣе обусловливающія прогрессъ идеи сами по себѣ, чѣмъ выше блага, которыя онѣ сулятъ, чѣмъ обширнѣе интересы, ими захваченные и сильнѣе возбужденныя ими страсти, тѣмъ легче онѣ въ приложеніи къ жизни подвергаются искаженію и тѣмъ чаще достигнутый на практикѣ результатъ не соотвѣтствуетъ сущности идеи.

Въ виду этого полезно остановиться съ вниманіемъ на одной изъ самыхъ могущественныхъ и популярныхъ идей новаго времени, на идеѣ *націи* или *народа* и указать на роль этой идеи въ исторіи одного изъ великихъ европейскихъ народовъ, на судьбу котораго она имѣла самое рѣшительное вліяніе.

Въ прошломъ вѣкѣ Франція, которая до того времени во многихъ отношеніяхъ шла во главѣ европейской цивилизаціи, переживала критическую эпоху своей жизни. Внутреннее развитіе ея, которое не смотря на различныя уклоненія и задержки шло быстро и стройно, совсѣмъ пріостановилось. Этотъ застой сказался во многихъ болѣзненныхъ явленіяхъ внутренней жизни и отразился также на внѣшнемъ могуществѣ страны. Тогдашнее правительство было бессильно исполнить свою историческую задачу и преодолѣть затрудненія, обусловливавшія собою застой. Тогда зародилась въ обществѣ идея *націи*, какъ спасительная сила, способная

двинуть Францію на новый путь развитія. Со временемъ она все болѣе овладѣвала умами и, преобразивъ общество, подготовила возможность реформы въ самыхъ существенныхъ для политической жизни отношеніяхъ.

Она дала возможность довершить *территориальное* объединеніе страны, замѣнила внѣшнія связи, которыми соединялись различныя области и провинціи, духовнымъ сознаніемъ національнаго единства. Во имя этого новаго интереса легко сглаживались историческія формы, обособлявшія провинціи и охотно приносились въ жертву мѣстныя льготы общинъ и областей, которыя до такой степени поддерживали между ними взаимное отчужденіе и даже антагонизмъ.

Торжествомъ національной идеи обусловливалось кромѣ того *соціальное* объединеніе французскаго общества, въ которомъ предшествовавшій феодальный строй какъ будто увѣковѣчилъ отчужденіе и рознь классовъ. Предъ идеей націи *привилегія* утрачивала характеръ права, которое велятъ отстаивать честь и интересъ, и отреченіе отъ привилегіи становилось такимъ же доказательствомъ благородства, какъ прежде самая упорная защита ея.

Наконецъ, идея націи заключала въ себѣ задатокъ объединенія политическихъ элементовъ Франціи; въ ней устранялся тотъ антагонизмъ между правительствомъ и обществомъ, который былъ одной изъ главныхъ причинъ застоя, и представлялась возможность сочетанія ихъ въ высшей политической формѣ.

Между тѣмъ, если мы взглянемъ на результатъ, достигнутый въ дѣйствительности, то убѣдимся, что онъ далеко не соответствовалъ идеалу. Въ первомъ отношеніи успѣхъ былъ наиболѣе полонъ и благотворенъ, хотя и здѣсь не обошлось безъ излишнихъ жертвъ и насильственной ломки того, что имѣло право на жизнь; многія мѣстныя и племенные особенности, которыя могли только содѣйствовать богатству и разнообразію національной жизни, завяли и заглохли—можетъ быть и безъ пользы для цѣлаго.

Такъ-же полно, но менѣе благотворно было соціальное объ-

единеніе во имя *націи*. Здѣсь еще болѣе, чѣмъ въ первомъ случаѣ, были допущены насильственные средства и было достигнуто болѣе внѣшнее, чѣмъ внутреннее объединеніе. Сліяніе классовъ совершилось, но цѣною значительной атрофіи аристократическихъ элементовъ, безъ дѣятельнаго участія которыхъ тамъ, гдѣ они созданы исторіей, немыслимо правильное развитіе народной жизни.

Наименѣе же удовлетворительнымъ оказался результатъ, достигнутый въ политическомъ отношеніи. Вмѣсто гармоническаго объединенія въ высшей формѣ произошла принципиальная борьба, вслѣдствіе которой самый національный элементъ прежняго политическаго развитія Франціи—монархія, былъ подломанъ. Почему это такъ произошло?—Это несомнѣнно одинъ изъ серьезнѣйшихъ историческихъ вопросовъ, важныхъ не только по своему значенію для отвлеченной науки, но и для политической жизни. А въ этомъ отношеніи онъ можетъ быть не столько интересенъ для народа, къ исторіи котораго относится, сколько для другихъ. Для французовъ это вопросъ прошлаго; если въ немъ и заключается для нихъ поучительная сторона, то многимъ изъ нихъ можетъ казаться, что урокъ является слишкомъ поздно; иныхъ-же патриотическое и національное самолюбіе можетъ побуждать не разслѣдовать причинъ, почему идея націи получила у нихъ такое одностороннее выраженіе въ политической жизни.

Отвѣта на поставленный сейчасъ вопросъ: почему идея *націи* привела Францію къ извѣстнымъ изъ исторіи результатамъ, нужно конечно искать, если устранить пока изъ разсмотрѣнія другіе повліявшіе на тотъ же результатъ моменты—въ томъ, какимъ образомъ общество понимало идею о *народѣ*. Способъ воздѣйствія этой идеи долженъ былъ обуславливаться прежде всего содержаніемъ, которое въ нее влагали, представленіями, изъ которыхъ слагался господствовавшій идеаль, а затѣмъ состояніемъ общества, которое подвергалось этому вліянію.

Разсмотримъ-же сначала, какъ сложилась во Франціи идея

націи, какія вошли въ нее представленія и чего ей недоставало для всесторонняго и гармоническаго развитія?

Прежде всего на ней отразилось сильно пробудившееся во французскомъ обществѣ стремленіе къ гражданской и политической свободѣ. Это стремленіе нашло себѣ около половины XVIII вѣка отчетливую формулу въ сочиненіяхъ Монтескьё. Авторъ *Духа Законовъ* подвергъ научному изслѣдованію вопросъ объ условіяхъ, при которыхъ осуществляется свобода, и о необходимыхъ для нея гарантіяхъ. Подъ вліяніемъ его теорій сложилась опредѣленная доктрина либерализма и потому по сочиненію Монтескьё возможно установить, какъ повліяло во Франціи стремленіе къ свободѣ на представленіе о націи. Нельзя не сказать, что знаменитый учитель французскаго либерализма положилъ своей теоріей начало одностороннему понятію о народѣ и тому антагонизму между монархическимъ началомъ и народнымъ принципомъ, который все болѣе и болѣе развивался въ представленіяхъ французовъ. Одна изъ главныхъ причинъ этого заблужденія заключалась въ томъ, что Монтескьё не смотря на свою ученость и наблюдательность, на свои путешествія, не усвоилъ себѣ вѣрнаго и полнаго представленія о монархическихъ формахъ и о значеніи монархической власти.

Все это вполне обнаружилось въ его знаменитой классификаціи государствъ. Монтескьё знаетъ только два вида монархій: современную ему феодальную монархію съ посредствующими властями, т.-е. съ привилегированными сословіями и корпораціями, и затѣмъ азіатскія деспотіи съ ихъ гаремами и визирями. Монархіи иного типа для Монтескьё неизвѣстны, хотя онъ и жилъ въ вѣкѣ просвѣтительнаго абсолютизма, провозгласившаго въ лицѣ одного изъ лучшихъ своихъ представителей принципъ, что „монархъ первый служитель своего государства“. Одновременно съ *Духомъ Законовъ* вышелъ въ свѣтъ Новый Судебный Уставъ Фридриха Великаго, въ которомъ судьямъ предписывалось: „блюсти лишь справедливость, которой они присягали и не принимать при

этомъ въ расчетъ никакихъ правительственныхъ распоряженій несогласныхъ съ правосудіемъ, такъ какъ ни подобныя распоряженія, ни мнимый интересъ государя не послужатъ для нихъ оправданіемъ“. Еще ранѣе того другой абсолютный монархъ первый, можно сказать, открылъ своимъ подданнымъ истинное значеніе государства—какъ *школы* для народа, школы, въ которой народъ учится не одной цифири и геометріи, но гражданскимъ обязанностямъ и гражданской дѣятельности ¹⁾. Для такихъ монархій въ распредѣленіи Монтескьё нѣтъ мѣста. Въ монархическихъ государствахъ, имъ изображаемыхъ, жизненнымъ принципомъ являются или почести и чувство чести, или страхъ; принципъ долга по отношенію къ государству имъ не принять въ расчетъ.

Но если теоретическая формула, выставленная у Монтескьё для опредѣленія монархій, не могла вызвать къ нимъ сочувствія, то еще менѣе могли этому содѣйствовать самыя изображенія монархическихъ формъ, набросанныя въ эпиграмматическомъ стилѣ. Извѣстна характеристика деспотіи у Монтескьё; онъ уподобляетъ управленіе въ ней съ образомъ дѣйствій луизіанскихъ дикарей, „которые, когда хотятъ снять плодъ съ дерева, срубаютъ самое дерево“.

Для того, чтобы монархія не извратилась въ подобную деспотію, Монтескьё считаетъ необходимымъ политическія и гражданскія привилегіи, тѣ привилегіи, которыя ложились такимъ тяжкимъ бременемъ на населеніе Франціи. Хотя Монтескьё такимъ образомъ могъ бы быть доволенъ современнымъ ему феодальнымъ строемъ, хотя онъ дѣйствительно благословляетъ свою судьбу за то, что она дала ему возможность жить въ монархіи Людовика XV, онъ оставался подъ обаяніемъ, которое имѣли для его современниковъ древнія республики; и потому онъ рисуетъ это монархическое общество въ такихъ краскахъ, что самъ предостерегаетъ читателя не принимать этого описанія за сатиру.

Идеализація античныхъ *гражданскихъ общинъ* и ѣдкая

1) С. Соловьевъ. Исторія Россіи. Т. XVIII, стр. 251.

характеристика нравственныхъ слабостей и пороковъ монархически-феодальнаго строя—вотъ основныя черты того настроенія, подъ вліяніемъ котораго Монтескьё сталъ опредѣлять роль монархическаго элемента въ идеальномъ государственномъ строѣ, который долженъ былъ обезпечить гражданскую и политическую свободу.

Свобода была великимъ идеаломъ Монтескьё; ею внушены ему лучшія страницы его книги, которыя производили глубокое впечатлѣніе на современниковъ и всегда будутъ перечитываться съ благоговѣніемъ. Во многихъ отношеніяхъ Монтескьё глубоко понялъ сущность свободы. Его разсужденія о свободѣ заключаютъ въ себѣ истины, за которыя его соотечественники были бы ему обязаны величайшею признательностью, если бы они усвоили себѣ эти истины. Видное мѣсто между ними занимаетъ разграниченіе, которое проводитъ Монтескьё между *народовластіемъ* (*roiivoir du peuple*) и *свободой народа*,—его положеніе, что аристократія и демократія еще не представляютъ свободныхъ по своей природѣ государствъ, т.-е. государствъ, гдѣ свобода сама по себѣ обезпечена; что политическая свобода встрѣчается только въ государствахъ *умѣренныхъ*, но и тутъ лишь подъ условіемъ, если въ нихъ не происходитъ никакого злоупотребленія власти.

Но, исходя изъ вѣрнаго положенія, Монтескьё дѣлаетъ одностороннее заключеніе; правильно уяснивъ себѣ цѣль, онъ не всегда предлагаетъ настоящія средства.

Одной изъ причинъ его заблужденій является его отношеніе къ монархіи. При своемъ взглядѣ на эту власть Монтескьё не могъ правильно оцѣнить значеніе монархическаго принципа въ государственной жизни и гармонически сочетать его съ свободой, которая была его политическимъ идеаломъ. Это обнаружилось въ его теоріи о раздѣленіи властей и въ его изображеніи англійской конституціи.

Въ ученіи о раздѣленіи властей Монтескьё заимствовалъ свои понятія и термины изъ теоріи, возникшей въ странѣ, гдѣ монархическое начало утратило свое самостоятельное

значеніе. Предложенное Локкомъ раздѣленіе правительственной власти на три функціи, законодательную, исполнительную и международную, и для самой Англїи имѣло только чисто отвлеченное, теоретическое значеніе. Но перенесенное съ нѣкоторыми измѣненіями во Францію, оно становилось въ совершенный разрѣзъ съ ея государственнымъ строемъ и политическими потребностями.

Наименованіе королевской власти *исполнительной* имѣло самыя роковыя послѣдствія для политическаго образованія французскаго общества. Оно сдѣлалось ходячимъ терминомъ, который повторялся большинствомъ безъ всякаго опредѣленнаго представленія о немъ и проникъ въ такіе слои общества, для коихъ въ этомъ *словѣ* заключалась альфа и омега политической мудрости. Мы встрѣчаемъ его на каждомъ шагу въ наказахъ 1789 года и, что курьезнѣе всего, даже въ такихъ наказахъ, составители которыхъ были горячими приверженцами монархіи.

Этотъ терминъ былъ тѣмъ болѣе неумѣстенъ, что находился въ противорѣчїи съ собственною системою Монтескьё, который предоставилъ своей исполнительной власти участіе въ законодательствѣ—посредствомъ права налагать запрещеніе на всѣ проекты законодательнаго органа. Такое право было по его теорїи необходимо для поддержанія такъ называемаго равновѣсія властей, краеугольнаго камня всей системы Монтескьё.

Ученіе о *равновѣсіи* властей совершенно соотвѣтствовало понятіямъ и вкусамъ вѣка, который впервые созналъ величіе законовъ, управляющихъ космосомъ и открытыхъ математикой, и подъ этимъ впечатлѣніемъ былъ слишкомъ склоненъ отождествлять законы нравственные и политическіе съ законами геометріи. Въ то время, когда самый талантливый поэтъ Франціи представлялъ вселенную въ видѣ удивительно сложнаго часового механизма, а Верховный Разумъ, какъ его изобрѣтателя—извинительно было публицисту видѣть и въ государствѣ лишь искусный механизмъ. Отсюда убѣжденіе, что возможность злоупотребленія властью можетъ

быть устранена лишь хитро придуманными политическими комбинаціями; убѣжденіе это росло и крѣпло во Франціи и нашло себѣ въ концѣ вѣка самаго смѣлаго представителя въ лицѣ неутомимаго изобрѣтателя конституцій, въ идеологѣ Сіесѣ.

Государство Монтескьё съ его расчлененіемъ власти на три отдѣльныя функціи представляетъ подобіе механизма съ входящими другъ въ друга колесами, взаимно регулируемыми свое движеніе. Но такое уподобленіе государства искусному механическому сооруженію не могло не отразиться вредно на представленіи о націи и не содѣйствовать извращенію этого живого органическаго понятія въ количественное понятіе о суммѣ, которымъ можетъ произвольно оперировать политикъ. Однако Монтескьё, при всей своей склонности къ отвлеченной политической доктринѣ, далеко не былъ такимъ самоувѣреннымъ теоретикомъ какъ Сіесѣ, смотрѣвшій на всѣ прежнія политическія комбинаціи, какъ на дѣтскія затѣи. Монтескьё былъ хорошо знакомъ съ богатымъ содержаніемъ исторіи и предложилъ свой политическій идеалъ не какъ отвлеченную, изобрѣтенную имъ схему, а какъ изображеніе существующаго государства. Благодаря ему англійское государственное устройство стало идеаломъ для искреннихъ поклонниковъ свободы, и съ этой поры усвоеніе началъ англійской конституціи сдѣлалось однимъ изъ главныхъ элементовъ политическаго образованія французскаго общества. Вслѣдствіе этого теоретическія ошибки Монтескьё получили какъ-бы санкцію исторической *правды* и утвердились съ авторитетомъ истинъ, доказанныхъ политическимъ опытомъ могущественной и цвѣтущей націи. Эти ошибки имѣли тѣмъ болѣе пагубныя послѣдствія для судебъ французской монархіи и для самаго дѣла свободы, что Монтескьё даже не воспользовался, какъ слѣдуетъ, политическими уроками Англій.

Монтескьё не досмотрѣлъ самыхъ существенныхъ условій англійскаго государственнаго строя. Занятый теоріей о раздѣленіи властей, онъ не замѣтилъ скрывавшагося за нимъ единства государственной власти, сосредоточенной въ рукахъ

правлящаго класса. Власть этого класса, поддерживаемая его экономическимъ и общественнымъ преобладаніемъ, была обезпечена тѣмъ, что онъ обладалъ всѣми правительственными органами: онъ господствовалъ въ Нижней Палатѣ, составлялъ Верхнюю Палату и въ то же время посредствомъ парламентскаго большинства опредѣлялъ и составъ министерства. Затѣмъ вопреки тому, что было въ Англии, Монтескьё выставилъ въ своей конституціонной теоріи положеніе, что служители исполнительной власти, министры, ни въ какомъ случаѣ не должны быть членами *законодательнаго собранія*, такъ какъ при этихъ условіяхъ обѣ власти оказались бы въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ и всякая свобода исчезла-бы. Другое отступленіе теоріи Монтескьё отъ духа современной ему английской конституціи касается организаціи законодательнаго органа: Монтескьё строить главнѣйшій его факторъ, Нижнюю Палату, на отвлеченно-демократическомъ началѣ, вопреки тому, что представлялось ему въ Англии. Онъ не сознавалъ, что аристократическая организація, которую онъ считаетъ необходимой для Верхней Палаты, не могла бы держаться при демократической организаціи представительства и при рационалистическомъ принципѣ, что законъ долженъ быть выраженіемъ воли численнаго большинства. Идеаль конституціонной монархіи, начертанный авторомъ *Духа Законовъ* представляетъ собой такимъ образомъ смѣшеніе чертъ дѣйствительно заимствованныхъ изъ англійскаго государственнаго устройства съ такими, которыя Монтескьё приписалъ Англии по недоразумѣнію, или же вслѣдствіе невысказаннаго имъ желанія представить своимъ соотечественникамъ усовершенствованный имъ планъ конституціи.

Въ дѣйствительности же, какъ заимствованія Монтескьё изъ англійской конституціи, такъ и отступленія его отъ англійскихъ началъ, не принесли во французскомъ обществѣ тѣхъ плодовъ, которыхъ ожидалъ отъ нихъ теоретикъ политической свободы. Всего глубже укоренилось во Франціи представленіе о монархіи, какъ объ исполнительной власти, заимствованное Монтескьё изъ трактата Локка, написаннаго

за 60 лѣтъ предъ тѣмъ. По отношенію къ Англіи это былъ анахронизмъ, такъ какъ во время Монтескьё король Англіи уже не обладалъ исполнительной властью; во Франціи же это теоретическое заблужденіе привело къ крупному политическому промаху, такъ какъ въ XVIII вѣкѣ монархія этой страны находилась въ совершенно другихъ условіяхъ, чѣмъ въ Англіи и имѣла совсѣмъ другое призваніе. Въ Англіи объемъ дѣятельности *исполнительной*, правильнѣе правительственной власти, былъ очень невеликъ; во Франціи при установившейся уже тогда централизациі онъ былъ громаденъ; въ Англіи королевская власть получила, такъ сказать, преимущественно гражданскій характеръ; постоянное войско было незначительно, войны велись главнымъ образомъ посредствомъ наемныхъ войскъ, субсидій иностраннымъ правительствамъ и флота, происходили вдали отъ страны и если оканчивались побѣдой, то не увеличивали значенія и могущества короля. Во Франціи подъ начальствомъ короля находилась многочисленная дисциплинированная армія: внѣшняя политика страны была искони воинственная и завоевательная и потому требовала соединенія въ однѣхъ рукахъ гражданской и военной власти. Наконецъ во Франціи монархія имѣла социальное значеніе, которое она утратила въ Англіи; здѣсь она была замѣнена политически развитымъ и организованнымъ правящимъ классомъ, руководству котораго охотно подчинялась страна; во Франціи, если бы монархія сошла на степень исполнительной власти, верховная власть могла перейти только къ Генеральнымъ Штатамъ, т.-е. представительству сословіи, раздѣленныхъ привилегіями и противоположными интересами.

Къ довершенію всего Монтескьё, перенося на монархію представленіе объ исполнительной власти, лишилъ ее при этомъ того оплота, который историческая жизнь выработала для нея въ Англіи, — безотвѣтственности. Требуя, чтобы во имя принципа раздѣленія властей министры не назначались изъ парламентскаго большинства, а были бы слугами короля, но отвѣтственными предъ парламентомъ и ему подсудными, Монтескьё строилъ свою политическую систему на безвыход-

номъ антагонизмъ правительственныхъ силъ. Лишенное непосредственнаго вліянія и опоры въ парламентъ, министерство въ конституціонномъ государствѣ Монтескьё должно было сдѣлаться мишенью постоянныхъ нападковъ не только со стороны меньшинства, но и самаго большинства въ парламентъ, всегда готоваго возложить на исполнительную власть отвѣтственность за собственныя ошибки. При отождествленіи же монархіи съ исполнительной властью, при солидарности министровъ съ королемъ, который ихъ назначалъ, антагонизмъ между народнымъ представительствомъ и министерствомъ не могъ не подрывать самой монархіи. Народное представительство въ системѣ Монтескьё должно было относиться къ монархіи не какъ къ цитадели, которую само населеніе бережетъ и охраняетъ какъ необходимый оплотъ въ критическую минуту, а какъ къ непріятельской позиціи, которую нужно брать приступомъ, не разбирая союзниковъ. Въ конституціонной системѣ Монтескьё выдавалъ за снимокъ съ политическаго строя Англіи, мы такимъ образомъ уже находимъ роковыя черты первой французской конституціи, достаточно объясняющія теоретическія причины ея неспѣха.

Подъ вліяніемъ такой схемы воспитывалась либеральная партія во Франціи и, можно прибавить, во всей остальной Европѣ. Отсюда основное заблужденіе французскаго либерализма того времени, непониманіе политическаго значенія монархіи и доктринерная противъ нея оппозиція. Отсюда и беспочвенность французскаго либерализма въ XVIII вѣкѣ. Желая установить во Франціи умѣренное правительство и обезпечить въ ней гражданскую и политическую свободу, французскій либерализмъ не выяснилъ себѣ существенныхъ условій этой свободы и, слѣдуя ложной программѣ, работалъ только въ руки другой партіи и подготавливалъ торжество другой политической теоріи—*радикализма*.

Политическій радикализмъ во Франціи вышелъ, какъ и самый либерализмъ, изъ рационалистической философіи; онъ, повидимому, былъ даже болѣе послѣдовательнымъ примѣненіемъ рационализма къ политической жизни, по крайней мѣ-

рѣ этому мнѣнію о немъ онъ обязанъ своимъ успѣхомъ. Но на самомъ дѣлѣ всякій радикализмъ есть только матеріализація политическаго идеализма, болѣе или менѣе безсознательное смѣшеніе отвлеченныхъ теорій и логическихъ построеній государства съ случайными запросами дѣйствительности и злобою дня. Это ничто иное, какъ низкій полетъ политическаго мышленія, которое силится подняться надъ дѣйствительностью, чтобы преобразить ее и улучшить во имя разумнаго идеала, но на самомъ дѣлѣ не можетъ оторваться отъ конкретныхъ представлений и, цѣпляясь за нихъ, роняетъ въ нихъ свой идеаль. Оттого зарожденіе политическаго интереса, первое и поверхностное знакомство съ политической теоріей при недостаточности умственнаго развитія такъ часто ведутъ къ радикализму. Для многихъ такая точка зрѣнія обусловливается природными свойствами ума и темперамента, неспособностью къ отвлеченному мышленію безъ примѣси чувствъ и страстей, трудностью отличить логическія понятія отъ конкретныхъ явленій; вообще же политическій радикализмъ есть только переходная ступень развитія, случайное состояніе внутренней жизни, обусловленное степенью образованія, но состояніе, которое можетъ упрочиться, если образованіе не идетъ дальше. Поэтому при политической неразвитости цѣлаго общества, радикализмъ легко можетъ принять *эпидемическій* характеръ. Съ такимъ характеромъ является онъ предъ нами во французскомъ обществѣ XVIII вѣка.

Французскій радикализмъ почерпалъ свою программу и свои формулы преимущественно изъ *Общественнаго договора* Руссо. Основа этого сочиненія—чисто раціоналистическая: въ основаніи понятія объ обществѣ положено отвлеченное представление о человѣкѣ, какъ о существѣ разумномъ; государство представляется сознательнымъ, добровольнымъ союзомъ такихъ разумныхъ существъ во имя общаго блага, для всѣхъ одинаковаго и всѣми одинаково понимаемаго: совокупность лицъ, вступившихъ въ такой взаимный договоръ, является единственной инстанціей, опредѣляющей всю будущую дѣятельность государства и источникомъ всей государственной

власти. Но это философское представление о гражданском обществѣ незамѣтно переходитъ у Руссо въ представление о фактическихъ, существующихъ государствахъ, и отвлеченная *совокупность гражданъ* отождествляется съ конкретной массой наличныхъ жителей любого государства, которую Руссо и называетъ народомъ или націей.

Такимъ образомъ политическая фикція, выставленная философами, чтобы объяснить правовое назначеніе государственнаго союза, облекается мнимой дѣйствительностью, и Руссо переноситъ на нестройную толпу всѣ свойства и атрибуты метафизическаго понятія. Народъ въ смыслѣ наличной массы становится у Руссо непосредственнымъ источникомъ государственной власти и потому провозглашается *государемъ* (*souverain*).

Этотъ ложный шагъ служитъ переходомъ къ другому, болѣе роковому по своимъ послѣдствіямъ. Провозглашеніе народа государемъ еще оставляетъ возможность понимать это въ переносномъ смыслѣ. Такъ понимали идею народовластія и другіе теоретики, которымъ это однако не мѣшало признавать за правительствомъ совершенно самостоятельное значеніе. Тутъ-то Руссо отдѣляется отъ своихъ предшественниковъ и выставляетъ своеобразную политическую теорію. Верховная власть, которою онъ облекаетъ народъ, перестаетъ быть идеальнымъ правомъ и превращается въ реальную, постоянную функцію, въ законодательную власть. Эта власть, которую Руссо присвоиваетъ своему новому государю - законодателю, абсолютна въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова. Онъ признаетъ эту власть неотчуждаемой, недѣлимой, неограниченной ни по отношенію къ имуществу, ни къ жизни, ни даже къ совѣсти гражданъ, и въ довершеніе всего непогрѣшимой.

Но куда же при воцареніи новаго государя дѣвалось правительство? Возражая приверженцамъ теоріи раздѣленія властей, что верховная власть едина и недѣлима, Руссо ѣдко глумится надъ ними; онъ сравниваетъ ихъ съ японскими фокусниками, которые разсѣкаютъ ребенка на глазахъ зрителей, подбрасываютъ разсѣченные члены кверху и ловятъ

въ свои объятія невредимаго ребенка. Эта шутка надъ Монтескьё была однако неумѣстна со стороны Руссо, такъ какъ онъ самъ дѣлаетъ то же, въ чемъ упрекаетъ Монтескьё. Въ основаніи его собственной политической теоріи снова является дѣленіе, хотя и въ иномъ смыслѣ. Онъ отдѣляетъ правительство отъ верховной власти; его правительство (*gouvernement*) является особымъ отъ государя органомъ и простымъ исполнителемъ воли государя. Государь представляетъ собой волю, правительство физическую силу, посредствомъ которой осуществляется воля. Такъ какъ верховная власть отождествляется у Руссо съ законодательной, то на долю его правительства остается только исполнительная власть, и такъ какъ законодателемъ по теоріи Руссо должна быть совокупность гражданъ или народа, то всякое правительство, каковъ бы ни былъ его составъ и характеръ, становится простымъ приказчикомъ народа.

Говоря о составѣ правительства, Руссо возстановляетъ для него старинную классификацію на демократію, аристократію и монархію. При всѣхъ этихъ формахъ по его теоріи законодательная и верховная власть можетъ принадлежать народу. Такія государства Руссо считаетъ законѣрными и называетъ республиками: такимъ образомъ, говоритъ онъ, и монархія можетъ быть республикой, если она руководима общей волей, если въ ней правительство подчинено государю въ качествѣ его служителя (*ministre*). Всѣ прочія государства, какова бы ни была ихъ форма, Руссо подводитъ подъ рубрику *деспотій*. Тамъ, гдѣ правительство обладаетъ верховною властью, тамъ, гдѣ надъ правительствомъ нѣтъ государя; гдѣ этотъ государь не самъ народъ, гдѣ законодательная власть не принадлежитъ совокупности гражданъ, тамъ нѣтъ законнаго правительства, не можетъ и быть закона.

Теорія Руссо имѣла рѣшительное вліяніе на представленія французскаго общества о народѣ. Такъ какъ въ этой теоріи народъ или нація отождествлялись съ рационалистическимъ понятіемъ о совокупности гражданъ, составляющихъ государство, то существеннымъ атрибутомъ націи стало *равен-*

ство. Но такъ какъ Руссо въ то же время провозгласилъ народъ государемъ, то равенство получило въ его теоріи совершенно особенный характеръ. Это было не равенство только по отношенію къ общему государственному закону, не равенство въ свободѣ, т.-е. въ пользованіи правами личности и индивидуальными способностями, а равенство во власти. Власть сдѣлалась конечною цѣлью этого равенства. Лишь бы было соблюдено внѣшнее равенство, лишь бы власть была построена, хотя формально, на равномъ въ ней участіи всѣхъ, эта власть могла не знать предѣловъ. Но эта сторона ученія Руссо, которая неминуемо вела къ установленію беззастѣнчиваго деспотизма отъ имени *народа*, могла обнаружиться только позднѣе. Ближайшимъ послѣдствіемъ теоріи Руссо о народѣ было совершенное затемнѣніе идеи монархіи. Уже Монтескье свелъ монархію къ представленію объ исполнительной власти; уже онъ ограничилъ эту власть однимъ правомъ налагать свое запрещеніе на постановленія законодательнаго органа, но въ этомъ ея правѣ онъ видѣлъ необходимую гарантію противъ возможнаго злоупотребленія власти со стороны законодательнаго собранія. Такихъ соображеній для Руссо не существовало; его законодатель—народъ не могъ ошибаться и не могъ чинить неправды; противъ этого законодателя никто не могъ и не долженъ былъ нуждаться въ гарантіяхъ, и потому въ этомъ государствѣ монархіи не могло быть предоставлено даже отрицательнаго участія въ законодательствѣ.

Исполнительная монархія, какъ ее себѣ представлялъ политическій *либерализмъ* XVIII вѣка, была еще возможна, по крайней мѣрѣ на бумагѣ. Въ идеальномъ государствѣ французскихъ либераловъ король, какъ *исполнитель*, былъ подчиненъ *представительному собранію*; это собраніе само было раздвоено, и одинъ изъ его элементовъ могъ своей оппозиціей противъ другого уменьшать общее давленіе на королевскую власть. По теоріи же французскаго *радикализма* монархъ—исполнитель общей воли; онъ поставленъ лицомъ къ лицу съ законодательствующимъ *народомъ*, съ нестройной, бушующей толпой, которая ежеминутно можетъ измѣ-

нять свою волю и во имя присущей ей верховной власти въ любой моментъ отмѣнить и самую монархію. Однимъ словомъ, *республиканскій* монархъ Руссо — *слуга* законодательствующаго народа — не болѣе, какъ политическій *миражъ*.

Теоретикъ радикализма однако не только пустилъ въ оборотъ обманчивую доктрину, несовмѣстную съ монархіей, онъ содѣйствовалъ въ то же время распространенію во французскомъ обществѣ такого настроенія, которое и самую доктрину дѣлало совершенно излишней.

Въ третьей книгѣ своего *Общественнаго договора* Руссо довольно разумно указываетъ на условія, при которыхъ монархія становится самой цѣлесообразной правительственной формой — обширность страны, многочисленность населенія. Но вмѣсто того, чтобы отсюда сдѣлать выводъ, что при этихъ условіяхъ невозможна *республиканская* монархія, онъ по этому поводу изображаетъ монархію такими чертами, которыя имѣли глубокое вліяніе на развитіе революціоннаго темперамента во французскомъ народѣ.

Какъ всѣ другія сочиненія Руссо, такъ и *Общественный договоръ* представляетъ собой небывалое соединеніе мечтательности, принимающей фантазію за дѣйствительность, съ необыкновенно бойкой, самоувѣренной діалектикой. Подобная смѣсь вызывала восторгъ читателей и не давала имъ замѣчать безпрестанныя несообразности и противорѣчія, въ которыя впадалъ авторъ. Совершенно напрасно Руссо въ началѣ третьей книги предупреждалъ своихъ читателей, „что онъ не обладаетъ искусствомъ быть яснымъ для тѣхъ, кто невнимателенъ“. Громадное большинство этихъ читателей и не требовало отъ него ясности, понимало его по своему и выносило изъ его сочиненій обрывки, не справляясь о томъ, насколько они въ своей отрывочности противорѣчатъ основнымъ положеніямъ системы. Республиканская монархія Руссо покоилась на двухъ предположеніяхъ: монархъ у Руссо исполнитель закона; законъ есть выраженіе общей воли. Но что именно слѣдуетъ разумѣть подъ этой общей волей? — Руссо усиленно старается, хотя и тщетно, — точно

опредѣлить это понятіе и разграничить его отъ другихъ аналогическихъ понятій, представляющихъ только его искаженіе. Общая воля, *la volonté générale*, не есть воля всѣхъ—*la volonté de tous*, и только первая изъ нихъ закономѣрна. Какія же ея признаки? Во-первыхъ, она можетъ касаться только общаго интереса, одинаковаго для всѣхъ участниковъ общественнаго тѣла и не должна затрогивать никакого частнаго вопроса; во-вторыхъ, она можетъ высказываться только въ общемъ постановленіи, которое не допускаетъ никакихъ частныхъ примѣненій; такъ, напр., говоритъ Руссо, общая воля можетъ установить монархическое правленіе и наследственность престола; но она не можетъ сама избрать короля или провозгласить династію, ибо всякое постановленіе, относящееся къ индивидуальному предмету, выходитъ изъ предѣловъ законодательной власти (II, 6).

Другое условіе *законнаго* порядка у Руссо заключается въ томъ, чтобы въ обществѣ не было сильно развитыхъ частныхъ интересовъ; въ немъ не должно быть ни партій, ни интригъ, ибо въ противномъ случаѣ „*воля всѣхъ*“ не можетъ дать въ своемъ результатѣ общей воли“. Говоря простымъ языкомъ, тамъ, гдѣ существуютъ сословія, различные экономическіе классы или интересы и политическія партіи, тамъ не примѣнимъ законный порядокъ Руссо. Этими оговорками Руссо самъ разрушаетъ построенное имъ зданіе; заимствовавши изъ отвлеченнаго политическаго мышленія идею гражданскаго общества и воплотивъ ее въ реальномъ образѣ народа-законодателя, Руссо своимъ идеалистическимъ опредѣленіемъ общей воли развѣнчиваетъ своего государя и уноситъ свой правовой строй въ облака. Но на землѣ осталась мертвая формула его ученія и вызванныя имъ страсти. При научной оцѣнкѣ его системы нужно имѣть въ виду то, что хотѣлъ сказать авторъ; но при сужденіи о практическомъ вліяніи теорій Руссо приходится считаться съ тѣмъ, что было усвоено изъ нихъ обществомъ. Король есть исполнитель закона; законъ выраженіе общей воли; общая воля есть воля народа, т.-е. всѣхъ; въ формѣ этихъ стертыхъ афоризмовъ стало вращаться въ массахъ ученіе Руссо.

* * *

Таковы были главныя политическія теоріи, повліявшія на представленіе французскаго общества о націи. Какъ ни казались привлекательны выставляемые въ нихъ идеалы будущаго, сила ихъ вліянія надъ умами въ значительной мѣрѣ должна была зависѣть отъ степени привязанности общества къ своему прошедшему, отъ пониманія этого прошедшаго и созданныхъ прошлымъ условій дѣйствительности. Въ какомъ же положеніи находилась тогда во Франціи историческая наука?—Въ XVIII вѣкѣ во Франціи много занимались исторіей, но эти занятія, хотя нерѣдко носившія строго ученый характеръ, не имѣли отрезвляющаго вліянія и не привели общество къ правильному пониманію ни прошедшаго, ни настоящаго. Французы того времени любили гордиться *тринадцатью вѣками* своей исторіи, но состояніе ихъ исторіографіи доказываетъ, что для самосознанія націи недостаточно прожить большое число вѣковъ, а нужно зрѣлое и научное пониманіе этой жизни. Именно этого не давала тогдашняя исторіографія, и потому она была совершенно бессильна противъ теорій, отрицавшихъ прошлое.

Въ рядахъ французскихъ историковъ XVIII вѣка было много замѣчательныхъ тружениковъ, имена которыхъ всегда будутъ называться съ почтеніемъ, а труды долго еще служить пособіемъ для серьезныхъ занятій. Въ то время печатались учеными бенедиктинцами собранныя и изданныя съ такимъ изумительнымъ трудолюбіемъ *Лѣтописцы Галліи и Франціи*; тогда же издавалось при пособіи правительства собраніе многочисленныхъ *королевскихъ указовъ* (ordonnances), которые такъ наглядно указывали на великую роль и значеніе монархической власти во французской исторіи; однако эти колоссальныя предпріятія и множество изслѣдованій болѣе спеціальнаго характера мало содѣйствовали осмысленному и научному возрѣнію на исторію Франціи; тогдашняя исторіографія не умѣла обрабатывать сырой матеріалъ для научныхъ обобщеній; она не была въ состояніи внушить обществу на-

учный интересъ къ его прошлому, объяснить ему тѣсную связь между ступенями быта и политическими формами и дать ему живое чутье дѣйствительности. Оттого исторіографія не только не могла оберечь общество отъ ложныхъ теорій, но сама подпала подъ ихъ господство и сдѣлалась орудіемъ ихъ распространенія.

Одинъ изъ лучшихъ историковъ Франціи и знатоковъ ея исторіографіи справедливо возлагаетъ на само правительство долю отвѣтственности за несостоятельность своихъ предшественниковъ ¹⁾. Особенно вредно повліяли въ этомъ отношеніи неоднократныя запрещенія писать о тѣхъ вопросахъ, разъясненіе которыхъ было особенно необходимо для развитія общества ²⁾. Запрещенія этого рода не достигали своей ближайшей цѣли, не предохраняли общество отъ книгъ, исполненныхъ фанатической ненависти противъ существующаго строя. Такія книги безпрепятственно распространялись въ публикѣ, ибо не рѣдко подобному сочиненію достаточно было явиться съ благонамѣреннымъ ярлыкомъ въ предисловіи, чтобъ отвлечь отъ себя вниманіе администраціи. Но въ то же время присвоеніе администраціей полной монополіи говорить и судить объ интересахъ и нуждахъ общества лишало его способности практически понимать эти интересы, а писателей возможности вносить опытъ жизни въ объясненіе прошедшаго ³⁾. Слѣд-

1) Bridée, pour ainsi dire, par la constitution despotique du gouvernement et par les habitudes d'esprit qui en résultaient, la véritable science était timide et indécise. Aug Thierry. Considér. sur l'hist. de France 139.

2) Такъ во время финансовыхъ операцій Лаверди (1764 г.) было запрещено писать объ административныхъ и финансовыхъ реформахъ. Des mémoires et projets formés par des gens sans caractère qui se permettent de les rendre publics, au lieu de les remettre aux personnes destinées par état à les user—сказано въ королевскомъ приказѣ—могутъ только принести вредъ. Les écrits qui paraissent dans le public sur ces matières ne peuvent que répandre des alarmes dans les esprits, nuire au recouvrement indispensable de nos deniers, exciter des préventions и т. д. Jobez. La France sous Louis XV. T. VI, p. 406.

3) Въ предисловіи, напр., къ своему историческому труду, вышедшему въ худшую эпоху царствованія Людовика XV — въ 1765 г., Мабли, представлявшій древнѣйшее политическое устройство своей родины какъ поли-

ствиемъ этого было то, что занятія историческими и политическими науками разбились на два направленія; съ одной стороны, они приняли совершенно археологическій, лишенный всякаго практическаго интереса характеръ, съ другой — результатомъ ихъ были бредни и памфлеты. Полная зависимость научныхъ учреждений и самихъ ученыхъ отъ бюрократическаго благоусмотрѣнія и случайнаго патроната нисколько не послужили на пользу дѣла. Офиціальныи характеръ тогдашнихъ академій и ученыхъ корпорацій не только оказался безсильнымъ для того, чтобы вдохнуть жизнь въ науку, но даже не былъ въ состояннн дать исторіографіи разумное направленіе въ правительственномъ интересѣ. Ученые въ своихъ занятіяхъ избѣгали всѣхъ политическихъ вопросовъ и лишились самой способности понимать окружающую ихъ дѣйствительность. Что можетъ быть характернѣе для политической бесплодности французской исторіографіи, какъ наивность лучшаго представителя тогдашней науки, Брекиньи, ученаго издателя королевскихъ указовъ и тонкаго критика древнихъ грамотъ! Когда онъ писалъ предисловіе къ своему собранію старинныхъ французскихъ грамотъ, Національное Собраніе уже уничтожило съ корнемъ всѣ историческія учреждения, первоначальный ростъ которыхъ онъ наблюдалъ съ такимъ усердіемъ. Брекиньи однако этого совсѣмъ не замѣтилъ и въ новомъ титулѣ, который Національное Собраніе дало королю, лишивъ его власти, Брекиньи усмотрѣлъ только возвращеніе къ эпохѣ Меровинговъ и восстановленіе „волею всего собравшагося народа (la nation assemblée) почтеннаго, освященнаго вѣками титула“¹⁾.

тический идеаль свободы и законности, отъ котораго уклонилась французская монархія, заявляетъ: Rien n'est plus propre à nous faire aimer et respecter legouvernement auquel nous obéissons, qu'une peinture fidèle des malheurs que nos pères ont éprouvés pendant qu'ils ont vécu dans l'anarchie. Quel danger peut-il y avoir à faire connaitre nos anciennes coutumes et notre ancien droit? En voyant la peinture de nos erreurs et de nos calamités quel lecteur ne connaitra pas le prix d'une sage subordination? и т. д.

¹⁾ Титуль Roi des Francais Брекиньи отождествлялъ съ прозвищемъ Меровингскихъ королей—Rex Francorum, считая франковъ французами.

Безплодность официальной опеки надъ наукой особенно отразилась на ничтожной роли, которую играли официозные историографы. Въ царствованіе Людовика XVI эту должность занималъ Моро, писатель, не лишенный ни таланта, ни знаній, но его двадцать одинъ томъ *Разсужденій* объ исторіи Франціи отъ Хлодвига до Людовика Святого, или *Принципы политической нравственности и общественнаго права, почерпнутые въ исторіи нашей монархіи*, не принесли никакой пользы монархіи, а автору закрыли даже доступъ во Французскую академію, такъ какъ его за это сочиненіе обвиняли въ „потворствѣ деспотизму“.

При узкой односторонности научныхъ изслѣдованій въ области исторіи и при отсутствіи политическаго смысла у ея представителей историографія сдѣлалась открытымъ попріщемъ для самыхъ смѣлыхъ и, повидимому, несбыточныхъ политическихъ теорій.

Три года спустя послѣ изданія *Общественнаго договора* появилось самое популярное и вліятельное въ свое время сочиненіе по французской исторіи—*Наблюденія надъ исторіей Франціи* аббата Мабли. Это сочиненіе можетъ быть названо приложеніемъ *Общественнаго договора* къ исторіи Франціи. Самыя произвольныя комбинаціи Руссо, его отождествленіе теоретическаго понятія о гражданскомъ обществѣ съ народною массой, его провозглашеніе народа государемъ и низведеніе правительства къ роли исполнителя получили въ книгѣ Мабли окраску реальной, нѣкогда существовавшей дѣйствительности; то, что у Руссо выставлялось общимъ правомѣрнымъ порядкомъ, у Мабли являлось исконнымъ правомъ Франціи. ¹⁾ Теоретическій упрекъ правительству въ превышеніи власти, который можно вычитать изъ *Общественнаго договора*, становится у Мабли категорическимъ, обставленнымъ фактами, обвиненіемъ, что оно установило свою власть посредствомъ узурпаціи и

¹⁾ Вышедшія въ 1765 г. четыре книги доходятъ до воцаренія дома Валуа; послѣднія четыре книги, появившіяся уже по смерти Мабли въ 1788 г., мало успѣли повліять на политическое образованіе стараго французскаго общества.

ряда насилій, и такимъ образомъ гипотетическій народъ-государь у Руссо превращается въ историческаго героя, въ дѣйствительнаго властелина, постоянно развѣнчиваемаго и лишаемаго законной власти его королями.

Такимъ образомъ стремленіе къ идеалу, не совсѣмъ точно обрисованному и еще допускавшему сомнѣніе, насколько онъ достижимъ, замѣнилось требованіемъ возстановить якобы законный строй, описанный и удостовѣренный съ большимъ аппаратомъ мнимой учености. Монтескье выводилъ англійскую конституцію изъ лѣсовъ Германіи. Въ тѣхъ-же лѣсахъ Германіи Мабли обрѣлъ тотъ законодательствующій народъ, который явился французамъ въ политическихъ мечтаніяхъ Руссо. Учеными ссылками на древнѣйшіе и самые „почтенные“ памятники исторіи Мабли доказываетъ, что у франковъ существовали „общее народное собраніе, которое обладало законодательною властью, и совѣтъ, составленный изъ короля и вельможъ, которому была поручена только исполнительная власть, или же провизорное рѣшеніе дѣлъ наименѣе важныхъ, или наиболѣе неотложныхъ“; отсюда дѣлается очевидный выводъ, что франки были — *souverainement libres*.¹⁾ Завоеваніе Галліи франками, по мнѣнію историка, нисколько не измѣнило ихъ политическаго строя; мало того, оно только расширило и распространило его на угнетенныхъ императорскимъ деспотизмомъ галло-римлянъ. Посредствомъ очень искусственнаго и невѣрнаго истолкованія источниковъ Мабли доказываетъ, что побѣжденнымъ было предоставлено право отречься отъ римскаго закона и объявить, что они желаютъ жить по закону салическаго; съ момента такого объявленія всякій галлъ начиналъ пользоваться привилегіями, свойственными франкамъ, изъ подданнаго становился гражданиномъ, получалъ мѣсто въ народномъ собраніи на Мартовскомъ полѣ и вступалъ въ свою долю верховной власти и управленія государствомъ. Впрочемъ значительное число покоренныхъ не воспользовались правомъ сдѣлаться гражданами, частью потому, что продолжительный

1) *Oeuvres Compl. de Mably*. Лонд. изд. 1889 г. Т. I. 133.

деспотизмъ заглушилъ въ нихъ потребность свободы, частью же потому, что самое народное правленіе, принесенное франками изъ Германіи, стало разрушаться скоро послѣ завоеванія Галліи,—ибо вельможи и короли начали захватывать всю государственную власть въ ущербъ остальной *націи*. Первоначальное устройство франковъ представляло демократію, умѣренную аристократическимъ совѣтомъ и властью короля; извѣстно, говоритъ Мабли, что политики считаютъ этотъ образъ правленія наиболѣе способнымъ просвѣтить націю на счетъ ея настоящихъ интересовъ. Эта форма принесла бы свои плоды и у франковъ, если бы послѣдніе постарались ее упрочить; но вслѣдствіе ихъ обогащенія и развившихся среди нихъ новыхъ потребностей любовь къ свободѣ перестала быть ихъ преобладающею страстью.

Отдаваясь безпечно вліяніямъ корыстолюбія и природной лѣности, франки стали пренебрегать посѣщеніемъ народныхъ собраній, которыя, наконецъ, перестали созываться. Власть, которою прежде пользовалась вся совокупность націи, такимъ образомъ, очутилась въ рукахъ совѣта, составленнаго изъ короля и вельможъ, тогда какъ прежде имъ принадлежала только власть исполнительная.

Мы не станемъ слѣдить по указаніямъ Мабли за постепеннымъ искаженіемъ исконнаго правомѣрнаго строя у франковъ, за тѣмъ, какъ короли, ради увеличенія своей власти, развращали вельможъ раздачею бенефицій; какъ вельможи ради собственныхъ выгодъ научали королей презирать законы и расширять ихъ привилегіи; особенно развилось зло съ той поры, когда король присвоилъ себѣ право замѣщать административныя должности безъ совѣщаній съ народнымъ собраніемъ (!), а герцоги и графы стали покупать свои должности, или выслуживали ихъ какимъ-нибудь неблагороднымъ поступкомъ; несмотря, однако, на такой взглядъ на дѣло, Мабли вооружается противъ писателей, которые заключаютъ „по постыднымъ покушеніямъ, оскверняющимъ лѣтописи“, будто образъ правленія у франковъ сталъ совершенно произвольнымъ. Мабли утверждаетъ, что

факты не составляют права и, что несмотря на постоянныя насилія, естественный строй франкскаго государства сохранился; онъ былъ только нарушаемъ владычествомъ беззаконія, но не былъ разрушенъ. Доказательствомъ служить для Мабли воцареніе Пипина, когда „событія снова восстановили господство закона“. Это воцареніе Мабли описываетъ весьма просто и убѣдительно въ интересахъ своей исторической теоріи. „Пипинъ захотѣлъ получить корону, какъ даръ отъ своего народа (peuple), и народъ даровалъ ее, посовѣтовавшись съ папой Захаріемъ“. Хотя, казалось бы, франкамъ послѣ того нечего было желать, однако, настоящее восстановление исконной франкской конституціи, полное возвращеніе франкскому народу его державныхъ правъ совершается лишь при Карлѣ Великомъ. Описаніе царствованія Карла Великаго составляетъ главную перипетію политическаго романа Мабли, самое эффектное проявленіе его историческаго фантазирования въ пользу излюбленной теоріи.

Сравнительное изобиліе законодательныхъ памятниковъ Каролингской эпохи и не установившійся способъ истолкованія ихъ давали возможность историку обставить свои выводы ученымъ и мнимо критическимъ аппаратомъ. На этомъ псевдонаучномъ основаніи Мабли воздвигаетъ миѣической образъ геніальнаго императора, „философа, законодателя, патріота, великаго полководца и завоевателя“, кротко склоняющаго главу предъ законнымъ государемъ, возстановленнымъ имъ на престолѣ.

Раньше у Мабли было сказано, что Пипинъ получилъ свою корону изъ рукъ народа (peuple); это однако теперь нисколько не мѣшаетъ представить дѣло народа совершенно проиграннымъ. „Французы погибли бы, если бы у Карла было меньше гражданской доблести (vertu), чѣмъ генія. Карлу стоило бы только не вмѣшиваться въ ходъ событій, развращавшихъ французовъ, и нація сама собой подпала бы подъ самое произвольное правленіе. Для такого великаго и изобрѣтательнаго генія было бы самымъ легкимъ дѣломъ воспользоваться раздорами между подданными, поочередно

поработить отдѣльные слои государства одинъ черезъ другого и утвердить королевскую власть на общей гибели ихъ привилегій“.

„Не мало государей въ подобныхъ обстоятельствахъ сочли бы своимъ долгомъ приобрести абсолютную власть, чтобы посредствомъ ея придать силу законамъ. Но Карлъ Великій, взоръ котораго одинаково обнималъ будущее и настоящее, не хотѣлъ составить счастья своихъ современниковъ на счетъ грядущихъ поколѣній; онъ научилъ французъ повиноваться законамъ, сдѣлавши ихъ самихъ законодателями“. Уже Пипинъ началъ реформу, собирая ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ духовныхъ и свѣтскихъ вельможъ, чтобы совѣщаться съ ними о нуждахъ государства. Карлъ усовершенствовалъ это учрежденіе. Этотъ государь считалъ недостаточнымъ созывать однихъ вельможъ; какъ ни былъ униженъ народъ со времени установленія сенъерій и наследственнаго дворянства, Карлъ зналъ непреложныя права (*les droits imprescriptibles*) народа и питалъ къ нему то состраданіе, смѣшанное съ почтеніемъ, съ которымъ обыкновенные люди относятся къ государю въ изгнаніи, лишенному своихъ владѣній. И не только по духу справедливости Карлъ прилагалъ всѣ старанія, чтобы возвратить народу хотя отчасти его прежнюю честь; онъ зналъ, что это единственное средство заинтересовать его въ дѣлѣ общаго блага. Карлъ былъ настолько счастливъ, что вельможи согласились допустить народъ на Мартовское поле, которое черезъ это опять сдѣлалось настоящимъ собраніемъ *нации*.

Историческая теорія Мабли также не обходится безъ японскаго фокуса. До сихъ поръ исторія франковъ представляла у него иллюстрацію къ политической теоріи Руссо, по которой настоящее законодательное и верховное народное собраніе могло состоять только изъ совокупности наличнаго населенія при полной равноправности всѣхъ его членовъ. Руссо былъ настолько послѣдователенъ въ поклоненіи этому идеалу, что не допускалъ законодательства черезъ представителей; установленіе народнаго представительства по его ученію было

уже началомъ гибели государства; отчужденіе законодательной власти со стороны избирателей въ пользу депутатовъ было въ его глазахъ новымъ видомъ рабства.

Мабли зналъ настолько ближе, чѣмъ Руссо, античныя демократіи, что не увлекался такимъ идеаломъ и предпочиталъ законодательство чрезъ представителей. И вотъ въ его исторіи Франціи „державное собраніе франкской націи,“ возстановленной Карломъ Великимъ, превращается на глазахъ у изумленнаго читателя въ представительное собраніе. Карлъ Великій при всей его славѣ становится еще и изобрѣтателемъ представительной системы: въ виду невозможности собраться всѣмъ французамъ на Мартовскомъ полѣ, Карлъ Великій устанавливаетъ новый порядокъ: каждое графство должно избирать по 12 депутатовъ, которые составляютъ собраніе народа. Рядомъ съ нимъ возникаютъ, неизвѣстно какъ, двѣ палаты—дворянства и духовныхъ чиновъ, и эти три собранія рѣшаютъ между собой всѣ законодательныя дѣла.

Помимо юридическаго вопроса, по какому праву такое собраніе могло замѣстить единственно легальнаго законодателя — державный народъ, для читателя остается еще неразрѣшеннымъ другое практическое недоумѣніе, — какимъ образомъ шло законодательство въ тѣхъ случаяхъ, когда три палаты были между собой несогласны, что при полной противоположности ихъ интересовъ должно было постоянно случаться?

Мабли на этомъ не останавливается. Все вниманіе его поглощено поведеніемъ Карла Великаго, который является у него идеаломъ конституціоннаго короля. Карлъ Великій „изъ уваженія къ общественной свободѣ никогда не присутствуетъ при совѣщаніи палатъ“; онъ „отправлялся туда лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда его приглашали, или для того, чтобы быть посредникомъ между палатами, или же, чтобы дать свое согласіе на постановленія собранія. Тогда (!) онъ и самъ иногда предлагалъ то, что считалъ наиболѣе цѣлесообразнымъ“.

Всѣ законы, „былили они дѣломъ націи“, или только были

приняты ею по предложенію Карла, обнародовались отъ имени императора. Мабли спѣшитъ однако предупредить читателя, что „встрѣчающіяся въ нихъ выраженія: „мы повелѣваемъ, мы приказываемъ, наша воля такова“ никакъ не слѣдуетъ понимать буквально. „Карль хотѣлъ, повелѣвалъ, приказывалъ, потому что нація хотѣла, повелѣвала, приказывала и поручала ему обнародовать законы, соблюдать ихъ и карать за ихъ нарушеніе“.

Итакъ, заключаетъ Мабли, дѣлая совершенно неожиданный выводъ изъ предыдущаго, нельзя сомнѣваться, что законодательная власть принадлежала совокупности *нации* — *ne résidât dans le corps de la nation*.

Такая идеальная конституція, казалось, была предназначена существовать вѣчно; но она не пережила своего творца. Мы не станемъ перечислять причинъ, выставленныхъ въ изложеніи Мабли; любопытно особенно одно изъ его объясненій: либеральная конституція Карла Великаго страдала тѣмъ недостаткомъ, что онъ оставилъ за собой слишкомъ большую долю исполнительной власти; напр., право раздавать бенефиціи или назначать графовъ и другихъ должностныхъ лицъ безъ согласія нации. Карль, по объясненію Мабли, удержалъ въ своихъ рукахъ эту прерогативу не изъ властолюбія, но потому, что при тогдашнемъ состояніи общества предоставленіе этого права другимъ еще болѣе повредило бы дѣлу; тѣмъ не менѣе при государяхъ менѣе мудрыхъ, каковы были его преемники, эта прерогатива оказалась средствомъ для увеличенія королевской власти и ниспроверженія системы Карла Великаго.

Приведенныя данныя дають достаточное понятіе какъ о тенденціяхъ, такъ и о методѣ псевдонаучной исторіографіи въ XVIII вѣкѣ.

Вмѣсто того, чтобы объяснить обществу существенное различіе между первобытными формами и политическими идеалами, которые зарождаются на болѣе зрѣлыхъ ступеняхъ развитія, указать на преемственность этихъ формъ и внутреннюю связь ихъ съ историческими условіями, эта исторіогра-

фія смѣшивала вѣче съ парламентомъ, съѣзды при дворѣ Каролинговъ съ Генеральными Штатами, и все это съ заимствованной изъ рационализма фикціей *общей воли* и государствующаго народа.

* * *

Впрочемъ, при всей убѣдительности, которую получили радикальныя теоріи отъ тѣснаго союза съ національною историографіей, ихъ успѣхъ окончательно зависѣлъ отъ политическаго образованія общества, отъ того запаса практическаго смысла, знакомства съ дѣломъ, пониманія государственнаго строя и его задачъ, которыя слагаются у людей подъ вліяніемъ жизни, изъ личнаго опыта ихъ общественной и государственной дѣятельности. Въ какомъ же положеніи находилось въ этомъ отношеніи французское общество? Что выносило оно изъ самой жизни, которая для большинства людей всегда составляетъ болѣе вліятельную школу убѣжденій, чѣмъ теорія и наука?

Трудно представить себѣ худшую школу, чѣмъ та, въ которой воспитывалось это общество до самаго момента, когда оно неожиданно было призвано къ безграничной самодѣятельности и къ неконтрольному самоопредѣленію своихъ судебъ. Франція находилась въ XVIII в. еще въ переходномъ состояніи отъ феодальнаго быта къ государственному. Въ ней, какъ и вездѣ на материкѣ, этотъ переходъ совершался чрезъ посредство бюрократическаго абсолютизма. Вездѣ эта форма была необходимымъ моментомъ историческаго развитія; и даже во Франніи, несмотря на многія неблагопріятныя условія, дѣятельность бюрократіи была во многихъ отношеніяхъ плодотворна. Но неизбѣжнымъ послѣдствіемъ новаго порядка было полное устраненіе общества отъ его дѣлъ, полное разобщеніе его съ государствомъ. Феодальныя формы общественной самодѣятельности или совсѣмъ омертвѣли, или приняла уродливое, вредное для общества направление; насколько онѣ мѣшали дѣятельности бюрократіи, въ которой выражалось новое государственное начало, онѣ

были беспощадно устраняемы ею, въ другихъ же случаяхъ оставались, какъ безобразныя развалины, которыя не сносятся по нежеланію тратить на это время и средства. По деревнямъ феодальныя сеньёры, лишившись своихъ господскихъ правъ, не получили взамѣнъ этого никакого общественнаго значенія и жили въ своихъ замкахъ, какъ *дачники*. Въ городахъ демократическій элементъ давно уже былъ устраненъ отъ участія въ общественныхъ дѣлахъ; немногочисленное *городское собраніе* состояло только въ меньшинствѣ изъ членовъ, выбранныхъ цехами и корпораціями, въ которыхъ, впрочемъ, право голоса имѣли только хозяева; большинство же собранія составляли представители различныхъ вѣдомствъ, т.-е. чиновники, избавленные отъ податей и потому мало заинтересованные въ дѣлахъ города. Но это городское собраніе само утратило почти всякое значеніе передъ распорядительнымъ городскимъ *совѣтомъ*, члены котораго назначались правительствомъ изъ лицъ, представляемыхъ городскимъ собраніемъ, и большею частью занимали свои мѣста пожизненно. Компетентность этого совѣта въ дѣлѣ городского хозяйства, въ свою очередь, была чрезвычайно сужена правительственными контрольными комиссіями и распоряженіями интенданта и подчиненной ему администраціи. Въ областномъ управленіи участіе общества было еще незначительнѣе. Въ большинствѣ провинцій феодальныя, областныя собранія (штаты) давно исчезли; въ Нормандіи, гдѣ они еще сохранились до конца XVII вѣка, они были уничтожены Людовикомъ XIV; тамъ, гдѣ ихъ не трогали—на окраинахъ и въ областяхъ, присоединенныхъ по договорамъ или недавно завоеванныхъ—кругъ дѣятельности ихъ касался преимущественно раскладки податей, и ихъ феодальное устройство мѣшало имъ правильно и широко понимать интересы области.

Неудивительно поэтому, что голоса современниковъ и новыя изслѣдователи единодушно свидѣтельствуютъ объ общественной неразвитости и крайнемъ равнодушіи къ своимъ нуждамъ всѣхъ слоевъ населенія. Отъ сельчанъ, конечно, тогда менѣе всего можно было требовать какого-нибудь обще-

ственного интереса; но тѣмъ не менѣе знаменательно, въ какое отчаяніе приходятъ отъ нихъ самые преданные ихъ интересу администраторы. Знаменитый Тюрго, принимавшій такъ близко къ сердцу нужды сельскаго населенія, въ официальномъ документѣ о немъ отзывается, что оно въ большей части королевства состоитъ изъ „крестьянъ бѣдныхъ, невѣжественныхъ и дикихъ (brutaux), неспособныхъ къ самоуправленію (de s'administrer)“; и это за 20 лѣтъ до того момента, когда это населеніе было призвано управлять не только дѣлами деревни, но всего государства! Городское населеніе вездѣ перестало интересоваться дѣлами города „и жило среди собственныхъ стѣнъ на подобіе чужестранцевъ. Напрасно городское управленіе пыталось отъ времени до времени пробудить въ немъ тотъ муниципальный патріотизмъ, который совершалъ чудеса въ средніе вѣка; оно остается глухимъ. Самые важные интересы города его какъ будто не касаются“ ¹⁾).

Дворянство сохранило нѣкоторыя благородныя черты своего рыцарскаго происхожденія и военнаго быта, но какъ общественный элементъ, оно было совершенно ничтожно. „Вся его мудрость“, по словамъ мѣткаго въ своихъ сужденіяхъ Мирабо-отца, состояла изъ семи или восьми статей: „почитать церковь, не лгать, держать свое слово, не совершать ничего неблагороднаго, не давать себя въ обиду другимъ, умѣть пустить лошадь надлежащимъ ходомъ, не сбиваться съ дороги (во время охоты), не бояться ни голода, ни жажды, ни жары, ни холода“... Дворянство все болѣе и болѣе изолировалось и теряло всякую связь съ общественными дѣлами и съ другими классами. Напрасно его предостерегали голоса изъ его же среды: „дворянство дѣлаетъ большую ошибку, писалъ маршалъ Монлюкъ еще въ XVI вѣкѣ, и наноситъ себѣ большой вредъ тѣмъ, что пренебрегаетъ городскими должностями, особенно въ столицахъ: ибо вслѣдствіе его отказа занимать эти должности или равнодушія къ нимъ, горожане овладѣваютъ властью, и когда мы являемся

¹⁾ Tossueville, L'anc. Régime 89.

къ нимъ, то должны кланяться имъ (les bonneter) и ухаживать за ними“. Аристократія, устраненная отъ государственныхъ дѣлъ высшей бюрократіей и принужденная добиваться вліянія посредствомъ интригъ, также утратила всякое чутье дѣйствительности и всякій политическій смыслъ; но зато, какъ жалуется одинъ изъ самыхъ умныхъ ея членовъ: „мы отлично знаемъ толкъ въ экипажахъ, бездѣлушкахъ, табакеркахъ, фарфорѣ; прекрасно владѣемъ искусствомъ интриговать и испрашивать милостыню—en talons rouges“.

Но какое же зрѣлище представляетъ намъ всемогущее французское чиновничество, такъ рѣшительно отѣснившее отъ дѣлъ всѣ другіе общественные элементы?—Государственная служба можетъ быть высокой школой исполненія долга и развитія государственнаго интереса; чиновничество, воспитанное въ такой школѣ, можетъ если и не замѣнить политическое развитіе общества, то заставить общество не жалѣть о своемъ бездѣйствіи. Но совсѣмъ не таково было положеніе дѣла во Франціи. Несмотря на абсолютизмъ и установившуюся централизацию, французское государственное управление не освободилось отъ феодальнаго духа; участіе въ той или другой функціи этого управленія было не столько *службой*, налагавшей обязанности, сколько *владѣніемъ*, доставлявшимъ права и привилегіи; не столько исполненіемъ долга по отношенію къ обществу или государству, сколько эксплуатацией ихъ въ личныхъ интересахъ. Сравнительно еще лучше были въ этомъ отношеніи поставлены новыя отрасли государственнаго управленія, вѣдомство администраціи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова; интенданты, подчиненные генеральному контролеру съ своими непосредственными подчиненными, были въ нѣкоторомъ смыслѣ прямыми служителями государственнаго интереса, хотя и одностороннимъ образомъ понятаго: ибо для нихъ интересы власти, которую они представляли, а нерѣдко интересы самихъ представителей власти, были главною цѣлью ихъ дѣятельности безъ всякаго вниманія къ средствамъ, употребляемымъ въ дѣло и

къ ихъ послѣдствіямъ. Но въ особенно ненормальномъ положеніи находились важныя отрасли финансоваго и общественнаго управленія, а также судебное вѣдомство. Главная приманка многочисленныхъ должностей во Франціи заключалась въ связанныхъ съ ними привилегіяхъ; эти привилегіи, особенно для низшихъ разрядовъ должностей, состояли преимущественно въ избавленіи отъ податей и повинностей. Чѣмъ тяжеле были подати, тѣмъ выгоднѣе было получить или купить должность; чѣмъ больше было должностныхъ лицъ, тѣмъ тяжелѣе приходилось остальнымъ плательщикамъ общины. При такомъ положеніи дѣла *должности* утрачивали въ глазахъ населенія характеръ государственной службы и являлись привилегіями; чиновничество заслоняло собой отъ общества самое государство. Съ другой стороны, должностныя лица постоянно находились въ искушеніи расширить свои привилегіи, извлечь по возможности больше выгоды изъ своего привилегированнаго положенія.

Такой характеръ эксплуатаціи общества частными лицами носила вся общественная служба. Городскія административныя должности, тамъ, гдѣ онѣ покупались или занимались по выбору, были вовсе или почти безвозмездны, но только номинально; ибо эти должности или давали дворянство, съ которымъ были связаны и податныя преимущества, или временно освобождали отъ разнаго рода неприятныхъ повинностей и предоставляли возможность дешево отдѣлаться отъ тяжелыхъ податей; поэтому городскихъ должностей преимущественно добивались богатые люди, для которыхъ избавленіе отъ подоходнаго налога составляло существенный расчетъ (они платили, напр., 30 франковъ вмѣсто 300 или даже 1.000). При такихъ условіяхъ не только общая масса населенія относилась безучастно къ городскимъ интересамъ ему недоступнымъ, но тотъ небольшой слой, который завѣдывалъ городскими дѣлами, привыкалъ искать въ нихъ лишь удовлетвореніе своимъ частнымъ интересамъ.

Еще хуже дѣло было поставлено тамъ, гдѣ извѣстной отрасли администраціи поручались государственныя интересы

въ формѣ эксплуатаціи частнаго права. Таково было положеніе администраціи косвенныхъ податей, находившихся на откупѣ. Многочисленные агенты откупа были облечены правомъ самаго придирчиваго контроля надъ домашнею жизнью и хозяйствомъ частныхъ лицъ,—правомъ, посредствомъ особеннаго административнаго суда налагать суровыя, несообразныя съ виной, кары за нарушеніе ихъ распоряженій. Но пользуясь своими обширными полномочіями, эти агенты не являлись конечно населенію блюстителями государственнаго интереса; оно не могло иначе смотрѣть на ихъ дѣятельность, какъ на вымогательство непомѣрныхъ и незаконныхъ барышей.

Французская магистратура отличалась многими высокими достоинствами; она была вообще образована, относилась съ уваженіемъ къ своему призванію, свято хранила преданіе, замѣнявшее ей науку, была сильна корпоративнымъ духомъ и независима; но часть этихъ достоинствъ была пріобрѣтена дорогой цѣной—продажностью и наслѣдственностью должностей; то, что въ прежнюю полу-феодалную эпоху служило точкой опоры для образованія почетнаго и независимаго судебного сословія, становилось аномаліей въ XVIII вѣкѣ; тамъ, гдѣ правосудіе, истолкованіе и примѣненіе закона оставались фамиліной или сословной привилегіей, не могли развиваться идеи государственнаго интереса.

Французское общество, не находя нигдѣ въ окружающемъ его строѣ служенія общимъ интересамъ, стало искать вдали отъ себя идеаловъ безкорыстнаго, одушевленнаго служенія общему благу; ему указали на античныя республики, какъ на олицетвореніе такого идеала, и съ тѣхъ поръ слово *vertu*—въ смыслѣ гражданской доблести и патріотизма не сходило съ языка литературно образованнаго общества. Чрезвычайно знаменательно, что именно извѣстнѣйшій представитель французской магистратуры, получившій въ 27 лѣтъ отъ дяди должность парламентскаго президента, сформулировалъ упомянутое выше положеніе, что гражданскій долгъ составляетъ жизненный принципъ государства только въ

республикахъ, въ монархіяхъ же можетъ замѣняться честолюбіемъ и чувствомъ чести!

Сама не сознавая великаго интереса, которому она служила, не руководясь въ своей дѣятельности никакимъ нравственнымъ принципомъ, французская бюрократія не могла пріобрѣсти нравственнаго авторитета въ глазахъ общества, интересы котораго она взяла въ свои руки. Централизація и административная опека поэтому нигдѣ не сопровождались во Франціи сочувствіемъ населенія, или хотя бы признаніемъ неизбежности новаго порядка въ виду феодальнаго неустройства. Французская бюрократія могла насильно лишить общество послѣднихъ остатковъ самоуправленія, но она не находила при этомъ поддержки въ общемъ сознаніи, что это дѣлается ко благу страны. На долю французской администраціи никогда не приходилось подобнаго торжества ¹⁾, какимъ увѣнчались успѣхи бюрократіи въ сосѣдней Пруссіи.

Въ 1744 году Пруссія пріобрѣла по стариннымъ конвенціямъ право на присоединеніе Остфризіи, гдѣ въ это время прекратилась мѣстная княжеская династія. Въ этой небольшой области феодальные порядки развились на полномъ просторѣ. Верховная власть была раздѣлена между княземъ и штатами, состоявшими изъ рыцарства, 15 депутатовъ отъ вольныхъ городовъ и 180 выборныхъ отъ третьяго сословія. Пререканія между этими властями въ послѣднія десять лѣтъ приняли такіе размѣры, что дѣло кончилось кровавыми столкновеніями и военнымъ занятіемъ страны гарнизонами сосѣднихъ державъ. Вступая въ обладаніе страной, прусскій король утвердилъ ея *исконныя привилегіи* и обѣщалъ „крѣпко охранять штаты во всѣхъ ихъ добрыхъ правахъ и обычаяхъ и ничего противъ нихъ не чинить и не дозволять другимъ“. На основаніи этого обѣщанія между штатами и новымъ государемъ была заключена конвенція, въ которой король призналъ за штатами право давать свое согласіе на взиманіе

¹⁾ Oncken. Das Zeitalter Friedrichs des Grossen. I, 552.

податей и предоставилъ имъ самый сборъ ихъ, а также завѣдываніе ими посредствомъ назначаемого штатами управленія безъ всякаго вмѣшательства съ своей стороны. Но уже пять лѣтъ спустя собраніе штатовъ въ Аурихѣ отправило ходатайство въ Берлинъ съ отреченіемъ отъ заключеннаго договора. Штаты просили короля принять въ свое завѣдованіе и управленіе „земскую казну“. „Этой существенной долей верховной власти ваше королевское величество обладаетъ во всѣхъ остальныхъ вашихъ областяхъ, которыя при этомъ процвѣтаютъ и постоянно выигрываютъ въ благосостояніи, почему и мы ожидаемъ подобнаго же счастья отъ этого новаго устройства“ (Verfassung).

Французская финансовая администрація отнюдь не могла похвалиться, что въ непосредственно подчиненныхъ ей областяхъ дѣла шли лучше, чѣмъ тамъ, гдѣ сохранились остатки самостоятельныхъ провинціальныхъ учрежденій; напротивъ, сами руководители государственной администраціи въ официальной перепискѣ со своими подчиненными сознавались въ томъ, что способъ финансоваго управленія въ областяхъ со штатами гораздо совершеннѣе, чѣмъ въ провинціяхъ съ бюрократической администраціей ¹⁾.

* * *

Несовершенство способовъ обложенія и взиманія податей, неравномѣрное и произвольное ихъ распредѣленіе, невниманіе къ нуждамъ плательщиковъ при расходованіи средствъ, — всѣ эти недостатки финансовой администраціи наносили тяжкій ущербъ той власти, которую она была призвана поддерживать.

Всего же болѣе подрывалось уваженіе къ государственной власти постоянными нарушеніями обѣщаній и обязательствъ правительства. Новые налоги, объявляемые съ точнымъ обозначеніемъ срока, всегда обращались въ постоянные,

¹⁾ Чрезвычайно любопытное сознаніе такого рода со стороны директора департамента налоговъ въ письмѣ къ одному изъ интендантовъ приведено въ приложеніи въ извѣстной книгѣ Токвиля стр. 441.

тогда какъ сроки для денежныхъ обязательствъ государства рѣдко соблюдались. Вся финансовая исторія эпохи Людовика XV есть исторія государственнаго банкротства, то заявляемаго и насильственнаго, то скрытаго и частнаго, но не менѣе произвольнаго; исторія этого царствованія открывается съ банкротства посредствомъ системы бумажныхъ денегъ Ло, которыми ликвидировались обязательства Людовика XIV; она окончилась банкротствомъ аббата Терре, которое хотя и погасило самыми возмутительными мѣрами ежегодные проценты съ государственнаго долга на 20 милліоновъ ливровъ, но несмотря на это оставило государственное хозяйство обремененнымъ сорокамилліоннымъ дефицитомъ. Цѣлымъ рядомъ цифръ легко засвидѣтельствовать тяжесть потерь, которыя несло общество вслѣдствіе финансовыхъ мѣръ правительства; но еще краснорѣчивѣе говорятъ объ этомъ отрывочные факты, сохранившіеся въ мемуарахъ, ¹⁾ или частныя письма того времени, въ которыхъ такъ часто идетъ рѣчь о разореніи или о страхѣ разоренія. Сначала отъ произвольнаго обращенія правительства съ государственными средствами и съ своими денежными обязательствами главнымъ образомъ страдали откупщики податей, зажиточные люди, которые довѣряли ему свои капиталы въ расчетъ на большіе барыши; но по мѣрѣ того, какъ развивался государственный кредитъ и правительственныя обязательства стали проникать во всѣ слои общества, расширялся вмѣстѣ съ тѣмъ и кругъ лицъ, испытывавшихъ на себѣ пагубныя послѣдствія государственнаго банкротства, такъ что трудящіеся классы, опасавшіеся потерять свой заработокъ, и самые консервативные элементы общества мало-по-малу стали доступны тревогѣ. Около половины XVIII вѣка *политики*, какъ выразился д'Аржансонъ, называли финансовую администрацію своей страны—une anarchie dépen-siègre; тридцать лѣтъ спустя почти все общество состояло изъ

¹⁾ Уальполь рассказываетъ, что во время финансоваго управленія Терре въ теченіе одного года сто тысячъ лицъ, вслѣдствіе разоренія или опасаясь за свою свободу, покинули столицу, чтобы уѣхать въ провинцію или за границу.

такихъ политиковъ, и когда раскрылись операции Калонна, всю Францію облетѣлъ внушенный паническимъ страхомъ слухъ, что онъ растратилъ четыре милліарда: отголоски этого слуха встрѣчаются даже въ наказахъ 1789 года.

Трудно впрочемъ сказать, что вреднѣе отражалось на обществѣ—самое ли разореніе и чувство необезпеченности матеріальныхъ интересовъ, или же нарушеніе права частной собственности, такъ часто происходившее на его глазахъ. Финансовая администрація привыкла не только сама пренебрегать своими обязательствами, но правительство не разъ освобождало въ интересахъ своей казны города, общины, корпораціи и благотворительныя учрежденія отъ срочной уплаты ихъ долговъ и процентовъ по займамъ. Для нравственныхъ свойствъ и для политическаго образованія народа такое пренебреженіе къ праву не можетъ пройти безслѣдно. Но еще глубже отразилась на французскомъ обществѣ другая вина бюрократіи — она своими дѣйствіями затемнила въ обществѣ самое понятіе о законѣ.

Правда, французская администрація находилась въ трудномъ положеніи, въ болѣе трудномъ, чѣмъ бюрократія въ какой-либо другой европейской странѣ. Государственный порядокъ развивался во Франціи не исподволь, не безпрепятственно, а былъ въ нѣкоторомъ смыслѣ насильно насаженъ на прежній феодальный строй. Бюрократія дѣйствовала во многихъ отношеніяхъ, какъ въ завоеванной странѣ. Отсюда одна изъ худшихъ сторонъ старой французской администраціи — произволь и безотвѣтственность. Во время борьбы съ феодализмомъ мелкіе люди, низкіе родомъ, сталкивались въ качествѣ агентовъ правительства съ могущественными феодальными сеньорами, съ городами и корпораціями, которые гордились своими вольностями и правами. Въ этой трудной борьбѣ представители правительственной власти нерѣдко бывали принуждены опираться на непосредственно объявленную волю короля. Такіе спеціальныя королевскіе приказы (*lettres de cachet*) съ теченіемъ времени обратились въ обыкновенное административное средство. И именно въ XVIII вѣкѣ, когда

вслѣдствіе могущества правительства, надобность въ нихъ, повидимому, уменьшилась, количество ихъ возросло до крайности. Не одни опасные, какъ въ былое время, враги государственнаго порядка, были предметами королевскихъ приказовъ, а малоизвѣстные литераторы, издатели, игроки, непослушные сыновья, люди всѣхъ классовъ и положеній; и не государственный интересъ былъ исключительнымъ мотивомъ внезапнаго вмѣшательства верховной власти въ частную сферу и обыкновенное теченіе жизни, а нерѣдко самые мелкіе личные поводы, месть, интрига и даже подкупъ. Главный вредъ установившейся административной практики, — постоянно прибѣгать къ королевскимъ приказамъ, — заключался, если разсматривать этотъ вредъ только съ правительственной точки зрѣнія, въ томъ, что высокая идея королевской власти и воли всуе вносились въ дразги и мелочи жизни, что постоянно увеличивалось число частныхъ лицъ, которыя считали свои интересы несправедливо нарушенными самой королевской властью. Еще хуже было то, что этимъ путемъ высшая и низшая администрація постоянно укрывались отъ всякой отвѣтственности за свои распоряженія. Отъ королевской воли некуда было апеллировать: этого результата и добивалась администрація; но чѣмъ легче было для нея дѣйствовать этимъ способомъ, тѣмъ болѣе увеличивалось искушеніе произвольнаго и безконтрольнаго образа дѣйствія. Частныя злоупотребленія *королевской волею* профанировали проявленіе монархической власти въ области администраціи; не менѣе того пострадало въ XVIII столѣтіи значеніе этой власти въ области законодательства.

Вѣками освященный порядокъ изданія законовъ во Франціи заключался въ томъ, что королевскій указъ вносился въ реестры парламентовъ и тѣмъ получалъ обязательную силу для всѣхъ судебныхъ и административныхъ учреждений въ районѣ каждаго изъ этихъ парламентовъ. Актъ внесенія въ реестръ совершался съ нѣкоторою торжественностью, при извѣстныхъ формальностяхъ и нерѣдко подавалъ поводъ къ заявленіямъ и возраженіямъ (*remontrances*) со стороны парла-

мента противъ вносимаго указа. Такимъ образомъ парламенты получили на практикѣ право извѣстнаго контроля надъ законодательными актами правительства, — самый актъ внесенія въ реестры обозначался словомъ *vérifier*. Правительство, если встрѣчало упорное сопротивленіе со стороны парламента, дѣйствовало или личными средствами на предсѣдателей и членовъ, или прибѣгало къ королевскимъ засѣданіямъ, на которыхъ законъ вносился въ реестры безъ голосованія. Пока сами парламенты, особенно Парижскій, были главными органами правительственной власти въ борьбѣ съ феодализмомъ, такое положеніе дѣла не представляло особенныхъ неудобствъ; оно вело только къ большей осмотрительности въ законодательномъ дѣлѣ. Но когда рядомъ съ парламентами и въ антагонизмъ съ ними развилась могущественная бюрократія, когда законодательные акты по всѣмъ частямъ управленія стали учащаться и размножаться, когда парламенты выступили защитниками стараго порядка и привилегій, тогда право вмѣшательства ихъ въ законодательство стало серьезнымъ и постояннымъ затрудненіемъ для правительства. При Людовикѣ XIV парламенты довольствовались ролью молчаливыхъ исполнителей; они соглашались сначала регистрировать законъ, а потомъ уже представлять свои возраженія. Но когда по смерти Людовика XIV регентъ прибѣгнулъ къ помощи Парижскаго парламента, чтобъ кассировать неудобное для него завѣщаніе короля, старинныя притязанія парламентовъ воскресли съ новой силой. Къ этому примѣшался церковный вопросъ: правительство покровительствовало іезуитамъ или ультрамонтанской партіи въ католичествѣ; парламенты защищали янсенистовъ, противниковъ папскаго абсолютизма и вмѣстѣ съ тѣмъ отстаивали права свѣтской власти въ области церковной. Ожесточенная борьба среди духовенства и разладъ въ обществѣ постоянно подавали поводъ къ столкновеніямъ между министерствомъ и парламентами. Изъ области церковной борьба была перенесена въ область финансовыхъ и чисто законодательныхъ вопросовъ. На всемъ пространствѣ правительственной дѣятельности мало-по-малу установился постоян-

ный антагонизмъ между двумя органами верховной власти— министерствомъ и парламентомъ, какое то своего рода *двоевластiе*, которое глубоко смущало общество, сбивало его понятiя о правительствѣ и подрывало въ немъ привычку повиновенiя и уваженiя ко властямъ.

Вся исторiя XVIII вѣка представляетъ рядъ непрерывныхъ скандаловъ при столкновенiи властей. По заключенiи Ахенскаго мира министерство не отмѣнило десятипроцентной подати, отмѣна которой была обѣщана королемъ по возстановленiи мира: тогда въ Парижѣ появились печатные плакаты, приглашавшiе населенiе не платить подати. Министерство потребовало отъ Парижскаго парламента, чтобы онъ приговорилъ „къ сожженiю огнемъ“ мятежныя писанiя. Парламентъ отказалъ ему въ этомъ; провинциальные же парламенты въ Бордо, Эксъ, По и Тулузѣ запретили плательщикамъ уплачивать подать, а сборщикамъ требовать ея подѣ страхомъ ареста и заключенiя. Нѣсколько лѣтъ спустя король, по случаю столкновенiя между „великимъ совѣтомъ“ и парламентомъ, издалъ декларацiю, въ которой признавалъ за совѣтомъ право *верховнаго трибунала* (*сour souveraine*) и приказалъ обнародовать эту декларацiю во всемъ королевствѣ. Парламентъ *прiостановилъ* ея обнародованiе „до тѣхъ поръ, пока онъ представитъ свои возраженiя“. Въ 1752 году парламентъ приговорилъ одного викарiя къ изгнанiю изъ Парижа, а двухъ церковныхъ служителей къ выговору въ палатѣ за ослушанiе парламентскихъ приказанiй; министерство кассировало этотъ приговоръ посредствомъ постановленiя *совета* и приказало выкрикивать, по обычаю, на улицахъ это правительственное распоряженiе. Несмотря на это парламентъ обнародовалъ тѣмъ же способомъ на улицахъ Парижа свой приговоръ, такъ что, какъ замѣчено въ одномъ современномъ дневникѣ, „въ одинъ и тотъ же день и часъ народу объявлялась воля двухъ властей почти равныхъ, которыя сталкивались въ своихъ распоряженiяхъ“.

Подобныя столкновенiя, конечно, не обходились безъ возбужденiя страстей и запальчивыхъ притязанiй. Парламент-

скіе протесты и обвиненія противъ правительства, которые быстро разносились по всей странѣ, представляютъ собой полный лексиконъ революціоннаго языка. Вліяніе этой оппозиціи было тѣмъ сильнѣе, что за парламентомъ стояла вся масса подвѣдомственнаго ему чиновнаго люда отъ парижскихъ адвокатовъ до засѣдателей въ мелкихъ бальяжныхъ судахъ и сельскихъ нотаріусовъ. Когда въ 1753 году за свои „grandes remontrances“ противъ буллы Unigenitus Парижскій парламентъ былъ сосланъ въ Понтуазъ и король назначилъ временную комиссію для производства суда, Шателе (уголовный судъ) въ Парижѣ отказался признать надъ собой какую-либо высшую инстанцію, кромѣ Парижскаго парламента, и его примѣру послѣдовали почти всѣ мѣстныя судебныя учрежденія Парижскаго округа. Маленькій сельскій судъ изъ двухъ чиновниковъ былъ даже настолько смѣлъ, что представилъ особый протестъ противъ королевскаго указа ¹⁾. Все это совершалось задолго до появленія Contrat Social и распространенія въ публикѣ крайнихъ теорій радикализма. Оппозиція старыхъ парламентовъ противъ новой бюрократіи была настоящей революціонной школой многочисленнаго французскаго чиновничества, которое и явилось главнымъ дѣятелемъ въ переворотѣ 1789 года.

Самая гибельная ошибка французской монархіи заключалась, конечно, въ томъ, что она не устранила этого двоевластія въ законодательствѣ и управленіи; напрасныя же попытки министровъ въ этомъ смыслѣ и средства, къ которымъ они прибѣгали, еще ухудшали положеніе дѣла. Правительство постоянно колебалось между системой бюрократическаго абсолютизма и тѣмъ, что по понятіямъ Франціи въ XVIII вѣкѣ признавалось *легальнымъ* порядкомъ; наперекоръ общественному мнѣнію, раздражая страну и разнуздывая страсти, оно не разъ прибѣгало къ силѣ и всякій разъ послѣ этого, какъ бы утомленное борьбой или сознавши свою неправоту,

¹⁾ Le flot de la révolte qui avait envahi les villes gagnait maintenant les villages;—прибавляетъ къ этому факту Rocquain. L'esprit révolutionnaire avant la Révolution p. 174.

оно возстановляло въ ущербъ себѣ и всему государству старый порядокъ, который такимъ образомъ становился еще болѣе легальнымъ въ глазахъ Франціи.

Вмѣсто того, чтобы подготовить общество, просвѣтить его насчетъ его настоящихъ интересовъ и систематически преслѣдовать общій планъ реформъ государственнаго устройства и порядка законодательства, французское правительство дѣйствовало то палліативными мѣрами—королевскими засѣданіями (*lits de justice*), кассацией парламентскихъ постановленій, уничтоженіемъ реестровъ, ссылкой въ изгнаніе отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ палатъ, то неожиданно рѣшалось на радикальную мѣру совершеннаго уничтоженія парламентовъ. Крутыя попытки такого рода повторялись хронически на протяжении приблизительно восемнадцати лѣтъ до послѣдней роковой попытки при архіепископѣ Ломени-де Бриеннѣ, непосредственно приведшей къ перевороту 1789 года.

Совѣтники короля не понимали, что простое уничтоженіе парламентовъ было невозможно безъ полнаго переустройства *старого* порядка, за которое правительство не хотѣло приниматься; они не сознавали, что парламенты являлись не только защитниками сословныхъ и корпоративныхъ привилегій, за которыя тогда стояли всѣ вліятельные классы общества, но были въ то же время въ глазахъ всей Франціи стражами законныхъ формъ, основательнаго, всесторонняго и гласнаго обсужденія законодательныхъ актовъ правительства—при тѣхъ условіяхъ, которыя допускало тогдашнее государственное устройство Франціи. Потому Людовикъ XVI напрасно, по требованію своихъ министровъ, заявлялъ парламентскимъ депутатамъ, что „все, что дѣлается отъ моего имени, происходитъ по моему приказанію“.—Парламенты на это отвѣчали, „что если бы ихъ лишили священнаго права провѣрки королевскихъ эдиктовъ, основаннаго на свободѣ *нации*, то истина не достигала бы до престола“. Вслѣдствіе такихъ постоянныхъ пререканій между властями по вопросу о формахъ и способахъ дѣйствія законодательной власти, во всей Франціи пробудилась потребность болѣе опредѣленной

и лучше организованной системы законодательства и глубоко укоренилось убѣжденіе, которое высказалось въ жалобѣ одного изъ наиболѣе дѣльныхъ наказовъ старой Франціи—le Roi s'est réduit à être l'organe de son conseil au lieu d'être le chef de sa nation ¹⁾.

Но тутъ-то именно и обнаружилась политическая неразвитость французскаго общества въ XVIII вѣкѣ. Потребность болѣе органическихъ формъ законодательства ощущалась смутно и не могла опираться на опытъ жизни и на практическія соображенія. Она искала себѣ выхода въ туманной идеѣ *націи* или народа, которая по самой неопредѣленности этого понятія, какъ политическаго термина, удовлетворяла всевозможные инстинкты и требованія. Поэтому съ самаго начала XVIII вѣка все чаще и чаще слышится это слово, и по исторіи его употребленія можно возсоздать въ общихъ чертахъ главные фазисы политическаго движенія во Франціи. Подыскивая конкретное выраженіе для своей идеи, поклонники идеи *націи* сначала усматривали въ парламентахъ ея представителей. Еще во время пререканій Регента съ парламентомъ по поводу буллы, въ Парижѣ стали говорить, что магистраты собираются апеллировать противъ папскаго постановленія къ будущему церковному собору и хотятъ сдѣлать это *отъ имени націи*. Затѣмъ уже стали выставлять парламентъ, какъ представителя націи въ противоположность правительству. Въ 1730 году въ мемуарѣ 40 парижскихъ адвокатовъ парламентъ названъ *совѣтомъ* націи (le sénat de la nation) и на этомъ основаніи за магистратами признавалась въ вычурныхъ выраженіяхъ законодательная власть—(soverainement depositaires des lois de l'Etat). Парламентъ, который долго присуждалъ подобные политическіе памфлеты къ уничтоженію, въ 1759 году въ первый разъ въ своей оппозиціи противъ правительства сослался на права націи. Притязанія со стороны парламента выступать отъ имени

¹⁾ Наказъ третьяго сословія Немурскаго бальяжа—Archives Parlam. IV. 169.

націи нашли себѣ еще болѣе опредѣленное выраженіе въ попыткахъ установить тѣсную связь между всѣми французскими парламентами посредствомъ депутацій и общихъ мѣропріятій. Въ своихъ постановленіяхъ парламенты стали называть себя *отдѣленіями* парламента (*classes de Parlement*), заявляя этимъ, что признають себя членами одного общаго національнаго учрежденія. Въ публикѣ очень сочувствовали такимъ притязаніямъ: одни видѣли въ этомъ общемъ парламентѣ какъ-бы *непрерывные* (*perpétuels*) Генеральные Штаты; другіе говорили, что ассоціація парламентовъ представляетъ нѣчто болѣе, чѣмъ Генеральные Штаты, что это вполнѣ организованное *національное правительство*. Когда разнесся слухъ, что сосланные въ Понтуазъ на покой члены парламента занимаются тамъ политическими науками, въ Парижѣ говорили, что когда-нибудь французскій народъ можетъ въ случаѣ нужды найти въ нихъ готовый *національный советъ*.

Къ концу царствованія Людовика XV можно отмѣтить новый фазисъ въ понятіи о націи; настоящимъ представителемъ ея начинаютъ считать не столько парламентъ, сколько Генеральные Штаты. Въ протестѣ *палаты косвенныхъ сборовъ* по случаю упраздненія Парижскаго парламента предсѣдатель палаты Мальзербъ, будущій министръ и потомъ защитникъ Людовика XVI предъ Конвентомъ, заявлялъ королю о необходимости созвать Генеральные Штаты и опросить *націю*, чтобъ узнать ея мнѣніе чрезъ неподкупное свидѣтельство ея представителей. Съ тѣхъ поръ въ официальныхъ актахъ парламентовъ и прочихъ палатъ, въ брошюрахъ, рукописныхъ газетахъ и дневникахъ все чаще и чаще упоминается о націи, но представленія о ней остаются такъ же смутны. Воспоминанія о древнихъ Генеральныхъ Штатахъ не могли служить при этомъ руководною нитью. Ни ихъ организація, ни способъ дѣйствія ихъ, ни компетентность ихъ въ государственныхъ вопросахъ не представляли ничего опредѣленнаго, выработаннаго исторіей или формулированнаго законодательными актами; но главное дѣло было въ томъ, что въ ту эпоху, когда созывались Генеральные Штаты, сама нація предста-

вляла нѣчто совершенно другое, и задачи и средства государственной власти были иныя, чѣмъ въ XVIII вѣкѣ. Дѣятельность Генеральныхъ Штатовъ относилась къ тому времени, когда во Франціи еще не сложилась централизованная бюрократія. Поэтому возобновленное преданіе о Генеральныхъ Штатахъ только усилило смутность представленій о *націи*. Въ сбивчивыхъ и противорѣчивыхъ мечтаніяхъ о націи одно только было ясно и для всѣхъ несомнѣнно—чисто оппозиціонный характеръ этого понятія. Общество, устранившееся отъ всякихъ дѣлъ, отрѣшенное бюрократіей отъ всякаго соприкосновенія съ практической и отрезвляющей дѣйствительностью, не могло представить себѣ націю иначе, какъ въ какомъ-то страстномъ антагонизмѣ съ бюрократіей, и такъ какъ это общество было приучено смѣшивать бюрократизмъ съ монархіей, то отсюда и родилось то противопоставленіе монархическаго принципа *народному*, которое принесло Франціи такіе горькіе плоды. У однихъ подъ вліяніемъ преданій о старинныхъ Генеральныхъ Штатахъ сложилось какое-то немислимое представленіе о двоевластіи короля и народа; другіе, у которыхъ глубже запали книжныя доктрины, разрѣшали этотъ дуализмъ столь же невозможнымъ подчиненіемъ монархическаго правительства проблематической *общей воли народа*.

Французское правительство стало наконецъ сознавать необходимость привлечь общество къ занятію *общественными* дѣлами. Тюрго, призванный въ министерство молодымъ Людовикомъ XVI, носился съ проектомъ выборныхъ собраній съ соответствующимъ ихъ значенію кругомъ дѣятельности. Въ стройномъ порядкѣ должны были возвышаться другъ надъ другомъ эти собранія—приходскія, городскія, областныя и, наконецъ, надъ всѣми—*Общее* или *Королевское Собраніе* (Grande Municipalité ou Municipalité royale ou Municipalité générale du royaume), которое должно было имѣть не политическое, а административное значеніе и служить орудіемъ для правительства при проведеніи необходимыхъ пре-

образованій ¹⁾. Но такъ какъ первыя реформы Тюрго вслѣдствіе оппозиціи парламентовъ и общества повлекли за собой его паденіе, то онъ не успѣлъ привести въ исполненіе ни одной части своего плана. Его преемникъ Некеръ взялъ какъ бы на пробу изъ этого плана небольшой фрагментъ и учредилъ два областныхъ собранія въ Берри и Верхней Гюеннѣ. Существенныя мѣстныя реформы и сотни тысячъ ливровъ добровольныхъ взносовъ на общественныя нужды тотчасъ доказали полезность новаго учрежденія и его воспитательное значеніе для общества.

Еще нѣсколько лѣтъ спустя Калоннѣ, уже близкій къ банкротству, возвратился опять къ этому плану, а при его преемникѣ были дѣйствительно вездѣ учреждены провинціальныя собранія; но прежде однако, чѣмъ эти новыя учрежденія успѣли сколько нибудь повліять на политическое развитіе французскаго общества, состоялось созваніе королемъ Генеральныхъ Штатовъ.

* * *

Это созваніе сопровождалось мѣрой, которой мы обязаны однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ историческихъ памятниковъ. Въ немъ отразилось съ небывалою въ исторіи рельефностью все французское общество съ его политическимъ образованіемъ, его идеалами и бреднями; а въ этомъ отраженіи можно отчетливо различить, несмотря на ихъ хаотическое смѣшеніе, различные элементы, повліявшіе на политическія стремленія того времени: либеральныя и радикальныя доктрины, историческія галлюцинаціи, перетолкованныя

¹⁾ Какъ смотрѣлъ Тюрго на верховную власть короля, которому должна была быть подчинена какъ бюрократическая, такъ и выборная администрація страны, видно изъ слѣдующихъ замѣчательныхъ словъ: *La plus grande de toutes les puissances est une conscience pure et éclairée dans ceux à qui la Providence a remis l'autorité. C'est le désir prouvé de faire le bien de tous. Votre Majesté, tant qu'elle ne s'écartera pas de la justice, peut donc se regarder comme un législateur absolu et compter sur sa bonne nation pour l'exécution de ses ordres. Mémoire sur les Municipalités. Oeuvres de Turgot. Ed. Daire. II 503.*

преданія о Генеральныхъ Штатахъ, притязанія сословіи и корпорацій и болѣе всего политическую незрѣлость общества, устраненнаго отъ завѣдыванія своими дѣлами и наболѣвшія подъ бюрократическимъ управленіемъ идеи о *націи* и народовластіи.

Рѣшившись снова созвать не собиравшіеся 175 лѣтъ Генеральные Штаты и слѣдуя при этомъ по возможности стариннымъ обычаямъ, правительство Людовика XVI предписало избирателямъ снабдить своихъ представителей нужными имъ полномочіями и сообщить имъ свои нужды и желанія. Такимъ образомъ каждая община, отъ столицы до самаго маленькаго, затерявшагося въ горахъ прихода, каждое сословіе, каждая ремесленная или торговая корпорація, получили возможность свободно высказать свой взглядъ на мѣстные и общія потребности и формулировать свой политическій образъ мысли. Такъ возникли знаменитые *Cahiers* или указы 1789 года. Громадная нація въ самыхъ тонкихъ и разнообразныхъ своихъ расчлененіяхъ была этимъ способомъ какъ бы подвергнута дѣйствию фотографическаго аппарата, который увѣковѣчилъ ея духовный обликъ въ этотъ важный моментъ ея жизни съ его малѣйшими оттѣнками.

Нужно однако сказать, что этотъ интересный обликъ, который сняла съ себя Франція наканунѣ своего вступленія въ новую пору жизни, до сихъ поръ недостаточно изученъ и оцѣненъ въ своемъ значеніи. Недавно только сохранившаяся до нашего времени часть наказовъ была собрана и напечатана по распоряженію французскаго правительства ¹⁾. Это официальное изданіе наказовъ представляетъ огромный матеріаль, хотя въ немъ и много пробѣловъ; особенно чувствительна относительная малочисленность напечатанныхъ здѣсь сельскихъ и такъ называемыхъ *первичныхъ* наказовъ изъ городовъ. По избирательному *регламенту* приходскіе и цеховые указы сливались и перерабатывались въ одинъ общій наказъ отъ цѣлаго города или судебного округа (бальяжа

¹⁾ Archives Parlementaires. Première Série T. I—VII. 1879.

или сенешальства); эти городские и окружные указы, в свою очередь, подвергались переработке вместе с другими однородными для того, чтобы войти в состав наказа от более обширного судебного округа (*baillage principal*) ¹⁾.

Составленные таким образом указы 1789 года, которыми должны были руководиться депутаты Генеральных Штатов, вызвали в свое время не малый интерес, и тогда же было сделано несколько попыток подвести им общий итог и установить, так сказать, их политический результат. Подобные работы, конечно, не могли не быть спешны; материал для них подбирался случайно, и самая цель, которую имбли в виду составители извлечений, придавала последним тенденциозный характер. Но в пылу быстро чередовавшихся событий указы скоро утратили свой практический интерес и были совсем забыты. Историки этих событий обыкновенно вовсе не изучали наказов или, что еще хуже, довольствовались знакомством с краткими и пристрастными изложениями их содержания (наприм. у Бюше).

Первый, кто, можно сказать, открыл указы 1789 года для исторической науки, был Токвиль. Но наблюдения, которые он сделал над ними и успел обнародовать, были высказаны им как бы мимоходом и только подготовляли научную разработку ценного для истории материала. С тех пор указы стали возбуждать больший к себе интерес в кругу французских историков; в печати появились даже два очень замечательных специальных исследования об них; ²⁾ но борьба политических партий, разыгрывающаяся на

¹⁾ Здесь идет речь о наказах *третьего сословия*. Духовенство и дворянство составляли, за некоторыми исключениями, свои указы отдельно от остального населения.

²⁾ С тех пор, как это было написано, литература, посвященная наказам, значительно обогатилась новыми трудами. Вслед за печатаемым здесь исследованием, в том же 1884, году вышло в свет сочинение Шере (*Chérest*) „О падении старого порядка“, заключающее в себе в двух главах критический анализ наказов, подтверждающий сделанные нами выводы. Автору нужно поставить в заслугу, что он не только воспользовался жалобами на тяжелое положение крестьян в на-

почвѣ французской исторіографіи, и тутъ помѣшала чисто научной постановкѣ вопроса. Авторы двухъ упомянутыхъ изслѣдованій явились въ данномъ вопросѣ представителями двухъ діаметрально различныхъ воззрѣній на переворотъ 1789 года, и каждый изъ нихъ принялся за изученіе наказовъ, чтобы найти въ нихъ точку опоры для своихъ историческихъ воззрѣній и для политической программы, имъ предлагаемой. Оба автора писали почти одновременно, подъ конецъ царствованія Наполеона III, когда снова стала пробуждаться во Франціи политическая жизнь, и въ общей оппозиціи противъ избранника плебисцита стали выдаваться двѣ различныя тенденціи—либеральная и радикальная. Пер-

казахъ, чтобы объяснить ихъ возстаніе (*révolte*), но своимъ разборомъ политической программы въ наказахъ отмѣтилъ тѣ недостатки въ ней, которые обусловливали собой вызванный ею политическій переворотъ (*révolution*). Вопреки установившемуся мнѣнію о политической зрѣлости тогдашнихъ избирателей и составителей наказовъ, (*ce monument précieux de la raison en France—сказалъ о нихъ легитимистъ Шатобрианъ*), Шере отмѣчаетъ, хотя весьма бережно, лежащее въ основаніи наказовъ недомысліе. Онъ указываетъ на то (II р. 44), какъ избиратели, не долго раздумывая (*sans plus ample réflexion*), присвоили себѣ и своимъ выборнымъ учредительную власть и безцеремонно распоряжались ею (*sans le moindre scrupule*), не взвѣсивъ послѣдствій (*sans mûrement réfléchir aux conséquences du système adopté*).

Въ 1897 году вышла книга Шампіона (E. Champion) „Франція по наказамъ 1789 г.“. Это очень интересная группировка данныхъ, представляемыхъ наказами, для изображенія Франціи наканунѣ революціи. Такъ Шампіонъ самъ говоритъ, что, изучая наказы, онъ былъ пораженъ (*surpris*) массою злоупотребленій и несправедливостей стараго порядка, о которыхъ онъ и не думалъ раньше, и онъ пользуется ими, чтобы объяснить паденіе стараго порядка. Но цѣль автора односторонняя. Онъ приводитъ слова Мирабо, что Франція была доведена до революціи не столько успѣхами просвѣщенія (*progrès des lumières*), сколько сознаниемъ своихъ бѣдствій и ошибками правительства. Но насколько этотъ недостатокъ политическаго просвѣщенія отразился въ наказахъ и повліялъ на революцію, этого Шампіонъ не отмѣтилъ.

На русскомъ языкѣ изъ специальныхъ работъ по наказамъ мы имѣемъ: книгу В. Хорошуна: „Дворянскіе наказы во Франціи въ 1789 г.“ Одесса, 1899 г. 605 стр. и основанныя на архивныхъ изслѣдованіяхъ статьи о наказахъ А. Ону въ Жур. Мин. Нар. Прос. 1895 и 1898 г.

вымъ выступилъ представитель радикализма Шассенъ, послѣдователь и Мишле и Луи-Блана, столь различныхъ по своему направленію историковъ. Шассенъ говоритъ о событіяхъ революціи съ пафосомъ Мишле и подобно ему возводитъ вѣру въ нее на степень религіознаго догмата, а въ то же время онъ заимствуетъ у Луи Блана хладнокровную апологію якобинскаго фанатизма и соединеніе революціонной софистики съ мнимо-научной обработкой сырого историческаго матеріала. Другой изслѣдователь, Леонъ де Понсенъ, ищетъ въ исторіи объясненія политическаго упадка своего отечества и залоговъ для будущаго возрожденія его; онъ хочетъ дать себѣ отчетъ, какимъ влеченіямъ (*tendances*) повинется современная ему Франція и которое изъ всѣхъ этихъ влеченій самое благородное и плодотворное; въ результатѣ же онъ приходитъ къ выводу, что изъ всѣхъ идей, волнующихъ его отечество, наиболѣе мощная, наиболѣе энергическая и, если все принять въ соображеніе, наиболѣе плодотворная— есть идея свободы ¹⁾.

Оба эти писателя, Шассенъ и де Понсенъ, обращаются къ наказамъ 1789 года для того, чтобы съ ихъ помощью *документально* доказать правоту своихъ принциповъ. Шассенъ съ усидчивостью и любовью перебиралъ безчисленныя архивныя связки, чтобы доказать, „что вся революція намѣчена, опредѣлена и уполномочена въ наказахъ“. „Когда, говоритъ онъ, въ настоящее время изслѣдователь погружается въ необозримое собраніе наказовъ 1789 года, имъ сначала овладѣваетъ смущеніе; но скоро онъ чувствуетъ, что его уносятъ за собой могучія струи, которыя пробиваются въ самыхъ различныхъ концахъ Франціи и, тѣмъ не менѣе, несутся къ одной и той

¹⁾ En effet, apres avoir mis de côté l'égalité comme moralement incomplète et d'ailleurs comme établie depuis longtemps; après avoir rejeté l'ambition individuelle comme égoïste, l'industrie comme matérielle, le respect pour la vie humaine comme s'alliant à la faiblesse, le principe des nationalités comme exclusif, que reste il, sinon la liberté?—Et parmi les idées qui remuent notre époque, où en trouver une plus puissante, plus active et à tout bien considérer, meilleure que celle là?

же цѣли. Вы опасались, что вамъ придется слышать, какъ отупѣвшій и жалкій народъ смиренно будетъ жаловаться на свои житейскія нужды и робко испрашивать крохи королевской милости; но вмѣсто этого вы ослѣплены блестящимъ зрѣлищемъ просвѣщеннаго народа, который забываетъ о своей нуждѣ, который разрушаетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ созидаетъ всѣми своими силами и способностями; который однимъ скачкомъ вырывается изъ могилы деспотизма и твердыми шагами выступаетъ въ совершенно новомъ для него мірѣ равенства и свободы. Слагается новое общество: оно создано по мановенію разума, который въ первый разъ, устами народа, примѣняетъ къ политикѣ научные методы, отъ историческаго преданія возвращается къ природѣ, отвергаетъ фактъ, упрочиваетъ право, свободу объявляетъ закономъ для личности въ гражданской и нравственной жизни, устраняетъ догматъ о милости и устанавливаетъ справедливость, равную для всѣхъ—необходимое условіе для всѣхъ обществъ, называемыхъ націями и высшая цѣль для великой общины, именуемой человѣчествомъ. Уже раньше насъ одинъ изъ историковъ сказалъ, что наша революція не дѣло какой-либо партіи, что она дѣло человѣческаго разума, проявленнаго въ этотъ моментъ французскимъ народомъ. Эта истина не только подтверждается законами Учредительнаго Собранія, но находитъ себѣ самое блестящее подтвержденіе въ самыхъ простыхъ челобитныхъ, вошедшихъ въ составъ наказовъ“.

Совершенно другую истину вычиталъ въ наказахъ де Понсенъ: „Любовь къ свободѣ, говоритъ онъ, установленіе ея царства посредствомъ господства законовъ, возрожденіе, а не разрушеніе древняго французскаго государственнаго строя—вотъ въ чемъ заключается, какъ мнѣ кажется, нравственный смыслъ (resumé) наказовъ“.

Можно-ли изъ одного и того-же матеріала сдѣлать болѣе противоположный выводъ?—Однако оба изслѣдователя правы съ извѣстной точки зрѣнія. Легко найти на несмѣтныхъ столбцахъ наказовъ цитаты для доказательства того, что якобинцы 1793 года осуществляли волю наказовъ; не трудно, съ другой

стороны, всякому не предубѣжденному читателю, не признающему якобинскую программу дѣломъ общечеловѣческаго разума, — убѣдиться въ томъ, что составители наказовъ вообще не хотѣли и не предвидѣли той революціи, которая на нихъ обрушилась. Въ чемъ же дѣло и гдѣ искать разгадки такого противорѣчія?— Она заключается въ политической незрѣлости той среды, которая писала указы; въ томъ, что за исключеніемъ небольшого числа доктринеровъ, и сами составители наказовъ, и та огромная масса населенія, отъ чьего имени сочинялись указы, не знали, что такое свобода и вовсе не хотѣли той революціи, которую подготовляли.

Прежде всего нужно для правильной оцѣнки наказовъ устранить одно давно установившееся недоразумѣніе. Въ то время, когда составлялись указы, само правительство и авторы наказовъ, и все населеніе смотрѣли на нихъ какъ на выраженіе воли націи; такой взглядъ укоренился и во французской исторіографіи. „Переворотъ совершился, говорить, напр., Шассень, не съ молчаливаго только согласія, но по опредѣленной волѣ громаднаго большинства французскаго народа: несмотря на всѣ неправильности и несообразности избирательнаго регламента, нація, вчера еще порабощенная, сегодня дѣйствуетъ, какъ будто она всегда была свободна; съ величавостью государя, увѣренная, что всѣ препятствія падутъ у ея ногъ, она поднимается и прямо идетъ къ цѣли“. Несмотря на свое коренное несогласіе со взглядами названнаго историка и де Понсенъ видитъ въ наказахъ 1789 г. „выраженіе общей воли, голосъ цѣлой Франціи“.

Насколько однако можно считать указы за выраженіе *общей воли* французскаго народа, если даже понимать это слово въ узкомъ смыслѣ радикальныхъ политиковъ, для которыхъ оно означаетъ волю численнаго большинства жителей Франціи? Съ этой точки зрѣнія рѣшающее слово должно было бы принадлежать волѣ сельскаго населенія Франціи, высказанной имъ въ приходскихъ наказахъ. Но кто же писалъ эти указы, кто формулировалъ въ нихъ *волю* сельскихъ избирателей?— Даже историки, стоящіе на почвѣ полнаго радикализма,

признають, что сельскіе наказы писались посторонними людьми подь вліяніемъ различныхъ политическихъ тенденцій. Такъ, желая объяснить слишкомъ *умѣренный* тонъ многихъ сельскихъ наказовъ, Шассенъ даетъ понять, что они писались агентами дворянства и духовенства, которые хотѣли помѣшать выраженію настоящихъ требованій своихъ подданныхъ! Совершенно наивно, не подозревая, что подрываетъ этимъ свой собственный взглядъ, будто революція была слѣдствіемъ сознательнаго акта всего французскаго народа, Шассенъ по этому поводу замѣчаетъ: „Случается однако, что рядомъ съ такими креатурами духовенства или дворянъ появляется какой-нибудь горожанинъ, какой-нибудь удалившійся въ деревню подлѣкаръ или стряпчій, читавшій Вольтера и Руссо, читающій Мабли и Дюпюи, получившій брошюры Сіеса, Сервана, Волнея, Мирабо и принявшій на себя обязанность ихъ распространять; любящій вести разговоры съ крестьянами, которыхъ онъ лѣчилъ или дѣла которыхъ онъ велъ и слывшій между ними оракуломъ—и одного его присутствія довольно, чтобы смягчить, если не уничтожить всеѣмъ, послѣдствія коварно эксплуатируемаго невѣжества“.

Въ дѣйствительности невѣжество оставалось невѣжествомъ, какому бы коварству оно ни служило орудіемъ, и въ результатѣ можно только отмѣтить фактъ посторонняго вліянія на сельскіе наказы. Двѣ категоріи лицъ особенно усердно помогали политическому невѣдѣнію крестьянъ облекаться въ революціонныя формулы—сельскіе священники и нотаріусы, или стряпчіе. Говорить о политическомъ образованіи тѣхъ французскихъ *cirés*, которые приняли на себя роль революціонныхъ агентовъ по деревнямъ, было бы совершенно излишнимъ, потому что такого образованія въ этой средѣ вовсе не было; политика однихъ просто вытекала изъ ихъ недовольства недостаточнымъ содержаніемъ, что было особенно несправедливо въ виду громадныхъ доходовъ съ духовныхъ имуществъ, проживаемыхъ въ Парижѣ свѣтскими прелатами; другіе священники были честные, но узкіе фанатики янсенисты, которые презирали земныя блага, но

еще болѣе презирали высшее духовенство и вмѣстѣ съ нимъ весь политическій строй тогдашней Франціи. Но самымъ вліятельнымъ классомъ во время составленія наказовъ были мѣстные представители чиновничества—нотаріусы и стряпчіе; они по преимуществу представляли собой ту *отборную интеллигенцію* (*l'élite de l'intelligence*), которой Шассенъ съ такою гордостью приписываетъ революціонный темпераментъ Франціи въ концѣ XVIII вѣка. Это были люди, которые покупали свои мѣста и занимали поэтому независимое положеніе; живя въ провинціальной и даже сельской глуши, они привыкли царить надъ другими и смотрѣть на себя, какъ на представителей разума и просвѣщенія; но въ то же время они тяготились своимъ невиднымъ положеніемъ, своею неизвѣстностью и считали себя призванными къ политической роли. Профессіональное образованіе ихъ было ничтожно и ограничивалось рутинной; политической-же школой для нихъ была почти столѣтняя борьба между правительствомъ и магистратурой, къ которой они себя причисляли; эта школа подготовила ихъ къ чтенію радикальныхъ разсужденій и брошюръ, наводнившихъ Францію; чрезъ ихъ посредство литература этого рода отразилась на наказахъ, и, благодаря имъ, нѣкоторыя сельскія тетради, на которыхъ безграмотные крестьяне наставили кресты вмѣсто подписей, украсились возгласами о *неотъемлемыхъ правахъ челоука и гражданина*, или требованіями *правильнаго раздѣленія властей* по теоріи Мабли.

Не удивительно, что при такихъ обстоятельствахъ наказы тѣмъ болѣе рѣзки, чѣмъ болѣе составители ихъ заинтересованы въ успѣхѣ революціонныхъ идей, и что сельскіе наказы *догматическаго* характера, т.-е. перемѣшанные съ фразами о неотъемлемыхъ правахъ и съ тирадами, заимствованными изъ брошюръ, встрѣчаются всего чаще въ окрестностяхъ Парижа. Несмотря однако на указанное вліяніе большинство сельскихъ наказовъ представляетъ собой полный антагонизмъ съ наказами бальяжей,—въ нихъ преобладаетъ забота о мѣстныхъ нуждахъ и форма *челобитной*; а если они и выходятъ изъ этихъ узкихъ рамокъ и касаются общихъ реформъ, то не носятъ революціоннаго характера.

То же самое можно сказать о первичныхъ наказахъ въ городахъ. Тамъ, гдѣ избиратели предоставлены самимъ себѣ, они обыкновенно держатся въ предѣлахъ своихъ спеціальныхъ интересовъ и не занимаются политикой. Нельзя сказать, чтобы городское населеніе всегда отличалось яснымъ пониманіемъ промышленныхъ или торговыхъ интересовъ страны; купеческая гильдія, напр., такого значительнаго торговаго города, какъ Канъ въ Нормандіи, требуетъ уничтоженія косвенныхъ податей, отмѣны торговаго договора съ Англійей, запрещенія машинъ на фабрикахъ и возстановленія цеховъ; но такое преобладаніе практическихъ интересовъ по крайней мѣрѣ прикрываетъ собой политическую неразвитость городскихъ избирателей.

Однако ни эти первичные городскіе избиратели, ни еще болѣе многочисленные жители деревень не опредѣлили общаго характера тѣхъ наказовъ, которыми были снабжены депутаты Генеральныхъ Штатовъ. Наказы этого рода были результатомъ переработки безчисленныхъ первичныхъ наказовъ. Эта такъ называемая *редукція*, т.-е. слияніе и соглашеніе наказовъ, представляла очень удобное средство для того, чтобы выработать *общую волю* французскаго народа; эта редакціонная работа, въ которой населеніе конечно не могло принимать участія и которая по необходимости предоставляла особенный просторъ личнымъ убѣжденіямъ и цѣлямъ, сдѣлалась главной лабораторіей французской революціи.

Кто же были редакторы, которымъ поручалась столь важная обязанность, и какъ они избирались?—Самый характеръ работы, по преимуществу литературнаго свойства, облегчилъ доступъ къ политическому вліянію лицамъ, которымъ, по ихъ профессіи, естественнѣе всего было предоставить въ этомъ случаѣ первенствующую роль, а именно: авторамъ политическихъ брошюръ, ораторамъ, доказавшимъ, что они владѣютъ словомъ, адвокатамъ и прокурорамъ при парламентахъ въ большихъ городахъ, а въ мелкихъ бальяжахъ—адвокатамъ ¹⁾,

1) Прокуроры составляли низшій разрядъ адвокатовъ.

прокурорамъ и нотаріусамъ мѣстнаго суда. Сохранившіяся въ наказѣ бальяжа Шато-Тьерри свѣдѣнія могутъ послужить объясненіемъ, какимъ образомъ происходило дѣло. Третье сословіе этого бальяжа было представлено для избранія своихъ депутатовъ 236-ю выборными отъ 107 общинъ; въ числѣ этихъ общинъ было три маленькихъ города, остальные были мѣстечки или деревни; 95 общинъ были представлены каждая двумя выборными; отъ 12 общинъ было прислано отъ 3 до 5 человекъ. Эти выборные, по своимъ профессіямъ, могутъ быть распределены на слѣдующія группы: 14 нотаріусовъ, 8 адвокатовъ, 4 прокурора, 18 разныхъ мелкихъ чиновниковъ по административному или судебному вѣдомству, 2 подлѣкаря (*chirurgien*), 26 купцовъ и содержателей харчевенъ, 32 ремесленника, 129 крестьянъ (*laboueurs et vigneron*s) и безъ обозначенія профессіи 3. Если первыя пять группъ соединить въ одну и противопоставить ихъ слѣдующимъ тремъ, то мы получимъ, что бальяжъ Шато-Тьерри, округъ по преимуществу сельскій, избралъ на 187 лицъ изъ мѣстнаго населенія 46 представителей чиновничества и либеральныхъ профессій, — отношеніе весьма знаменательное для общаго направленія выборовъ. Когда же было приступлено къ переработкѣ приходскихъ наказовъ въ одинъ общій, то для этого изъ числа 236 выборныхъ была избрана комиссія изъ 24 человекъ. Въ этой комиссіи различныя группы были представлены уже слѣдующимъ образомъ: въ нее вошли 2 прокурора и 8 адвокатовъ, 6 нотаріусовъ, 2 чиновника и 6 крестьянъ, т.-е. чиновничій элементъ, составлявшій въ общемъ числѣ выборныхъ пятую часть, теперь въ комиссіи завладѣлъ тремя четвертями голосовъ. Достойно также вниманія, что избранные потомъ бальяжемъ два депутата обратились къ собранію съ просьбой указать лицъ, къ которымъ они могли бы относиться за полученіемъ такихъ инструкцій, какія могли не войти въ наказъ или вообще оказаться нужными на Генеральныхъ Штатахъ. Въ удовлетвореніе этого желанія была избрана особая постоянная комиссія, въ составъ которой вошли 6 адвокатовъ, 8 нотаріусовъ, одинъ прокуроръ, 4 чиновника, 3 крестьянина и 2 купца.

Не трудно представить себѣ громадное вліяніе, какое имѣли редакціонныя комиссіи, или въ сущности тѣ немногія лица, которыя въ этихъ многочисленныхъ комиссіяхъ принимали на себя самую дѣятельную роль. Отъ нихъ зависѣло, даже не прибавляя ничего отъ себя, дать общему наказу извѣстную окраску, смотря по тому, какой узоръ они предпочитали для своей мозаичной работы. Стоило, напр., только опустить при переработкѣ приходскихъ наказовъ выраженіе: *sous l'autorité et le bon plaisir du roi* (если угодно будетъ Его Величеству) и челобитная принимала характеръ приказанія; стоило только изъ какого-нибудь мѣстнаго наказа заимствовать статью, воспрещавшую депутатамъ Генеральныхъ Штатовъ разрѣшать сборъ податей до тѣхъ поръ, пока король не согласится на всѣ ихъ требованія—и самый скромный наказъ получалъ революціонное направленіе.

При большомъ разнообразіи и случайномъ характерѣ первичныхъ и мѣстныхъ наказовъ редакціонная комиссія могла дѣйствовать на полномъ просторѣ; можно сказать, что силою вещей она была даже поставлена въ необходимость отдавать предпочтеніе тѣмъ формуламъ и требованіямъ, которыя она съ своей точки зрѣнія признавала болѣе просвѣщенными или болѣе соотвѣтствующими интересамъ страны. Одни наказы ожидали нужныхъ реформъ отъ короля, другіе обращались съ своими требованіями исключительно къ Генеральнымъ Штатамъ—отъ редакціонной комиссіи зависѣло отдать предпочтеніе формулѣ монархической или, напротивъ, революціонной. Подобное разнообразіе представляютъ намъ, напр., наказы мелкихъ бальяжей, вошедшихъ въ составъ наказа главнаго бальяжа Quercy. Даже наказы (*sahiers particuliers*) отдѣльныхъ кварталовъ города Парижа представляютъ между собой существенныя различія: наказъ квартала Mathurin отличается наивностью и умѣренностью; кварталъ Сорбонны — здравымъ смысломъ и монархическимъ направленіемъ; St. Eustache наполняетъ свой наказъ радикальными принципами, но не развиваетъ ихъ; St. Germain и St. Gervais стараются соединить верховную власть въ рукахъ „короля и націи“; St. Louis la

Culture предоставляет законодательную власть націи, т.-е. депутатамъ, а наказъ Театинскаго квартала ратуетъ противъ деспотизма и впадаетъ въ революціонный тонъ. Но познакомившись съ этими сравнительно умѣренными наказами, читатель съ изумленіемъ замѣчаетъ, какъ мало этому соотвѣтствуетъ характеръ общаго парижскаго наказа, въ которомъ уже выставлены требованія, усвоенныя потомъ Коммуной, и, можно сказать, уже заключается вся революція 1789—94 года.

Переработка первичныхъ наказовъ, производившаяся въ главныхъ провинціальныхъ городахъ, т.-е. въ центрахъ политическаго возбужденія, имѣла такимъ образомъ своимъ послѣдствіемъ преобладаніе въ наказахъ господствовавшихъ тамъ взглядовъ и формулъ. На практикѣ дѣло сводилось къ тому, что вожди городской интеллигенціи этимъ путемъ подчиняли себѣ окрестный округъ, присвоивали себѣ право говорить отъ его имени и выражать по-своему его волю. Это перетолкованіе чужой воли не всегда обходилось безъ возраженій. Крестьяне нѣкоторыхъ мѣстностей жалуются на то, что существеннѣйшія нужды ихъ опущены въ компиляціи, составленной въ главномъ городѣ округа; такъ приходъ Aspou въ Ниверне протестуетъ противъ общаго наказа своего бальяжа за то, что онъ касается только общихъ политическихъ вопросовъ (*roule sur des objets généraux*); жители этого прихода „представляютъ поэтому свои настоящія нужды, полагаясь относительно реформы общихъ злоупотребленій, извѣстныхъ всей націи, на знатныхъ людей, которые приняли на себя эту обязанность“. Еще знаменательнѣе жалоба жителей Мениль-ла-Орнь (бальяжъ Комерси) къ министру юстиціи на то, что въ городѣ пренебрегли ихъ нуждами, что чиновники и стряпчіе (*les praticiens du siège*) всѣмъ овладѣли и что шесть городскихъ депутатовъ при составленіи общаго наказа совершенно устранили представителей 32 сельскихъ общинъ. „Такимъ образомъ, сказано въ жалобѣ, бѣдные сельскіе жители никогда не въ состояніи довести о своихъ нуждахъ до свѣдѣнія своего государя, который желаетъ имъ добра и принимаетъ всѣ мѣры, чтобы его осуществить“.

Значеніе, которое имѣла редакціонная работа, происшедшая при такихъ условіяхъ, особенно наглядно обнаруживается при сличеніи нѣкоторыхъ частныхъ наказовъ съ общими. Наказъ третьяго сословія сенешальства Кастельморонъ, хотя и не принадлежитъ къ революціоннымъ, но свидѣтельствуеетъ о томъ, что его редакторы были люди начитанные. Мы встрѣчаемъ въ немъ такую фразу: „успѣхи разума сокрушаютъ деспотизмъ“; въ немъ говорится о моментѣ, „когда народъ займется вопросомъ объ узурпаціи дурно понятой власти“; депутатамъ предписывается подъ страхомъ лишенія полномочій не заниматься податными вопросами, пока конституціонные принципы не будутъ прочно установлены и т. п. Рядомъ съ этимъ напечатанъ случайно сохранившійся наказъ прихода Массюга, того же сенешальства, политическія требованія котораго ограничиваются слѣдующимъ наивнымъ заявленіемъ: „Если, съ одной стороны, справедливо платить налоги для поддержки государства, то, съ другой-было-бы также справедливо, чтобы совѣтъ Его Величества ежегодно составлялъ общій счетъ расходамъ, чтобы этотъ счетъ былъ напечатанъ и распространенъ по всему королевству и чтобы пенсіи, которыя Его Величеству угодно назначать, были бы показаны и мотивированы“. Затѣмъ наказъ обращается къ вычисленію доходовъ, которые получаютъ жителями съ ихъ земель, и поборовъ съ нихъ. Наказъ кончается обращеніемъ къ королю: „Дозвольте, государь, народу, подавленному налогами, просить справедливости у вашего Величества; соблаговолите услышать голосъ третьяго сословія всей націи (sic), защитите его въ его бѣдственномъ положеніи, изгоните отъ себя тѣхъ, кто обогащается на счетъ государственныхъ податей“. Этотъ тонъ и особенно просьба объ уничтоженіи не опасныхъ для сельскихъ жителей *lettres de cachet* указываютъ на роль, которую игралъ присутствовавшій при составленіи наказа и жившій въ этомъ приходѣ „гражданскій и уголовный судья города и юрисдикціи Жансакъ“, а также секретарь *maitre Jean Cedon*, писавшій самый наказъ; но какъ еще далеко этотъ наивно патетическій и чистосердечный наказъ отъ требовательнаго тона и притязаній общаго наказа!

Иногда дошедшій до насъ матеріалъ даетъ возможность сдѣлать интересное сопоставленіе трехъ наказовъ, нисходящихъ въ іерархическомъ порядкѣ своего географическаго значенія. Возьмемъ, напр., общій наказъ бальяжа Першъ. Этотъ наказъ представляетъ собой образчикъ искренней попытки разрѣшить невозможную проблему соединенія монархическаго строя съ радикальнымъ представленіемъ о народѣ. Въ немъ заявляется, что королевство французское по своей природѣ государство монархическое и что въ интересахъ націи сохранить монархическій строй и поддержать его въ строгомъ смыслѣ этого понятія“. Въ то же время собраніе постановляетъ „благодарить Людовика XVI за признаніе правъ народа, правъ, не погашаемыхъ давностью, но слишкомъ долго забытыхъ“. Согласно съ такимъ взглядомъ на дѣло Генеральнымъ Штатамъ предписывается „заняться своей организаціей и основными законами прежде, чѣмъ порѣшить что-нибудь по финансовымъ дѣламъ и т. д.“, т.-е. дѣйствовать, какъ автономное учрежденіе, облеченное верховною властью безъ соглашенія съ правительствомъ. За этимъ общимъ наказомъ слѣдуетъ наказъ городка Мортанъ en Perche; его составители не выставляютъ никакихъ политическихъ притязаній и озабочены только тѣмъ, чтобы установить правильное отношеніе между сословіями, предотвратить преобладаніе привилегированныхъ классовъ на Генеральныхъ Штатахъ, но въ то же время предупредить враждебное столкновеніе между ними, которое бы сдѣлало невозможнымъ реформы. Наконецъ намъ представляется наказъ прихода Па - Сень - Ломеръ. Это уже образчикъ скромной сельской челобитной.

Возрастаніе политическаго интереса и политическихъ притязаній соотвѣтственно происхожденію наказовъ—изъ деревни, изъ провинціальныхъ городковъ или небольшихъ бальяжей, или же, наконецъ, изъ представительнаго собранія цѣлой провинціи—само по себѣ было бы совершенно естественно и понятно. Но установленная правительствомъ редакціонная переработка наказовъ въ провинціальныхъ центрахъ лишала всякаго значенія громадное большинство наказовъ и налагала на

мнѣнія и требованія мѣстнаго населенія чуждый ему отпечатокъ. Каковъ этотъ штемпель, мы тотчасъ увидимъ. Но если бы даже былъ правъ Шассень, утверждающій „что третій штатъ, по мѣрѣ того, какъ онъ поднимается съ первичныхъ собраній къ собраніямъ второстепенныхъ, а потомъ первостепенныхъ бальяжей, становится все либеральнѣе, говоритъ языкомъ все болѣе яснымъ и обнаруживаетъ умѣренность все болѣе великодушную“,—то и въ такомъ случаѣ нельзя было бы признать наказы, съ которыми депутаты отправились на Генеральные Штаты „за выраженіе единодушной воли французскаго народа“ и никоимъ образомъ не французской націи, ибо духовенство и дворянство писали свои наказы отдѣльно. Вслѣдствіе такой обособленности наказы этихъ категорій носятъ на себѣ по большей части сословный характеръ; однако несмотря на это ихъ нельзя признать за точное выраженіе мнѣній этихъ двухъ сословій, въ рукахъ которыхъ сосредоточивалась тогда большая часть французскаго землевладѣнія, ибо и здѣсь большую роль играло минутное настроеніе прибывшихъ въ собраніе лицъ и еще болѣе—случайность редакціи, т.-е. убѣжденіе тѣхъ немногихъ лицъ, которымъ было поручено составленіе наказовъ, или тѣхъ, которые, выдвинувшись на первый планъ, успѣли захватить это дѣло въ свои руки. Это ясно изъ сопоставленія языка и содержанія наказовъ съ позднѣйшимъ образомъ дѣйствій этихъ сословій, но, кромѣ того, существуютъ и частныя указанія на то, какъ мало иногда соотвѣтствовало общее направленіе наказа настроенію присутствовавшихъ и даже политическимъ убѣжденіямъ избраннаго депутата ¹⁾.

Однако какую бы роль ни играла случайность въ составленіи наказовъ 1789 года, въ какой бы мѣрѣ они ни были далеки отъ своего назначенія обнаружить истинныя желанія и взгляды французской націи, во всякомъ случаѣ они были дѣломъ самаго вліятельнаго класса въ тогдашней Франціи—

¹⁾ См. напр. Journal du baron de Gauville депутата на Ген. Штатахъ, изданный въ 1864 году, къ сожалѣнію, въ очень небольшомъ количествѣ экземпляровъ.

всѣхъ тѣхъ, которые считали своимъ призваніемъ говорить, писать и дѣйствовать во имя своего народа; само правительство искало въ нихъ выраженія воли Франціи, и Генеральныя Штаты должны были руководиться ими въ своей преобразовательной дѣятельности; потому нельзя ихъ не считать важнѣйшимъ источникомъ для исторіи и оцѣнки французскаго общества при переходѣ къ новой политической жизни. Какимъ-же образомъ это общество понимало предстоящія ему задачи, какія у него были политическіе идеалы, какими средствами оно думало достигнуть болѣе совершеннаго государственнаго порядка?

* * *

Первый вопросъ, который долженъ былъ представиться населенію Франціи, собравшемуся для избранія депутатовъ и составленія наказовъ, первый вопросъ, съ которымъ во всякомъ случаѣ потомство должно обращаться къ наказамъ 1789 года—въ томъ, какъ понимали избиратели *цѣль* созываемыхъ Генеральныхъ Штатовъ?

Одного отвѣта, который даютъ указы на этотъ вопросъ, вполне достаточно, чтобы объяснить событія, быстро послѣдовавшія вслѣдъ за прибытіемъ въ Версаль депутатовъ.

Но прежде, чѣмъ разсмотрѣть воззрѣнія французскаго общества на предстоящее собраніе его представителей, мы должны, конечно, выяснитъ себѣ, какъ относилось къ этому дѣлу само правительство? Оно должно было прежде всѣхъ опредѣлить, съ какою цѣлью оно созываетъ Генеральныя Штаты—для того ли, чтобы выйти изъ финансовыхъ затрудненій и уладить свои натянутыя отношенія къ обществу, или же оно смотритъ на нихъ не какъ на временное средство, а какъ на постоянное учрежденіе, которое прибавляется къ сложному правительственному механизму и должно найти въ немъ опредѣленное мѣсто на ряду съ прежними учрежденіями—или же это будетъ переходъ къ совершенно новому политическому строю, передача власти въ другія руки?

Совершенно напрасно стали бы мы однако искать правитель-

ственной программы въ официальныхъ актахъ того времени; изъ нихъ явствуетъ только одно, что правительство созывало Генеральные Штаты безъ ясной идеи и безъ опредѣленнаго плана, безъ вниманія къ настоящему и безъ заботы о будущемъ. Если, вообще говоря, указы 1789 года, служатъ любопытнымъ и поразительнымъ памятникомъ политической неопытности французскаго общества въ концѣ XVIII вѣка, то еще болѣе убѣдительное доказательство этой неопытности представляетъ легкомысліе, съ которымъ относилось правительство къ созываемому имъ собранію Генеральныхъ штатовъ.

Чтобы узнать взгляды правительства, мы обратимъ прежде всего вниманіе на созывную грамоту короля, которая, несомнѣнно, должна была значительно повліять на воззрѣнія избирателей и служить имъ руководною нитью. Въ этой грамотѣ, подлаженной подъ старинный тонъ и форму, король высказываетъ слѣдующія побужденія, „заставившія его обратиться къ содѣйствію его подданныхъ“, а именно: чтобы они помогли ему преодолѣть финансовыя затрудненія и установить, согласно его желанію, постоянный и неизмѣнный порядокъ во всѣхъ частяхъ управленія. Говоря о собраніи Штатовъ, король ставитъ ему двойную цѣль—*совѣтовать* и помогать королю во всемъ, что будетъ доложено собранію и довести до свѣдѣнія короля желанія и челобитныя его народа; но затѣмъ, когда рѣчь идетъ о полномочіяхъ, которыми должны быть снабжены депутаты, роль ихъ значительно расширяется; имъ приписывается право *предлагать, возражать, высказывать мнѣніе и давать согласіе* относительно всего, что можетъ касаться потребностей государства, реформы злоупотребленій, установленія прочнаго порядка во всѣхъ частяхъ управленія, общаго благоденствія королевства и блага всѣхъ и cadaго. Съ своей стороны, король завѣряетъ въ своей готовности поддержать и *исполнить* (*faire exécuter*) все, на чемъ онъ и Штаты согласятся, а за этимъ весьма многознаменательнымъ и подлежащимъ широкому толкованію выраженіемъ, слѣдуетъ обѣщаніе, напоминающее старинныя отношенія короля къ Штатамъ—

„выслушать благосклонно ихъ мнѣніе и принять мѣры сообразно съ челобитными и предложеніями, которыя ими будутъ сдѣланы“.

Въ болѣе подробномъ регламентѣ для производства выборовъ, которымъ сопровождалась созывная грамота, заслуживаетъ вниманія одно выраженіе: приглашая Штаты собраться въ его резиденціи (Версаль), король объявляетъ, что дѣлаетъ это по обычаю своихъ предковъ отнюдь не для того, чтобы стѣснять свободу совѣщанія, но чтобы сохранить за ними самое драгоцѣнное для сердца короля свойство — *совѣтниковъ и друзей*. Далѣе ничего; ни въ этомъ актѣ, ни въ какомъ другомъ нѣтъ ни слова о ходѣ дѣлъ въ собраніи. Никакихъ указаній на то, какого рода отношенія будутъ установлены между королемъ и собраніемъ, какому способу дѣлопроизводства правительство намѣрено слѣдовать для того, чтобы притти съ нимъ къ соглашенію; какое значеніе оно намѣрено придавать постановленіямъ собранія, и что именно считать такимъ постановленіемъ въ виду раздѣленія Генеральныхъ Штатовъ на три самостоятельные штата.

Для полной оцѣнки образа дѣйствія французскаго правительства при созваніи Генеральныхъ Штатовъ нужно однако имѣть въ виду другой офиціальныи актъ, обнародованныи за мѣсяць до созывной грамоты; смыслъ и вліяніе послѣдней представляются въ особомъ свѣтѣ при сопоставленіи съ *Докладомъ королю отъ министра его финансовъ 27 декабря 1788 года*.

Этотъ документъ носитъ на себѣ болѣе частный характеръ, чѣмъ созывная грамота: онъ исходитъ отъ одного изъ министровъ и касается вопроса о числѣ депутатовъ третьяго сословія и о пропорціональномъ распредѣленіи ихъ по бальяжамъ; тѣмъ не менѣе министръ финансовъ Неккеръ беретъ въ этомъ докладѣ королю изложить отъ себя предъ всей Франціей намѣренія правительственной власти и ея взглядъ на роль Генеральныхъ Штатовъ и на предстоящее переустройство государства.

Прежде всего, всякаго современнаго читателя поразить

литературная форма этого документа: по своему тону это скорѣе академически-ораторское произведеніе, чѣмъ политическій актъ; это свѣтская проповѣдь, слащавое, сентенціозное воззваніе къ любви и согласію; читателя же, знакомаго съ тогдашнимъ состояніемъ общества, особенно изумитъ легкомысленный оптимизмъ оратора; самые важные вопросы, въ которыхъ заключалась злоба дня—отношеніе штатовъ между собой, отношеніе *націи* къ правительству, затрогиваются слегка и разрѣшаются съ мелодраматическимъ эффектомъ къ общему удовольствію. Ораторъ исходитъ отъ предположенія, что нація всего ожидаетъ отъ благодѣяній короля и желаетъ только „наслаждаться благополучнымъ и постояннымъ порядкомъ, которымъ она ему будетъ обязана“—какъ будто въ политическомъ мірѣ нѣтъ ничего, кромѣ великодушія, и достаточно говорить о чувствахъ, чтобы имѣть право на нихъ разсчитывать.

Если бы однако читатель захотѣлъ сквозь эту пелену высокихъ чувствъ опредѣлить политическую мысль главы кабинета, онъ бы встрѣтилъ значительныя затрудненія. Онъ замѣтилъ бы, что министръ ведетъ рѣчь не о Генеральныхъ Штатахъ, этомъ древнемъ политическомъ учрежденіи Франціи, которое служило представительствомъ для сословій, облеченныхъ нѣкогда извѣстной политической автономіей, но обозначаетъ созываемые Генеральные Штаты новымъ словомъ—національное собраніе и депутатами *націи*, неоднократно противоположая націю королю. И если бы читатель далѣе пожелалъ узнать о предполагаемыхъ отношеніяхъ національнаго собранія къ королю, онъ могъ бы найти много мѣстъ, наводящихъ на мысль, что правительство въ лицѣ Некера хотѣло видѣть въ созываемыхъ депутатахъ лишь совѣщательное собраніе или *вспомогательное* учрежденіе: такъ, напр., говоря о необходимой гармоніи, министръ заявляетъ, что безъ нея „національныя собранія не въ состояніи помогать администраціи (*seconder l'administration*); обращаясь къ королю, министръ заявляетъ, что, созывая собраніе, король освѣтитъ свои благодѣтельные намѣренія лучшемъ яснымъ и

никогда немерцающимъ (incertain), коль скоро онъ исходитъ изъ желаній хорошо организованнаго національнаго собранія; что, окружая себя депутатами націи, его величество освободить себя навсегда отъ всякихъ колебаній, сомнѣній и сожалѣній. Министръ далѣе увѣряетъ короля, что его власть останется неприкосновенной, что принимаемая правительствомъ новыя мѣры „только обезпечать исполненіе *постоянной* воли его величества, направленной къ общему благу; что король сохранить всѣ существенныя функціи верховной власти (pouvoir suprême), такъ какъ національныя собранія безъ руководителя сами могли бы впасть въ заблужденіе“.

Со всѣмъ этимъ однако совершенно несогласно чрезвычайно важное мѣсто доклада, гдѣ идетъ рѣчь о предстоящемъ ограниченіи верховной власти. Съ наивною политическаго моралиста, а если взять въ расчетъ все, что послѣдовало; то надо сказать — съ трагикомическимъ педантизмомъ первый министръ даетъ королю всенародно слѣдующій урокъ: „Нужно согласиться, что удовлетвореніе, сопряженное съ безграничною властью, чисто воображаемое, ибо если государь не долженъ имѣть другой цѣли, какъ наибольшую выгоду для государства и наивысшее счастье своихъ подданныхъ, то принесеніе въ жертву нѣсколькихъ прерогативъ для достиженія этой двойной цѣли, конечно, самое благородное употребленіе власти, и даже единственное, не допускающее участія другихъ, такъ какъ оно можетъ проистекать только изъ сердца и великодушія короля, тогда какъ всѣ злоупотребленія и будничныя проявленія власти совершаются большею частью подъ вліяніемъ министровъ“.

Итакъ, не совѣтниковъ только и помощниковъ администраціи видитъ правительство въ созываемыхъ Штатахъ, но оно намѣрено въ пользу ихъ отказаться отъ нѣкоторыхъ прерогативъ верховной власти! При такомъ заявленіи естественно, конечно, ожидать самаго точнаго обозначенія этихъ переходящихъ отъ верховной власти къ избираемымъ депутатамъ правъ — самаго обдуманнаго и послѣдовательно проведеннаго плана для новой государственной организаціи. Ничего подобнаго

нѣтъ въ докладѣ; но министръ, какъ бы разглашая частный секретъ между королемъ и его совѣтниками, сообщаетъ публикѣ о благодѣтельныхъ видахъ короля: „она еще не знаетъ, эта благодарная нація, всего, что вы намѣрены сдѣлать для ея счастья!“

За этимъ слѣдуетъ перечисленіе *предположеній* правительства, въ сбивчивыхъ выраженіяхъ, какъ бы нарочно придуманныхъ, чтобы спутать понятія избирателей о полномочіяхъ и обязанностяхъ созываемыхъ депутатовъ по отношенію къ правительству; всевозможныя предположенія, существенныя и менѣе важныя, различные вопросы, касающіеся то самой верховной власти, то одной администраціи—все это здѣсь перемѣшано и изложено языкомъ не законодателя, а литератора, который избѣгаетъ повтореній и желаетъ щегольнуть разнообразіемъ и изяществомъ словъ.

Министръ заявляетъ, что король хочетъ подтвердить свое обѣщаніе не налагать новыхъ налоговъ и не продолжать старыхъ безъ согласія Генеральныхъ Штатовъ; но что разумѣется подъ этимъ согласіемъ — отдѣльное ли заявленіе каждаго штата за себя, или нѣчто новое—не разъяснено.

Король, по увѣренію министра, желаетъ обезпечить (?) созывъ Генеральныхъ Штатовъ на будущее время, испросивъ ихъ мнѣніе относительно промежутковъ собраній — но ни о продолжительности собраній, ни о способѣ распушенія или отсрочки собраній министръ не упоминаетъ.

Далѣе идетъ рѣчь о томъ, что король желаетъ предупредить безпорядокъ, который могли бы произвести въ финансахъ недобросовѣстность или неспособность министровъ—объ употребленіи приказовъ отъ королевскаго имени (*lettres de cachet*), о свободѣ печати и объ *иныхъ* видахъ короля на благо народа; объ участіи Генеральныхъ Штатовъ во всѣхъ этихъ вопросахъ говорится весьма неопредѣленно: *Vous vous proposez, Sire, de concerter avec les Etats Généraux les moyens les plus propres... или: invitant les E. G. à examiner eux-mêmes... afin que V. M. par le concours de leurs lumières connaisse parfaitement, quelle règle doit être observée..;*

или: V. M. est impatiente de recevoir les avis des E. G... Когда, повидимому, уже окончено перечисленіе предполагаемыхъ преобразованій, министръ вдругъ снова заявляетъ объ одномъ изъ самыхъ важныхъ для общаго государственнаго строя, объ установленіи областного самоуправленія и говорить самымъ загадочнымъ образомъ объ участіи Генеральныхъ Штатовъ въ этомъ дѣлѣ: Vous avez encore, Sire, le grand projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux.

Такъ же цвѣтисто и туманно, а вмѣстѣ съ тѣмъ политически безтактно, опредѣляетъ первый министръ общій характеръ предполагаемаго измѣненія въ государственномъ управленіи: Enfin, Sire, vous préférez avec raison aux conseils passagers de vos ministres les délibérations durables de vos Etats généraux, т.-е. король будетъ руководиться не мимолетными совѣтами министровъ, а постоянными совѣщаніями Генеральныхъ Штатовъ. Такія слова въ устахъ королевскаго министра звучали, конечно, очень эффектно и имѣли огромный отголосокъ въ странѣ. Страна видѣла въ нихъ самообличеніе министерства, его самоотреченіе отъ власти; но она не могла составить себѣ по нимъ понятія о томъ, чѣмъ будетъ замѣнено прежнее управленіе; кругъ компетентности того учрежденія, которое призывалось руководить королемъ, оставался неопредѣленнымъ; за Генеральными Штатами признавался, правда, совѣщательный характеръ, но далѣе говорилось о принесеніи въ жертву какихъ-то тоже неопредѣляемыхъ правъ верховной власти.

Вотъ тотъ знаменитый актъ, который возвѣстилъ Франціи, что она вступаетъ въ новую эру своей исторіи. Въ докладѣ королю, мимоходомъ и вскользь, по поводу частныхъ вопросовъ, министръ заявляетъ о предстоящихъ коренныхъ измѣненіяхъ въ государственномъ управленіи и правахъ верховной власти. Знаменитая дочь Неккера ¹⁾ говоритъ въ оправданіе отца, что онъ хотѣлъ предвосхитить (dérober) у бу-

¹⁾ M. de Staël: Considérations etc. I, 177.

дущихъ депутатовъ благодѣяніе, которое они собирались оказать странѣ; правильнѣе было бы сказать, что министръ предвосхитилъ у короля право, принадлежавшее только ему, возвѣститъ населенію о перемѣнахъ, которыя онъ хотѣлъ сдѣлать или допустить ¹⁾. Но тщеславная притязательность, которую выказалъ здѣсь первый министръ, не главный его грѣхъ. Донесеніе Неккера сравнивали потомъ съ *хартіей*, которую далъ Людовикъ XVIII при своемъ вступленіи на престолъ и находили, что обѣщанія министра въ 1788 году заключали въ себѣ все, чѣмъ довольствовалась Франція послѣ 25-лѣтняго страшнаго кризиса. Такъ ли это, другой вопросъ. Во всякомъ случаѣ докладъ 27 декабря не былъ хартіей. и въ этомъ его существенная ошибка. Правительство не являлось предъ страной съ твердо выработанной программой, не отводило предстоящимъ Генеральнымъ Штатамъ опредѣленнаго круга дѣятельности, но какъ будто нарочно окутывало свои намѣренія туманомъ словъ, чтобы дать разростись всевозможнымъ предположеніямъ и притязаніямъ. Ясно было одно, что правительство отступаетъ передъ созываемымъ имъ собраніемъ; но куда и какъ далеко можетъ оно отступить, никто не могъ сказать.

Не разъ указывали на образъ дѣйствія французскаго дворянства въ ночь 4 августа и находили въ немъ рыцарское великодушіе одновременно съ политическимъ легкомысліемъ. Гораздо важнѣе по своему вліянію на судьбу Франціи было аналогическое поведеніе старой монархіи, особенно характерно высказавшееся въ заявленіи отъ 27 декабря. Но разница въ томъ, что по винѣ совѣтниковъ Людовика XVI въ послѣднемъ случаѣ не обнаружилось даже рыцарскаго великодушія, а проявилась одна лишь неясность политической мысли. Правительство спустило корабль на взволнованное море, не имѣя ни руля, ни компаса, ни опредѣленной цѣли.

¹⁾ Некеръ впослѣдствіи ссылался на то, что его *донесеніе* было предварительно разсмотрѣно министрами въ присутствіи короля и даже королевы и всѣми одобрено; но это обстоятельство нисколько не измѣнило послѣдствій донесенія и не снимаетъ съ Неккера отвѣтственности за его содержаніе и за его форму.

* * *

Правительственные акты такого рода не могли, конечно, служить избирателямъ руководною нитью. Въ большинствѣ случаевъ составители наказовъ относились къ заявленію правительства такъ, какъ будто бы его не бывало; они предписываютъ своимъ депутатамъ или вообще Генеральнымъ Штатамъ извѣстный образъ дѣйствія, высказываются болѣе или менѣе подробно, умѣренно или рѣзко, неопредѣленно или точно о предполагаемомъ ими государственномъ устройствѣ Франціи, мало обращая вниманія на намѣреніе правительства. Сравнительно рѣдко упоминается въ наказахъ о созывной грамотѣ или о докладѣ Некера, который называется декларацией короля и еще рѣже эти акты становятся исходною точкой при опредѣленіи цѣли Генеральныхъ Штатовъ. Образчикомъ подобнаго отношенія къ дѣлу можетъ служить наказъ шартрскаго духовенства, которое благодаритъ короля за то, что ему было угодно созвать Генеральные Штаты съ тѣмъ, чтобы принять съ согласія своихъ вѣрныхъ подданныхъ мѣры (*concerter le moyens*) для установленія прочнаго порядка во всѣхъ частяхъ администраціи.

Подобнымъ образомъ третье сословіе бальяжа *Sens* указываетъ со словъ созывной грамоты на мотивы, которыми руководился король при созваніи Генеральныхъ Штатовъ: „Окружить себя своими подданными для того, чтобы внести порядокъ въ администрацію и заняться средствами, чтобы преодолѣть финансовыя затрудненія“. Сообразно съ этимъ указаніемъ въ наказѣ намѣчаются довольно умѣренныя реформы.

Составители наказовъ иногда ограничиваются желаніемъ, чтобы принципы, высказанные въ деклараціи короля получили торжественное подтвержденіе (*soient solennellement statués*); обыкновенно же они идутъ дальше высказанныхъ въ немъ принциповъ. Напримѣръ, въ общемъ наказѣ для трехъ сословій бальяжа Вилье Ла-Монтанъ сначала вѣрно передана цѣль правительства, указанная въ созывной грамотѣ: „Установить постоянный порядокъ во всѣхъ областяхъ управленія

и, во-вторыхъ, преодолѣть затрудненія, представившіяся въ дѣлѣ бюджета“; но высказывая свои соображенія по этому поводу, составители наказа „съ полнымъ смиреніемъ и почтеніемъ“ просятъ короля согласиться, „чтобы нація, возстановленная въ своихъ древнихъ и неотъемлемыхъ правахъ, впредь пользовалась прочнымъ и не подлежащимъ измѣненію устройствомъ (constitution) въ силу того, что монархія по своей природѣ не можетъ безъ этого обойтись“.

Еще яснѣе говоритъ дворянство Клермона (en Beauvoisis); громадный дефицитъ и отсутствіе кредита, бывшіе первоначальною и настоящею причиною, побудившею министровъ предложить созваніе Генеральныхъ Штатовъ, въ настоящее время представляютъ только второстепенный интересъ. Необходимо, конечно, покрыть дефицитъ, уплатить долги, но нужно помѣшать, чтобы они не проявились вновь, нужно освободить націю отъ всѣхъ злоупотребленій, которыя снова могли бы вызвать разстройство финансовъ. Ей нужно государственное устройство, которое обезпечило бы за ней пользованіе собственностью и личною свободой, подъ защитой законовъ неизмѣнныхъ и точно исполняемыхъ, которые могли бы навсегда предохранить ее отъ произвольной, измѣнчивой и придиричливой власти министровъ. Король приглашаетъ націю снова вступить въ свои права, давно забытыя; его отеческая любовь желаетъ только счастья его подданныхъ...

Составители другихъ наказовъ, упоминая о *декларации* 27 декабря и приводя ея слова, перетолковываютъ ихъ совершенно произвольно по-своему. Такъ дворянство Авенскаго бальяжа, перечисляя свои требованія въ одной изъ статей своего наказа, постановляетъ, „чтобы былъ составленъ формальный актъ о заявленіи, которое сдѣлано Его Величествомъ, королемъ, о непреложномъ правѣ, принадлежащемъ націи, быть управляемою согласно съ ея собственными постановленіями, а не по измѣнчивымъ совѣтамъ министровъ“. Намѣреніе, которое Некеръ приписалъ королю, руководиться совѣщаніями Генеральныхъ Штатовъ, превращается въ признаніе непреложнаго права *націи* со стороны короля, и вслѣдствіе этого самыя слова

„быть управляемою согласно со своими постановленіями (délibérations)“ получают совершенно иной смыслъ. Дворянство же Шатильона (на Сенѣ) даже приписываетъ королю намѣреніе „возстановить и навсегда упрочить такъ, чтобы не могло случиться никакого въ нихъ измѣненія—естественныя, существенныя, священныя и непреложныя права націи“. Въ большинствѣ, однако, случаевъ составители наказовъ, такъ или иначе понимая цѣль Генеральныхъ Штатовъ, не входятъ во все въ разсужденіе о томъ, какого взгляда на этотъ предметъ держится правительство, и высказываютъ свои требованія, не заботясь о томъ, насколько они соотвѣтствуютъ его намѣреніямъ.

Такое отношеніе къ дѣлу совершенно понятно, когда наказы руководятся еще традиціонною точкой зрѣнія и видятъ въ Генеральныхъ Штатахъ только средство довести до свѣдѣнія правительства мѣстныя заявленія о бѣдствіяхъ и нуждахъ. Къ этому разряду принадлежало, вѣроятно, самое значительное число сельскихъ и первичныхъ наказовъ. Такого рода наказы, которые имѣли характеръ челобитныхъ, могли, конечно, не касаться вопроса о намѣреніяхъ правительства. То же самое можно сказать въ оправданіе наказовъ, въ которыхъ высказывается чрезвычайно миролюбивое настроеніе и искренняя готовность содѣйствовать королю.

Такъ третье сословіе города и судебного округа Лангонъ поручаетъ своимъ представителямъ „преподнести къ подножію престола выраженіе живѣйшей ихъ благодарности за то, что король въ своей отеческой любви къ своимъ народамъ милостиво разрѣшилъ имъ содѣйствовать благоденствію государства, славѣ государя и усовершенствованію администраціи во всѣхъ ея частяхъ“. Согласно съ этимъ третье сословіе увѣщеваетъ депутатовъ проникнуться на Генеральныхъ Штатахъ тѣмъ духомъ мудрости и кротости, который внушаетъ любовь къ отечеству и изъ всей націи дѣлаетъ одну семью. Подобныя изліянія благонамѣренныхъ чувствъ встрѣчаются нерѣдко въ наказахъ, но, вообще говоря, за этимъ скрывается большею частію политическое легкомысліе. Избиратели нахо-

дятся подъ вліяніемъ какого-то смутнаго оптимизма, который мѣшаетъ имъ отдать себѣ отчетъ въ намѣреніяхъ правительства и задуматься о предстоящихъ событіяхъ.

Какъ оазисъ въ бесплодной пустынѣ выдается своимъ практическимъ смысломъ наказъ города Лиля: „Да соблаговолитъ Его Величество приказать напечатать вопросы, которые будутъ предложены на совѣщаніяхъ съ Генеральными Штатами, и порядокъ, въ которомъ они должны быть рассмотрѣны“. Здравомыслящіе горожане Лиля поняли то, что не пришло на умъ никому изъ многочисленныхъ и опытныхъ въ придворной службѣ совѣтниковъ Людовика XVI, чего не сообразилъ Некеръ, такъ дѣльно потомъ разсуждавшій въ своихъ книгахъ о политическихъ вопросахъ своего времени. Правительство созвало Генеральные Штаты, не имѣя никакой программы и не понимая, что ему нужна программа для того, чтобы руководить собраніемъ выборныхъ, слетѣвшихся со всѣхъ концовъ Франціи, съ самыми разнообразными предположеніями и притязаніями. Горожане Лиля въ наивной формѣ высказали то, чего напрасно потребовали отъ правительства при открытіи Генеральныхъ Штатовъ лучшіе политическіе умы этого собранія—Малуэ и Мирабо.

Полнѣйшій контрастъ съ трезвымъ заявленіемъ, сейчасъ приведеннымъ, представляетъ высокопарное краснорѣчіе наказовъ другой категоріи, въ которыхъ политическіе титаны воздвигаютъ Оссу на Пеліонѣ. *Возродить* на Генеральныхъ Штатахъ *націю*—*régénérer la Nation*—хотятъ одни ¹⁾; возстановитъ Францію—*restaurer la France*—другіе ²⁾; дворянство Артуа собирается даже разыскать тамъ естественныя права во всей ихъ полнотѣ—*retrouver la plénitude des droits naturels*.

Какъ бы особый разрядъ составляютъ наказания, которые усматриваютъ цѣль Генеральныхъ Штатовъ въ установленіи договора (*contrat*) между *королемъ* и *націей*. Одни называютъ этотъ договоръ *національнымъ*, другіе *священнымъ*,

1) Tiers Etat Puy en Velais

2) Духовенство Понтъ-а-Муссона.

третью замѣняютъ контрактъ словомъ, которое имъ представляется болѣе торжественнымъ и говорятъ о какомъ-то *Pacte Franґais* (дворянство Нанси). Какъ самый терминъ, такъ и понятіе, которому оно служитъ выраженіемъ, ведутъ свое начало отъ среднихъ вѣковъ. Тогда при смѣшеніи частныхъ и государственныхъ правъ заключались капитуляціи между правительствомъ и различными частями или элементами государства; тогда такіе договоры между королемъ и подчиненными областями, или отдѣльными сословіями, опредѣляли размѣръ повинностей, какія эти области или сословія соглашались нести, и вмѣстѣ права и привилегіи, которыя они себѣ выговаривали. Раціоналистическая теорія о государствѣ, распространившаяся въ XVIII вѣкѣ, имѣла по крайней мѣрѣ ту полезную сторону, что устраняла такія несовмѣстныя съ государственнымъ бытомъ представленія, какъ договоръ между правительствомъ и составными элементами государства; однако несмотря на большое распространеніе „Общественнаго договора“ мы въ наказахъ встрѣчаемъ на каждомъ шагу полное смѣшеніе феодальныхъ представленій съ радикальными.

Гораздо чаще, чѣмъ слово *контрактъ* встрѣчается въ наказахъ другой терминъ, которому суждено было играть большую роль въ политической исторіи Европы—слово *конституція*. Ничто однако не обнаруживаетъ такъ явно хаотическаго состоянія умовъ въ эпоху составленія наказовъ, какъ смыслъ, который въ нихъ придается этому слову. Терминъ *constitution* тогда еще не имѣлъ техническаго значенія и только началъ пріобрѣтать тотъ опредѣленный смыслъ, который ему придается теперь на политическомъ языкѣ Европы. Еще до созванія Генеральныхъ Штатовъ во французскомъ обществѣ поднялся ожесточенный споръ, который долго продолжался въ политической литературѣ, споръ о томъ, имѣетъ ли Франція конституцію или нѣтъ. Одни утверждали это, другіе отрицали. Послѣдніе употребляли это слово въ смыслѣ основныхъ законовъ государственнаго устройства и для обличенія своихъ противниковъ требовали отъ нихъ перечисленія этихъ основныхъ законовъ. Привер-

женцы же мнѣнія, что Франція обладаетъ опредѣленнымъ государственнымъ устройствомъ, обыкновенно приводили въ доказательство, что Франція есть наследственная монархія и что способъ наследованія короны опредѣленъ салическимъ закономъ; другіе признавали основнымъ закономъ, что королю принадлежитъ верховная власть совместно съ Штатами и даже, что эти Штаты непременно должны состоять изъ представителей трехъ самостоятельныхъ сословій, съ правомъ veto для каждаго относительно постановленій двухъ другихъ Штатовъ.

Господствовавшая во французскомъ обществѣ сбивчивость относительно термина constitution характерно выразилась въ одномъ изъ наказовъ. Духовенство Этампа наивно сознается въ своемъ недоумѣніи насчетъ конституціи и проситъ, чтобы сами Генеральные Штаты разъяснили его. „Имѣя въ виду, сказано въ наказѣ, что подняты различные вопросы, для доказательства, что существуетъ конституція, и другіе (sic), для доказательства, что ея не существуетъ, мы покорнѣйше просимъ Генеральные Штаты дать ясное и точное опредѣленіе того, что слѣдуетъ называть французскою конституціей“.

Вся эта смутность понятій относительно конституціи отражается на наказахъ. Довольно значительно количество наказовъ, въ которыхъ слово конституція употреблено въ общемъ смыслѣ *государственнаго устройства*; при этомъ мнѣнія и желанія составителей наказовъ относительно такъ-называемой ими конституціи очень расходятся. Многіе изъ нихъ хотятъ какъ будто только *упроченія* государственнаго устройства; но высказывая такое желаніе, они разумѣютъ нѣчто очень различное отъ существовавшаго тогда устройства. Такъ, напр., третье сословіе области Котантенъ хочетъ, чтобы конституція была неизмѣнно упрочена (assurer) основными законами, которые бы „согласили свободу націи съ почтеніемъ ко власти государя“, а для этой цѣли наказъ требуетъ участія націи въ законодательствѣ и администраціи. Такъ и дворянство Кале хочетъ—*raffermir les bases de notre constitution*; но на

дѣлѣ оказывается, что составители дворянскаго наказа разумѣютъ нѣчто совершенно несогласное съ тогдашнимъ государственнымъ устройствомъ Франціи, ибо требуютъ, чтобы законъ былъ выраженіемъ *общей воли*.

Нерѣдко встрѣчается мнѣніе, что Франція уже имѣетъ конституцію, но нужно только ее *возстановить*. Однако представленія избирателей о той конституціи, которая должна быть возстановлена, чрезвычайно туманны и вмѣстѣ съ тѣмъ произвольны. Такъ третье сословіе Монтаржи желаетъ, чтобы депутаты постарались согласиться между собой насчетъ устройства, которое „могло бы возвратить монархіи ея прежнее положеніе и ея первоначальныя и неотъемлемыя права“; на самомъ же дѣлѣ то, что предлагается въ наказѣ, не имѣетъ ничего общаго съ прежнимъ порядкомъ вещей. Точнѣе выражается относительно этой подлежащей возстановленію конституціи третье сословіе Алансонскаго бальяжа, объясняя, что государственное устройство Франціи заключается въ томъ, что королю принадлежитъ верховная власть управлять по законамъ, а націи одной право устанавливать налоги. Подобнымъ же образомъ понимаетъ *возстановленіе* конституціи третье сословіе сенешальства Тарта (Альбре) въ Гасконьи.

Такой взглядъ на дѣло лишь отчасти оправдывался прежними притязаніями Генеральныхъ Штатовъ и находилъ себѣ нѣкоторое основаніе только въ правѣ феодальнаго быта. Феодальные короли испрашивали согласіе Штатовъ, когда облагали налогами земли, не принадлежавшія къ королевскимъ доменамъ, но иногда обходились и безъ этого согласія. Затѣмъ въ XV вѣкѣ сами Генеральные Штаты предоставили Карлу VII безсрочное право взимать прямой налогъ (*taille perpétuelle*); но по мѣрѣ того, какъ во Франціи феодальныя формы замѣнялись государственными, согласіе Штатовъ, связанное съ феодальнымъ правомъ, утрачивало свое прежнее основаніе и значеніе ¹⁾.

¹⁾ Desjardins въ своей исторіи Генеральныхъ Штатовъ признаетъ „согласіе вассаловъ на феодальную *подмогу* (*aide*) основнымъ принципомъ

Однако далеко не всегда наказы, требующіе *возстановленія* государственнаго строя Франціи, на самомъ дѣлѣ руководятся преданіемъ о старинѣ. Во многихъ случаяхъ о возвращеніи къ исконному праву говорится только для того, чтобы придать требованіямъ характеръ законности, и составители наказовъ подъ покровомъ старины даютъ полную волю своимъ политическимъ фантазіямъ. Особенно наивно высказывается въ этомъ смыслѣ наказъ третьяго сословія провинціи Керси (Quercy). Избиратели желаютъ, чтобы конституція была почерпнута „изъ блаженнаго золотого вѣка, когда власть короля и права націи были уравновѣшены справедливымъ распредѣленіемъ“. Въ противоположность такому взгляду многіе наказы высказываются съ негодованіемъ о всякой попыткѣ сообразоваться съ политическими принципами старины. Наказъ дворянъ бальяжа Провенъ начинается съ инструкціи депутатамъ не искать ни въ исторіи Франціи, ни въ дѣятельности прежнихъ Генеральныхъ Штатовъ руководящихъ для себя принциповъ, „такъ какъ они нашли бы тамъ лишь абсолютное невѣжество и забвеніе правъ націи“.

Требованія *возстановить* конституцію встрѣчаются чаще всего въ дворянскихъ наказахъ; дворянство желало *возстановленія* французскаго государственнаго устройства, такъ какъ видѣло въ этомъ средство увеличить свои политическія права, или, по крайней мѣрѣ, удержать свое самостоятельное положеніе на Генеральныхъ Штатахъ.

Гораздо многочисленнѣе впрочемъ наказы, въ которыхъ высказывается желаніе, чтобы Франціи дано было государственное устройство, какъ нѣчто новое; при этомъ мнѣнія о томъ, что именно должно быть измѣнено въ ея устройствѣ

французскаго государственнаго права только до 1439 года“. Пико называетъ le vote de l'impôt—le moins contestable de tous les pouvoirs des Etats Généraux; но, разбирая притязанія Генеральныхъ Штатовъ и мнѣніе, что короли послѣднихъ вѣковъ нарушили въ этомъ случаѣ старинный обычай, говоритъ: Rien n'est moins exact, car nous ne pouvons trouver dans la suite de nos annales un seul roi qui se soit scrupuleusement borné aux impôts accords par les Etats. Picot. *Hist. d. E. G. T.* IV p. 199.

и какой характеръ долженъ имѣть вводимый у нея новый строй, крайне разнообразны. Требования относительно свойствъ новой *конституціи* формулируются часто очень наивно. Третье сословіе княжества Оранжъ желаетъ, чтобы Штаты занялись установленіемъ *прочнаго* устройства, которое могло бы обезпечить славу престола и благоденствіе народовъ“. Составители этого наказа имѣли впрочемъ не очень ясное понятіе объ условіяхъ такого государственнаго устройства—ихъ забота объ этомъ была отвлечена другими болѣе понятными для нихъ интересами: тутъ же они, напр., просятъ, чтобы Его Величество, король, дозволилъ въ ихъ мѣстности заводить табачныя плантаціи.

Вообще эпитеты, которыми составители наказовъ надѣляютъ проектируемую ими конституцію, мало соотвѣтствуютъ сущности дѣла и часто несогласны съ влагаемымъ въ нее содержаніемъ; такъ напр., въ наказѣ третьяго сословія Вернеля требуется *національная конституція*, а между тѣмъ составители этого наказа держатся стариннаго сословнаго взгляда на представительство, озабочены тѣмъ, чтобы третье сословіе было совершенно независимо отъ постановленій двухъ другихъ сословій; съ другой же стороны, напр., третье сословіе Дакса требуетъ, чтобы Франціи дано было устройство истинно монархическое (*vraiment monarchique*), въ дѣйствительности же въ своемъ проектѣ очень мало сообразуется съ указаннымъ условіемъ.

Очень часто высказывается требованіе, чтобы *устройство* французскаго государства одинаково обезпечило интересъ власти или короля, и интересы населенія. Такъ третье сословіе Отёнскаго бальяжа желаетъ, чтобы Штаты занялись „установленіемъ конституціи, основанной на прочныхъ и неизмѣнныхъ принципахъ, которые бы обезпечили права государя и права націи“. Дворянство Сомюра требуетъ установленія такого государственнаго устройства, въ которомъ „власть государя и неотъемлемыя права націи были бы уравновѣшены самою справедливою равномѣрностью (*balancés par le plus juste équilibre*)“. Составители нѣкоторыхъ нака-

зовъ думаютъ достигнуть этого равновѣсія путемъ раздѣленія властей. Третье сословіе Оксуа поручаетъ своимъ депутатамъ „содѣйствовать со всевозможнымъ усердіемъ тому, чтобы раздѣлить, распредѣлить, уравновѣсить три власти— законодательную, исполнительную и судебную такимъ способомъ, чтобы соединеніе ихъ въ однѣхъ рукахъ или въ одномъ и томъ же учрежденіи никогда не могло совершиться и чтобы счастливое равновѣсіе ихъ обезпечило наконецъ за Франціей такое устройство (constitution), которое навсегда упрочитъ незыблемость какъ правъ монарха, такъ и правъ націи“. Отъ подобнаго пониманія конституціи, или *устроенія* французскаго государства, рѣзко отличается точка зрѣнія наказа отъ Парижской округи (Paris hors les murs). Здѣсь съ особеннымъ удареніемъ указывается на то, что эта конституція должна представлять собой нѣчто совершенно новое. Наказъ начинается словами: „Славный переворотъ (révolution) готовится. Самая могущественная нація Европы собирается дать сама себѣ политическое устройство (constitution), т.-е. незыблемое существованіе, въ которомъ злоупотребленія власти будутъ невозможны“.

Мы не станемъ увеличивать число примѣровъ, подтверждающихъ, какъ мало еще во время выборовъ въ Генеральныя Штаты установились взгляды на то, что разумѣть подъ *устроеніемъ* Франціи и откуда его заимствовать, а перейдемъ къ тѣмъ многочисленнымъ наказамъ, которые употребляютъ слово конституція въ болѣе специальномъ значеніи— въ смыслѣ политическаго документа или акта, устанавливающаго главныя основанія государственнаго устройства. Чаще всего въ этомъ случаѣ встрѣчается слово charte. Любопытный примѣръ блужданія понятій относительно вопроса о необходимости хартіи для осуществленія или упроченія конституціи представляетъ наказъ алансонскаго дворянства. Возставая противъ притязаній со стороны представителей третьяго сословія, дворянство говоритъ въ своемъ наказѣ, что эти притязанія основываются на странномъ предположеніи, будто французская нація, несмотря на свое древнее и

славное существованіе, не имѣеть конституціи и, еслибы кто пожелалъ сослаться на эту конституцію, то долженъ былъ бы по крайней мѣрѣ указать ту хартію или грамоту, на которой она основана. Вопреки этому дворянство, отстаивая свое положеніе, утверждаетъ, что самые существенные государственные принципы, напр., принципъ монархическій, основаны не на хартіяхъ или грамотахъ, а на прецедентахъ, на обычаяхъ и владѣніи.

Но другіе указы, наприм., указъ города Руана, находятъ, что главная причина заблужденій и злоупотребленій со стороны администраціи обусловливается отсутствіемъ основного закона, который бы опредѣлилъ точнымъ и подлиннымъ образомъ способъ дѣйствія (*les effets*) *національной конституціи*. Эти то основные законы и называются во многихъ указахъ *хартіей*. Составители такихъ указовъ сами редактируютъ статьи, которыя по утвержденіи ихъ королемъ должны были быть внесены въ подлинную хартію, имъ подписанную, и тотчасъ разосланы по всѣмъ судебнымъ учрежденіямъ и провинціямъ для храненія въ ихъ архивѣ съ тѣмъ, чтобы служить торжественнымъ памятникомъ правъ націи. Съ обнародованіемъ этой *національной* или *французской* хартіи связываются обыкновенно самыя идиллическія представленія, такъ какъ она должна предупредить „своею гласностью всякія возможныя въ будущемъ нарушенія правъ короля или народа“.

Особый, но не многочисленный разрядъ составляютъ указы, которые подъ хартіей разумѣютъ не политическій документъ, опредѣляющій отношенія правительства къ собранію депутатовъ, но объявленіе правъ человѣка и народа. Къ числу такихъ принадлежитъ указъ третьяго сословія города Парижа. Составивъ проектъ деклараціи правъ, авторы наказа заключаютъ его словами: „Объявленія этихъ естественныхъ, гражданскихъ и политическихъ правъ, какъ они будутъ установлены на Генеральныхъ Штатахъ, должны сдѣлаться *національной хартіей* и основаніемъ французскаго правительства.“

Эта хартия конституции должна быть вырѣзана на общественномъ памятникѣ, для этой цѣли воздвигнутомъ“... Въ такомъ же смыслѣ высказывается и наказъ третьяго сословія сене-шальства Реннъ, одинъ изъ самыхъ революціонныхъ всего изданія наказовъ. Политическій пылъ составителей этого наказа объясняется тѣмъ, что Реннъ, мѣстопребываніе Бретанскаго парламента былъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, центромъ ожесточенной оппозиціи противъ правительства; нужно впрочемъ имѣть въ виду, что несмотря на рѣзкія требованія и обиліе революціонныхъ фразъ, составители даже и этого наказа предполагаютъ, что ихъ программа совмѣстима съ монархіей. Какъ парижскіе, такъ и реннскіе политики поручаютъ депутатамъ начать ихъ законодательную дѣятельность съ „подробнаго объявленія существенныхъ правъ гражданъ и націи, правъ, которыя не должны и не могутъ быть отмѣнены никакимъ человѣческимъ закономъ. Сообразно съ принципами, изложенными въ этомъ объявленіи, должна быть начертана конституція, иначе говоря общественный договоръ (*pacte social*) французскаго народа, всѣ статьи котораго будутъ основными законами королевства“.

Между такими взглядами, выражающими намѣреніе осуществить на Генеральныхъ Штатахъ новую, отвлеченную доктрину, и точкой зрѣнія тѣхъ избирателей, которые желаютъ черезъ Штаты довести до свѣдѣнія правительства свои челобитныя, лежитъ цѣлая пропасть, прикрываемая громадною массою наказовъ всевозможныхъ оттѣнковъ, различно формулирующихъ цѣль Генеральныхъ Штатовъ. Общественное мнѣніе страны, очевидно, не отстоялось, умы блуждаютъ между различными формулами и терминами, между прошедшимъ и будущимъ, между дѣйствительностью и фикціей. Даже тѣ наказания, которые говорятъ о возстановленіи стараго, въ сущности хотятъ новаго, и тѣ, которые стремятся къ утопіи, видятъ въ ней исконный порядокъ, къ которому можно возвратиться такъ же легко и мгновенно, какъ человѣкъ пробуждается отъ тяжелаго сна.

* * *

Но какимъ-же именно способомъ думаютъ избиратели осуществить всѣ тѣ реформы, всѣ тѣ идеалы, которые носятъ передъ ихъ воображеніемъ и пишущихъ отъ ихъ имени редакторовъ наказовъ?—Въ этомъ отношеніи въ французскомъ народѣ, призванномъ высказаться о судьбахъ своего отечества, господствовалъ неменьшій хаосъ и проявлялось такое же безсознательное отношеніе къ предстоящей задачѣ и ея трудностямъ, какъ и относительно цѣли Генеральныхъ Штатовъ. Кто долженъ осуществить предполагаемая преобразованія? въ чьихъ рукахъ состоитъ или должна находиться учредительная власть?—Вотъ роковой вопросъ, который представился французскому обществу 1789 года и который оно такъ легкомысленно разрѣшало въ своихъ наказахъ. Большое число составителей наказовъ и еще бѣльшая масса избирателей даже не подозревали существованія подобнаго вопроса и не понимали необходимости зрѣло обдумать отвѣтъ на него въ виду возможныхъ его послѣдствій. Это видно изъ самаго тона наказовъ, изъ оборотовъ и терминовъ, которые въ нихъ встрѣчаются. Многіе, очевидно, совсѣмъ не думали о томъ, какъ пойдутъ дѣла на Генеральныхъ Штатахъ и какія установятся отношенія между ними и правительствомъ. „Депутаты будутъ содѣйствовать Его Величеству (concourront)“, гласитъ наказъ Нима (tiers) или: „Штаты установятъ съ согласія короля (de concert avec le Roi) конституцію“ (Туль, tiers); иногда употребляется формула болѣе точная: „Генеральные Штаты должны установить принципы, а король обезпечитъ ихъ хартіей“ (дворянство Перпиньяна). Но гораздо чаще желанія избирателей просто высказываются въ видѣ порученій депутатамъ: les députés demanderont или voteront; затѣмъ составители наказовъ оставляютъ въ туманѣ вопросъ, какое значеніе или послѣдствія должны имѣть, по ихъ мнѣнію, эти требованія и постановленія депутатовъ; очень нерѣдко оборотъ рѣчи, употребляемый въ наказахъ, не представляетъ никакого опредѣленнаго смысла въ политическомъ отношеніи. Желанія или

требованія избирателей прямо облакаются въ форму будущаго времени: *il sera statué par les Etats Généraux*, или *la Constitution sera fixée par un acte authentique*, или же *on accordera la responsabilité des ministres*. Въ видѣ очень рѣдкаго исключенія въ наказахъ проявляется сознание необходимости предварительно рѣшить вопросъ о компетентности и о составѣ того представительнаго собранія, которому предстоитъ такая важная государственная роль. Такъ третье сословіе маленькаго бальяжа Гре въ Франшкомте поручаетъ своимъ депутатамъ предложить на Генеральныхъ Штатахъ сначала опредѣлить ихъ компетентность какъ въ области законодательства, такъ и въ администраціи. Подобнымъ образомъ и общій наказъ духовенства и третьяго сословія бальяжа Брюерь (Лотарингія) указываетъ на необходимость „предварительнаго закона, который бы опредѣлилъ и установилъ составъ Генеральныхъ Штатовъ“.

Отсутствіе нормъ, выработанныхъ исторіей прежнихъ Генеральныхъ Штатовъ или опредѣленныхъ правительствомъ въ указѣ о созваніи Штатовъ, различныя отвлеченныя политическія теоріи, не принимавшія во вниманіе дѣйствительныхъ учрежденій, наконецъ отуманивающее вліяніе брошюръ, все это вмѣстѣ лишало избирателей всякой твердой почвы. Уже первый по алфавитному порядку дворянскій наказъ, (Ажанъ), вполне ясно обнаруживаетъ путаницу понятій въ высшихъ классахъ общества относительно того, кому должна принадлежать во Франціи учредительная власть: дворяне начинаютъ съ благодарности королю за то, что онъ призвалъ ихъ, чтобы служить ему *советниками и друзьями*; они спѣшатъ снова принести ему клятву вѣрности, любви и почтенія; но въ то же время они признаютъ за Генеральными Штатами право дѣлать законодательныя постановленія (*statuer*), а на самомъ дѣлѣ дворянство Ажана само предписываетъ Штатамъ то, что они должны возвести въ законъ (*notre volonté est.*)

Подобнымъ образомъ третье сословіе Осерскаго бальяжа благодаритъ короля за нѣжную любовь къ своимъ подданнымъ и усматриваетъ *умилительное* доказательство королевской

любви въ его заявленіи, что онъ хочетъ спросить ихъ мнѣнія въ качествѣ совѣтниковъ и друзей; въ силу этого избиратели постановили „почтительно представить Его Величеству и Генеральнымъ Штатамъ свои жалобы, мнѣнія, предложенія и челобитныя“. Въ числѣ этихъ почтительныхъ предложеній находятся совершенно несовмѣстныя съ выраженнымъ въ наказѣ взглядомъ на роль Генеральныхъ Штатовъ: такъ депутатамъ поручается требовать установленія основного закона, чтобы на всѣхъ національныхъ собраніяхъ третьему сословію предоставлялась половина голосовъ; если же депутаты другихъ сословій съ этимъ не согласятся и оставятъ собраніе, то несмотря на это депутаты третьяго сословія должны продолжать свою дѣятельность „въ виду того, что третье сословіе по существу составляетъ собой націю“.

Шаткость основныхъ политическихъ понятій выражается часто въ самомъ заголовкѣ наказовъ: избиратели не знаютъ, къ кому они должны обратиться со своими челобитными или требованіями—къ правительству или къ собранію Штатовъ; многіе поэтому одновременно обращаются къ королю и къ Генеральнымъ Штатамъ. Такъ избирательное собраніе небольшого округа (Quatre vallées sous Guyenne) повергаетъ свои челобитныя „на усмотрѣніе Его Величества и нашихъ господъ Генеральныхъ Штатовъ (Nos seigneurs);“ избиратели бальяжа Гурень (Бретань) наивно просятъ, чтобы „было угодно (qu'il plaise) королю и депутатамъ разрѣшить (d'accorder)...“; собраніе Кондома (tiers) проситъ „короля и собравшуюся націю (la nation assemblée) приказать...“ Особенно любопытны въ этомъ отношеніи нѣкоторыя оригинальныя формулы, посредствомъ которыхъ составители наказовъ, утратившіе твердую политическую почву, ищутъ выхода изъ смуты понятій. Духовенство Шалона на Сонѣ обращается къ королю, *застѣдающему* на Генеральныхъ Штатахъ (séant aux Etats Généraux). Въ наказѣ дворянъ Мена находится лишенная смысла формула: „верховная власть принадлежитъ собранію трехъ сословій подъ предсѣдательствомъ короля“. Подобное-же желаніе совмѣстить противоположныя начала обнаруживается въ наказахъ, со-

ставители которых высказываются объ основаніяхъ новаго, предполагаемаго ими государственнаго порядка и при этомъ выводятъ его одновременно изъ противоположныхъ принциповъ. Дворянство Шато-Тьерри благодаритъ короля за все, чѣмъ оно обязано его справедливости и великодушію и тутъ же заявляетъ, что оно пользуется своими *неотъемлемыми* правами. Дворянство орлеанское выражаетъ королю свою живѣйшую любовь и признательность „за восстановление древняго, неотъемлемаго права представительства, которое нація охотно принимаетъ изъ рукъ короля, какъ новое благодѣяніе“.

Хотя такимъ образомъ изъ наказовъ видно, что французское общество не было подготовлено къ рѣшенію вопроса, кому могла быть предоставлена учредительная власть, и не понимало послѣдствій того или другого рѣшенія; хотя въ одномъ и томъ же наказѣ по этому вопросу постоянно встрѣчаются сбивчивость, непослѣдовательность и прямая противорѣчія, — все же общая масса наказовъ можетъ въ этомъ отношеніи быть распредѣлена на три неравныя группы, смотря по тому, какой принципъ въ нихъ преобладаетъ.

Первую группу составляютъ указы, которые болѣе или менѣе опредѣленно, болѣе или менѣе сознательно держатся принципа, что учредительная власть, право преобразовать государственное устройство Франціи, принадлежитъ королю. Это мнѣніе встрѣчается преимущественно въ наказахъ небольшихъ бальяжей и отдѣльныхъ городовъ, особенно по восточной границѣ Франціи, въ Эльзасѣ и Лотарингіи ¹⁾. Образчикомъ возьмемъ наказъ города Ангулемъ, который, хотя и не касается вопроса принципиально, по самой формѣ своихъ требованій исходитъ изъ монархическаго начала. Такъ избиратели Ангулема почтительно просятъ короля *приказать*, чтобы голоса на Штатахъ подавались поголовно, а не пословно. Желая далѣе, чтобы Генеральные Штаты сдѣлались

¹⁾ Haguenau Tiers, Metz Noblesse, Mirecourt T., Sarreguemine N. и T. Strasbourg T., Toul N., у бельгійской границы Lille N. и T.; изъ внутреннихъ областей Франціи здѣсь представленъ преимущественно югъ: Armagnac T., Forcalquier N., Loudun T., Montpellier N. T.

постояннымъ учрежденіемъ, составители наказа говорятъ, что такъ какъ милость короля внушила имъ надежду, что Штаты будутъ періодически собираемы, то нужно опредѣлить сроки для этого, что придастъ „монархіи новое могущество“. Даже относительно податей, которыя въ другихъ наказахъ обыкновенно признаются прерогативой народнаго представительства, ангулемскій наказъ высказывается такъ: въ силу воли короля, сдѣлавшейся извѣстной, депутаты будутъ ходатайствовать у его справедливости, чтобы впредь не продолжался сборъ податей кромѣ тѣхъ, на которыя національное собраніе дастъ свое согласіе“. Подобнымъ образомъ дворянство небольшого Баэльскаго бальяжа (въ прибрежной Фландріи) почтительно проситъ Его Величество: дать Генеральнымъ Штатамъ однообразную для всего королевства организацію; опредѣлить періодичность Генеральныхъ Штатовъ; объявить, что никакой законъ не будетъ имѣть силы безъ согласія Генеральныхъ Штатовъ и т. д. Довольно наивно высказывается третье сословіе Лудѣна: Qu'il plaise au Roi de consentir qu'il soit faite une constitution qui assure les droits du monarque et ceux de la Nation. Дворянство Мецскаго бальяжа проситъ указа для организаціи государственнаго устройства (Ordonnance qui règle la constitution). Третье сословіе Миркурскаго бальяжа „дозволяетъ себѣ предложить Его Величеству и проситъ его приказать“...

Наказы, оставлявшіе за королемъ *учредительную* власть, т.-е. право совершать существенныя преобразованія въ государственномъ устройствѣ Франціи, держались на почвѣ дѣйствительности и существующаго государственнаго права; но опасеніе, что король не пойдетъ достаточно далеко на пути преобразованій, глубоко укоренившійся во французскомъ обществѣ духъ оппозиціи противъ правительства и обаяніе радикальныхъ теорій, побуждали большинство составителей наказовъ не удовлетворяться этимъ и искать иного рѣшенія вопроса о томъ, кому должна принадлежать *учредительная власть*. Всѣ они по самымъ различнымъ причинамъ и ради самыхъ различныхъ цѣлей сходились, или вѣрнѣе, сталкивались на одномъ—они признавали учредительную власть за *націей*. Это

магическое слово, казалось, разрѣшало всѣ недоумѣнія и обезпечивало всевозможныя блага. Но съ призваніемъ *націи* на поприще *дѣятельной* политики, съ присвоеніемъ ей верховной власти, недоумѣнія не могли прекратиться. Кто олицетворяетъ собой націю, кто имѣетъ право ея именемъ располагать ея судьбами? Генеральные ли Штаты, т.-е. избранные сословіями депутаты, или сами избиратели, или же тѣ и другіе одновременно? Рѣдко составители наказовъ понимали необходимость ставить себѣ эти вопросы и рѣшали ихъ въ томъ или въ другомъ смыслѣ. Какъ образчикъ подобнаго рѣшенія приведемъ наказъ прихода Пасси. Этотъ приходъ находился подъ самымъ Парижемъ, и потому тамъ нашлись теоретики, которые взялись для него разрѣшить трудный вопросъ: „Вся власть (*tout pouvoir*), гласитъ наказъ, существенно и первоначально присуща націи: всѣ другія власти (*sic*) исходятъ изъ ея согласія, и такъ какъ она не можетъ собираться въ совокупности, то ея депутаты, избранные свободно, въ достаточномъ количествѣ и въ справедливой пропорціи—обладатели этой власти подъ условіями и ограниченіями, предписанными имъ ихъ избирателями (*imposées par leurs commettants*)“.

Здѣсь учредительная власть присвоивается депутатамъ; но такъ какъ депутаты поставлены въ зависимость отъ воли избирателей, то въ сущности она признается за послѣдними. Этой точки зрѣнія держится цѣлая группа наказовъ, хотя они и не формулируютъ такъ отчетливо свою конституціонную теорію. Притязанія на учредительную власть появляются у избирателей не въ одинаковой формѣ и бываютъ внушены различными мотивами. Очень часто такого рода притязанія выражаются посредствомъ такъ называемыхъ *mandats impératifs*, т.-е. обязательныхъ для депутатовъ инструкцій, съ угрозой, что въ случаѣ отступленія отъ нихъ депутатъ будетъ лишенъ полномочій. Чаще всего депутатамъ, или прямо Генеральнымъ Штатамъ, навязывается извѣстная программа въ *дворянскихъ* наказахъ; происходитъ это иногда подъ вліяніемъ феодальныхъ традицій и воспоминаній о прежней

автономіи, которыя страннымъ образомъ сливаются съ радикальными принципами; иногда-же, наоборотъ, вслѣдствіе страха утратить свое привилегированное политическое положеніе, если на Генеральныхъ штатахъ пройдетъ какая-нибудь другая программа: всѣ эти мотивы дѣйствуютъ въ извѣстныхъ случаяхъ одновременно.

Обыкновенно подобныя притязанія высказываются слѣдующимъ образомъ: составители наказа выставляютъ извѣстное число статей, отъ 8 до 17, и затѣмъ прибавляютъ, что всѣ предшествующія статьи должны быть (или просто *будутъ*) признаны конституціонными и основными, и если онѣ будутъ установлены (*arretés*) первыми Генеральными Штатами и утверждены (*sanctionés*) Его Величествомъ, то никакіе послѣдующіе Генеральные Штаты не будутъ въ правѣ отступить отъ нихъ, развѣ въ силу особенныхъ, полученныхъ на то полномочій (*Artois, N.*). Еще опредѣленнѣе выражается третье сословіе провинціи Анжу: „Между королемъ и націей будетъ установлена хартія, которая будетъ заключать въ себѣ слѣдующія статьи: за этимъ слѣдуютъ 38 статей, а 39-я запрещаетъ депутатамъ подъ угрозой лишенія полномочій совѣщаться о чемъ бы то ни было, пока не будутъ безповоротно постановлены и приняты конституціонныя статьи. Очень многословно и извилисто выражается въ томъ же смыслѣ Бургонское дворянство: *La noblesse charge son député de faire déclarer par les Etats Généraux que la Nation regarde comme principes inhérents à la constitution de la monarchie française...* Ссылаясь на королевскую декларацію отъ 27 дек., дворянство бальяжа Оксуа „спеціально поручаетъ своему депутату заявить на Генеральныхъ Штатахъ, что его воля такова, чтобы эти Штаты постановили въ самой подлинной формѣ насчетъ слѣдующихъ статей“. Дворянство бальяжа Авенъ „проникнутое глубочайшимъ почтеніемъ къ Его Величеству“, требуетъ въ своей 18-й статьѣ: „чтобы всѣ предшествовавшія статьи получили силу закона и были освящены печатью королевской власти, объявлены вѣчными и обнародованы по всему королевству прежде, чѣмъ Генеральные

Штаты могли бы заняться вопросом о денежной помощи правительству и на нее согласиться“. Наивно выражаются составители наказа для сенашальства Каре (Бретань): pour remplir le voeu de nos commettants et le nôtre avons résumé les articles qui suivent pour être statués par les Etats Généraux et par Sa Majesté ainsi qu'il appartiendra.

Въ наказѣ дворянства Нижней Мархіи особенно ясно обнаруживается, какъ притязанія на учредительную власть обусловливаются страхомъ утратить льготное положеніе. Дворяне не соглашаются „отказаться отъ наименѣе важной изъ своихъ привилегій, пока не будутъ признаны права націи, пока не будетъ восстановлено въ своемъ старинномъ блескѣ дворянство, какъ законодательное сословіе, и пока источникъ всякаго рода беспорядковъ не будетъ навсегда уничтоженъ“. Въ виду этого дворянство формулируетъ 8 конституціонныхъ статей. Особенно обстоятельно и рѣзко высказывается дворянское собраніе Сентонжа о томъ, что его депутаты лишь исполнители его приказаній: „Мы объявляемъ нашимъ депутатамъ на Генеральныхъ Штатахъ, что они лишь наши приказчики (mandataires), наши повѣренные (porteurs de notre procuration), только истолкователи нашей воли. Въ силу этихъ принциповъ, которыхъ мы всегда будемъ держаться, мы приказываемъ нашимъ депутатамъ на Генеральныхъ Штатахъ не отклоняться ни въ чемъ отъ приказаній и инструкцій, нами данныхъ, а въ случаѣ, если они не во всемъ будутъ съ ними сообразоваться; мы отъ нихъ отречемся и объявимъ ихъ навсегда недостойными нашего довѣрія“.

Не впадая въ такую крайность, другіе наказы стараются разграничить область, въ которой депутаты являются лишь исполнителями, отъ той, гдѣ имъ предоставляется бѣльшая самостоятельность. Такъ дворянство Кастелморона заявляетъ, что депутаты должны быть представителями націи, а не только ея приказчиками, а потому оно ограничиваетъ ихъ только относительно семи первыхъ статей, „составляющихъ желаніе всей націи и относительно восьмой, заключающей въ себѣ желаніе дворянства“.

Составители нѣкоторыхъ наказовъ предусматриваютъ, что ихъ притязанія на учредительную власть могутъ не быть признаны на Генеральныхъ Штатахъ. Дворяне Перигора, составивъ *хартію* „согласно съ принципами, которые они признали основаніемъ конституціи“, обязываютъ своихъ депутатовъ на случай, если бы хартія, принятая на Генеральныхъ Штатахъ, не заключала въ себѣ установленныхъ ими статей, *протестовать* и внести въ протоколъ свой протестъ, не оставляя однако собранія. Рѣшительнѣе поступаетъ въ своемъ наказѣ третье сословіе сенешальства Сомюръ: въ случаѣ, если бы пять указанныхъ статей не были приняты въ національномъ собраніи, депутаты не должны участвовать въ совѣщаніи о какомъ бы то ни было предметѣ, такъ какъ всѣ ихъ полномочія съ этой минуты прекращаются. Тѣмъ не менѣе они обязываются присутствовать на всѣхъ засѣданіяхъ, чтобы протестовать противъ всего, что на нихъ будетъ принято и требовать внесенія этого въ протоколъ. Подобнымъ образомъ дворянство Санли требуетъ исполненія 15 статей; если же одна изъ нихъ будетъ отвержена большинствомъ голосовъ на Генеральныхъ Штатахъ, то депутатъ обязанъ протестовать противъ большинства, но ни въ какомъ случаѣ не долженъ удалаться.

Отъ этой группы наказовъ не такъ легко отдѣлить другую, въ которой избиратели признаютъ учредительную власть за Генеральными Штатами. Дѣло въ томъ, что большая часть наказовъ, на которые можно было бы сослаться для доказательства, что избиратели предоставляютъ учредительную власть Генеральнымъ Штатамъ, составлена очень сбивчиво; одна или нѣсколько статей приводятъ къ этому выводу, а стоящая рядомъ съ ними статья изложена такъ, какъ будто учредительную власть избиратели признаютъ за собой. Болѣе принципиально и непосредственно за Генеральными Штатами признается учредительная власть тамъ, гдѣ они выставляются, какъ органъ народа, и гдѣ ихъ постановленія отождествляются съ волею націи. „Пусть, говорится въ наказѣ дворянства области Лабуръ, нація, соединенная (*réunie*) въ со-

браніи Генеральныхъ Штатовъ, вступить въ свои права и пусть эти права установятся на прочномъ основаніи“. „Генеральные Штаты—органъ воли націи“, восклицаетъ въ своемъ наказѣ духовенство бальяжа Провенъ. Особенное значеніе имѣетъ въ этомъ отношеніи самый *терминъ*, которымъ во многихъ наказахъ обозначаются Генеральные Штаты—l'Assemblée Nationale. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ очевидно, что составители наказовъ, употребляя такое выраженіе, этимъ самымъ признаютъ учредительную власть за собраніемъ представителей націи. Въ этомъ, напр., смыслъ наказъ города Виенъ устанавливаетъ, что „конституція должна быть дѣломъ всей націи“. Еще опредѣленнѣе учредительная власть присвоивается собранію депутатовъ, когда къ нимъ прилагается странное, претенціозное выраженіе—la Nation assemblée, какъ будто въ лицѣ депутатовъ собралась во всей своей совокупности французская нація, чтобы установить или пересмотрѣть первоначальный общественный договоръ, отдѣляющій французское общество отъ естественнаго состоянія.

Изъ всего этого видно, что для такихъ избирателей, которые отступили отъ традиціоннаго государственнаго права Франціи, по которому король представлялъ собой правительство и созывалъ Генеральные Штаты, чтобы на основаніи ихъ челобитныхъ издавать свои ордонансы, т.-е. законодательные указы,—болѣе или менѣе ясно было одно: а именно, что новое *устройство* Франціи должно быть дѣломъ *націи* или выраженіемъ воли націи; но относительно того, кто уполномоченъ говорить отъ имени націи, депутаты на Генеральныхъ Штатахъ, или же мѣстные избиратели, и въ какой мѣрѣ тотъ или другой элементъ можетъ вліять на устройство Франціи—по этому вопросу во французскомъ обществѣ не было никакихъ установившихся принциповъ. Все это однако представляетъ лишь одну сторону дѣла. Какъ ни были убѣждены многіе избиратели въ томъ, что учредительная власть принадлежитъ *націи* въ томъ или другомъ толкованіи этого слова, никто не утверждалъ, что предполагаемое *устройство* Франціи не должно имѣть монархическаго характера, и у громаднаго

большинства поклонниковъ народнаго принципа не было и мысли, чтобы было возможно это утверждать. Если же Франція и послѣ своего преобразованія націей должна была оставаться монархіей, то могло ли это преобразование совершиться безъ участія короля? должно ли *устройство* Франціи быть дѣломъ одной *нации*, или также и короля? а въ послѣднемъ случаѣ, какая роль должна быть предоставлена королю въ переустроеніи, совершаемомъ *націей*?—Всѣ эти вопросы указываютъ на новый источникъ неясности и недоразумѣній въ понятіяхъ, бывшей причиной полнѣйшихъ противорѣчій въ принципахъ и стремленіяхъ избирателей.

Судя по содержанію и выраженіямъ многихъ наказовъ, можно думать, что ихъ составителямъ не приходила въ голову необходимость опредѣленно высказаться насчетъ того, насколько обязательна для короля та *общая воля*, которая будетъ формулирована на Генеральныхъ Штатахъ. Мы постоянно встрѣчаемъ обороты въ родѣ слѣдующихъ: „конституція будетъ установлена подлиннымъ актомъ, которымъ займется (*dont on s'occurera*) раньше всѣхъ другихъ дѣлъ“; или избиратели поручаютъ своимъ депутатамъ требовать, чтобы „торжественнымъ способомъ было признано (*tesonni*) посредствомъ подлиннаго акта, что одна нація имѣетъ право облагать себя налогами“. Кто же долженъ признать это? Достаточно-ли, чтобы такое постановленіе было сдѣлано Генеральными Штатами? Третье сословіе бальяжа Монтаржи начинаетъ свой наказъ съ слѣдующаго заявленія: „Нація обязана королю самымъ высокимъ благодѣяніемъ; поэтому первымъ дѣломъ съ ея стороны должно быть выраженіе живѣйшей и почтительнѣйшей благодарности ему“. Въ силу этого избиратели поручаютъ своимъ депутатамъ „принести къ подножію престола“ подобное заявленіе. Не ограничиваясь этимъ, они дѣлаютъ *постановленіе* о томъ, чтобы Генеральные Штаты прежде всего вотировали благодарность королю, а также парламентамъ, принцамъ и министрамъ, которые содѣйствовали ихъ созванію: послѣ же этого „Генеральные Штаты должны заняться тѣмъ, чтобы произошло соглашеніе (*qu'on s'occurera de*

convenir) насчетъ устройства, которое могло бы возвратить монархію къ ея прежнему состоянію и т. д. Какъ изъ этого видно, здѣсь остается неразрѣшеннымъ, идетъ ли рѣчь о соглашеніи между Генеральными Штатами и королемъ, или только между самими Штатами, а въ послѣднемъ случаѣ нужно ли для законности этого соглашения какое-нибудь содѣйствіе или утвержденіе короля.

Другіе указы говорятъ объ этомъ содѣйствіи и употребляютъ для обозначенія его получившій такую извѣстность терминъ sanction. Это выраженіе sanction встрѣчается въ указахъ очень часто и, можно сказать, въ большей части указовъ, заводящихъ рѣчь о переустройствѣ Франціи: но обыкновенно оно прилагается въ указахъ только къ текущей законодательной дѣятельности будущихъ представительныхъ собраній. Такъ какъ однако въ большинствѣ указовъ мы встрѣчаемъ существенный пробѣлъ—отсутствіе разграниченія между учредительной властью, поручаемой предстоящимъ Генеральнымъ Штатамъ, и законодательной компетентностью постоянныхъ представительныхъ учреждений, то можно думать, что во многихъ случаяхъ, когда слово sanction примѣнялось къ законодательной дѣятельности, составители указовъ подразумѣвали, что королевская санкція нужна и для утвержденія конституціи, выработанной націей. Но хотя такимъ образомъ увеличится число указовъ, предоставляющихъ королю участіе въ учредительной власти посредствомъ санкціи или аналогическихъ выраженій (напр., sous le sceau de l'autorité royale), политическая программа такихъ указовъ не выигрываетъ въ ясности. Составители указовъ обыкновенно упоминаютъ о санкціи, какъ будто вовсе не предполагая случая, что она можетъ не послѣдовать; они просто, напр., требуютъ, чтобы „хартія, которая получить согласіе Генеральныхъ Штатовъ и *будетъ утверждена* королевскимъ авторитетомъ, была бы обнародована“. Дворянство Бове высказываетъ требованіе, чтобы Генеральные Штаты установили новую организацію Франціи посредствомъ закона, „утвержденнаго королемъ“. Дворянство Шалона на Сонѣ въ своихъ полномо-

чіяхъ, данныхъ децутатамъ, представляетъ себѣ дѣло такъ: „Нація, собравшаяся въ Генеральныхъ Штатахъ, предложитъ хартію, въ которой будутъ признаны всѣ привилегіи націи, а эта хартія *будетъ утверждена* (sega sanctionnée) королемъ для того, чтобы сдѣлаться основнымъ и неизмѣннымъ закономъ“. Третье сословіе Тульского баляжа требуетъ, чтобы „всѣ статьи національной конституціи были обсуждены (délibérés) собраніемъ Генеральныхъ Штатовъ и санкціонированы королемъ“.

Какъ необдуманно относились избиратели къ этому важнѣйшему для нихъ вопросу, отъ котораго зависѣлъ успѣхъ ожидавшихся ими реформъ и вся дальнѣйшая судьба Франціи,—къ вопросу объ отношеніяхъ національнаго собранія къ королю—показываетъ, напр., наказъ мантскаго духовенства, которое требовало, чтобы до перехода къ финансовымъ вопросамъ всѣ законодательные вопросы и всѣ статьи національной конституціи были „обсуждены, рѣшены (résolus), представлены королю и удостоены отвѣта отъ Его Величества (répondus)“. Неопредѣленность самыхъ выраженій, въ которыхъ избиратели требовали *отвѣта* отъ короля, показываетъ, что они не знали, что думать о королевской санкціи; они или вовсе не предусматривали отрицательнаго отвѣта со стороны короля или, предполагая возможность отказа, не рѣшались ни признать за королемъ такого права, ни отрицать его, а потому и не давали депутатамъ никакихъ инструкцій на этотъ счетъ.

Помимо случайности и спѣшности редактированія наказовъ и политической неразвитости ихъ составителей, существенная недомолвка относительно роли королевской санкціи при новомъ устроеніи Франціи можетъ быть объяснена двумя различными причинами. Съ одной стороны сильно и внезапно пробудившаяся потребность свободныхъ учрежденій, политическихъ гарантій, участія въ законодательствѣ и управленіи совершенно отвлекали вниманіе избирателей отъ всякой заботы объ интересахъ и упроченіи государственной власти; съ другой же стороны—на французское общество повліяло рас-

пространившееся представлѣніе о *націи*, съ которымъ никакъ не вязалось существованіе прочнаго, самостоятельнаго правительства.

До какой степени представлѣніе о націи, на лету схваченное избирателями, становилось въ разрѣзъ съ политическими понятіями, къ которымъ они привыкли, и потому сбивало и запутывало ихъ въ противорѣчія, легко подтвердить многими примѣрами. Городскіе сановники мѣстечка Белокъ въ родовомъ владѣніи Бурбоновъ (Beaun), наивно смѣшивая свои традиціи съ чуждыми имъ представлѣніями, разъясняютъ, что государь долженъ быть по справедливости признаваемъ главой и отцомъ націи, а нація его семьей, а потому интересы ихъ вполне тождественны. Тутъ же однако стоитъ формула изъ другого политическаго исповѣданія: государство опредѣляется, какъ нѣчто составное; составными частями его признаются государь и нація; этотъ дуализмъ выражается въ двойственности правительства—короля и Генеральныхъ Штатовъ. Нѣсколько строкъ далѣе представлѣніе о націи и присущей ей власти снова измѣняется: провинціальнымъ собраніямъ, т.-е. областному представительству, приписывается право требовать у государя созванія чрезвычайныхъ Генеральныхъ Штатовъ помимо періодическихъ, для того, чтобы дать государству новую конституцію.

Дворянство Каркассона заявляетъ, что такъ какъ Генеральные Штаты представляютъ собой самую націю (*étant la Nation elle-même*), то никакая личность, никакое учрежденіе не должны имѣть права предписывать имъ законы. Затѣмъ однако каркассонскіе дворяне даютъ Генеральнымъ Штатамъ такое опредѣленіе: „Штаты состоятъ изъ короля и депутатовъ трехъ сословій“ и требуютъ отъ Штатовъ постановленія, „что Франція государство, управляемое монархически, въ которомъ законъ и свободное избраніе (*sic*) націи обезпечиваютъ престолонаслѣдіе“.

Особенно поучителенъ наказъ дворянства города и бальяжа Етенъ; въ немъ, какъ и въ извѣстномъ числѣ другихъ наказовъ, наглядно проявляется представлѣніе о какомъ-то

дуализмъ въ государствѣ, о какомъ-то двоевластїи, проистекающемъ изъ понятїя о націи. Дворянство усматриваетъ двоякую цѣль созванїя Генеральныхъ Штатовъ— „точно установить и навсегда обезпечить, какъ почтенныя права короля, такъ и существенныя права націи“. Сообразно съ этимъ и верховная власть во Франціи представляется двойственной; Франція признается монархіей, король—главой націи, верховная власть нераздѣльно зиждется въ его личности, хотя и подчинена основнымъ законамъ конституціи; съ другой же стороны сказано, что законодательная власть принадлежитъ націи; законъ долженъ быть выраженїемъ общей воли націи, но эта воля становится совершенной (*n'acquiert sa perfection et son complément*) и полной лишь въ силу присоединенїя къ ней королевской воли“.

Далѣе мы находимъ и такіе указы, въ которыхъ высказывается желаніе сохранить монархическое управленіе, а между тѣмъ учредительная власть прямо присвоивается націи или ея представителямъ безъ всякихъ оговорокъ. Какъ на образчикъ укажемъ на наказъ городка Понтъ-а-Муссона и окрестныхъ общинъ; наказъ начинается съ заявленїя: „Такъ какъ Генеральные Штаты уполномоченныя націи (*les dépositaires des pouvoirs de la Nation*), а слѣдовательно имъ поручена ея судьба, то конституція, которая будетъ дана наилучшему изъ государствъ Европы, будетъ ихъ дѣломъ“. Затѣмъ уже ни слова объ участїи короля или о санкціи; говорится только объ исполнительной власти короля, и что престолъ долженъ быть утвержденъ за королевской династіей.

* * *

Всѣ подобныя указы, предоставляющїе Генеральнымъ Штатамъ учредительную власть съ королевскою санкціей или безъ оной, задаются сознательно или безсознательно разрѣшенїемъ проблемы соединить монархію съ народовластіемъ или установить народовластіе, сохраняя монархію. Эта проблема затрудняется еще болѣе, становится рѣшительно невозможной вслѣдствїе двухъ требованїй, которыя мы находимъ не только

въ наказахъ этой категоріи, но часто и въ тѣхъ, которые ожидаютъ осуществленія своихъ желаній отъ самого правительства. Первое изъ этихъ требованій можетъ быть названо *революціоннымъ ультиматумомъ*: оно заключается въ томъ, чтобы Штаты не приступали къ обсужденію бюджета и податныхъ вопросовъ, пока не будутъ удовлетворены всѣ политическія требованія, пока не будетъ окончено устроеніе Франціи. Такое условіе встрѣчается въ самыхъ смиренныхъ и почтительныхъ наказахъ, гдѣ оно находится въ странномъ антагонизмѣ съ наивнымъ тономъ и скромнымъ содержаніемъ другихъ статей. Мы находимъ его, напр., въ наказѣ избирателей горнаго Франшъ-Конте, „отвѣчающихъ только слезами на почетное для нихъ званіе совѣтниковъ и друзей, которымъ удостоилъ ихъ Его Величество“. Эти чувствительные избиратели еще проникнуты духомъ *старого порядка*, при которомъ правительство считалось всемогущимъ; они поэтому „униженно просятъ Его Величество запретить посредствомъ общаго распоряженія постыдное зрѣлище нищенства“. Они также желаютъ *charte*, но подъ этимъ они въ сущности разумѣютъ восстановленіе исконнаго способа представлять правительству челобитныя. Желанія ихъ заключаются въ томъ, чтобы наказания, поступающіе изъ провинціи, разсматривались въ Генеральныхъ Штатахъ, а затѣмъ представлялись королю для новаго разсмотрѣнія ихъ въ его совѣтѣ въ присутствіи и при участіи 12 комиссаровъ, назначенныхъ Штатами. „Его Величество выскажетъ свою волю (*statuera*) насчетъ заявленій, сдѣланныхъ въ наказахъ“ и т. д. И вслѣдъ за такой скромной программой мы читаемъ неожиданное требованіе, чтобы „впредь до этого рѣшенія было отсрочено всякое окончательное обсужденіе касательно налоговъ и займовъ“. Указанныя здѣсь мѣры, правда, употреблялись и въ средніе вѣка, чтобы произвести давленіе на правительство и тогда не служили признакомъ революціоннаго настроенія. Но въ 1789 году подобная угроза получала въ общемъ хорѣ другое значеніе; когда въ критическую для правительства минуту собраніе, созванное, чтобы помочь ему въ финансовыхъ затрудненіяхъ, за-

являло намѣреніе ими воспользоваться для установленія собственной власти; когда со всѣхъ сторонъ раздавались требованія, чтобы Генеральные Штаты объявили всѣ существующіе налоги незаконными и чтобы сборщики и плательщики неразрѣшенныхъ Штатами податей привлекались къ суду, наказывались даже смертною казнью—тогда задача установить „справедливое равновѣсіе между правами короля и правами націи“ становилась конечно неисполнимой. Притязаніе со стороны Штатовъ добиться отъ правительства согласія на всѣ требованія, выставленныя въ наказахъ, и на всѣ предлагаемыя преобразования въ государственномъ устройствѣ прежде, чѣмъ ему будетъ разрѣшено взимать старые или новые налоги, значило не только лишить правительство фактической возможности участвовать въ *устроении* Франціи, но признать, что верховная власть находится не у правительства, а въ рукахъ народныхъ представителей; при такихъ же условіяхъ можно было дать Франціи только республиканское *устройство*, а никакъ уже нельзя было думать о *монархической конституціи*, которой всѣ ожидали и всѣ желали.

Другая причина, дѣлавшая невозможнымъ то *равновѣсіе*, о которомъ мечтали избиратели, заключалась въ требованіи *автономіи* для Генеральныхъ Штатовъ. Это требованіе, формулируемое болѣе или менѣе ясно и сознательно, вытекало изъ двухъ различныхъ побужденій. Созваніе Генеральныхъ Штатовъ пробудило воспоминаніе о прежнихъ собраніяхъ этого рода, отсутствію которыхъ приписывались всѣ злоупотребленія, всѣ бѣдствія, все, чѣмъ было недовольно общество. Отсюда естественно желаніе обезпечить на будущее время правильное и постоянное созваніе представителей отъ сословій и провинцій. Съ другой стороны требованіе постоянного представительства непосредственно вытекало изъ теоріи народо-властія, которая за послѣдніе мѣсяцы подъ вліяніемъ брошюръ стала проникать въ массы. Вслѣдствіе этого *le retour périodique* Генеральныхъ Штатовъ сдѣлался общей формулой наказовъ и лозунгомъ самыхъ различныхъ партій. Требованіе *периодическаго возвращенія* Штатовъ такъ часто и однообразно

повторяется въ наказахъ, что для общей характеристики ихъ цѣлесообразнѣе остановиться на нѣкоторыхъ случаяхъ, когда такое требованіе высказывается не столь безусловно.

Наказъ дворянства Форкалкье представляетъ собой одно изъ рѣдкихъ исключеній, когда именно дворянство относится благоразумно къ восстановленію Генеральныхъ Штатовъ и заботится о томъ, чтобы не порвать органической связи между правительствомъ и представительнымъ собраніемъ; оно поэтому проситъ самого короля „опредѣлить точнымъ образомъ способъ созванія Генеральныхъ Штатовъ“. Чаше, чѣмъ отъ дворянства, такое желаніе, чтобы правительство само обезпечило и регулировало постоянную дѣятельность представительнаго собранія, исходитъ отъ городовъ. Городъ Тіонвиль напр., проситъ, чтобы Его Величеству было угодно предоставить Генеральнымъ Штатамъ періодическій характеръ. Духовенство Бара на Сенѣ высказывается за періодичность съ оговоркой, чтобы промежутки между собраніями были опредѣлены по соглашенію съ королемъ. Въ другихъ случаяхъ мы замѣчаемъ колебаніе между двумя принципами; смутное желаніе посредствомъ традиціонныхъ формулъ или фразъ, лишенныхъ практическаго смысла, примирить самостоятельность правительственной власти съ автономіей Генеральныхъ Штатовъ. Въ наказѣ горнаго Франшъ-Конте мы находимъ требованіе, чтобы Генеральные Штаты собирались какъ можно чаше, сообразно съ желаніемъ, которое они по этому поводу выскажутъ, въ тѣ дни и въ тѣхъ мѣстахъ, которые будутъ ими опредѣлены. Однако въ это самое требованіе полной автономіи для Генеральныхъ Штатовъ вставлена формула: *sous le bon vouloir de Sa Majesté*.

Дворянство алансонское выставяетъ правильный принципъ, что „право созывать Генеральные Штаты исключительно принадлежитъ королю“; но оно дѣлаетъ это какъ бы для того только, чтобы отсюда вывести право *нации*, въ случаѣ малолѣтства короля, устанавливать регентство. Это же самое дворянство, протестуя противъ регламента, установленнаго правительствомъ для выборовъ 1789 года и противъ отступленій,

допущенныхъ при этомъ отъ *старинныхъ формъ*, заявляетъ, что „подчинившись этому регламенту, оно вовсе не хотѣло этимъ признать, чтобы кто-либо кромѣ самой націи имѣлъ право рѣшать что бы то ни было относительно созванія Генеральныхъ Штатовъ, ихъ состава, ихъ внутренняго порядка и т. д.“

Съ бѣльшимъ, повидимому, здравымъ смысломъ заявляетъ третье сословіе бальяжа Немуръ: „Очевидно (*il est sensible*), что Генеральные Штаты должны быть собираемы всякій разъ, когда король чувствуетъ необходимость пользоваться законодательною властью, которую онъ раздѣляетъ съ ними“, и что созваніе это должно происходить довольно часто для того, чтобы они сами могли видѣть, нѣтъ ли какого-нибудь зла, подлежащаго отмѣнѣ, какого-нибудь добра, которое возможно осуществить, не случилось ли чего-нибудь такого, что вызываетъ необходимость законодательной дѣятельности“. Отсюда составители наказа дѣлаютъ однако такой выводъ, что Генеральные Штаты должны непременно собираться каждые два года и что королю предоставляется созывать ихъ въ промежуткахъ по своему усмотрѣнію для чрезвычайныхъ собраній.

Но помимо такихъ отдѣльныхъ случаевъ колебанія между принципами или слабыхъ попытокъ выяснить принципы, въ наказахъ преобладаетъ желаніе поставить Генеральные Штаты въ независимое отъ правительства положеніе. Въ виду этого составители наказовъ подъ *retour périodique* понимаютъ, что Генеральные Штаты должны собираться въ опредѣленные сроки, безъ всякаго участія со стороны правительства. Въ однихъ случаяхъ составители сами устанавливаютъ эти сроки, указывая обыкновенно двухлѣтній срокъ; въ другихъ они предоставляютъ опредѣленіе сроковъ Штатамъ. Такое указаніе сроковъ обыкновенно сопровождается заботой о томъ, чтобы обезпечить соблюденіе ихъ. „Генеральные Штаты, говоритъ духовенство бальяжа Бове, должны принять мѣры предосторожности, чтобы ни въ какомъ случаѣ ихъ возвращеніе въ опредѣленный срокъ не могло встрѣтить никакого препятствія, а если несмотря на всѣ принятыя мѣры Генеральные

Штаты не будут собраны въ установленный срокъ, уплата податей должна прекратиться *законно* въ то же мгновение во всемъ государствѣ“. Въ другихъ случаяхъ эта угроза высказывается еще рѣзче или сопровождается другими угрозами — привлеченіе къ суду министровъ и всѣхъ лицъ, по винѣ которыхъ произошла задержка.

Дворянство Маконнэ допускаетъ возможность, чтобы сроки собранія Генеральныхъ Штатовъ не были напередъ опредѣлены и не были періодичны, но лишь подъ условіемъ, чтобы въ этомъ случаѣ сроки опредѣлялись единственно волею націи (*par la seule volonté de la nation*) всякій разъ, когда она выскажется посредствомъ большинства провинцій.

Вопросъ о срокахъ и способахъ созыванія Генеральныхъ Штатовъ касался конечно будущихъ собраній, но онъ важенъ и по отношенію къ *учредительному* собранію 1789 г., ибо, признавая послѣдующія собранія независимыми отъ правительства, избиратели тѣмъ болѣе присвоивали автономію первому національному собранію. Еще болѣе однако значенія имѣетъ въ этомъ отношеніи то, что многіе наказы предоставляютъ самимъ Генеральнымъ Штатамъ установить самостоятельно свою организацію или, какъ выражается одинъ изъ такихъ наказовъ: „Генеральные Штаты должны опредѣлить неизмѣнно и число депутатовъ, и численное отношеніе ихъ (между штатами) „и способъ созванія, и вообще все, что касается ихъ организаціи“. Такимъ образомъ разрѣшеніе самаго важнаго вопроса, въ случаѣ предоставленія учредительной власти Генеральнымъ Штатамъ — организаціи того собранія, которое должно было служить выраженіемъ *общей воли* или олицетвореніемъ націи, предоставлялось ему самому.

Наконецъ, рѣшающее значеніе для автономіи Генеральныхъ Штатовъ имѣетъ то, что содержать въ себѣ наказы по вопросу о продолжительности и прекращеніи дѣятельности національныхъ собраній. Замѣчательный признакъ политической неопытности проявляется въ томъ, что громадное большинство наказовъ устремляетъ все свое вниманіе только на обезпеченіе постоянной дѣятельности Генеральныхъ Штатовъ,

оставляя въ сторонѣ всякую заботу о ея регулированіи. Общество, совершенно отвыкшее отъ этого стариннаго учрежденія, съ восторгомъ привѣтствуетъ его возстановленіе и, увлекаясь оптимизмомъ, предоставляетъ ему полный просторъ. И таково отношеніе къ дѣлу не только экзальтированныхъ поклонниковъ идеи націи, но и тѣхъ избирателей, которые не желали никакого насильственнаго переворота. Только изрѣдка поднимается въ наказахъ вопросъ о томъ, должны ли Генеральные Штаты быть постояннымъ учрежденіемъ, непрерывно засѣдающимъ, или-же засѣданія ихъ должны имѣть промежутки. Съ одной стороны, можно встрѣтить такого рода категорическое заявленіе, основанное на отвлеченной дедукціи: „Въ виду того, что принципы политики такъже абсолютны, какъ и принципы морали, ибо тѣ и другіе одинаково вытекаютъ изъ разума, какъ общаго основанія — непрерывность (la permanence) національнаго собранія должна быть слѣдствіемъ его существованія“ (Mantes N.); съ другой стороны, дворянство Оксуа требуетъ, чтобы не было непрерывности, а дворянство Анжу считаетъ непрерывность „преждевременнымъ нововведеніемъ“.

По совершенному незнакомству съ элементарными условіями парламентаризма составителямъ наказовъ не приходитъ на умъ самый естественный выходъ въ случаѣ кореннаго несогласія между правительствомъ и Генеральными Штатами — распущеніе королемъ національнаго собранія и переизбраніе депутатовъ. Если въ наказахъ заходитъ рѣчь о распущеніи, то оно представляется составителямъ ихъ не иначе, какъ въ видѣ насильственнаго устраненія національнаго собранія, и они упоминаютъ о немъ только для того, чтобы рѣшительно отвергнуть всякую мысль о немъ. *Les Etats Généraux sont indissolubles*, заявляетъ дворянство Артуа. Дворянство нижняго Лимузена требуетъ, чтобы Генеральные Штаты постановили въ формѣ неотмѣннаго закона, чтобы король ни подъ какимъ предлогомъ не могъ расторгнуть (*rompre*) національное собраніе, пока главныя статьи не будутъ утверждены. Изъ почтительности къ королю дворянство Сезана облакаетъ

то же требованіе въ слѣдующую форму: Генеральные Штаты должны упрочить свое собственное существованіе такимъ образомъ, чтобы было невозможно (*hors du pouvoir*) министрамъ распустить ихъ собраніе прежде, чѣмъ оно не окончитъ великое дѣло, надъ которымъ оно должно трудиться. Третье сословіе сенешальства Монпелье, начавшее свой наказъ „съ смиреннѣйшей просьбы къ Его Величеству приказать насчетъ устройства государства“, чтобы были приняты *такія - то* статьи — въ одной изъ этихъ статей постановляетъ, „что въ случаѣ, еслибы собраніе было распущено свыше (*par autorité*) до обнародованія выработанныхъ имъ законовъ, согласіе его на подати или займы должно считаться не состоявшимся“.

Въ другихъ случаяхъ о распущеніи упоминается съ тѣмъ, чтобы предоставить его исключительно самимъ Штатамъ. Ни одно собраніе, постановляетъ Ліонское дворянство, не можетъ разойтись (*se dissoudre*), не опредѣливши предварительно самымъ точнымъ образомъ срокъ новаго собранія. Генеральные Штаты могутъ быть распущены только собственной властью (*Anjou T.*). Составители нѣкоторыхъ наказовъ берутъ на себя указаніе срока распущенія собранія. Немурское дворянство рѣшаетъ, что распущеніе Генеральныхъ Штатовъ должно послѣдовать по прошествіи года и этимъ срокомъ ограничиваетъ срокъ полномочій своему депутату. Дворянство Ока (*Auch*) устанавливаетъ, что Генеральные Штаты должны заседать не менѣе 4 и не болѣе 9 мѣсяцевъ.

Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ наказахъ допускается возможность распущенія Генеральныхъ Штатовъ королемъ, но объ этомъ составители наказа упоминаютъ, какъ будто лишь для того, чтобы обезпечить на этотъ случай собраніе новыхъ. Дворянство Дурдана предоставляетъ королю право созывать, отсрочивать (*prooger*) и распускать Генеральные Штаты, но съ непремѣннымъ условіемъ въ случаѣ распущенія тотчасъ объявить новое созваніе. Третье же сословіе Божоле упоминаетъ о распущеніи съ оговоркой, дѣлающей его на практикѣ невозможнымъ: „Генеральные штаты“, заявляетъ оно, „будутъ постояннымъ учрежденіемъ (*permanents*); при такихъ

условіяхъ избиратели могутъ отзывать по усмотрѣнію своихъ повѣренныхъ, и королю можно будетъ ихъ распускать и снова созывать по своей волѣ, съ тѣмъ однако, чтобы въ случаѣ подобнаго распущенія всѣ налоги и всякая денежная помощь прекращались до возстановленія Штатовъ“.

* * *

Изъ предшествовавшаго видно, что въ значительной части наказовъ составители, расходясь между собой въ политическихъ цѣляхъ и общественныхъ идеалахъ своихъ, согласно предоставляли *націи* на Генеральныхъ Штатахъ главную роль при устроеніи Франціи. Но какъ же они представляли себѣ эту націю, въ какихъ формахъ она должна была проявлять свою волю?

Сообразно съ регламентомъ, установленнымъ въ королевскомъ совѣтѣ 27 декабря, Генеральные Штаты состояли изъ трехъ отдѣленій, или штатовъ—духовнаго, дворянскаго и *третьяго*. Послѣднему было предоставлено двойное число депутатовъ, т. е. столько-же, сколько первымъ двумъ вмѣстѣ взятымъ. О способѣ подачи голосовъ, или о томъ, должна ли она происходить посословно или въ общемъ собраніи, ничего не было постановлено и даже не было предусмтрѣно, какое значеніе будутъ имѣть въ первомъ случаѣ постановленія отдѣльныхъ сословій, и будетъ ли обязательно общее мнѣніе двухъ для третьяго. Историческая практика не выработала ничего твердаго на этотъ счетъ. Да и всѣ подобныя вопросы не имѣли существеннаго значенія въ старой Франціи, такъ какъ въ то время не только верховная власть вообще, но и законодательная власть въ частности всѣми признавалась за правительствомъ, и постановленія, какъ отдѣльныхъ штатовъ, такъ и всѣхъ штатовъ вмѣстѣ, имѣли для правительства значеніе только *справокъ*, т. е. лишь нравственно-обязательный характеръ.

Въ концѣ XVIII вѣка обстоятельства измѣнились. Многія тысячи избирателей, исходя отъ идеи націи, приписывали Генеральнымъ Штатамъ законодательную и даже верховную

власть. Вслѣдствіе этого имъ приходилось изъ данныхъ выборовъ элементовъ сначала *построить* ту націю, которой они желали поручить *построеніе* государства. Какимъ же образомъ это искусственное *конструированіе* націи отразилось въ наказахъ?

Французское духовенство уже потому не было въ состояніи установить въ своихъ наказахъ согласнаго и опредѣленнаго представленія о *націи*, что оно само состояло изъ элементовъ, не гармонировавшихъ между собой. Высшее духовенство—епископы и прелаты по своему происхожденію и воспитанію держались въ большинствѣ феодальныхъ традицій, а по своимъ бенефиціямъ были заинтересованы въ сохраненіи существующаго порядка. Въ средѣ-же низшаго духовенства перевѣсъ во многихъ случаяхъ получили политикующіе священники, которые хотя и составляли меньшинство, но, какъ лица болѣе заинтересованныя, чаще другихъ присвоивали себѣ редакцію наказовъ. Составленіе наказовъ духовенства поэтому нерѣдко было въ рукахъ людей, раздраженныхъ своимъ матеріальнымъ положеніемъ, а по степени и роду своего образованія примыкавшихъ къ мелкому чиновничеству. Значенію этого класса при выборахъ благопріятствовала также политика самого французскаго правительства, которое, вслѣдствіе вліянія Некера, при организаціи выборовъ руководилось по отношенію къ духовенству весьма шаткими принципами. Духовенство могло быть допущено, какъ отдѣльная сила на созываемомъ собраніи или для того, чтобы представлять собой интересы церкви,—а въ этомъ случаѣ французская церковь должна была быть представлена согласно съ духомъ и уставами католицизма, или же духовныя лица могли быть призваны на основаніи феодальнаго права; въ такомъ случаѣ *штатъ* духовенства долженъ былъ бы состоять только изъ владѣтелей сеньерій и бенефицій. Но правительственный регламентъ отнесся къ духовенству, какъ къ какой-нибудь свѣтской корпораціи, всѣ члены которой одинаково призываются высказываться объ общихъ нуждахъ. Такимъ образомъ въ среду избирателей духовнаго сословія былъ

внесенъ существенный разладъ ¹⁾, и результатъ ихъ совѣщаній, выразившійся въ наказахъ, былъ подверженъ колебаніямъ и большой случайности. Иногда этотъ разладъ обнаруживался просто и явно. Въ Керси часть духовенства—аббаты, капитулъ и пріоры, составили отдѣльный наказъ; другой наказъ былъ составленъ ксендзами или куратами (*curés*) Керси. Первые заявляютъ: „Ревниво соблюдая старинную форму Генеральныхъ Штатовъ, мы съ любовью вспоминаемъ принципы французской *конституціи*, въ силу которой въ государствѣ существуютъ три различныхъ сословія (*ordres*), отдѣленныхъ другъ отъ друга степенью почета, но равныхъ по власти, единодушное постановленіе которыхъ только и можетъ быть признано *волею* націи.“ Кураты же жалуются, что *сословіе духовныхъ второго разряда*, т.-е. священники, въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ оставалось въ пренебреженіи и обрекалось въ извѣстномъ смыслѣ на состояніе униженія и безвѣстности, хотя оно всегда было полезно обществу своими непосредственными и ежедневными заботами о бѣдныхъ и помощью, оказываемой имъ народу, бѣдствія и опасенія котораго оно гораздо ближе знаетъ“. Сообразно съ этимъ кураты, хотя и поручаютъ своимъ депутатамъ голосовать по сословіямъ, но разрѣшаютъ имъ и поголовное голосованіе, если сословіе духовенства признаетъ это цѣлесообразнымъ.

Въ большинствѣ же случаевъ разногласіе не обнаруживается такъ ясно, и лишь по тону и содержанию наказа можно судить, чье вліяніе взяло верхъ при выборахъ и при составленіи наказа.

Въ общемъ по вопросу, какъ узнать и опредѣлить волю націи, вся масса наказовъ духовенства распадается на слѣдующія категоріи. Приблизительно около трети наказовъ всѣмъ обходятъ этотъ вопросъ, вовсе не занимаясь политикой или не упоминая о томъ, какъ голосовать въ собраніи *націи*. Изъ остальныхъ двухъ третей бѣльшая часть стоитъ за со-

1) Специальному изслѣдованію этого вопроса посвящено послѣднее сочиненіе Шассена: *Les Cahiers des Curés*. 1882.

храненіе отдѣльнаго голосованія и за право veto для духовнаго штата относительно рѣшеній другихъ сословій. Иногда такое требованіе мотивируется очень обстоятельно. Духовенство Пюи (en Velay) требуетъ подачи голосовъ по штатамъ потому, что она освящена преданіемъ и долгимъ рядомъ національныхъ собраній; потому, что это единственное средство при данномъ составѣ Генеральныхъ Штатовъ помѣшать третьему штату предписывать законъ остальнымъ; потому, что это вѣрное средство обезпечить обдуманность и зрѣлость обсужденій на штатахъ и предотвратить излишнюю поспѣшность или неожиданное вліяніе интригъ и увлеченій; потому, что съ допущеніемъ поголовной подачи голосовъ было бы уничтожено различіе трехъ сословій въ національныхъ собраніяхъ, и французскій государственный строй неизбѣжно былъ бы поверженъ или въ хаосъ самой пагубной демократіи, или въ бездну деспотизма. „Мы признаемъ, заключаетъ наказъ, различіе и іерархію трехъ сословій въ томъ видѣ, какъ они существуютъ и издавна существовали во Франціи, основною частью французской конституціи и абсолютно необходимыми для того, чтобы поддержать между государемъ и народомъ то мудрое равновѣсіе, которое одно можетъ предотвратить злоупотребленія произвольной власти и буйство анархіи“.

Нѣсколько менѣе значительно число наказовъ, въ которыхъ требуется общая подача голосовъ, иногда съ различными условіями и предосторожностями. Ліонское духовенство, напримѣръ, стоитъ за поголовное голосованіе во всѣхъ податныхъ вопросахъ; требуетъ однако, чтобы для составленія большинства были необходимы двѣ трети голосовъ; оно желаетъ также соединенія для вопросовъ законодательныхъ; если же это предложеніе не будетъ принято на Генеральныхъ Штатахъ, то слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, настаивать на томъ, чтобы при несогласіи одного сословія съ двумя остальными, право veto предоставлялось этому штату лишь въ томъ случаѣ, когда его несогласіе будетъ опираться на большинство трехъ четвертей голосовъ.

Среднее мѣсто между послѣдними двумя категоріями за-

нимаютъ по своему направленію наказы, составители которыхъ высказываются за посословную систему, но допускаютъ условно и отступленіе отъ нея. Такъ въ наказѣ тулузскаго духовенства объ этомъ сказано: такъ какъ государственный строй основанъ на томъ, что нація должна быть раздѣлена на три сословія; такъ какъ на послѣднихъ Генеральныхъ Штатахъ собравшаяся нація (*la Nation assemblée*) совѣщалась посредствомъ посословной подачи голосовъ, то депутатамъ дозволяется соглашаться на *поголовную* подачу голосовъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ и послѣ того, какъ всѣ три сословія особымъ постановленіемъ дадутъ на это свое согласіе.

Наказы этой категоріи представляютъ особенно наглядную картину шаткости и противорѣчій въ принципахъ подъ вліяніемъ сбивчивыхъ представленій о самой націи. Такъ напр., духовенство Этампа высказывается самымъ рѣшительнымъ образомъ въ пользу сохраненія сословной подачи голосовъ. Оно выставляетъ систему поголовной подачи голосовъ, какъ обманчивую иллюзію и опасную приманку, изобрѣтенную министерскимъ деспотизмомъ, чтобы парализовать дѣятельность Генеральныхъ Штатовъ, а потому оно признаетъ отдѣльное голосованіе сословій самую вѣрную гарантіей противъ министерскихъ затѣй и вліяній; при системѣ общаго голосованія, говорится въ наказѣ, самые важные интересы и вѣчная судьба націи были бы отданы на жертву минутному, но всегда неминуемому вліянію интриги, краснорѣчія и нерѣдко опаснаго увлеченія патріотизмомъ и свободою.

Въ концѣ-же очень подробной мотивировки мы читаемъ: „Если бы даже посословная система ничего не имѣла за себя кромѣ древняго своего происхожденія, своего постояннаго примѣненія съ самаго начала монархіи (?) и своей существенной связи съ конституціей, она должна быть сохраняема (*respectée*) до тѣхъ поръ, пока нація не прикажетъ иначе“.

Но въ томъ-то и заключалось затрудненіе: отъ націи ожидали опредѣленія понятія націи; это-то и былъ тотъ заколдованный кругъ, тотъ *circulus vitiosus*, въ которомъ враща-

лись тогдашніе *умѣренныя* поклонники идеи *націи*; по ихъ убѣжденію воля націи могла обнаруживаться лишь при сословной подачѣ голосовъ посредствомъ единодушнаго постановленія Штатовъ—до тѣхъ поръ, пока по волѣ націи не была бы принята другая форма для выраженія ея воли! Но если этимъ путемъ не состоится никакое единодушное постановленіе Штатовъ, то какимъ же тогда способомъ опредѣлится воля *націи*?

Во французскомъ дворянствѣ не было такого внутренняго принципиальнаго разлада, какъ среди духовенства: оно было болѣе сплочено сословнымъ духомъ и преданіемъ; однако его наказы не менѣе расходятся между собой, чѣмъ наказы духовенства по вопросу, какъ формулировать на Генеральныхъ Штатахъ волю *націи*. Въ дворянскихъ наказахъ чаще встрѣчаются политическія соображенія, и главная причина разногласія между наказами въ *національномъ* вопросѣ именно обуславливается степенью вліянія и родомъ этихъ политическихъ соображеній.

Въ видѣ исключенія только можно указать на наказы, предписывающіе депутатамъ поголовную подачу голосовъ; они преимущественно съ юга Франціи (Aix, Forcalquier, Marseille); громадное-же большинство требуетъ сохраненія посословной подачи голосовъ. Но многіе наказы дѣлаютъ уступки, и по свойству этихъ уступокъ они распадаются на нѣсколько группъ. Одни за точку отправленія принимаютъ различный характеръ вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ предстояло собравшейся *націи*; они раздѣляютъ эти вопросы по категоріямъ и предлагаютъ для нихъ различный способъ голосованія. По вопросамъ административнымъ и законодательнымъ они требуютъ сохранить голосованіе по сословіямъ; въ вопросахъ же податныхъ допускаютъ общее голосованіе (Agen, Mende, Montpellier); или, по вопросамъ, касающимся интересовъ отдѣльныхъ сословій—требуется сословная подача голосовъ, а по общимъ вопросамъ—соединеніе штатовъ. Подобная мысль съ разными отгѣнками проводится въ наказахъ дворянства Миркура, Немура и Анноне.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ составители высказываются менѣе опредѣленно; они стоятъ за *vote par Ordre*, допуская отступленіе отъ него въ *особыхъ случаяхъ*, когда всѣ три сословія по особому голосованію признали бы это нужнымъ (*Armagnac*). Другіе не идутъ такъ далеко; они поручаютъ депутатамъ поддерживать посословное голосованіе и только разрѣшаютъ имъ присоединиться къ большинству дворянства, если оно по какому-нибудь вопросу, касающемуся податей, согласилось бы на общее голосованіе (*Amiens*). Нѣкоторые наказы соглашались на поголовное голосованіе, но обусловливаютъ эту уступку различными числовыми комбинаціями или ищутъ въ подобныхъ соображеніяхъ гарантій для своихъ сословныхъ интересовъ. Дворянство *Quesnoy* и *Sens* соглашается на общую подачу голосовъ, если это будетъ постановлено не менѣе чѣмъ $\frac{2}{3}$ дворянскихъ голосовъ. Дворянство *Понтъё* соглашается допускать поголовную подачу, если таково будетъ общее желаніе (*le vœu général*), но лишь съ тѣмъ, чтобы она не примѣнялась къ вопросамъ, которые будутъ касаться привилегій и частной собственности сословій и при условіи, чтобы большинство, необходимое для законнаго рѣшенія, заключало въ себѣ не менѣе $\frac{7}{8}$ голосовъ. Очень немногіе наказы согласны обойти вопросъ, допустить соединеніе дворянства съ духовенствомъ въ одну палату въ противоположность палатѣ *общинъ* (*Нижній Франшъ-Комте* и *Немуръ*): но гораздо чаще можно встрѣтить протестъ противъ подобнаго исхода.

Въ дворянскихъ наказахъ вообще преобладаетъ абсолютное требованіе примѣнять феодальную форму голосованія къ новому представленію о *законодательствующей націи*; при этомъ обнаруживается впрочемъ большая разница въ тѣхъ случаяхъ, когда наказы упоминаютъ о возможности, что дворянское сословіе, или вообще Генеральные Штаты порѣшатъ дѣло иначе. Нѣкоторые наказы поручаютъ своимъ депутатамъ подчиниться большинству, другіе предписываютъ имъ протестовать, но не удаляться (*Anjou*); самые рьяные по своему настроенію требуютъ, чтобы при такомъ рѣшеніи

вопроса ихъ депутаты уѣхали, какъ можно скорѣе, съ сейма (Condom, Daх) или даже объявляютъ, что дворянство не будетъ считать для себя обязательными принятыя такимъ способомъ постановленія (Тулуза).

Дворянство и духовенство путались въ сбивчивыхъ и противорѣчивыхъ представленіяхъ о націи, потому что преслѣдовали противорѣчивыя цѣли. Они примкнули къ радикальному понятію о націи, утверждая, что Генеральные Штаты ничто иное, какъ сама французская нація *in corpore* (*la Nation assemblée*) и надѣялись этимъ путемъ достигнуть господства надъ правительствомъ. Но въ то же время они не желали утратить свое господствующее положеніе среди народа или надъ народомъ, которое принадлежало имъ по феодалному праву. Оттого по понятіямъ большинства дворянства и значительной части духовенства та *нація* или *общая воля*, которая „въ справедливомъ равновѣсіи“ должна была раздѣлять верховную власть съ королемъ, состояла изъ трехъ отдѣльныхъ волей, облеченныхъ правомъ налагать свое *veto* на волю остальной націи и короля.

Политическое положеніе и интересы третьяго сословія не обусловливали такого уродливаго представленія о націи; но можно ли сказать, что это сословіе имѣло, хотя бы и не вѣрное, но опредѣленное и одинаковое понятіе о томъ, что такое *нація*?

Если положиться на революціонную исторіографію, то можно подумать, что подъ вліяніемъ быстрого политическаго развитія, распространеннаго брошюрами, все непривилегированное населеніе Франціи и значительная доля привилегированныхъ лицъ трехъ сословіи усвоили себѣ радикальное понятіе о націи, какъ о суммѣ лицъ, общая воля которыхъ познается ариеметическимъ способомъ. Но это столь распространенное мнѣніе ничто иное, какъ вымыселъ, придуманный для оправданія совершившихся впослѣдствіи фактовъ; оно могло держаться такъ долго лишь по незнакомству съ источниками или упорному нежеланію изучать ихъ такъ, какъ изучаются матеріалы для исторіи другихъ эпохъ. Наказы

1789 г. рисуютъ намъ картину совершенно различную отъ тѣхъ декораций, которыми увлекавшіеся политикой историки обставляли свой эффектный драматическій рассказъ. На самомъ дѣлѣ масса населенія Франціи въ 1789 году просила или требовала облегченія податей и реформъ, ожидала ихъ отъ короля или отъ совѣщаній короля съ Генеральными Штатами, но не думала о томъ, чтобы перестроить верховную власть на новыхъ началахъ. Но даже и тѣ слои французскаго общества, которые были уже сильно увлечены политической агитаціей и видѣли въ наказахъ средство для осуществленія своихъ идеаловъ, были далеки отъ точки зрѣнія, которая имъ потомъ была навязана.

Въ своихъ наказахъ третье сословіе требуетъ общей или поголовной подачи голосовъ для того, чтобы обезпечить за собой вліяніе *равносильное* вліянію первыхъ двухъ штатовъ. Само правительство, слѣдуя совѣту Некера, создало почву для такого требованія, предоставивши третьему сословію двойное число представителей; не настаивать при этихъ условіяхъ на общей подачѣ голосовъ, значило бы отказаться отъ дарованной льготы; мало того, это значило бы обречь Генеральные Штаты на бесплодную дѣятельность, такъ какъ трудно было ожидать опредѣленныхъ рѣшеній при правѣ veto каждаго отдѣльнаго сословія.

Но между этой точкой зрѣнія и радикальной программой Сіеса, которую потомъ усвоило себѣ національное собраніе—цѣлая бездна. Избиратели третьяго сословія вовсе еще не хотятъ уничтоженія сословій или уменьшенія ихъ политическаго вліянія соразмѣрно съ ихъ численностью (2⁰/₀); они сами кладутъ сословное начало въ основаніе политическаго представительства и требуютъ только одного—равной доли вліянія среди новаго представительства, а для этой цѣли общей подачи голосовъ. Составители многихъ наказовъ какъ бы заботятся лишь о томъ, чтобы навсегда упрочить сословное начало въ политической жизни, требуя, чтобы впредь каждое сословіе избирало для себя представителей изъ своей собственной среды, чтобы поэтому дворяне не имѣли права

быть депутатами отъ третьяго сословія и нарушать такимъ образомъ равноправность третьяго сословія въ національномъ собраніи. Съ другой стороны, настаивая на поголовной подачѣ голосовъ, избиратели въ большей части случаевъ не обнаруживаютъ вовсе раздраженія и запальчивости, которыя потомъ овладѣли ихъ представителями въ собраніи.

Впрочемъ, дошедшіе до насъ первичные наказы часто не выставляютъ даже требованія общей подачи голосовъ; оно не всегда встрѣчается даже въ тѣхъ деревняхъ, куда проникло слово *народъ* или *нація* въ новомъ его значеніи; эту націю представляютъ себѣ состоящею изъ трехъ сословій. Какъ любопытный образчикъ такого взгляда, а вмѣстѣ съ тѣмъ и хаоса, воцарившагося въ умахъ сельскихъ вождей, можно привести наказъ прихода Сен-Вастъ въ Нормандіи. *Синдикъ*, подписавшійся во главѣ 18 избирателей (*les dits sieurs*), *постановлявшихъ* наказъ, слышалъ о новой политической теоріи; въ силу этого, составители наказа, „увѣряя короля въ своей готовности принести въ жертву для него и для государства имущество и животы свои“, поручаютъ представителямъ Нормандіи употребить всѣ свои старанія, чтобы между королемъ—главой націи и единственнымъ представителемъ власти, исполняющей законы (*puissance exécutoire (!) des lois*)—и между *націей* была установлена хартія подъ названіемъ: *объявленіе правъ французской націи*. Не довольствуясь этимъ, синдикъ и его товарищи сами составляютъ эту хартію. Въ седьмой статьѣ ея они устанавливаютъ, что законы должны быть издаваемы королевскою властью съ согласія націи, т.-е. трехъ сословій“, а въ другой статьѣ требуютъ, чтобы третье сословіе судилось „по крайней мѣрѣ отчасти своими перами“, (т.-е. судьями своего сословія) и чтобы поэтому сорокъ магистратовъ нормандскаго парламента (въ Руанѣ) принадлежали непременно къ этому сословію, а въ случаѣ пріобрѣтенія ими дворянскаго званія замѣнялись другими лицами.

Не удивительно конечно, если сельскій синдикъ довольствуется сословнымъ устройствомъ національнаго представи-

тельства; однако подобный взгляд находимъ мы и въ болѣе важныхъ наказахъ. Одинъ изъ бальяжей богатой и промышленной Нормандіи высказывается по этому вопросу слѣдующимъ образомъ: „Такъ какъ независимость и взаимное равенство трехъ сословіи (наказъ Пон-л'Евека) составляетъ основаніе политической свободы, то ни одно изъ трехъ сословіи не можетъ быть обязано къ чему-нибудь двумя другими въ національныхъ собраніяхъ; ни въ какомъ случаѣ и ни подъ какимъ предлогомъ три сословія не должны совѣщаться сообща или подавать голоса поголовно, развѣ только съ единодушнаго согласія всѣхъ сословіи и послѣ того, какъ этотъ вопросъ будетъ предварительно обсужденъ и рѣшенъ въ каждомъ изъ этихъ сословіи отдѣльно. Мы даже того мнѣнія, что въ случаѣ, если въ силу предварительнаго и отдѣльно заявленнаго согласія три сословія стали бы совѣщаться вмѣстѣ, каждое изъ нихъ, по требованію одной трети своихъ членовъ, должно имѣть право расторгнуть начавшееся общее собраніе и удалиться для отдѣльнаго совѣщанія“.

Мы встрѣчаемъ здѣсь отголосокъ старинной политики третьяго сословія на Генеральныхъ Штатахъ, которое не разъ сторонилось отъ общаго дѣйствія съ другими сословіями изъ страха подпасть подъ ихъ вліяніе. Подобное же требованіе полной свободы дѣйствія для штатовъ выражено въ наказѣ города Еврѣ—„сословія должны сохранить свободу собираться и совѣщаться отдѣльно и вмѣстѣ“.

Другая группа предпочитаетъ общее голосованіе, но не настаиваетъ на этомъ. Избиратели скульскаго бальяжа поручаютъ своимъ депутатамъ подчиниться, если получить преобладаніе противоположное мнѣніе. Наказъ бальяжа St Pierre le Moutier требуетъ только, чтобы Генеральные Штаты, будутъ ли они голосовать посословно или поголовно, признавали за представителями третьяго сословія равное вліяніе и одинаковую съ двумя другими сословіями власть. То же самое читаемъ мы въ наказѣ—Armagnac et l'Isle Jourdain. Избиратели Верхней Мархи предоставляютъ самому собранію рѣшить вопросъ и поручаютъ своимъ депутатамъ стоять за то, что ему будетъ угодно.

Особую группу составляют наказы, редакторы которых стараются придумать какую-нибудь сдѣлку между противоположными взглядами. Нимское сенешальство предлагает *начать* съ поголовной подачи голосовъ, ибо „въ иномъ случаѣ нельзя было бы осуществить преобразований и собраніе было бы напрасно“. Признавая общую подачу голосовъ единственнымъ цѣлесообразнымъ способомъ, составители наказа отъ бальяжа Сен-Ло поручаютъ депутатамъ употребить всѣ средства убѣжденія, чтобы только этотъ способъ былъ допущенъ, но дозволяютъ имъ примкнуть къ сдѣлкамъ наиболѣе полезнымъ, которыя были бы одобрены большинствомъ. Другіе сами придумываютъ такого рода сдѣлки: наказъ отъ Ангуме признаетъ общую подачу голосовъ единственно удобной для того, чтобы быстро порѣшить всѣ дѣла — *общія тремъ сословіямъ*. Такъ и Ниверне требуетъ для установленія *національныхъ* законовъ единодушнаго согласія всѣхъ трехъ сословій или же, чтобы, по крайней мѣрѣ, въ случаѣ представившихся затрудненій голоса считались поголовно; уступчивость составителей этого наказа проявляется также и въ томъ, что они требуютъ для общихъ рѣшеній не простого большинства, а половины плюсъ 25. Не далѣе этого идетъ даже наказъ парижской округи (Paris hors les murs); если сословіямъ не удастся притти къ соглашенію отдѣльнымъ голосованіемъ, то пусть они соединятся для того, чтобы принять окончательное рѣшеніе.

Третье сословіе бальяжа Мо очень разумно указываетъ на то, что по удивительной близорукости и непростительной самоувѣренности упустилъ изъ вида Некеръ — на необходимость прежде всего опредѣлить какимъ-нибудь образомъ самый способъ подачи голосовъ, т.-е. предварительно установить способъ рѣшенія для спорнаго вопроса. Поэтому бальяжъ Мо высказываетъ желаніе, чтобы на Генеральныхъ Штатахъ голосовали поголовно, а для установленія этого перваго пункта голосовали посословно; если же не окажется при этомъ общаго согласія, то поголовно.

Только незначительное число наказовъ требуетъ съ угро-

зами общей подачи голосовъ. Но и подобныя угрозы представляютъ очень различныя градаціи. Альбре приказываетъ своимъ депутатамъ, если не будетъ принята общая подача голосовъ, „протестовать, не удаляясь однако изъ собранія“. Бальяжъ Сомюръ грозитъ, что если пять установленныхъ имъ статей—въ ихъ числѣ общая подача голосовъ—не пройдутъ, то онъ прекращаетъ полномочія своихъ депутатовъ.

Еще выше поднимаетъ голосъ городъ Маконъ: „въ случаѣ, если бы депутаты двухъ первыхъ сословій соединились между собой въ цѣломъ своемъ составѣ или въ извѣстномъ количествѣ и отказались бы совѣщаться съ другими, то постановленія третьяго сословія и приставшихъ къ нимъ членовъ первыхъ двухъ сословій или наконецъ одного третьяго сословія должны быть объявлены исходящими отъ *національнаго* собранія“. Только изрѣдка, какъ отдаленные раскаты грома, слышатся въ наказахъ такіе явные признаки революціонной бури: „депутаты должны потребовать, чтобы Генеральными Штатами съ согласія королевской власти было установлено въ качествѣ основного закона, что во всѣхъ національныхъ собраніяхъ третье сословіе будетъ имѣть равное число голосовъ и голоса будутъ подаваться въ общемъ собраніи; если-же другія сословія на это не согласятся и удалятся, то депутаты третьяго сословія должны остаться вмѣстѣ и совѣщаться о вопросахъ, составляющихъ цѣль собранія, несмотря ни на какой протестъ, въ виду того, что третье сословіе составляетъ *націю* по существу (*essentiellement*). Такова петиція, которую „почтительно представляетъ бальяжъ Осерь Его Величеству и Генеральнымъ Штатамъ, исполненный вѣры въ благодѣтельныя намѣренія короля и нѣжную любовь его“; а вслѣдъ за притязаніемъ представлять собою *націю* избиратели Осера заявляютъ: „должно быть постановлено, чтобы въ будущемъ депутаты третьяго сословія на Генеральныхъ Штатахъ могли быть только избираемы изъ этого сословія“. Это значитъ, что и впредь *нація* должна быть представляема сословными депутатами.

Въ этомъ хаосѣ голосовъ, желавшихъ установить сложное

понятіе о *націи*, очень немногіе сохранили трезвое отношеніе къ дѣйствительности. При столкновеніи между сословіями по вопросу о подачѣ голосовъ, оставался одинъ только выходъ— посредничество короля. Къ нему и обращаются здравомыслящіе избиратели, большею частію представители небольшихъ городовъ и бальяжей. Городъ Ангулемъ „смиренно проситъ Его Величество приказать, чтобы голоса подавались поголовно“. „Въ случаѣ несогласія между сословіями депутаты не должны признать судьей никого иного кромѣ короля (сенешальство Ленеვენъ) и ждать отъ его мудрости и справедливости рѣшенія, которое будетъ закономъ“. Третье сословіе Ланскаго сенешальства (Даксъ) идетъ дальше въ своихъ притязаніяхъ; но и оно при этомъ хочетъ опереться на короля; въ случаѣ нежеланія двухъ первыхъ сословій совѣщаться вмѣстѣ съ третьимъ, оно поручаетъ своимъ депутатамъ „обратиться къ Его Величеству и изложить ему, что такъ какъ третье сословіе составляетъ почти всю націю, то было бы вполне справедливо, чтобы его мнѣніе, освященное королевскою властью, разрѣшило спорный пунктъ“. Къ этимъ заявленіямъ можно присоединить одинокій среди дворянскихъ наказовъ голосъ осерскаго дворянства, которое требуетъ противоположнаго голосованія—посословнаго, но въ случаѣ затрудненій предлагаетъ разрѣшить сложный пунктъ въ смѣшанной комиссіи при *содѣйствіи* короля (*conjointement avec S. M.*); впрочемъ самая неопредѣленность этого выраженія указываетъ на неясность принциповъ и блужданіе въ цѣляхъ.

Указанными противорѣчіями далеко впрочемъ не исчерпывается хаотичность представленій, которыя по поводу понятій о націи овладѣли умами во Франціи. Несостоятельность этихъ представленій увеличивалась еще однимъ элементомъ, который многіе указы вводили въ конституцію. Нѣкоторыя провинціи Франціи, пользовавшіяся въ теченіе многихъ вѣковъ политической обособленностью, напр., Бретань, или провинціи по восточной границѣ, завоеванныя только въ XVII вѣкѣ, при всей силѣ національнаго движенія не хотѣли жертвовать

своими особенностями, капитуляціями, привилегіями, вообще своей мѣстной автономіей. Въ наказахъ изъ этихъ областей отъ всѣхъ сословій, а всего чаще отъ дворянства, мы встрѣчаемъ нерѣдко очень странныя противорѣчія. За Генеральными Штатами или за *собравшейся націей* признается учредительная и верховная власть при содѣйствіи короля или безъ онаго, но эта учредительная власть націи или ограничивается требованіемъ соблюсти капитуляцію, или подчиняется праву veto со стороны провинціальныхъ штатовъ. Укажемъ, напр., на наказъ Бургонскаго дворянства. Оно само составляетъ государственный уставъ Франціи и поручаетъ своему депутату объявить, что *нація* считаетъ такіе-то принципы неотъемлемо входящими въ строй французской монархіи: первый изъ этихъ принциповъ заключается въ томъ, что *нація* состоитъ изъ трехъ независимыхъ другъ отъ друга сословій; далѣе устанавливается автономія Генеральныхъ Штатовъ, которые сами и одни должны опредѣлить форму своего созванія; ни одинъ законъ не долженъ быть установленъ безъ согласія *націи* и одобренія короля и т. д. Затѣмъ однако мы читаемъ, что дворянство запрещаетъ своему депутату давать свое согласіе на подати, которыя Генеральные Штаты вздумали бы наложить на провинцію Бургонь, такъ какъ послѣдняя согласно со своими привилегіями и трактатами одна имѣетъ право устанавливать ихъ (assorder) на собраніи своихъ штатовъ. Подобнымъ образомъ „депутатъ не долженъ давать своего согласія на какія бы то ни было распоряженія, которыя наносили бы ущербъ конституціи этой провинціи, а также ея правамъ, льготамъ и привилегіямъ; ибо одни штаты Бургони имѣютъ право судить о преобразованіяхъ, которыя могли бы имъ казаться необходимыми“.

Приведенные здѣсь образчики полномочій легко убѣждаютъ въ томъ, на какомъ шаткомъ основаніи строили свои планы тѣ избиратели, которые хотѣли видѣть въ Генеральныхъ Штатахъ *націю* и этой націи хотѣли предоставить учредительную власть. Всѣ они, представители всѣхъ сословій и партій, клерикалы и феодалы, либеральные и радикальные монархи-

сты, централисты и приверженцы областной автономіи, по своимъ соображеніямъ сочиняли органъ для предполагаемой *національной* воли, для того, чтобы во имя націи осуществить свою программу. Но при первомъ же столкновеніи съ дѣйствительностью эти искусственно созданные идеалы *націи*, конечно, должны были разлетѣться въ прахъ. Всѣ эти избиратели забыли о существенномъ значеніи монархіи въ ея идеальномъ смыслѣ, забыли о томъ, что народъ имѣетъ въ монархѣ постояннаго, стоящаго выше сословій и партій представителя *національной воли*, и что создавать въ независимости отъ монарха или надъ монархомъ особый органъ національной воли изъ временныхъ и болѣе или менѣе случайныхъ представителей ея—значило сдѣлать невозможнымъ монархію, искалѣчить націю, а при извѣстныхъ условіяхъ значило подвергнуть вопросу и самое существованіе ея.

* * *

Съ такими-то сбивчивыми представленіями о націи и о правахъ націи, составлялись наказы главныхъ бальяжей и городовъ Франціи, и выѣхали въ Версаль депутаты для того, чтобы *устроить* Францію! Подъ вліяніемъ такихъ-то представленій слагались у избирателей и депутатовъ мнѣнія о цѣли представительнаго собранія, созваннаго правительствомъ и объ учредительной власти Генеральныхъ Штатовъ! Односторонность, смутность и противорѣчивость идей о народѣ и народовластіи, распространившихся въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ тогдашняго французскаго общества, и вліяніе ихъ на дальнѣйшій ходъ событій обнаружались-бы еще полнѣе, если бы мы прослѣдили по наказамъ, какой идеаль государственнаго порядка носился передъ воображеніемъ ихъ составителей, и въ частности остановили наше вниманіе на мнѣніяхъ о законодательной власти и способахъ изданія законовъ, о правѣ дѣлать налоги и о финансовомъ управленіи, о раздѣленіи властей и разграниченіи ихъ функцій; о положеніи монарха среди новаго строя, объ отношеніяхъ общинъ и областей къ правительству, наконецъ о положеніи централь-

наго органа администраціи и объ отвѣтственности министровъ. Во всѣхъ этихъ вопросахъ, разсмотрѣніе которыхъ выходитъ изъ рамокъ предположенной здѣсь задачи, мы встрѣтили бы ту-же туманность и сбивчивость понятій, тотъ-же антагонизмъ не только политическихъ воззрѣній или партій, но противоположныхъ стремленій и противорѣчивыхъ принциповъ у однихъ и тѣхъ же лицъ, въ одной и той же программѣ. Въ основаніи же многихъ недоразумѣній и заблужденій опять открылись бы тѣ-же незрѣлыя и невѣрныя понятія о народѣ и о народовластіи. Мы увидѣли бы, что такія ложныя понятія главнымъ образомъ обусловливались смутнымъ представленіемъ о какомъ-то *двоевластіи*, проистекавшемъ изъ противоположенія народа королю; а это представленіе о двоевластіи мѣшалось и путалось съ радикальнымъ представленіемъ о народѣ, которое, строго говоря, не допускало никакой власти, сводя правительство на степень исполнительнаго органа неорганизованной *общей воли* или *націи*.

Такія воззрѣнія, исключаящія собой всякое правильное развитіе политическихъ учрежденій, находили въ тогдашней Франціи различныя благопріятныя для своего распространенія условія; представленіе о двоевластіи, о раздѣленіи верховной власти между націей и государемъ, примыкало къ сложившимся во французскомъ обществѣ традиціямъ о роли Генеральныхъ Штатовъ въ прежніе вѣка; радикальное же представленіе поддерживалось вліятельной литературой и пробудившейся оппозиціей противъ феодальнаго общественнаго строя. Но тормозящая сила упомянутыхъ принциповъ оказалась особенно велика вслѣдствіе низкаго уровня политическаго развитія того общества, которое тогда внезапно было призвано къ самостоятельной жизни. Политическая неопытность, подобострастное поклоненіе популярнымъ терминамъ и фразамъ, способность совмѣщать чувства, противорѣчащія усвоеннымъ или заявляемымъ принципамъ, неумѣнье представлять себѣ практическія послѣдствія провозглашаемой программы, все это мы встрѣчаемъ на каждомъ шагу въ наказахъ; и чѣмъ выше общественный слой, отъ котораго исходитъ наказъ,

тѣмъ сильнѣе это поражаетъ. Совершенно невѣроятно легкомысліе безчисленныхъ избирателей, начинавшихъ свой наказъ съ самыхъ восторженныхъ монархическихъ демонстрацій къ которымъ никто ихъ не принуждалъ и которыя относились какъ къ лицу, такъ и къ самому принципу, а затѣмъ устанавливавшихъ несообразную съ этимъ программу, вытекавшую прямо изъ антимонархическаго принципа. Одни рѣшительно увѣряютъ, что намѣрены поддерживать королевскую власть, и тутъ-же переносятъ верховную власть, сами не зная на кого; другіе объявляютъ, что не потерпятъ ни малѣйшаго нарушенія правъ монарха и съ перваго раза ставятъ ему революціонный ультиматумъ; всѣ они однимъ и тѣмъ же перомъ прославляютъ монархію и разрушаютъ ее.

Возьмемъ наказъ незначительнаго бальяжа Этампъ: онъ начинается съ заявленія признательности и почтенія къ королю; созваніе Генеральныхъ Штатовъ признается величайшимъ благодареніемъ; высказывается надежда, что оно приведетъ къ спасительному возстановленію государства и желаніе, чтобы благоденствіе государства покрыло короля новой славой и доставило ему почетное мѣсто въ ряду величайшихъ государей, которыми гордится Франція.

„Собраніе умоляетъ Ваше Величество соизволить милостиво и снисходительно отнестись къ различнымъ статьямъ наказа и не сомнѣваться, что онѣ внушены самымъ благороднымъ рвеніемъ и самой искренней преданностью“.

Затѣмъ прямо высказывается желаніе, чтобы прежде всего была установлена неизмѣннымъ способомъ главная и самая существенная власть—законодательная. Она безспорно принадлежитъ націи; нація слишкомъ долго была ея лишена, и этому лишенію она должна приписать безпорядки, смутившіе спокойствіе государства; „мы желаемъ поэтому, чтобы эта власть была навсегда возвращена націи и чтобы собранію ея представителей было поручено на будущее время изготовленіе всѣхъ законовъ, которыми она будетъ управляема; мы уповаемъ на справедливость Его Величества, что Генеральнымъ Штатамъ никто болѣе не будетъ мѣшать пользо-

ваться этою властью“. О томъ, что эти законы должны изготовляться, по крайней мѣрѣ, при содѣйствіи правительства, что они должны быть утверждены королемъ—ни слова.

„Вторая власть—исполнительная, которую нація всегда будетъ видѣть съ довѣріемъ и признательностью въ рукахъ Его Величества и Его потомковъ; мы желаемъ для Его славы и благоденствія государства, чтобы эта власть была по возможности обширна“.

Во исполненіе вѣроятно этого желанія 19-я статья намѣченной гражданами Этампа конституціи гласитъ такъ: „Въ виду того, что министры нечто иное, какъ повѣренные по дѣламъ націи (*administrateurs des affaires de la Nation*), они будутъ подлежать отчетности и отвѣтственности за веденіе дѣлъ передъ Генеральными Штатами“.

На каждомъ шагу насъ поражаетъ въ наказахъ несоотвѣтствіе заявленій съ намѣреніями и противорѣчіе принциповъ: не разъ случается такимъ образомъ встрѣтить совершенно безсознательное усвоеніе самыхъ радикальныхъ принциповъ—безцѣльное, какъ холостой выстрѣлъ. Въ общемъ наказѣ духовенства и третьяго сословія Лотарингскаго бальяжа Брюеръ мы читаемъ: „Законъ можетъ имѣть конституціонное и національное значеніе лишь на столько, на сколько онъ служитъ выраженіемъ воли самаго большаго числа, заявленнаго большинствомъ голосовъ“. А вслѣдъ за этимъ дѣлается постановленіе такого рода: „такъ какъ нація раздѣлена на три сословія, изъ которыхъ два первыхъ вмѣстѣ взятая относятся къ третьему какъ 200,000 къ 25 милліонамъ, то самая строгая справедливость требуетъ, чтобы третье сословіе имѣло представительство по крайней мѣрѣ равное по числу депутатамъ духовенства и дворянства“.

Подобнымъ образомъ въ наказѣ бальяжа Провенъ за революціонной фразой слѣдуютъ умѣренныя требованія: государь имѣетъ право на любовь своихъ народовъ, когда по прошествіи двухъ вѣковъ онъ возвращаетъ имъ ихъ старинную свободу, которую его предшественники насильственно захватили (*usurpée*); когда онъ собирается исправить обиды

деспотизма и т. д. Между тѣмъ въ числѣ конституціонныхъ статей нѣтъ никакого притязанія на законодательную власть или даже на участіе въ законодательствѣ.

Но бываетъ и наоборотъ: иные избиратели осторожны и исполнены благихъ намѣреній и тѣмъ не менѣе предлагаютъ разрушительную программу. Тулузское дворянство поручаетъ своимъ депутатамъ заявить на Генеральныхъ Штатахъ, что „неумѣренное рвеніе, которое дерзаетъ все передѣлать въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ и возродить до мелочей такое обширное государство какъ Франція, было бы недостойно мудрости столь почтеннаго собранія“. А между тѣмъ о требованіяхъ самого тулузскаго дворянства нельзя сказать „чтобы они были подготовлены долгими и глубокими размышленіями“; въ числѣ ихъ мы встрѣчаемъ и революціонный ультиматумъ, открывавшій путь къ узурпаціи власти національнымъ собраніемъ и періодическое, безъ содѣйствія короля, созваніе Генеральныхъ Штатовъ съ обязательствомъ для провинціальныхъ штатовъ, въ случаѣ несоблюденія срока, прекратить раскладку податей и обратиться къ суду, а для судовъ привлекать къ отвѣтственности, какъ лихоимцевъ всѣхъ, кто бы дерзнулъ продолжать сборъ податей; мы встрѣчаемъ наконецъ тутъ и отвѣтственность министровъ, военачальниковъ и прочихъ агентовъ исполнительной власти, которые оказались бы виновными въ нарушеніи конституціонной хартіи или національныхъ и индивидуальныхъ правъ, и обязательство для прокуроровъ преслѣдовать оныхъ нарушителей передъ судомъ, въ случаѣ если нація не будетъ сама въ сборѣ, при томъ съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы такія нарушенія не подлежали амнистіи подобно оскорбленіямъ величества. Въ довершеніе же всего дворянство грозитъ не подчиняться постановленіямъ Генеральныхъ Штатовъ, если они будутъ сдѣланы не посословно.

Особенно выдаются своею несостоятельностью дворянскіе наказы. Французское дворянство, это избалованное дитя старой монархіи, не воспитанное въ серьезной государственной школѣ, оторванное отъ всякаго общественнаго дѣла, съ сильно

развитымъ, но терявшимся въ мелочахъ, чувствомъ чести, и съ совершенно неразвитымъ гражданскимъ чувствомъ, обнаружилъ въ наказахъ свое полнѣйшее политическое ребячество. Кромѣ общихъ большинству наказовъ недостатковъ—необдуманности, политической неопытности, блужданія между монархическими традиціями и модными республиканскими теоріями, злоупотребленія чувствомъ и фразой—мы встрѣчаемъ въ дворянскихъ наказахъ слишкомъ часто особую уродливую смѣсь шляхетства и радикализма, феодалныхъ притязаній и революціоннаго ухарства. Алансонское дворянство начинаетъ съ протеста, что никто кромѣ самой *націи* не можетъ дѣлать постановленій о чемъ бы то ни было, касающемся созванія, состава и распорядка Генеральныхъ Штатовъ; заявляетъ, что нечего искать конституціи для Франціи, такъ какъ она издавна существуетъ, и тутъ же объясняетъ, „что считаетъ конституціоннымъ все, что, не противорѣча неотъемлемымъ правамъ человѣка и принципамъ, присущимъ общественному договору, основано на прецедентахъ и обычаяхъ“, и наконецъ проситъ, чтобы „король соизволилъ даровать дворянству исключительное и почетное отличіе въ видѣ креста, ленты или пояса; чтобы этотъ знакъ отличія носили также и жены и дочери дворянъ, кто бы ни были ихъ отцы или мужья, отличаясь впрочемъ однѣ отъ другихъ; чтобы жены, кромѣ того, носили на себѣ значки военныхъ чиновъ своихъ мужей и всѣхъ орденовъ, которыми тѣ украшены“. Дворянство Артуа выражаетъ свое удовольствіе по поводу того, что оно въ своихъ дворянскихъ привилегіяхъ сохранило нѣкоторые слѣды народныхъ правъ, столь долго позабытыхъ, и надѣется, что въ нѣдрахъ Генеральныхъ Штатовъ обрѣтетъ ихъ совокупность.

Дворянство Безіера проситъ короля учредить комиссію для того, чтобы производить слѣдствіе по поводу всякаго случая неправильнаго присвоенія дворянскаго титула (*usurpation*), въ виду того, что всякая узурпація наноситъ существенное оскорбленіе дворянскому обществу, и кромѣ того предоставить дворянству особый знакъ отличія, такъ какъ право носить оружіе перестало быть исключительной привилегіей.

Наказъ *господъ дворянскаго сословія* провинціи Бюже особенно наивно совмѣщаетъ самые противоположные принципы. Сначала идетъ струя политическаго раціонализма: „Такъ какъ Франція монархія, состоящая изъ свободныхъ людей, то всякому индивидууму, т.-е. всѣмъ французамъ, по существу принадлежитъ право давать свое согласіе на гражданскіе и фискальные законы, которыми налагается какое-нибудь ограниченіе на „свободу и право собственности—не имѣющія предѣловъ“. Отсюда однако дѣлается выводъ въ пользу преимущества мѣстнаго представительства надъ общенароднымъ: „такъ какъ провинціальныя собранія—болѣе полное и непосредственное представительство *націи*, которая одна только обладаетъ верховнымъ правомъ законодательства, то каждая провинція имѣетъ право давать своимъ депутатамъ или общія, или спеціальныя инструкціи, отъ которыхъ они не могутъ отступать, однимъ словомъ, имѣетъ право по своему усмотрѣнію опредѣлить мѣру власти, отъ которой она отрекается, облакая ею своего депутата“. „Этотъ очевидный принципъ представляетъ гарантію свободы, истекающей изъ естественнаго права—и всегда составлялъ одинъ изъ элементовъ общественнаго права націи, какъ видно изъ исторіи Генеральныхъ Штатовъ“ и т. д.

Здѣсь принципъ естественнаго права приводится въ защиту преобладанія областныхъ интересовъ надъ національными. Еще менѣе вяжется съ естественнымъ правомъ дальнѣйшее. Дворянство Бюже утверждаетъ, что Франція не нуждается въ устроеніи, такъ какъ „уже имѣетъ конституцію“. „Напрасно смѣлые приверженцы новшествъ распространяютъ въ предосудительныхъ писаніяхъ мнѣніе, будто государство, со славою просуществовавшее 13 вѣковъ, никогда не было устроено“. Опровергая „такое заблужденіе, порожденное бунтовщиками и распространяемое невѣждами“, дворянство доказываетъ, что конституція Франціи заключается въ существованіи сословій, учреждений и индивидуумовъ, облеченныхъ правами и привилегіями.

Этого однако мало: весь наказъ состоитъ изъ цѣлаго ряда

сюрпризовъ для читателя. „Глава великаго народа, читаемъ мы, долженъ быть надѣленъ большою властью для того, чтобы никакая часть народа не могла возвыситься надъ закономъ, который есть ничто иное, какъ воля государя...“ „Король не имѣетъ другого интереса, кромѣ счастья своего народа; королевская власть есть привилегія и самая важная изъ всѣхъ, которыми можетъ располагать нація“; однако нѣсколько строкъ далѣе политическая декорация совершенно измѣняется: „государь (le souverain) въ монархіи—это нація въ соединеніи съ монархомъ (jointe au monarque) и подъ его предсѣдательствомъ“; „верховная власть, будучи выраженіемъ общей воли, не можетъ быть ограничена, урѣзана или передаваема; ибо можно передать власть, но не волю“. Генеральные Штаты не нація, а только изображеніе ея и потому не обладаютъ полнотою верховной власти, но облечены исполнительной властью давать согласіе на налоги и издавать новые законы, не имѣя впрочемъ права отмѣнять тѣ изъ нихъ, которые составляютъ основаніе общественнаго договора и правительства, безъ спеціальнаго на то согласія націи“.

Подобнымъ образомъ составители наказа на многихъ столбцахъ излагаютъ свои политическія воззрѣнія—безтолковую путаницу феодальныхъ традицій и обрывковъ изъ Руссо. За этимъ разсужденіемъ слѣдуетъ проектъ конституціи, *первый* параграфъ которой гласитъ, что законодательная власть принадлежитъ націи въ соединеніи съ монархомъ и что, слѣдовательно, ни одинъ законъ не можетъ состояться иначе, какъ въ силу воли народа (peuple) и съ утвержденія короля“; *седьмой*: что королевская прерогатива въ справедливыхъ предѣлахъ, установленныхъ конституціей, (какой?) должна быть сохранена во всей своей силѣ и значеніи; а въ *девятнадцатомъ* постановляется, что только въ томъ случаѣ, если несомнѣнныя и неотмѣнныя права, заключающіяся въ первыхъ шести статьяхъ, будутъ приняты и обнародованы въ законной формѣ—и не иначе—дворянство Бюже уполномочиваетъ своего депутата согласиться отъ имени дворянства на тѣ налоги, которые будутъ признаны необходимыми для утвер-

жденія королевскаго долга и превращенія его въ національный долгъ!

Далѣе, повидимому, политическій сумбуръ итти не можетъ; но есть наказъ, написанный болѣе логично и складно, перомъ опытнаго и ученаго публициста, и въ то же время не менѣе обличающій политическую незрѣлость французскаго дворянства, чѣмъ предшествующій. Это наказъ дворянства Мантскаго бальяжа, анализъ котораго можетъ замѣнить читателю изученіе сотни другихъ наказовъ многотомнаго собранія.

Вотъ его вступленіе: „Мы начинаемъ съ заявленія, что желаемъ сохранить правленіе монархическое, мудро умѣряемое законами. Это образъ правленія, переданный намъ предками, и одной непрерывности его въ теченіе вѣковъ было бы достаточно, чтобы упрочить его вѣковѣчность. Кромѣ того это образъ правленія наиболѣе цѣлесообразный для обширнаго государства. Онъ особенно соотвѣтствуетъ потребностямъ Франціи по физическимъ условіямъ этой страны и нравственному характеру ея населенія. Наконецъ мы можемъ только гордиться и наслаждаться великими надеждами, которыя вызвалъ въ насъ нашъ монархъ, и если бы мы еще жили въ такое время, когда народъ избиралъ своихъ государей, свободные голоса избирателей, безъ сомнѣнія, соединились бы на томъ, кого слава предковъ, честность намѣреній и великодушная снисходительность, съ какой онъ дозволяетъ все, что клонится къ общественному благу, заставляютъ насъ въ настоящее время любить и уважать на его престолѣ. За этой исповѣдью нашихъ чувствъ мы изложимъ идеи, которыя категорически проистекаютъ изъ правъ чело-вѣка и гражданина во всякомъ государственномъ устройствѣ и которыя въ эту эпоху всеобщаго возрожденія безъ усилія мирятся съ монархіей“.

Первый же пунктъ слѣдующаго за тѣмъ наказа заключаетъ въ себѣ протестъ противъ избирательнаго регламента и заявленіе, что тѣмъ не менѣе избиратели облакаютъ своего депутата всѣми полномочіями, которыя нація по естествен-

ному и неотъемлемому праву своему может возложить на своего представителя.

Депутату предписывается потребовать пословной подачи голосовъ съ правомъ, впрочемъ, при особенныхъ обстоятельствахъ поступить такъ, какъ онъ найдетъ наиболее удобнымъ.

Далѣе депутату предписывается не соглашаться ни на какое распущеніе, ни даже отсроченіе Генеральныхъ Штатовъ безъ ихъ постановленія объ этомъ, и потому ему вмѣняется въ обязанность заявить съ первыхъ же засѣданій, что всѣ налоги, до сихъ поръ считавшіеся законными, въ сущности находились въ полномъ противорѣчій съ основнымъ закономъ государства и съ повсемѣстно признаннымъ принципомъ, что утвержденіе налоговъ принадлежитъ исключительно націи.

Затѣмъ депутатъ долженъ объявить, что если, уступая силѣ, онъ былъ бы принужденъ удалиться, то всѣ судебныя учрежденія обязаны подъ страхомъ отвѣтственности передъ націей преслѣдовать, какъ лихоимца, всякаго, кто сталъ бы собирать подать, не утвержденную или не продолженную Генеральными Штатами.

Уже эти угрозы, ненужныя въ виду королевскаго манифеста, странно звучать послѣ лояльнаго и сочувственнаго заявленія въ началѣ наказа; но еще важнѣе другая сторона дѣла. До сихъ поръ обращенія къ естественному праву и къ правамъ человѣка могли казаться риторическими украшеніями; въ слѣдующей главѣ они получаютъ серьезное значеніе. Депутату предписывается тотчасъ по открытіи засѣданій потребовать, чтобы собраніе приступило къ установленію „декларациі правъ, т.-е. акта, посредствомъ котораго представители націи должны объявить ея именемъ всѣ права, принадлежащія всѣмъ людямъ въ качествѣ существъ чувствительныхъ, разумныхъ и способныхъ къ нравственнымъ понятіямъ“.

Мы не станемъ разсматривать въ подробностяхъ приложенный къ этому проектъ декларациі правъ и перейдемъ къ

главѣ о государственномъ *устроении*. Здѣсь мы прежде всего встрѣчаемъ требованіе, чтобы на основаніи всеобщей подачи голосовъ были установлены повсюду собранія выборныхъ представителей—приходскія, волостныя, провинціальныя и надо всѣми—собраніе національное. За этимъ слѣдуетъ приведенная выше многознаменательная статья, столь наглядно свидѣтельствующая объ увлеченіи рационализмомъ и о наивномъ примѣненіи его къ политикѣ: „Такъ какъ принципы политики столь же абсолютны, какъ и нравственные принципы, ибо тѣ и другіе одинаково зиждутся на разумѣ, то размышляя о свойствѣ законодательной власти, мы не можемъ не притти къ заключенію, что непрерывность всѣхъ этихъ собраній, а также самаго національнаго собранія ничто иное, какъ простое послѣдствіе ихъ существованія и что эта непрерывность должна быть обеспечена специальнымъ закономъ“.

Установивши непрерывное національное собраніе, мантскіе дворяне присвоиваютъ ему верховную власть: „Мы предписываемъ нашему депутату потребовать постановленія о томъ, что никакой законъ не можетъ быть издаваемъ, никакой налогъ взимаемъ, никакой заемъ не можетъ сдѣлаться обязательнымъ для націи иначе, какъ въ силу *воли* національнаго собранія; что оно одно имѣетъ право приказывать гражданамъ въ формѣ закона все, что не противорѣчитъ статьямъ деклараціи правъ, такъ какъ свободные люди могутъ считать закономъ только выраженіе общей воли, формулированное въ общемъ собраніи гражданъ или ихъ представителей“.

Дальнѣйшій анализъ наказа былъ бы излишнимъ. Какъ могли однако дворяне, желавшіе сохранить не только свое дворянское званіе, но и роль *законодательнаго сословія*, заявлявшіе, что монархія самая цѣлесообразная для Франціи форма правленія—сочинить подобный наказъ?—Одно имя все объясняетъ. Въ числѣ подписей подъ наказомъ стоитъ имя (маркиза) де-Кондорсе. Наказъ, очевидно, сочиненъ знаменитымъ публицистомъ; а мантскіе дворяне, не понявъ его зна-

ченія, подписались подъ нимъ. Какъ и многіе другіе дворяне, перешедшіе потомъ въ ряды эмиграціи, лояльное дворянство Манты находилось тогда въ оппозиціи противъ правительства, а это настроеніе увеличивало обаяніе, которымъ пользовался въ его средѣ ученый маркизь. Мантскіе дворяне были настолько образованы, чтобы оцѣнить значеніе своего собрата въ наукѣ и литературѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и настолько политически не развиты, что они не поняли, кому довѣряютъ составленіе своей программы. Такимъ образомъ приверженцы монархіи и сословнаго начала избрали своимъ политическимъ вождемъ горячаго поклонника Сѣв.-американскихъ Штатовъ, мечтавшаго о грядущей порѣ, когда республиканское устройство будетъ единственной политической формой и для народовъ старой Европы, и для дикарей внутренней Африки, просвѣщенныхъ французской цивилизаціей. Способный къ строгому и точному мышленію въ области математики, Кондорсе былъ фантазеромъ въ исторіи и политикѣ. Съ догматической вѣрой во всемогущество отвлеченнаго разума и всецѣлительность разсудочнаго просвѣщенія Кондорсе соединялъ самый романтическій оптимизмъ, мѣшавшій ему дѣлать самыя простыя наведенія изъ окружающихъ его фактовъ. Четыре года спустя Кондорсе, сдѣлавшись жертвой своего политическаго доктринерства, преслѣдуемый террористами, торжеству которыхъ онъ такъ много содѣйствовалъ, еще нашель возможность написать свое апокалиптическое прославленіе уже наступившей, десятой, высшей и послѣдней эпохи прогресса, и на ступеняхъ къ гильотинѣ еще предавался мечтаніямъ о безпредѣльной продолжительности человѣческой жизни на землѣ благодаря успѣхамъ науки.

Французскіе дворяне подъ руководствомъ Кондорсе, — преданность монархіи и феодальнымъ преданіямъ съ бредными оптимистическаго раціонализма — характерный симптомъ наказовъ 1789 года и отразившагося въ нихъ политическаго развитія высшихъ классовъ Франціи.

* * *

Исторія Франціи въ XVIII вѣкѣ представляетъ намъ поразительный примѣръ того, въ какомъ несоотвѣтствіи можетъ находиться степень цивилизаціи, достигнутая извѣстнымъ обществомъ, съ его политической развитостью—до какой степени на ряду съ утонченностью нравовъ и вкусовъ, экономическимъ благосостояніемъ, высокимъ развитіемъ точныхъ наукъ, уваженіемъ къ умственной культурѣ и къ образованію—могутъ господствовать въ странѣ политическая незрѣлость и легкомысленная игра принципами и фразами. При большой воспріимчивости народнаго характера и способности французовъ легко поддаваться великодушнымъ влеченіямъ отсутствіе политической опытности давало себя чувствовать у нихъ особенно живо и непосредственно. При этихъ условіяхъ французское общество увлеклось великой идеей *народа* или *націи* прежде, чѣмъ было въ состояніи усвоить себѣ ея истинное значеніе и примѣнить ее къ своимъ потребностямъ. Недовольное своимъ положеніемъ, французское общество стало искать политическаго прогресса въ одностороннемъ развитіи этой идеи. Оно стало представлять себѣ *націю*, какъ нѣчто отдѣльное отъ власти, какъ нѣчто особое и самостоятельное, какъ нѣчто идеальное и потому болѣе высокое и почтенное, чѣмъ правительство. Достигнувши однажды этой наклонной плоскости, французское общество быстро или, правильнѣе сказать, одновременно прошло всѣ возможныя стадіи въ развитіи идеи націи. вмѣсто того, чтобы видѣть въ правительствѣ олицетвореніе націи въ политическомъ отношеніи, общество стало лелѣять мечты о какомъ-то совмѣстномъ владычествѣ монарха и народа. Мечты эти казались тѣмъ болѣе законными, что какъ будто опирались на преданіе старины, разукрашенной фантазіями историковъ; мечты эти были тѣмъ болѣе заманчивы, что въ то же время льстили реальнымъ страстямъ, и что каждый классъ народа надѣялся царствовать во имя націи. При такомъ настроеніи умами легко овладѣли политическія доктрины тогдашняго либерализма.

и радикализма, которыя, при всей противоположности своей въ принципахъ, одинаково сводили монархію на исполнительную функцію и тѣмъ лишали ее національнаго значенія. Смутно желая, чтобы государственная власть имѣла не сословный, а всенародный характеръ, чтобы законъ соотвѣтствовалъ національному идеалу о правѣ и разумномъ порядкѣ, чтобы въ общественной и умственной жизни было допущено свободное развитіе индивидуальныхъ силъ,—вышіе и интеллигентные классы Франціи не достаточно сознавали, что монархія представляла имъ лучшія для этого условія и гарантіи; что нравственная сила и національное значеніе монархіи заключались въ томъ, что монархъ есть истинный и постоянный представитель *національной воли* и что только на этомъ незыблемомъ основаніи возможна плодотворная дѣятельность мѣстнаго или общаго представительства. Глубокій антагонизмъ между властью и народомъ, который такимъ образомъ укоренялся во французскомъ обществѣ, долго былъ скрытъ отъ него традиціонной преданностью всѣхъ классовъ монархіи; но избытокъ чувства и здѣсь не могъ вознаградить за отсутствіе политической мысли. Правда, причины политической неопытности французскаго общества были многосложны и глубоко коренились въ его исторіи; незрѣлость этого общества обуславливалась главнымъ образомъ давнимъ и полнымъ отчужденіемъ его отъ всякаго практическаго дѣла, отъ всякой серьезной отвѣтственности, отъ всякаго служенія общему интересу и благу; она обуславливалась рознью между привилегированными слоями и массой населенія и наконецъ характеромъ самой власти. Французская монархія до конца стараго порядка сохранила феодальный характеръ. Эта феодальная власть не была въ состояніи оцѣнить значеніе національной идеи и воспользоваться ею для своего преображенія въ національную монархію. Но какъ ни многочисленны были причины политической неразвитости высшихъ и самыхъ образованныхъ слоевъ населенія, эта неразвитость, несомнѣнно, много содѣйствовала тому, что Франція, преслѣдуя односторонній національный идеалъ, невольно и не вѣдая того, лишила себя самаго національнаго своего института.

Но исторія французскаго общества въ XVIII вѣкѣ представляетъ намъ еще другой, болѣе непосредственный для насъ интересъ. Она показываетъ намъ, какую важную роль играютъ въ народной жизни историческія и политическія науки, какое значеніе можетъ имѣть принятое ими направленіе для политическаго воспитанія общества. Мы видѣли, какъ заблуждалась политическая наука во Франціи при изученіи государственныхъ формъ и учрежденій въ другихъ странахъ и какъ несбыточенъ былъ указанный ею идеаль свободнаго государства, оттого, что она оказалась не въ состояніи понять и выяснитъ значеніе самаго твердаго основанія свободы—монархической власти. Мы видѣли далѣе, какъ легко, подъ покровомъ строго логическаго мышленія, скрывалось политическое недомысліе, и бредни воображенія принимались за требованіе отвлеченнаго разума. Мы видѣли, какъ историческая наука, уклонившись отъ своей прямой задачи выяснять смыслъ прошедшаго, сдѣлалась игрушкой политическихъ теорій и страстей; какъ, сбившись съ пути и подъ вліяніемъ моды, она выдавала первобытныя формы и отношенія за идеальныя и правомѣрныя; какъ она, желая служить интересамъ свободы и гражданской равноправности, вселяла въ обществѣ мысль объ антагонизмѣ между властью и народомъ и на этомъ строила невѣрное изображеніе всей прошлой жизни націи.

А между тѣмъ самая серьезная задача національной исторіографіи заключается въ правильномъ пониманіи и осмысленномъ изложеніи отношеній между властью и народомъ, такъ какъ взаимное отношеніе этихъ элементовъ составляетъ существеннѣйшее содержаніе исторіи націи.

Торжество идеи народовластія.

Призвавши все населеніе Франціи къ участию въ составленіи *наказовъ*, французское правительство пробудило во всей странѣ страстное желаніе реформъ и преобразованій. Всѣ разнообразныя, а иногда и противорѣчивыя жалобы различныхъ классовъ и мѣстностей на свое положеніе или на разныя неурядицы, слились въ одинъ общій гулъ, требовавшій отмѣны всего существующаго порядка и замѣны его новымъ. Но вызванное правительствомъ движеніе умовъ на этомъ не остановилось. Правительство Людовика XVI, того не сознавая, подвергло вопросу свое собственное существованіе: оно исполнило завѣтъ того публициста, который въ построеніи теоріи чистаго народовластія выставилъ требованіе, чтобы народъ во всей совокупности былъ періодически вопрошаемъ, желаетъ ли онъ сохранить существующую форму правленія и желаетъ - ли онъ оставить правительственную власть тѣмъ, кому она была вручена ¹⁾? Опросъ, сдѣланный французскому народу при составленіи *наказовъ*, не могъ не имѣть такого же значенія. Хотя масса населенія въ селахъ и городахъ не была первоначально склонна понимать опросъ въ этомъ смыслѣ, но вездѣ находились люди способные и готовые навести ее на это ²⁾. При этихъ условіяхъ идея наро-

¹⁾ J. J. Rousseau. *Contrat Social* L. III. ch. 18: S'il plait au souverain de conserver la présente forme du gouvernement etc.

²⁾ Je vis de petits bourgeois, des praticiens, des avocats, sans aucune instruction sur les affaires publiques, citant le *Contrat social*, déclamant avec véhémence contre la tyrannie, contre les abus et proposant chacun une constitution. *Mém. de Malouet*. I. 245.

довластія, перенесенная изъ „Общественнаго договора“ въ безчисленныя брошюры, „инструкціи избирателямъ“ и „образцы наказовъ“, наводнившіе Францію, должна была овладѣть умами. И хотя она понималась различно, и большинство ея приверженцевъ считало ее совмѣстимой съ монархіей, идея народовластія слилась съ дорогою для всѣхъ идеей свободы и стала господствующимъ въ общемъ настроеніи началомъ.

Этотъ переворотъ въ общественномъ настроеніи былъ хорошо извѣстенъ французскому правительству. Мы знаемъ объ этомъ между прочимъ изъ мемуаровъ Малуэ, избраннаго депутатомъ Ріомскаго бальяжа въ Оверни и хорошаго знакомаго Неккера. Какъ рассказываетъ Малуэ, онъ за двѣ недѣли до открытія Генеральныхъ Штатовъ слышалъ отъ Неккера, что „король уже прочелъ большую часть наказовъ“ и остался доволенъ одною статьею въ наказѣ ріомскаго бальяжа, предоставлявшей Генеральнымъ Штатамъ лишь право давать свое согласіе на законы и налоги и утверждать ихъ, — въ противоположность къ тѣмъ наказамъ, которые присвоивали Штатамъ верховную власть. „Мы желали бы, прибавилъ министръ, чтобы всѣ указы усвоили себѣ эту статью“. Изъ этого видно, что правительство Людовика XVI хорошо понимало надвигавшуюся на него опасность. Но принимало ли оно какія нибудь мѣры противъ нея?

Въ полной пассивности правительства въ этомъ случаѣ заключается одинъ изъ важныхъ моментовъ, объясняющій ходъ, который приняли событія революціонной эпохи. Нельзя сказать, чтобы главный совѣтникъ короля въ эту минуту — Неккеръ, не былъ предупрежденъ относительно послѣдствій такой политики полного невмѣшательства. Малуэ не скрывалъ отъ него, что признавалъ „страшно неблагоразумнымъ представленіе собраніямъ избирателей такого простора, что они могли подвергнуть вопросу самые основные принципы монархическаго правленія“. Но несмотря на сдѣланную ошибку Малуэ не считалъ дѣло правительства и порядка погибшимъ. Онъ находилъ, что въ наказахъ еще преобладалъ монархическій духъ и что королю слѣдовало бы воспользоваться имъ,

поднять королевскій авторитетъ и „сдержать депутатовъ въ предѣлахъ ихъ обязанностей и полномочій“. Согласно съ этимъ Малуэ совѣтовалъ Неккеру, чтобы правительство „взяло на себя „иниціативу“, составило бы на основаніи наказовъ опредѣленный планъ преобразованій и встрѣтило собравшіеся въ Версали Генеральные Штаты готовою программой. „Если вы возьмете на себя иниціативу, говорилъ Малуэ Неккеру, она останется при васъ, и если мы выйдемъ изъ предѣловъ нашихъ полномочій, или измѣнимъ ихъ, король можетъ намъ сказать: „я съ своей стороны не хочу и не могу итти наперекоръ общимъ желаніямъ народа (vœu national), такъ же и вы, его повѣренные (mandataires) не имѣете на это права“. Малуэ, значитъ, предполагалъ, что въ случаѣ несогласій между Генеральными Штатами и королемъ, послѣднему можно будетъ апеллировать къ изложенной въ наказахъ волѣ народа и искать въ ней опоры.

При тогдашнихъ обстоятельствахъ совѣтъ Малуэ представлялъ собою единственный возможный выходъ изъ затрудненій. Выступивъ съ широко задуманной, либеральной программой, правительство могло бы предупредить шатаніе умовъ и раздоры въ Генеральныхъ Штатахъ и собрать около себя большинство или, по крайней мѣрѣ, значительную партію; а въ случаѣ неудачи этого плана и разрыва съ Генеральными Штатами, правительство спасло бы себя отъ нареканій, что оно стоитъ за старый порядокъ и имѣло бы оправданіе передъ населеніемъ, ссылаясь на то, что его программа согласна съ волею народа и что не оно, а большинство избранныхъ депутатовъ идетъ противъ этой воли.

Но Неккеръ не принялъ этого совѣта, и повидимому даже не довелъ его до свѣдѣнія прочихъ министровъ и короля. Какъ это объяснить? Конечно большую роль играли и въ этомъ вопросѣ тѣ личныя качества Неккера, о которыхъ уже раньше шла рѣчь и въ особенности его нерѣшительность. Но Малуэ приводитъ въ оправданіе Неккера и нѣкоторыя политическія соображенія, хотя и не раздѣляетъ ихъ. Несомнѣнно, что французское правительство весною 1789 года не

вполнѣ понимало положеніе дѣла; оно еще жило прошлымъ, и потому, напр., до самаго собранія Генеральныхъ Штатовъ болѣе опасалось сопротивленія со стороны привилегированныхъ штатовъ, всесильныхъ при *старомъ порядкѣ*, чѣмъ третьяго штата. Интересно также и сообщеніе Малуэ, что Неккеръ не полагался на войска. „Что вы сдѣлаете, говорилъ министръ Малуэ уже въ февралѣ 1789 г., когда нигдѣ нѣтъ повинovenія? Мы даже не увѣрены въ войскахъ“.

Но конечно главная причина нерѣшительности и беспомощности французскаго правительства при возникновеніи революціи—та самая, которая бессознательно увлекла и депутатовъ и народныя массы на революціонный путь—идея народовластія, парализовавшая однихъ, доводившая до пароксизма возбужденіе другихъ. Любопытнѣйшимъ доказательствомъ силы этой идеи въ 1789 году и ея вліянія на ходъ революціи можетъ служить въ высшей степени важное свидѣтельство Малуэ:

„Всѣ депутаты, говоритъ онъ въ своихъ мемуарахъ, которыхъ мнѣ удалось видѣть передъ открытіемъ Генеральныхъ Штатовъ—самые умѣренные, самые просвѣщенные, самые дѣльные, какъ изъ партіи аристократовъ, такъ и изъ числа ихъ противниковъ—всѣ, къ моему изумленію, были такого же мнѣнія, какъ и Неккеръ, что королю не слѣдуетъ выступать съ какимъ-нибудь планомъ реформъ, ни принимать какой-либо обязательной мѣры; что слѣдуетъ присматриваться, выжидать, что депутатамъ принадлежитъ право рѣшать конституціонные вопросы“¹⁾.

Если такъ думали почти всѣ депутаты, то могъ ли Неккеръ, который всегда находился подъ гипнозомъ общественнаго мнѣнія, не поддаваться всеобщему убѣжденію! И самъ Людовикъ XVI, этотъ послѣдній представитель *du bon plaisir du roi*, хотя и понималъ, какая опасность грозитъ его власти, не имѣлъ ни силы характера, ни достаточной твердости убѣжденія, чтобы отстаивать ее.

¹⁾ Mémoires de Malouet. P. 1874. I. 259.

При такихъ условіяхъ идея народовластія стала принимать среди депутатовъ, съѣзжавшихся въ Версаль, все болѣе и болѣе радикальный характеръ при радостномъ и гордомъ сознаніи, что судьба Франціи въ ихъ рукахъ, и изъ туманнаго представленія, мирившагося съ монархіей, становилась подъ вліяніемъ пропаганды и подъ давленіемъ обстоятельствъ антимонархическимъ принципомъ, хотя большинство изъ поддавшихся этому настроенію того и не сознавало. Въ этомъ отношеніи время отъ 5 мая 1789 г., т. е. дня открытія Генеральныхъ Штатовъ до 17 іюня, дня принятія третьимъ штатомъ названія *Національнаго Собранія*, т. е. узурпаціи верховной власти, представляетъ собою зрѣлище чрезвычайно поучительное не только для пониманія хода революціи, но и для исторіи политическихъ идей и страстей вообще. Мы видимъ, какъ идея, еще не совсѣмъ назрѣвшая въ умѣ большинства, получаетъ опредѣленную окраску, сгущается, овладѣваетъ волей и становится причиной факта, послѣдствія котораго никто изъ присутствовавшихъ не предвидѣлъ, кромѣ двухъ, трехъ самыхъ дальновидныхъ изъ нихъ. Мы видимъ, какъ на этомъ идейномъ фонѣ среди ораторской борьбы и столкновенія страстей выступаютъ одинъ за другимъ наиболѣе талантливые члены Собранія, изъ которыхъ столь немногіе пережили вызванную ими бурю, а тѣ, кто ее пережилъ, стали другими людьми.

Первое слово въ этой исторической драмѣ, начавшейся въ день торжественнаго открытія королемъ Генеральныхъ Штатовъ, принадлежало представителямъ власти стараго порядка—Людовику XVI и его двумъ министрамъ—канцлеру Барантену и генеральному контролеру Неккеру.

Краткая рѣчь короля Людовика XVI своею простодушной благонамѣренностью не можетъ не произвести хорошаго впечатлѣнія на всякаго не предубѣжденнаго читателя. Но при нѣкоторомъ анализѣ читатель и въ ней найдетъ симптомы той ложной правительственной политики, которая наталкивала революцію на путь насильственной развязки. Король предостерегалъ народныхъ представителей противъ неумѣрен-

ной жажды нововведеній, которая овладѣла умами, и указывалъ на необходимость скорѣе опредѣлить ихъ благоразумнымъ и умѣреннымъ соглашеніемъ; онъ упомянулъ объ удовлетвореніи, которое доставило его „чувствительности“ вполнѣ оправдавшееся довѣріе его къ первымъ двумъ штатамъ, изъяснившимъ готовность отречься отъ своихъ денежныхъ привилегій. Все это было сказано кстати, и король, официально прославляя гражданское великодушіе привилегированныхъ, чьи заявленія имѣли до тѣхъ поръ только частный характеръ, придавалъ имъ значеніе безповоротнаго рѣшенія и какъ бы налагалъ на нихъ характеръ государственнаго акта, обязательнаго для цѣлаго сословія. Но вслѣдъ за тѣмъ онъ упомянулъ объ уменьшеніи придворныхъ расходовъ, что было сдѣлано по его приказанію, ставя этимъ самимъ себя на одну доску съ привилегированными и въ положеніе частнаго лица, которое въ интересахъ народа отрывается отъ своихъ прежнихъ преимуществъ; но еще безтактнѣе было слѣдовавшее за тѣмъ признаніе, что самая строгая экономія не можетъ привести къ цѣли, и что король поэтому *ожидаетъ* отъ представителей народа предложенія самыхъ дѣйствительныхъ средствъ для возстановленія прочнаго порядка въ государственномъ хозяйствѣ. Такимъ образомъ король предоставлялъ народному представительству всю инициативу преобразованій со всѣми послѣдствіями, которыя это могло имѣть для судьбы государственной власти. Что значило послѣ этого воззваніе къ „авторитету и могуществу справедливаго короля среди его вѣрнаго народа, искони преданнаго монархическимъ принципамъ“? къ чему служило прославленіе этихъ принциповъ, „всегда составлявшихъ блескъ и славу Франціи“, и высказанная за нимъ рѣшимость неизмѣнно поддерживать ихъ?

Король оставилъ неразъясненнымъ вопросъ, кому собственно онъ уступаетъ свою правительственную власть, кому предоставляетъ инициативу преобразованій, въ комъ именно онъ видитъ представителей народа?—Можно было думать, что этотъ существенный вопросъ будетъ лучше разъясненъ говорившимъ послѣ короля хранителемъ печати, Барантемомъ.

Вступленіе къ рѣчи этого министра должно было напомнить слушателямъ извѣстныя пререканія въ комедіи Мольера, *Bourgeois Gentilhomme* о томъ, какъ лучше сказать: *Vos beaux yeux me font mourir d'amour* или переставивши эти же слова иначе. Король началъ свою рѣчь словами: *Messieurs, ce jour que mon coeur attendait depuis longtemps est enfin arrivé.* Барантенъ сказалъ: *Messieurs, il est enfin arrivé ce beau jour si longtemps attendu.* Затѣмъ министръ короля, который полтора года тому назадъ торжественно и всенародно заявилъ, что одному королю принадлежитъ верховная власть въ его королевствѣ и что и „законодательная власть воплощается въ особѣ государя безъ раздѣла и зависимости“, — обрушивается на деспотизмъ: „честолюбіе, или вѣрнѣе мученіе королей-тирановъ, заключается въ томъ, чтобы управлять безъ ограниченій, перескакивать черезъ преграды всякой законной власти, приносить въ жертву сладость отеческаго управленія мнимымъ наслажденіямъ безграничнаго господства, возводить въ законъ непредѣльный капризъ произвольной власти, — все это было нужно для того, чтобы прославить Людовика XVI и присудить ему титулъ „основателя общественной свободы“.

Эта общественная свобода представлялась министру легко достижимой; онъ предполагалъ полное согласіе въ мысляхъ и чувствахъ между Генеральными Штатами и королемъ. Перечисляя вопросы, которые „будутъ занимать“ депутатовъ, министръ указывалъ на подати, свободу печати, общественную безопасность, семейную честь, уголовное и гражданское право и судопроизводство, воспитаніе, и въ это какъ бы дѣловое изложеніе вставилъ патетическую тираду: „Мнѣ достаточно сказать, что вы не придумаете ни одного полезнаго проекта, что вамъ не представится ни одной нужной для общаго счастья идеи, которыя бы не зародились уже въ сердцѣ Е. В. и осуществленія которыхъ онъ бы не желалъ самымъ рѣшительнымъ образомъ“.

Намекая на опасныя нововведенія, задуманныя врагами общественнаго блага и которыя, конечно, будутъ съ негодованіемъ отвергнуты депутатами, министръ нашелъ нужнымъ въ

слѣдующихъ словахъ указать на солидарность всѣхъ добрыхъ и благодарныхъ французовъ съ третьей династіей ихъ королей; она укрѣпила порядокъ престолонаслѣдія; она отмѣнила всякое унижительное различіе (?) между столь гордыми и варварскими представителями первыхъ завоевателей Галліи и смиреннымъ потомствомъ побѣжденныхъ, которыхъ держали въ рабствѣ такъ позорно, такъ долго. Она создала іерархію судовъ, тотъ полезный порядокъ, благодаря которому верховная власть вездѣ присуща; она призвала всѣхъ жителей городовъ къ управленію ими; она освятила свободу всѣхъ гражданъ, и народъ снова воспріялъ (*reprit*) неотъемлемыя права природы“. И какъ будто такого безтактнаго извращенія исторіи было недостаточно, Барантенъ продолжалъ: „Но если интересы націи и монархіи въ существѣ совпадаютъ, то не слѣдуетъ ли сказать того же самого объ интересахъ каждаго гражданина въ частности? И зачѣмъ же мы бы стали устанавливать между различными членами одного политическаго общества вмѣсто почетныхъ (*gangs*) отличій между ними—преграды, которыя бы ихъ разъединяли?“

А какъ же выразился канцлеръ королевства о самомъ существенномъ вопросѣ? Кто, по мнѣнію правительства, уполномоченъ выражать предъ нимъ желанія націи? Указавъ на то, что король, уступая почти всеобщему требованію двойного числа депутатовъ для самаго многочисленнаго изъ трехъ штатовъ, преимущественно несущаго бремя податей—не измѣнилъ, однако, древняго способа подачи голосовъ, канцлеръ продолжалъ: и хотя поголовная подача, доставляя одинъ общій результатъ, повидимому, имѣетъ за себя то преимущество, что вѣрнѣе указываетъ на общее желаніе, король, однако хотѣлъ, чтобы эта новая форма была примѣнена не иначе, какъ съ свободнаго согласія Генеральныхъ Штатовъ и одобренія Его Величества. Впрочемъ, каковъ бы ни былъ способъ рѣшенія этого вопроса... не слѣдуетъ сомнѣваться, что самое полное согласіе соединяетъ всѣ три штата относительно того, что касается податей.

Итакъ, правительство какъ бы признавалось, что ему из-

вѣстенъ наилучшій способъ подачи голосовъ, что оно согласно въ этомъ отношеніи съ самымъ многочисленнымъ штатомъ, наиболѣе заинтересованнымъ въ податномъ вопросѣ— но что оно предоставляетъ все это на благоусмотрѣніе первыхъ двухъ штатовъ, которые по древней формѣ совѣщаній имѣли два голоса противъ одного.

За этимъ началось чтеніе рѣчи Неккера, которое продолжалось нѣсколько часовъ и очень утомило слушателей; самъ Неккеръ прочелъ изъ нея только вступленіе и заключеніе.

Дочь Неккера, присутствовавшая при открытіи Генеральныхъ Штатовъ, говоритъ, что содержаніемъ рѣчи ея отца были вообще недовольны: демократическая партія (*le parti populaire*), къ которой принадлежало большинство третьяго и меньшинство первыхъ двухъ штатовъ, жаловалась на то, что министръ отнесся къ Генеральнымъ Штатамъ, какъ къ какой-то провинціальной администраціи и говорилъ съ ними только о мѣрахъ для обезпеченія государственныхъ долговъ и для улучшенія системы податей; тогда какъ главнымъ назначеніемъ собранія было составленіе для Франціи конституціи: съ другой же стороны, аристократы, убѣдившись изъ рѣчи министра, что онъ въ восемь мѣсяцевъ своего управленія настолько успѣлъ поправить финансы, что могъ обойтись безъ новыхъ податей, начали осуждать Неккера за то, что онъ безъ нужды созвалъ Генеральные Штаты.

Эти жалобы очень характерны; но намъ нѣтъ надобности останавливаться на опроверженіи ихъ со стороны г-жи де-Сталь, такъ какъ современный читатель выноситъ изъ рѣчи Неккера совсѣмъ другія впечатлѣнія и будетъ дѣлать ему иные упреки.

Популярный, но жаждавшій еще большей популярности министръ началъ не съ прославленія „этого дня, который наконецъ наступилъ“, а со скромнаго сопоставленія своихъ силъ и способностей съ трудностью возложенныхъ на него задачъ; но затѣмъ, все же воскликнувши, „что за день, господа, какая вѣчно памятная эпоха“,—Неккеръ излилъ свое краснорѣчіе въ патетическомъ изображеніи славы, историче-

скаго величія и успѣховъ цивилизаціи, которыхъ достигъ французскій народъ отчасти „безъ всякой помощи и собственными усиліями“. „Она все успѣла въ себѣ соединить, эта благородная и чудная нація, которой, въ настоящее время вы, господа, являетесь достойными представителями“.

Чего же ей еще нужно для довершенія ея счастья и славы?.. спрашивалъ министръ и заявилъ, „что ей нужно не только временное возрожденіе, но и навсегда упроченный цѣлесообразный порядокъ, который долженъ быть результатомъ вашихъ размышленій и вашихъ трудовъ“. „Вездѣ, гдѣ вы откроете средства увеличить и упрочить общественное благосостояніе, вы должны ими воспользоваться; вездѣ, гдѣ откроете пути, которые могутъ вести къ благоденствію государства, вы должны будете слѣдовать по нимъ. Вамъ, господа, надлежитъ начертать для будущихъ поколѣній путь къ счастью для того, чтобы когда-нибудь они могли сказать: „это ему, Людовику, нашему благодѣтелю, и *Національному Собранію*, которымъ онъ себя окружилъ, мы обязаны благодѣтельными законами и учрежденіями, обеспечивающими наше спокойствіе“...

За этимъ послѣдовало пространное, дѣловое изложеніе общаго состоянія финансовъ и бюджета текущаго года, изъ котораго министръ выводилъ, что годовой дефицитъ составляетъ 56 милліоновъ т.-е. 12 % государственнаго дохода Франціи; тогда какъ дефицитъ предшествовавшаго года составлялъ 160 милліоновъ. Сказавъ затѣмъ, что правительство далеко отъ всякой мысли опредѣлить путь, по которому должны слѣдовать депутаты, министръ заявилъ, что считаетъ однако, не бесполезнымъ познакомить ихъ съ *предположеніемъ*, которое король составилъ себѣ относительно порядка ихъ занятій. Въ виду этого Неккеръ распредѣлилъ предметы, подлежащія обсужденію депутатовъ на два разряда: реформы, находящіяся въ безусловной зависимости отъ рѣшеній, принятыхъ *всей* націей, представленной депутатами на Генеральныхъ Штатахъ; во вторыхъ—улучшенія, которыя должны быть введены администраціей каждой провинціи особо.

На первомъ мѣстѣ между реформами Неккеръ поставилъ равномерное распредѣленіе податей между лицами и провинціями: относительно послѣдняго пункта Неккеръ замѣтилъ, что лучше было бы съ нимъ не спѣшить, такъ какъ это неравенство отчасти основано на конституціонныхъ правахъ провинцій, и предоставить окончательное рѣшеніе вопроса слѣдующимъ Генеральнымъ Штатамъ.

За этимъ слѣдовали указанія на нѣкоторые общегосударственные косвенные налоги (съ соли, табаку...), на пошлины съ иностранной торговли и доходы съ государственныхъ имуществъ; послѣдніе вопросы, которыхъ коснулся министръ, имѣли самое отдаленное отношеніе къ финансамъ; говоря о нихъ, Неккеръ становился на филантропическую точку зрѣнія и сообразно съ этимъ измѣнилъ свой дѣловой языкъ— это наборъ въ милицію, остатки натуральной дорожной повинности (*corvée*), отмѣненной во всей Франціи за исключеніемъ Бретани, и торговля неграми. По поводу набора, который Неккеръ называлъ „лотереей несчастія“, онъ коснулся вообще положенія крестьянъ: „сельское населеніе поручаетъ вамъ свой интересъ, но уже одна гуманность заставила бы васъ принять его подъ свое покровительство, и нѣжный отецъ всѣхъ своихъ подданныхъ, чувствительнѣйшій покровитель несчастныхъ, вашъ августѣйшій монархъ, особенно приглашаетъ васъ изыскать и указать ему всѣ распоряженія, которыя могли бы облегчить участь самого несчастнаго и самого забитаго класса гражданъ!“

Между замѣчаніями Неккера относительно реформъ, которыя могли бы быть предоставлены провинціальной администраціи, особеннаго вниманія заслуживаетъ туманный намекъ на общее Земское Собраніе; по словамъ Неккера провинціальныя собранія могли бы образоваться посредствомъ депутатовъ „Государственные Штаты“, или особое „посредствующее общее собраніе“ (*Assemblée générale intermédiaire*).

Послѣ этого, перечисливъ еще разъ различные предметы, подлежавшіе обсужденію Генеральныхъ Штатовъ и уже указанные канцлеромъ, Неккеръ приступилъ къ своему простран-

ному риторическому и чувствительному заключенію, преисполненному благихъ совѣтовъ—напр., не ослаблять во время обсуждения реформъ порядка и власти,—всякаго рода предостережній противъ опасныхъ нововведеній и увлеченій отвлеченными идеями, наконецъ, воззваній къ любви и согласію, которыя были бы болѣе умѣстны въ проповѣди, наканунѣ сказанной епископомъ Нансійскимъ. Это заключеніе содержало въ себѣ обратившееся въ поговорку наставленіе—не будьте завистливы къ успѣхамъ будущаго, предоставьте и ему что-нибудь сдѣлать; оно содержало въ себѣ и неудачное пророчество: „ваше соперничество, ваши взаимныя притязанія, ваши личныя пререканія минуютъ, какъ молнія въ безпредѣльномъ пространствѣ, и не оставятъ никакого слѣда на пути вѣковъ,—но принципы согласія и счастья, которые вы утвердите, останутся свидѣтельствомъ и вѣчными трофеями вашихъ трудовъ и вашего патріотизма“.

Въ этомъ заключеніи Неккера отмѣтимъ еще предпочтеніе оказанное республикѣ передъ монархіей, странное въ устахъ женеваго гражданина, сдѣлавшагося руководящимъ министромъ монархіи: предостерегая депутатовъ отъ слишкомъ быстрой „замѣны обычаевъ, связанныхъ съ предрасудками чести“, принципами отвлеченной справедливости, Неккеръ сказалъ: „Вы убѣдитесь, господа, что существуютъ злоупотребленія и правительственныя заблужденія, корни которыхъ невидимо сплетаются съ понятіями присущими большимъ монархіямъ: съ другой стороны, есть законы, исполненіе которыхъ составляетъ счастье республикъ, гдѣ они находятъ опору и силу въ обычаяхъ, принципахъ и чувствахъ; эти законы не имѣли бы того же успѣха, если бы были перенесены въ страну, гдѣ они были бы одиноки среди мнѣній и привычекъ, не имѣющихъ никакой съ ними связи“.

Среди такихъ наставленій и воззваній у Неккера совершенно затерялся вопросъ о формѣ совѣщаній, необходимаго условія для осуществленія благихъ совѣтовъ министра. Робко и все время извиняясь, подходит онъ къ этому вопросу, намекая на то, что онъ охотно не коснулся бы вовсе предмета,

которымъ овладѣлъ духъ партій, но дѣлаетъ это по приказанію короля. Оправдывая себя, Неккеръ этимъ самымъ ставитъ самого короля въ положеніе непрошеннаго совѣтника. „Его Величество приказалъ мнѣ представить вамъ нѣсколько соображеній по этому вопросу (*un petit nombre de réflexions*), однако не какъ вашъ государь, а какъ первый попечитель объ интересахъ націи, какъ самый вѣрный покровитель общественнаго благоденствія“.

Соображенія эти сводились къ слѣдующему: если бы какая-нибудь часть Собранія немедленно потребовала полную соединенія, то слѣдствіемъ этого былъ бы расколъ, который остановилъ бы дальнѣйшую дѣятельность Генеральныхъ Штатовъ и могъ бы имѣть самыя непредвидѣнныя послѣдствія. Но все приняло бы другой видъ, все можетъ быть (!), кончилось бы соглашеніемъ, которое удовлетворило бы противоположныя партіи, если бы штаты для начала раздѣлились; изъ нихъ первые два прежде всего разсмотрѣли бы особо — согласно съ желаніемъ, выраженнымъ въ разныхъ провинціяхъ — важный вопросъ о своихъ денежныхъ привилегіяхъ и великодушно рѣшились отказаться отъ своихъ преимуществъ. Какъ бы возражая противъ аргументаціи Сіеса, Неккеръ говорилъ, что „всякая попытка лишить первыя сословія славы добровольнаго принесенія такой благородной жертвы была бы несправедлива: собственность, восходящая къ древнѣйшимъ временамъ монархіи, становится еще уважительнѣе въ минуту, когда тѣ, кто ею пользовался, готовы отъ нея отказаться“.

Предположимъ же (!), продолжалъ министръ, что духовенство и дворянство примутъ такое рѣшеніе: они этимъ заслужатъ со стороны представителей общинъ дань чувствительной благодарности, въ которой ни одинъ французъ имъ не откажетъ; съ этого момента они будутъ часто (!) приглашаемы соединиться съ представителями народа, чтобы сообщать интересы государства, и, конечно, они не откажутся безусловно или на отрѣзъ, отъ этихъ предложеній (*d'une manière générale ni absolue*). Когда разъ состоится первое общее собраніе штатовъ, тогда можно будетъ посредствомъ ко-

миссаровъ спокойно разсмотрѣть преимущества и неудобства разныхъ способовъ совѣщаній, тогда можетъ быть (!), окажутся вопросы, которые для монарха и для государства полезнѣе будетъ подвергать отдѣльному разсмотрѣнію, а съ другой стороны, такіе вопросы, которые цѣлесообразно будетъ предоставить обсужденію на общихъ засѣданіяхъ. Неккеръ обошелъ молчаніемъ другое предположеніе, болѣе вѣроятное и весьма серьезное, — что привилегированные штаты откажутся отъ общихъ засѣданій; вмѣсто этого, разсуждая въ самыхъ общихъ выраженіяхъ о сравнительныхъ преимуществахъ совѣщаній въ одной общей палатѣ, или раздѣльно въ двухъ или трехъ штатахъ, онъ сдѣлалъ заявленіе крайне неумѣстное въ устахъ королевскаго министра. Онъ указалъ, какъ на главное неудобство одной общей палаты народнаго представительства на то, что такая организація могла бы представить въ другое время королю Франціи средство заманить на свою сторону (captiver) такихъ депутатовъ, которые благодаря своему краснорѣчію и таланту были бы въ состояніи увлечь за собой большое число голосовъ. И такъ, въ ту самую минуту, когда монархическая власть Франціи висѣла уже на волоскѣ, главный министръ короля еще стращалъ депутатовъ пугаломъ деспотизма и выставлялъ его козни, какъ главную опасность для народнаго представительства.

* * *

Близорукость правительства, которое думало сохранить свое положеніе во главѣ націи, ограничиваясь сообщеніемъ народнымъ представителямъ однихъ только соображеній, и предоставивъ ихъ безъ всякаго руководства своимъ внутреннимъ раздорамъ, немедленно проявилась въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣла. На другой же день по открытіи Генеральныхъ Штатовъ обнаружилось то коренное и принципиальное разногласіе между ними, которое, скрываясь около шести недѣль за вопросомъ, повидимому, чисто формальнымъ, — какимъ способомъ провѣрять правильность выбора депутатовъ, — разожгло страсти и, наконецъ привело къ взрыву и натолкнуло Францію на революціонный путь, что при тогдашнихъ усло-

віяхъ неминуюемо должно былъ повести къ насиліямъ и террору. Пренія, происходившія за все это время въ трехъ Палатахъ и въ ихъ комиссіяхъ, вращаясь около второстепеннаго вопроса, значеніе котораго для большинства публики, жаждавшей реформъ и принципіальныхъ постановленій — было мало понятно, казались даже современникамъ крайне утомительными, и историки революціи охотно ихъ обходятъ. Но для того, кто хочетъ себѣ выяснить, какимъ образомъ и при какихъ условіяхъ взяло верхъ во Франціи то представленіе о народовластіи, которое опредѣлило дальнѣйшій ходъ революціи, эти пренія представляютъ самый живой интересъ.

Предоставленные самимъ себѣ, депутаты отправились на слѣдующій день послѣ открытія часамъ къ 9 утра туда, гдѣ должны были происходить ихъ засѣданія—въ приспособленное для этой цѣли зданіе, такъ называемое *des Menus Plaisirs*. Случайное обстоятельство, обусловленное оплошностью Неккера, о которой онъ потомъ больше жалѣлъ, чѣмъ о всѣхъ ошибкахъ своей политики, какъ бы само указало депутатамъ третьяго штата предстоящій имъ образъ дѣйствій. Въ зданіи были приготовлены для депутатовъ три залы, двѣ поменьше и одна очень большая, въ которой и происходило открытіе Генеральныхъ Штатовъ. Первыя двѣ залы были отведены для сословныхъ собраній дворянства и духовенства, а большая зала, гдѣ наканунѣ происходило открытіе Генеральныхъ Штатовъ, была предоставлена теперь однимъ депутатамъ третьяго штата. Занявъ эту залу, послѣдніе, составлявшіе по своей численности половину всѣхъ депутатовъ, легко могли вообразить себя Генеральными Штатами, къ которымъ еще не примкнули другіе депутаты. Такъ самыя обстоятельства навязывали имъ выжидательное положеніе.

Однако первые два штата, собравшись въ своихъ залахъ, смотрѣли на себя, какъ на самостоятельныя палаты Генеральныхъ Штатовъ и согласно съ этимъ сдѣлали постановленіе о провѣркѣ депутатскихъ полномочій порознь по сословіямъ. Въ дворянской палатѣ это постановленіе состоялось 188 голосами противъ 47, которые требовали, чтобы провѣрка полно-

мочій производилась комиссарами, назначенными отъ всѣхъ трехъ штатовъ. Меньшинство оказалось бы еще значительнѣе, если бы этому не препятствовали обязательныя инструкціи (*mandats impératifs*), которыми были связаны въ этомъ вопросѣ своими избирателями многіе депутаты. Допущеніе такихъ обязательныхъ инструкцій, которыя были понятны въ средніе вѣка, когда депутатъ былъ не столько народный или сословный представитель, сколько посоль мѣстной, автономной власти, на Генеральныхъ Штатахъ 1789 года было одною изъ существенныхъ ошибокъ Неккера. Какъ могъ онъ рассчитывать на какое-либо соглашеніе въ силу любви и моральныхъ инстинктовъ человѣка при обязательныхъ для депутата инструкціяхъ? Такое же постановленіе было принято палатою духовенства, но менѣе значительнымъ большинствомъ 118 голосовъ противъ 114.

Что же происходило въ это время въ залѣ третьяго штата? За счастливое предзнаменованіе для дальнѣйшаго хода дѣла можно было бы принять то обстоятельство, что первое слово въ этомъ собраніи, первое предложеніе исходило отъ того депутата, который одинъ только въ эту бурную эпоху имѣлъ основаніе не жалѣть о томъ, что имъ было сказано, и не впадалъ въ противорѣчіе съ собой—а именно Малуэ. О разсудительной и чрезвычайно важной, хотя и не успѣшной, дѣятельности этого депутата на Генеральныхъ Штатахъ мы только теперь получили возможность справедливо судить. Газета Мониторъ, къ которой приходилось прежде прибѣгать тому, кто желалъ подробно прослѣдить пренія въ Національномъ Собраніи, не сохранила рѣчей Малуэ; лишь благодаря Національному Собранію третьей французской республики, поручившему Мавидалю и его товарищамъ предпринять драгоцѣнное для историковъ изданіе *Archives Parlementaires*, можно составить себѣ понятіе о дальновидной и безпристрастной политикѣ ріомскаго депутата, которая дала бы судьбамъ Франціи иное направленіе, если бы могла восторжествовать надъ страстями, доктринерствомъ и личными интересами.

Предложеніе, сдѣланное Малуэ, было вполнѣ согласно

съ общимъ желаніемъ Франціи, высказанномъ въ наказахъ: оно заключалось въ томъ, чтобы отправить депутацію къ первымъ двумъ штатамъ и объявить имъ, что представители общинъ, собравшись въ общей залѣ Штатовъ настоятельно желаютъ, чтобы депутаты духовенства и дворянства приняли участие въ составленіи *Національнаго Собранія* (viennent prendre séance en l'Assemblée Nationale) для того, чтобы приступить къ взаимной провѣркѣ полномочій и ускорить минуту, когда сдѣлается возможнымъ посредствомъ депутаціи отъ Генеральныхъ Штатовъ выразить королю признательность, желанія и почтеніе націи.

Въ томъ же отчетѣ о засѣданіи 6 мая приведены рѣчи еще двухъ другихъ депутатовъ. Оба они принадлежали къ числу наиболѣе извѣстныхъ депутатовъ третьяго штата, и мнѣніе ихъ должно было имѣть особенный вѣсъ для этой массы представителей незнакомыхъ другъ съ другомъ и еще не сплотившихся въ партію. Одинъ изъ нихъ былъ популярный во всей Франціи Мунье, герой провинціальныхъ штатовъ въ Дофинѣ, показавшихъ Франціи первый примѣръ миролюбиваго подчиненія привилегированныхъ штатовъ интересамъ третьяго и согласной дѣятельности всѣхъ трехъ во имя политической свободы ¹⁾. Другой былъ всѣмъ извѣстный Мирабо, многими встрѣченный съ недовѣріемъ и нерасположеніемъ, но всѣми съ невольнымъ признаніемъ его таланта. Оба они преслѣдовали въ сущности ту же цѣль, какъ и Малуэ—установленіе во Франціи основаннаго на свободѣ и на законѣ порядка; оба они очень скоро сами обратились къ Малуэ, ища сближенія съ нимъ—и оба въ первомъ же засѣ-

¹⁾ Мунье—адвокатъ при парламентѣ въ Греноблѣ—былъ однимъ изъ видныхъ дѣятелей въ Національномъ Собраніи и принималъ большое участие въ составленіи конституціи, за что былъ избранъ президентомъ Собранія 28 С. 1789. Въ качествѣ президента ему пришлось имѣть дѣло съ парижской толпой, нахлынувшей 5 Окт. въ Версаль, вслѣдствіе чего онъ сложилъ съ себя званіе депутата, а потомъ эмигрировалъ. Этому Мунье былъ обязанъ своимъ спасеніемъ. При Наполеонѣ онъ былъ префектомъ, а потомъ членомъ Государственнаго Совѣта.

даніи Генеральныхъ Штатовъ говорили противъ предложенія Малуэ и сдѣлали невозможнымъ его успѣхъ. Какъ Мирабо, такъ и говорившій послѣ него Мунье, настаивали на томъ, что избраніе и отправленіе депутаціи къ первымъ двумъ штатамъ несовмѣстно съ интересами третьяго, что послѣдній можетъ смотрѣть на себя только, какъ на собраніе частныхъ лицъ, пока не состоится провѣрка полномочій въ общемъ или Національномъ Собраніи. Какъ Мирабо и Мунье, такъ и Малуэ желалъ сліянія всѣхъ трехъ штатовъ въ одно общее *Національное* Собраніе, но различіе между ихъ точками зрѣнія заключалось въ томъ, что первые два желали, какъ и большинство третьяго штата, настоять немедленно и во что бы то ни стало на присоединеніи къ нему привилегированныхъ штатовъ для того, чтобы лишить ихъ политической и сословной самостоятельности; Малуэ же считалъ болѣе благоразумнымъ добиться ихъ добровольнаго согласія на это, успокоивъ ихъ на счетъ того, что это присоединеніе не отдастъ ихъ на полный произволъ болѣе многочисленнаго и сплоченнаго третьяго штата. Одинъ Малуэ былъ съ самого начала противникомъ принудительныхъ мѣръ и насилій: онъ хотѣлъ ихъ избѣгнуть—и считалъ это возможнымъ—и въ вопросѣ о преобразованіи Генеральныхъ Штатовъ въ Національное Собраніе ²⁾

Между тѣмъ, первые два штата, какъ мы видѣли, приняли рѣшеніе произвести провѣрку своихъ полномочій у себя особо. Отношенія между штатами начали обостряться. На другой день Малуэ въ пространно записанной репортеромъ рѣчи возвратился къ своему предложенію: указавъ на то, что принятіе его предложенія наканунѣ предотвратило бы, можетъ быть, образъ дѣйствія первыхъ штатовъ, онъ умолялъ

²⁾ Его роль вѣрно характеризовалъ авторъ сочиненія «Революція и Имперія»—виконтъ де Мо, назвавъ Малуэ «единственнымъ человѣкомъ во всемъ Собраніи стойкимъ (*inébranlable*) до конца въ своей всегда дѣятельной умѣренности» и искренно трудившимся надъ сліяніемъ трехъ штатовъ, тщетно воздерживая третій штатъ отъ намѣренія навязать («*imposer*») это сліяніе» стр. 115.

собрание не откладываетъ далѣе отправки депутаціи. Необходимость этого шага была мотивирована указаніемъ на грозящую опасность раскола въ собраніи: „Мы не должны давать врагамъ общественнаго мира, преступнымъ врагамъ націи, никакой надежды вселить раздоръ между нами и отвлечь насъ отъ священныхъ обязанностей, на насъ возложенныхъ“. Малуэ убѣждалъ своихъ товарищей, что предложенный имъ образъ дѣйствія не умалитъ достоинства собранія: „Развѣ представители духовенства и дворянства не занимаютъ перваго мѣста въ ряду нашихъ депутаціи, какъ и въ національной іерархіи, которую мы всѣ обязались сохранить“? Малуэ выражалъ при этомъ твердую увѣренность, что предложеннымъ имъ способомъ дѣйствія будетъ непременно достигнута общая провѣрка полномочій посредствомъ общей комиссіи отъ Генеральныхъ Штатовъ.

И опять таки Мирабо, который, очевидно, старался овладѣть вниманіемъ Собранія и занять въ немъ руководящую роль, сталъ усиленно опровергать мнѣніе Малуэ. Но слѣдовавшій за нимъ Мунье на этотъ разъ предложилъ *средній путь*—предоставить нѣсколькимъ членамъ Собранія отправиться въ качествѣ частныхъ лицъ къ духовенству и дворянству и предложить имъ соединиться съ представителями общинъ, согласно съ приглашеніемъ короля. Это мнѣніе было поддержано другимъ депутатомъ и принято Собраніемъ *очень рѣшительнымъ* большинствомъ, вслѣдствіе чего двѣнадцать членовъ его и отправились въ засѣданіе первыхъ двухъ штатовъ.

Эта мѣра имѣла своимъ послѣдствіемъ то, что духовенство тотчасъ приступило къ избранію комиссаровъ, которые должны были заняться вмѣстѣ съ подобными же комиссарами другихъ штатовъ вопросомъ, слѣдуетъ ли производить сообща провѣрку депутатскихъ полномочій. Засѣданія же дворянской палаты были отсрочены въ виду того, что назначенная ею комиссія уже производила провѣрку полномочій. 11 мая послѣ утвержденія всѣхъ необжалованныхъ полномочій эта Палата снова собралась и приступила къ рассмотрѣнію во-

проса, должна ли она считать себя законно и правильно составленной (*suffisamment constituée*)“?

Согласно старому порядку, признававшему за французскимъ дворянствомъ право представлять особый штатъ въ государствѣ, отвѣтъ на этотъ вопросъ не подлежалъ сомнѣнію, и онъ былъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ большинствомъ 193 голосовъ противъ 37. На слѣдующій же день въ отвѣтъ на предложеніе духовенства назначить комиссаровъ для разсмотрѣнія вопроса о способѣ провѣрки полномочій— дворянство большинствомъ 173 голосовъ постановило назначить комиссаровъ, чтобы сговориться съ двумя другими штатами.

Обо всемъ этомъ третій штатъ былъ официально увѣдомленъ въ засѣданіи 13 мая. Сдѣланное имъ сообщеніе вызвало со стороны депутатовъ третьяго сословія три разныхъ предложенія и нѣсколько поправокъ къ нимъ, разсмотрѣніе которыхъ наполнило четыре засѣданія. Мы остановимся сначала на предложеніи Малуэ, которое онъ два раза вносилъ въ Собраніе.

Съ одной стороны, депутаты третьяго штата имѣли теперь передъ собой совершившійся фактъ—заявленіе дворянской палаты, что она уже организовалась, но, тѣмъ не менѣе, готова начать переговоры о соглашеніи. Съ другой стороны, они должны были имѣть въ виду выраженное почти повсемѣстно желаніе избирателей и облеченное во многихъ мѣстахъ въ форму обязательныхъ инструкцій,—чтобы голоса на Генеральныхъ Штатахъ подавались не посословно, а поголовно. Чтобы добиться мирнымъ путемъ этого результата, надо было убѣдить дворянство сдѣлать шагъ назадъ, согласиться на *вторичную*, на этотъ разъ *общую* провѣрку полномочій; но какъ же можно было рассчитывать на это, запугивая въ то же время дворянство, что уступка съ его стороны относительно формы подачи голосовъ повлечетъ за собой уничтоженіе дворянства, какъ особаго сословія. Въ виду этого Малуэ предложилъ собранію вступить въ переговоры съ первыми двумя сословіями, предпославъ этому декларацію, что

депутаты общинъ считаютъ своимъ назначеніемъ содѣйствовать *устроению* государства на незыблемыхъ основаніяхъ въ томъ смыслѣ, чтобы права націи и права короны, власть правительства, законная собственность и свобода каждой личности были бы обеспечены покровительствомъ закона и общественной силы. Для достиженія этой цѣли, какъ гласила декларация, „представители общинъ настоятельно желаютъ соединенія съ своими товарищами по представительству и вмѣстѣ съ тѣмъ формально заявляютъ, что намѣрены уважать и не имѣютъ никакого основанія оспаривать собственность и законныя привилегіи духовенства и дворянства, будучи убѣждены, что различія между сословіями не представляютъ никакого препятствія согласію и плодотворной дѣятельности Генеральныхъ Штатовъ“.

Малуэ былъ правъ; онъ могъ бы сослаться на слова американца Морриса, написанныя за два мѣсяца до собранія Генеральныхъ Штатовъ: „Я республиканецъ и только-что вышелъ изъ того собранія, которое составило одну изъ самыхъ республиканскихъ конституцій изъ всѣхъ существующихъ республиканскихъ, а здѣсь мнѣ постоянно приходится твердить объ уваженіи къ государю, объ уваженіи къ дворянству и объ умѣренности не только въ реформахъ, но и въ средствахъ для достиженія этихъ реформъ“. Еще въ іюлѣ мѣсяцѣ, когда революціонная буря уже снесла различія между тремя штатами, Моррисъ писалъ: „Если у нихъ будетъ настолько здраваго смысла, чтобы предоставить дворянамъ, какъ таковымъ, участіе во власти, эта конституція, можетъ быть, продержится“ ¹⁾.

Предложеніе Малуэ было поддержано нѣсколькими членами, но не имѣло успѣха. Причина этого будетъ понятна, если мы познакомимся съ двумя другими предложеніями, сдѣланными одновременно. Первое изъ нихъ было сдѣлано депутатомъ Лангедока, протестантскимъ пасторомъ Рабо Сент-Этіенъ ¹⁾,

¹⁾ Morris II 5. 24.

¹⁾ До революціи Рабо Сент-Этіенъ много потрудился для облегченія участи французскихъ протестантовъ. Въ качествѣ депутата онъ принималъ

и гласило: избрать известное число лиц и позволить имъ вступить въ переговоры съ комиссарами духовенства и дворянства о томъ, чтобы соединить всѣхъ депутатовъ въ національной залѣ, съ условіемъ, чтобы они никакъ не имѣли права отступить отъ поголовной подачи голосовъ и нераздѣльности Генеральныхъ Штатовъ.

Другое предложеніе исходило отъ Шапелье ¹⁾ изъ Ренскаго баляжа, гдѣ былъ составленъ одинъ изъ самыхъ революціонныхъ наказовъ. Состоя адвокатомъ при Ренскомъ парламентѣ, Шапелье игралъ видную роль во время борьбы этого парламента съ правительствомъ въ 1787 году, и потому прибылъ на Генеральные Штаты въ крайне оппозиціонномъ настроеніи. Ему принадлежалъ починъ во многихъ мѣрахъ, чрезвычайно содѣйствовавшихъ развитію революціонныхъ страстей. Онъ принадлежалъ къ числу первыхъ основателей якобинскаго клуба, предложилъ образованіе національной гвардіи и учрежденіе „комитета розысковъ“—прототипа комитета общественной безопасности и „перваго зародыша террора“. Шапелье образумился въ своемъ революціонномъ порывѣ передъ самымъ окончаніемъ работъ Национальнаго Собранія; когда послѣ смерти Мирабо его партія добилась руководства въ собраніи, онъ высказался противъ господства клубовъ, утратилъ тотчасъ свою популярность, и поплатился за это жизнью, онъ умеръ на эшафотѣ 22 апр. 1794 г. вмѣстѣ съ другимъ забытымъ вождемъ парламентской оппозиціи, а затѣмъ ярымъ защитникомъ стараго порядка—д'Епременилемъ.

Въ засѣданіи третьяго штата 13 мая Шапелье предложилъ отвергнуть всякіе переговоры съ другими штатами о соглашеніи и просто оповѣстить ихъ снова, что они приглаша-

большое участіе въ публицистикѣ. Избранный въ Конвентъ, онъ былъ сдѣланъ членомъ Комиссіи „двѣнадцати“, которая должна была весной 1793 обуздать своеволіе Парижской Комуны и клубовъ и хотя онъ изъ нея скоро вышелъ, это не избавило его отъ ареста и казни: онъ погибъ на эшафотѣ 5 дек. того же года.

¹⁾ Собственно Ле-Шапелье, но въ отчетахъ о преніяхъ обозначается сокращенно.

ются въ общее засѣданіе, напомнивъ имъ обязанности, которыя они несутъ въ качествѣ національныхъ представителей. Рѣчь, которую произнесъ Рабо Сент-Этіенъ въ защиту своего предложенія и противъ предложенія Шапелле, показываетъ, что еще многіе изъ рѣшительныхъ приверженцевъ притязаній третьяго штата, считавшіе себя *связанными* полученной инструкціей не отступать отъ поголовной подачи голосовъ, — понимали, тѣмъ не менѣе, необходимость примирительныхъ мѣръ и пагубныя послѣдствія раскола. Далекое еще было то время, когда при одномъ словѣ *сдѣлка* (transaction) въ залѣ раздавался хохотъ и крики глумленія. Указывая на благія послѣдствія, къ которымъ могутъ повести переговоры посредствомъ комиссаровъ, Рабо выражалъ надежду, что они можетъ быть доставятъ депутатамъ неоцѣнимое преимущество добровольнаго сліянія первыхъ штатовъ съ третьимъ въ Національное Собраніе: удовлетворительною окажется конституція лишь тогда, когда она будетъ результатомъ общей работы всѣхъ депутатовъ на Генеральныхъ Штатахъ... Напомнивъ, что состоялась лишь одна попытка къ соглашенію, Рабо восклицалъ: „Значитъ ли это, что мы испробовали всѣ способы, исчерпали всѣ возможныя предложенія и настоянія; можемъ ли мы сказать, что сдѣлали всѣ усилія, необходимыя для предотвращения раскола, столь страшнаго въ своихъ послѣдствіяхъ“?

Несмотря на ясный смыслъ этихъ словъ, на осязательную правду этихъ предостереженій, они прошли безслѣдно. Какъ ни скуденъ отчетъ о засѣданіяхъ 13—18 мая, какъ ни мало-численны отмѣченныя въ немъ рѣчи, въ нихъ, однако, можно ясно прослѣдить два могущественныхъ потока, силу которыхъ не могли преодолѣть благоразумныя рѣчи нѣкоторыхъ депутатовъ. Это, во-первыхъ, всеобщее увлеченіе идеей *народа*, которое сказалось напр. въ рѣчи Буасси-д'Англа. Малюэ хвалитъ этого депутата за то, что онъ не принадлежалъ къ политическимъ интриганамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ приводитъ его въ примѣръ того, какъ „могущество софизма въ бурныя времена вреднѣе интригъ, такъ какъ увлекаетъ не только дурныхъ, но и самыхъ честныхъ людей“. Дальнѣйшая судьба Буасси-

д'Англа, какъ и многихъ другихъ дѣятелей французской революціи, представляетъ интересный комментарий къ теоріямъ, съ которыми они вступили въ политическую жизнь.

Буасси-д'Англа плылъ по теченію въ Учредительномъ Собраніи; онъ сумѣлъ также проплыть въ Конвентѣ между Сциллой и Харибдой, укрываясь въ пасмурные дни въ глубинѣ его „болота“. Расколъ среди якобинцевъ вывелъ наконецъ Буасси-д'Англа изъ его пассивнаго положенія; онъ былъ втянутъ въ борьбу между термидоріанцами и Робеспьеромъ и, принявъ сторону первыхъ, сдѣлался однимъ изъ вождей Собранія. Здѣсь ему пришлось въ критическую минуту въ жизни Конвента обнаружить большое мужество и твердость въ борьбѣ съ необузданной толпой. Это было въ засѣданіи 20 мая 1795 года, когда Буасси-д'Англа занималъ президентское кресло и вооруженная толпа мятежниковъ и женщинъ, предводимые „последними монтаньярами“ ворвалась съ криками и угрозами въ залу; молодой депутатъ Феро, удерживавшій толпу и защищавшій президента, былъ смятъ и растерзанъ ею: ему сняли голову, на пикѣ внесли ее въ залу и поднесли президенту, который, почтивъ вставаніемъ и поклономъ жертву народнаго террора, не покинулъ своего мѣста и спасъ Конвентъ и Парижъ отъ анархіи.

Но въ маѣ 1789 г. Буасси-д'Англа еще переживалъ съ большинствомъ своихъ товарищей пору своихъ политическихъ иллюзій. Защищая мнѣнія Рабо Сент-Этіена и отклоняя предложеніе Шапелье, какъ преждевременное, Буасси-д'Англа предостерегалъ своихъ товарищей отъ такого способа дѣйствія, который можетъ только ожесточить и вооружить дворянство, тогда какъ путь посредничества можетъ заставить его уступить настояніямъ. „Опрометчивыя и насильственныя мѣры, говорилъ Буасси-д'Англа, „признакъ слабости“. Но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ, повидимому, осторожный политикъ восторженно предсказывалъ депутатамъ, что настанетъ день, когда они вспомнятъ о нерушимыхъ истинахъ, столь долго забытыхъ, а именно: что „мольбы народа—приказанія: его жалобы—законы“ и что „онъ есть на самомъ дѣлѣ нація (réellement), тогда какъ другія сословія ничто иное, какъ привѣски къ нему“.

Буасси д'Англа тогда серьезно думалъ, что вся его обязанность заключается лишь въ томъ, чтобы формулировать въ видѣ законовъ то, что онъ считалъ волею народа, и что единственнымъ препятствіемъ при этомъ является упрямство привилегированныхъ. Не менѣе вреда, чѣмъ такіе софизмы, оказывали *страсти*. Ни въ комъ изъ членовъ Генеральныхъ Штатовъ не совмѣщались въ такой силѣ двѣ противоположности — политическій разумъ и страсти, какъ въ графѣ Мирабо. Не разъ въ его дѣятельности страстность брала въ немъ верхъ и сокрушала все расчеты его глубокаго политическаго разума. Эта страстность проявилась въ его двухъ рѣчахъ 13 и 18 мая. Правда, въ послѣдней изъ нихъ, въ которой Мирабо подвергалъ критикѣ предложенія Рабо Сентъ-Этіена и Шапелье, обнаружались также и политическая прозорливость и расчетъ. Первая выразилась въ заявленіи, что „такая знаменательная, небывалая и радикальная мѣра, какъ провозглашеніе депутатовъ третьяго штата Национальнымъ Собраніемъ“, требуетъ еще многихъ предварительныхъ дѣйствій, безъ которыхъ такое провозглашеніе можетъ имѣть результатомъ распушеніе собранія, что повергло бы Францію въ страшнѣйшую анархію. Политическій расчетъ обнаружился въ поправкѣ къ предложенію Рабо, заключавшейся въ томъ, чтобы отправить комиссаровъ только къ духовенству, съ дворянствомъ же вести лишь частные переговоры. Мирабо, очевидно, рассчитывалъ разъединить оба первые штата и, воспользовавшись болѣе осторожной и хитрой политикой духовенства, привлечь его на сторону третьяго штата; успѣхъ былъ тѣмъ болѣе вѣроятенъ, что постановленіе дворянъ объ отдѣльной провѣркѣ полномочій прошло лишь очень слабымъ большинствомъ и новое возбужденіе этого вопроса легко могло бы измѣнить это большинство. Но при всей трезвости политическихъ воззрѣній у Мирабо страсть говорила устами этого краснорѣчиваго потомка феодальныхъ сеньеровъ, котораго его сословіе такъ безразсудно и оскорбительно для него отвергло отъ себя. Когда 13 мая явилась въ засѣданіе третьяго штата дворянская депутация съ извѣщеніемъ о томъ, что дворянская палата орга-

низовалась и, вмѣстѣ съ тѣмъ, согласилась прислать комиссаровъ для переговоровъ—одинъ Мирабо отозвался на это и отвѣтилъ на оповѣщеніе глубочайшей ироніей: „Если господа дворяне имѣютъ право отдѣльно провѣрять свои полномочія и образовать изъ себя особую палату безъ согласія другихъ штатовъ, то кто помѣшаетъ имъ пойти дальше—составить конституцію, установить бюджетъ, провозглашать свои законы? Развѣ дворяне не все во Франціи? Что такое 24 милліона индивидуумовъ? Развѣ они стѣяютъ того, чтобы ихъ считать за чтонибудь?—Я не понимаю, о чемъ толкуютъ наши публицисты, когда намъ говорятъ, что это *нація*! какъ будто дворяне не представляютъ самой сущности націи (*la nation par excellence!*)?“

Къ такому глумленію надъ дворянами присоединилась въ рѣчи 18 мая коварная инсинуація. „Васъ обольщаютъ теперь тѣмъ, что привилегированныя сословія откажутся отъ своихъ податныхъ льготъ—это ничто иное, какъ самая искусная изъ ловушекъ, которую намъ даже ставятъ открыто! Какой же интересъ, скажутъ намъ, представляетъ послѣ того вопросъ о посословной или поголовной подачѣ голосовъ? Какой интересъ?“ Отвѣчая на этотъ вопросъ, Мирабо самъ ставилъ ловушку депутатамъ своего сословія, доказывая, что такъ какъ у нихъ нѣтъ ни одной привилегіи помимо податныхъ льготъ, а они отъ нихъ отказываются, то у нихъ нѣтъ и повода противиться общимъ совѣщаніямъ, если они искренны (*s'ils sont de bonne foi*).

Мирабо упрекалъ Рабо Сент-Этіена за то, что его предложеніе „совершенно маскируетъ *наглое поведеніе дворянства* и ставитъ депутатовъ общинъ въ положеніе умоляющихъ кліентовъ, которые и безъ такого вызова должны бы сознавать, что наступила пора, когда единственнымъ покровителемъ народа долженъ быть онъ самъ, т. е. законъ, предполагающій выраженіе общей воли“. Мы скоро увидимъ, *гдѣ* три недѣли спустя Мирабо сталъ искать выраженія общей воли народа. Вспомнилъ ли онъ о приведенныхъ выше словахъ, когда въ силу „уничтоженія привилегій“ французскіе дворяне были

лишены декретомъ Национальнаго Собранія права носить свои фамильныя имена; когда вслѣдствіе этого всѣ газеты стали его самого называть Рикети, и онъ, подошедши въ Национальномъ Собраніи къ трибунѣ журналистовъ, проницательно замѣтилъ имъ: „съ вашимъ Рикети вы три дня сбивали съ толку всю Европу“. Но тогда, въ началѣ революціи, у Мирабо была лишь одна забота, — порвать всякую связь съ привилегированными и тѣсно примкнуть къ демократамъ. Когда въ засѣданіи 25 мая кто-то намекнулъ по поводу его графскаго титула, что не слѣдовало бы безпрестанно повторять титулы въ этомъ собраніи „равныхъ между собой людей“, Мирабо поспѣшилъ заявить: „Я придаю такъ мало значенія своему графскому титулу, что готовъ отдать его всякому, кто его пожелаетъ“. Его устами говорила тогда лишь гордость оскорбленнаго трибуна.

Совѣщанія комиссаровъ - *посредниковъ* (conciliateurs) не могли привести ни къ какому результату, такъ какъ они не имѣли необходимыхъ для примиренія полномочій, ибо ни дворянство, ни третій штатъ не хотѣли отступить отъ принципіальнаго рѣшенія вопроса: одни, не желая пожертвовать своей сословной обособленностью, — другіе, желая ея уничтоженія. Въ это время правительство подало наконецъ первый признакъ жизни. Несмотря на обнаружившійся съ самаго начала опасный раздоръ между штатами Неккеръ все еще держался своей политики невмѣшательства.

Но событія наконецъ убѣдили Неккера въ необходимости сдѣлать то, что до открытія Генеральныхъ Штатовъ могло бы имѣть большое вліяніе на общее положеніе дѣла. 28 мая Генеральнымъ Штатамъ было доложено королевское посланіе, въ которомъ король выражалъ желаніе, чтобы комиссары возобновили свои совѣщанія въ присутствіи хранителя печати и другихъ, правительственныхъ комиссаровъ, которыхъ король „назначилъ для того, чтобы непосредственно содѣйствовать установленію столь желательнаго и необходимаго согласія“.

Наступилъ критическій моментъ въ исторіи революціи:

депутаты *нации* впервые стали лицомъ къ лицу съ правительствомъ; отъ ихъ взаимныхъ отношеній зависѣлъ дальнѣйшій ходъ дѣла.

Къ этому времени относится событіе, которое въ свое время было тайной почти для всѣхъ, и которое даже много лѣтъ спустя историки революціи представляли въ ложномъ свѣтѣ, какъ Тьеръ, или недостаточно оцѣнивали—попытка сближенія Мирабо съ министерствомъ. Достоверныя свѣдѣнія объ этомъ стали извѣстны лишь по обнародованіи мемуаровъ Малуэ. Мирабо, находившійся въ очень щекотливыхъ личныхъ отношеніяхъ къ Неккеру вслѣдствіе жесткой критики, которой онъ печатно подвергъ его администрацію, а также и къ министру Монморену — зналъ, что Малуэ очень близокъ къ обоимъ министрамъ и потому обратился къ нему съ просьбой доставить ему возможность переговорить съ ними объ общемъ планѣ дѣйствій. „Я знаю, были его слова, что вы благоразумный приверженецъ свободы, — я также; вы смущены грозой, которая собирается надъ нами; и я не менѣе васъ; между нами не мало горячихъ головъ, не мало опасныхъ людей; что же касается до аристократовъ, то даже у умныхъ между ними нѣтъ здраваго смысла; а среди глупыхъ я знаю многихъ, которые готовы поджечь пороховницу. Поэтому очень важно выяснить, переживетъ ли монархія и самъ монархъ бурю, которая готовится, или же ошибки, уже сдѣланныя и тѣ, которыя неминуемо еще будутъ сдѣланы, — насъ всѣхъ поглотятъ“. Въ дальнѣйшей бесѣдѣ Мирабо объяснилъ, что Неккеръ и Монморенъ почти одни состоятъ совѣтниками короля и потому необходимо знать ихъ намѣренія. Они были бы очень преступны или очень ограничены, и самъ король не имѣлъ бы оправданія, если бы онъ предполагалъ свести эти Генеральныя Штаты къ тѣмъ же результатамъ, какіе имѣли всѣ предшествовавшіе. Этого не будетъ; и потому правительство должно имѣть опредѣленный планъ относительно сочувствія или противодѣйствія извѣстнымъ принципамъ. Если этотъ планъ разуменъ и не повредитъ монархическому принципу, я обязуюсь поддерживать его и употребить

всѣ мои средства, все мое вліяніе, чтобы не допустить вторженія демократіи, которая надвигается на насъ“.

Заявленіе это было ясно и опредѣленно. Мирабо и до собранія Генеральныхъ Штатовъ не скрывалъ своей преданности монархическому принципу и громко говорилъ, что не допустить, чтобы обезглавили Францію; съ другой же стороны, Мирабо былъ рѣзкій противникъ привилегій, но онъ желалъ демократіи „совмѣстной со свободою“. На этой почвѣ онъ могъ бы сойтись съ правительствомъ и сдѣлаться посредникомъ между нимъ и Собраніемъ; но простая случайность разстроила его расчеты. Свиданіе было назначено на другой день въ 8 часовъ утра. Монморенъ изъ ложной щекотливости отсутствовалъ при свиданіи и убѣдилъ даже Малуэ не приходить туда, чтобы не стѣснять Мирабо, если тотъ имѣлъ въ виду выговорить что-нибудь въ свою личную пользу. Малуэ искренно и горько раскаявался потомъ въ своей непредусмотрительности. Свиданіе, состоявшееся при такихъ неблагоприятныхъ условіяхъ, имѣло самыя печальныя послѣдствія. Тупое высокомеріе Неккера съ первыхъ же словъ раздражило *пылкое* самолюбіе Мирабо, который былъ оскорбленъ тономъ министра и увидѣлъ въ словахъ:— „Какія ваши предложенія“? оскорбительный для себя *намекъ*. Мирабо тотчасъ же прервалъ дальнѣйшій разговоръ и, явившись въ Собраніе, пылая гнѣвомъ, сказалъ Малуэ:— „Вотъ этотъ вашъ глупецъ узнаетъ меня“. Съ этой минуты прекратились почти на два года всякія сношенія между Мирабо и Малуэ, тѣми двумя членами Національнаго Собранія, которые лучше всѣхъ понимали положеніе дѣла, имѣли одинаковую цѣль и отлично могли-бы дополнять другъ друга при стремленіи къ этой цѣли общими силами.

Эти закулисныя происшествія не остались конечно безъ вліянія на образъ дѣйствія Мирабо въ Собраніи депутатовъ. Они дали новую пищу его недовѣрію къ тогдашнему правительству, усилили въ немъ подозрѣніе, что министерство видитъ въ Штатахъ только средство пополнить дефицитъ и не думаетъ о реформахъ—и побудили его поэтому поднять авто-

ритеть собранія третьяго штата и вмѣстѣ съ тѣмъ свое собственное значеніе среди него. Уже наканунѣ королевскаго посланія въ своей рѣчи 27 мая, Мирабо, возвращаясь къ своему мнѣнію, что нужно продолжать попытки склонить духовенство на сторону третьяго штата и прервать бесполезные переговоры съ дворянствомъ—заронилъ въ Собраніе сомнѣніе, „не подорвутъ ли дальнѣйшая пассивность и снисходительность Собранія правъ націи (les droits nationaux), не распространятъ ли онѣ мнѣнія, что, если Штаты не въ состояніи притти къ соглашенію, то рѣшительный голосъ долженъ принадлежать монарху и что король вмѣсто того, чтобы быть органомъ народнаго постановленія (du jugement national), долженъ быть его авторомъ (l'auteur). Эта мысль, которая въ сущности сводилась къ подчиненію королевской воли требованію третьяго штата, была энергично и краснорѣчиво развита въ рѣчи 29 мая, при обсужденіи королевскаго посланія. Отбивая ударъ, который, по мнѣнію Мирабо, наносился правительствомъ представителямъ третьяго штата, Мирабо однако становится на конституціонную точку зрѣнія т. е. выгораживаетъ особу монарха. Онъ рѣзко отдѣляетъ короля отъ его совѣтниковъ, противопоставляя чувства и почтенныя побужденія монарха намѣреніямъ этихъ совѣтниковъ и указывая на послѣдствія, къ которымъ должны повести ихъ совѣты. Мирабо приписываетъ королевское вмѣшательство тайному вліянію высшаго духовенства, испугавшагося успѣховъ демократическихъ идей среди депутатовъ этого сословія и потому порѣшившаго на своихъ ночныхъ сборищахъ обратиться къ помощи правительства въ тотъ самый моментъ, когда это сословіе „уже почти непреодолимо увлечено народной партіей (par le parti populaire)“. Такимъ образомъ правительственное предложеніе ничто иное, какъ „ловушка, устроенная руками друидовъ“. Ловушка эта представляетъ Собранію двоякую опасность. Если оно согласится на предложенія короля прислать своихъ комиссаровъ на общую конференцію, то все кончится постановленіемъ королевскаго совѣта въ пользу аристократовъ, настаивающихъ на посословной подачѣ голосовъ—(nous serons

chambrés et despotisés par le fait). Если же Собрание отклонить общія совѣщанія, то это усилитъ нелѣпые толки, что бурливые, недисциплинированные, алчущіе независимости представители общинъ, дѣйствующіе безъ системы и безъ принциповъ, разрушатъ королевскій авторитетъ, и что конституція погибнетъ подъ вліяніемъ демократіи“.

Чтобы избѣгнуть этихъ двухъ подводныхъ камней, Мирабо совѣтуетъ предпослать конференціи открытое заявленіе, которое раскрыло бы интригу и отвратило клевету. Интрига привилегированныхъ заключается въ томъ, чтобы внушить королю недовѣріе относительно намѣреній третьяго штата, ибо они хорошо знаютъ, что „власть короля, согласнаго съ своимъ народомъ (uni à son peuple), имѣетъ непреодолимую силу противъ тираническихъ предразсудковъ, притязаній и силы сопротивленія частнаго интереса“.—„Мы будемъ очень сильны, восклицалъ Мирабо, если для того, чтобы доставить торжество добродѣлю, достаточно итти рука объ руку съ королемъ и ежедневно увеличивать авторитетъ монарха, который желаетъ его усиленія для того, чтобы подчинить проявленіе своей власти вѣчнымъ принципамъ справедливости и неизмѣнной цѣли общественнаго благосостоянія“.

Для достиженія единомыслія и союза съ королемъ Мирабо предложилъ послать ему адресъ съ объясненіемъ намѣреній Собранія и его взглядовъ на положеніе дѣла. Устанавливая общія мысли, которыя должны были быть проведены въ адресѣ, Мирабо предлагалъ благодарить короля за то, что онъ созвалъ не три различныхъ собранія отъ трехъ штатовъ, разъединенныхъ интересами и понятіями, но Національное Собрание, которое должно заняться съ согласія Его Величества возрожденіемъ королевства; затѣмъ увѣдомить его Величество, что собраніе третьяго штата, отправляя въ угоду королю своихъ комиссаровъ на конференцію, глубоко убѣждено, что представители отдѣльныхъ штатовъ *депутированы* въ одно и то же собраніе, въ Національное Собрание, и что поэтому провѣрка полномочій можетъ быть окончательно произведена только въ Національномъ Собраніи.

Согласно съ этимъ Мирабо предложилъ снабдить комиссаровъ инструкціями, которыя дѣлали невозможнымъ отступление отъ упомянутаго принципа и въ сущности предрѣшали результатъ переговоровъ въ пользу третьяго штата.

Собрание постановило обратиться съ адресомъ къ королю. Этотъ адресъ заключалъ въ себѣ сѣтованіе на привилегированныхъ, которые препятствуютъ депутатамъ образовать Национальное Собрание, и сильно подчеркивалъ естественный союзъ между престоломъ и народомъ противъ различныхъ аристократій, власть которыхъ могла бы упрочиться только подъ условіемъ разрушенія королевскаго авторитета и общаго благоденствія.

Что касается комиссаровъ, то имъ просто было дано порученіе возобновить переговоры въ присутствіи королевскихъ комиссаровъ, но при этомъ Собрание дважды отвергло предложеніе Малуэ о предоставленіи имъ права обсуждать вмѣстѣ съ другими вопросъ о поголовной или посословной подачѣ голосовъ, т. е. Собрание заявило этимъ, согласно съ своими прежними постановленіями, что считаетъ этотъ вопросъ рѣшеннымъ. Конференція, въ которой въ качествѣ королевскаго комиссара принялъ участіе вмѣстѣ съ другими министрами и Неккеръ, началась 30 мая и продолжалась 3 и 4 іюня. Когда оказалось, что комиссары дворянскаго и третьяго штата не могли прійти къ соглашенію, Неккеръ предложилъ въ засѣданіи 4 іюня отъ имени Королевскаго Совѣта слѣдующій проектъ примиренія: штаты будутъ производить повѣрку полномочій каждый у себя и сообщать другъ другу для слѣшнаго просмотра только протоколы тѣхъ полномочій, которыя не возбуждаютъ никакихъ споровъ. Спорныя же полномочія должны поступать на рѣшеніе комиссіи изъ членовъ трехъ штатовъ; если рѣшеніе комиссіи будетъ одобрено всѣми штатами, то оно войдетъ въ силу; въ противномъ случаѣ дѣло должно поступить въ Королевскій Совѣтъ, который и постановитъ окончательное рѣшеніе.

Но дворянскіе комиссары, не соглашаясь на это, продолжали отстаивать принципъ обособленности дворянскаго штата и осно-

вывать свои притязанія на историческомъ правѣ. Они заявляли согласно съ принципомъ, провозглашеннымъ легитимистами во время революціи, что миссія Генеральныхъ Штатовъ состоитъ не въ томъ, чтобы *установить* новую конституцію (*établir*), а *возстановить* прежнюю. Этотъ принципъ, ложный самъ по себѣ и крайне нецѣлесообразный при тогдашнихъ условіяхъ, ставилъ своихъ приверженцевъ въ постоянное противорѣчіе съ собственными заявленіями и съ историческими фактами и лишалъ ихъ твердой почвы. Древняя исторія Франціи не представляетъ ни въ одной эпохѣ такого момента, къ которому было бы примѣнимо представленіе о конституціонномъ порядкѣ въ смыслѣ основанныхъ на опредѣленномъ законѣ или соглашеніи отношеніяхъ между различными органами верховной власти—штатами и королемъ.

Значеніе Генеральныхъ Штатовъ и роль на нихъ дворянства въ разныя эпохи были весьма различны и зависѣли отъ болѣе или менѣе благопріятныхъ условій. Но еще болѣе невыгодно для притязаній дворянства въ 1789 году было то обстоятельство, что главное изъ этихъ притязаній—представлять собой автономную корпорацію, которой принадлежитъ право *вето* относительно другихъ штатовъ—было нѣчто совершенно новое, не оправдываемое стариной.

Въ средневѣковой Франціи сеньеры, пользуясь реальной властью, не были такъ щепетильны относительно третьяго штата, какъ въ 1789 году; тогда и провинціальный интересъ былъ въ то же время гораздо живѣе и индивидуальнѣе, и потому, напр., на Генеральныхъ Штатахъ 1483 года совѣщаніе происходило не по штатамъ, а по губернаторствамъ или даже *націямъ*. Позднѣе, когда усилилась королевская власть и автономность привилегированныхъ штатовъ ослабѣла, правительство присвоило себѣ безъ всякаго протеста со стороны заинтересованныхъ сословій значительное вліяніе относительно дѣлопроизводства на Генеральныхъ Штатахъ, напр. провѣрку полномочій. Въ 1789 же году, отстаивая принципъ полной автономіи, дворянство не хотѣло допустить ни вмѣшательства
какого Совѣта, ни участія другихъ штатовъ въ провѣркѣ

депутатскихъ полномочій. Поэтому при разборѣ историческихъ аргументовъ, выставленныхъ дворянскими комиссарами въ пользу своихъ притязаній, комиссарамъ третьяго штата было легко доказать несостоятельность не только ребяческой попытки сослаться на авторитетъ Тацита ¹⁾, но и на исторію Генеральныхъ Штатовъ съ 1356 по 1614 годъ. Комиссары третьяго штата, однако, ссылались на исторію только для того, чтобы сбить съ позиціи своихъ противниковъ; свои же притязанія они основывали не на *давности*, но на требованіяхъ разума и прямо заявляли, что обычаи, или вѣрнѣе ссылка на нѣкоторые факты, не могутъ имѣть силы закона вопреки самымъ несомнѣннымъ правамъ націи. Въ виду этого они настаивали на провѣркѣ полномочій въ общемъ собраніи и отклоняли всякое участіе въ этомъ правительственныхъ учрежденій. Они становились на новую, конституціонную почву, а съ этой точки зрѣнія послѣдовательно заявляли, что собственная провѣрка полномочій своихъ членовъ составляетъ необходимое условіе свободы Генеральныхъ Штатовъ, какъ представительнаго собранія. На это нѣкоторые комиссары, а затѣмъ Неккеръ, возражали совершенно справедливо, какъ съ точки зрѣнія права, такъ и практической цѣлесообразности. Съ одной стороны, король никогда не отрекался отъ принадлежащаго ему, какъ государю, права провѣрять полномочія депутатовъ и разрѣшать въ высшей инстанціи жалобы на неправильно произведенные выборы или обжалованныя постановленія штатовъ; съ другой стороны, примѣненіе этого права вызывается положеніемъ дѣла. Будетъ ли принята впредь общая подача голосовъ, или сохранится посословная, во всякомъ случаѣ, каждый штатъ заинтересованъ въ томъ, чтобы на его внутренній составъ не повліяли другіе штаты въ ущербъ ему. Но это именно и можетъ случиться по отношенію къ дворянству или духовенству при общей провѣркѣ, такъ какъ третьему штату присвоено двойное число депута-

¹⁾ De minoribus (rebus) principes consultant de majoribus omnes—говоритъ Тацитъ о политической организаціи древнихъ германцевъ.

товъ, и онъ могъ бы по этому каждый спорный выборъ дворянина рѣшить съ точки зрѣнія своего сословнаго интереса.

Когда принципиальное разногласіе членовъ конференціи и предложеніе правительства сдѣлалось извѣстными, въ собраніи третьяго штата возникли пренія о томъ, слѣдуетъ ли приступить къ обсужденію этого результата конференціи, или дожидаться подписанія ея членами протокола. Большинство склонялось къ послѣднему. По этому случаю Мирабо произнесъ рѣчь, въ которой подвергъ самой рѣзкой критикѣ не только предложеніе Неккера, но и всю политику его по отношенію къ Генеральнымъ Штатамъ. Рѣчь эта по страстности своей и по высказаннымъ въ ней идеямъ представляеть собой одинъ изъ самыхъ важныхъ фактовъ въ исторіи развитія того революціоннаго принципа, съ которымъ такъ скоро послѣ этого вступилъ въ борьбу самъ Мирабо. Съ первыхъ же словъ онъ бросилъ въ лицо правительству несправедливый упрекъ, что политика министровъ всегда состояла въ томъ, чтобы разбрасывать въ странѣ сѣмена разлада, лицемерно проповѣдуя примиреніе. Съ этой цѣлью, по мнѣнію Мирабо, они дали третьему штату двойное число представителей, а затѣмъ послѣ открытія Генеральныхъ Штатовъ развели ихъ по особымъ помѣщеніямъ. Съ этой цѣлью они не вмѣшивались въ ихъ препирательства, но когда увидѣли, что третій штатъ пытается перетянуть на свою сторону духовенство, придумали конференцію и явились съ своимъ проектомъ. Планъ министровъ, объяснялъ Мирабо, не подлежитъ сомнѣнію: вынужденные созвать Генеральные Штаты, они хотятъ лишить ихъ значенія и подчинить министерской власти, воздвигнуть придворный трибуналъ, на рѣшеніе котораго будутъ поступать постановленія Національнаго Собранія.

Мирабо отвергалъ право министровъ ссылаться на старину. Старые факты доказываютъ только, восклицалъ онъ, что французскій народъ не зналъ своихъ правъ; королевскій совѣтъ потому не могъ присвоивать себѣ провѣрку полномочій, что въ прежнее время не было ни настоящихъ выборовъ, ни полно-

мочій, и депутаты мнимыхъ Генеральныхъ Штатовъ имѣли только полномочіе *печаловаться* (*doléances*); неужели же хотятъ уподобить Національное Собрание 1789 года этимъ мнимымъ Генеральнымъ Штатамъ, которые были въ сущности только собраніемъ нотаблей?

„Развѣ существуетъ, спрашивалъ Мирабо, какая-либо хартія, какая-нибудь сдѣлка, которая опредѣляла бы всѣ права и прерогативы депутатовъ?—а если бы она и существовала, то развѣ она могла бы связать верховную волю народа? развѣ народъ не былъ бы воленъ отъ нея отступить? Разсуждая подобно королевскимъ комиссарамъ, продолжалъ онъ, можно все подвести подъ права короны, даже самый министерскій деспотизмъ. Административная ссылка, ограниченіе свободы печати, нарушеніе тайны писемъ, пересылаемыхъ по почтѣ¹⁾, однимъ словомъ всякое покушеніе на свободу и собственность частныхъ лицъ,—все это можетъ быть выставлено, какъ прерогатива короны“.

Называя софизмами аргументацію министровъ, Мирабо доказывалъ, что Національное Собрание не нуждается для провѣрки своихъ полномочій ни въ судьяхъ, ни въ посредникахъ, и не можетъ признать другого судью и посредника между штатами, кромѣ самого себя; отступить отъ этого принципа значило бы принести въ жертву права избирателей и измѣнить имъ.

1) Два года послѣ того, какъ вошла въ силу новая конституція, основаніе которой было тогда положено вождями третьяго штата, Моррисъ писалъ Вашингтону изъ Парижа: „Что касается здѣшнихъ дѣлъ, то я познакомлю васъ съ ними, насколько это дозволяетъ благоразуміе, ибо я еще не знаю, какимъ способомъ мнѣ придется отправить это письмо. Тайна писемъ никогда и ни при комъ изъ самыхъ деспотическихъ министровъ этого королевства не была такъ безстыдно нарушаема, какъ теперь, и это дѣлается несмотря на декреты въ противоположномъ смыслѣ. Каждое письмо, которое я получаю, носитъ на себѣ очевидные слѣды *патріотической* любознательности. Это пошлое безпокойство обличаетъ страхъ тѣхъ, которые этимъ занимаются; и дѣйствительно они имѣютъ основаніе бояться, ибо каждый день доказываетъ все яснѣе, что ихъ конституція никуда не годится“ (II, 99).

„Нація не должна прощать такое недостойное предательство. А что, если бы депутаты привилегированных штатовъ не захотѣли подчиниться этой общей провѣркѣ полномочій? Развѣ же проектъ министерства можетъ послужить основаніемъ для представителей 24 милліоновъ людей отказаться отъ провѣрки полномочій и помѣшать имъ объявить себя собраніемъ представителей французскаго народа (*Assemblée du peuple français*) и начать свою дѣятельность?“

Согласно съ этимъ Мирабо требовалъ отклоненія проекта королевскихъ комиссаровъ въ виду того, что принятіе его депутатами было бы измѣной самимъ себѣ, злоупотребленіемъ довѣрія избирателей, покушеніемъ на права націи, одинаково нарушало бы справедливость и приличія, основываясь на фактахъ частью ложныхъ, частью неточныхъ, на предосудительныхъ принципахъ, на ухищреніяхъ, которыя даже никого не могутъ ввести въ заблужденіе; оно повлекло бы за собой самыя страшныя послѣдствія; парализовало и обрекло бы на смерть Національное Собраніе прежде даже, чѣмъ оно осуществилось; оно сдѣлало бы тщетной послѣднюю надежду націи.

Собраніе имѣло на столько самообладанія, что, несмотря на пламенное краснорѣчіе Мирабо, рѣшило большинствомъ 400 противъ 26 не отступать отъ своего прежняго постановленія и отложить пренія по поводу королевскаго предложенія до подписанія протоколовъ конференціи.

Между тѣмъ раздраженіе противъ привилегированныхъ штатовъ, которымъ исключительно приписывали причину того, что Генеральные Штаты въ теченіе цѣлаго мѣсяца не приступали къ ожидаемымъ реформамъ—все болѣе и болѣе овладѣвало депутатами третьяго штата. Этому настроенію не мало содѣйствовало безтактное поведеніе дворянской палаты. Еще во время конференціи дворянство возбудило безплодныя пренія по поводу того, что комиссары третьяго штата называли въ протоколѣ собраніе его депутатовъ палатою „общинъ“ (*les communes*); названіе это напоминало палату общинъ въ англійскомъ парламентѣ и во всякомъ случаѣ обхо-

дипло обычное и нѣсколько унижительное наименованіе *третьяго штата*; напрасно доказывали на конференціи, что названіе — палата общинъ — не представляет нововведенія, ибо часто встрѣчается въ старинныхъ королевскихъ указахъ и снова дано представителямъ французскаго народа въ министерскомъ докладѣ, напечатанномъ вмѣстѣ съ постановленіемъ Королевскаго Совѣта отъ 27 дек. 1788 года объ избраніи депутатовъ; что *tiers-état* указываетъ только на мѣсто (*rang*), занимаемое самой многочисленной частью націи по отношенію къ духовенству и дворянству, по существу-же обозначаетъ собой все населеніе не причастное къ привилегіямъ, т. е. народъ, или населеніе общинъ. Дворянскіе комиссары, связанные инструкціями своей палаты, въ которой особенно воевалъ противъ названія общинъ популярный нѣкогда д'Епремениль, не уступили, и этотъ разладъ былъ причиной того, что они даже отказались подписать протоколъ конференціи.

Образъ дѣйствія дворянскихъ комиссаровъ былъ лишь отголоскомъ настроенія, господствовавшаго въ дворянскомъ штатѣ. Несмотря на то, что духовенство еще до подписанія протокола поспѣшило принять безусловно предложеніе Неккера, дворянство сдѣлало постановленіе, лишавшее предположенное правительствомъ средство примиренія всякой силы и всякаго значенія. Въ этомъ постановленіи дворянская палата настаивала на томъ, что не считаетъ нужнымъ подвергать спорныя полномочія своихъ членовъ провѣркѣ смѣшанной комиссіи и соглашалась передавать ихъ на ея разсмотрѣніе лишь въ томъ случаѣ, если подвергались обжалованію выборы не одного только или нѣсколькихъ дворянскихъ депутатовъ, но вмѣстѣ съ ними и депутаціи другихъ штатовъ въ какомъ-нибудь бальяжѣ.

Это постановленіе дало третьему штату желанный поводъ признать результатъ конференціи бесполезнымъ и приписать дворянству вину въ томъ, что королевское предложеніе подлежитъ отклоненію. Вмѣстѣ съ тѣмъ раздраженіе, вызванное поведеніемъ дворянства, послужило удобной почвой для революціонной агитаціи среди депутатовъ третьяго штата и

распространенія между ними разныхъ слуховъ объ интригахъ двора и аристократовъ противъ *народа*.

Характернымъ примѣромъ неразборчивости средствъ, къ которымъ прибѣгали лица, желавшія разрыва между Собраніемъ и правительствомъ, и потому старавшіяся подорвать авторитетъ и заподозрить депутатовъ, проповѣдовавшихъ умѣренность и благоразуміе — можетъ послужить слѣдующій случай.

По словамъ Малуэ, партія, желавшая лишить первые два штата всякаго политическаго значенія, была сначала очень незначительна; къ ней принадлежало не болѣе 10 лицъ, и когда Малуэ предлагалъ для обезпеченія согласія между штатами гарантировать собственность и законныя прерогативы дворянства и духовенства прежде, чѣмъ потребовать отъ нихъ провѣрки полномочій въ общемъ собраніи, — „большинство казалось очень расположеннымъ“ принять его предложеніе. Въ эту минуту одинъ изъ депутатовъ, котораго Малуэ, къ сожалѣнію, не называетъ, сказалъ своимъ сосѣдямъ: это предложеніе идетъ изъ кружка М-ме де Полиньякъ; передайте это другимъ. Г-жа де Полиньякъ была, какъ извѣстно, другомъ королевы и ея кружокъ считался очагомъ реакціонной политики. Въ то же время въ толпѣ, за дверями залы, какіе то лакеи рассказывали, что они каждый день сопровождаютъ Малуэ къ г-жѣ Полиньякъ, хотя онъ никогда ея не видалъ. Благодаря такимъ продѣлкамъ вліяніе парижскихъ клубовъ и газетъ среди депутатовъ третьяго штата быстро усиливалось, и, до какой степени громкія фразы и политическіе софизмы овладѣли собраніемъ, видно, напр. изъ того, что произошло въ засѣданіи 28 мая. Собраніе засѣдало въ громадной залѣ, открытой для публики. Посторонняя публика занимала не только хоры, устроенные кругомъ залы, но и мѣста для депутатовъ, оставленныя для духовенства и дворянства. Эта публика примѣшивала свои крики къ возгласамъ депутатовъ и принимала непосредственное участіе въ одобреніи или неодобреніи различныхъ рѣчей и предложеній. Когда началось обсужденіе королевскаго посланія, Малуэ предло-

жилъ, чтобы засѣданіе происходило при закрытыхъ дверяхъ, и чтобы публика была удалена. Противъ этого предложенія возсталъ, — извѣстный ученый Волней. Его главной спеціальностью было установленіе хронологіи въ древней исторіи посредствомъ критики ея на основаніи астрономическихъ данныхъ. Онъ принадлежалъ къ кружку Гольбаха и Гельвеція, отъ которыхъ усвоилъ себѣ, какъ основное положеніе общественной нравственности и соціальной политики, мнѣніе, что личный эгоизмъ руководитъ всѣми человѣческими дѣйствіями и что всѣ религіи основаны лишь на обманѣ и лицемѣрїи. Эти идеи онъ провель въ своемъ знаменитомъ нѣкогда произведеніи „Ruines ou méditations sur les révolutions des empires“. Мысль этого сочиненія была ему внушена видомъ развалинъ Пальмиры, и онъ издалъ его въ 1791 году одновременно съ обнародованіемъ конституціи, составленной Національнымъ Собраніемъ. Въ 1789 г. популярность Волнея основывалась главнымъ образомъ на описаніи его путешествія по Египту и Сиріи, которое онъ напечаталъ незадолго передъ тѣмъ, и которое доставило ему славу первокласснаго ученаго и мѣсто въ Національномъ Собраніи.

Десять лѣтъ спустя Волней обратилъ на себя вниманіе своей нѣжной заботливостью о первомъ консулѣ, когда при одномъ жаркомъ спорѣ, которымъ увлекся Наполеонъ, Волней взялъ изъ его рукъ чашку горячаго кофе, студилъ ее, прикладывалъ къ своей щекѣ, чтобы вѣрнѣе опредѣлить температуру, и подаль ее консулу, не обратившему на все это никакого вниманія. Въ началѣ революціи Волней также ухаживалъ за силой, но тогда сила эта была не на верху, а внизу. „Вы говорите о чужихъ людяхъ (des étrangers), воскликнулъ онъ съ негодованіемъ; развѣ таковыя есть между нами? Развѣ честь, какую они вамъ оказали, избравши васъ своими депутатами, должна заставить васъ забыть, что они ваши братья и сограждане? Неужели вы забываете, что вы только *представители* ихъ, уполномоченные? Неужели вы имѣете притязаніе укрыться отъ ихъ взоровъ, тогда какъ вы обязаны дать имъ отчетъ во всѣхъ вашихъ поступкахъ, во всѣхъ

мысляхъ? Я не могу уважать того, кто старается укрыться во мракѣ. Полный свѣтъ (le grand jour) существуетъ для того, чтобы освѣщать истину, и я горжусь тѣмъ, что мысляю подобно тому философу, который сказалъ, что хотѣлъ бы жить въ стеклянномъ домѣ. Мы находимся среди самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ; пусть наши сограждане окружаютъ насъ со всѣхъ сторонъ, пусть они тѣснятъ насъ, пусть ихъ присутствіе насъ одушевляетъ и оживляетъ. Оно ничего не прибавитъ къ твердости духа того, кто любитъ свое отечество и кто хочетъ служить ему; но оно заставитъ устыдиться того коварнаго человѣка, или того подлеца, котораго близость двора или малодушіе уже успѣли развратить (соггомпре)¹⁾. — Собраніе отвергло требованіе Малуэ, признавъ такимъ образомъ за случайными, праздными зрителями право контроля надъ народнымъ представительствомъ, предоставивъ толпѣ руководство въ предстоящихъ столкновеніяхъ и молча одобрявъ принципъ, высказанный Волнеемъ, что толпа представляетъ гарантію независимости народнаго представительства и ея *давленіе* на совѣсть должно служить залогомъ честности и патріотизма депутатовъ противъ искушеній двора и малодушія отдѣльныхъ депутатовъ. При такомъ настроеніи большинства депутатовъ подлежащее обсужденію заключеніе конференціи должно было сдѣлаться сигналомъ для взрыва политическихъ страстей среди Собранія ¹⁾.

¹⁾ И послѣ этого случая постороннія лица продолжали проникать въ залу засѣданій и садиться среди депутатовъ, но приверженцы брата депутатовъ съ народомъ не всегда относились къ этому такъ снисходительно, какъ Волней. Въ засѣданіи 12 іюня, когда Собраніе приступило къ провѣркѣ полномочій, кто-то заявилъ, что среди депутатовъ сидитъ иностранецъ, изгнанный изъ своего отечества, бѣжавшій въ Англію, пансіонеръ англійскаго короля, уже нѣсколько дней что-то записывающій и раздающій какія-то записки. Мирабо съ жаромъ вступился за заподозреннаго; это оказался дю-Ровере, бывшій генераль-прокуроръ Женевы, принужденный ее оставить по прояскамъ господствовавшей партіи. Громкія рукоплесканія были отвѣтомъ на апологію дю-Ровере и «депутатъ, донесшій на него, поспѣшилъ извиниться предъ нимъ въ выраженіяхъ, дѣлавшихъ великую честь его чувствамъ».

Въ виду этого Малуэ счелъ своею обязанностью сдѣлать въ послѣднюю минуту еще одну попытку удержать Собрание на пути благоразумной и либеральной политики. 8 іюня, наканунѣ подписанія протокола конференціи, онъ произнесъ рѣчь, которая будетъ ему служить вѣчнымъ почетнымъ памятникомъ, хотя ее не оцѣнили современники и объ ней умалчиваютъ тѣ историки, для которыхъ непогрѣшимость революціи 1789 года есть политическая догма, не допускающая критики. Положеніе дѣла уже значительно ухудшилось съ 6 мая, когда Малуэ первый предложилъ пригласить привилегированные штаты въ общее собраніе. Расколъ между штатами почти совершился, и только благоразумная твердость депутатовъ третьяго штата могла бы его предотвратить. „Мнѣ представляется“, сказалъ поэтому Малуэ, „что вся нація собралась въ этихъ стѣнахъ; что она является намъ въ образѣ рыдающей матери и, обращаясь къ духовенству, дворянству и общинамъ, говоритъ намъ: остановитесь, дѣти мои, не разрывайте моего сердца; кто изъ васъ дерзнетъ поднять на своихъ братьевъ святотатственную руку! Нѣтъ, господа, *мы* не заслужимъ этого упрека; но этого мало, нужно еще, чтобы *наше* благоразуміе спасло отъ этого и нашихъ братьевъ; нужно, чтобы наше благоразуміе и твердость побѣдили высокомеріе частныхъ интересовъ во имя высокаго значенія интереса общественнаго“.

Малуэ давно сознавалъ, что Собрание все болѣе и болѣе сбивается на путь отвлеченныхъ принциповъ, которые исключаютъ возможность правильной оцѣнки дѣйствительности и практическихъ цѣлей; и что поэтому единственное спасеніе въ томъ, чтобы сойти съ этого пути. „До сихъ поръ, говорилъ онъ, мы во всѣхъ преніяхъ высказывали лишь принципы и намѣренія (*des volontés*); намъ остается теперь подумать о средствахъ осуществленія нашихъ намѣреній, соизмѣрить ихъ съ препятствіями, принять во вниманіе сопротивленіе, раздоры, опасности; взвѣсить политическія силы и силу мнѣній, которыя за насъ и противъ насъ. Мы едва намѣтили путь, по которому должны будемъ пойти; но его не-

обходимо выяснить, и мы не должны принимать никакого окончательнаго рѣшенія относительно организаціи государства (*aucun mode de constitution*), не зная, куда это насъ поведетъ и чего мы въ состояніи достигнуть. Мы стоимъ, господа, на краю пропасти. Не станемъ скрывать отъ себя, что возрожденіе государства, возстановленіе правъ націи и королевской власти—ибо пренебреженіе однимъ изъ этихъ элементовъ влечетъ за собой рано или поздно паденіе другого—и реформа злоупотребленій встрѣчаютъ многочисленныхъ и могущественныхъ враговъ. Не мы, сказалъ недавно одинъ депутатъ изъ привилегированныхъ, нуждаемся въ Генеральныхъ Штатахъ; мы засѣдаемъ тутъ въ интересахъ народа; если онъ будетъ дѣлать затрудненія, мы охотно откажемся отъ штатовъ. Эти наивныя слова имѣютъ для насъ великій смыслъ, ибо они открываютъ предъ нами тайную причину всѣхъ привилегій, всѣхъ междувластій, которыя вторглись между государемъ ¹⁾ и народомъ и которыя должны будутъ уступить власти законовъ, какъ скоро законы сдѣлаются выраженіемъ общей воли“.

За этимъ слѣдовала замѣчательная по своей правдивости и точности критика стараго порядка. Трудно въ нѣсколькихъ словахъ лучше охарактеризовать его недостатки, основанные на привилегіяхъ и произволѣ, какъ то сдѣлалъ здѣсь Малуэ. „Старый порядокъ, сказалъ онъ, былъ превосходенъ для тѣхъ, кто извлекалъ изъ него выгоду. Вельможи, почти вполнѣ независимые отъ законовъ, подчинялись имъ изъ приличія и порядочности. Почести, которыя они оказывали монарху, щедро оплачиваемыя, были единственнымъ признакомъ того, что они были его подданными. Министры, настоящіе вице-короли въ своихъ департаментахъ, боялись только придворныхъ интригъ и нападковъ со стороны парламентовъ; послѣдніе, пользуясь еще болѣе обширной властью, и притомъ несмѣняемостью, противопоставляли указамъ короля свои

¹⁾ Въ *Arch. Parl.* сказано, вѣроятно вслѣдствіе опечатки, *principe* вмѣсто *prince*.

заключенія (arrêts). Коменданты и интенданты въ провинціяхъ пользовались тамъ авторитетомъ министровъ. Капиталисты и откупщики податей принимали участіе въ правительственной власти посредствомъ сдѣлокъ съ государственнымъ казначействомъ, которое находилось у нихъ въ рукахъ и посредствомъ разорительныхъ пособій, которыя они ему оказывали. Наконецъ, высшее духовенство, могущественное по своему богатству и вліянію, пользовалось еще болѣе реальной властью, благодаря своему вмѣшательству во всѣ важныя дѣла, своимъ періодическимъ собраніямъ и непосредственнымъ сношеніямъ со дворомъ.

Указавъ, такимъ образомъ, сколько существенныхъ интересовъ солидарны между собой въ сохраненіи стараго порядка, Малуэ сдѣлалъ отсюда выводъ, что депутатамъ общинъ не слѣдуетъ содѣйствовать разрыву и первымъ нарушать общій миръ, въ которомъ они болѣе, чѣмъ кто-либо, заинтересованы. „Достаточно, и даже слишкомъ достаточно того, что духовенство и дворянство стремятся отдѣлиться отъ національнаго тѣла; если мы не въ состояніи привлечь ихъ къ себѣ, то будемъ остерегаться, чтобы не удалиться отъ нихъ. Предоставимъ имъ быть виновниками раскола и отвѣчать за его послѣдствія; останемся тѣмъ, что мы собой представляемъ, соединятся ли они съ нами, или нѣтъ; мы представители народа (peuple); это великое наше значеніе не можетъ быть оспариваемо; и, сохраняя его въ цѣлости и безъ превышенія власти, мы осуществимъ надежду націи, несмотря на всѣ усилія общественныхъ враговъ. Да, господа, отъ васъ зависитъ разсѣять грозу, которая виситъ надъ нашей головой; и если мы будемъ благоразумны и тверды, то привилегированные штаты не будутъ въ состояніи воспрепятствовать самому счастливому исходу Генеральныхъ Штатовъ“.

Для обезпеченія этого исхода нужно было, по мнѣнію Малуэ, принять за основаніе инструкціи, полученныя депутатами всѣхъ сословій (cahiers); въ первый разъ желанія всей націи вполнѣ согласны во всѣхъ существенныхъ пунктахъ. Въ извлеченіи итога общей воли націи изъ полномочій, дан-

ныхъ избирателями, заключается настоящая провѣрка полномочій. Эта послѣдняя операція можетъ состояться, какой бы исходъ ни получилъ вопросъ о формальной провѣркѣ полномочій. Дѣло не въ нихъ, а въ волю избирателей, которая составляетъ истинную и единственную силу ихъ представителей. Эта-то воля въ существенномъ согласна; установить ее могутъ представители общинъ и безъ участія другихъ штатовъ. Я не боюсь, говорилъ Малуэ, никакого *вето* со стороны какого бы то ни было штата противъ ясно высказанныхъ намѣреній 25 милліоновъ людей, составляющихъ французское государство; я, напротивъ, надѣюсь, что духовенство и дворянство, успокоившись относительно нашего настроенія, соединятся съ нами для общаго обсужденія безсмертнаго дѣла возрожденія Франціи.

Но если бы эти штаты воспротивились какому-нибудь изъ спасительныхъ законовъ, которыхъ вся Франція ожидаетъ и требуетъ, развѣ такая попытка не была бы опаснѣе для нихъ самихъ, чѣмъ для насъ? Не одно тщеславіе создало различія, обусловленныя рожденіемъ и положеніемъ; они полезны и необходимы въ монархіи. Если-же ихъ дѣйствіе станетъ вреднымъ и стѣснительнымъ въ минуту, когда просвѣщенный народъ стремится къ лучшему порядку вещей, тогда исходящее отъ первыхъ штатовъ сопротивленіе будетъ лишь капризомъ упрямаго ребенка, который смолкнетъ передъ разумомъ сильнаго человѣка.

Но зачѣмъ вдаваться въ такія печальныя предположенія: лучшая часть привилегированныхъ классовъ не менѣе насъ желаетъ служить отечеству. Предразсудки, тревожное недоверіе къ намъ, удаляютъ ихъ отъ насъ; благоразуміе, справедливость, національный интересъ насъ сблизятъ. Примемъ во вниманіе свидѣтельства патріотизма и общественной доблести, которыя были такъ часто заявляемы предъ націей, духовенствомъ и дворянствомъ, и не будемъ имъ подражать въ стремленіи *обособиться* отъ насъ, которое выразилось въ ихъ отказѣ; не допустимъ же провозглашенія нашего собранія Национальнымъ Собраніемъ“.

Этими словами Малуэ коснулся самой щекотливой и опасной стороны дѣла; по мѣрѣ того, какъ отказъ привилегированныхъ штатовъ отъ общей провѣрки полномочій все болѣе раздражалъ депутатовъ третьяго штата, среди нихъ усиливалось вліяніе тѣхъ, которые давно уже совѣтовали провозгласить собраніе третьяго штата Національнымъ Собраніемъ. Въ этомъ отождествленіи демократическаго элемента въ народномъ представительствѣ съ волею *націи* и присвоеніи ему авторитета, истекавшаго изъ принципа народовластія—заключалась та узурпація, которая должна была привести къ столкновенію съ королевскою властью, къ дальнѣйшимъ превышеніямъ власти и наконецъ къ насилію. Передъ этимъ рубежомъ революціи хотѣлъ остановить Малуэ представителей французскаго народа.

„Признаюсь, господа, говорилъ онъ, предложеніе подобной мѣры меня всегда тревожило. Она бесполезна въ интересахъ нашихъ избирателей; она превышаетъ наши полномочія; она заставила бы насъ потерять всѣ выгоды нашего положенія. Развѣ то не было бы покушеніемъ на гражданскія и политическія права націи—признать ее вполнѣ представленной въ отсутствіи самыхъ крупныхъ собственниковъ и первыхъ гражданъ, которые входятъ въ составъ депутацій духовенства и дворянства?“

Указавъ на протесты, которые были бы слѣдствіемъ такой мѣры, Малуэ заявилъ, что эти протесты могли бы быть устранены только употребленіемъ въ дѣло силы, чего нечего желать, и еще менѣе вызывать!

„Таковъ ли долженъ быть результатъ надеждъ націи и благородныхъ стараній монарха возродить ее?—Наши раздоры вызвали бы на сцену абсолютную власть, ибо когда стихійныя силы вмѣсто того, чтобы организоваться, враждуютъ между собой, необходимо, чтобы общественная власть, врученая монарху, обезпечила благоденствіе всѣхъ и спасла насъ отъ анархіи“. Несмотря на свою проницательность, Малуэ еще не предвидѣлъ, что королевская власть не будетъ въ состояніи спасти Францію отъ анархіи; наравнѣ съ луч-

шими политиками того времени, Малуэ, долголѣтній свидѣтель злоупотребленій абсолютизма, болѣе опасался его усиленія, чѣмъ водворенія анархіи, какъ послѣдствія несправедливыхъ притязаній и узурпаціи представителей третьяго штата; но никто не понималъ лучше его того пути, по которому слѣдовало бы итти этимъ представителямъ и никто въ послѣднюю критическую минуту не очертилъ столь краснорѣчиво тѣхъ благихъ послѣдствій, какія доставила бы Франціи основанная на справедливости и разумности политика ея представителей.

„Да, я смѣю надѣяться, что вы предпочтете образъ дѣйствій благоразумный, а потому и самый вѣрный, тѣсно связанный съ самыми твердыми опорами общества,—съ справедливостью и правдой. Если бы мы не имѣли предъявить никакихъ правъ и заявляли бы ихъ неумѣренно; если бы не имѣли полномочій и реальной силы и если бы мы ихъ преувеличивали; если бы мы захотѣли быть чѣмъ-то болѣе того, что мы въ дѣйствительности, если бы нападали на духовенство и на дворянство, какъ на враговъ,—всѣ наши проекты были бы построены на пескѣ, и наши деклараціи, наши адреса къ королю были бы лишь шумными словами, бесполезными для насъ, неудобными для короля, пагубными для націи. Но если мы будемъ держаться справедливой умѣренности, если мы, организуясь (*en nous constituant*), признаемъ себя тѣмъ, что мы въ дѣйствительности—представителями народной массы (*du peuple*); если мы предложимъ королю только то, что мы въ состояніи сдержать, и потребуемъ только того, что вполнѣ справедливо намъ уступить; если мы не подчинимся никакому вето привилегированныхъ классовъ и не дозволимъ имъ нанести себѣ никакого оскорбленія,—мы въ общемъ согласіи достигнемъ конституціи; а время, разумъ, послѣдующія собранія представителей націи сгладятъ всѣ препятствія, которыхъ мы не были въ состояніи устранить“.

Малуэ закончилъ свою рѣчь приглашеніемъ не выходить изъ предѣловъ полученныхъ депутатами полномочій и не искать внѣ этихъ предѣловъ затрудненій и бѣдствій.

Но предостереженія Малуэ были тщетны. Его „примири-тельное предложеніе“ было устранено подъ предлогомъ прежде-временности, такъ какъ протоколъ конференцій еще не под-писанъ. И если вѣрить отчету о засѣданіи, самъ Малуэ съ этимъ согласился.

Однако уже два дня спустя президентъ Собранія сооб-щилъ о закрытіи конференціи и о томъ, что комиссары отъ дворянства отказались отъ подписанія протокола.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Бальи предложилъ отложить обсужденіе этого протокола до его официальнаго сообщенія.

Но нетерпѣнія депутатовъ нельзя было сдержать: Мирабо, дѣйствуя, очевидно, по соглашенію съ аббатомъ Сіесомъ, потребовавъ, чтобы выслушали предложеніе этого депутата. Знаменитый вождь третьяго штата началъ съ инсинуаціи; про-тивопоставивъ открытый и спокойный образъ дѣйствія депу-татовъ отъ общинъ „лицемѣрію и ухищреніямъ“ привилеги-рованныхъ, Сіесъ заявилъ, что настало время дѣйствовать. Для этого надо приступить къ провѣркѣ полномочій; но какимъ способомъ?—Такъ такъ дворянство отказалось при-нять предложеніе конференціи, то нѣтъ надобности прини-мать во вниманіе эту попытку примиренія, и потому остается одно: вызвать (sommer) членовъ привилегированныхъ палатъ въ общую залу Генеральныхъ Штатовъ для того, чтобы они присутствовали при общей провѣркѣ полномочій, участво-вали въ ней и съ своей стороны подверглись ей.

Согласно съ этимъ Сіесъ предложилъ отправить къ духо-венству и дворянству комиссаровъ для сообщенія имъ, что черезъ часъ начнется поименный вызовъ депутатовъ всѣхъ трехъ штатовъ по бальяжамъ, послѣ чего начнется провѣрка, а неявившіеся будутъ исключены изъ списковъ.

Это былъ такой ультиматумъ, послѣ котораго война была неминуема. Многіе депутаты это чувствовали и искали выхода изъ тревожнаго положенія. Одинъ изъ нихъ предложилъ со-ставить адресъ королю, противъ чего возразилъ Мирабо. Юристъ Тарже ¹⁾ сталъ говорить о томъ, что „раздѣленіе палатъ

¹⁾ Тарже, 1733—1806, былъ извѣстный своими консультаціями адвокатъ

и опасеніе veto со стороны одной изъ нихъ было бы самымъ ужаснымъ и пагубнымъ ударомъ отечеству“. Съ другой стороны, онъ выражалъ надежду, что „когда предрасудки исчезнутъ, когда привилегированные убѣдятся, что третій штатъ не посягаетъ на ихъ права, они пожалѣютъ о томъ, что удалились изъ помѣщенія, гдѣ обрѣтаются друзья справедливости, ихъ братья и сограждане, гдѣ собирается нація, чтобы возродить законы и уничтожить злоупотребленія“. Тарже очевидно желалъ смягчить ультиматумъ; онъ высказывался противъ выраженія *sommation* подъ предлогомъ, что третій штатъ еще не организовался. Къ этому присоединились другіе; были представлены двѣ поправки къ предложенію Сіеса: объяснить королю мотивъ постановленія палаты и замѣнить выраженіе вызвать (*sommation*) словомъ пригласить (*invitation*). Сіесь согласился на обѣ поправки. Но общее возбужденіе выразилось въ результатѣ голосованія, которое не дало абсолютнаго большинства по отношенію къ поправкамъ. Лишь въ вечернемъ засѣданіи предложеніе Сіеса съ двумя поправками было принято почти единогласно.

Можно было сказать, что этимъ постановленіемъ французская демократія перешла черезъ Рубиконъ. Какъ же отнеслись къ этому рѣшительному шагу другія политическія силы того времени? — Король въ эту критическую для монархіи эпоху стушевался. Нѣкоторымъ оправданіемъ для короля могло бы послужить тяжелое горе, его постигшее — смерть его старшаго сына; на торжественную панихиду по немъ были приглашены въ Мёдонъ 8 іюня и депутаціи отъ штатовъ.

Но и это несчастіе не измѣнило образа жизни Людовика XVI. Когда Балли отправился 12 іюня во дворецъ съ адресомъ

и состоялъ адвокатомъ Парижскаго университета и членомъ французской Академіи: какъ депутатъ онъ принималъ дѣятельное участіе въ составленіи конституціи 1791 г. которую даже прозвали — *les Couches de para Target*. Во время Конвента онъ отказался защищать Людовика XVI; онъ былъ секретаремъ революціоннаго комитета своей секціи. Въ 1798 г. онъ былъ сдѣланъ совѣтникомъ кассационнаго трибунала.

королю, онъ не могъ его видѣть, такъ какъ король былъ на охотѣ, откуда долженъ былъ поздно вернуться.

Что касается до привилегированныхъ штатовъ, то на нихъ ультиматумъ третьяго штата произвелъ различное впечатлѣніе: въ палатѣ духовенства онъ вызвалъ расколъ, который уже давно тамъ подготовлялся со стороны сельскихъ священниковъ. Пока въ самой палатѣ еще продолжались по вопросу объ ультиматумѣ очень оживленные пренія, не приводившія къ результату, три священника изъ Пуату отправились 13 іюня, когда очередь дошла до ихъ бальяжа, къ третьему штату, чтобы представить ему на провѣрку свои полномочія. „Мы приходимъ, сказалъ при этомъ одинъ изъ нихъ, руководимые свѣточемъ разума и любовью къ общественному благу, занять наше мѣсто рядомъ съ нашими согражданами и братьями. Мы поспѣшили на призывъ отечества, побуждающаго насъ установить между его сословіями согласіе и гармонію, отъ которыхъ зависятъ успѣхи Генеральныхъ Штатовъ и благоденствіе государства“.

Что касается до дворянской палаты, то изъ происходившихъ въ ней (въ засѣданіи 13 іюня) преній до насъ дошла только рѣчь либеральнаго графа Лалли-Толандаля, приверженца англійской конституціи. Онъ хорошо понялъ положеніе дѣла, созданное приглашеніемъ третьяго штата и вѣрно характеризовалъ заключавшееся въ этомъ приглашеніи притязаніе „объявить себя Національнымъ Собраніемъ, хотя самое слово еще не произнесено. Это изъ всѣхъ притязаній наименѣе умѣренное и наименѣе справедливое, но что же дѣлать, нужно считаться съ фактомъ“. Въ виду этого графъ убѣждалъ своихъ товарищей побѣдить себя, чтобы другихъ побѣдить, т. е. отказаться отъ своего прежняго постановленія и принять примирительное предложеніе правительства производить провѣрку посредствомъ общихъ комиссаровъ. Отъ слѣдующаго засѣданія, въ понедѣльникъ 15 іюня, сохранилась опять-таки только рѣчь Лалли-Толандаля, совершенно другого характера. Дворянство постановило отправить депутацію къ королю для объясненія своего образа дѣйствія.

Противъ этого сильно возставалъ либеральный графъ: онъ находилъ, что обращаться къ исполнительной власти въ случаѣ разногласія между двумя составными частями законодательнаго собранія — „парадоксъ, какое-то конституціонное уродство“.

Эти двѣ рѣчи хорошо характеризуютъ политику французскаго дворянства—эту смѣсь либерализма и шляхетства, и причины его крушенія: первая рѣчь направлена противъ шляхетскаго духа, побудившаго дворянство изолироваться въ формальномъ вопросѣ и отвергнуть примирительное предложеніе правительства; вторая рѣчь выражаетъ собою тотъ ослѣпленный либерализмъ, который видѣлъ въ приниженіи королевской власти главное условіе для возрожденія Франціи. Предразсудки и страсти какъ стараго, такъ и новаго порядка вещей парализовали французское дворянство и лишили его того значенія, которое оно могло бы имѣть въ эпоху тяжелаго кризиса.

* * *

Въ тотъ самый день, когда въ дворянской палатѣ графъ Лалли-Толандаль прилагалъ къ дѣлу конституціонную доктрину Монтескье, въ собраніи депутатовъ третьяго штата произошло событіе, послѣдствія котораго подорвали конституціонную монархію во Франціи и смахнули съ ея лица самое дворянство. Вѣсть о томъ, что предстоитъ въ Собраніи, вѣроятно распространилась и огромная масса народа толпилась въ залѣ засѣданія и около зданія. Засѣданіе началось съ заявленія прибывшаго туда священника, что онъ съ самаго открытія Генеральныхъ Штатовъ отстаивалъ интересы третьяго штата, связанные съ интересами всей націи и что онъ явился съ тѣмъ, чтобы засвидѣтельствовать неизбѣжную необходимость общей провѣрки полномочій *Національнаго Собранія*. Послѣ нѣсколькихъ подобныхъ заявленій со стороны другихъ присоединившихся къ третьему штату священниковъ, поднялся аббатъ Сіесъ, чтобы сдѣлать свое всеми ожидаемое предложеніе. Безъ общепринятаго краснорѣчія, въ сухихъ

выраженіяхъ знаменитый составитель конституціи изрекъ формулу, въ которой заключалась *революція*: „Провѣрка полномочій окончена; собраніе состоитъ изъ представителей по крайней мѣрѣ 96 процентовъ націи. Такая масса депутацій не можетъ оставаться бездѣятельной изъ за отсутствія нѣсколькихъ депутацій или классовъ гражданъ. Только этому собранію принадлежитъ право представлять собою общую волю націи и истолковать ее; никакая другая палата не въ правѣ лишитъ силы его постановленій; между престоломъ и Собраніемъ не можетъ стать никакое вето, никакая отрицательная власть. Собраніе находитъ, что общее дѣло возрожденія націи должно быть начато“.

„*Собраніе извѣстныхъ и провѣренныхъ представителей французской націи*—таково единственное названіе, которое оно можетъ принять, пока не утратило надежды увидѣть въ своей средѣ еще отсутствующихъ депутатовъ; оно не перестанетъ ихъ звать, и когда бы они ни появились, отдѣльно или коллективно, оно приметъ ихъ радушно“.

Предложеніе Сіеса вызвало большое возбужденіе: различные депутаты потребовали слова и послѣ нѣсколькихъ недодшевшихъ до насъ рѣчей была произнесена рѣчь Мирабо.

Мирабо уже нѣсколько дней страдалъ лихорадкою и во время самаго засѣданія испытывалъ приступъ ея. Но и помимо того его положеніе въ Собраніи было въ эту минуту очень затруднительно и щекотливо. До сихъ поръ Мирабо выступалъ въ Собраніи лишь въ роли народнаго трибуна. Такая роль соотвѣтствовала его страстной натурѣ, его раздраженію противъ тогдашняго правительства и аристократіи, отвергнувшей его изъ своей среды,—наконецъ его желанію сдѣлаться вожакомъ Національнаго Собранія. Но Мирабо былъ одаренъ свойствами и способностями не только трибуна, но и государственнаго человѣка. Онъ уже обнаружилъ эти способности въ своихъ наблюденіяхъ надъ прусскою монархіей и Берлинскимъ дворомъ, гдѣ онъ, отдавая полную честь генію Фридриха Великаго и, схвативъ можно сказать на лету существенныя черты прусскаго государства, въ тоже время

подмѣтилъ его недостатки и слабости руководившихъ имъ послѣ Фридриха людей, и съ замѣчательной проницательностью пророчилъ ему скорое паденіе.

Съ такой же геніальной проницательностью Мирабо понималъ слабыя стороны возникавшей тогда во Франціи демократіи и предусматривалъ опасность на скользкомъ пути, по которому ее увлекали поборники насилія подъ именемъ свободы, и грозившую этой свободѣ въ скоромъ будущемъ катастрофу. Мирабо былъ горячимъ противникомъ *старого порядка*, какъ въ политическомъ, такъ и въ соціальномъ отношеніи; но онъ желалъ преобразованія его безъ ниспроверженія *порядка* и власти. Для этого онъ считалъ необходимымъ сохраненіе монархическаго строя и авторитета правительства. Въ формулѣ Сіеса и въ ея неизбѣжныхъ послѣдствіяхъ онъ предчувствовалъ притязанія, которыя должны были привести третій штатъ къ узурпаціи власти не только относительно двухъ другихъ штатовъ, но и относительно короля. И онъ рѣшился, хотя бы цѣною своей популярности, этому противодѣйствовать и удержать третій штатъ на пути умѣренности и политической разумности.

Мирабо началъ одобреніемъ образа дѣйствія третьяго штата; онъ восхвалялъ его твердость въ его выжидательномъ положеніи и объяснилъ это желаніемъ дать успокоиться умамъ и предоставить друзьямъ общественнаго блага возможность дѣйствовать въ интересахъ справедливости и разума; желаніемъ *не преступить предѣловъ* въ преслѣдованіи блага; безъ такой умѣренности не можетъ быть прочнаго и непобѣдимаго мужества.

Съ другой стороны онъ не щадилъ привилегированныхъ штатовъ и въ изображеніи ихъ политики очень близко подошелъ къ способу выраженія тогдашнихъ демагоговъ. Онъ объяснялъ ихъ упрямство въ вопросѣ о провѣркѣ полномочій желаніемъ вернуть порядокъ, при которомъ французскій народъ раздѣлялся на два класса, — тирановъ и угнетенныхъ — порядокъ, при которомъ 151 человекъ обладали правомъ останавливать волю короля и 25-ти милліоновъ людей;

укорялъ ихъ за то, что они вздумали прибѣгнуть къ министерскому деспотизму—все это, говорилъ Мирабо, верхъ высокоумнаго безумія!

Въ своей рѣчи Мирабо видимо выгораживалъ монарха, выставляя привилегированныхъ съ ихъ устарѣлыми предразсудками, съ ихъ тираніей, унаслѣдованной отъ вѣковъ варварства, противниками короля; онъ подчеркивалъ, что оппозиція привилегированныхъ проявляется въ моментъ, когда самъ король почувствовалъ, что надо дать Франціи прочный порядокъ управленія, т. е. конституцію.

Къ какому же выводу приводили Мирабо эти печальныя обстоятельства?—Къ необходимости быть вдвойнѣ *благоразумными*, ибо судьба обществъ поставлена природою въ зависимость отъ разума; только разумъ въ состояніи издавать обязательные и прочные законы, и только разумъ и законъ должны управлять людьми въ обществѣ.

„Будемъ же, господа, полны надеждъ, восклицалъ Мирабо, вмѣсто того, чтобы терять бодрость, и будемъ идти твердыми шагами къ цѣли, которой мы не минуемъ“.

„Но мнѣ скажутъ, всѣ мягкія средства исчерпаны, всѣ переговоры прерваны, намъ остаются только рѣшительныя и, можетъ быть, крайнія средства... Крайнія! о нѣтъ, господа: справедливость и истина всегда въ благоразумной серединѣ; крайнія средства всегда лишь послѣднее прибѣжище отчаянія. Но кто же можетъ привести французскій народъ въ такое положеніе!“

„Мы должны организоваться; въ этомъ всѣ согласны; но какъ? въ какой формѣ? подъ какимъ именемъ? — Подъ именемъ Генеральныхъ Штатовъ? это было бы неточное названіе; вы сами того мнѣнія: это названіе предполагаетъ три штата, а здѣсь ихъ нѣтъ. Предложить ли намъ какое-нибудь другое однородное названіе?“ спрашивалъ Мирабо, и въ отвѣтъ на этотъ вопросъ изложилъ всю суть своей политической вѣры въ слѣдующихъ замѣчательныхъ словахъ:

„Я и тогда спрошу: увѣрены ли вы въ согласіи короля (sanction) и можете ли вы безъ него обойтись? Можетъ ли

хоть на мгновение прекратиться (sommeiller) авторитетъ монарха? Развѣ вы не нуждаетесь въ участіи монарха въ вашемъ постановленіи, хотя бы для того, чтобы онъ былъ самъ имъ связанъ? И если бы кто-либо отрицалъ, вопреки всѣмъ принципамъ, необходимости королевской санкціи для обязательности этого постановленія, то дастъ ли король свое согласіе на дальнѣйшіе декреты, если они будутъ вытекать изъ конституціи, имъ не признанной?“ Въ этихъ вопросахъ Мирабо предначерталъ весь ходъ революціи.

Мирабо перешелъ къ другому доводу. Онъ спрашивалъ, могутъ ли депутаты быть увѣрены, что ихъ постановленіе будетъ одобрено ихъ избирателями?— „Не думайте, восклицалъ Мирабо, чтобы народъ интересовался метафизическими разсужденіями, которыя насъ здѣсь волновали; онъ слишкомъ еще мало знаетъ свои права и святую теорію свободы. Народъ требуетъ облегченія своего бремени, потому что не имѣетъ болѣе силъ страдать. Только когда вы непосредственно коснетесь главныхъ интересовъ плательщиковъ, самыхъ полезныхъ и самыхъ несчастныхъ классовъ, вы будете въ состояніи рассчитывать на ихъ поддержку и будете облечены безграничнымъ довѣріемъ народа. А до того слишкомъ легко вносить въ его среду раздоръ посредствомъ временныхъ пособій и даровъ, яростныхъ обвиненій и интригъ со стороны приверженцевъ двора. Слишкомъ легко убѣдить его продать конституцію за кусокъ хлѣба“.

Эти слова, сказанныя за мѣсяць до начала крестьянскихъ возстаній, очень любопытны: они показываютъ, какъ ошибались вожди движенія относительно настроенія массъ; но въ ту минуту, когда Мирабо выставилъ этотъ доводъ, онъ имѣлъ извѣстную силу, такъ какъ и другіе депутаты раздѣляли этотъ взглядъ.

Зато Мирабо былъ безусловно правъ, когда сталъ на принципиальную точку зрѣнія и напомнилъ депутатамъ, что они призваны королемъ, какъ члены Генеральныхъ Штатовъ. Конечно, говорилъ онъ, впоследствии вы можете измѣнить способъ созванія народныхъ представителей; но по какому

праву вы преступаете теперь за предѣлы вашихъ полномочій? Развѣ временный законодатель (король) не предполагалъ существованія трехъ штатовъ, хотя и созвалъ ихъ въ *одно* собраніе? развѣ ваши полномочія, ваши указы даютъ вамъ право объявить себя собраніемъ *единственныхъ* представителей, извѣстныхъ и провѣренныхъ?— „Не говорите, что этотъ случай не былъ предусмотрѣнъ!— Напротивъ, онъ былъ слишкомъ хорошо предусмотрѣнъ, такъ какъ нѣкоторые изъ наказовъ,—къ счастью въ очень незначительномъ числѣ— вамъ предписываютъ удалиться, если окажется невозможнымъ добиться совмѣстнаго голосованія; но нѣтъ ни одного наказа, который уполномочивалъ бы васъ считать себя *единственными* представителями народа“.

Мирабо здѣсь мѣтко попалъ въ самое больное мѣсто: дѣло, которое замышлялъ Сіесъ, было не только превышеніемъ полномочій и захватомъ власти по отношенію къ королю, но и по отношенію къ французскому народу.— Депутаты третьяго штата собирались совершить двойное насиліе: надъ королемъ, которому принадлежала верховная власть по политической доктринѣ стараго порядка, и надъ народомъ, которому она должна была принадлежать по ихъ собственной теоріи. Въ этомъ и заключалось начало революціи.

Мирабо пытался запугать депутатовъ картиной опасностей, которыя могли быть послѣдствіемъ ихъ узурпаціи. Если король не дастъ своего согласія, а другіе штаты прибѣгнутъ къ его авторитету, то что случится?—распущеніе собранія или отсрочка засѣданій!

„А очевиднымъ послѣдствіемъ всего этого будетъ разнузданіе всеобщей мести, коалиція всѣхъ аристократій и ужасающая анархія, которая всегда ведетъ къ деспотизму. Вы увидите грабежи, вы увидите боины и не удостоитесь даже чести междоусобной войны“.

Указавъ затѣмъ на то, что предложенное Сіесомъ названіе мало понятно народу, что оно заключаетъ въ себѣ умолчанія, недостойныя Собранія, что это, очевидно, только временная формула, которая должна будетъ получить дальнѣйшее развитіе, Мирабо воскликнулъ:

„Позволительно ли увлекать васъ въ даль, не указавши вамъ цѣли, къ которой васъ ведутъ?“

Мирабо, конечно, зналъ или предвидѣлъ, что неуклюжая формула Сіеса лишь личина, которою маскировалось намѣреніе провозгласить депутатовъ третьяго штата *Національнымъ* Собраніемъ.

„Не принимайте, убѣждалъ Мирабо депутатовъ, титула, который можетъ устрашить. Подыщите такой, который никто не можетъ у васъ оспаривать, и который можно приспособить ко всякому вашему положенію въ будущемъ. Есть такая формула, заключилъ Мирабо: мы представители французскаго народа (*du peuple français*)“.

Мирабо доказывалъ, что право на такое наименованіе, несомнѣнно, принадлежитъ депутатамъ и что прочіе штаты или добровольно къ нимъ присоединятся, или увидятъ себя вынужденными къ тому.

„Если мы усвоимъ себѣ это названіе, то кто станетъ упрекать насъ въ новшествахъ, въ чрезмѣрныхъ притязаніяхъ, въ опасномъ честолюбіи? Кто можетъ помѣшать намъ быть тѣмъ, что мы на самомъ дѣлѣ? И между тѣмъ это названіе, столь миролюбивое и не притязательное, столь неизбѣжное, заключаетъ въ себѣ *все*, отвѣчаетъ на *все*. Оно легко получить доступъ къ престолу, оно отниметъ всякій предлогъ у нашихъ враговъ; оно избавитъ насъ отъ борьбы, отъ опасныхъ въ настоящее время столкновеній и со временемъ восторжествуетъ надо всѣмъ: оно пригодно для насъ при нашемъ зарожденіи и останется таковымъ въ эпоху нашей зрѣлости; оно будетъ расти вмѣстѣ съ нами; если оно теперь не громко, потому что привилегированные классы принизили народную массу, то какъ оно станетъ велико, внушительно, величественно! Оно будетъ значить все, когда народъ (*le peuple*), нами поднятый, займетъ то мѣсто, къ которому его предназначилъ мировой порядокъ вещей“.

Планъ Мирабо очевидно заключался въ томъ, чтобы предотвратить торжество той политической доктрины, которая хотя еще и не охватила всего Собранія, но уже грозила привести

полный разрывъ не только между штатами, но и между народнымъ представительствомъ и королемъ, такъ какъ отрицала власть короля.

Мирабо предложилъ затѣмъ очень подробно мотивированную резолюцію, заключающую въ себѣ оправданіе образа дѣйствій Собранія и его программу, и въ концѣ своей рѣчи обратился къ критикѣ теоріи Сіеса.

Противопоставляя свою формулу предложенію Сіеса, Мирабо особенно настаивалъ на томъ, что она болѣе *умѣстна* (*de convenance*), ибо, говорилъ Мирабо, я признаю, что предложеніе аббата Сіеса соотвѣтствуетъ строгости принципа, какъ это и можно было ожидать отъ гражданина философа. Но, господа, не всегда цѣлесообразно руководиться исключительно правомъ, ничего не уступая обстоятельствамъ. Въ послѣднемъ именно и заключается существенное различіе между метафизикомъ, который, размышляя въ кабинетѣ, схватываетъ истину во всей ея силѣ и чистотѣ—и государственнымъ человѣкомъ, который принужденъ принимать во вниманіе прошлое и настоящее съ его затрудненіями и препятствіями; таково различіе между наставникомъ народа и политическимъ правителемъ, что одинъ изъ нихъ думаетъ о томъ, что *есть*, а другой занимается тѣмъ, что *можетъ быть*“.

„Метафизикъ, путешествуя по своей картѣ, все преодолеваетъ безъ труда, не останавливаясь ни передъ горами, ни передъ пустынями, потоками и пропастями; но когда хочешь на самомъ дѣлѣ пуститься въ путь и достигнуть цѣли, нужно помнить, что находишься на землѣ, а не витаешь въ мірѣ идеала“.

Послѣ рѣчи Мирабо наступила очередь Мунье. Это былъ убѣжденный приверженецъ конституціонной монархіи по английскому образцу, съ той разницей, что онъ предпочиталъ палатѣ наслѣдственныхъ перовъ Сенатъ изъ пожизненныхъ членовъ. Мунье такъ дорожилъ своимъ политическимъ идеаломъ, что послѣ событій 5—6 октября, обезпечившихъ торжество „демократической монархіи“, покинулъ Францію. И несмотря на это Мунье въ критическій день 15 іюня вмѣсто

того, чтобы поддержать предложеніе Мирабо, сталъ возражать, какъ ему, такъ и Сіесу, съ своей стороны предлагая депутатамъ назвать себя „законнымъ собраніемъ представителей бѣльшей части націи, дѣйствующихъ въ отсутствіе меньшей части“.

Рѣчь Мунье до насъ не дошла, какъ и не дошла рѣчь Рабо Сентъ-Этіенна. До насъ дошелъ только текстъ длиннаго постановленія, предложеннаго Рабо, замѣчательнаго тѣмъ, что авторъ, протестуя противъ вето со стороны привилегированныхъ штатовъ, признаетъ такое право за королемъ, обусловливаетъ предлагаемое имъ постановленіе согласіемъ короля, даже употребляетъ при этомъ старинную формулу— *sous le bon plaisir du roi*. Между прочимъ Рабо предложилъ сообщить посредствомъ депутации министру финансовъ, что Собраніе желаетъ познакомиться съ финансовымъ положеніемъ страны и вотировать заемъ для его обезпеченія. Это предложеніе вызвало горячія пренія и возраженіе, что все это преждевременно и въ противорѣчїи съ *наказами*; сначала надо дать націи конституцію, а уже потомъ устанавливать налоги.

Такъ засѣданіе затянулось и было отложено до вечера. Въ вечернемъ засѣданїи Тарже поддерживалъ предложеніе Сіеса и возражалъ противъ названія *peuple*; если подъ этимъ слѣдуетъ разумѣть населеніе общинъ, то это слишкомъ мало; если разумѣть всю націю, то это слишкомъ много.

Оспаривая сдѣланное кѣмъ-то замѣчаніе, что при организаціи представительства нужно принимать во вниманіе собственность, Тарже назвалъ эту точку зрѣнія физіократовъ страннымъ парадоксомъ: собственность бѣдняка священнѣе роскоши богача. Нужно считать головы, а не состоянія. Противоположная система разрушила бы всякое право въ народѣ, убила бы любовь къ отечеству и вскормила бы эгоизмъ.

Юристъ Тарже, отстаивая предложеніе Сіеса, высказывалъ мысли, изъ которыхъ потомъ вытекла вся политика якобинцевъ, которые видѣли въ государственной власти средство убивать эгоизмъ, вскармливать патріотизмъ и подѣ

знаменемъ сочувствія къ бѣдняку уничтожали богатство и разрушали всякое понятіе о правѣ во французской націи. Рѣчь Тарже характерна не только для него, но и для настроенія Собранія. При рѣшеніяхъ вопросовъ чисто практическихъ — *de convenance*, какъ выразился Мирабо, его ораторы постоянно возбуждали чувства своихъ слушателей, призывали на помощь этику, патетически взывали къ патриотизму и къ осужденію эгоизма. Слѣдовавшій за Тарже Бергасъ *) также пришелъ на помощь Сіесу съ пышными фразами и въ ораторской позѣ.

Бергасъ заявилъ, что онъ вполне раздѣляетъ взглядъ Сіеса и самъ бы сдѣлалъ подобное предложеніе, если бы его не предупредили. Затѣмъ онъ въ пространной, ораторски построенной, рѣчи сталъ излагать свои мотивы. Бергасъ исходилъ изъ того, что Собраніе признало необходимымъ принципъ поголовнаго, а не сословнаго голосованія въ „Національномъ Собраніи“. Но вмѣсто того, чтобы обсуждать стоявшій на очереди вопросъ, слѣдуетъ ли Собранію на основаніи этого принципа въ данный моментъ, не заручившись согласіемъ короля и вопреки постановленіямъ другихъ штатовъ, провозгласить себя единственнымъ законнымъ представительствомъ и присвоить себѣ верховную и учредительную власть, Бергасъ пустился излагать мотивы, почему этотъ принципъ необходимъ. Бергасъ утверждалъ, что отступить отъ этого принципа значило бы дѣйствовать въ ущербъ интересамъ не только націи, но и самого монарха и даже при-

*) Въ числѣ депутатовъ третьяго штата было два лица этого имени—оба адвоката. Упоминаемый здѣсь Николай Бергасъ, Парижскій адвокатъ, былъ родомъ изъ Ліона и тамъ избранъ депутатомъ. Ставши въ ряды поборниковъ моднаго направленія, Бергасъ постепенно сближался съ депутатами, признавшими конституцію, вырабатываемую Національнымъ Собраніемъ слишкомъ радикальной и навлекъ на себя подозрѣніе своихъ бывшихъ единомышленниковъ. Во время террора Бергасъ былъ принужденъ скрываться, но былъ арестованъ и приговоренъ къ заключенію до окончанія войны. При *реставраціи* ему была назначена пенсія въ 6.000 фр. которой онъ лишился послѣ революціи 1830 г. Онъ умеръ въ 1832 г. 82 лѣтъ.

вилегированныхъ классовъ, которые въ данный моментъ, къ сожалѣнію, соблазненные роковыми предразсудками, держатся въ сторонѣ. „Дѣйствуя сообразно съ вашимъ принципомъ, восклицалъ Бергасъ, вы скажете націи: для успѣшнаго окончанія возложеннаго на васъ порученія—составленія конституціи—необходимо, чтобы всѣ участники въ этомъ имѣли однородную волю, и потому было бы неблагоразумно расчленять интересы, допуская отдѣльное голосованіе“.

„Вы скажете націи, что отступленіе отъ принципа поголовнаго голосованія повлекло бы за собою упроченіе сословныхъ различій, а это имѣло бы своимъ послѣдствіемъ различіе профессій и раздѣленіе всей націи на два класса—дворянъ, которые бы управляли, и многочисленный классъ народа, которому оставалось бы только повиноваться безъ всякой надежды когда-либо, въ свою очередь, управлять“.

„Вы скажете дворянству, восклицалъ Бергасъ въ противорѣчій съ ученіемъ Монтескьё, что аристократія, стоящая между государемъ и народомъ, всегда безусловно приноситъ съ собою деспотизмъ или анархію; вы скажете ему, что желать аристократіи значитъ желать власти, а не свободы, что свобода невозможна тамъ, гдѣ одному гражданину предоставлено больше свободы, чѣмъ другому“...

„Вы скажете духовенству, что аристократическій порядокъ, какъ вы всѣ знаете, главный врагъ свободы, что между моралью и свободой существуетъ вѣчная солидарность, что люди достигаютъ той степени морали, на которую они способны, лишь тамъ, гдѣ они свободны; вы скажете ему, что цѣль (le vœu) религіи, какъ и хорошей политики,—равенство людей, и что, держась особо, духовенство, вмѣсто того, чтобы сдѣлать религію дорогою народу, приучить его думать, что она чужда великимъ интересамъ общественнаго блага. Вы скажете государю, что возвышая себя, какъ вы это сдѣлали, вы обезпечивали и защищали также его законный авторитетъ; вы скажете ему, что съ сохраненіемъ различія штатовъ и ихъ вето несовмѣстимы ни хорошее законодательство, ни хорошая администрація; вы скажете ему, что, уничтожая различія

сословіи, вы увеличиваете его власть, дѣлая его независимымъ въ своемъ выборѣ, что при сохраненіи между престоломъ и народомъ фатальной преграды, онъ былъ бы навсегда изолированъ отъ своего народа, а чѣмъ болѣе государи изолируются отъ подобныхъ себѣ, тѣмъ они становятся слабѣе и несчастнѣе“.

„Эти идеи и много другихъ“, заключилъ ораторъ, лѣстя своимъ слушателямъ, вы сумѣете развить съ тѣмъ спокойнымъ величіемъ, которое приличествуетъ истинамъ, имѣющимъ цѣлью всеобщее благо людей“. И затѣмъ Бергасъ прибавилъ фразу, столь характерную для эпохи рационализма и для того настроенія, подъ вліяніемъ котораго совершилось начало революціи.

„Разуму присуща верховная сила, предъ которою всѣ прочія силы немощны, и такъ какъ вы говорите языкомъ самаго чистаго разума, то вы не должны сомнѣваться ни въ впечатлѣніи, которое вы произведете, ни въ счастливыхъ для государя и для націи послѣдствіяхъ отъ твердости, съ которой вы защищаете истинные принципы, и отъ вашего рвенія никогда не отступать отъ нихъ въ вашемъ образѣ дѣйствія“.

Изъ этихъ разсужденій Бергасъ сдѣлалъ выводъ, что необходимо избѣгать всякаго титула, который могъ бы подать поводъ думать, что депутаты третьяго штата составляютъ штатъ, т.-е. часть націи. Отсюда вытекала необходимость отвергнуть предложеніе Мирабо. „Вы должны стать на другую точку зрѣнія, восклицалъ Бергасъ: вы не должны забывать, что вы избраны общинами; онѣ избирали васъ не какъ депутатовъ какого-либо штата, а въ качествѣ депутатовъ націи; только на этомъ основаніи они уполномочили васъ обсуждать всѣ интересы націи—и систему законодательства и систему администраціи, касающіяся всѣхъ классовъ народа; вы должны составить конституцію, т.-е. дѣло, охватывающее интересы всѣхъ лицъ въ государствѣ.“

Отсюда слѣдовало, по словамъ оратора, что депутаты націи не могутъ организовать изъ себя иного собранія, какъ „собраніе представителей націи“.

„Эта истина, заявлялъ Бергасъ, мнѣ представляется неоспоримой; существуетъ, однако, одно возраженіе, которое слѣдуетъ устранить“.

Говорятъ, что присвоеніе депутатами третьяго штата названія Національнаго Собранія можетъ оскорбить другіе штаты, Бергасъ сталъ доказывать, что страхъ оскорбить другіе штаты неоснователенъ; но даже, если бъ и было основаніе для такого страха, при составленіи конституціи нужно руководиться принципами, а не соображеніями (*considérations*).

Вслѣдствіе этого Бергасъ находилъ даже излишними тѣ ограниченія, которыми Сіесъ смягчалъ предложенный имъ титуль: „Собраніе *известныхъ и повѣренныхъ* представителей націи“.

Бергасъ находилъ, что для привлеченія привилегированныхъ штатовъ было бы достаточно изложить предъ ними побужденія, заставившія депутатовъ третьяго штата усвоить себѣ такое названіе. Но такое изложеніе едва ли было для нихъ очень убѣдительно, такъ какъ Бергасъ предлагалъ въ немъ особенно поставить на видъ, что различіе штатовъ есть скрытая причина всѣхъ несчастій французской монархіи въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ—принципъ, породившій всѣ злоупотребленія, вѣчное препятствіе всѣмъ полезнымъ переворотамъ (*révolutions*). Бергасъ, повидимому, и самъ мало рассчитывалъ на успѣхъ предложеннаго средства, такъ какъ прибавилъ, что если бы оно и не удалось, то это изложеніе мотивовъ обезпечитъ депутатамъ сочувствіе общественнаго мнѣнія.

„А вы знаете, заключилъ ораторъ, что лишь съ помощью общественнаго мнѣнія вы можете приобрѣсти нѣкоторую власть осуществлять общее благо; вы знаете, что только благодаря ему интересъ народа, долго находившійся въ отчаянномъ положеніи, восторжествовалъ; вы знаете, что передъ нимъ смолкаютъ всѣ власти, исчезаютъ всѣ предразсудки, исчезаютъ всѣ частные интересы“.

За Бергассомъ говорилъ Ле-Шапелле, поддерживавшій предложеніе Сіеса съ незначительнымъ измѣненіемъ.

Норманскій юристъ Туре *) оспаривалъ предложеніе какъ Сіеса, такъ и Мирабо; находя, что въ послѣднемъ заключается слишкомъ много или слишкомъ мало. Съ своей стороны, онъ поддерживалъ весьма точное, но невозможно длинное названіе, предложенное Мунье:—*Законное Собраніе представителей бѣльшей части націи, дѣйствующее въ отсутствіи меньшей.*

За нимъ всталъ Мирабо. Онъ очень долго отстаивалъ свое предложеніе, защищая противъ возраженій слово *peuple*. Эта рѣчь до насъ не дошла, но, къ счастью, сохранилось то мѣсто, которое ярко освѣщаетъ политическій геній Мирабо. Онъ понималъ то, чего не понималъ риторъ Бергасъ; онъ желалъ, какъ и Бергасъ, чтобы третій штатъ преобразился въ Національное Собраніе, хотя бы и безъ согласія привилегированныхъ штатовъ, и не боялся ихъ; но онъ не хотѣлъ, чтобы это преобразование повлекло за собою отнятіе власти у короля, т. е. сверженіе тогдашняго правительства, что Бергасъ обошелъ молчаніемъ. Мирабо нуждался въ помощи общественнаго мнѣнія и часто взывалъ къ нему. Но онъ зналъ, что въ настоящемъ случаѣ слѣдовало не потакать ему, а просвѣтить его, объяснить, что присвоеніе Національнымъ Собраніемъ *правительственной* власти значило превратить реформу въ революцію и создать вмѣсто старой—новую тиранію. И Мирабо рѣшился заговорить о самомъ важномъ, но щекотливомъ для либеральныхъ ораторовъ вопросѣ, объ отношеніяхъ Собранія къ правительству, о королевскомъ *вето*. „Откажете ли вы королю, спросилъ Мирабо разгоряченныхъ депутатовъ, въ правѣ вето? Полагаете ли вы, что *его* согласіе вамъ не нужно, чтобы провозгласить себя Національнымъ Собраніемъ? Что касается меня, господа, я

*) Туре—адвокатъ изъ Руана, принималъ большое участіе въ разработкѣ новой административной и судебной организаци Франціи и въ признаніи имуществъ церкви «собственностью націи». Онъ былъ 4 раза избранъ въ президенты Національнаго Собранія и въ качествѣ почетнаго президента ему пришлось представить конституцію Людовику XVI, принять отъ него присягу въ вѣрности ей и закрыть Національное Собраніе. При террорѣ онъ былъ казненъ 22 апр. 1794 съ Мальзербомъ и д'Эпременилемъ.

считаю вето короля настолько необходимымъ, что безъ него я бы предпочелъ жить въ Константинополѣ, чѣмъ во Франціи; да, я объявляю вамъ, что не знаю ничего страшнѣе (terrible) державной аристократіи изъ 600 человекъ, которые завтра сдѣлаются безсмѣнными, послѣзавтра наслѣдственными, и какъ аристократіи всего міра въ концѣ концовъ все захватить въ свои руки“.

Эти безсмертныя слова Мирабо могли въ то время многимъ поклонникамъ свободы показаться преувеличеніемъ; но кто вспомнить о томъ, что случилось четыре года спустя въ Конвентѣ, тотъ признаетъ, что Мирабо былъ великимъ пророкомъ, испытавшимъ общую участь такихъ пророковъ.

Многознаменательна для грядущаго была и слѣдовавшая за тѣмъ рѣчь Малуэ: „Для того, чтобы установить свободу, началъ онъ свою рѣчь, мы должны проникнуться ея духомъ и говорить ея языкомъ“. Во имя этой свободы Малуэ взывалъ къ священному праву, „безъ котораго всѣ прочія не обеспечены“, къ праву—свободно высказывать свое мнѣніе. Изъ дальнѣйшихъ объясненій оратора видно, что уже тогда при самомъ зарожденіи свободы, ея уже не было въ Собраніи: рѣчи, которыя не нравились по своему содержанію, прерывались ропотомъ въ Собраніи и въ публикѣ и вызывали страстныя нареканія.

Малуэ одобрялъ формулу какъ Мунье, такъ и Мирабо, находя, что онѣ обѣ вытекаютъ изъ правильной точки зрѣнія, которую онъ опредѣлялъ слѣдующимъ образомъ: „Мы не можемъ отречься отъ принципа нераздѣльности Генеральныхъ Штатовъ; но мы не можемъ и не должны объявлять, что мы *одни* ихъ представляемъ“ и усвоить извѣстную организацію (un mode de constitution), не зная, куда она насъ поведетъ“. Критикуя такой образъ дѣйствія, Малуэ говорилъ, что приверженцы его какъ будто полагаютъ, что „мы не обязаны принимать во вниманіе никакихъ соображеній, что мы независимы отъ какихъ-либо препятствій, властны надъ волею всѣхъ, что мы стоимъ особнякомъ среди вѣковъ, имѣемъ возможность не руководиться прошлымъ и не имѣемъ повода тревожиться за будущее“.

Опровергая такую точку зрѣнія, Малуэ доказывалъ, что французы не представляютъ собою какого-то особеннаго, новаго народа, не имѣющаго ни законовъ, ни обычаевъ, ни предразсудковъ. Онъ оспаривалъ мнѣніе одного изъ говорившихъ—эта рѣчь осталась намъ неизвѣстна—что какое бы названіе ни присвоилъ себѣ третій штатъ, королевское согласіе ему не нужно, что всякое такое названіе даже безразлично для короля. „Король, говорили намъ, будетъ насъ называть третьимъ штатомъ, а мы — примемъ на себя званіе представителей націи. Съ какихъ же поръ, спрашивалъ Малуэ, монархъ и представители націи могутъ безъ ущерба для дѣла въ такой степени расходиться относительно своихъ взаимныхъ правъ?“

Это заявленіе Малуэ весьма характерно; оно показываетъ, что многіе изъ депутатовъ, стоявшихъ за Сіеса, вовсе не понимали, какое значеніе будетъ имѣть провозглашеніе третьяго штата Национальнымъ, т.-е. Верховнымъ народнымъ собраніемъ.

„Гдѣ, спрашивалъ Малуэ, тотъ законъ, который уполномочиваетъ депутатовъ на такой образъ дѣйствія? гдѣ та верховная воля, которая признала бы такое намѣреніе справедливымъ и полезнымъ? развѣ мы представляемъ собою законодательное собраніе? развѣ наши избиратели предписали намъ такимъ способомъ рѣшить вопросъ о провѣркѣ полномочій, чего они даже не предвидѣли. Даже наиболѣе обязательныя! (impératifs) полномочія по вопросу о способѣ голосованія предписываютъ только *воздержаться* отъ голосованія по штатамъ.

Рѣчь Малуэ, какъ сказано въ отчетѣ, пришлась „не по вкусу“ Собранію. Пренія затягивались и обострялись. Многіе голоса требовали немедленнаго рѣшенія вопроса, другіе—его отерочки до слѣдующаго дня. По опросу Собранію предсѣдателемъ голосованіе было отложено.

Въ вечернемъ засѣданіи аббатъ Сіесъ въ пространной рѣчи защищалъ свое предложеніе, въ особенности стараясь опровергнуть формулы, предложенныя графомъ Мирабо и Мунье. Рѣчь Сіеса до насъ не дошла.

За нимъ говорилъ янсенистъ Камю, *) главный авторъ революціоннаго „Установленія духовенства“. Въ его рѣчи уже обнаружилась та умственная „прямолинейность“, которой отличалось столько дѣятелей французской революціи, точно вся ихъ задача ограничивалась однѣми логическими дедукціями. Отстаивая формулу Ле-Шапелье (*représentants de la nation française légalement vérifiés*), Камю ничего не видѣлъ далѣе формулы, которую онъ признавалъ правильно составленной. „Что такое эта формула? простой фактъ, подлинная истина. Вы единственные провѣренные представители, и вы объявите это предъ лицомъ націи! А если такъ, то зачѣмъ намъ говорить о санкціи короля, о его вето? Можетъ ли помѣшать его вето тому, чтобы фактъ, о которомъ мы заявляемъ, остался фактомъ, чтобы истина, которую мы провозглашаемъ, оставалась всегда единою и неизмѣнною. Можетъ ли его вето намъ помѣшать быть тѣмъ, что мы есть и чѣмъ мы должны быть? Королевская санкція не можетъ передѣлать порядокъ вещей, измѣнить ихъ природу“.

Во второй части своей рѣчи Камю нападалъ на предположеніе о займѣ на текущія нужды, о которомъ наканунѣ зашла рѣчь. И здѣсь въ доводахъ Камю обрисовывался че-

*) Камю, Арманъ Гастонъ, былъ парижскимъ адвокатомъ и состоялъ адвокатомъ французскаго духовенства при парижскомъ парламентѣ. Въ Национальномъ Собраніи онъ былъ поборникомъ радикальныхъ мѣръ; отъ него напр. исходило предложеніе объ уничтоженіи дворянскихъ титуловъ. Въ Конвентѣ онъ былъ террористомъ. Находясь въ командировкѣ во время суда надъ королемъ онъ прислалъ въ Конвентъ письменное заявленіе, что падаеть голосъ за «казнь безъ апелляціи и немедленно». Камю состоялъ членомъ Комитета «Общественнаго Спасенія», но не долго, такъ какъ, посланный арестовать Дюмурье, во главѣ его арміи, былъ арестованъ имъ и выданъ Австрійцамъ, у которыхъ содержался въ плѣну, пока не былъ вымѣненъ на дочь Людовика XVI. При Директоріи онъ былъ президентомъ Совѣта Пятисотъ, а потомъ назначенъ главно-управляющимъ архивовъ. Онъ высказался противъ консульства и держалъ себя независимо по отношенію къ первому консулу. Онъ умеръ въ 1804 г. Малуэ называетъ его «яримъ янсенистомъ», который много говорилъ, много интриговалъ въ Собраніи, но полагаетъ, что зло, которое онъ надѣлалъ, не входило ни въ его виды ни въ его интересы.

ловѣкъ, который былъ воспитанъ на силлогизмахъ и кромѣ нихъ ничего не принималъ во вниманіе. Зачѣмъ этотъ заемъ? спрашивалъ Камю; говорятъ, для того, чтобы привлечь на нашу сторону короля. „Но наше дѣло справедливое, и мы имѣемъ за себя свидѣтельство нашей совѣсти. Король не менѣе справедливъ; и такъ какъ справедливость едина, то онъ не можетъ быть противъ нея“.

Говорилъ еще какой-то не поименованный въ отчетѣ прокуроръ, ослѣпленный силлогизмами своего предшественника. Онъ отстаивалъ формулу Сіеса, нападалъ на формулу Мунье и отвергалъ предложеніе Мирабо на томъ основаніи, что слово *peuple* двусмысленно. Франція еще далека отъ тѣхъ знаменитыхъ народовъ, на которые ссылался Мирабо—народа аеинскаго и англійскаго; но кто же когда либо говорилъ о народѣ ассирійскомъ, пока онъ повиновался своимъ сатрапамъ? Что же касается до вето, то послѣ *резоновъ* (raisons) Камю казалось бы бесполезнымъ испрашивать королевскую санкцію, отсутствіе которой, что бы ни говорилъ Мирабо, не повлечетъ за собою деспотизма; тревоги Мирабо и его страхъ анархіи, которою онъ запугиваетъ націю, не могутъ быть слѣдствіемъ (sic) законодательной власти, присущей націи“. Этотъ юристъ, очевидно, не различалъ законодательной и верховной власти и не понималъ, что устраненіе въ данномъ случаѣ королевской санкціи облечетъ депутатовъ третьяго штата *верховною* властью и превратитъ Францію изъ монархіи въ республику.

Зачѣмъ адвокатъ Легранъ, который пріобрѣлъ извѣстность только этимъ предложеніемъ, внесъ подробно мотивированный проектъ заключенія, что Собраніе провозглашаетъ себя *Національнымъ Собраніемъ*. Хотя редакція соображеній, (considérant), представленныхъ Леграномъ, была довольно запутана, его предложеніе было встрѣчено оживленными рукоплесканіями. Напрасно другой адвокатъ, Пизонъ дю Галланъ выступилъ съ своимъ предложеніемъ: его пространная формула едва ли кого прельстила. Предсѣдатель предложилъ приступить къ голосованію; одни депутаты были

согласны на это, другіе требовали продолженія преній, и засѣданіе было отсрочено до вечера.

Въ вечернемъ засѣданіи Мунье, какъ видно изъ краткаго отчета о немъ, отвѣчалъ на возраженія Сіеса и пытался съ помощью новыхъ доводовъ отстаивать свое предложеніе, доказывая, что оно дастъ Собранію право все обсуждать и все рѣшать, такъ какъ оно представляетъ большинство, а меньшинство искони обязано подчиняться большинству.

За этимъ наступила критическая минута: Мирабо всталъ, чтобы въ послѣдній разъ отстаивать свое предложеніе, защитить государственнй порядокъ, необходимое условіе свободы,—это была послѣдняя попытка предотвратить революцію съ ея послѣдствіями, анархіей и деспотизмомъ.

Мирабо пришлось „съ изумленіемъ“ отражать недоразумѣнія и упреки, направленные противъ него, будто онъ отстаиваетъ обособленіе штатовъ и унижаетъ народъ. Ему пришлось прибѣгнуть къ ироніи, отвѣчая противнику—„юность котораго увеличиваетъ мое уваженіе къ его талантамъ, но не является для меня авторитетомъ“, утверждавшему, что „когда народъ заговорилъ, королевская санкція не нужна“. Мирабо еще разъ повторилъ, что безъ королевской санкціи онъ предпочелъ бы Константинополь Парижу. Затѣмъ, сопоставляя свою формулу съ формулами Мунье и Сіеса, Мирабо отмѣтилъ то, что между ними общаго.

Всѣ онѣ согласны въ необходимости начать дѣйствовать. Всѣ онѣ отрицаютъ, что Собраніе представляетъ собою Генеральные Штаты. Всѣ онѣ избѣгаютъ такого названія, которое могло бы подать поводъ думать, что въ немъ заключается нарушеніе правъ (spoliation) другихъ штатовъ, хотя „мы и полагаемъ, что эти штаты сами по себѣ безсильны дѣйствовать“. Наконецъ „всѣ мы одинаково убѣждены въ необходимости предотвратить всякое голосованіе по штатамъ, всякое распаденіе Національнаго Собранія, всякое вето со стороны привилегированныхъ сословій“.

Но въ чемъ же различіе? что можетъ оправдать, спрашивалъ Мирабо, страстныя нападки на его предложеніе, которое

должно удовлетворить каждаго, кто подобно ему ненавидитъ всякаго рода аристократію?

Названія, предложенныя его противниками, слишкомъ длинны и малопонятны, въ особенности формула Мунье, заключающая въ себѣ въ той редакціи, которую приводилъ Мирабо, 37 словъ. Далѣе эта формула представляетъ тотъ недостатокъ, что предлагаетъ Собранію названіе, которое не ему одному принадлежитъ. „Рѣшитесь ли вы, спрашивалъ Мирабо своихъ товарищей, утверждать въ адресѣ королю, что вы единственные представители націи, которые ему извѣстны? Скажете ли вы ему, что депутаты духовенства и дворянства ему неизвѣстны, тогда какъ онъ ихъ созвалъ, они ему представлялись въ этомъ званіи, онъ предсѣдательствовалъ въ Національномъ Собраніи, въ которомъ они участвовали такъ же, какъ и мы, и онъ ихъ принималъ такъ же, какъ и насъ?“ Тѣ же самыя возраженія вызываетъ и эпитетъ *провѣренные* представители, какъ будто полномочія депутатовъ другихъ штатовъ не были также провѣрены.

Что же касается до формулы Сіеса, Мирабо доказывалъ ея несостоятельность тѣмъ, что она признаетъ существованіе и другихъ представителей націи, еще *не извѣстныхъ* и *не провѣренныхъ*, предоставляя имъ такимъ образомъ право присвоивать себѣ названіе и права, какія имъ угодно. Онъ ссылался на доводъ, высказанный Туре, что, если бы депутаты духовенства и дворянства явились въ залу третьяго штата и, давъ провѣрить свои полномочія, возвратились затѣмъ въ свои палаты для голосованія *по штатамъ*, то формула, предложенная Сіесомъ—*извѣстные и провѣренные представители* утратила бы всякій смыслъ. Доказавъ преимущество своей формулы передъ другими, Мирабо сталъ защищать ее противъ нападокъ, которыя вызывало выраженіе *peuple*, въ особенности противъ возраженія, что если принимать это слово въ смыслъ латинскаго *populus* (народъ—какъ совокупность патриціевъ и плебеевъ), то оно слишкомъ широко; если же толковать его въ смыслъ слово *plebs* (одни плебен), то оно предполагаетъ существованіе сословныхъ различій, что желательно устранить. Нѣ-

которые изъ депутатовъ, говорилъ Мирабо, даже выражали опасеніе, чтобы слову *peuple* не придали смыслъ латинскаго *vulgus*, который англичане передаютъ словомъ *mob*, а аристократы, какъ изъ дворянъ, такъ и не дворянъ, нахально выражаютъ словомъ *canaille*.

Мирабо усматривалъ, напротивъ, „великое счастье“ въ томъ, что французскій языкъ при своей бѣдности обладаетъ словомъ, котораго нѣтъ въ другихъ, болѣе богатыхъ, языкахъ: „словомъ, которое заключаетъ въ себѣ столько различныхъ оттѣнковъ мысли; словомъ, которое въ настоящую минуту, когда намъ необходимо организовать, не рискуя общественнымъ благомъ, опредѣляетъ наше положеніе, не унижая насъ и не дѣлая насъ страшными; словомъ, которое никто не можетъ оспаривать и которое въ своей изящной простотѣ даетъ намъ цѣну въ глазахъ нашихъ избирателей, не пугая тѣхъ, противъ чьей надменности и притязаній мы боремся; словомъ, которое удобно во всѣхъ отношеніяхъ—скромное сегодня оно можетъ возвысить насъ по мѣрѣ того, какъ обстоятельства этого потребуютъ, по мѣрѣ того, какъ привилегированные классы заставятъ насъ своимъ упрямствомъ, своими ошибками взять въ руки защиту національныхъ правъ и свободы народа (*du peuple*)“.

Продолжая говорить въ этомъ смыслѣ съ краснорѣчіемъ, которое и теперь въ блѣдномъ отраженіи на столбцахъ „Парламентскаго архива“ производитъ сильное впечатлѣніе, Мирабо ссылаясь между прочимъ и на исторію. Онъ напомнилъ о „герояхъ, положившихъ основаніе свободѣ Батавіи и принявшихъ названіе *gueux* (нищихъ); они не захотѣли другого имени, потому что ихъ надменные тираны вздумали ихъ этимъ оскорбить, и это имя, привлекая къ нимъ ту громадную массу, которую деспотизмъ и аристократія унижали, стало залогомъ ихъ силы, ихъ славы и ихъ успѣха. Друзья свободы выбираютъ себѣ то названіе, которое имъ наиболѣе полезно, а не то, которое льститъ ихъ самолюбію; они называли себя „ремонтрантами въ Америкѣ, *пастухами* въ Швейцаріи, *нищими* въ Нидерландахъ; они украшаютъ себя оскорбительными названіями, данными врагами; они отнима-

ютъ у нихъ возможность унижать ихъ словами, которыми они сумѣютъ себя почитать.

Эта часть рѣчи Мирабо, вмѣсто того, чтобы успокоить взволнованное Собрание, еще болѣе растревожило его. Мирабо произнесъ ее, по свидѣтельству одного очевидца, ¹⁾ громовымъ голосомъ и мощью своего голоса держалъ все собраніе въ какомъ-то оцѣпенѣніи. Но какъ только онъ закончилъ, въ залѣ послѣдовалъ взрывъ негодованія. „То были не крики, а судороги бѣшенства, цѣлая буря брани налетѣла со всѣхъ сторонъ на оратора, спокойно и молча ее выносившаго“. Когда же буря нѣсколько стихла, Мирабо обратился торжественнымъ тономъ къ президенту со словами: я возлагаю на вашу столь подписанный мною текстъ той части моей рѣчи которая возбудила такой ропотъ. Я готовъ подвергнуть ея содержаніе на судъ всѣхъ друзей свободы“ — и затѣмъ вышелъ изъ Собранія „среди угрозъ и яростныхъ ругательствъ.“

Фактъ, что лучший ораторъ Собранія долженъ былъ смолкнуть въ немъ, бросаетъ яркій свѣтъ какъ на него самого, такъ и на данный моментъ революціи. Положеніе Мирабо въ Собраніи во время этихъ преній нельзя не назвать ложнымъ. Отвергая формулу Сіеса, Мирабо долженъ былъ идти наперекоръ двумъ сильнѣйшимъ страстямъ, овладѣвшимъ Собраніемъ—властолюбію и ненависти. Доказывая, что формула Сіеса заключаетъ въ себѣ узурпацію власти по отношенію къ королю и повлечетъ за собою испроверженіе монархіи, анархію и деспотизмъ, Мирабо задѣвалъ властолюбіе и самолюбіе народныхъ представителей, вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣя возможности совершенно откровенно и безъ утайки излагать свои мысли, такъ какъ защита монархическаго принципа въ ту минуту принималась всѣми, какъ апологія стараго порядка съ его произволомъ и злоупотребленіями. Отвергая же титулъ Національнаго Собранія на томъ основаніи, что депутаты

¹⁾ Dumont: Souv. s. Mirabeau p. 80. Женевецъ Дюмонъ сотрудникъ Мирабо приписываетъ себѣ „злополучный“ отрывокъ рѣчи Мирабо, вызвавшій такое неудовольствіе, но конечно дѣло не въ этомъ отрывкѣ, а въ общемъ направленіи рѣчи.

третьяго штата не представляют собою *всей* націи, Мирабо раздражалъ демократическія страсти и какъ бы противорѣчилъ себѣ. Вѣдь онъ самъ находилъ, что привилегированные штаты надо лишить ихъ политическаго вето, что ихъ депутатовъ надо привлечь въ общее *Національное* Собрание; такъ зачѣмъ же прятаться за двусмысленное и унижительное слово *peuple*, когда есть такое благородно звучащее и объединяющее всѣхъ слово *nation*? одержимые идеей народовластія члены Собранія, принимавшіе всякую свою фразу за политическую мудрость, не могли этого постигнуть.

Неудача великаго оратора была неизбѣжна: но эта неудача его предопредѣлила судьбу революціи; всѣ дальнѣйшія событія были логическими послѣдствіями того, что Собрание 16 іюня 1889 года пошло не за Мирабо, а за Сіесомъ. До этой минуты еще можно было надѣяться, что отмѣна стараго порядка будетъ произведена путемъ стройной реформы, что свобода окажется созидательнымъ и живительнымъ, а не разрушающимъ принципомъ; но волны политической идеологіи, страсти къ равенству и къ никогда не испытанной свободѣ снесли съ руля человѣка, взоръ котораго ясно видѣлъ цѣль сквозь окружавшій его туманъ. Собрание депутатовъ третьяго штата сбросило съ себя руководство того вождя, которому эта роль была по плечу.

Судьба Франціи была рѣшена. Депутаты, не хотѣвшіе слушать Мирабо, допустили, хотя и неохотно, рѣчи Леграна и Пизона дю-Галана, защищавшихъ свои прежнія предложенія—а послѣднему даже сильно аплодировали за то, что онъ провозгласилъ принципъ „единства и нераздѣльности“ націи.

Сіесъ понялъ, что наступила *его* минута: убѣдившись, что можно идти напроломъ, безъ прежнихъ предосторожностей, онъ заявилъ, что вносить важную перемѣну въ свою формулу и вмѣсто „извѣстныхъ и повѣренныхъ представителей“ предложилъ депутатамъ назвать себя *Національнымъ Собраниемъ*.

Это предложеніе вызвало разногласія: одни находили, что оно, какъ новое предложеніе, требуетъ обсужденія; другіе требовали немедленнаго голосованія. Собрание высказалось за

последнее, но многие депутаты оставили Собрание; прения продолжались до полуночи: большинство настаивало на голосовании, но уступило доводам депутата де-Бюзо, сказавшаго, что такой важный и торжественный фактъ, какъ организациа Собрания долженъ совершиться при свѣтѣ дня, въ присутствіи всѣхъ членовъ, предъ лицомъ націи; что онъ подастъ голосъ за титулъ *Національнаго Собрания*, но не въ настоящую минуту, завтра же скрѣпитъ свою подпись кровью. Въ такомъ возбужденномъ состояніи разошлись депутаты Собрания, въ рукахъ котораго была судьба Франціи.

На другой день, 17 іюля, были прочтены и поставлены предсѣдателемъ на голосованіе пять формулъ: Сіеса, Мирабо, Мунье, Леграна и Пизона дю-Галана. Первою въ очереди была поставлена формула Сіеса: она была принята 491 голосомъ противъ 90 голосовъ. Депутаты меньшинства были объявлены измѣнниками, продавшимися аристократамъ, и имена Малуэ, Мунье и др. послужили предметомъ яростныхъ нападокъ со стороны уличныхъ ораторовъ. Мирабо въ этотъ день отсутствовалъ въ Собраніи.

Провозглашеніе себя 491 депутатомъ третьяго штата, безъ согласія короля, *Національнымъ Собраніемъ* означало переходъ верховной власти отъ короля къ Собранію; переходъ этотъ совершился по постановленію *меньшинства* тогдашнихъ законныхъ представителей французскаго населенія и вопреки большинству *наказовъ*, выражавшихъ собою политическое настроеніе этого населенія. Оправдала ли исторія этотъ поступокъ?—Ровно десять лѣтъ спустя главный виновникъ этого переворота, аббать Сіесь, трудился надъ составленіемъ новой конституціи на основаніи противоположнаго народовластію принципа: „снизу должно итти довѣріе, сверху—власть“; для осуществленія этой конституціи, въ которой онъ готовилъ себѣ руководящее мѣсто, онъ *нуждался* „въ шпагѣ“. Онъ нашелъ эту шпагу; но тотъ, въ чьихъ рукахъ она была, установилъ во Франціи *новый порядокъ* на основаніи военной диктатуры, а Сіесу отвелъ мѣсто среди „идеологовъ“.

